

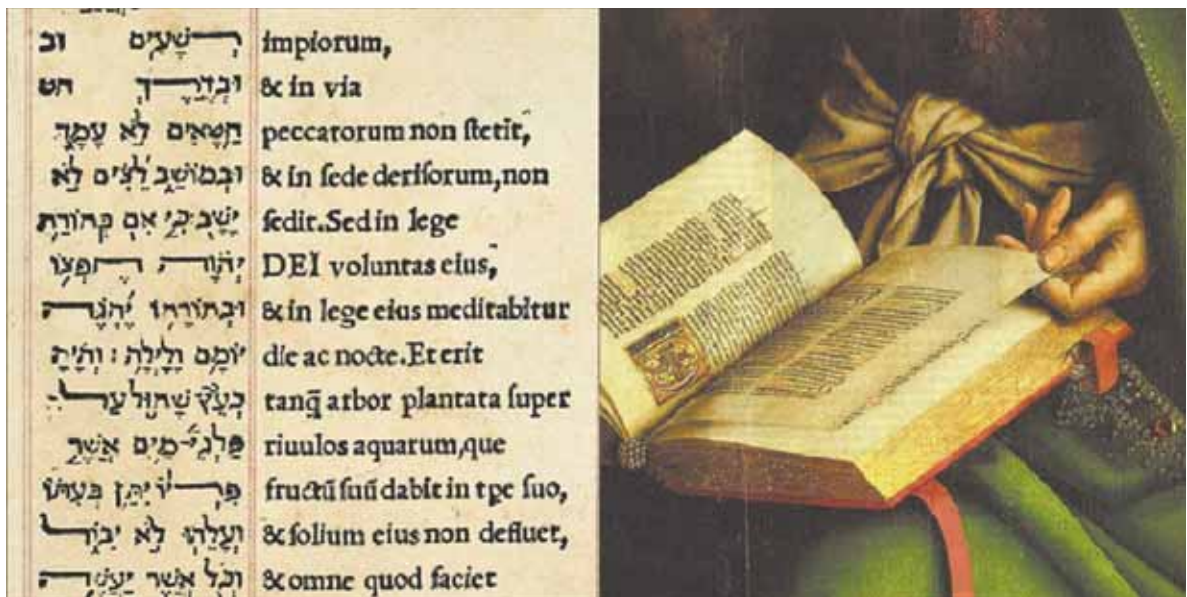


ФЕСТИВАЛЬ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ «ПАРАЛЛЕЛИ» /
"PARALLELS" ESHKOLOT'S JEWISH TEXTS & IDEAS FESTIVAL

ПРОЕКТ «ЭШКОЛОТ»: ИДЕИ НА ПРОБУ /
ESHKOLOT: A TASTE OF IDEAS

/ АНТОЛОГИЯ ТЕКСТОВ К ФЕСТИВАЛЮ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ «ПАРАЛЛЕЛИ»

/ READER FOR "PARALLELS" ESHKOLOT'S JEWISH TEXTS & IDEAS FESTIVAL



www.eshkolot.ru

«ЭШКОЛОТ» / ESHKOLOT

МОСКВА, НОЯБРЬ 22–25, 2012 / MOSCOW, NOVEMBER 22–25, 2012

ФЕСТИВАЛИ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

THE ROTHSCHILD FOUNDATION (HANADIV) EUROPE И THE AVI CHAI /

THE ESHKOLOT FESTIVALS ARE SUPPORTED BY THE ROTHSCHILD FOUNDATION

(HANADIV) EUROPE AND THE AVI CHAI



СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

/ МАТЕРИАЛЫ К «ЖИЗНИ МОИСЕЯ» И «ЖИЗНИ БУДДЫ» / LIFE OF MOSES AND LIFE OF BUDDHA TRACK 3



Иосиф Флавий «Иудейские древности» / JOSEPHUS. ANTIQUITIES OF THE JEWS	5
ОСНОВНЫЕ АГИОГРАФИИ БУДДЫ / BUDDHA'S HAGIOGRAPHIES	68
АШВАГШОХА «ЖИЗНЬ БУДДЫ» / ASVAGHOSHA. ACTS OF THE BUDDHA	70

/ МАТЕРИАЛЫ К «САТИРИКОНУ» ПЕТРОНИЯ И РАССКАЗАМ ИЗ ТАЛМУДА / PETRONIUS AND TALMUD TRACK 155



ГАЙ ПЕТРОНИЙ АРБИТР «САТИРИКОН» / T. PETRONI ARBITRI. SATYRICON	157
РАССКАЗЫ ИЗ ТАЛМУДА / NARRATIVES FROM THE TALMUD	184

/ МАТЕРИАЛЫ К «ПУТЕВОДИТЕЛЮ РАСТЕРЯННЫХ» МАЙМОНИДА И «ТРАКТАТУ О ШЕСТИ ДНЯХ ТВОРЕНИЯ» ТЕОДОРИХА ШАРТРСКОГО / MAIMONIDES AND THIERRY OF CHARTRES TRACK 197



МАЙМОНИД «ПУТЕВОДИТЕЛЬ РАСТЕРЯННЫХ» / MAIMONIDES. THE GUIDE FOR THE PERPLEXED	199
ТЕОДОРИХ ШАРТРСКИЙ «ТРАКТАТ О ШЕСТИ ДНЯХ ТВОРЕНИЯ» / THIERRY OF CHARTRES. HEXAEMERON	229

/ МАТЕРИАЛЫ К БАБЕЛЮ И БОРХЕСУ / BABEL AND BORGES TRACK 243



БАБЕЛЬ / BABEL	245
БОРХЕС / BORGES	330

/ МАТЕРИАЛЫ К ХАНОХУ ЛЕВИНУ И ХАРМСУ / HANOSH LEVIN AND KHARMS TRACK 343



ХАНОХ ЛЕВИН / HANOSH LEVIN	345
ХАРМС / KHARMS	367

/ ИСТОЧНИКИ К КИНО-МИДРАШУ «ПИТЕР ГРИНУЭЙ И «ЖЕНЫ-УБИЙЦЫ»» / SOURCES FOR CINE-MIDRASH «PETER GREENAWAY AND "KILLER-WIVES"» 429



Фестивали медленного чтения проводятся при поддержке
The Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe и The Avi Chai /
The Eshkolot festivals are supported by The Rothschild Foundation
(Hanadiv) Europe and The Avi Chai



www.eshkolot.ru

/ МАТЕРИАЛЫ К «ЖИЗНИ МОИСЕЯ» И «ЖИЗНИ БУДДЫ»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Так как египтяне были изнежены и недобросовестны в работах, особенно же преданы удовольствиям и легкой наживе, то в результате получилось враждебное с их стороны отношение к евреям, основывавшееся также на чувстве зависти к их благополучию³⁴. Именно, видя, что племя израильское увеличивается и благодаря своей добродетели и трудолюбию становится богатым и пользуется значением, они испугались, как бы оно не овладело ими самими. При этом, благодаря отдаленности времени, египтяне совершенно забыли о заслугах Иосифа, стали крайне надменно обходиться с израильтянами и взвалили на них различные тяжелые работы, тем более что царская власть перешла к новой династии³⁵: они поручили им отвести реку (Нил) в разные каналы и соорудить у городов стены и плотины, чтобы вода реки не про-

никла в города и не обратила почву их в болото. Равным образом они побуждали народ наш строить пирамиды, изучать всевозможные ремесла и привыкать к тяжелым трудам. В продолжение четырехсот лет они несли такое иго; при этом происходило нечто вроде состязания, так как египтяне преследовали цель — во что бы то ни стало известить израильтян тяжелыми работами, а последние хотели показать, что они сильнее всех этих мероприятий.

2. В то время как евреи находились в таком положении, у египтян явилась и другая причина, по которой они еще более постарались стереть с лица земли народ наш. Поводом к этому послужило следующее: один из египетских ученых (которые, кстати сказать, особенно выдаются своими предсказаниями будущего) возвестил царю, что к тому времени среди израильтян родится мальчик³⁶, который если вырастет, то сокрушит могущество египтян и сделает евреев властным народом; при этом он превзойдет своей добродетелью всех людей и приобретет вечную славу. Испугавшись этого, фараон по совету того предсказателя повелел всех родившихся тогда еврейских детей мужского пола бросить в реку и загубить, а египетским повивальным бабкам приказал следить за беременностью еврейских женщин и не выпускать из виду их родов; он повелел именно египетским бабкам следить за этим, потому что они, будучи одной с ним национальности, не решатся ослушаться царского приказа. Тех же, кто поступит вопреки этому приказанию и осмелится тайно спасти новорожденных, царь приказал вместе со всем их семейством подвергать смертной казни. Это было ужасным ударом для тех, кого это распоряжение касалось (т. е. евреев), не только потому, что родители таким образом лишались детей своих, причем им самим приходилось исполнять роль палачей, но и оттого, что мысль о совершенном прекращении рода, — а это представлялось неизбежным при убиении детей и их собственном полнейшем изнурении, — еще усугубляла им тягость и безвыходность их положения³⁷. В таком-то горе были они. Однако никто не в состоянии оказать сильное давление на решения Господа Бога, хотя бы и пустил для этого в ход тысячи ухищрений. Поэтому-то и ребенок, о котором предсказывал ученый прорицатель, продолжал, несмотря на все мероприятия царя, подрастать, и все случилось

именно так, как о нем было предсказано. Произошло же все это следующим образом:

3. Один знатного происхождения еврей, Амарам, очень заботился об участи всего своего народа, боясь, как бы он совершенно не исчез с лица земли ввиду недостатка в подрастающем молодом поколении; при этом он и сам лично находился в безвыходном положении, так как жена его была беременна. Поэтому он обратился к милосердию Предвечного³⁸, умоляя Его сжалиться наконец над людьми, которые ни в чем не изменили своему благочестию, и, освободив их от настоящего их горя, оставить им надежду, что их племя не погибнет. Господь Бог сжалился над ним и в ответ на его мольбу явился ему во сне. Он стал уговаривать Амарама не отчаиваться относительно будущего, говоря, что отлично помнит благочестие их (евреев) и за это всегда воздаст им должное, как Он уже даровал предкам их то, что они из столь небольшой горсти людей стали таким многочисленным народом. Ведь Аврам явился одиноким из Месопотамии в Хананею и здесь нашел свое счастье как во всех прочих отношениях, так и относительно жены своей, которая сначала была бесплодна, а затем, ввиду его страстного желания, стала способна к деторождению и родила сына. Таким образом, он оставил Измаилу и его потомкам Аравию, детям Хетуры — Троглодиту, Исаку же — Хананею. «А какие великие военные подвиги он совершил при Моем покровительстве, — сказал Господь, — этого вы никогда, даже если бы вы были отъявленными нечестивцами, не сможете забыть. Иакову же выпало на долю стяжать себе известность даже среди иноплеменников за его великое счастье в жизни, которое он передал и своим потомкам; хотя он явился в Египет всего с семьюдесятью (членами семьи), вы теперь достигли уже числа более шестисот тысяч человек. Отныне же знайте, что Я помышляю как об общем благе вашем, так и в частности о твоей личной славе, потому что ребенок, из-за которого египтяне решили убивать всех рождающихся израильских мальчиков, будет именно твоим сыном. Он останется скрытым от лиц, подстерегающих его с целью загубить его, необычайным образом будет воспитан и освободит народ еврейский от египетского ига. Этим он на вечные времена оставит о себе славную память не только среди евреев, но и у иноплеменников.

Такую милость явлю Я тебе и потомкам твоим. Кроме того, будет у него такой брат, который сохранит на вечные времена вместе со своим потомством священство мое»³⁹.

4. Проснувшись после этого сновидения, Амарам сообщил о нем Иоахаведе, жене своей. Однако страх их лишь усилился вследствие этого сновидения, потому что они теперь не только беспокоились о ребенке, но и относительно необычайного величия его в будущем. Впрочем, подтверждением предвещания Господа Бога послужили уже самые роды жены (Амарама), так как ей удалось скрыть их от соглядатаев, вследствие легкости и безболезненности родового процесса⁴⁰. Кроме того, (родителям) удалось воспитывать ребенка тайно у себя в продолжение трех месяцев⁴¹. Затем, однако, Амарам стал бояться, как бы это дело не обнаружилось и как бы он, навлекши на себя гнев царя, не пострадал вместе с ребенком и тем помешал бы осуществлению предсказания Господа Бога. Поэтому он предпочел предоставить спасение дитяти и заботу о нем Предвечному, чем, положившись на это скрывание (которое, кроме того, было ненадежно), подвергать опасности не только тайно воспитываемого ребенка, но и самого себя, тем более что, по его убеждению, Господь Бог и Его слова представляют полную гарантию и наверно оправдаются. Порешив это, родители сделали тростниковую плетеную корзиночку, наподобие колыбельки, такой величины, чтобы удобно было поместить туда младенца. Замазав ее смолою, которая по природе своей препятствует проникновению внутрь воды, они положили в корзину ребенка и, спустив на реку, предоставили его спасение Господу Богу. Река подхватила и понесла корзину, Мариамма же, сестра ребенка, по приказанию матери шла по берегу, чтобы посмотреть, куда течение понесет корзину⁴². Тут-то Господь Бог и показал, что человеческие расчеты совершенно несостоятельны, что все, чего бы Он сам ни пожелал, доводится до благополучного разрешения и что те, кто из личного интереса готовит другим погибель, даже при самом большом со своей стороны рвении, ошибаются в своих расчетах, тогда как уповающие на предопрделение Предвечного находят неожиданное спасение и благополучие, несмотря на величайшие затруднения и опасности. Судьба именно этого ребенка служит наглядным доказательством всемогущества Господа Бога.

5. У царя была дочь именем Фермуфис⁴³. Гуляя по берегу реки и увидав корзинку, увлекаемую течением, она послала пловцов с приказанием доставить ее ей. Когда посланные вернулись с корзиной и царица увидела ребенка, она полюбила его за его величину и красоту. Таково было попечение Господа Бога о Моисее, что воспитать и заботиться о нем пришлось как раз тем людям, которые решили погубить прочих еврейских мальчиков ради того, чтобы воспрепятствовать именно его рождению. Фермуфис тотчас повелела привести женщину, которая дала бы грудь ребенку. Но когда последний не хотел принимать груди и отказывался от множества женщин, бывшая при этом Мариамма подошла как бы случайно и как бы из любопытства и сказала: «Напрасно, царица, призываешь ты этих женщин для кормления ребенка, они ведь не одного с ним племени; если же ты велишь призвать одну из еврейских женщин, то он немедленно примет родную грудь». Признав это замечание правильным, дочь царя приказала (девушке) пойти за (еврейскою) кормилицею. Воспользовавшись этим случаем, та вскоре явилась обратно в сопровождении никому из присутствовавших не знакомой матери своей. Так как младенец с удовольствием взял у нее грудь, то царица вполне доверила ей воспитание его⁴⁴.

6. От того, что он был брошен в реку и вытащен из нее, ребенок получил и свое имя, так как египтяне называют воду *мо* (μω), а спасенных — *исей* (ισης). Сложив эти два слова, они дали их ему в виде имени⁴⁵. Сообразно предсказанию Господа Бога, Моисей вскоре по общему отзыву стал вследствие силы ума своего и презрительного отношения к трудностям всякой работы одним из лучших представителей еврейства. (Аврам был его седьмым предком; сам Моисей был сыном Амарама, этот — сын Каафа, отцом которого является Леви, сын Иакова, сына Исака, который, в свою очередь, был сыном Аврама⁴⁶.) Ум его развивался несообразно с его возрастом, так как тот соответствовал бы по силе более зрелым годам. Мощь этих способностей обнаруживалась (у него) уже в раннем детстве, и тогдашние поступки его уже свидетельствовали о том, что в зрелом возрасте он совершит гораздо более необычайные вещи. Когда ему минуло три года, Господь даровал ему необыкновенный для таких лет рост, и к

красоте его никто не только не был в состоянии относиться равнодушно, но все при виде Моисея непременно выражали свое изумление. Случалось также, что когда ребенка несли по улице, многих из прохожих поражал взгляд его настолько, что они оставляли дела свои и в изумлении останавливались, глядя ему вслед, настолько сильно его детская красота и милость привлекали внимание всех⁴⁷.

7. Не имея собственных детей, Фермуфис ввиду таких его качеств усыновила его. Приведя Моисея однажды к отцу своему, она указала на него как на своего желанного наследника, потому что по воле Господа Бога ей не суждено иметь родного сына⁴⁸. При этом она сказала отцу: «Взрастив этого чудного обликом и благородного по своему духовному развитию ребенка, которого я столь странным образом получила в дар от реки, я задумала усыновить и сделать его (со временем) наследником твоего царства». С этими словами она подала ребенка отцу на руки. Последний взял его и, прижав к груди своей, из желания выказать дочери расположение, надел на него свою диадему. Но Моисей швырнул корону на землю, сорвав ее с себя в детской шаловливости, и стал топтать ее ножками. Это было дурным предзнаменованием для царя. Когда это увидел тот самый ученый, который (когда-то) предсказал, что рождение Моисея будет началом унижения власти египтян, то он бросился (на ребенка) с целью убить его; при этом он громко закричал: «Царь! Это именно тот ребенок, которого Бог велел нам убить, чтобы быть в безопасности. Своим поступком он ведь подтверждает правильность предсказания, глумясь (теперь уже) над твоею властью и топчя ногами твою корону. Поэтому убей его, тем освободи египтян от страха пред ним и обмани надежды евреев, которые вызовет в них эта его смелость». Однако Фермуфис быстро велела убрать ребенка и предупредила исполнение этого совета; к тому же и царь медлил с приказанием убить его, так как к тому побуждал его Господь Бог, который заботился о спасении Моисея⁴⁹. Затем его воспитывали с большою заботливостью. И в то время как евреи возлагали на него все свои надежды, египтяне относились к его воспитанию с подозрением. Но так как не было прямой причины, по которой убил бы его либо царь (вдобавок родственник ему теперь благодаря усыновлению) или кто-нибудь другой, кто

решился бы на это в интересах египтян ввиду известного предсказания, то его никто и не думал убивать⁵⁰.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ⁵¹

1. Затем Моисей, о рождении, воспитании и юности которого было сообщено вышеуказанным образом, доказал египтянам свою доблесть, равно как и то, что он родился для унижения их и для возвеличения евреев. Поводом к этому ему послужило следующее обстоятельство: эфиопы (соседи египтян) ворвались в их страну, похитили у них все имущество и угнали весь скот египтян. В ярости последние пошли на эфиопов походом, чтобы отомстить им за обиду, но, побежденные в битве, одни из них пали, другие же искали спасения в постыдном бегстве на родину. Эфиопы следовали за ними по пятам, считая трусостью не занять всего Египта, еще далее проникли в страну и, вкусив от тамошних благ, уже не хотели более от них отказаться. Напав поэтому сперва на пограничные области, которые не осмелились оказывать им сопротивление, они дошли до Мемфиса и до самого моря, причем ни один город не смог противостоять пред ними. Стесненные таким грустным оборотом дел, египтяне прибегли к вопрошанию оракулов и к прорицаниям. Бог их посоветовал им обратиться за помощью к евреям, и фараон потребовал у своей дочери выдачи Моисея, чтобы он послужил ему в качестве военачальника. Царевна предоставила Моисея отцу, заставив последнего поклясться, что юноша не подвергнется с его стороны никакому насилию; на эту просьбу о помощи она смотрела как на великое (оказываемое ею стране) благодеяние и стала упрекать жрецов, которые советовали убить Моисея, в том, что они теперь не стыдятся просить его о помощи.

2. Упрощенный Фермуфис и фараоном, Моисей усердно взялся за это дело. Равным образом радовались и ученые книжники обоих народов: египетские — тому, что теперь, когда они, благодаря доблести Моисея, победят врагов, им представится возможность избавиться и от него каким-нибудь коварным способом; еврейские — тому, что у них возникла надежда на освобождение от египтян под предводительством Моисея. Желая предупредить врагов раньше, чем

они могли бы узнать об его на них нападении, Моисей отправил против них войско не морским путем, но сухопутным. При этом он дал образчик своего изумительного ума. Дело в том, что путешествие по суше представляло большие затруднения ввиду множества змей. Их там страшное обилие, причем существуют и такие, которые в других местах нигде не водятся и отличаются силою, злокачественностью и безобразным видом; некоторые из них вдобавок обладают крыльями, так что не только могут оказать вред, крадучись по земле, но и, налетая сверху, нападать на людей, которые того совершенно не ожидают. И вот Моисей придумал для большей безопасности и спокойствия войска следующее удивительное средство: он велел приготовить плетеные коробки из тростника, наполнить их ибисами и взять с собою. Эти птицы очень враждебно относятся к змеям, которые быстро удаляются при их появлении, но, попавшись ибисам, налетающим на них с быстротою оленя, уносятся и пожираются последними. При этом ибисы легко приручаются, не изменяя своего отношения только к змеям. Впрочем, так как греки хорошо знакомы с этими птицами и их внешностью, я не буду здесь останавливаться на их описании. И вот, когда Моисей добрался до местности, где водятся змеи, он стал выпускать ибисов на змей и пользовался их борьбой, чтобы оградить свое войско. Совершая таким образом переход, Моисей нагрянул на эфиопов раньше, чем они могли предполагать это. Затем он сошелся с ними в бою, победил их и отнял у них всякую надежду на подчинение египтян. Немедленно за этим он двинулся на города эфиопские и при завладении ими произвел большую резню среди жителей. Увидев такое геройство Моисея и уже почувствовав его результаты, египетское войско перестало теперь страшиться всяких затруднений, так что для эфиопов оставался лишь печальный выбор между пленом или полнейшим разорением. Наконец они были оттиснуты в главный город Эфиопии Саву, который Камбиз впоследствии переименовал в честь своей родной сестры в Мерое⁵², и подверглись здесь осаде. Это место было почти неприступно, так как с одной стороны его обтекал полукругом Нил, с другой же стороны две других реки, Астап и Аставор, своим течением отрезали наступающим доступ. Внутри же, на острове, находился самый город, окру-

женный крепкою стеною; и хотя реки служили ему достаточным оплотом против врагов, тут возвышались за стенами еще огромные искусственные валы, которые должны были служить более надежною защитою против напора воды при разливе и делали врагам взятие города крайне затруднительным, если бы им даже удалось переправиться через реки. И вот, пока Моисей с крайним неудовольствием видел тут бездействие своего войска (так как враги не решались вступить в бой), с ним случилось следующее происшествие. У эфиопского царя была дочь Фарбис. Видя, как близко Моисей подводит войско свое к стенам (города) и как он храбро сражается, и удивляясь его необычайно умелым распоряжениям, поняв, что благодаря ему египтяне, потерявшие было свою свободу, теперь снова ее себе вернули и пользуются таким успехом, тогда как столь гордившиеся своими удачами эфиопы стеснены и подвергаются крайней опасности, она вспылала безумною страстью к Моисею. Так как это чувство все более и более овладевало ею, она решилась послать к Моисею самых верных слуг своих для переговоров о браке. Когда он поставил условием для этого сдачу города и дал клятвенное обещание, что он, женившись на царевне и заняв город, не нарушит договоров, то тотчас же было приступлено к делу. Возблагодарив после покорения эфиопов Господа Бога, Моисей вступил в брак и повел египетское войско обратно на родину.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Те же, которые спаслись благодаря Моисею⁵³, почувствовали к нему еще большую ненависть и еще более страстно стремились привести в исполнение свои коварные намерения относительно него, так как боялись, что Моисей ввиду своего успеха задумает совершить государственный переворот в Египте. Ввиду этого они стали советовать царю убить его. Царь и сам по себе уже подумывал об этом, отчасти оттого, что завидовал военным удачам Моисея, отчасти же из страха быть свергнутым им. Когда же его к этому подстрекнули также и книжники, фараон окончательно решил избавиться от Моисея. Узнав заблаговременно об этом коварном замысле, последний, однако, тайно бежал, а так как все доро-

ги были оберегаемы стражею; то он направил путь свой по пустыне и таким местам, где он не рисковал попасться в руки врагам. И хотя он терпел недостаток в пище, он благодаря стойкости своего характера все-таки уходил, не обращая внимания на бедствия. Прибыв наконец к городу Мадиеву, лежащему у Чермного моря⁵⁴ и носившему свое имя по одному из сыновей Аврама от Хетуры, он присел недалеко от города около ближайшего колодца, чтобы отдохнуть от усталости и изнурения. Дело было в полдень. Тут, благодаря тамошним обычаям, Моисею представился случай совершить деяние, которое обнаружило всю его добродетель и доставило ему возможность устроиться значительно лучше.

2. Так как в той местности чувствовался недостаток в воде, то пастухи наперерыв друг перед другом старались овладеть колодцами, чтобы стада не оставались без воды, если другие вычерпают ее раньше их. И вот к тому колодцу пришли семь девушек-сестер, дочери священнослужителя Рагуила, пользовавшегося большим почетом у тамошних жителей. Они стерегли стадо отца своего, так как это дело, по обычаю жителей Троглодиты, лежит также на обязанности женщин⁵⁵. Придя раньше других к колодцу, они стали накачивать воду для своих стад в желоба, которые были сделаны для спуска влаги. Когда же затем появились пастухи и стали отгонять девушек, чтобы самим овладеть водою, Моисей счел позорным относиться хладнокровно к оскорблению девушек и позволить, чтобы сила этих мужчин восторжествовала над нравом девушек; поэтому он оказал последним необходимую поддержку и отогнал желавших прибегнуть к насилию пастухов. Получив от Моисея такую поддержку, девушки возвратились к отцу своему, рассказали ему о насилии пастухов и о помощи со стороны чужестранца и просили вознаградить последнего за его добрый поступок, не откладывая этой благодарности. Рагуил сердечно отнесся к чувству благодарности дочерей своих, которое они питали к человеку, оказавшему им поддержку, и велел привести к себе Моисея, чтобы должным образом отблагодарить его. Когда Моисей явился, то старик сообщил ему, как дочери отнеслись к оказанной им помощи, а затем, выразив ему свою признательность за его доброе дело, сказал, что он оказал поддержку отнюдь не людям, которые могли бы безразлично отнестись к этому, но таким,

которые способны чувствовать благодарность и сумеют своей признательностью еще превзойти оказанную им услугу.

Затем он принял Моисея к себе в дом как сына и дал ему в жены одну из дочерей своих; вместе с тем он назначил его заведующим и хозяином всех стад своих (которые в древности у варваров составляли все их богатство)⁵⁶.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Будучи так хорошо принят Иофором (таково было прозвище Рагуила), Моисей остался у него пасти его стада. Спустя некоторое время он однажды погнал скот на гору Синай, которая выше всех тамошних вершин и представляла особенно хорошее пастбище, так как там росла отличная трава. Ввиду существования поверья, что тут обитает божество, травы этой не трогали и пастухи не решались вступать на эту гору. Тут Моисею представилось необычайное зрелище.

Терновый куст стоял весь в огне, причем пламя не касалось ни окружавшей его травы, ни цветов; также и зеленые ветви куста оставались невредимыми, хотя пламя было очень сильное и большое. Моисей испугался при виде этого необычайного зрелища, но был поражен еще более, когда услышал раздавшийся из огня голос, назвавший его по имени и вступивший с ним в разговор. Тут Моисею была указана дерзость, с которой он решился вступить в местность, на которую раньше, вследствие ее святости, не дерзал вступать ни один смертный, и был дан совет отойти как можно дальше от пламени и, как богобоязненному человеку и потомку великих мужей, удовольствоваться виденным, а не стараться глубже проникнуть в смысл всего этого. При этом голос предсказал Моисею также его будущую славу и почести, которые он стяжает себе при помощи Господа Бога среди людей, и повелел ему смело вернуться в Египет, стать тут начальником и руководителем еврейской престонародной массы и освободить своих соплеменников от тех унижительных притеснений, которым они там подвергаются. «Ведь они будут населять ту счастливую страну, — продолжал раздаваться голос, — в которой жил предок ваш Аврам, и будут пользоваться всеми ее благами. Все это доставишь им ты своим умным руководством». Когда же он выведет евреев из Египта, то ему

повелевается принести в этом самом месте благодарственную жертву. Так вещал голос из огня.

2. Пораженный всем виденным, а еще более услышанным предвещанием, Моисей сказал: «Не доверять могуществу Твоему, Господи, перед которым я преклоняюсь и которое Ты, как я знаю, явил нашим предкам, я считал бы безумием и несовместимым с моим рассудком. Тем не менее я недоумеваю, как мне, лицу частному и не пользующемуся никаким влиянием, уговорить моих соплеменников покинуть страну, которую они теперь населяют, и последовать за мною туда, куда я поведу их; далее, если бы мне даже удалось уговорить их к тому, то каким образом заставлю я фараона согласиться на такой исход людей, на трудах и работах которых египтяне основывают свое собственное благосостояние?»

3. Но Господь Бог посоветовал Моисею быть увереннее и обещал лично помочь, даровав ему, где нужно будет, красноречие, а где потребуется наглядный пример — соответствующую силу. При этом для большей убедительности Своего обещания Господь Бог повелел Моисею бросить на землю посох⁵⁷. Когда он это сделал, то посох обратился в змею, которая стала извиваться спиралью, подняла голову, как бы готовясь защититься от нападающих, а затем опять обратилась в посох. После этого Господь Бог повелел Моисею сунуть правую руку за пазуху. Сделав это, Моисей вынул ее, и она была бела и похожа по цвету на известь, но потом опять обратилась в прежнее обычное свое состояние. Далее Господь приказал взять где-нибудь поблизости воды и вылить ее на землю, и он увидел, что вода обратилась в жидкость, похожую на кровь. Изумленного всем этим Моисея Господь убедил быть посмелее и верить в то, что Предвечный будет ему всегда его самым могущественным покровителем; «и ты будешь применять во всевозможных случаях эти чудеса для того, чтобы убедить людей, что ты послан Мною и совершаешь все сообразно Моему повелению. Итак, Я приказываю тебе без замедления поспешить в Египет, не отдыхать ни днем, ни ночью, чтобы потерю здесь времени не заставлял евреев еще дольше томиться в их рабстве».

4. Не имея причины не доверять тому, что возвестил ему Господь Бог, и лично увидев и услышав такие достоверные вещи, Моисей возблагодарил Предвечного и просил Его да-

ровать ему чудодейственную силу также и в Египте. При этом он умолял также Господа Бога не отказать ему сообщить Его собственное, настоящее, имя, чтобы он знал и Его, так как Предвечный уже удостоил его Своим разговором и лично показался ему. Тогда он при жертвоприношениях будет обращаться к Нему с подобающим Ему воззванием⁵⁸. И Господь Бог раскрыл Моисею Свое настоящее, раньше людям неизвестное имя. Но говорить о нем я не смею⁵⁹.

Моисей же получил возможность совершать эти чудеса не только на данный случай, но и навсегда, когда в том представилась бы надобность. Все это его еще более убедило в истинности божественного обещания из огненного куста и в необходимости полного упования на поддержку со стороны Господа Бога; он укрепился еще более в надежде на спасение своих соплеменников и на то, что Предвечный накажет египтян⁶⁰.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Узнав, что умер царь египетский, фараон, от которого он некогда бежал, Моисей стал просить у Рагуила разрешения вернуться в пользу своих соплеменников в Египет. Взяв затем жену свою Сапфору⁶¹, дочь Рагуила, и сыновей своих от нее, Герсона и Елеазара, Моисей отправился в Египет. Что касается имен сыновей, то Герсон означает на еврейском языке, что он прибыл в чужую страну, Елеазар же — что он бежал от египтян при содействии родного своего Бога⁶². Недалеко от границы Египта, по повелению Господа Бога, встретился Моисею брат его Аарон, которому он тотчас сообщил все, приключившееся с ним на горе, а также поручения, данные ему Предвечным. Когда они совершили еще часть пути, то навстречу им вышли самые родовитые из евреев, которым было уже сообщено о прибытии Моисея. Когда последний рассказал и им о цели своего прибытия и они не хотели поверить словам его, то он убедил их представленными им чудесами. Пораженные этим неожиданным и невиданным зрелищем, евреи воспрянули духом и стали твердо надеяться, что Господь Бог позаботится об их спасении.

2. После того как Моисей таким образом уже успел склонить на свою сторону евреев, получил от них согласие на беспрекословное повиновение его приказаниям и увидел, что

они действительно жаждут свободы, он явился к царю⁶³, лишь недавно вступившему во власть, и стал излагать ему, какую услугу оказал он египтянам, когда те были унижены эфиопами и когда страна их подверглась разграблению, как он подвергал себя за них, как будто за родных своих единоплеменников, трудам и опасностям войны и как он за все это не получил от них должного воздаяния. Затем он подробно сообщил царю все, случившееся с ним на горе Синай, как говорил с ним Господь Бог и какие чудеса были явлены Им для подтверждения основательности повелений Его. Далее Моисей стал просить фараона отнестись с доверием ко всему этому и не противиться (столь явно выраженному) желанию Господа Бога.

3. Когда же царь начал глумиться над этим, Моисей на деле дал ему возможность своими глазами увидеть те чудеса, которые произошли на горе Синай. Однако царь рассердился и назвал его гнусным обманщиком, который бежал когда-то от египетского рабства, а теперь хитро обставил свое возвращение и пытается своими фокусами и магическими представлениями ввести людей в заблуждение. С этими словами он одновременно отдал приказ жрецам показать Моисею те же самые чудесные вещи, чтобы он убедился, что и в этой науке египтяне достаточно сведущи (и чтобы он не считал себя единственным обладателем такой божественной силы; он ведь показывает свои необычайные вещи лишь для того, чтобы заручиться доверием необразованного простонародья). Затем жрецы⁶⁴ бросили свои посохи на землю, и они обратились в змей. Моисей, однако, не смутился этим и сказал: «Я, царь, нисколько не умаляю египетской мудрости; но тем не менее я заявляю, что совершаемое здесь мною настолько же лучше и выше магических опытов этих людей, насколько отличны деяния Господа Бога от человеческих. Поэтому я сейчас покажу, что мои чудеса не фокусы и не только похожи на чудеса, но на самом деле совершаются по желанию и в силу могущества Господа Бога». С этими словами он бросил свой посох на землю, приказав ему обратиться в змею. Посох повиновался, набросился на посохи египетские, которые только казались змеями, и один за другим поел их все. Когда он затем принял опять свой обычный вид, Моисей поднял его.

4. Однако царь нисколько этим не был поражен, но рассердился еще более, сказал, что Моисей не добьется своим умением и ловкостью ничего от египтян, и повелел лицу, постановленному для надзора за евреями, не давать последним ни малейшего отдыха от работы, но притеснять их сильнее прежнего. Раньше надзиратель давал им солому для выделки кирпичей, а теперь прекратил и эту выдачу, так что днем заставлял их томиться над работой, а ночью собирать солому. И так как евреи очутились таким образом в вдвойне тягостном положении, то они стали упрекать Моисея как виновника того ухудшения, которое произошло в их бедственном положении. Последний же не пугался угроз царя и не поддавался жалобам евреев, но, вооружившись твердостью духа, решил подвергнуться любым испытаниям для того, чтобы доставить своим единоплеменникам свободу. Представ поэтому снова перед фараоном, он старался склонить его отпустить евреев к горе Синайской, для того чтобы они там могли совершить жертвоприношение Господу Богу, как это было повелено Предвечным, и убеждал царя не противиться воле Господней, но предпочесть исполнение Его желаний всему прочему и разрешить евреям исход; иначе, в случае запрещения, фараону придется приписать самому себе все то горе, которое неизбежно постигает всякого, противодействующего повелениям Господа Бога. Ведь на тех, кто навлекает на себя гнев Предвечного, отовсюду обрушиваются бедствия: земля и воздух становятся к ним во враждебные отношения, рождение детей перестает совершаться нормальным путем, все объявляет им войну и распрю. Все это придется испытать египтянам, говорил он, и тем не менее народ еврейский, хотя бы и против их желания, в конце концов все-таки покинет их страну⁶⁵.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. Так как фараон глумился над словами Моисея и не думал придавать им серьезного значения, то египтян поразили ужасные бедствия. Последние я подробно опишу каждое в отдельности, отчасти потому, что постигшие египтян ужасы раньше не были испытаны ни одним народом, отчасти для того, чтобы показать, что решительно все предсказания Мо-

исея вполне оправдались, отчасти, наконец, оттого, что людям вообще полезно ознакомиться с этим и научиться избегать совершения таких поступков, какие позволили себе египтяне, — не оскорблять Господа Бога и не побуждать Его в гневе наказывать их злодеяния. Итак, по повелению Предвечного вода в реке обратилась в кровь, так что ее невозможно было пить; между тем у египтян не было другого источника влаги. При этом вода не только по цвету стала похожа на кровь, но и по качеству своему, так как у всех, кто пытался напиться ее, вызывала сильные боли и резь. Но таково было действие ее лишь по отношению к египтянам; для евреев же она оставалась сладкой и вполне для питья пригодной и несколько не изменялась в своем составе. Это необычайное явление настолько подавило фараона, что он, боясь за участь народа, согласился на исход евреев. Но лишь только бедствие прекратилось, он снова отменил свое решение и отказался отпустить их.

2. Тогда Господь наслал на египтян второе бедствие, так как фараон не изменял своего мнения и не хотел образумиться даже после прекращения постигшего народ первого несчастья. Страну наводнило несчетное множество лягушек, которыми была переполнена и река, так что люди, бравшие воду, могли получить лишь жидкость, насыщенную остатками околевших в воде и заражавших ее таким образом животных. И вся страна была страшно загрязнена, так как лягушки рождались и околевали, и домашний обиход стал невозможен, потому что их находили в пище и в питье, и они прыгали по постелям. Вместе с тем повсюду распространялось невообразимо страшное зловоние от околевавших и разлагавшихся лягушек. Так как египтяне очень страдали от этого бедствия, то фараон велел Моисею и всем евреям покинуть страну. Лишь только было дано это приказание, как вся масса лягушек исчезла, и земля и река приняли обычный свой вид. Но не успела страна избавиться от этого бедствия, как фараон уже забыл о причине последнего, стал удерживать евреев и, как будто желая испытать еще гораздо больше неприятностей, окончательно запретил Моисею и его единоплеменникам исход, который он первоначально им разрешил, скорее, впрочем, из страха, чем по здравому рассуждению.

3. Тогда Господь Бог в воздаяние за его обман ответил

царю новой напастью. Во внутренностях египтян зародилось несчетное количество вшей, от которых мучители гибли в страшных страданиях, так как не были в состоянии избавиться от них ни омовениями, ни целебными мазями. Устрашившись этого отчаянного бедствия, боясь, как бы весь народ не погиб, и приняв в соображение весь позор такого рода гибели, фараон египетский отчасти пришел в сознание, был принужден внять голосу благоразумия и разрешил самим евреям исход, но вместе с тем, лишь только бедствие прекратилось, потребовал от них оставления жен и детей в качестве заложников. Но этим он возбудил против себя гнев Предвечного в еще большей степени, так как рассчитывал обмануть Провидение, как будто не Оно, а Моисей наказывал египтян за евреев. Поэтому страну наводнило множество различных раньше никем не виданных животных, от которых гибла масса народа и которые не давали земледельцам возможности обрабатывать поля, остававшиеся, таким образом, невозделанными. Если же кто и избегал смерти от них и оставался в живых, то погибал вскоре затем от болезни.

4. А так как фараон все-таки не хотел подчиниться желанию Господа Бога, но, разрешая женщинам уйти вместе с мужьями, требовал оставления в стране детей, то Предвечный не переставал наказывать его за его гнусность многоразличными новыми и более тяжелыми, чем раньше, бедствиями. Так, например, тела египтян покрылись страшными гнойными язвами, которые разрушали все внутренности; от этого погибло большое множество народа. Но так как и от этого бича фараон не образумился, то пошел такой крупный град, какого раньше никогда не было в Египте и какого не бывает в других местностях даже зимой; он был гораздо крупнее того, какой замечается в северных странах даже самой холодной зимой⁶⁶, так что он побил все плоды их. Затем на оставшиеся не тронутыми градом посеvy набросилась саранча, и последние надежды египтян на какой бы то ни было урожай рушились.

5. Конечно, всякому другому, который, помимо злобы, не отличался бы также и безрассудством, указанных бедствий было бы вполне достаточно, чтобы прийти в себя и окончательно понять сущность положения вещей. Между тем фараон не столько от невежества, сколько из природной гнуснос-

ти добровольно отказывался от лучшей участи и сам вредил себе; хотя он понимал причину этих бедствий, он тем не менее противился Господу Богу. Правда, он позволил Моисею вывести из страны евреев с женами и детьми, но вместе с тем приказал им оставить свое имущество (в пользу египтян), так как имущество последних погибло (во время описанных бедствий). Когда же Моисей стал указывать на всю несправедливость этого требования (тем более что имущество было евреям необходимо хотя бы только для того, чтобы из него совершать жертвоприношения Господу Богу) и за переговорами об этом терялось понапрасну время, египтяне были внезапно окутаны плотной непроницаемой мглой, так что они перестали видеть что-либо, а также, будучи стеснены, вследствие густоты воздуха, в своем дыхании, должны были беспомощно умирать или постоянно бояться задохнуться от такого густого тумана. Когда наконец, по прошествии трех дней и стольких же ночей, мгла рассеялась, но фараон все еще не изменил своего решения относительно выхода евреев, Моисей явился к нему и сказал: «Доколе будешь ты противиться воле Господней? Предвечный ведь повелевает тебе отпустить евреев. Иначе вам (египтянам), если вы не послушаетесь Его, не избавиться от этих бедствий». В ярости от этих слов Моисей царь пригрозил ему отсечением головы, если он осмелится явиться к нему еще раз с подобными назойливыми приставаниями. На это Моисей ответил, что он более уже не будет попусту терять на этот счет слова, но что со временем сам фараон с главнейшими египетскими сановниками попросит евреев покинуть страну.

6. С этими словами он ушел от царя. Предвечный же, решив еще одним бедствием принудить египтян отпустить евреев, повелел Моисею заявить народу, чтобы он держал наготове жертвоприношения, приготавлился с десятого до четырнадцатого дня месяца Ксанфика, который у египтян носит название Фармуфи, у евреев Нисан, а у македонян называется Ксанфиком, а затем выступал в поход, захватив с собой все необходимое. Моисей поэтому приготовил евреев к выступлению, распределил их по коленам и держал их вместе. Когда же наступило четырнадцатое число, то все, приготавливаясь к выступлению, совершили жертвоприношение, с помощью метелки окропили кровью жертвенных животных

дома свои, употребив для нее виссон, совершили жертвенную трапезу и сожгли остатки мяса, как будто собирались немедленно выступить в путь. Отсюда до сих пор еще у нас сохранился обычай жертвоприношения, который, как и связанный с ним праздник, мы называем Пасхой, что значит переход, потому что в тот вечер Господь Бог поразил египтян болезнью, но прошел мимо евреев и пощадил их. В ту ночь напала на все перворожденное у египтян чума, так что многие, жившие вблизи царского дворца, собрались к фараону и стали требовать от него, чтобы он отпустил евреев. И действительно, призвав Моисея, царь приказал ему вывести евреев из страны, так как предполагал, что если они уйдут, то и бедствия Египта прекратятся. Население сделало евреям даже подарки отчасти для того, чтобы тем ускорить исход их⁶⁷, отчасти же также на память о взаимных добрых соседских отношениях⁶⁸.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Таким образом евреи вышли из Египта, причем египтяне плакали и сожалели, что обходились дурно с ними. Они направили путь свой через Летополь, местность в то время пустынную, но где впоследствии, при нашествии на Египет Камбиза, был основан город Вавилон⁶⁹. Так как они подвигались вперед быстро, то уже на третий день достигли Вельсефонта на Черном море⁷⁰. Но в этой пустынной стране, по которой они теперь проходили, им не удалось найти никаких съестных припасов, и они должны были поэтому удовольствоваться хлебом, наскоро приготавливаемым из муки и воды и лишь немного пропеченным. Этой пищей они питались тридцать дней, потому что на более продолжительное время им не хватало взятых из Египта припасов; притом им приходилось в высшей степени экономно обходиться с этой пищей, пользуясь ею только в крайнем случае и лишь для того, чтобы кое-как насытиться. Отсюда, в воспоминание тогдашней нужды, мы празднуем восьмидневный праздник, называющийся «временем опресноков»⁷¹. Все количество народа, ушедшего из Египта вместе с женщинами и детьми, не поддавалось счету; одних мужчин, достигших возраста, в котором можно было носить оружие, было шестьсот тысяч.

2. Покинули они Египет в месяце Ксанфике, на пятнадцатый день по обновлении луны, четыреста тридцать лет спустя после прихода праотца нашего Аврама в Хананею и двести пятнадцать лет после переселения Иакова в Египет. Моисею тогда было уже восемьдесят лет, а брат его Аарон был тремя годами старше его. При выходе из Египта они захватили с собою также и бранные останки Иосифа, сообразно повелению, которое последний некогда дал сыновьям своим⁷².

3. Между тем египтяне вскоре раскаялись в том, что дали евреям возможность уйти, и так как особенно фараон был расстроен этим, приписывая все случившееся обманному волшебству Моисея, то было решено пуститься за евреями в погоню. Взяв оружие и приготовившись к походу, египтяне приступили к преследованию, чтобы вернуть евреев назад, если бы удалось настичь их. При этом египтяне были того мнения, что раз евреям было разрешено оставить Египет, они теперь уже более не будут молиться Господу Богу своему, а так как евреи безоружны и утомлены путешествием, то рассчитывали справиться с ними без особенного затруднения. Спрашивая поэтому у всех встречных, куда направились евреи, они быстро подвигались вперед, хотя эта страна и представляла не только для целого войска, но и для отдельного одинокого путешественника огромные трудности. Моисей же преднамеренно повел евреев именно по этому пути, для того чтобы египтяне, если бы вздумали изменить свое решение и захотели бы пуститься в погоню, подверглись заслуженному наказанию за такую гнусность и нарушение данного слова. С другой же стороны, он хотел по возможности скрыть свой уход от палестинцев⁷³, так как эти были издавна во вражде с евреями, а страна их близко примыкала к границам Египта. Поэтому-то он и не повел народ свой по прямому пути в Палестину, но, выбрав более продолжительный и трудный путь по пустыне, рассчитывал вторгнуться в Хананею, тем более что и Господь Бог повелел повести евреев к горе Синаю, чтобы там совершить жертвоприношение. Настигнув наконец евреев, египтяне построились в боевой порядок и благодаря своей огромной численности стеснили их на небольшом пространстве, что было тем легче, что у египтян было двести тысяч тяжеловооруженных, за которыми следовали шестьсот колесниц и пятьдесят тысяч всадников.

И вот они отрезали все пути, по которым, по их расчетам, могли бы бежать евреи, и заключили последних между недоступными скалами и морем. Дело в том, что к самому морю (в том месте) подходит совершенно недоступная, почти отвесная гора, мешающая какому бы то ни было бегству. Таким образом египтяне замкнули евреев в пространстве между горой и войском и заняли своим лагерем выход отсюда на открытую равнину.

4. Так как евреи не обладали необходимыми съестными припасами, чтобы выдержать такого рода осаду, и не видели возможности бегства, да и, кроме того, если бы и захотели сражаться, совершенно не располагали нужным для того оружием, то им приходилось либо оставить всякую надежду на спасение, либо добровольно сдаться египтянам. И вот они, забыв о всех необычайных явлениях, ниспосланных им Господом Богом для того, чтобы вернуть им свободу, стали обвинять в своем несчастье Моисея и дошли в своем недоверии до того, что хотели даже побить камнями пророка, который их довел до этого, хотя возвещал им спасение; вместе с тем они решили сдаться египтянам. Велик был плач и вопль женщин и детей, видевших пред собой верную гибель, так как они были заключены между горой и морем и не было никакой возможности бежать куда бы то ни было.

5. Но хотя народ был так возбужден против него, Моисей все-таки не переставал заботиться о нем и не отчаивался в помощи Господа Бога, который ведь уже и раньше для достижения свободы даровал им все, сообразно обещанию своему, и теперь не допустит до того, чтобы враги одолели их и отвели назад в рабство или на погибель. Поэтому, войдя в толпу народную, Моисей обратился к ней со следующими словами: «Было бы несправедливо с вашей стороны, если бы вы стали не доверять людям, которые до сих пор отлично вели дела ваши, и если бы стали полагать, что они будут в будущем держаться к вам другого образа действий. Величайшим же безумием было бы теперь отчаиваться вам в помощи Господа Бога, от которого вы достигли всего того, что Он чрез меня обещал вам сделать в смысле вашего спасения и освобождения от рабства, даже без того, чтобы вы на это сами рассчитывали. Напротив, чем больше вы стеснены, тем более вам следует надеяться на помощь от Господа Бога, который и

теперь поставил вас в столь затруднительное положение для того лишь, чтобы вас самих, уже ниоткуда не рассчитывающих на спасение, и притом неожиданно для врагов, избавить от этого бедствия и тем проявить, с одной стороны, свою силу, а с другой — показать вам свою о вас заботливость. Ведь Божество являет свою поддержку тем, к кому Оно благоволяет, не в малых делах, но в тех случаях, когда видит, что люди потеряли уже всякую надежду на улучшение своего действительно бедственного положения. Поэтому доверьтесь такому мощному Покровителю, который в силах сделать из малого большое и который может обратить в ничто и сделать бессильным даже такое количество людей (как египетское войско); не пугайтесь ратного ополчения египтян и не отчаивайтесь в своем спасении только оттого, что море и гора видимо лишают вас возможности бегства: если пожелает Господь Бог, то и горы обратятся для вас в равнины и море в сушу»⁷⁴.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1. Сказав это, Моисей повел евреев на глазах египтян к морю. Последние не теряли евреев из виду, но так как были утомлены тягостями погони, то сочли уместным отложить решительный бой до следующего дня. Когда же Моисей достиг берега моря, то схватил свой посох и стал взывать к Господу Богу о помощи и покровительстве следующими словами: «Ты Сам, Господи, знаешь, что не в силах человека или по присущему последнему уму выпутаться из настоящего стесненного положения нашего. Но в Твоих силах явить теперь уже полное спасение этому народу, который по Твоему желанию покинул Египет. Мы сами потеряли всякую надежду на то, чтобы собственными силами спастись, и можем ныне прибегнуть единственно к Тебе и с ожиданием взираем на Твое Провидение, которое одно сможет спасти нас от гнева египтян. Яви и скорее покажи нам могущество Свое и внуши народу, который в полном отчаянии и готов впасть в ужаснейшие крайности, бодрость и уверенность в спасении. Мы же не находимся в столь бедственном положении, из которого Ты не был бы в состоянии выручить нас: Твое ведь море, Твои отрезающие нам выход горы и по Твоему повелению они раздвинутся; Ты можешь заставить море обратиться в

сушу; и мы могли бы умчаться отсюда по воздуху, если бы Тебе заблагорассудилось явить нам спасение таким образом».

2. Вознеся эти молитвы, Моисей ударил посохом по морю, которое от этого удара раздвинулось и, отступив перед евреями, дало им возможность удалиться по сухому пути. Усматривая в этом явную милость Господа Бога и видя, что море сдвинулось для них с своего собственного места, Моисей первый вступил туда и приказал евреям следовать за собой по устроенному самим Предвечным пути, позволяя им радоваться той опасности, которой подвергались теперь враги, и повелев благодарить Господа Бога, явившего столь неожиданный путь к спасению.

3. Так как народ не задумывался и быстро следовал, уповая на Господа Бога, за Моисеем, то египтяне сперва подумали, что евреи потеряли рассудок, идя на очевидную гибель. Когда же они увидели, что евреи без вреда прошли значительное расстояние, не встретив на пути своем ни препятствий, ни затруднений, они решили броситься за ними в погоню, рассчитывая на то, что и пред ними расступится море. И вот они стали спускаться в него, послав вперед конницу. Пока же египтяне еще вооружались и теряли за это время, евреи успели благополучно добраться до противоположного берега. Это последнее обстоятельство вызвало в египтянах еще больше решимости продолжать погоню, так как они рассчитывали пройти так же свободно (по морю); но при этом они совершенно упускали из виду, что путь этот был создан только для евреев, а не вообще для всех, кто вздумал бы ступить на него, что он возник только для того, чтобы послужить к спасению людей, находившихся в крайней опасности, но не для того, чтобы им могли воспользоваться желавшие гибели евреев. И вот, когда все египетское войско находилось в самой середине моря, последнее вновь сомкнулось, и вздувшиеся от ветров волны всею силою своею рушились обратно на египтян и нахлынули на них. В то же самое время с неба потекли потоки дождя, раздались раскаты грома, и частые молнии засверкали по небу в разных направлениях. Одним словом, тут было все, чего бы Господь Бог в гневе ни насылал на людей; к тому же густой непроницаемый мрак охватил египтян. И таким образом последние все до единого погибли, так что не оставалось даже лица, которое могло бы возве-

стить остальным (жителям Египта) о постигшем войско бедствии.

4. Евреи не были в состоянии удержаться от радости при виде своего чудесного спасения и гибели врагов и были теперь твердо убеждены в том, что они отныне будут свободны, так как притеснявшие и державшие их в рабстве люди были уничтожены, а Господь Бог таким очевидным образом покровительствовал им. И так как они сами избежали теперь опасности, да вдобавок враги их подверглись неслыханному до тех пор и никому раньше не известному наказанию, то они всю ночь провели в веселье и песнях. Моисей же сложил хвалебный шестистопный в честь Предвечного гимн, в котором он прославлял и благодарил Господа Бога за явленную милость⁷⁵.

5. Все это я рассказал совершенно так, как нашел (записанным) в священных книгах. И пусть никто не изумляется необычности рассказа, если для древних людей, которые были гораздо менее испорчены (нынешних), нашелся, либо по желанию Господа Бога, либо само собою, путь спасения даже в море. Ведь вовсе не так давно Памфилийское море⁷⁶ также отступило перед войском македонского царя Александра, которое не имело другого пути, и дало ему возможность пройти, потому что Предвечный решил положить конец владычеству персов. С этим согласны все историки, описавшие деяния Александра. Впрочем, на этот счет каждый может иметь свое собственное мнение.

6. Когда на следующий день течением и силой ветра было прибито к месту стоянки евреев оружие египтян, то Моисей и в этом усмотрел перст Божий, дабы евреи не оставались безоружными, собрал его и вооружил им народ. Затем он повел его к горе Синайской, чтобы принести там благодарственные жертвоприношения Господу Богу за спасение народа, как это ему было повелено раньше.



Книга третья

СОДЕРЖАНИЕ

1. Как Моисей повел народ свой из Египта к горе Синайской и сколь большие бедствия претерпел народ этот в пути.

2. Как амалекитяне напали в союзе с соседними племенами на евреев и как они были отбиты с большим для себя уроном.

3. Как Моисея нашел в пустыне его тесть Иофр.

4. Как Иофр посоветовал Моисею распределить до тех пор неразделенный народ на тысячи и сотни под командой отдельных предводителей и как Моисей послушался этого совета.

5. Как Моисей поднялся на гору Синайскую, принял от Господа Бога Закон и преподал его евреям.

6. О сооруженной Моисеем в пустыне в честь Господа Бога Скинии, подобной храму.

7. О том, какое облачение было назначено священнослужителям и первосвященнику, что было определено относительно жертвоприношений и праздников и как праздновались последние.

8. Как Моисей отошел от Синая, как он довел народ до границы страны Хананейской и как он отправил разведчиков для осмотра этой страны и ее городов.

9. Как разведчики вернулись после сорокадневной отлучки и заявили, что евреям не справиться с хананеянами и их многочисленными военными силами; как народ пал от этого духом и в отчаянии своем чуть не побил Моисея камнями; как народ затем решил вернуться в рабство к египтянам.

10. Как ввиду всего этого Моисей заявил евреям, что Господь Бог в гневе продолжает им срок пребывания в пустыне до сорока лет и что они теперь не вернуться в Египет, но и не овладеют Ханааном.

Вся книга обнимает период в два года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Несмотря на то, что евреи были спасены таким чудесным образом, они все-таки вскоре опять сильно упали духом во время своего путешествия к горе Синайской, так как страна, по которой им приходилось идти, была совершенно пустынна и не доставляла им ничего необходимого для поддержания жизни; тут ощущался крайний недостаток в воде, так

что не только не могло быть и речи о каких-либо удобствах для людей, но и не было никакой возможности доставить скоту необходимое ему пастбище. Страна эта представляет сплошную песчаную пустыню без малейшего признака оазиса, где могло бы произрастать что-либо. Тем не менее евреи по необходимости шли по этой местности, не имея другого пути (к Синаю). Правда, по приказанию своего вождя они брали с собой воду из тех пунктов пути, где таковая находилась, но, когда этот запас истощился, им приходилось с большими вследствие сухости почвы трудностями рыть колодцы и таким путем добывать влагу; но она, если им удавалось находить ее, была в большинстве случаев горька и непригодна для питья; к тому же ее было всегда очень немного.

Совершая таким образом путь свой, они к вечеру прибыли в Мар¹, местность, так названную ими за дурное качество воды (*Мар* значит «горечь»), и решили тут остаться, потому что были очень утомлены продолжительностью путешествия и недостатком в съестных припасах, которые к тому времени также оказались совершенно израсходованными. К тому же тут находился и колодезь (это и послужило главной побудительной причиной к тому, чтобы сделать здесь привал), который хотя и не был в состоянии удовлетворить потребности такого огромного количества людей, тем не менее все-таки несколько освежил и ободрил их тем, что они нашли его даже в такой местности; от высланных же вперед разведчиков они узнали, что поблизости они более уже не найдут никакой влаги. Однако и эта вода оказалась горькою и непригодною для питья, и притом не только для людей, но и для скота.

2. Когда Моисей заметил уныние народа и то, что тут словами не поможешь (ведь он имел дело не с дисциплинированным войском, которое было бы в состоянии противопоставить тягости стесненного положения свою храбрость, но, напротив, вся бодрость мужчин пропадала при виде толпы детей и женщин, конечно, слишком слабых, чтобы поддаваться словесным убеждениям), то он увидел себя в крайне тягостном положении, потому что чувствовал общее бедствие так, как будто бы оно постигло его одного, и это тем более что ни к кому другому, а лишь к нему одному прибегали с мольбою женщины за детей, а мужчины за женщин, чтобы он

подумал о них и нашел какое-нибудь средство к спасению. Тогда Моисей обратился с молитвой к Господу Богу, прося Его обратить эту непригодную воду в хорошую и возможную для питья. Когда Предвечный обещал явить ему и эту милость, Моисей взял кусок дерева, случайно валявшийся у него под ногами, расколол его вдоль и, бросив его в воду, стал уверять евреев, что Господь Бог внял его молитвам и обещал дать им такую воду, какую они желают, если только они немедленно и беспрекословно подчинятся Его приказаниям. Когда же народ его спросил, что им делать, чтобы качество воды улучшилось, Моисей приказал самым сильным мужчинам вычерпывать воду, уверяя, что, когда большая часть колодца будет опорожнена, остальное станет пригодно для питья. Мужчины принялись за работу, и приведенная частыми движениями в чистый вид вода стала наконец пригодной для употребления².

3. Двинувшись отсюда, евреи прибыли в Элин, местность, которая, вследствие имевшихся там пальм, издали казалась очень заманчивой, но вблизи оказалась никуда не годной. Дело в том, что все эти пальмы, которых было никак не более семидесяти, были очень низкого роста и тощи вследствие недостатка воды, так как вся окрестность и здесь представляла песчаную пустыню, и из тех ключей, которых тут было всего двенадцать, почва не могла в достаточной степени орошаться. Родников и, следовательно, влаги было слишком мало, и если разрывали песок, то не находили ее совсем. Если же случайно и попадалась какая-нибудь вода, то она оказывалась по мутности своей совершенно непригодной. Поэтому-то ввиду полного недостатка воды и деревья оказывались бессильными произвести какие бы то ни было плоды³. И вот народ стал опять обвинять вождя своего и укорять его, взваливая на него все испытываемое им теперь горе и все лишения, которым он его подвергает. Дело в том, что за свое тридцатидневное странствование народ съел все захваченные с собой припасы, а так как он на пути не встретил ничего, то был близок к полному отчаянию. Думая только о своем настоящем бедственном положении и совершенно позабыв о той поддержке, которую уже неоднократно оказывал им Господь Бог, равно как о доблести и мудрости Моисея, евреи расвирепели против своего вождя и уже приготовились по-

бить его камнями, как главного виновника их теперешнего бедствия.

4. Хотя народная масса была так возбуждена и столь враждебно настроена против него, Моисей в уповании на Господа Бога и на то, что он лично всегда имел в виду лишь благо своих соплеменников, стал посреди них, несмотря на весь крик их и на то, что они уже держали в руках наготове камни. Так как он отличался внешностью, которая сразу привлекала к нему каждого, и, кроме того, обладал даром убедительно говорить с народом, то он начал с того, что стал успокаивать их, убеждая не забывать, ввиду настоящих своих мытарств, прежних благодеяний Господа Бога, не упускать в теперешнем затруднительном своем положении из виду прежних великих и неожиданных проявлений Его к ним благоволения и поддержки и, наконец, быть в твердой уверенности, что Он, по милости Своей, освободит их и из этого бедственного положения: по всему вероятно, Господь Бог лишь испытывает теперь их мужество, чтобы узнать, насколько в них стойкости и насколько им памятливы еще прежде явленные чудеса или в какой степени они позабыли о них ввиду теперешнего своего стесненного положения. Между тем оказывается, что они люди нехорошие ни в смысле своей стойкости, ни в смысле памятования всех удач своих, так как они в такой мере недоверчиво относятся к Господу Богу и Его решениям, в силу которых им удалось покинуть Египет, и так как они столь гнусно держат себя относительно слуги Предвечного: ведь слуга этот не обманул их ни в чем, что приказывал им делать по повелению самого Господа Бога. Затем Моисей стал перечислять им все, чем они обязаны Предвечному: как погибли египтяне, решившиеся против воли Господней держать их в рабстве; каким образом одна и та же река обратилась для египтян в кровь и вода ее стала для них непригодною, тогда как для евреев продолжала оставаться сладкою и удобною для питья; как само море, очень далеко отступив перед ними, дало им новый путь, по которому они спаслись, между тем как то же море затопило бросившихся за ними в погоню неприятелей; как при отсутствии у них оружия Господь Бог снабдил их и этим, как Он во многих случаях, когда евреи, казалось, уже окончательно были обречены на гибель, неожиданно спасал их и каково должно быть, следо-

вательно, всемогущество Предвечного. Поэтому они и теперь не смеют отчаиваться в Его покровительстве, но должны терпеливо и без волнения ожидать его, памятуя, что помощь эта никогда не опаздывает, хотя она и не является раньше, чем они испытают некоторое бедствие. Им следует также принять во внимание, что Господь медлит со Своей помощью не по забывчивости, но для испытания их мужества и их любви к свободе, чтобы узнать, в достаточной ли мере вы порядочны, чтобы ради этой свободы терпеть недостаток в пище и питье, или предпочитаете быть в рабстве, подобно скоту у хозяев, которые держат и охотно кормят его, чтобы пользоваться его трудом. Наконец, Моисей сказал еще, что он вовсе не беспокоится за свою личную безопасность (потому что для него вовсе не будет таким ужасным несчастьем, если его несправедливо убьют), но боится за них, как бы Предвечный не счел их за безбожников, если они побьют его камнями.

5. Таким образом Моисей понемногу успокоил их, удержал их от того, чтобы побить его камнями, и вызвал в них раскаяние в поступке, который они собирались совершить. Но, так как он был того мнения, что они доведены до такого исступления лишь крайностью своего положения, Моисей решил прибегнуть к молитве и обратиться за помощью к Господу Богу. Поэтому он взошел на высокую скалу и вознес к Предвечному молитву, в которой просил о поддержке народу и облегчении его нужды (ведь в Нем одном только все спасение народа) и молил простить народу то, что он теперь совершил в своем смятении, так как род человеческий по природе своей в несчастье всегда бывает нетерпелив и склонен к выражению своего неудовольствия. И Господь Бог возвестил Моисею, что Он позаботится (о евреях) и явит им желанную помощь. Услышав от Предвечного такое обещание, Моисей спустился к народу. И когда последний увидел его радостное возбуждение от обещания Господня, то и их подавленное настроение заменилось весельем. Став среди народа, Моисей возвестил ему, что явился от Господа Бога с освобождением от гнетущих народ бедствий. И действительно, спустя немного времени из-за моря прилетело множество перепелок (эта порода птиц водится более других у Аравийского залива);⁴ а так как они были в одно и то же время

очень утомлены от перелета, да перепелки и вообще летают ниже других птиц, то они спустились на землю как раз среди еврейского стана. Народ же, видя в них ниспосланную самим Господом Богом пищу, ловил этих птиц и утолял ими свой голод. Тогда Моисей обратился снова уже с благодарственной молитвою к Предвечному за быстрое оказание обещанной помощи.

6. Немедленно же после этого первого доставления пищи Господь Бог послал евреям еще другое. Именно, когда Моисей поднял руки свои к небу для молитвы, на них упало нечто вроде росы. Так как оно оставалось на руках, то Моисей, предполагая и в этом пищу, ниспосланную от Господа Бога, отведал от нее и с радостью убедился, что не ошибся. Но так как народ был в недоумении, считая, что идет снег, как то бывает в зимнее время года, то Моисей объяснил ему, что это вовсе не роса падает с неба на гибель им, но пища для спасения их. Для большей убедительности он дал им отведать этого небесного дара и сам подал им пример. Народ последовал примеру своего вождя и обрадовался новой пище, потому что она была похожа по сладости и приятности своей на мед, по виду своему походила на бделлий, а по величине — на зерна кориандра⁵. Тотчас все принялись усердно собирать эту пищу. Тут же было повелено, чтобы каждый собирал ежедневно ровно ассарон (это известная мера⁶), тогда у евреев не будет недостатка в пище и равным образом слабосильным будет дана возможность собирать также для себя, а более сильные не смогут отнимать у слабых их пищу. Впрочем, те, кто хотел собрать более положенного количества, не облегчали себе тем своей задачи, потому что никто не находил более одного ассарона. Впрочем, и от того запаса, который сохранялся некоторыми до следующего дня, никому не было никакой пользы, так как пища портилась от червей и приобретала горечь. Вот какой необыкновенной была эта ниспосланная Господом Богом пища. При этом те, кто ею обладал, не нуждались уже ни в какой другой. Впрочем, еще и поныне вся та местность изобилует этим продуктом, после того как тогда Предвечный ниспослал его Моисею в пищу народу. Евреи называют его манною, потому что слово *מַן* представляет на нашем языке вопрос, значащий: «Что это такое?» Евреи могли наслаждаться этой пищею, ниспосланною им с неба, еще

продолжительное время, так как они пользовались ею в продолжение всех тех сорока лет, которые они провели в пустыне.

7. Когда евреи, выступив отсюда, прибыли в Рафидин⁷, то страдания их от жажды достигли крайних пределов, потому что они встретили на пути своем лишь немного источников, а теперь попали в местность совершенно безводную. Поэтому они снова очутились в бедственном положении, и опять среди них возникло неудовольствие против Моисея. Последний на короткое время скрылся от взоров расшарившей толпы и обратился с молитвою к Господу Богу, умоляя Его даровать и теперь народу и питье, подобно тому как Он ниспослал ему в опасную минуту пищу, так как без воды последнее благодеяние теряет свое значение. Предвечный не замедлил опять явить Свое милосердие и обещал указать Моисею источник и большое обилие воды там, где народ того и не ожидает. Затем Он повелел Моисею ударить посохом по той скале, которую они видят перед собою, и тогда они с избытком получают то, в чем нуждаются; пусть они при этом обратят внимание на то обстоятельство, что эта вода достается им без всякого с их стороны труда и без малейшего к тому усилия. Получив такое утешительное обещание от Господа Бога, Моисей предстал перед народом, с ожиданием на него взиравшим: люди успели уже заметить, как быстро он спускался к ним с утеса. Как только он был между ними, он сообщил им, что Господь избавит их и от этого бедственного положения и в милости Своей явит им спасение, на которое они никак не рассчитывали; что Он заставит для них потечь из скалы реку. Услышав эти слова, они были в большом недоумении и смущенно спрашивали, неужели им, утомленным путешествием и изнемогающим от жажды, придется разбивать скалу. Но Моисей ударил по ней посохом; она раздалась, и из нее обильно истекла самая свежая и прозрачная вода. Народ был так поражен необычайностью совершившегося перед его глазами чуда, что одного вида воды уже было довольно, чтобы утолить их жажду; когда же люди напились освежительной и сладкой влаги, тогда только они поняли всю прелесть этого дара Божия. На Моисея, как на любимца Предвечного, они стали теперь, конечно, взирать с удивлением, а Господу Богу они принесли благодарственные жертвы

за Его к ним милостивую заботливость. Помещающееся в (нашем) храме Св. Писание сообщает о том, что Господь Бог предсказал Моисею о таком появлении воды из скалы⁸.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Так как молва о евреях успела распространиться уже далеко и о них много говорили, то жителей страны обуял немалый страх, и, обменявшись друг с другом сведениями, они решили оказать евреям сопротивление и попытаться совершенно уничтожить их. Особенно усердно к этому побуждали жители Говолиты и Каменистой (Аравии)⁹, носившие название амалекитян, самые воинственные из тамошних племен. Цари их приглашали друг друга, равно как и соседей, принять участие в войне с евреями, указывая на то, что евреи представляют из себя чужеземное войско, бежавшее из-под ига египтян и теперь идущее на них. «Войском этим, — говорили они, — нам пренебрегать не следует, но раньше, чем оно окрепнет и усилит свое могущество и, не встречая с нашей стороны сопротивления, само решится вступить с нами в бой, представляется наиболее основательным и благоразумным побить его и отомстить ему за то, что сделало оно в пустыне, а не дожидаться, пока евреи овладеют нашими городами и нашим имуществом. Те, кто с самого начала старается сокрушить еще только возникающую силу врагов, поступают благоразумнее тех, которые собираются подавить эту силу, когда она успеет уже развиться. В последнем случае приходится бороться с преимуществом врагов, тогда как в первом с самого начала можно не допускать никаких этих преимуществ». Передавая путем посольств соседям своим подобные рассуждения и распространяя их среди собственного народа, они достигли того, что было решено идти войной на евреев.

2. Моисея, который никак не ожидал неприязненных отношений, эти действия туземного населения крайне смутили и расстроили. И когда враги приготовились к битве и настал опасный момент, народ еврейский обуяло полное замешательство, потому что приходилось сражаться с людьми прекрасно вооруженными, тогда как у них самих ощущался крайний недостаток даже в наиболее необходимом (оружии).

Тогда Моисей начал увещевать их и ободрять, приглашая положиться на волю Господню: последняя вернула им свободу, она же даст им возможность победить тех, кто вступает с ними в бой, оспаривая эту самую свободу. Им следует принять во внимание, что войско их многочисленно и в достаточной мере снабжено оружием, деньгами, пищей и всем тем, в уповании на что люди обыкновенно вступают в бой, так как в лице Господа Бога евреи имеют все это. Между тем силы противников ничтожны, безоружны и слабы, так что Господь Бог не даст им в таком положении, в каком их видит, победить евреев. Ведь евреи столь часто и в более серьезных положениях, чем эта война, успевали убедиться, какого покровителя имеют они в лице Предвечного; ведь воевать им придется теперь лишь с людьми, тогда как раньше, когда им приходилось бороться с голодом и жаждой, когда горы и моря отрезали им всякий путь к отступлению, им удавалось одолеть и такие преграды благодаря милостивой помощи со стороны Господа Бога. Пусть они поэтому теперь как можно смелее вступают в бой, так как в победе над врагами заключается для них источник всевозможного благополучия.

3. Такими словами Моисей старался ободрить народ; затем созвал всех старейшин и начальников отдельных отрядов и приказал младшим беспрекословно повиноваться повелениям старших, а последним слушаться вождя. Теперь все смело смотрели в глаза опасности и были готовы на все, так как надеялись освободиться раз и навсегда от всевозможных бедствий. Поэтому они просили Моисея не медлить и тотчас вести их на врагов, чтобы отсрочка не охладила их рвения. Тогда Моисей выделил из всей массы народной все военные силы и поставил начальником над ними Иисуса, сына Навина, из колена Ефремова, человека весьма храброго, способного переносить всякие тягости, крайне рассудительного и красноречивого, который отличался глубоким благочестием, так как в этом деле наставником его был сам Моисей, и потому пользовался большим уважением среди евреев. Небольшому отряду тяжеловооруженных поручил он охрану воды, детей, женщин и вообще всего стана. Затем в продолжение всей ночи войско готовилось к битве, поправляло оружие, которое имело какие-либо изъяны, и собиралось вокруг своих начальников, чтобы по данному Моисеем знаку немедлен-

но вступить в бой. И Моисей, в свою очередь, не спал, так как давал указания Иисусу насчет расположения войска в боевом порядке. Когда же начало светать, он еще раз просил Иисуса не обмануть возлагаемой на него в этом деле надежды и своими распоряжениями в сегодняшний день своего начальствования стяжать себе славу в глазах всего войска. Затем он убеждал в этом самых выдающихся евреев, каждого в отдельности, и наконец ободрил все войско во всей его совокупности. Подготовив таким образом воинов к бою не только путем увещеваний, но и снабдив их всем нужным в деле оружием, Моисей поднялся на гору и поручил войско Господу Богу и Иисусу.

4. И вот оба войска сошлись и вступили в отчаянный рукопашный бой, в котором бились очень храбро, постоянно побуждая к тому друг друга. И пока Моисей воздымал руки свои к небу и держал их вверх, евреи побеждали амалекитян. Но так как он не был в состоянии долго пребывать в таком тяжелом положении (а между тем всякий раз, как он опускал руки, его войска терпели урон), то он повелел брату своему Аарону и Ору, мужу сестры своей Мариаммы, стать с обеих сторон рядом с ним и поддерживать его руки, чтобы он не мог переставать оказывать таким образом поддержку своему войску. Ввиду этого евреи совершенно разбили амалекитян, которые, наверно, погибли бы все, если бы наступление ночи не положило предела резне. Таким образом предки наши весьма кстати одержали славнейшую победу, одновременно разбив напавших на них врагов и нагнав страх на всех окрестных жителей; при этом им достались в награду за труды и лишения значительные и прекрасные богатства: они захватили лагерь врагов, и им, которые раньше нуждались даже в самой необходимой пище, теперь удалось завладеть, всем вообще и каждому в отдельности, крупными богатствами. Этот бой принес им не только минутную пользу, но был причиной прекрасных последствий и на дальнейшее время, так как они не только физически отразили напавших на них врагов, но покорили их себе и нравственно, нагнав поражением амалекитян большой страх на все жившие в той местности туземные племена. Сами же они (как было уже упомянуто) сильно обогатились, потому что захватили в лагере массу серебра, золота и медной посуды для домашнего обихода, рав-

ным образом множество чеканной серебряной и золотой монеты, тканой материи, ковров и оружия, всякого другого имущества и скарба, а также все количество всевозможного скота, какой обыкновенно всегда следует за лагерем. Кроме того, евреи стали мужественнее, и вообще в их доблести произошла значительная перемена к лучшему; теперь они всегда были готовы подвергать себя всевозможным трудностям, понимая, что трудом можно добыть все, чего желаешь.

5. Таков был результат этой битвы. На следующий день Моисей приказал снять доспехи с павших врагов и собрать оружие, брошенное бежавшими неприятелями. Тем (из евреев), которые отличились особенной храбростью, он роздал почетные награды, а военачальника Иисуса удостоил публичной похвальной речи, свидетельствующей о совершенных им на глазах у всего войска доблестных подвигах. Из евреев никто не пал в битве, неприятелей же — столько, что их нельзя было и сосчитать. Для принесения благодарственной жертвы Моисей приказал воздвигнуть алтарь и, назвав Господа Бога Богом-Победителем, предсказал, что все амалеки-тяне погибнут окончательно и что из них не уцелеет на будущее время ни один за то, что они напали на евреев, когда те находились в пустыне в особенно стесненном положении. Для войска же Моисей устроил пиршество.

Такова была первая война евреев, которую им пришлось вести с неприятелями по выходе своем из Египта. После того как войско справилло свой победный праздник, Моисей дал ему отдохнуть ближайшие несколько дней после битвы и затем повел евреев вперед уже в боевом порядке. Но так как вследствие массы багажа они могли подвигаться очень медленно, то Моисей достиг лишь на третий месяц по выступлении из Египта горы Синайской, где, как мы уже раньше сообщали, с ним случились необычайные происшествия с терновником и прочие чудеса¹⁰.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Узнав об успехах Моисея, тесть его Рагуил радостно выехал к нему навстречу, чтобы приветствовать его, Сапфору и детей их. Моисей также обрадовался прибытию своего тестя и, совершив жертвоприношение, устроил для народа угоще-

ние вблизи того тернового куста, который когда-то уцелел в огне. И весь народ, распределяясь по коленам, принял участие в этом пире, Аарон же с родственниками своими и Рагуилом стали петь хвалебные гимны в честь Господа Бога за оказанную поддержку и за то, что Он явил себя виновником и дарователем их свободы. Равным образом они прославляли и вождя своего, благодаря доблести которого все им так отлично удалось. Рагуил, выражая свою признательность Моисею, сказал много похвального также по адресу всего народа, но главным образом он выразил свое удивление Моисею, проявившему столько мужества в деле спасения своих друзей¹¹.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. На следующий день Рагуил заметил, что Моисей завален делом (потому что он сам разрешал все споры между тяжущимися, так как все являлись к нему и тогда только никто не считал себя обиженным, если тот лично разбирал дело; даже когда люди проигрывали дело, то им казалось это легче, если все происходило по строгому праву, чем если они приписывали такой исход произвольному решению). Тогда Рагуил не сказал ничего, не желая мешать людям, обращавшимся за справедливостью к доблестному вождю своему; но когда толпа (просителей) ушла, шум умолк и он остался с Моисеем наедине, он решился дать последнему совет, как следует поступать (при таких обстоятельствах). Совет этот сводился к тому, чтобы предоставить разрешение мелких дел другим лицам, тогда как разбор более серьезных случаев и общая забота о благе всего народа должны были лежать на самом Моисее: судить найдутся среди евреев и другие почтенные лица, тогда как заботиться о благе стольких десятков тысяч людей не сможет никто иной, кроме Моисея. «Зная сам о своих заслугах, — заметил Рагуил, — которые проявил ты в деле спасения народа, служба Господу Богу, поручи другим или самим тяжущимся разрешение их обыденных житейских споров, сам же ты посвяти себя исключительно служению Предвечному и обрати все заботы свои на изыскание средств к тому, чтобы выручать народ из бедственных положений. Воспользуйся моим предложением, сделай точный смотр и исчисление войска и, разделив его на десятки тысяч и на ты-

сячи, назначь над ними начальников. Затем подраздели войска на отряды в пятьсот, сто, пятьдесят, тридцать, двадцать и десять человек и отдай каждое из этих подразделений под команду одного выборного начальника, который и будет именоваться сообразно численности порученного ему отряда. Те же лица, которые пользуются у народа репутацией добросовестных и справедливых людей, пусть будут судьями в их тяжбах; если же возникнет более серьезное дело, то такое они передадут тем, кто занимает более высокое общественное положение; если же и эти затруднятся решением вопроса, то они могут снестись с тобою. Таким образом результат получится вдвойне благоприятный: евреи будут наслаждаться правосудием, ты же сам сможешь посвятить себя всецело служению Господу Богу и еще более располагать Его к благоволению по отношению ко всему народу».

2. Этот совет Рагуила Моисей принял охотно и поступил сообразно его указанию. Впрочем, он никоим образом не приписывал себе чести изобретения этого нововведения, не скрывал, кто виновник его, но охотно сообщил народу имя лица, нашедшего это средство. В сочинениях своих он также назвал Рагуила автором указанного распределения (еврейского народа), так как считал необходимым свидетельствовать всю истину о лицах достойных, тем более что человеку пишущему делает честь упоминание и чужих открытий. Таким образом, перед нами еще один пример благородства Моисея, причем мы попутно в других местах этого сочинения укажем еще и на другие подобные примеры¹².

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Создав народ, Моисей объявил ему, что пока он уйдет на гору Синайскую для общения с Господом Богом, а затем вернется обратно с тем решением Предвечного, какого он от Него удостоится¹³. Народ между тем должен расположиться станом вблизи горы и свято чтить соседство Божества. С этими словами Моисей отправился на Синай, самую высокую гору в той местности. Благодаря своей чрезмерной величине и крутым склонам возвышенность эта не только является недоступной людям, но даже, если смотреть на нее, вызывает страшное ощущение; а так как к тому же существовало

предание, что тут пребывает Божество, то гора эта вызывала священный ужас и никто не дерзал приблизиться к ней.

Сообразно повелению Моисея, евреи расположились станом у подошвы горы и были в радостном возбуждении при мысли, что Моисей вернется к ним назад с наилучшими известиями и предвещанием всевозможных благ от Господа Бога. В ожидании вождя своего они находились в праздничном настроении, совершали всевозможные очищения и по приказанию Моисея воздерживались в продолжение трех дней от общения с женами своими. В то же время они молили Господа Бога явить Свое милосердие Моисею и даровать ему средство, которое могло бы утвердить их благополучие. Себе же они разрешили более обильное и изысканное питание и вместе с женами своими и детьми облеклись в наилучшие и красивейшие свои одежды.

2. Таким образом провели они в праздничном настроении два дня. На третий же день, еще до восхода солнца, над всем станом евреев поднялось густое облако, какого они раньше никогда не видали, и окутало всю местность, где были расположены их палатки. И в то время, как вся остальная местность кругом была залита солнечным светом, вдруг поднялись ужасные вихри с сильнейшим проливным дождем, за сверкали молнии, вызывая трепет в зрителях, и раздавшиеся грозные громовые удары указали на близость Божества и на то, что Оно вступило в милостивое общение с Моисеем. Пусть всякий читатель составит об этом сам себе свое личное мнение: мое дело рассказать обо всем том так, как о том повествуется в наших священных книгах. Это зрелище в связи со страшным громом повергло евреев в ужас и трепет, потому что они не привыкли к подобным явлениям, да к тому же и распространенное мнение, что на эту гору снисходит сам Господь Бог, сильно возбуждало их расстроенное воображение. Поэтому они печально сидели в своих палатках, считая Моисея погибшим от гнева Господня и ожидая и себе подобной же участи.

3. И пока они находились в таком удрученном состоянии, вдруг явился к ним Моисей, веселый и бодрый, и такой вид его сразу рассеял в них весь страх и возбудил в них наилучшие надежды, тем более что недавно еще столь ужасная погода сменилась с появлением Моисея солнечным сиянием и све-

том. Затем Моисей созвал весь народ в собрание для того, чтобы внять повелениям Господа Бога. Когда все были в сборе, он взошел на высокое место, откуда все могли его услышать, и сказал: «Евреи! Подобно тому, как и раньше, Господь Бог милостиво отнесся ко мне и Он сам теперь между вами, в стане, для того, чтобы устроить вашу жизнь наилучшим образом и преподать вам правильное государственное устройство. Поэтому, во имя Его и тех благодеяний, которые Он успел уже явить нам, умоляю вас, не отвергайте того, что я скажу вам теперь, отнеситесь к этому с должным вниманием и уважением, потому что я говорю с вами ныне не от лица моего, но от имени Господа Бога. Итак, приняв во внимание все значение этих слов, постарайтесь понять все величие Того, Кто говорит с вами и Кто не пренебрег вступить со мною в сношение ради вашего же блага. Ведь при моем посредстве удостоивает вас теперь своей речью не Моисей, сын Амарама и Иохаведы, но Тот, Кто ради вас заставил Нил течь кровью и сокрушил гордыню египтян многоразличными бедствиями; Кто указал вам путь через море; Кто снипослал вам, когда вы были в нужде, пищу с неба; Кто даровал из скалы воду жаждущим; волею Которого Адам стал пользоваться плодами земли и произведениями моря; при помощи Которого Ной избежал гибели во время потопа; милость Которого даровала нашему предку, бездомному скитальцу Авраму, Хананейскую землю и благодаря Которому родился Исаак у своих престарелых родителей; по воле Которого Иаков был благословен двенадцатью доблестными сыновьями и по благодати Которого Иосиф стал властвовать над всею землею египетскою. Пусть повеления Его будут для вас священны и драгоценнее ваших детей и жен. Следуя этим повелениям, вы будете счастливы в жизни, будете пользоваться плодородной почвой, тихим морем, дети у вас будут рождаться отличные, и вы будете наводить страх на врагов ваших; вступив в непосредственные сношения с самим Господом Богом, я лично слышал Его беспредельно могучий голос. Настолько Предвечный заботится о вашем спасении и сохранении вашего рода».

4. Сказав это, Моисей повел весь народ вместе с детьми и женщинами вперед для того, чтобы все сами могли услышать слова Предвечного, с которыми Он обратился к ним с настав-

лениями, и для того, чтобы значение этих слов не умалилось, если бы они были переданы им голосом человека. И вот все услышали глас, снисходивший с вершины горы¹⁴, так что все точно могли себе усвоить те десять повелений, которые Моисей оставил записанными на двух скрижалях. Впрочем, так как я не смею сообщить эти заповеди дословно, то я передам их общее содержание¹⁵.

5. Итак, первая заповедь учит нас тому, что Господь Бог един и что только Ему следует поклоняться. Вторая запрещает делать изображения живых существ и почитать их; третья — клясться всуе именем Господа Бога; четвертая повелевает чтить субботу и воздерживаться в продолжение ее от всякой работы; пятая — почитать родителей своих, шестая — воздерживаться от убийства; седьмая — не прелюбодействовать; восьмая — не красть; девятая — не лжесвидетельствовать; десятая — не домогаться никакой чужой собственности.

6. Когда народ услышал от самого Господа Бога подтверждение того, что сообщил уже Моисей, то в великой радости разошелся по домам; в продолжение следующих дней евреи часто являлись в палатку Моисея с просьбой сообщить им еще и другие законы от Господа Бога. Законы эти Моисей сообщал, давая наставления, каким образом следует на будущее время устроить весь жизненный обиход; но об этом я упомяну в своем месте. Разбор большинства этих законоположений я, впрочем, предприму в другом сочинении, в котором собираюсь специально трактовать о них¹⁶.

7. В таком положении было дело, когда Моисей сообщил евреям, что он вновь отправится на гору Синайскую, и действительно он совершил подъем этот на их глазах. А так как время шло (он был в отсутствии уже сорок дней), то страх обуял евреев, не случилось ли с Моисеем какого-нибудь несчастья; а между тем все приключившиеся с ними бедствия не испугали бы и не опечалили бы их в такой степени, в какой удручала их мысль о возможности гибели Моисея. И вот среди евреев возникло разногласие: одни уверяли, что он погиб, будучи растерзан дикими зверьми (особенно держались такого мнения все те, кто был враждебно настроен против Моисея), другие же полагали, что он отошел к Господу Богу. Более же разумные, которые не испытывали ни малей-

шей личной удовлетворенности как от той, так и от другой возможности, оставались довольно равнодушными к этим словопрениям, так как считали вполне справедливым, ввиду безусловной добродетели Моисея, чтобы он был принят Господом Богом на небо, хотя бы он на земле и разделил участь многих людей и был растерзан дикими зверьми. Но они были глубоко опечалены при мысли, что лишились такого руководителя и заступника, какого им уже более не найти, и поскольку им казалось невозможным предполагать, что с таким достойным человеком случилось несчастье, постольку они, однако, не могли не печалиться и не убиваться. Но ввиду того, что Моисей повелел им оставаться здесь, они все-таки не дерзали покинуть это место стоянки.

8. Когда наконец прошло сорок дней и столько же ночей, явился к ним и Моисей, который не принимал за все это время никакой пищи, как это свойственно людям. Появление его наполнило народ радостью. Затем он разъяснил евреям, как печется о них Господь Бог, сообщил, что за эти дни он удостоился откровения, каким образом им следует устроить быт свой, чтобы жить счастливо, и объявил какой Скинии желает себе Предвечный, куда Он мог бы сходить и где мог бы находиться среди них: «Для того чтобы мы, переходя с одного места на другое, были в состоянии брать ее с собой и нам не нужно было подниматься на Синай, так как Предвечный сам будет посещать нашу Скинию и там внимать нашим молитвам». При этом Моисей показал народу две скрижали, на которых были начертаны десять заповедей, по пяти на каждой. Сама рука Господня начертала их¹⁷.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Когда описанная Скиния была готова, но отдельные части и утварь ее еще не были освящены, Господь Бог явился Моисею и приказал предоставить священство брату его Аарону, который по своему благочестию более всех других достоин этой чести. Созвав по этому поводу народное собрание, Моисей представил народу всю добропорядочность и мягкость характера Аарона и упомянул также о тех опасностях, которым последний подвергал себя за всех их. Так как все готовы были засвидетельствовать это и выказывали большое к нему расположение, то Моисей обратился к народу со следующими словами: «Мужи израильские! Сооружение, которое столь благоугодно Господу Богу, теперь, поскольку это было в наших силах, уже готово. А так как нам предстоит вскоре принять Господа Бога в Скинии, то раньше всего нам следует озаботиться подысканием священнослужителя, кото-

рого задачей было бы заведовать жертвоприношениями и возносить за всех нас молитвы к Всевышнему. Если бы решение данного вопроса лежало в моих руках, то я был бы готов себя самого признать достойным этой чести, так как в природе каждого из нас имеется эгоизм и так как я отлично сознаю, сколь много я выстрадал ради вашего благополучия. Между тем ныне сам Предвечный признал Аарона достойным этой чести и избрал его Своим священнослужителем, так как считает его к тому наиболее подходящим из всех нас. Ввиду этого Аарон наденет посвященное Господу Богу облачение, возьмет на себя заботу об алтарях и жертвоприношениях и будет молиться за вас Господу Богу, который охотно внемлет мольбам его, потому что эти молитвы будут возноситься избранником Самого Предвечного». Евреям эта речь понравилась, и они согласились с выбором Господа Бога, тем более что Аарон, как по происхождению своему, так и по присущему ему пророческому дару, наконец, и по заслугам брата был наиболее других достоин этой чести. В то время у него было четверо сыновей: Навад, Авиуй, Елеазар и Ифамар⁵¹.

2. Весь тот материал, который оставался не употребленным при сооружении Скинии, Моисей приказал употребить на устройство предохранительных завес для самой Скинии, светильника, жертвенника и прочей утвари, для того, чтобы все эти предметы во время путешествия не были попорчены дождем или пылью. Затем он еще раз собрал народ и повелел, чтобы каждое лицо внесло налог в полсикла. Сикл же представляет еврейскую монету, равную четырем аттическим драхмам⁵². Народ с удовольствием подчинился требованию Моисея. Плательщиков оказалось 603 550 человек, потому что налог вносили лишь свободнорожденные в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Собранные таким образом деньги пошли в пользу Скинии⁵³.

3. Затем Моисей стал освящать Скинию и священнослужителей, приступив к посвящению следующим образом: он велел взять на пятьсот сиклов отборной мирры и на столько же ириса и половину этого количества корицы и мяты (последняя тоже годится для курения) и растолочь, затем примешать туда оливкового масла гин (это местная мера, соответствующая двум аттическим хоям)⁵⁴ и, искусно сварив все это,

получить таким образом в высшей степени благовонную мазь. Этой мазью Моисей в знак очищения помазал священнослужителей и всю Скинию; крайне дорогие курения же, которых требуется всегда много разнообразных сортов для Скинии, он повелел сложить на золотом жертвеннике. Впрочем, я обойду молчанием приготовление этих курений, чтобы не утомлять читателей. Дважды в день, именно перед восходом и при закате солнца, было предписано воскуривать фимиам и вливать свежее масло в лампы светильника; из этих ламп святого светильника три должны были гореть в честь Господа Бога в продолжение целого дня, остальные же зажигались только вечером⁵⁵.

4. Окончанием всего сооружения искусные строители, Веселиил и Елиав, стяжали себе большую славу, так как они не только сами усовершенствовали при работах то, что было придумано другими раньше, но и сделали совершенно новые, до них прежде неизвестные и крайне удачные изобретения. Из этих строителей первым и лучшим был признан Веселиил. На окончание всего сооружения ушло ровно семь месяцев, и таким образом закончился как раз год со времени выхода евреев из Египта. В начале же второго года, в месяц, носящий у македонян название Ксанфика, а у евреев Нисана, именно в новолуние, произошло освящение Скинии и всех ее мною описанных принадлежностей.

5. Также и Господь Бог выказал Свое удовольствие по поводу этого сооружения, следовательно, не напрасно потрудившихся евреев, и не пренебрег им, но удостоил его Своим присутствием. Проявил же Он последнее следующим образом: в то время как небо (кругом) оставалось совершенно чистым, над одной только Скинией появилось темное облако, не такое густое и грозное, как то бывает зимой, но, однако, и не настолько редкое, чтобы взор мог проникнуть сквозь него. Из этого облака выделялась приятная роса, знаменуя всем любящим Господа Бога и верующим в Него присутствие Предвечного.

6. Почтив строителей, соорудивших всю постройку, такими подарками, которые соответствовали их заслугам, Моисей, по повелению Господа Бога, принес на дворе Скинии в очистительную жертву быка, барана и козла. В главе о жертвоприношениях вообще⁵⁶, когда я укажу, в каких слу-

чаях закон повелевает сжигать жертвенное животное целиком и в каких разрешает употреблять в пищу часть его, я поговорю о ритуале жертвоприношения и связанного с ним богослужения. Затем Моисей окропил кровью жертвенных животных облачения Аарона и сыновей его и, омыв их ключевой водой и помазав мирром, посвятил их на служение Господу Богу. Таким образом он поступал в течение семи дней с ними и их облачением, а также помазывал выше мною упомянутым елеем Скинию и всю утварь ее и окроплял все это кровью быков и баранов, которых он ежедневно зарезал. На восьмой день он объявил празднество и повелел всем принести жертвы сообразно со своими средствами. Народ повиновался этому повелению, и каждое отдельное лицо в рвении своем старалось превзойти других и приносило по возможности обильные жертвы. Когда же все посвященные Господу Богу приношения были возложены на алтарь, внезапно из-под них само собой вырвалось пламя, подобное сверкающей молнии, и пожрало все лежавшее на жертвеннике.

7. Тут крупное несчастье постигло Аарона, как человека и отца; но оно было с благородством перенесено им, с одной стороны, потому, что он обладал большой твердостью духа, а с другой — оттого, что видел в этом горе проявление воли Божьей. Дело в том, что из упомянутых мной четырех сыновей его двое старших, Навад и Авиуй, были охвачены пламенем, так как возложили на жертвенник не то курение, которое им повелел Моисей, но то, которое они раньше употребляли в дело. Пламя ринулось на них и так обожгло им грудь и лицо, что никто не был в состоянии спасти их, и они должны были умереть. Тогда Моисей повелел отцу и братьям вынести тела их за ограду стана и там похоронить с большой торжественностью. Народ был глубоко опечален этой неожиданной кончиной, Моисей же убеждал братьев и отца покойных не слишком скорбеть о постигшем их горе, а ставить славу Божию выше своего собственного несчастья, тем более что Аарон уже носил священное облачение⁵⁷.

8. Отказавшись от всяких почестей, которые народ счел нужным воздать ему, Моисей посвятил себя исключительно одному служению Богу. Он теперь также не восходил уже более на Синай, но отправлялся в Скинию и тут просил у Бога

поддержки и совета, в которых нуждался; при этом как по платью, так и по всему прочему он держал себя совершенно так, как всякий простой человек, и не желал ничем отличаться от массы, кроме заботливости, с которой относился к нуждам последней. Кроме того, он давал предписания насчет государственного устройства и издал законы, следуя которым народ мог бы вести угодный Господу Богу образ жизни и не входить в своей собственной среде в пререкания ни с кем. Все эти постановления Моисей составил по указанию самого Господа Бога, и к их рассмотрению я теперь перейду.

9. Но раньше я все-таки дополню тут то, что я пропустил при описании облачения первосвященника. Дело в том, что Моисей лишил ложных пророков, если бы нашлись таковые и стали бы выдавать себя за возвестителей воли Божьей, всякой возможности совращать народ. Господь Бог мог, по усмотрению Своему, присутствовать при богослужении или нет, и при этом такое присутствие или отсутствие Предвечного должно было быть усматриваемо не только евреями, но и случайно находившимися в святилище чужеземцами. Ввиду этого всякий раз, как Господь Бог присутствовал при богослужении, тот из драгоценных камней, которые, как я упомянул уже выше, первосвященник носил на плечах (то были сардониксы, подробное описание которых я здесь опускаю, так как считаю их всем достаточно известными), который находился на правом плече, служа там застежкой, начинал особенно сильно сверкать и издавать такой яркий свет, какой ему обыкновенно не был свойствен. Конечно, это должно было вызывать удивление всех тех, которые для унижения всего божественного не прибегали к своим собственным лживым мудрствованиям. Но я сейчас скажу о явлении еще более изумительном. Дело в том, что Господь Бог возвещал евреям, когда они собирались на войну, победу при помощи тех двенадцати драгоценных камней, которые были пришиты к нагруднику первосвященника: еще до выступления войска в поход камни эти начинали так сильно блистать и сверкать, что всей народной массе становились очевидными милостивое присутствие и покровительство Господа Бога. Ввиду этого и те греки, которые почтительно относятся к нашим установлениям, не могут отрицать этот факт и называют нагрудник первосвященника оракулом. Впрочем, как камни

нагрудника, так и плечевой сардоникс перестали издавать такой необыкновенный свет еще за двести лет до составления мной настоящего сочинения, так как Господь Бог отвратил милость Свою от народа вследствие постоянного нарушения последним законов. Но об этом мы поговорим при более удобном случае. Теперь же я обращаюсь к продолжению прерванного рассказа.

10. Когда была освящена Скиния и все касавшееся устройства священнослужителей было окончено, то народ стал думать, что отныне Господь Бог будет пребывать среди него в Скинии, и приступил к жертвоприношениям и молитвам, в надежде, что теперь отвращены уже все бедствия и что отныне можно предаться наилучшим ожиданиям. Колена еврейского народа стали приносить Господу Богу дары, отчасти каждое в отдельности, отчасти сообща. Старейшины же колен, соединясь по двое, пожертвовали повозки, запряженные двумя быками (так что таких повозок было всего шесть), для того чтобы перевозить Скинию со всей к ней относившейся утварью во время путешествий. Кроме того, каждый старшина пожертвовал еще по чаше, блюду и кадилам, которая весила по десяти дариков⁵⁸ и была наполнена курением. Блюда же и чаши (все из серебра) весили вместе попарно двести сиклов, из которых семьдесят приходилось на долю каждой чаши, и были наполнены смесью муки с оливковым маслом, как то требуется для жертвоприношений на алтаре. Наконец, каждый представил по барану, теленку и годовалому ягненку для жертвы всесожжения, а также по козлу для жертвы всепрощения. Кроме того, каждый из старейшин приносил еще и другие, так называемые спасительные жертвы, именно ежедневно по два быка и по пяти баранов с годовалыми ягнятами и козлами.

Такие жертвы приносили они в продолжение двенадцати дней, ежедневно по одной. Моисей же более не подымался на гору Синайскую, но получал в Скинии от Господа Бога наставления относительно образа жизни народа и составления для него законов. Так как последние были гораздо лучше человеческих постановлений, то этот дар Божий свято почитался в течение веков, так что евреи не нарушали ни одного из этих законов ни в мирное время, когда они пользовались изобилием всех благ земных, ни во время войны, когда были

в стесненном положении. Но, имея в виду составить об этих законах отдельное сочинение, я здесь не буду более распространяться об этом⁵⁹.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Заговорив о жертвах, я здесь упомяну о некоторых постановлениях, касающихся ритуала очищения и жертвоприношений. Существует два рода последних, и смотря по тому, приносятся ли они от лица частного человека или от лица всего народа, и характер их двоякий: в одном случае вся жертва сжигается целиком, отчего она и получает название жертвы всежжения; в другом жертвенное животное съедается во время пира, и жертва тогда называется благодарственной. Итак, я поговорю о первом роде жертвоприношений.

Если частное лицо хочет принести жертву всежжения, то оно закладывает быка, барана и козла; последние должны быть годовалыми, быки же могут быть и старше. Все, предназначающееся в жертву всежжения, должно быть мужского пола. По заклании жертвенных животных, священнослужители окропляют их кровью алтарь со всех сторон, затем сдирают шкуры и рассекают туши на части, чтобы, посыпав их солью, возложить на алтарь, на котором уже имеются горящие дрова. Ноги жертвенных животных и внутренности их подвергаются затем тщательной очистке и возлагаются к остальным частям на алтарь, шкуры же поступают в пользу священнослужителей. Таким-то образом приносились жертвы всежжения.

2. Кто же собирается принести благодарственную жертву, тот закладывает таких же точно животных, как и при жертве всежжения, но животные должны быть совершенно беспорочны и старше года и могут быть как самцы, так и самки. После заклания животных кровью их окропляется алтарь, на который возлагаются: почки, перепонка печени, жировые части и сама печень, а также хвост барана. Грудь и правое бедро предоставляются священнослужителям, остальное же мясо идет в еду в продолжение двух дней. Все же, что бы ни осталось еще по истечении этого срока, предается сожжению.

3. Жертвы бывают также грехоочистительными, и ритуал

их схож с обрядом при благодарственных жертвоприношениях. Те, кто не имеет средств приносить такие дорогостоящие жертвы, являются с двумя горлицами или молодыми голубями, из которых одного сжигают в честь Господа Бога, а другого оставляют в пищу священнослужителям. О приношении этих птиц мы, впрочем, подробнее будем говорить в сочинении о жертвоприношениях⁶⁰. Кто по неведению впал в грех, жертвует барана и овцу, однолеток; кровью этих животных священнослужитель окропляет алтарь, впрочем, не весь, как то практиковалось при вышеуказанных жертвоприношениях, но лишь выступы по краям его; почки и остальные жирные части вместе с печенью возлагаются на алтарь. Шкуры и мясо священнослужители оставляют себе, и мясо это они должны еще в тот же самый день употребить в пищу в храме; закон не позволяет оставлять его до следующего дня. Если же кто-нибудь согрешил сознательно и нет никого, кто изобличил бы его в этом, то он, по предписанию закона, должен принести в жертву барана, мясо которого также в тот же самый день должно идти в пищу священнослужителям в храме. Если старшины совершат прегрешение, то и они приносят таким же образом жертвы, как и частные лица, с той лишь разницей, что приводят быка и козла⁶¹.

4. Закон также предписывает присоединять к жертвенным животным, как при жертвоприношениях от частных лиц, так и при общественных, известное количество самой чистой муки; а именно, при овце прилагается одна мера, носящая название ассарона, при баране — две, при быке — три меры. Эта мука для возложения на алтарь смешивается с оливковым маслом, которое также должно быть представляемо при жертвенных животных, при быке — полгина, при баране — треть его, при овце — четверть гина. Гин же представляет из себя древнееврейскую меру, которая соответствует двум аттическим хоям. Также и вина приносят одинаковое с оливковым маслом количество, и вино это разливается вокруг алтаря. Если же кто приносит не в жертву, но по обету пшеничную муку, то он сначала возлагает на алтарь горсть ее; остальную муку берут для своего употребления священнослужители, причем либо поджаривают ее, смешав с оливковым маслом, либо выпекают из нее хлебы. Но все то, что возложил священнослужитель на алтарь, непременно предается сожже-

нию целиком. Закон запрещает закалать в один и тот же день детеныша вместе с маткою и вообще не позволяет приносить в жертву новорожденное раньше истечения восьмидневного срока после появления его на свет. Существуют также жертвоприношения за избавление от болезни или по другим причинам, причем вместе с жертвенными животными в число подношений входят также сладкие лепешки. Закон и тут не разрешает, раз священнослужители получают в свою пользу часть приношений, оставлять что-либо до следующего дня⁶².

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Закон также повелевает приносить в жертву ежедневно, утром и вечером, на общественный счет годовалого барана; на седьмой же день, именующийся субботним, закалается, по тому же ритуалу, пара их. Кроме этих ежедневных жертвоприношений, в новолуние закалают еще двух быков, семь годовалых овец и барана, да вдобавок в виде грехоочистительной жертвы еще барана, на случай, если бы кто-нибудь согрешил бессознательно⁶³.

2. В седьмом месяце, носящем у македонян имя Гиперверетя, к указанным жертвоприношениям присоединяют еще быка, барана, семь овец и козла для отпущения грехов.

3. В десятый день этого месяца назначается пост до появления луны, и в этот день закалают быка, двух баранов, семь овец и козла в виде грехоочистительной жертвы. Кроме того, приводят еще двух козлов. Из них один выгоняется живым за пределы стана в пустыню; служа носителем и искупителем грехов всего народа, другого же выводят на чистое место вблизи стана и сжигают там целиком, вместе с кожей без всякого очищения. Единовременно с ним предается сожжению также и бык, которого доставляет не народ, но из своих личных средств первосвященник. Когда этот бык заклан и кровь его, равно как и козла, доставлена в святилище, первосвященник обмакивает в нее палец и окропляет по семи раз потолок и пол святилища и столько же раз стены и золотой алтарь; остальную кровь он выносит на двор и окропляет ею большой жертвенник. Затем внутренности, почки, жировые части и печень быка возлагаются на алтарь, первосвященник

присоединяет к этому еще барана и приносит таким образом жертву всесожжения Господу Богу.

4. Так как время подходило к зиме, то Моисей приказал на пятнадцатый день того же месяца, чтобы каждый построил себе шатер в виде жилья и приготовился к встрече холодного времени года. Когда же они достигнут отечества (говорил он), им придется собираться в том городе, в котором будет находиться храм и который поэтому будет главным, и праздновать восьмидневный праздник, причем они будут преподносить жертвы всесожжения и благодарственные и будут держать в руках миртовые, ивовые, пальмовые и персиковые плоды ветви. В первый день жертва всесожжения должна состоять из тринадцати быков, четырнадцати овец и двух баранов, а также одного козла для искупления грехов. В следующие дни им придется приносить в жертву такое же число овец, баранов и по козлу; лишь количество быков они могут уменьшать ежедневно на одного до тех пор, пока они не дойдут до числа семь. На восьмой же день им следует воздержаться от всякого труда и, по вышеуказанному нами ритуалу, принести Господу Богу в жертву теленка, барана, семь овец и козла в виде искупления грехов.

5. Таким образом было установлено для евреев строить по одному обычаю шатры. В месяце Ксанфике, который у нас носит название Нисана и представляет начало года, на четырнадцатый день после новолуния, когда солнце станет в знаке Эвна (в этот месяц произошло наше избавление от египетского рабства), Моисей повелел приносить такую же жертву, такую мы, как было выше сказано, принесли при выходе из Египта и которая называется Пасхой. Мы справляем ее по отдельным семьям, причем ничто из пищи не сохраняется до следующего дня. На пятнадцатый день наступает праздник опресноков, продолжающийся семь дней, в продолжение которых люди питаются опресноками и ежедневно закаляют двух быков и одного барана с семью овцами. Все это представляется (в святилище) в качестве жертвы всесожжения и служит ежедневной пищей священнослужителей, причем ко всему этому присоединяется еще козел для искупления прегрешений. Во второй день праздника опресноков (следовательно, в шестнадцатый день этого месяца) берут от вновь созревших плодов, к которым раньше никто не смел прика-

саться, считая справедливым почтить на первом плане Господа Бога, которым даруется вся эта благодать, и приносят Ему в жертву следующим образом первый ячмень: высушив, смолов и очистив от всех примесей кучу колосьев ячменя, посвящают на алтаре Господу Богу ассарон их, а остальное предоставляют священнослужителям для личного пользования. Лишь после этого дозволяется всем и каждому приступать к жатве. Вместе с первыми плодами приносят в виде жертвы всесожжения Господу Богу и ягненка⁶⁴.

6. По истечении седьмой седмицы, то есть сорока девяти дней, после этого жертвоприношения, именно в Пятидесятницу, которую евреи называют Асарфа, что значит пятидесятый день, приносят Предвечному в жертву выпеченный из двух ассаронов белой муки сдобный хлеб и двух овец. Все, что тут приносится в жертву⁶⁵ Господу Богу, по закону, идет в пищу лишь священнослужителям, причем ничего не должно оставлять до следующего дня. В виде жертвы всесожжения закалаются три теленка, два барана и четырнадцать овец, равно как два козла для искупления грехов. Вообще, ни один праздник не обходится без жертвы всесожжения и без прекращения работы; напротив, во всех случаях предписывается законом известный вид жертвоприношения, полный отдых от трудов, равно как жертвенный пир.

7. Затем на общественный счет выпекается пресный хлеб, на что идет двадцать четыре ассарона муки. Из каждых двух ассаронов накануне субботы выпекается по хлебу, а рано утром в субботу эти хлебы возлагаются на столе в Святилище по шести в ряд. Хлебы эти посыпаются курениями из двух золотых сосудов и оставляются таким образом до следующей субботы, когда вместо них приносятся новые хлебы, тогда как старые отдаются в пользование священнослужителям; курение, которое лежало на хлебах, сжигается в жертву Господу Богу, а вместо него возлагается на хлебы новое. Священнослужитель же дважды в день приносит в жертву из собственных средств ассарон муки, смешанной с оливковым маслом; смесь эта немного пропекается и затем рано утром и вечером обе половины ее бросаются в огонь. Впоследствии мы будем говорить об этом подробнее, здесь же и сказанного кажется мне достаточным⁶⁶.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Выделив из среды всего народа колена Левино, для отправления священнослужительских обязанностей, Моисей освятил его членов омовением в чистой родниковой воде и с помощью установленных законом на подобные случаи жертвоприношений. Затем он передал им Скинию со священной утварью и всем устройством для охраны их во время пути и повелел им прислуживать священникам, так как те уже были посвящены Господу Богу⁶⁷.

2. Равным образом Моисей точно определил всех животных, которыми можно питаться, и тех, от употребления которых в пищу следует воздерживаться. Об этом мы при случае поговорим подробно в другом месте этого сочинения, а также укажем на причины, основываясь на которых он разрешил нам употреблять в пищу одних животных, а от других велел воздерживаться. Моисей запретил также употреблять в пищу всякую кровь, считая ее тождественной с душой и духом⁶⁸. Равным образом он запретил есть мясо павших животных, возбранив тоже употребление в пищу внутренностей и жировых частей почек козы, овцы и быка⁶⁹.

3. Моисей выделил из совместного сожительства с евреями всех обезображенных проказой и всех страдающих кровотечением. Женщин же во время менструаций он отделял на семь дней, по истечении какового срока и очищения им вновь разрешалось вступать в общение с мужьями. Равным образом все, кто хоронил покойника, должны были воздерживаться от общества других людей в продолжение такого же количества дней. Всякий, кто, благодаря своей ритуальной нечистоте, пробыл такое время вне общения с людьми, должен был по закону принести в жертву двух ягнят, из которых один обязательно предавался закланию, а другой поступал в собственность священнослужителей. Такую же жертву приносили и те, кто страдал кровотечением. У кого во сне совершались выделения семени, тот обязан был выкупаться в холодной воде, подобно тому, как если бы имел общение с женщиной. Зараженных проказой он совершенно удалял из города, и они не могли ни с кем общаться: на них смотрели совершенно как на покойников. Если же кто из прокаженных, благодаря своим молитвам, выздоравливал от этой сво-

ей болезни и исцелялся вполне, тот должен был принести Господу Богу целый ряд разнообразных жертв, о которых мы поговорим впоследствии⁷⁰.

4. В силу всего этого можно лишь посмеяться над теми, которые уверяют, будто Моисей сам был одержим проказой и потому бежал из Египта и будто по этой-то причине он и повел с собой в Хананею больных проказой⁷¹. Если бы это было справедливо, то Моисей не издал бы таких постановлений, которые логически противоречили бы его собственному состоянию, равно как положению его товарищей, тем более что у многих других народов прокаженные не только не изгоняются и с позором выделяются из общества, но даже занимают высокие и почетные должности как в военной службе, так и по управлению государством, и свободно посещают священные места и храмы. В таком случае, если бы Моисей сам или весь сопровождавший его народ был одержим этой заразной болезнью, ничто не помешало бы ему издать на этот счет самые мягкие постановления, а не определять такого, подобного наказанию, отделения больных от здоровых. Поэтому все это, очевидно, говорится в силу ненависти к нам. Моисей же сам, равно как и его единоплеменники, был свободен от этой болезни, почему он во славу Божию и издал такие постановления.

5. Однако предоставляю судить об этом каждому по его усмотрению. Родильницам, родившим дитя мужского пола, возбранялся в течение сорока дней доступ в храм; если же рождалась девочка, то это запрещение обнимало вдвое более продолжительный период времени. Придя по истечении указанного срока в храм, они приносили с собой жертвы, которые представлялись пред лицо Господа Бога священнослужителями⁷².

6. Если кто-нибудь станет подозревать жену свою в прелюбодеянии, то доставит ассарон ячменной муки и возложит горсть ее на алтарь, в честь Господа Бога, остальную предоставит в распоряжение священникам. Один из последних поставит женщину у ворот в святилище, снимет с ее головы покрывало, напишет на пергаменте имя Господне, затем повелит ей поклясться, что она невинна перед мужем своим, указывая при этом, с одной стороны, на то, что если она преступила закон, то правое бедро ее испортится, чрево раздуется и она от этого умрет, с другой же — предсказывая ей рож-

дение на десятый месяц дитяти мужского пола в том случае, если бы муж ее, движимый великой к ней любовью, а также ревностью в силу этой любви, слишком поспешно обвинил ее. По принесении женщиной соответствующей клятвы, священнослужитель погружает пергамент с написанным на нем именем Господним в чашу с водой, примешивает к этому несколько земли, подобранной в Святилище, и дает все это женщине выпить. Если обвинение, взведенное на женщину, оказывается неосновательным, то она впоследствии действительно становится беременной и чрево ее постигает благодать, если же она обманула мужа и принесла ложную клятву Господу Богу, то позорно умирает, причем бедро у нее выпадает и низ живота раздувается, как бы от водянки. Вот какие правила дал Моисей своим единоверцам относительно жертвоприношений и связанных с ними очищений. Кроме того, он оставил им еще другие законы следующего рода⁷³.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Всякое прелюбодеяние Моисей, безусловно, запретил, считая необходимым и высшим благом, чтобы мужчины жили с женами своими в здоровом браке: тогда будет польза как целым общинам, так и отдельным семьям от законнорожденных детей. Сходиться же с замужними женщинами закон запретил как гнуснейшее зло. Жить с женой отца своего, с тетками своими, сестрами или женами детей своих — преступление противоестественное. Моисей также запретил общение с женщиной менструирующей, скотоложство и мужеложство, указав на весь позор таких преступлений. За нарушение всех этих постановлений Моисей определил в наказание — смерть⁷⁴.

2. Священнослужители должны вдвойне отличаться нравственной чистотой, и потому на них не только распространяются все общие запрещения, но им запрещено жениться на публичной женщине, на рабыне, на военнопленной, на продащицах или служанках в гостиницах, равно как на всех тех женщинах, которые по каким бы то ни было причинам были разведены со своими мужьями. Первосвященнику было запрещено жениться даже на вдове умершего, что было, однако, разрешено всем прочим священнослужителям; он мог

взять в жены лишь девушку и не имел права расходиться с ней. Равным образом первосвященник не мог приблизиться к покойнику, тогда как другим священнослужителям не было запрещено прикасаться к трупам своих братьев, родителей или собственных детей. Все священники должны были быть совершенно свободны от каких бы то ни было телесных недостатков. Если кто-нибудь из священнослужителей имел какой-либо телесный недостаток, то хотя ему и было повелено получать свою долю из жертвенных приношений, однако было запрещено приближаться к алтарю и входить в храм. И не только во время отправления богослужения иереи должны были быть чистыми, но они должны были особенное рвение прилагать к тому, чтобы весь образ их жизни отличался безукоризненной чистотой. По этой-то причине лица, носящие священническое облачение, должны быть совершенно трезвы, безусловно не запятнаны и целомудренны; пока на них облачение, им безусловно запрещено употребление вина. Также и жертвенные животные должны быть без малейшего изъяна, без каких бы то ни было телесных недостатков⁷⁵.

3. Эти законы ввел Моисей еще при своей жизни; кроме того, он издал еще во время пребывания евреев в пустыне несколько таких постановлений, которых евреи должны были держаться по завоевании Хананеи. Подобно тому, как народу был предписан отдых от трудов на каждый седьмой день, так он повелел давать и земле отдых от возделывания по истечении каждых шести лет. Все, что произвела бы земля в это время сама по себе, без обработки, было предоставлено в общее свободное пользование, и притом не только единоплеменникам, но и чужестранцам. Из таких произведений земли нельзя было ничего сохранять до следующего года. То же самое постановление распространялось на седьмую седмицу лет, то есть полного пятидесятилетия. Такой пятидесятый год называется у евреев юбилейным. В такой год должники освобождаются от своих обязательств, единоверцы же, которые совершили какое-нибудь преступление против закона и потому были наказаны рабством, а не смертью, отпускаются на свободу. Равным образом в это время возвращаются и земельные участки их первоначальным владельцам. При наступлении юбилейного года (это название означает свободу)⁷⁶ сходятся продавец поля и покупатель и

высчитывают стоимость плодов поля и затраты на его обработку; если оказывается, что стоимость плодов выше, то продавец прямо оставляет поле за собой; если же ценность обработки превышает стоимость плодов, то покупателю возмещается разница и он предоставляет землю в пользу продавца. Если же стоимость плодов и затраты на обработку оказываются одинаковыми, то земля также переходит в собственность первоначальному своему владельцу. Такое же законоположение должно было применяться к деревенским постройкам, тогда как относительно городских домов существовали другие постановления; а именно: если продавец до истечения годового срока возвращал покупателю денежную стоимость здания, то он тем самым принуждал последнего возвращать ему и дом. Если же год истек, то владение закреплялось за купившим его. Такие законы получил Моисей от Господа Бога в то время, когда народ расположился лагерем у подошвы горы Синайской, и их он передал евреям в писанном виде⁷⁷.

4. Когда Моисей пришел к убеждению, что этих законоположений пока будет достаточно, он решил обратиться наконец к устройству войска, так как давно уже имел в виду заняться этим. Поэтому он повелел всем старшинам колен, кроме колена Левина, точно выяснить число способных носить оружие. Левиты же были посвящены служению Богу и были свободны от всего этого. На смотре оказалось, что способных носить оружие лиц, в возрасте от двадцати до пятидесяти лет, было шестьсот три тысячи шестьсот пятьдесят человек. На место Леви Моисей назначил старшиной Манасию, сына Иосифа, а вместо последнего — Ефрема. Таково было, как я уже выше упомянул, желание Иакова, которое он выразил Иосифу, именно чтобы он причислил своих сыновей к его сыновьям⁷⁸.

5. Евреи расположились лагерем таким образом, что Скиния помещалась как раз посередине⁷⁹, а с каждой стороны ее стали по три колена. Их отделяли друг от друга дороги, пересекавшие весь стан. Тут же помещался и удобный рынок, где каждый продавец занимал свое определенное место и каждый ремесленник имел свою на определенном пункте помещавшуюся мастерскую, так что весь стан совершенно имел вид передвижного города. Ближе всех к Скинии жили свя-

щеннослужители, подальше же левиты (и они также подверглись счислению, в том числе и все мальчики в возрасте более тридцати дней), которые представляли массу в двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят человек⁸⁰. Все время, пока туча стояла над Скинией, они оставались на своих местах, будучи в полной уверенности, что Господь пребывает там; когда же она переходила на новое место, то и они передвигались за ней⁸¹.

6. Моисей изобрел также нечто вроде серебряной трубы, которая имеет следующий вид: длиной она немногим меньше локтя, а трубка ее узка, лишь немного ниже, чем у флейты; наконечник ее достаточно объемист, чтобы вбирать в себя всю массу воздуха, который вдувает в нее играющий; оканчивается же она широким отверстием, наподобие охотничьего рога. На еврейском языке инструмент этот носит название асосры⁸². Таких труб было сделано две: одной пользовались для созыва и сбора народа в общее собрание, другой приглашались старшины на совещание; если же одновременно трубили в обе, то все без исключения должны были собираться на сходку. Когда имелось в виду передвинуть на другое место Скинию, то поступали следующим образом: при первом звуке труб должны были сниматься с места все те, которые жили на восточной стороне, при втором звуке те, которые занимали пространство к югу от Скинии. Затем уже снималась и самая Скиния, которую везли таким образом, что она помещалась между двенадцатью колен; из них шесть предшествовало ей, шесть замыкало шествие, все же левиты окружали святыню. При третьем трубном звуке выступали жители западной стороны, а четвертый служил сигналом к выступлению для тех, которые занимали северную сторону лагеря. Этими же трубами пользовались также по субботам и другим дням для созыва народа к жертвоприношениям. Тогда же Моисей впервые после выступления народа из Египта принес в пустыне и так называемую пасхальную жертву⁸³.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ⁸⁴

Спустя некоторое время евреи двинулись станом от горы Синайской и, миновав несколько стоянок, о которых у нас речь будет впереди, прибыли в местность по имени Есер-

моф⁸⁵. Тут народ вновь начал волноваться и обвинять Моисея во всех испытанных со времени выхода из Египта бедствиях, так как он ведь посоветовал покинуть плодородную страну и привел их в гибельную пустыню, тогда как, однако, раньше обещал им благодатную местность; вместо всего этого они странствуют теперь без цели в таком бедственном положении и чувствуют крайний недостаток в воде, и если у них вдобавок выйдет еще и манна, то они окончательно погибнут. И вот, когда толпа в исступлении своем раздражалась такими угрозами против Моисея, кто-то начал убеждать их не забывать о трудах последнего на общую пользу и не упускать из внимания помощи, которую оказывал народу сам Господь Бог. Но толпа в ответ на это лишь еще более заволновалась, подняла еще более сильный шум и еще серьезнее стала угрожать Моисею. Тогда Моисей, видя их в таком отчаянии, начал урезонивать их и, несмотря на всю гнусность их поведения, все-таки обещал им доставить в изобилии мяса, и притом не на один день, а на более продолжительное время. Когда они на это выразили ему свое полное недоверие и кто-то спросил, откуда он думает достать мяса для стольких тысяч людей, Моисей ответил: «Господь Бог и я, несмотря на то, что слышим от вас такие безобразные речи, не перестаем заботиться о вас, в чем вы сможете сейчас убедиться». Не успел он сказать это, как весь стан наполнился перепелками, и евреи тотчас принялись за сбор их. Господь Бог, однако, немного спустя наказал евреев за их дерзкие хулы и поношения, потому что немалое число их вскоре умерло. Еще и поныне та местность называется Каврофавою, то есть воспоминанием о прихоти⁸⁶.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ⁸⁷

1. Отсюда Моисей повел евреев в местность, именуемую Фаранкс⁸⁸, которая находилась вблизи границ хананейских и представляла для заселения большие затруднения. Тут он созвал народ в собрание и обратился к нему со следующими словами: «Из тех двух благ, которые Господь Бог решил даровать нам, а именно свободы и владения плодородной страной, вы, благодаря Ему, первым уже пользуетесь, а второе вскоре получите. Дело в том, что мы находимся в непо-

средственной близости к границам хананейских племен, и не только ни царь, ни город, но даже и весь их народ в совокупности не сможет оказать нам сопротивление, когда мы пожелаем занять эту страну. Итак, подготовимся к этому делу, потому что туземцы без боя не уступят нам своей страны и нам придется завоевать ее целым рядом трудных битв. Поэтому вышлем разведчиков, которые разузнали бы о степени плодородия этой страны и познакомились бы с военными силами жителей ее. Но прежде всего, да будем единодушны в почитании Господа Бога, Который во всем является нашим покровителем и союзником».

2. На эти слова Моисея народ ответил сочувственными кликами, в которых выражалось все его почтение к вождю, и выбрал двенадцать разведчиков из числа самых почтенных лиц, из каждого колена по одному. Эти разведчики прошли по всей Хананее от границы ее вблизи Египта и до города Амафы⁸⁹ и Ливана, и затем вернулись назад, хорошенько ознакомившись в продолжение тех сорока дней, которые они употребили на это дело, как с характером страны, так и с местным населением. При этом они принесли с собой также и образчики тамошних плодов. Великолепием последних и рассказом об изобилии тех благ, которыми отличается эта страна, разведчики возбудили в народе военный пыл, с другой же стороны, они напугали евреев также трудностью завладеть ею, указав на то, что там имеются реки, через которые переправа, вследствие их ширины и глубины, крайне затруднительна, если не невозможна, что придется переходить через неприступные горы и брать города, огражденные не только стенами, но и сильнейшими укреплениями. В Хевроне они даже встретили потомков необычайных исполинов. Одним словом, поскольку сами разведчики, увидевшие на пути своем в Хананее большие затруднения, чем все препятствия, которые пришлось преодолеть евреям со времени выхода их из Египта, чувствовали трепет, постольку же они старались напугать своими рассказами и народ.

3. Последний действительно, услышав все это, стал считать завоевание такой страны невозможным. Поэтому, разойдясь по домам, евреи начали с женами и детьми оплакивать свою горькую судьбину и жаловаться, что Господь Бог тешит их только словесными обещаниями, а на самом деле не

оказывает им никакой поддержки. И вновь они стали громко обвинять во всем Моисея и брата его, первосвященника Аарона. Таким образом, они провели ночь в гнусных поношениях этих двух мужей, а на следующее утро рано опять собрались на сходку, имея в виду побить камнями Моисея и Аарона и затем вернуться назад в Египет.

4. Тогда двое из разведчиков, Иисус, сын Навина, из колена Ефремова, и Халев из колена Иудова, в смятении вошли в толпу и стали успокаивать народ, убеждая его не отчаиваться, не обвинять Предвечного в нарушении данного обещания и главным образом не верить словам тех, которые пугают их своими рассказами о Хананее; напротив, им следует довериться тем, которые доставят им полное благополучие и владение такими благами. Если они будут мужественны, то их не удержат от этого намерения ни высота гор, ни глубина рек, тем более что сам Господь Бог окажет им в бою Свою милостивую поддержку. «Двинемся поэтому, — сказали они, — на врагов, отстранив от себя всякие подозрения в малодушии, и в полном уповании на руководство Господа Бога последуем за теми, кто поведет нас». Такими речами они старались успокоить смятение разъяренной толпы, Моисей же и Аарон бросились наземь и стали молить Господа Бога не о своем собственном спасении, но о том, чтобы Он прекратил неверие народа и изменил бы его взгляды на вещи, так как теперь народ этот подавлен трудностью предстоящей ему задачи. Тотчас появилось облако и, став над Скинией, указало на присутствие Божества.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Тогда Моисей смело вошел в толпу и объявил, что Господь разгневался на народ и решил наказать его, впрочем, не так строго, как заслуживают его прегрешения, но подобно тому, как отцы наказывают детей своих для вразумления. Дело в том, что, когда он, Моисей, вошел в Скинию и с плачем стал умолять Предвечного отворотить от них предстоящую гибель, Господь Бог выставил на вид, сколько раз Он оказывал им поддержку и какими благодеяниями Он осыпал их и что, несмотря на это, они все-таки не чувствуют никакой благодарности к Нему, но даже, побуждаемые трусостью раз-

ведчиков, считают их слова более основательными, чем все Его собственные обещания. Ввиду всего этого Он, правда, хотя и не погубит их совершенно и не уничтожит племени их, которым Он дорожит более других народов, тем не менее не даст им овладеть Хананеей с ее земными благами, но заставит их в продолжение сорока лет быть бездомными скитальцами по пустыне и тем накажет их за их беззаконие. «Детям же вашим, — продолжал Моисей, — Господь Бог обещал предоставить эту страну и сделать их обладателями всех тех богатств, которых вы лишились благодаря вашему собственному невоздержанию».

2. Когда Моисей сообщил об этом решении Господа Бога, народ впал в печаль и уныние и стал упрашивать Моисея быть заступником их перед Господом Богом, освободить их от необходимости скитания по пустыне и даровать им возможность поселиться в тех городах. Но тот отвечал, что Предвечный не поддастся такому искушению, так как Он гневается на них не легким людским гневом, и что Он мудро постановил им такое наказание. Вместе с тем отнюдь не следует думать, будто он один, Моисей, успокоил разъяренную толпу в столько десятков тысяч человек и вернул ее к послушанию: Господь Бог, явившись ему, оказал ему поддержку в усмирении народа, который ведь неоднократно имел случай убеждаться, что неповиновение Ему влекло за собой страшные бедствия⁹⁰.

3. Этот человек (Моисей) является по своей добродетели, равно как по убедительности и силе своего слова, не только в свое время, но даже еще и поныне, прямо изумительным: нет такого еврея, который бы не повиновался его предписаниям, как будто бы сам Моисей был всегда налицо и мог наказать его за ослушание, хотя бы такое ослушание и не сделалось известным. Впрочем, существует масса случаев, поясняющих его власть над человеком. Так, например, однажды несколько жителей области за Евфратом совершили четырехмесячное, сопряженное с большими опасностями и затратами путешествие, чтобы удостоиться чести посетить наш храм. Когда они окончили свои жертвоприношения, они все-таки не удостоились получить свою долю жертвенной трапезы, потому что Моисей не разрешил этого лицам, которые не признают наших законов и не подчиняются действующим у

нас постановлениям. Несмотря на то, что некоторые из этих людей еще вовсе не приступали к жертвоприношениям, другие же совершили его лишь наполовину, а многие вовсе не входили еще в храм, они удалились, предпочитая повиноваться постановлениям Моисея, чем своему личному влечению. При этом им не приходилось опасаться, чтобы кто-нибудь силой удержал их от этого; они поступили так в силу собственной своей совестливости. Таким образом, законы, приписываемые Господу Богу, достигли того, что этот человек пользовался сверхъестественным авторитетом. Еще недавно, незадолго до начала этой войны⁹¹, в царствование у римлян императора Клавдия и в бытность Измаила нашим первосвященником, когда страна наша была охвачена таким голодом, что ассарон муки продавался за четыре драхмы, когда на праздник опресноков было доставлено лишь семьдесят кор муки (т. е. тридцать один сицилийский или сорок один аттический медимн), никто из священнослужителей, несмотря на такое голодное время, не осмелился присвоить себе ни одной горсточки муки, боясь закона и гнева Господнего, с которым Предвечный преследует даже тайные провинности. Таким образом, не следует удивляться тому, что совершил тогда Моисей, раз до сих пор еще оставленные им записанными законы имеют такую силу, что даже лица, ненавидящие нас, все согласны в том, что сам Господь Бог при посредстве Моисея и его добродетели устроил нашу общественную жизнь.

Впрочем, предоставляю каждому судить об этом по собственному его усмотрению.

ОСНОВНЫЕ АГИОГРАФИИ БУДДЫ, СЛОЖИВШИЕСЯ В ЮЖНОЙ АЗИИ В 1 ТЫС. Н.Э.



«Деяния Будды» (Buddhacārita) Сангхаракши

Охват текста: «сфокусированная» агиография от рождения Будды до распространения реликвий Ашокой

Варианты текста: оригинал на гибридном санскрите, сочетающий стихотворный и прозаический текст, не сохранился

Китайский перевод Сангхабхадры 384 г. (Т 194)

Канонический статус: входит в китайский канон

«Деяния Будды» (Buddhacārita) Ашвагхоши

Охват текста: «сфокусированная» агиография от рождения Будды до распространения реликвий Ашокой

Варианты текста: оригинал на классическом санскрите, датируемый 2 в. н.э.; сохранился в неполном списке (примерно 50% текста, 14 глав из 28); еще 3 главы заново «восстановлены» непальским автором Амританандой в нач. 19 в.

Китайский перевод Дхармакшемы 414–421 гг. (Т 192)¹

Тибетский перевод 7–8 в. (*Mdo* XCIV, 1)

Канонический статус: входит в китайский и тибетский каноны, в китайской традиции считается сарвастивадинским текстом

«Подробное описание игр [Будды]» (Lalitavistara)

Охват текста: «сфокусированная» агиография от нисхождения бодхисаттвы из девалоки Тушита до первой проповеди Будды после пробуждения; компилятивный текст, вобравший в себя большое количество заимствований из других буддийских памятников

Варианты текста: первоначальная версия на гибридном санскрите около 2 в. н.э., развитие версий санскритского текста примерно до 9 в. Наличный текст содержит прозаическую часть на классическом санскрите и параллельную стихотворную версию на гибридном санскрите.

китайский перевод Фа-ху 308 г. «Сутра всеобъемлющего сияния» (Т 186)

китайский перевод Дивакары 683 г. «Пространная прекрасная сутра» (Т 187)

тибетский перевод первой четверти 9 в., в целом, соответствующий современному санскритскому тексту памятника

Канонический статус: входит в непальский, китайский и тибетский каноны, одна из основных биографий, используемых в махаяне; в китайской традиции считается текстом, созданным в рамках школы сарвастивада

¹ Китайский перевод был переведен на английский С. Билом и в этом виде послужил основой для переложения на русский, сделанного К. Бальмонтом

«Великое повествование» (Mahāvastu)

Охват текста: компиляция джатак, авадан и сутр, в частности, прослеживающая карьеру бодхисаттвы от получения им предсказания от будды Дипанкары до пробуждения и обретения первых последователей-монахов

Варианты текста: оригинал на гибридном санскрите, первоначально складывающийся около 2 в. н.э. и продолжавший редактироваться минимум до 4 в. н.э.

Канонический статус: канонический текст школы локоттаравада

«Сутра об отрешении от мира» (Abhiniṣkramaṇa-sūtra)

Охват текста: «сфокусированная» агиография от предсказания Дипанкары до возвращения Будды в Капилавасту после пробуждения

Варианты текста: санскритский оригинал не сохранился
китайский перевод Джнянакуты 587 г. (Т 190)

Канонический статус: в китайской традиции считается текстом школы дхармагуптака

Виная школы муласарвастивада (Mūlasarvāstivāda Vinayavastu)

Охват текста: собрание текстов, различные части которых вместе составляют более или менее полную агиографию до распространения реликвий Ашокой

Варианты текста: оригинал на санскрите, датируемый примерно 4–5 в. н.э., полностью не сохранился
Китайский перевод Ицзина 700–712 гг.

Тибетский перевод

Канонический статус: канонический текст школы муласарвастивада

Раздел «Введение» (Nidāna-kathā) «Комментария к джатакам» (Jātakatṭhakathā), приписываемого Буддхагхосе

Охват текста: «сфокусированная агиография», содержащая историю «предшествующих эпох» и прослеживающая карьеру бодхисаттвы от получения им предсказания от будды Дипанкары до последнего рождения, пробуждения и получения в дар монастыря Джетавана

Варианты текста: оригинальный текст на пали, датируемый примерно 5–6 в. н.э.

Канонический статус: комментарий к каноническому тексту махавихаравасинов

«Проясняющая сладостное значение» (Madhuratthavilāsīnī), комментарий к «Хронике буддх», приписываемый Буддхадатте

Охват текста: комментарий к повествованию о 28 буддах, прослеживающему получение бодхисаттвой предсказаний о своем пробуждении от «предшественников», содержит сжатое изложение событий последней жизни до пробуждения и первой проповеди Будды

Варианты текста: оригинальный текст на пали, датируемый примерно 5 в. н.э.

Канонический статус: комментарий к каноническому тексту махавихаравасинов

Кроме того, существует ряд санскритских и палийских текстов (отдельных сутр или разделов более крупных произведений), посвященных отдельным ключевым эпизодам или периодам из жизни Будды.

Занятие 1

ЖИЗНЬ БУДДЫ

ПОЭМА

1. РОЖДЕНИЕ *

Был некто, рода знатного Икшваку,
Что означает — Сахарный Тростник,
Непобедимый, как река, властитель,
Царь Сакья¹, чистый в умственных дарах
И в нраве — незапятнанности цельной,
Суддхóдана, иначе — Чистый Рис.
Светло любимый всеми существами,
Как мир обласкан новою Луной,
Поистине тот царь был словно Сакра,
Кому все Дэвы неба — сонмы слуг,
Царица же его — богиня Саки.
Сильна, спокойна в мыслях, как Земля,
Чиста по духу, словно водный лотос,
Определить ее — никак нельзя,
Ее же имя, имя-образ, Майя.

Дух снизошел, и в чрево к ней вошел,
Коснувшись той, чей лик — Царица Неба.
Мать, мать, но свободная от мук,
Свободная от заблуждений Майя.
Не возлюбя шумливости мирской,
Вспомнила она сады Люмбини,
Пленительное место, тихий лес,
Где источают влагу водометы,
Цветут цветы и копят сок плоды.

* Перевод публикуется по изданию: Памятники мировой литературы. Творения Востока. Асвагоша. Жизнь Будды. Перевод К. Бальмонта. М., М. и С. Сабашниковы, 1913.

Исполненная нежных созерцаний,
 Почтительно заговорив с царем,
 Она просила дать соизволение
 Ей там побывать, и царь, уразумев
 Действительность такого пожеланья,
 Был редкостным родным, что находились
 Всем царственным родным, что находились
 В дворце и вне дворца, он повелед
 Быть с ней в тени садовой и лесистой,
 Ее неукоśnieительно блюсти.
 И вот царица Майя ощутила,
 Что час пришел родить ребенка ей.
 Спокойно лежа на красивом ложе,
 Она ждала с доверьем, а вокруг
 Сто тысяч женщин служащих стояло.
 Четвертый месяц был и день восьмой,
 Спокойный час, приятственное время.
 Пока она была среди молитв
 И в соблюдении правил воздержанья,
 Родился Бодгисаттва от нее,
 Чрез правый бок, во избавленье мира,
 Великим состраданием побужден,
 Не причинивши матери мученья.
 Как из бедра рожден был Аурва,
 Как из руки рожден владыка Притху,
 Как царь Мандхатри был из головы,
 Какшиват же рожден был из подмышки,
 Так Бодгисаттва, в день, как был рожден,
 Из правого он появился бока;
 Из чрева постепенно исходя,
 Лучи по всем струил он направленьям.
 Как тот, кто из пространства порожден,
 А не через врата вот этой жизни,
 Через несчетный ряд круговремен,
 Собой осуществляя добродетель,
 Он в жизнь самосознательным вошел,
 Без тени всеобщего смущенья.
 В себе сосредоточен, не стремясь,
 Украшен безупречно, выявляясь
 Блистательно, он, излучая свет,
 Возник из чрева, как восходит Солнце.
 Глядели люди, мыслили они,
 Как необычен блеск, но созерцанье
 Не повредило зренья у них:

Он дал глядеть им, утаив на время
 Блистательность лучистого лица,
 Как мы порой глядим на Месяц в небе
 И видим только мягкий лунный свет.
 Однако ж тело у него сияло;
 Как Солнце погашает свет свечи,
 Златистой красотою Бодгисаттвы
 Был изливаем всюду яркий блеск.
 Прямой и стройный, в разуме не шаткий,
 Сознательно он сделал семь шагов,
 И на земле, пока он шел так прямо,
 Отпечатлелись ровно те следы,
 Как семь блестящих звезд они остались.
 Идя, как царь зверей, могучий лев,
 Смотря во все четыре направленья,
 До средоточья правды взор стремя,
 Он так сказал, и молвил достоверно:
 «Родившись так, родился Будда здесь.
 За сим — уж больше новых нет рождений.
 Теперь рожден я только этот раз,
 Дабы спасти весь мир своим рожденьем».
 И вот из средоточия Небес
 Два тока снизили воды прозрачной,
 Один был тепел, холоден другой,
 Они ему все тело освежили
 И осыпали голову его.
 И вот он помещен в дворец роскошный,
 Его постель — вся в яхонтах она,
 Цари Небес, златистыми руками,
 Стебlistыми руками, в четырёх
 Местах, где ножки, ложе закрепили.
 Меж тем в пространстве Дэвы, ухватив
 Цветистые, как яхонт, балдахины,
 Запели песни, хор — зовущий хор,
 Чтоб укрепить его в свершенях правых.
 А Нага-раджи, радуясь ему
 И к верному склонясь благоговенью,
 Навстречу к Бодгисаттве изошли,
 Как раньше честь являли прежним Буддам.
 Они пред ним рассыпали цветы;
 И существа, что в чистые одежды
 Всегда одеты в Небе, перед ним
 Веселым предавались ликованиям,

Не радостью пристрастной восхитясь,
 А потому, что все творенье мира,
 Что в океан скорбей погружено,
 Снискало верный путь освобождения².
 Сумеру, первозданная гора,
 Что прочной есть устой Земли великой,
 Когда явился Бодгисаттва в мир,
 Пред этим совершенством содрогнулась.
 Весь мир был чрезвычайной сотрясен,
 Как бы челнок, гонимый сильным вихрем;
 Цветочная утонченная пыль,
 Сандала дух и скрытый запах лилий,
 Их нежность сокровенная — взнеслись,
 И в воздухе возвышенном смешались,
 И вместе так на Землю пали вновь.

Луна и Солнце, в правильном теченьи,
 Удвоили свой лучезарный блеск,
 И свет огня, повсюду загораясь,
 В топливе не нуждался, чтоб гореть.
 Вода, ключом свежительно-прохладным,
 Мерца, проступала здесь и там,
 И радовались женщины на это,
 И пили и купались они.
 Во всех возникли радостные мысли,
 И сонмы духов, словоно облака,
 Доподлинностью веры услаждались.
 В садах Люмбини, посреди стволон,
 В великом изобилии расцветали,
 Вне времени, чудесные цветы,
 Всю редкостность особую являя.
 Разряды же зловолящих существ
 Постигли сразу любящее сердце;
 Все скорби и недуги меж людей
 Без всякого лечения исцелились.
 Звериный крик, разнообразный вопль
 Притих, и воцарился молчанье.
 Всплеснулась стоячая вода
 И потекла речным потоком быстро.
 И все ручьи, где слизь и грязь была,
 Внезапно стали светлы и прозрачны.
 На небе не стучалось облаков,
 И музыка была слышна повсюду.
 Все существа, что чувствуют, живя,

Узнали свет вселенского покоя.
 Лишь Мара, царь желаний и страстей,
 Не радуясь, печалился глубоко
 И был один. Властительный отец,
 Столь дивного когда увидел сына,
 Хотя уверен был в своей душе,
 Однако был подвигнут изумленьем
 И изменился в лице, между тем
 Как взвешивать значение события,
 То радуясь, то сетуя. А мать,
 Царица, увидавши, что ребенок
 Родился — всем законам естества
 Противореча, в робком женском сердце
 Сомнительна была, и ум ее
 Меж крайностей качался, схвачен страхом:
 Не различая в знаменьях сих,
 Что — радостно, а что, быть может, грустно,
 Давала доступ скорби вновь и вновь.
 И женщины глубокой Долгой Ночи,
 Блжстительницы Ночи Мировой,
 Небесного просили указания,
 Молили, чтобы новое дитя
 Благословенным в этой жизни было.

В тот час, в священной роще, был Брамин,
 Был некоторый верный прорицатель,
 С достойным видом, славный, потому,
 Что был искусен он и полон знания.
 Увидев знаки, в сердце он своим
 Возликовал на дивное событие.
 Дабы смущенным не был больше царь,
 Ему сказал он голосом правдивым:
 «У всех, кто в этом мире порожден,
 Желанье есть, чтоб сын родился славный,
 И ныне царь, как полная Луна,
 Быть в радованьи должен совершенном,
 Затем что у него родился сын
 Единственный и дивно-несравнимый,
 Что будет славой роду своему.
 Веселым будь и прогони сомненья,
 Все знаменья ныне говорят,
 Что дому твоему — преуспеянье.
 Прекрасно одаренное дитя

С собой несет освобожденье мира;
 Такое тело, с цветом золотым,
 Имеет лишь учитель, данный Небом.
 Достигнет просветленности вполне,
 Кто надлен приметями такими,
 А ежели восхочет быть в мирском,
 Всемирным он пребудет самодержцем.
 Везде прият властителем Земли,
 Монархом будет четырех империй.
 Как Солнца свет среди других огней,
 Он между всех пребудет превосходным.
 Но если будет он искать жилия
 Среди пустынь лесных и гор безлюдных,
 Но если, сердце мудрости отдав,
 Он обратится весь к освобождению,
 Вселенную он светом озарит,
 Затем что как средь гор монарх — Сумеру,
 Иль золото средь ценностей есть царь,
 Иль Океан — предел среди потоков,
 Или Луна есть первая меж звезд,
 Иль Солнце — между всех светил небесных,
 Так Совершенный, что родился в мир,
 Идущий тем путем, который начат,
 Есть самый совершенный меж людей.
 Его глаза светлы и, расширяясь,
 Все видят больше, больше пред собой;
 Их затемяют длинные ресницы,
 А цвет очей — фиалковый есть цвет,
 Раек в глазу — кружок есть светло-синий,
 Весь очерк — словно полная Луна:
 Такие знаки, без противоречья,
 Дают узнать, как бы отбросив тень,
 Что состоянье мудрости — здесь полно».
 Царь, усомнившись, снова вопрошал,
 И снова отвечал рожденный дважды³.
 Он изъяснил, что были у других
 Царей Земли сыны предназначенья.
 Воспомнил Бхригу и Виасу он
 И назвал сладкогласного Вальмики
 Среди имен, которые горят
 В умах людей, как звезды светят в Небе.
 «Наполни, царь, восторгом светлым дух,
 Как светлый мед златится в полной чаше,
 Не дозволяй сомненьям говорить».
 И радовался царь словам провидца.

В саду же Риши был, что свято жил,
 Асита звался он и был искусным
 В истолкованьи знаков и примет.
 Он молвил, вдохновясь: «О правосудный!
 Во имя правых — в прежних жизнях — дел,
 Теперь плоды прекрасные явились.
 Услышь меня, скажу, зачем я здесь.
 Когда я шел сюда дорогой Солнца,
 Я слышал, как в пространстве мировом
 Вещали Дэвы, что рожден царевич,
 Который мудрость явит в полноте.
 И сверх сего я видел предвещанья
 Чудесные, которые меня
 Предстать перед тобою побудили,
 Да будет мною узрен Сакья-царь,
 Установитель Правого Закона».
 Царь повелел младенца принести.
 Царевича увидев, на подошвах⁴
 Тех детских ног увидев колесо⁴,
 Тысячекратной явлено чертою,
 Между бровей увидев белый серп,
 Меж пальцев тканевидность волоконца
 И, как бывает это у коня,
 Сокрытость тех частей, что очень тайны.
 Увидев цвет лица и кожи блеск,
 Заплакал мудрый и вздохнул глубоко.

Царь, видя слезы Риши, был смущен,
 И у него пресеклося дыханье.
 Привстав, он с беспокойством спросил:
 «Что в сыне есть моем, таком прекрасном,
 Что мало от Богов отличен он
 И видом обещает совершенство,
 Изыщен бесподобно и красив, —
 О, что в нем есть, что так тебя печалит?
 Иль, может быть (да не свершится так!),
 Он в жизни краткодневен? Иль он только
 Не больше как осенний есть цветок,
 Из инея цветок, — дохнешь, и где он?»
 Увидевши, что царь так огорчен,
 Немедленно ему ответил Риши:
 «Да ни на миг не будет царь смущен,
 Да помнит, что сказал я, а сомненью
 Да никогда не даст он в сердце ход.
 Великое все знаменья вещают.

Но, вспомнив про себя, что вот я стар,
 Я слезы не сдержал. Конец мой близок.
 Твой сын, — всем миром будет он владеть,
 Родившись, он закончил круг рождений⁵,
 Придя сюда во имя всех живых.
 От царства своего он отречется,
 Он от пяти желаний ускользнет⁶,
 Он избрет суровый образ жизни
 И истину ухватит, пробудясь.
 Засим, во имя всех, в ком пламя жизни,
 Преграды он незнания раздробит,
 Препоны тьмы незрячей уничтожит
 И солнце верной мудрости возжжет.
 Всю плоть, что потонула в море скорби,
 В пучине безграничной громоздась,
 Недуги все, что пенятся, пузырясь,
 Преклонный возраст, порчу, как бурун,
 И смерть, как океан, что все объемлет, —
 Соединив, он в мудрости челнок,
 В свою ладью, все нагрузит бесстрашно
 И мир от всех опасностей спасет,
 Отбросив мудрым словом ток вскипевший.
 Власть размышленья, словно свежий ключ,
 Его ученые, словно близкий берег,
 Достаточны для всех нежданных птиц.
 В реке широкой есть довольно влаги.
 Все существа, что знают страсти зной,
 Здесь могут пить, преграды не встречая,
 Все те, что знают встречный ветр скорбей,
 Все те, что впали в плен пяти желаний,
 Обмануты пустынею глухой,
 Лежащей меж рождением и смертью,
 Без знания, где же путь, чтоб ускользнуть, —
 Для этих в мир родился Бодгисаттва,
 Чтоб путь освобожденья показать.
 Огонь хотенья, чье горенье — вещи,
 Которых жадно жадеешь, больно жжет, —
 Он тучке милосердия дал возникнуть,
 Быть облачком дал жалости своей,
 И дождь Закона⁷ может погасить их.
 Вратами хищной жадности храним,
 Оплот тяжелей мрачного безверья,
 Сцепивший все живые существа,
 Замкнутым был, — и вот врата разъяты.
 Щипцами этой мудрости, что есть

Алмазная, противоречья хоти
 Он вырывает. Петли бредней всех
 Распутав, распустил он сеть незнанья,
 И кто был связан, вот, он без цепей.
 Не сетуй же, о царь, а знай лишь радость.
 Что до меня, чрез старость в смерть иду
 И не смогу, увы, его услышать.
 Хоть мыслью осененный, все же я
 Не прикоснусь к ученью Бодгисаттвы,
 Мне не дано, я тело износил,
 Родиться должен вновь, как вышший Дэва,
 Но все-таки подвержен бедам трем,
 Которые, скорбя, еще узнаю:
 Упадок сил, преклонный возраст, смерть». —
 Узнав причину истой скорби Риши,
 Промолвил царь: «Ты мне даешь покой.
 Но мысль, что он свое оставит царство,
 Покинет дом, та мысль меня гнетет».

Услышав это, Риши обратился
 К царю и молвил верные слова:
 «Он просветленья полного достигнет». —
 Так утишив сомнения царя,
 Велением своей духовной силы
 Поднялся в воздух Риши и исчез.

Судхóдана, услыша все, что слышал,
 И видя предвещательность примет,
 Проникнут был почтением к дитяти,
 И ряд своих забот удвоил он.
 Он издал повеление по царству,
 Что узники свободны от темниц,
 И, согласуясь с волей книг священных,
 Распространил на всех свои дары.
 Когда дитя прошло чрез завершенность
 Десятидневья, зоркий ум отца
 Вполне спокоен стал, и возвестил он,
 Что будут ныне жертвы всем Богам
 И общинам благоговейным будут
 Обильные дары, и всем родным,
 И всем, не только властным, но и бедным.
 И кто хотел, являлся за скотом,
 За деньгами, конями и слонами,
 И всяк, в размере нужд, был награжден.
 Потом, гаданьем час избрав счастливый,

Дитя переселили во дворец,
Поставив колыбельку на повозку
И дав повозку ту везти слону,
С прекрасно белоснежными клыками,
Сияющему дивной красотой,
Блестящему от разных умщений
И яркому от множества прикрас.
Обняв дитя, царица круг свершила,
Благоговенья духам вознося,
Потом в свою блестящую повозку
Она вошла, а царь сопровождал,
И сонмы слуг и весь народ шли вместе.
Так Сакра, царь Небес, через лазурь
Идет, а вокруг него толпятся Дэвы.
Так Магесвара, полный торжества,
Младенца шестиликого родивши,
Давал даянья щедрою рукой.
Так ныне царь, как был рожден царевич,
Возликовал, с царем же весь народ,
И было в ликовании все царство.

3. ТРЕВОГА

Там, в овне, лежат лужайки,
Брызжет влагой водомер,
Чисты свежее озера,
Разно светятся цветы.
На ветвях дерев, рядами,
Золотистые плоды,
От ветвей глубоки тени,

Стебли — нежный изумруд.
 Много там и птиц волшебных,
 В играх выюта посреди,
 И цветов — четыре рода
 На поверхности воды.
 Краски — светлы, дух — душистый,
 Девы стройные плещут,
 И царевича пленяют
 Струнной музыкой они.
 Из чертога слыша пенье,
 Он вздыхает о садах,
 Хочет он услад садовых,
 Быть в смарагдовой тени.
 И, лелея эти мысли,
 Хочет выйти из дворца,—
 Слон в цепях так тяготится,
 Хочет воли и пустынь.
 Царь, услышав, что царевич
 Быть желает во садах,
 Повелел их разукрасить
 И в порядок привести.
 Сделал царскую дорогу
 Очень ровной и прямой,
 Все убрать с пути, что может
 Взор глядевший оскорбить.
 Старых, хилых и недужных,
 Иль увечных, или тех,
 Кто, нуждаясь, непригладен,
 Иль чрезмерно воскорбел.
 Царь-отец об этом думал,
 Чтоб царевич, в этот час,
 Сердца юного не ранил,
 Огорчение узнав.
 Во свершеные приказанья
 Разукрашены сады,
 И царевич приглашен был
 Пред отцом-царем предстать.
 Сын приблизился с почтеньем,
 Тронул царь его чело,
 Цвет лица его увидел,
 Грусть и радость ощутил.
 Но, в своих сдержавшись чувствах,
 Их вонне не показал,
 Рту его хотелось молвить,
 Сердце он свое сдержал.

Вот, в камнях самоцветных
 Колесница, а пред ней
 Четверня красивых, статных,
 Равных в прыгкости коней.
 Кони выучки хорошей,
 Бег их точно предрешен,
 Белоснежные, а сбруя
 Перевита вся в цветах.
 Строен тот, кто в колеснице
 Направляет бег коней.
 Путь усыпан весь цветами,
 По бокам висят ковры.
 Деревца, малютки ростом,
 Обрамляют царский путь.
 На столбах резные вазы,
 Разноцветный вьется стяг.
 Чуть повеет легкий ветер,
 Шевельнется балдахин,
 Светлый занавес качнется,
 Шелк узорчатый шуршит.
 Вдоль дороги много зрящих,
 Смотрят зорко их глаза,
 Но не груб тот взор, а кроток,
 Словно лотос, что склонен.
 Вкруг царевича-владыки,
 Свита следует за ним,
 Словно это — царь созвездья,
 Окруженный сонмом звезд.
 Всюду шепот заглушенный,
 Редок в мире вид такой,
 Все сошлись, богатый, бедный
 Кто смирен и кто взнесен.
 Бросив дом — как только был он,
 Не поставив скот в загон,
 И монеты не считая,
 И дверей не запев,—
 Все пошли к дороге царской,
 Башни все полны людей,
 Люди в окнах, на балконах,
 На валах, среди дерев.
 Все тела склонив согласо,
 Взоры все стремя в одно,
 Все умы в один сливая,
 Были зрящие — как круг.
 И окружно устремленный,

В измененном — много скорби,
 Мало радости живой.
 Дух в нем слаб, бессильны члены,
 Это знаки суть того,
 Что зовем — «Преклонный возраст».
 Был когда-то он дитя,
 Грудью матери питался,
 Резвым юношей он был,
 Пять он чувствовал восторгов¹⁰,
 Но ушел за годом год,
 Тело порче подчинилось,
 И изношен он теперь».
 И взволнованный царевич
 Вновь возницу спросил:
 «Человек тот — он один ли
 Дряхлым возрастом томим,
 Или буду я таким же,
 Или будут все как он?»
 И возница вновь ответил
 И промолвил, говоря:
 «О царевич, и тобою
 Тот наследован удел.
 Время тонко истекает,
 И пока уходит час,
 Лик меняется,— измене
 Невозможно помешать.
 Что приходит несомненно,
 То должно к тебе прийти,
 Юность в старость облачая,
 Общий примешь ты удел».
 Бодгисаттва, что готовил
 С давних дней оплот ума,
 Зодчим мудрости высокой
 Безупречным быть хотел,—
 О преклонности печальной
 Слыша верные слова,
 Так сражен был, что внезапно
 Каждый волос дыбом встал.
 Как в грозу раскаты грома
 Обращают в бегство скот,
 Так сражен был Бодгисаттва
 И глубоко вздохнул.
 С сердцем, сжатым пыткой «Старость»,
 Взор застылый устремив,
 Думал он о том, как скорбно

К одному тянулся ум:
 Вид как бы небесной тени
 Возникал и проплывал.
 Словно лилия, что только
 Перед этим расцвела,
 На садовые лужайки
 Светлоликий устремлен.
 Во свершенье предвещанья,
 Старца Риши слов святых,
 Вкруг себя царевич смотрит,
 Приготовлены пути.
 Влагой политы дороги,
 У толпы нарядный вид,
 Ткани светлы,— и царевич
 Ликованье ощутил.
 В колеснице златосветной
 Пред толпою он возник,
 И народ смотрел на блески
 Этой юной красоты.
 Между тем Властитель-Дэва,
 Из пределов Чистоты,
 Снизшел, и близь дороги
 Он с внезапностью возник.
 Превративши лик свой светлый
 В дряхлый облик старика,
 Он изношенным явился,
 С сердцем, слабым от тягот.
 И царевич, видя старца,
 Страх тревоги ощутил,
 Вопросыет он возницу:
 «Это что за человек?
 Голова его — седая,
 Телом дряхл, в плечах согбен,
 Очи тусклы, держит палку,
 Ковыляет вдоль пути.
 Иль он высох вдруг от зноя?
 Иль таким он был рожден?»
 И возница, затрудненный,
 Не умеет ответить.
 Он бы вовсе не ответил,
 Если б Дэва вмиг ему
 Не умножил силу духа
 И ответ не предрешил:
 «Вид его иным был видом,
 Пламень жизни в нем иссяк,

Бремя дряхлости узнать.
 «Что за радость, — так он думал, —
 Могут люди извлекать
 Из восторгов, что увянут,
 Знаки ржавчины прияв?
 Как возможно наслаждаться
 Тем, что нынче силен, юн,
 Но изменишься так быстро
 И, исчахнув, будешь стар?
 Видя это, как возможно
 Не желать — бежать, уйти?»
 И вознице Бодгисаттва
 Говорит: «Скорей назад!
 Что сады мне, если старость
 Надвигается, грозя,
 Если годы этой жизни
 Словно ветер, что летит?
 Поверни же колесницу,
 Во дворец вези меня».
 Но, как бы придя к гробницам,
 Был и дома скорбен он.

Царь, узнав о грусти сына,
 Побудил его друзей
 Предпринять прогулку снова,
 И велел прибрать сады,
 И еще пышней украсить
 Всю дорогу повелел.
 Но теперь явился Дэва
 Как недужный человек.
 Он стоял там у дороги,
 Безобразен и раздут,
 С бормотаньем, весь заплакан,
 Руки, ноги — сведены.
 И спросил опять царевич:
 «Это что за человек?»
 Отвечал ему возница,
 И ответ гласил: «Большой.
 Все четыре естества в нем
 В беспорядке сплетены¹¹,
 Силы нет, и весь он слабость,
 Просит помощи — других».
 И царевич, это слыша,
 Сразу сердцем грустен стал
 И спросил: «Один ли только

скорбен он, или есть еще?»
 И ответ гласил: «Такие
 Всюду в мире люди есть,
 Кто живет, имея тело,
 Должен в жизни ведать боль».
 Слыша это, был царевич
 Мыслью скорбною смущен:
 Так, порой, на ряби водной
 Схвачен зыбью лик Луны.
 «Кто в печи великой горя
 Ввержен в дым и в жгучий жар,
 Как он может быть спокойным,
 Может ведать тишину?
 Горе, горе ослепленным,
 Если может вор-болезнь
 Каждый миг предстать пред ними
 И в веселье бросить тьму».
 Вновь златая колесница
 Повернулася назад,
 И скорбел он — боль недуга
 Видя в зеркале ума.
 Как израненный, избитый,
 Тот, кто посох должен взять,
 В одиночестве, в безлюдьи,
 Так он жил в своем дворце.
 Царь, узнав, что сын вернулся,
 Вопроса — почему.
 И ответ ему был точный:
 «Боль недуга увидал».
 На блюстителей дороги
 Царь посетовал весьма,
 Сердце он сдержал, тревожась,
 Ничего он не сказал.
 Он число поющих женщин
 Увеличил во дворце,
 Вдвое громче раздавались
 Звуки пения теперь.
 Эти лики, эти звуки
 Чарой быть должны тому,
 Кто, лелея наслажденья,
 Дом не должен разлюбить.
 Днем и ночью, множа чару,
 Умножается напев,
 Но царевич не вникает,
 И не тронут чарой он.

«Он один ли, этот мертвый,
Или в мире есть еще?»
И услышал он, что в мире
То же самое везде.
«Жизнь начавший — жизнь окончит.
Есть начало — есть конец.
Силен, молод — но, имея
Тело, должен умереть».
И царевич, отуманен,
Мыслью скорбно смущен,
Весь пригнулся к колеснице,
Словно принял тяжкий гнет.
Пресекалося дыханье
У него, как он сказал:
«О, безумье заблуждения,
Роковой самообман!
Тело — прах, и, это зная,
Не печаясь, живут,
Сердце бьется — и не хочет
Знать, что все исчезнет здесь».
Он к вознице обратился,
Повернуть велел назад,
Чтоб не тратить больше время,
Не блуждать среди садов.
Как бы мог он, с этим страхом
Смерти, ждущей каждый миг,
С легким сердцем веселиться,
Уезжая вдоль пути!
Но возница помнил слово
Говорившего царя,
И назад боялся ехать,
И вперед помчал коней.
Кони дрогнули, и мчались,
Задыхаясь, ко садам,
И примчались к тихим рощам,
Где журчали ручейки.
Возвышались деревья
В изумрудной красоте,
Звери разные блуждали
По земле среди травы.
И летучие творенья
Пели ласково кругом,
Взор и слух имели радость,
Было дивно во садах.

Царь нисходит самолично,
Чтоб сады все осмотреть,
Ибирает свиту женщин
С наилучшей красотой.
Тех, что смогут все устроить,
С быстрым вкрадчивым умом
И мужское сердце могут
Нежным взглядом уловить.
Он еще поставил стражей
Вдоль по царскому пути
И убраться велел с дороги
Все, что может ранить взор.
Знаменитому вознице
Убедительно сказал,
Чтоб смотрел он хорошенько,
Надлежащий выбрал путь.
Между тем великий Дэва
Из пречистой высоты,
Снизойдя опять, как прежде,
Лик умершего явил.
Перед взором Бодгисаттвы
Тело четверо несли,
Это видел лишь царевич
И возница, не народ.
«Что несут они? — спросил он. —
Там знамена и цветы,
Свита, полная печали,
Много плакальчиков там».
И возница, знаку свыше
Повинуясь, отвечал
И к царевичу промолвил:
«Это мертвый человек.
Жизнь ушла, и силы тела
Истощились у него,
Ум — без мысли, сердце — камень,
Дух ушел, и он — чурбан.
Нить семейная порвалась,
В белом трауре друзья,
Уж его — не радость видеть,
В яме скрыть его несут».
Имя Смерти услышавши,
Был царевич угнетен,
Сердце сжалось мыслью трудной,
И печально он спросил:

4. ОТРЕЧЕНИЕ

Вот вступил в сады царевич,— и кругом
 Стали женщины являть внушенья чар,
 Взоры манят, мысли вольные у них,
 Каждой мнится: «Я понравлюсь тем и тем».
 С тайным замыслом друг к другу наклонясь,
 Бьют в ладоши и ногами движут в лад
 Или телом к телу льнут, рука с рукой,
 И сливаются совсем друг с другом в плоть.
 Или в шутках ищут быстрый дать ответ
 И улыбкой на улыбку проблестеть,
 Или задумчивый принять и грустный вид,
 Чтоб сочувствием внушить ему любовь.
 Но увидели они — царевич хмур,
 В теле стройном нет его обычных чар,
 И смотрели все, и ждали, вверх смотря,
 Как мы ждем, порой, восшествия Луны.
 Но напрасно были хитрости их всех,
 В Бодгисаттве сердце тронуть им нельзя,
 И столпились все они, и сбились в круг,
 Озадачены, испуганы, молчат.
 Брамапутра был в тот миг там во садах,
 Он Удайи звался. Женщинам сказал:
 «Вы красивые, но плените ль все хоть раз?
 Красота имеет власть, но не навек.
 Все же держит-держит мир она в плену
 Силой чувственной и тайностью путей,
 Все же в мире вашим чарам не идти
 Вровень с чарами небесных дивных дев.
 Боги, видя их, ушли бы от Богинь,
 Духи были бы в соблазны введены,—
 Что ж царевич, пусть он даже царь Земли?
 Почему бы не проснуться чувствам в нем?
 В оно время ведь была же Сундарй,
 Ей великий Риши был же сокрушен,
 Вовлекла она его в любовь к себе
 И принизила хваленость высоты.
 Также был еще Висвामитра Брамиң,
 Прожил он в молитвах десять тысяч лет,
 А корабль его был сразу сокрушен,
 В день один царицей Неба был пленен.
 Если были те Брамини сражены,
 Много можете вы, женщины, теперь,
 Измышляйте ж сети новые любви,

И запутан царский сын в них будет вмиг.
 Слабы женщины, природа такова,
 Но мужчинами умеют управлять,
 И чего же не сумеют совершить,
 Чтобы чувственность желанья в них зажечь?»
 Свита женщин, услыхав его слова,
 Всколыхнулась и ободрилась вполне,—
 Услыхавши так касания бича,
 Заленившийся проснется сразу конь.
 Снова — музыка, веселый разговор,
 Зубы белые, брови подняты у них,
 Очи смотрят,— взор, горя, идет во взор,—
 В легких тканях видны белые тела.
 Изгибаясь и жеманно подходя,
 Как невеста, что застенчиво идет,
 Так идут они с желанием любви,
 Женской сдержанности больше нет у них.
 Но царевич в сердце был неколебим,
 Был безгласен, соблюдая тишину,—
 Так стоит, порой, один могучий слон,
 Стадо ж все толпится шумно вокруг него.
 Так божественный был Сакра в небесах,
 Вкруг него же Дэви Неба всей толпой,
 Как царевич ныне медлил во садах,
 Светлым множеством красавиц окружен.
 Но напрасно им одежду поправлять,
 Изливая благовонья на тела,
 Но напрасно им цветы перевивать
 И шептать друг другу тайные слова,—
 Вместе, порознь, говорят или молчат,
 Для соблазна выгибают ли тела,—
 Бодгисаттва, как скала, в себе замкнут
 И для грусти и для радости закрыт.
 Видя странные старания их всех,
 Глубже думает, все глубже мыслит он,
 Видит женские он замыслы насквозь,
 Начинает понимать всю их тщету.
 «И не ведают,— так молча мыслит он,—
 И не ведают, как скоро красота
 Опадает, как увядший лепесток,
 Смята старостью и смертью взята.
 В том великая беда, что знания нет!
 Обольщенье затеняет их умы.
 День и ночь тот обоюдоострый меч

Им грозит, — но вот, не помнят про него.
 Старый возраст, и болезнь, и с ними смерть,
 Эти чудища возможно ль созерцать
 И, глядя на них, смеяться и шутить,
 С мертвой петлюю на шее — ведать смех?
 Человека — человеком ли назвать,
 Если внутреннего знания он лишен!
 Не из камня ли фигура он тогда,
 Не из дерева ли сделанная тень!
 Не растет ли так в пустыне стройный ствол,
 Есть плоды на нем, и ветви, и листья,
 Но спилят его, а призрак от него
 И не ведает, что вот последний миг!»

Тут к царевичу Удаю подошел
 И, увидевши, что пять желаний спят,
 «Магараджа, — так он начал говорить, —
 Другому сыну моему велел мне быть.
 Говорить мне можно ль дружески с тобой?
 Друг — трояк: он, что не нужно, устранит,
 В чем действительно нужна есть — достает,
 И в превратности он с другом тут как тут.
 Про такого — просветленный говорят,
 Просветленным другом быть тебе хочу.
 В чем же три истока выгоды узреть?
 Слушай, верные слова тебе скажу.
 Если молодость созрела и свежа
 И в расцвете все улады красоты,
 Неги женского влияния не принять, —
 Это значит, что бессилен человек.
 Иногда лукавство должно допустить,
 Подчиниться малым хитростям вполне,
 Тем, что в сердце там гнездятся, в глубине.
 Как в течениях подводных держат путь.
 В наслаждениях коль шалостью ты взят,
 То не худо в женском мнении, никак, —
 Если в сердце нет желанья сейчас,
 Все же играм этим нужно уступить.
 Сердцу женскому согласие — восторг,
 Уступить ему — есть полная краса.
 Если ж это отвергает человек,
 Он как дерево без листьев и плодов.
 Почему ж, однако, нужно уступить?
 Чтобы в этом всем удел свой получить,
 Раз возьмешь его — конец тревогам всем,

Переменчивость мечты не мучит нас.
 Наслажденье — помысл первый есть у всех,
 Без него самим Богом не обойтись.
 Сакра-бог к жене был Риши привлечен,
 Он супругу Гаутамы полюбил.
 И Агастия так Риши, что уж был
 В долгой ночи воздержанья много лет,
 Пожелавши Дэви нежную обнять,
 Вспыхнул так, что все заслуги потерял.
 Бригаспати, Чандрадева, и еще,
 Парасара, Каванджара, и еще,
 Эти все, и с ними множество других,
 Были женскою любовью сражены.
 Сколь же больше должен ты медвяность пить,
 Преимущества имея все свои,
 Знать в пленительных уладах свой удел,
 Окруженный всеми теми, кто с тобой».

Слыша то, что говорил Удаю-друг,
 Те искусно сочтенные слова,
 Этих тонких различений образцы
 И примеры, приведенные с умом, —
 Так царевич, отвечая, говорил,
 Так словами он подробный дал ответ:
 «Я за искренность тебя благодарю,
 Дай и мне ответить искренно тебе,
 И покуда ты внимаешь, — приговор
 Пусть помедлит, молча, в сердце у тебя.
 Я совсем не безучастен к красоте,
 Человеческих восторгов знаю власть,
 Но на всем измены вижу я печать,
 Оттого в тягелом сердце эта грусть.
 Если б это достоверно длилось так,
 Если б старость, смерть, болезнь — не ждали
 нас,
 Упивался бы любовию и я, —
 Не узнал бы пресыщенье и печаль.
 Если женщинам ты этим возбранишь
 Изменяться или вянуть в красоте,
 Пусть в любовных наслаждениях есть и зло,
 Все же им держать в неволе ум дано.
 Знать же только, что другие где-то там
 Заболели, постарели, видят смерть,
 Только это знать — и радости уж нет, —
 Что же, если это ведать про себя!
 Знать, что эти наслаждения спешат,

Ускоряют порчу тел и гнилость их,
 И, однако ж, предаваться снам любви,—
 Люди в этом превращаются в зверей.
 Многих Риши ты приводишь имена,
 Что по чувственным дорогам в жизни шли,—
 Их примеры умножают скорбь мою,
 В том, что сделали, погибель их была.
 Ты приводишь имя славного царя,
 Что служил свободно всем своим страстям,—
 Как они, и он в деяньи том погиб,
 Победителем отнюдь он не был в том.
 В сеть уклонных слов кого-то уловить,
 Улестить кого-то, волю взять его,
 Ум мутя, узнать уступчивое «Да»,—
 Или замысел тот правильно-красив?
 Это значит лишь — обманом соблазнить,
 То пути не для меня и не для тех,
 Кто достоинство и правду возлюбил,
 Ибо истинно неправы те пути.
 В этом следовать нельзя мне ни за кем,
 Ни с бунтующимся сердцем — уступать.
 Старый возраст, и болезнь, и смерть — грядут,
 Горе движут к нам и горе громоздят.
 Их влияньем все кругом меня полно,
 Их присутствие везде, увы, увы!
 И вот в этом-то нет друга у меня,
 О Удайи, это в мыслях — может встать!
 Боль рожденья, старый возраст, смерть,
 болезнь,—
 Это мучает и это нам грозит,
 Очи видят, как все падает кругом,
 И, однако ж, сердце следует за всем.
 В этом мало что могу я повелеть,
 Сердце слабое совсем поглощено,
 Вижу старость, вижу бóлезнь, вижу смерть,
 Так я не был никогда еще смущен.
 Ночь не сплю и мыслю днем,— восторг ли
 знать! —
 Старость ждет, болезнь придет и смерть
 верна,—
 Если б не был я печально омрачен,
 Деревянным бы иль каменным я был».

Так царевич, в усложненный свой ответ
 Питки сладостей вводя, их означал

И не видел, что, пока он говорил,
 День бледнел и, догорая, угасал.
 Звоны музыки и чары унося,
 Увидав, что все старанья ни к чему,
 Удалилися все женщины, стыдясь,
 Возвратилася в столицу их толпа.
 И царевич, в той безлюдной тишине,
 Увидавши опустелые сады,
 Вдруг почувствовал изменчивость вдвойне
 И вернулся опечален во дворец.
 Царь-отец, спросив о сыне и узнав,
 Что от радостей царевич отвращен,
 Был такой великой скорбью поражен,
 Точно в сердце острый меч его пронзил.
 Он немедленно же созвал весь совет,
 Вопросал, и все ответили ему:
 «Недостаточно желаний для того,
 Чтобы сердце, полонивши, удержать».

5. РАЗЛУКА

И царь увеличил возможности чары,
 Влеченья телесных услад.
 Ни ночью, ни днем не смолкали напевы,
 Царевич от звуков устал.
 Ему опостытели нежные звоны,
 Он жаждал отсутствия их.
 Он думал о старости, боли и смерти,
 Как лев был, пронзенный стрелой.
 Послал к нему, зоркой заботой тревожим,
 Отменных советников царь
 И тех из родных, что с младыми летами
 Красу сочetaли и ум.
 Чтоб, ночью и днем пребывая с грустиящим,
 Влияли они на него.
 Чрез малое время царевичу снова
 Возжадалось выезд свершить.
 Опять колесница золотая готова,
 Рысистых коней четверня,
 И с свитой блестящей друзей благородных
 Из пышных он выехал врат.
 Как, семенем выращен четырёхкратным,

Под Солнцем сияет цветок,
 Так в блеске духовном был светел царевич,
 В нем юное время — как луч.
 Меж тем как из города ехал в сады он,
 Ему уготован был путь,
 Цветами, плодами сияли деревья,
 И сердцем беспечен он был.
 Но возле дороги он пахарей видел,
 Что шли, проводя борозду,
 И черви там вились, — и дрогнуло сердце,
 И вновь был пронзен его дух.
 О, горестно видеть свершенне работы,
 Работают люди с трудом,
 Тела склонены их, и волосы сбились,
 На лицах сочащийся пот.
 Запачканы руки и пылью покрыты,
 Пригнулись волы под ярмом,
 Разъяты их рты, и неровно дыханье,
 И свесился набок язык.
 Царевич, исполнен огнем состраданья
 И с любящим нежным умом,
 Был ранен такою пронзающей болью,
 Что в пытке своей застонал.
 Сойдя с колесницы и севши на землю,
 На зрелище боли смотрел,
 И в мыслях, сплетясь, протянулись дороги
 Рожденья и смерти пред ним.
 «Увы, — он вскричал, — злополучие миру,
 В несведущей он темноте!»
 И спутникам он предложил, чтобы каждый,
 Где вздумает, там отдыхал.
 Сам сел он под тению дерева Джамбу
 И мыслям отдался своим.
 Он думал о жизни, о смерти, о смене,
 О тлене, о дальнем пути.
 Так сердце свое укрепив без смущенья
 И тучкой пять чувств затянув,
 В просвете он внутреннем весь потерявшись,
 Изведаль первичный восторг^{1,2}.
 Первичная чистая степеня восторга,
 Все низкое прочь отошло,
 Настало затем совершенство покоя,
 Слиянье с Верховным в одно.
 Отдельность души от препоны телесной,
 Один ясновидящий взор.

Он видел страду и томление мира,
 Предельное горе его.
 Болезнь разрушает, и в старости — тленье,
 И смерть убивает совсем,
 И люди не могут для правды проснуться,
 И гнет он чужой принимал.
 «Я буду искать, — он сказал, — и найду я
 Один благородный Закон,
 Чтоб встал он на смерть, на болезнь
 и на старость,
 Людей бы от них защитил».
 В спокойном потерянный так созерцанный,
 Он думал, что юность, и мощь,
 И жизненность силы, в повторном возврате,
 Сверхают конечный свой тлен.
 О том он без радости мыслил чрезмерной,
 Без скорби, без смуты ума,
 Без грезы дремотной, без крайней истомы
 И без отвращенья души.
 Он думал об этом в спокойствии мира,
 Лучами внутри осиян.
 И Дэва из Чистых высот появился,
 Как Бхикшу, как нищий, пред ним.
 Дошел он до места, где медлил царевич,
 Царевич почтительно встал,
 Спросил его, кто он, и Дэва ответил,
 Ответствуя, молвил: «Шаман¹».
 При мысли о старости, смерти, недуге
 Томительно я заскучал,
 Оставил свой дом, чтоб искать избавленья,
 Но всюду, куда ни взгляну,
 Все старость да старость, все смерть и недуги,
 Все гибнет, не прочно ничто.
 Ищу я блаженства чего-нибудь в мире,
 К чему не притронется тлен,
 Того, что не вянет, того, что не гибнет,
 Начала не знает совсем,
 На друга и недруга с равенством смотрит,
 Не ждет красоты и богатств, —
 Ищу я блаженства — того, кто находит
 Покой сам с собою один,
 В обители тихой, далеко от мира,
 Куда не приходит никто,
 Не тронут истоком мирских осквернений, —

И светел был лик — как Луна в полнолуние,
Шаги — были поступью льва.
В дворец так вступил он, и, полный почтения,
Как Сакры-Властителя сын,
Он прямо к отцу подошел и,*склонившись,
Спросил: «Как здоровье царя?»
Затем, изъяснивши свой страх, что внушили
И старость, и смерть, и болезнь,
Почтительно он попросил позволения
Уйти и отшельником стать.
«Все в мире, — сказал он, — хоть ныне и слито,
Все в мире к разлуке идет».
И мир он оставить просил разрешенья,
Чтоб «истинность воли узнать».
Отец его, слыша о бегстве от мира,
Сердечной был дрожью пронзен, —
Могучий так слон потрясает клыками
И хоботом ствол молодой.
Он встал и, царевича за руки взявши
И слезы роняя, сказал:
«Постой! Говорить тебе так еще рано,
Не время в молельность уйти.
Ты силен и юн, в сердце — полность биенья,
В молитвенность с этим идти
И трудно и страшно, смущенья приходят,
Желанья возможно ль пресечь.
Оставить свой дом, истязаниям плоти
Отдаться — нелегкий то путь,
Жить в диких пустынях и в долах безлюдных
Возможет ли сердце твое.
Я знаю, ты любишь молитвенность духа,
И мысль о высоком — в тебе,
Но ты еще сердцем не сможешь смириться,
Ведь годы твои — не мои,
Ты должен принять управление царством,
Мне первому нужно уйти.
Оставить отца и свершение долга, —
В том набожность есть ли, скажи.
Ты должен изгнать эти мысли о том, чтоб
Оставить родимый свой дом,
Свой долг соверши, и оставь себе имя,
И после уйди от семьи».
Царевич, почтительность чувства явивши,
Мольбу пред отцом повторил,
Оставить свой замысел он обещался,

Что́ нужно поестъ, — попрошу».
И как он стоял пред царевичем, — кверху
Поднявшись, в пространстве исчез.
Царевич, с отрадой, подумав, вспомнил
О Буддах, что были в веках,
И в полном нашел соответствии вид их
С явлением того, кто исчез.
Так все сопоставив в уме, самоцельно,
Он мысли о правде достиг
И как до нее досягнуть. Пребывая
В молитвенной этой тиши,
Он чувства свои подавил, он всем членам
Послушными быть приказал,
И в город направился. В это же время
Вся свита сбежалась к нему,
Помедлить просили его; но, лелея
Те тайные мысли в уме,
Он двигался телом по той же дороге,
А сердцем был в дальних горах:
Привязанный слон так, плененный цепями,
Все в диких пустынях умом.
И в город царевич вошел, и увидел
В людском закрепленных людей.
О детях своих умолял его старец,
Молил молодой о жене,
Другие для братьев чего-то просили,
У каждого просьба была.
Все те, кто был связан родством и семьею,
Стремилась к тому иль тому,
Все бывшие слитыми родственной связью,
Разлуки страшились они.
И сердце царевича радость узнало,
Когда он услышал слова:
«Разлука и слитность». «То добрые звуки, —
Он тихо сказал про себя. —
Они мне вещают, что будет свершен он,
Обет, что я принял душой».
Он думал о счастье «родства, что порвалось»,
В Нирвану он мыслью вошел.
И было все тело его — в светосиле,
Как скалы Горы Золотой,
И плечи его — как слона были плечи,
И голос — как вышний был гром,
Лазурны глаза — как у первого в стаде,
У сильного рогом быка,

Коль бед четырех избежит.
 «Коль дашь бесконечную жизнь мне, — сказал он, —
 И старости я избегу,
 Болезнь не узнаю и гибель владений,
 Тогда не оставлю я дом».
 И царь отвечал, и царевичу молвил:
 «Нельзя этих слов говорить.
 Здесь нет никого, кто бы мог устранить их,
 Сказать их явлению: Нет.
 Ты вызовешь смех у людей, если будешь
 Стремиться до тех четырех.
 Не думай же больше, чтоб дом свой оставить,
 Усладам предайся опять».
 Царевич промолвил: «Коль эти четыре
 Исполнить не можешь мольбы,
 Тогда отпусти, не удерживай больше,
 Дозволь мне оставить мой дом.
 Молю, затруднений не ставь на дороге,
 В горящем чертоге твой сын,
 Ужели ж удерживать будешь в пожаре,
 Покуда и он не сторгит?
 Кто хочет сомненья распутать, он волен,
 Не держат его, а не то
 Себя он разрушит, дойдет до разгадки
 Иным безвозвратным путем.
 Неправой дорогой. А после, за смертью,
 Кто сможет его удержать?»
 И царь увидал, что решение твердо,
 Что тратить напрасно слова.
 Он женскую свиту сзывает немедля,
 Чтob сына к усладам увлечь.
 Беречь наказал он пути и дороги,
 Чтob он не покинул дворец.
 Он также созвал всех советников края,
 Дабы рассказали они
 Примеры сыновнего сильного чувства,
 Царевича тронуть ища.
 Царевич же, видя, что царь весь заплакан
 И скорбью своей отягчен,
 В чертог удалился к себе, и сидел там
 И думал в молчании он.
 Все женщины, бывшие в пышных палатах,
 Придя, окружили его,

И молча смотрели на облик красивый,
 Не беглым был взгляд их очей, —
 Смотрели, как лани, что в чаще осенней,
 Увидя охотника, ждут,
 Царевич же стройный, царевич красивый
 Застыл, как утес золотой.
 В сомненных танцовщицы медлили, ждали,
 Велит ли он петь и играть,
 И в сердце их — страхом удержано чувство,
 Так медлит олень за кустом.
 И день уж бледнел и бледнел постепенно,
 Сидел он в вечерней заре, —
 И свет от него исходил лучезарно,
 Как свет от Сумеру-горы, —
 На ложе, блестящем от ценных камней,
 И в дымах сандала кругом.
 Вокруг же танцовщицы с музыкой были,
 И редкостный длился напев,
 Но мысли царевича гнали напевность,
 Он звуков умом не хотел,
 И страстные звуки чертог наполняли,
 Но он не слышал их совсем.
 Узнав, что царевича время пришло,
 Тут Дэва из Чистых высот
 Во образе внешнем спустился на Землю,
 Чтob женские чары убить.
 И полудетые призраки эти,
 Забывшись в скованшем их сне,
 Являли глазам некрасивые формы,
 Их скорчены были тела.
 Разбросаны лютни, разметаны члены,
 Спина прилепилась к спине;
 Другие как будто потопшими были,
 А их ожерелья — как цепь;
 Одежды их были увиты, как саван,
 Или выявлялись комком;
 Красивыми были и вот уж увяли,
 Как сломанный маковый цвет,
 Иные во сне до стены прижимались,
 Как будто повешенный лук;
 Иные руками цеплялись за окна,
 Смотря как раскинутый труп;
 Иные свой рот широко раскрывали,
 Противно сочилась слюна,

И тела касаясь, сказал:
 «Отец мой и царь мой с тобой был повсюду,
 И в битве бесстрашным ты был,—
 Теперь на тебя я хочу положитьсь,
 С тобою достигнуть туда,
 Где жизнь бесконечная током струится,
 И биться с оплотом врагов,
 С людьми, что в погоню идут за услугой
 И ищут богатства себе.
 Иду я искать исцеленья от пытки,
 И это во имя того,
 Во имя свободы твоей и всеобщей,
 Да будет достойным твой бег».
 Так молвив, вскочил на коня и поехал,
 И был он как Солнце зари,
 И конь был как облачный столп устремленный,
 Бежал, но, бежа, не хралел.
 С ним были четыре незримые духа,
 И каждый ногам помогал,
 Скрывая копыт повторительный топот,
 Бесшумным соделавши скок.
 Был духами чтим и отец безгреховный,
 И сын несравненный его,
 Все члены семьи были в равенстве чтимы,
 От Дэв благовторным — привет!
 Сдержав свои чувства, но память лелея,
 Из города выехал он,
 Такой незапятнанный, светлый и чистый,
 Как лилия, бросив свой ил.
 Свой взор на отцовский дворец приподнявши,
 Свой замысел он возвестил,
 И в записях мира тех слов не хранится,
 Но эти слова не прейдут:
 «Когда б не избег я рожденья и смерти
 Навек,— я так бы не шел!»
 И духи в пространстве, и Дэвы в высотах
 Воскликнули: «Так! Это так!»
 И духи в пространстве, и Дэвы в высотах,
 Светло совершенства храня,
 Сиянье свое излучали обильно,
 И свет был на длинном пути.
 Так всадник и конь, оба сильные сердцем,
 Как звезды, пошли и ушли,
 Но прежде чем свет воссиял на Востоке,
 Уж были они далеко.

И волосы были всклокочены дико,
 Безумия жалостный лик;
 Цветочная перевязь порвана, смята,
 Распотанный в прахе лохмоть;
 И в страхе иные приподняли лица,
 Как в пустоши птица одна,
 Царевич сидел, в красоте лучезарной,
 И молча на женщин смотрел,
 Как юны сейчас они были и нежны,
 Как искрист веселый был смех!
 Как были прекрасны! И как изменились!
 И как неприятен их вид!
 Вот женщины нрав. Лишь обманчивый призрак.
 Заводят мужские умы.
 И молвил себе: «Я проснулся для правды,
 Оставлю я тех, в ком обман».
 А Дэва из Чистых высот, снизошедши,
 Приблизился, дверь отомкнул.
 Царевич встал с места и между простертых
 Поверженных женщин прошел,
 Дойдя с затрудненьем до внутренних горниц,
 Возницу он, Чандаку, звал.
 «Душа моя жаждет, испить она хочет
 От влаги нежнейшей росы.
 Седлай же коня мне. Скорее. Желая
 Я в город бессмертный войти.
 Я жажду. Решился. И связан я клятвой.
 Нет чар в этих женщинах мне.
 Врата, что замкнутыми были, разъяты.
 В судьбе моей здесь поворот».
 И Чандака думал, что, должен ли слушать
 Веленье царевича он,
 Царю не сказавши об этом и этим
 Снискав наказание себе.
 Но Дэвы послали духовную силу,
 И конь, уж оседлан, стоял,
 Скакун превосходный и в сбруе блестящей,
 Готовым он в путь выступал.
 С высокою гривой, с хвостом словно волны,
 С широкой и сильной спиной,
 С значительным лбом, с головой как бы птичьей,
 С ноздрями как будто клешни,
 С дыханьем как будто дыханье дракона,
 Во всем благороден он был.
 И царственный всадник, трепля его шею

Занятие 2

Царевич обратился, привет приявши,
 К Отшельникам почтительный ответ,
 И спросил он старшего меж ними,
 Каков есть верной веры правый путь.
 И отвечал ему рожденный дважды,
 Все трудности устава изъяснил.
 Одни едят — не то, что есть в селеньях,
 А только то, что в чистой есть воде;
 Другие — только ветки молодые,
 Плоды, цветы и корни, что в земле;
 Одни живут как птицы, и как птицы,
 Что словят, то и служит пищей им;
 Другие щиплют травы, как олени;
 Иные только воздухом живут,
 Как змеи; а иные просят пищу
 И отдают, остатки лишь едя;
 Иные лишь едят двумя зубами,
 Пока не будет ран у них во рту;
 На голову иные принимают
 По капле воду; служаг и огнем;
 В воде живут иные, словно рыбы;
 Отшельники в лесу есть видов всех,
 Они идут дорогой истязаний,
 Чтобы в конце родиться в Небесах.
 Царь человек, мастер превосходный,
 О всех услышав способах тягот
 И в них совсем зерна не видя правды,
 Отрады в сердце он не ощутил.
 Задумавшись, глядел он с состраданием,
 В согласьи с сердцем рот его сказал:
 «Поистине, подобные страданья
 Прискорбно видеть, — и пригом их цель
 Людская иль небесная награда.
 В возвратности рождений и смертей,
 Как много вы выносите мучений,
 Как скудно награждение у вас!
 С друзьями расставанье, отречение
 От положений тех, где был почет.
 Ваш внешний лик, разрушенный чрез вас же,
 Чрез пытку многократную ваш путь, —
 И это все лишь с тем, чтоб вновь — рождение,
 Продленье пятикратного «Хочу»,
 Через страданье — ищите страданья,
 Рождение — смерть и вновь с рождением —
 смерть.

86

7. ЛЕС

Когда царевич, с Чандакой расставшись,
 В жилище Риши мудро вступил,
 Весь лес он озарил, сияя телом,
 Он в Месте Пыток¹⁵ ярко воссиял.
 Он одарен был всяким совершенством,
 И совершенства отразили свет.
 Как царь зверей, могучий лев, когда он
 В толпу зверей властительно войдет,
 Из их умов обычность мыслей гонит,
 И каждый видит подлинно себя, —
 Так эти Риши тотчас все собрались,
 И, увидав, что чудо между них,
 Испытывали радость вместе с страхом,
 И, руки сжав, глядели на него,
 Кто что держал в руке, не выпуская,
 И, вмиг застав, смотрел перед собой.
 Павлины и другие птицы, с криком,
 Явили чувство хлопаньем крыла.
 Отшельники оленьего устава,
 Что всюду за оленями идут
 Среди прогалин горных, наблюдая
 Согласно с ними образ жизни свой,
 Увидевши царевича, смотрели
 Блестящими глазами на него.
 Один другому говорил, дивясь:
 «Один он из восьми Великих Дэв»,
 Другие говорили: «Звездный Гений»,
 И третьи говорили: «Мара он,
 Великий искуситель», и другие
 Сказали: «Сурья-Дэва, Солнце-Дух».

85

Бояся боли, длите пребыванье
 В пучине боли, в море вечных мук,
 Бежите одного разряда жизни,
 Чтобы другой немедленно создать.
 Кто делом восстает на здравый разум,
 Тот в сердце как бы корчами стеснен,
 Телесное есть лишь причина смерти,
 Исходит сила только из ума.
 Коль ум из поведенья удалим мы,
 Телесное деянье есть лишь гниль,
 Так должно упорядочить нам разум,
 И тело будет правильно идти.
 Есть чистое, то в набожном заслуга,
 Вы говорите: если это так,
 И звери, что питаются травой,
 Знать, в набожном заслугу совершат.
 Страдать, вы говорите, есть заслуга
 Дальнейшая, когда ты сердцем добр;
 Так почему же те, кто не страдает,
 Не могут сердца доброго иметь?
 И если иступленные все эти,
 Живя в воде, лишь чисты потому,—
 И тот, кто духом зол, вступаая в воду,
 Он тоже, значит, будет чист и свят?
 Коль праведность — основа чистой жизни,
 Такое обиталище есть зло:
 Что праведно, должно быть очевидно,
 Его не прятать нужно, а являть».
 Так о вопросах веры рассуждая,
 Заката Солнца дождались они.
 Огнепоклонства видел он обряды,
 Как чистый пламень в дереве сверлят,
 И как его обрядно раздувают
 И возлиянья делают из масл,
 И слышал, как поют притом молитвы,
 А Солнце между тем совсем зашло.
 Смысл надлежащий в этом не увидев,
 Царевич восхотел от них уйти.
 Отшельники же все вокруг собрались
 И умоляли, чтоб остался он.
 «Пришел сюда из мест ты нечестивых,
 В наш лес, где вера правая цветет,
 И вот уже уйти от нас желаешь,
 Итак, тебя мы просим, подожди».
 Все старые отшельники, что были

В одежде из коры и чьи власы
 Лохматы и запутанны торчали,
 Просили Бодгисатту: «Подожди».
 Увидя этих возрастом преклонных,
 Под древом Бодгисатта подождал,
 И юные и старые сошлись
 И, окружив его, просили так:
 «Придя сюда нежданно, в эти рощи,
 Исполненные всяческих прикрас,
 Зачем теперь уходишь ты отсюда,
 Чтоб совершенство меж пустынь искать?
 Как человек, что любит долголетье,
 Не хочет тело отпустить свое,
 Так мы теперь тебя остаться просим,
 И не хотим отсюда отпустить.
 И Риши, и Брамины постоянно
 Здесь пребывали, набожность блюдя,
 Небесные и царственные Риши
 Здесь в этих самых медлили лесах.
 Места, что возле снежных гор ютятся,
 Где каются — кто кровию высок,
 Сравниться с этим те места не могут,
 Отсюда все взошли на Небеса.
 Коль нас ты усмотрел как нерадивых,
 В нас видишь не довольно чистоты,
 Так мы должны тогда уйти отсюда,
 А ты останься и почти сей лес».
 И молвил Бодгисатта, и ответил:
 «Ищу пути я правого спастись,
 Хочу разрушить все влияния мира,
 У вас же всех — пресильные сердца.
 К вам всем исполнен я благожеланья,
 Приятная беседа всем мила,
 Вас слыша, я окреп в благоговеньи.
 И вы ко мне с почтеньем отнеслись.
 Но вынужден я ныне удалиться,
 И сердце оттого весьма скорбит,
 Оставил я своих родных и кровных,
 А ныне с вами разлучаться мне.
 Боль расставанья с теми, кто содруг твой,
 Терзанье разлуки — велико,
 Не может не скорбеть мой дух при этом,
 Как недостатки должен видеть он.
 Но вы, терпя страдания, хотите
 Отраду знать рожденья в Небесах,—

А я хочу от Трех Миров спастись,
 Что ум отверг, отбросить должен я.
 Закон, что вы свершаете здесь жизнью,
 Наследство прежних есть учителей,—
 Я ж накопленья все хочу разрушить,
 Закона не такого я ищу.
 Подобного Закон мой не допустит.
 И потому я медлить не могу,
 И в роце мне не должно оставаться,
 Чтоб бесполезный продолжать здесь спор».

Отшельники, услыша Бодгисаттву,
 Всей правдой полновесные слова,
 В основах превосходство разделений,
 Почтением исполнились в сердцах.
 В то время был там некий Брамачарин,
 Который постоянно спал в пыли,
 С запутанными был он волосами,
 Одет он был в древесную кору,
 Глаза его от гноя пожелтели,
 Он полностью истязаний проходил,
 Тем, что зовется там «высокость носа»,—
 Поднявши нос, на Солнце он глядел.
 Он к Бодгисаттве с словом обратился:
 «Ты, сильный волей, мудростью маяк,
 Решивший выйти из границ рождения
 И знающий, что в этом лишь — покой,
 Не жаждущий небесных благодатей,
 Хотящий плотский лик разбить в веках,
 Поистине чудесен ты по виду,
 Как ты один такой имеешь ум.
 Осуществляя жертвы пред Богами
 И умерщвления плоти проходи,
 Готовим мы небесное рождение,
 Без смерти себялюбного «Хочу».
 В том замысел еще себялюбивый,
 Предельного ж спасения искать,
 То — истинный учитель замышляет,
 То — мастер просветленный восхотел.
 Тебе — не подходящее здесь место,
 Твой путь — на гору Пандаву иди,
 Туда, где жив мудрец великий, Муни,
 Арада Рама — имя есть его.
 Лишь он увидел цель благоговений,
 Закона око, правую мету.
 Ступай же в место, где он пребывает,

И слушай, как толкует он Закон.
 Научишься свершать его веленья
 И в сердце возликуешь ты весьма.
 Что до меня, твое решение видя
 И за покой свой собственный страшась,
 Еще однажды должен отпустить я
 Учеников, что следуют за мной,
 Искать других и голову прямее
 Еще держать, глядеть во все глаза,
 Смочить свой рот, свои очистить зубы,
 Покрывши плечи, лик мой озарить
 И сделать мой язык подвижно-гладким.
 Амриты так испив, росы живой,
 Что ты даешь в кринице лучезарной,
 Пучин неисследимых я бегу.
 Ничто с тем во вселенной не сравнимо,
 Не знали Старцы, Риши,— узрю я».

Услышав это слово, Бодгисаттва
 Сообщества Отшельников ушел,
 Они же, вокруг него ступая вправо,
 Вернулись все на прежние места.

8. СКОРБЬ ВО ДВОРЦЕ

И Чандака скорбящий
 Дорогой вел коня,
 И шел, и горько плакал,
 Души не облегчить.
 С царевичем был ночью,
 Отослан он теперь,
 Приказано вернуться,
 Держать домой свой путь.
 Когда вокруг сомкнулась
 Ночная темнота,
 Он в духе колебался,
 Решиться он не мог.
 На день восьмой он прибыл
 До города, и конь,
 Скакун тот благородный,
 Отлично поспешал.
 Но, быстро являя,
 Вокруг себя смотрел,
 Сомнительно искал он:
 Царевич, где же он?

И ноги утомились,
 Стыбаясь от труда,
 И голова и грива
 Утратили свой блеск.
 Со скорбью в звуке ржанья,
 Ни ночью он, ни днем
 Не захотел напиток
 Или травы поесть.
 И вот Капилавасту,
 Печальная страна,
 Весь край — опустошенный,
 Как брошенный лежал.
 Как будто бы селенье,
 Где жителей уж нет,
 Иль мир, когда сокрылся
 Лик Солнца за горой.
 Не били водометы
 Прозрачною струей,
 Все цветики-цветочки
 Появля на стеблях.
 Померкли на деревьях
 Златистые плоды,
 Иссохли и опали,
 И вот их больше нет.
 Потеряны в печали,
 На улицах везде
 Мужчины тосковали,
 И женщины при них.
 Так Чандака, неспешно,
 И с ним тот белый конь,
 Шли молча, как проходят
 Во время похорон.
 Царевича не видя,
 Лишь Чандаку с конем,
 Скорбел народ и плакал,
 И голос был в толпе:
 «Царевич, сладость мира,
 Народа верный друг,—
 Куда его ты спрятал,
 Где ныне он живет?»
 И Чандака, печалась,
 Народу отвечал:
 «Вослед я за любимым
 Пошел, его любя.
 Не я его оставил,

Он отослал меня.
 Обычные одежды
 Все сбросил он с себя,
 И, с бритой головою,
 Монашеский покров
 Надел он, и вошел он
 В дающей муку лес».
 Услышав, что царевич
 Отшельник стал теперь,
 Кругом все дивовались,
 Изведав странность дум.
 И тяжело вздыхали,
 И плакали они,
 И так один другого,
 Дивясь, вопрошал:
 «Что целесообразно
 Нам ныне предпринять?»
 И сразу все вскричали:
 «Мы поспешим за ним.
 Телесная основа
 Ослабнет у кого, —
 Весь остов умирает,
 И отлетает дух.
 Так наша жизнь — царевич,
 И наша жизнь ушла, —
 Как это пережить нам
 И как нам дальше жить?
 Сей город, что прекрасен
 Среди своих холмов,
 Сии леса и рощи
 На городских холмах, —
 Все прелести лишилось,
 И опустело все,
 Как будто это мертвый,
 И точно это труп».
 И, тщетно ожидая,
 Что он вернется к ним,
 Спешили на распутья
 И ждали у дорог.
 Не знали, что царевич,
 Потерян или жив,
 И всячески скорбели,
 И стон стоял кругом.
 «Смотрите! — говорили, —
 Как Чандака идет,

Как медленно идет с ним
И белогривый конь.
Царевич, верно, умер,
Царевича уж нет».
К печали прибавлялась
В сердцах еще печаль.
И Чандака, как пленный,
Влекомый пред царя,
Вошел в дворец — с глазами,
Ослепшими от слез.
Тогда, взглянув на Небо,
Он громко восстал,
Заржал и белогривый,
Услышать — скорбь одна.
Все кони на конюшнях,
Все птицы, звери все,
Услышав это ржанье,
Ответили ему.
Все думали: «Царевич
Вернулся во дворец».
Царевича не видя,
Сдержали возглас свой.
И женщины, что ждали
Там сзади во дворце,
Услыша эти ржанья
И крик зверей и птиц, —
Болезненные тени,
Приподняли тела,
Без всяких чарований,
Как звездочки во мгле.
Их волосы — все сбиты,
Их лица — желтый цвет,
Иссохли рты и губы,
Нечисты их тела,
Нечисты и немывы,
Нет силы для прикрас,
Разорваны одежды,
Веселья в лицах нет, —
Разбойник так бывает
Запачкан, загрязнен.
Вон Чандака, он плачет,
Вон конь, и он в слезах,
А жданный, а желанный
Сокрылся, не пришел.
И поднялось рыданье,

Вознеся дружный вопль, —
Так плачут об умершем.
Метались они,
Как стадо, потерявших,
В грозу свой путь, быков.
Праджапати Готами,
Услыша о беде,
Без чувств упала наземь,
Как сломанная вся.
Так вихрем сумасшедшим
Крушится вдруг платан
И падает на землю
Всея золотой листвою.
И снова, услышавши, —
Отшельник сын ее, —
Вздыхала безутешно
И думала она:
«Увы, что эти кудри,
Где каждый волос — луч,
И вольный и блестящий
Иль связанный в венец, —
Увы, что эти кудри
Обрезаны теперь,
Нисброшена корона,
Повержена в траву!
Покатые те плечи,
Походка — поступь льва!
Сверкающие очи,
Как у царя быков!
Сияющее тело,
Как золотой отлив!
И этот голос Браммы,
И эта сила-грудь!
Достоинства такие
Имея, ты ушел
И в лес вступил, который
Дает печаль и скорбь.
Для мира что ж осталось,
Когда потерял им
Такой, средь всех единый,
Святой и добрый царь?
Подумать, эти ноги,
Что нежной белизной
И гибкостью подобны
Лилейному цветку,

Ступать по камню будут,
 По терниям, шипам!
 О, как это возможно
 Им будет так ступать?
 Воспитан и вскормлен
 В сохранности двorca,
 Омыт водой душистой,
 В тончайшее одет,
 Избранность ароматов
 Приявши телом всем,—
 А ныне в стуже ветра,
 В сырой ночной росе!
 Он где же зябким утром
 Найдет себе покой?
 Где отдых он отыщет
 В полдневный жаркий зной?
 О, цвет среди родимых,
 Прибежище для всех,
 Отыскиваем всюду
 И всеми вознесен,—
 Зачем неосторожно
 Ты сделал так, что вот
 Забрезжит день — и должен
 Ты попросить поесть?
 На ложе на царевом
 Привыкший почивать,
 В часы, когда не спал ты,
 Лишь знавший блеск услад,—
 Как вынесешь пустыню
 И горы и леса,
 Как будешь возлежать ты
 На той траве сырой!»
 Так думая о сыне,
 Сидела на земле.
 И женщины из свиты
 Приподняли ее
 И слезы осушали
 На горестном лице.
 Другие же, тоскуя,
 Печали предались,
 Недвижные от скорби,
 Со скованным умом,
 Как будто на картине
 Сидели так они.

Ясодхара грустила,
 Так Чандаку браня:
 «Он где ж теперь, он где же,
 Кто здесь в уме всегда?
 Ушли вы вместе, двое,
 При вас был третий, конь,—
 Один с конем вернулся
 Лишь ты, а где же он?
 Все сердце износилось
 От боли и тоски,
 Тревога в нем и мысли,
 Нет отдыха ему.
 Обманчивый товарищ!
 Неверный человек!
 Лихой кователь злого!
 Усмешка под слезой!
 Изменник ты, изменник,
 Как уходил, был с ним
 И без него вернулся,
 То был коварный план.
 Ты только друг по виду,
 Ты душе ты злейший враг!
 Являешь свет и нежность,
 Затаивая тьму!
 И ныне дом весь царский
 Так сразу сокрушен,
 И царственные эти
 Здесь женщины скорбят!
 И их печаль безмерна,
 Тускнеет красота,
 Загрязнены их лица,
 Их щеки — путь скорбей!
 Когда б царица Майя
 Была теперь жива,
 На нем одном покоясь,
 Как горы на земле,—
 Узнавши, что случилось,
 Она бы умерла.
 Какой удел печальный
 И как его снести!»
 С конем заговоривши,
 Промолвила она:
 «И ты, несправедливец!
 Как может это быть,
 Чтоб, взяв его, увез ты,—

Как вор во тьме ночной,
 Жемчужину похитив,
 Бежит проворно с ней!
 Когда скакал ты в битвах,
 Ни стрелы, ни мечи
 Тебя не устрашали,
 Ни быстрый свист копья!
 Теперь же, как преступлен
 И ветренен твой нрав,
 Мою похитил душу,
 Ценнейший самоцвет!
 О, ты не конь, ты только
 Ползучая змея,
 И я тебе не верю,
 Когда ты так скорбишь!
 Теперь ты ржешь печально,
 И всюду этот вопль;
 Как милого украл ты,
 Зачем же ты не ржал?
 Когда б тогда заржал ты
 И все бы во дворце
 Проснулись,— этой скорби
 Не знали б мы теперь».
 И Чандака, услышав
 Те горькие слова,
 Вобрал в себя дыханье,
 Собой он овладел,
 С лица отер он слезы
 И, руки сжав, сказал:
 «Молю тебя, послушай,
 Дай оправдаться мне,
 Да не войдем в опалу
 Ни я, ни белый конь.
 Не порицай, прошу, нас,
 Не гневайся на нас,
 Вины мы не свершали,
 Велели Боги так.
 Почтительно хранил я
 Веление царя,
 Но Боги устремили
 Его на путь пустынь,
 И ревностно погнали
 Они вперед коня.
 С дыханием притихшим
 Он мчался на крылах,

Едва земли касаясь,
 Беззвучно он летел!
 Ворота городские
 Открылись перед ним!
 Пространство было в светах,
 Озарено собой!
 То Боги совершили.
 И что бы значил я?
 И что моя есть сила
 В сравнении с силой их?»
 Ясодхара, услыша
 Правдивые слова,
 Почувствовала в сердце
 Особенную мысль,
 Что Боги совершают,
 Сверхение есть их,
 Того вменить другому
 Никак нельзя в вину.
 И, гневные упреки
 В себе сдержав, она
 Дозволила печали
 Великой — тлеть и тлеть.
 Так на земле простершись,
 Невнятно про себя
 Слова печальных жалоб
 Твердила между слез:
 «Две птички были рядом,
 Два голубя вдвоем,—
 Зачем же разделять их
 И как им розно быть!
 Ушла моя опора,
 Моей поддержки нет!
 Молясь, два были вместе,
 Разлука между них!
 Что слитно, разделилось,
 И как мне жить теперь?
 И где того искать мне,
 Что было столь мое?
 В дни оны властелины
 Любили с свитой быть,
 И с женами искали
 Премудрости они.
 В их обществе бродили
 По долам и лесам,
 А ныне он оставил,

Покинул он меня!
 Тот, кто приносит жертву,
 Устав Брамминский чтя,
 Он хочет, чтобы с мужем
 Жена была одно,—
 Вдвоем да совершают
 Служение они,
 И оба да получают
 Награду в должный час.
 А ты скупой, царевич,
 В служении своем!
 Блуждать один пошел ты,
 Меня прогнал ты прочь!
 Меня когда ревнивой
 Ты, что ли, увидал,
 Что так оборотился
 Ты сердцем на меня?
 Тех ищешь, кто тебя уж
 Не будет ревновать?
 Иль мной ты утомился,
 Небесной жаждешь ты?
 Но кто прекрасен в личном
 Изыществе своем,
 Зачем же умерщвления
 Отыскивать ему?
 Удел со мною общий,
 Быть может, презрел ты,
 И на меня так сердце
 Зачем ты ополчил!
 Возьми же на колени
 Ты Рагулу к себе!
 Увы, красив ты ликом,
 Но сердцем ты алмаз!
 В тебе весь блеск и гордость,
 Весь твой преславный род,—
 И тех ты ненавидишь,
 Кто сердцем чтит тебя!
 О, как же это можно —
 Так спину повернуть
 К малютке, что едва лишь
 Улыбку изучил!
 В груди нет больше сердца!
 Мой господин бежал!
 Ужель меня забудет?
 Ужель из камня он?»

Так молвила и смолкла,
 Ум помутился в ней.
 И дико повторяла
 Безумные слова.
 И мнилось ей, что видит
 Видения она.
 В рыданиях лишилась
 Всей власти над собой,
 Дыханье ослабело,
 И наземь пала, в прах.
 Так лилия, раскрывшись,
 Лежит, изведав град.
 Царевича утратив,
 И царь-отец скорбел,
 Постился, утешенья
 Искал он у богов.
 Из врат священных вышел,
 Молитву совершив,
 И вдруг услышал крики,
 Рыдания и стон.
 И дух его смутился,
 Как, если гром гремит,
 Под вспышкой молний, стадо
 Слонов бежит, стена.
 Он Чандаку увидел
 И царского коня,
 Узнал, что сын — отшельник,
 И наземь пал без чувств.
 Сановники немедля,
 Блюдя и чтя устав,
 К спокойствию взывая,
 Приподняли его.
 Как только он немного
 Собою овладел,
 К коню он обратился
 И так ему сказал:
 «Как часто на тебе я
 Легко скакал в бою,
 Тебя любил я в битве
 И восхвалял всегда!
 Но ныне ненавижу,
 Гнушаюсь я тобой,
 И чувство то сильнее,
 Чем вся моя любовь!»

Мой сын был превосходен,
 А ты его унес
 И между гор оставил,
 Вернулся ты один!
 Возьми ж меня отсюда,
 Назад не приноси,
 Со мной не возвращайся.
 Зачем мне больше жить!
 Зачем мне править царством,—
 Единый мой восторг
 Был сын мой, сын родимый,
 Мне без него не жить!
 Скорбел о сыне Ману,
 Владыка жизни всех,—
 Насколько ж скорбь сильнее
 У смертного меня!
 Царь Аджа, в оно время,
 Так сына миловал,
 Что потерялся в мыслях
 И вдруг был в Небесах.
 Я умереть бессилен!
 На долгую я ночь
 Так укреплен в печали,
 Кругом — большой дворец,
 Я думаю о сыне,
 Я жажду, я один,
 Я как один из духов,
 Что пить и есть хотят.
 Я пить хочу, и влага
 Вот здесь, в моей руке,
 Но только наклонюсь я,
 Ни капли нет воды.
 И все ж не умираю,
 И все же я живу!
 Скорее же ответь мне,
 Скажи мне, где мой сын?
 Да не умру от жажды.
 И да не буду я
 Среди духов тех, чья пытка
 Быть в жажде навсегда.
 В дни прежние, бывало,
 Я силен волей был,
 Был тверд, нельзя подвинуть,
 Как землю не качнуть.
 А сына так лишившись,

Всего лишился я,
 Нет больше в сердце воли,
 Рассудок раздроблен».

И царственный учитель,
 Значительный мудрец,
 И главный с ним советник,
 Прославленный умом,
 Царя увещевали,
 И каждый говорил:
 «Прошу тебя, опомнись
 И к мысли пробудись,
 Да с дорогой ум твой
 Не будет искривлен,
 Да скорбь тебя не держит
 Сведенным в пытке злой!
 Родимый край оставив,
 Могучие цари
 В дни оны рассевались,
 Как бы опавший цвет.
 Путь мудрости проходит
 Твой сын теперь,— итак,
 Зачем же предаваться
 Печали и скорбям?
 Пророчество Аситы
 Припомни в этот час
 И то, что вероятно,
 Надежным ты сочти.
 Твое наследство — радость,
 Помысли, царь земли!
 А ежели ты будешь
 Так напрягать свой дух,
 То как же не промолвят,
 Твой сумрак увидав:
 «Менять владыка может
 Сердечный жемчуг свой!»
 Пошли же нас немедля,
 Нам повелев искать
 То место, где царевич,
 Чтоб мы нашли его.
 Чтоб замыслом искусным
 И увещаньем мы
 Его поколебали
 И стихла б скорбь твою».

И, радуясь на слово,
 Им тотчас царь сказал:

Немедленно отправились в путь.
 Прибывши в лес, где жил царевич светлый,
 Увидели его, он им предстал
 Как внешнего достоинства лишенный,
 Но тело изливало яркий свет:
 Так Солнце, исходя из черной тучи,
 Цвет ворона сиянием золотит.
 Учитель края и страны советник,
 Придворные с себя одежды сняв,
 К отшельнику неспешно приближались,
 Среди лесов, почтенные принесли,
 Приветствуя его, и он ответил,
 Приветствуя, как должно, этих двух.
 Затем, его вельюю повинуюсь,
 Пред ним уселись оба, как в ночи
 На небесах сияет белый Месяц,
 И две звезды, два близнеца, при нем.
 Почтительно они заговорили:

«О сыне мысля, царственный отец
 Печалится своим пронзенным сердцем,
 Как будто в этом сердце — острое.
 Рассеян ум; он бродит одиноко;
 Истерзанный, на пыльной спит земле;
 И днем и ночью полон размышлений;
 Как дождь струятся слезы по щекам;
 Тебя искать сюда теперь послал
 О, если бы ты слушать захотел!
 Благословенность чтись — мы это знаем,
 Но вот еще не час — в пустыне быть.
 Снедает жалость нас, и если только
 Благословением двиним ты, смягчись;
 Не дай печали вовсе захватить нас,
 Не оставляя выхода в сердцах.
 Потоки рвутся по горам зеленым,
 И буря есть, и молния, и зной,—
 Не дай же сердца нашего в добычу
 Неистовым тем бедам четверем.
 Затем что у тоскующего сердца
 Четыре эти беды есть вполне:
 Смятение и знойная засуха,
 Жар страсти и паденье в глубину.
 Пойдем и возвратимся в край родимый,
 Настанет час — отшельник будешь ты.
 Теперь же презирать свой долг семейный
 И на отца и мать свою восстать,—

«О, если вы поспешно
 Уже теперь бы шли
 Так быстро, как голубка
 Несется из гнезда,
 Со всем проворством птичьим,
 Чтоб накормить птенцов!
 С единственною мыслью
 О сыне, лишь о нем,
 Я буду ждать и думать,
 Найдете ли его!»
 Те двое, лишь услышав
 Слова его, пошли,
 Принявши повеленья,
 Лелейно их неся.
 А царь, с своей роднею,
 Не торопясь пошел,
 Чтоб отдохнуть немного,
 И, грустный, все ж дышал.

9. ПОИСКИ

Учитель и советник торопились,
 Царь торопил их, скорбь свою сдержав:
 Так горячат коня, и конь ретивый,
 Почуя хлыст, стремится как поток.
 Устали, но с усилием неослабным
 Пришли они в дающей пытки лес.
 Свой лик тогда согласовавши с должным,
 Словжив пять отличительных примет,
 Достоинства все видимые знаки,
 Они вошли в Браминский тот уют
 И почитанье выказали Риши.
 Те, в свой черед, просили их присесть.
 Они спросили: «Где царевич светлый,
 Что сделался отшельником, ища
 От старости, и смерти, и болезни
 Освобождения? Мы за ним пришли».
 Брамини, отвечая, так сказали:
 «Тот юноша — все признаки есть в нем
 Великого? Свободно говорил он
 О жизни и о смерти и ушел
 К Араде, полный путь освобождения
 Желая отыскать». И двое те,
 Не смея колебаться в предприятьи,

Любью как назвать мы это можем?
 Любовь объятьем осеняет все.
 Не требует пустынь благоговейность,
 Не надобно отъединений ей,—
 Отшельником ты можешь быть и дома,
 Мысль, изученье, тшанье — это путь.
 Быть с бритой головой, в одежде грязной,
 Наедине блуждать среди пустынь,—
 Не пробужденье это правой жизни,
 А лишь возможность вечный страх питать.
 Путь за руку тебя возьмем мы лучше,
 Водю брызнем на главу твою,
 Небесной увенчаем диадемой
 И под цветной посадим балдахин,
 Чтоб все глаза могли тебя увидеть,—
 Тогда сможешь дом оставить свой.
 Раз очи усладив сияньем верным,
 Зайти свободна яркая звезда.
 Ануджаса, Ваджрабагу и Друма,
 Ватаджана,— цари времен былых,—
 С себя свою корону не сложили,
 Сияли в самоцветностях они;
 Они не отлучались от восторгов,
 И пребывали женщины при них,—
 Вернись и ты и, долг свой совершая,
 Земное чтя, свой скипетр не бросай.
 Дозволь нам прекратить рыданья наши
 И радостную весть провозгласить,
 Отец и мать твоя осушат слезы,
 И вновь ты будешь кормчим корабля.
 Когда возьмут теленка у коровы,
 Она мычит, и стонет, и не спит,—
 Так как же мать твоя, что вся забота,
 Должна теперь мучительно страдать.
 Поистине, ты должен к ней вернуться
 И жизнь ее предохранять от зла:
 Как птица ты, что потеряла стаю,
 Как слон, что в джунглях путь свой потерял,
 Единственное чадо молодое,
 Защиты не имея никакой,
 Не можешь ты не причинять печали,
 Не возбуждать заботу: «Что же с ним?»
 Рассей же этот сумрак цепенящий,
 Как, если затмевается Луна,
 Все верные затменье гонят кликом,

Чтоб чудище не съело свет ночной.
 Взметенные заставь утихнуть вздохи
 И тем, кто ищет влаги, дай ее,
 Ее получиат — и огонь потушат,
 Огонь потухнет — вновь прозреет взор».

Весьма смущен был в духе Бодгисаттва,
 Услыша про своих отца и мать,
 И, сидя, он предался размышленью
 И в должный миг почтительно сказал:
 «Отец мой царь, я знаю, обладает
 Внимательным и любящим умом,
 Но страх рожденья, дряхлости и смерти
 Мое повинное устранил.
 Услышав о его глубокой скорби,
 Я тронут возрастаньем любви,
 Однако ж все, как греза сновиденья,
 Проворно обращается в ничто.
 Узнайте ж, без возможности отвергнуть:
 Не одноклик порядок всех вещей.
 Природа скорби не необходимо
 Есть отношение сына и отца.
 Что создает страдания разлуки,
 Влиянье заблуждения это есть,—
 Внезапно люди встречаются в дороге,
 Лишь миг — и разлучаются они,
 И каждый вновь своим путем уходит,—
 Так силой совокупности растут
 Соотношения, родственные связи,
 Удел отдельный, и разлука вновь.
 Кто проследит внимательно ту ложность
 Соотношения связи и родства,
 Не должен он печаль в себе лелеять:
 Семейная здесь порвана любовь,
 В другом же мире вновь той связи ищут,
 И грубый — за мгновеньем — вновь разрыв.
 Везде куется цепь родства и связи,
 Всегда в цепях, всегда разъята цепь.
 Кому скорбеть о вечности разлуки?
 Зачатый постепенно изменен,
 Родится в мире, снова расставанье,
 Чрез смерть разлука, и родится вновь.
 Все то, что есть во времени, погибнет,
 Леса и горы,— что без часа есть?
 Во времени вся пятикратность чувства,

И с временем мирское все живет.
 Так, если смерть все время заполняет
 И всюду застигает путь его,
 Сбрось смерть с себя — и времени не будет.
 Меня хотите сделать вы царем,
 И долг любви так трудно не исполнить,
 Но раз — недуг, тогда его врачуй,
 Без врачеванья ж как его снесу я
 И как снести тот сан тяжелый мне.
 В высоком ли иль низком состояньи,
 Безумье и незнание везде,
 И люди с беззаботностью проходят,
 Велениям покорствуя страстей.
 Приходит страх, и тело — в вечном страхе,
 Вся мысль — о внешнем лишь, и вянет дух,
 С благоговеньем — сердце не содружно,
 Коли идти за множеством вослед.
 Но поведенье мудрого — не это,
 Весь в яхонтах дворец — но в нем пожар,
 Сто вкусных яств среди трапезы обильной,
 Но примесь в них — язвлящие яды.
 Там в лилии, на озере спокойном,
 Глиня, много насекомых, несть числа,
 И в доме у богатого — злосчастье,
 Высок, — но мудрый в нем не будет жить.
 Я не дерзаю жить в дворце обширном,
 В нем черная склублилася змея.
 Я царское достоинство отбросил,
 Я от пяти желаний ускользнул,
 И, чтоб скорбей подобных мог избегнуть,
 Блуждаю я среди пустынных гор.
 И я, благоговейность возлюбивший
 И в мудрость углубляющий свой путь,
 И я оставлю тишь лесов спокойных,
 Вернусь домой, вернусь к страстям? О нет.
 Великий вождь иресславного народа,
 Молитвенность всем сердцем возлюбя,
 От чести племенной навек ушедши,
 Чтобы духовным сделаться вождем,
 Отбросив лик свой прежний, — вновь отброшу
 Теперешний отшельнический лик
 И растопчу свой замысел высокий?
 Хотя бы было Небо мне дано,
 Не мог бы это я свершить, — ужели ж
 К тому меня земной подвигнет дом!

Неведенье отверг я, страсть отверг я, —
 Так что ж, опять их яствами избрать?
 Желать опять — свою блевоту видеть?
 Такой позор не мог бы я снести.
 Пожар, и дом горит, хозяин вышел,
 Из пламени сумел он ускользнуть, —
 Войдет ли он опять в свой дом горящий?
 Войдет, — так он к ничтожеству причтен,
 Ища покоя, все ж стремиться к царству —
 Противоречья разные то два:
 Спасение и царственность — враждебны,
 Покой — движенье, пламя — и вода,
 Соединить их вместе — невозможно.
 Приманку связи я содвинул прочь,
 Прямое применил при этом средство,
 Оставил дом, — зачем же я вернусь?»

Советник, мысль, про себя промолвил:
 «Царевич мыслит правильно сейчас,
 Приятно к добродетели склонен он
 И мысль вложил в разумные слова».
 И, обратясь к царевичу, он молвил:
 «Как царственно изволил ты изречь,
 Кто хочет в правой вере укрепиться,
 Ее он должен правильно искать.
 А час твой — он не этот час текущий.
 На убыли твой царственный отец,
 В преклонности он думает о сыне,
 К печали прибавляется печаль.
 Ты говоришь: «В освобожденьи — радость.
 Возврат есть отречение от себя».
 Не в мудрости твоя возникла радость,
 И нет в том размышленьи глубины.
 Плода ты ищешь, а того не видишь,
 Что долг текущий должен быть свершен.
 Иные говорят: «Гот свет», «Есть После».
 Твердят другие: «После — ничего».
 Итак, пока вопрос висит вопросом,
 Зачем восторг текущий отвергать?
 Коль есть «Гот свет», коль «После» есть,
 должны мы
 Взять все, что это «После» нам несет.
 Коль скажешь ты: «Не существует «После»,
 Освобожденья, значит, нет тогда.
 Коль скажешь ты, что «После» существует,

Не скажешь ты: «Причины избеги».
Земля тверда, огонь горяч, вода же
сыра, а ветер движется всегда,—
«Тот свет» — таков же, «После» — в том же
строе,

Отличная природа у него.
Раз говорим о чистом и нечистом,
Нечистое и чистое идет
Из собственной природы той отличной.
Коль скажешь: «Мыслью это устраню»,—
Такая мысль как довод есть безумье.
Основа чувств как чувств предreshена,
Все корни, по природе,значальны.
И память и забвение — суть два,
Природа их отчетлива в рисунке.
Преклонный возраст, смерть, болезнь, печаль,—
Кто воинской уловкой их избегнет?
Коль скажешь ты: «Вода зальет огонь»,—
Иль: «Воду вскипятит, огонь потухнет»,—
Различность их природ лишь утвердишь,
Природа в строе — создает живое.
Так человек, раз в чреве он зачат,
Весь — руки, ноги, все иные части,
И ум его, и дух его,— растет,
Но кто же он, кто это совершает?
Кто он, кто заостряет цепкий терн?
В самодозоре, то природа снова.
Различные возьми ряды зверей,
Что есть, то есть, им быть такими должно.
Небороденных, вновь, коснись существ,
Владычеству ими Самобытный¹⁶,
У них же самоцельных нет путей.
Когда б они могли создать причинно
Рождение, смерть могли бы проверить.
К чему ж тогда искать освобождения?
Иные говорят, что это «Я»
Причина есть рождения, а другие
Твердят, что «Я» — причина смерти есть.
Иные утверждают, что рождение
Идет из ничего и гибнем мы,
Не выполняняя замысла кончиной.
Родится так счастливое дитя,
В семье, что благородна и богата,
Завещанному учится, растет,
Великие Богам приносит жертвы,

И имя знаменитое его
Является как путь освобождения,
В том имени идет к нам ценный клад.
Но, если так, сколь тщетно и бесплодно
Освобождения все ж еще искать.
Ты вольности возжаждал, ты желаешь
Свой замысел высокий совершить,
А твой отец тем временем тоскует,
И ты едва вступил на этот путь,—
Не будет зла, коли домой вернуться.
Царь Амбарisha, в оны времена,
В печальном лесе долгое жил время,
Оставивши всю царскую родню,
И вновь пришел, и царствовал он снова.
И Рама, царский сын, родимый край
Покинувши, ушел в глухие горы,
Но, услышав разлучности упрек,
Вернулся и странной разумно правил.
Царь Друма был, ушли отец и сын,
Отшельниками были и блуждали,
В конце концов вернулись назад.
Еще мне говорить ли о Васите?
Атрейю называть ли? Эти все
Достойные, отмеченные древле,
Ушли, пришли, как звезды, свет струить,
Светильники прекрасные для мира.
Пустынно гор оставить — и царить
Благоговейно — нет в том преступленья».

Царевич, слыша добрые слова,
Храня в душе свой закрепленный довод,
Слова любя, не расточая слов,
Не споря по примеру школ различных,
Советнику спокойно отвечал:
«Быть и не быть — то трудные понятия,
Вопрос о бытии, небытии —
Напрасен он, сомнительность лишь множит,
Недостоверность шаткого ума.
Наклонности беседовать об этом —
Нет у меня. Я дух свой устремил
На мудрость, чистоту и отречение,
И с этой достоверностью я слит.
Мир полон тщетных знаний и открытий,
Учители, свой совершая дол,
Искусно сочстают паутину.

Но верности основы нет у них,
 И с ними не хочу иметь я дела.
 Тот отделяет правду ото лжи,
 Кто просветлен. Но как родиться может
 От этих — правда? Это суть слепцы,
 Ведущие слепых. В ночи прохоят,
 Во тьме густой, — им извлеченья нет.
 Вопрос о том, что чисто и нечисто,
 Вовлек людей в сомненья, и они
 Не могут видеть правды. Много лучше
 Дорогу чистоты осуществлять,
 Идти и ведасть самоотреченье,
 Нечистоты не совершать, идя,
 О сказанном издреле размышляя,
 Не запершись в предании одном,
 В едином не упорствуя, а в ум свой
 Все верные слова светло приять,
 Чуждаясь тьмы, источника печали.
 А что о Раме здесь ты рассказал
 И о других, ушедших и пришедших,
 Чтоб снова ведасть чувственный восторг, —
 Дороги их поистине напрасны,
 И мудрый им не будет подражать.
 Теперь для вас мне разрешите вкратце
 Правдивую основу изложить:
 Луна и Солнце могут пасть на землю,
 Гора Сумеру сокрушится вниз,
 Но никогда мой замысел не дрогнет.
 Скорее, чем в запретное вступить,
 Да буду брошен я в огонь свирепый.
 И ежели я право не свершу,
 Что сам себе в душе я предназначил,
 И ежели на родину вернусь,
 Дабы вступить в огонь пяти желаний, —
 Да будет то со мной, в чем клялся я».

Так вымолвил царевич и сказал.
 И доводы его сияли остро,
 Как совершенства солнечных лучей.
 Потом он встал и в некоем отдалении
 Помедлил. А советник и другой,
 Учитель, видя тщетность убеждения
 И видя, что напрасны их слова,
 Поговорив между собой, решили
 Идти в обратный путь, в родимый край, —

Царевича не смея беспокоить,
 Присутствием своим обременять,
 Решение свое они явили,
 Почтительно и грустно воздохнув.
 И все ж, неподобающую спешность
 Из всех своих движений устранив,
 Веление царя осуществляя,
 Они спокойно медлили в пути,
 И, ежели кого они встречали,
 Избравши тех, кто мудрых лик являл,
 Они такими мыслями менялись,
 В каких для всех ученых радость есть,
 И сан высокий свой от всех скрывали,
 Потом, прейдя, ускорили свой путь.

Нет в мире обеспеченного места
 Для благи, — когда ж слабеет благодать,
 Высокое как имя сохранить!
 Достоинство, в котором достоверность,
 В связи прямой находится со дружбой, —
 Коль верный друг богатства не жалеет,
 Сокровищем зовется он тогда.
 Но быстро расточается богатство,
 В любой стране оно непостоянно,
 А что дают кому из милосердия,
 Удвоенным вернется этот дар.
 Так милосердье друг есть достоверный,
 Хоть рсточает, нет в том сожаленья,
 Ты щедр и добр, как ведома, и, встретясь,
 Беседуем с приятственностью мы.
 Рожденья, смерти, старости, болезни
 Боюсь, — к свободе путь найти хочу я,
 Я устранил семейственные чувства, —
 Так как же я могу вернуться в мир,
 К пяти желаньям, и не опасаться,
 Что ядовитый змей разбужен будет,
 И ледяной град посыплется свирепо,
 И в лютот буду вновь сожжен огне.
 Боюсь многопредметного хотенья,
 Водвороты взвихривают сердце,
 И пять желаний — шаткие то воры,
 Что запрямят, тотчас нет того.
 Сокровища любимые воруяют,
 И вот они, неверные, как тени,
 И вот они скользят, как привиденья,
 Действительность становится как сон.
 Кто поглядит, на миг он это видит,
 Но прочно ум схватить они не могут.
 Итак, они — великие препоны,
 К спокойствию испорчен ими путь.
 Коль радости небес иметь не стоит,
 Что ж о людских нам говорить желаньях,
 Любви безумной в них гнездится жажда,
 Ты в сладости, пока не истощен:
 Так дикий ветер мечет пламя выше,
 Пока топливо вовсе не иссякнет, —
 Нет более неправого в сем мире,
 Как эти пять желаний с царством их.
 Всяк, кто уступит мощности хотенья,
 Усладой взят, и мертв он для рассудка.

11. ОТВЕТ

Благопристойно Бимбисара Раджа
 И кротко-миротворческой речью
 К царице ходагайство направил,
 И он ответ почтительно держал.
 Глубокими, волнующими сердце,
 Словами так ответствовал царице:
 «Преславный и всему известный миру,
 На разум речь твоя не восстает.
 Так говорить велит благоговенье,

Кто мудр, желаний этих он боится,
 Страшится он пути к неправоте.
 Так царь, что правит четырьмя морями
 И всем, что между них, жедает больше;
 Так Океан, не знающий предела,
 Не ведает, где стать ему, когда.
 Струило Небо желтый дождь из злата,
 И Манга Чакравартин меж морями
 Всем правил, но вздохал он в возжеланьи
 И тридцать три он неба восхотел.
 Престол свой разделил с могучим Сакрой
 И умер в силу властного хотенья.
 Ниаса же чрез умерщвление плоти
 Жилищ небесных тридцать три приял.
 Но силою хотенья стал он гордым,
 Надменичал в блестящей колеснице,
 И, развалясь с небрежностью, упал он
 В змеиный кладезь, прямо в глубину.
 Всемирный царь, кого зовем мы Яма,
 По Небесам превыспренним блуждая,
 Небесную жену избрал царицей
 И встал у Риши злато вымогать,
 А Риши в гнев наговор сказали,
 Нагромоздив на чару чарованье,
 И умер он. Нет в мире постоянства,
 Хотя бы для властителя Небес.
 Нет края достоверного, хотя бы,
 Кто в нем живет, был с сильною рукою.
 Но если кто оденется лишь в травы
 И ягоды как пищу изберет,
 И будет пить лишь из ручьев проточных,
 И с волосами длинными, как волны,
 Пребудет, как молчальник, без хотений,
 В конце свое алканье он убьет.
 Узнай, что потакать пяти желаньям,—
 То льгота, что заведомый есть недруг
 Благоговейных. И тысячерукий
 Могучий царь — как победить его?
 Погиб от страсти сильный Риши Рама,—
 Сын Кшатрии, насколько же я должен
 Сильней свои удерживать хотенья?
 Лишь полелей одно мгновенье страсть,—
 И, как дитя, она растет проворно.
 Поэтому, кто мудр, ее не терпит:
 Кто захотел бы в пищу взять отраву?

Лаская хоть свою, умножишь скорбь.
 Коль страсти нет, коль хоть не понуждает,—
 Истоков скорби нет, ни тока боли,
 И, ведая всю горечь скорби, мудрый
 В истоках скорбь выгапывает прочь.
 Что в мире называют добродетель,
 Есть лик иной того же злополучья,
 Хотение в пределах не удержишь,
 Оплошность — тут, за ней — и вся беда.
 Оплошностью нагромождают гибель,
 Смерть стережет на этой злой дороге,—
 Кто мудр, тот, осмотрительно провидя,
 Что все — мечта, не жаждет ничего.
 Кто видимого хочет, хочет скорби,
 Любовью будет вновь уловлен в сети,
 Не видя окончательной свободы,
 Пойдет вперед от боли к боли вновь.
 Такой в руке кто факел жгучий держит,
 Тот руки жжет: кто мудр, того бежит он.
 Безумец же, кто в этом усомнится,
 Все будет сердце к зною торопить.
 Алканье — змеиное то жало,
 И ярый гнев — змеиная отрава,
 Кто мудр, тот к скорби путь, как кость гнилую,
 Отбросит прочь, чтоб зубы сохранить.
 Ее ли будет пробовать и трогать?
 Сыны земли за то гнилое мясо,
 Как стаи птиц, готовы состязаться,—
 И царь за тем пройдет через огонь?
 Так мы должны посмотреть и на богатства:
 Мудрец, коли наполнит кладовые,
 Не чувствует себя благополучным,
 А день и ночь как будто ждет врага.
 Как человек проходит с отвлращеньем
 Близ скотобойни на Восточном рынке
 И издали базарный столб заметит,
 Так веку страсти мудрый обойдет.
 Кто путь свершает морем и горами,
 При хлопотах, покоя знает мало,
 Кто на верхушку дерева влезает,
 Чтоб плод сорвать,— и шею сломит тот.
 Так и желанье, с жадничаньем вечным:
 Стараются, богатства накопляют,
 Придумают мучительные ходы,
 Сон громоздят,— и вдруг окончен сон.

Так ямы: есть огонь в них рдеет жарко,
 Обманная над ямою поверхность,
 Чуть тело проскользнет туда, пылает:
 Кто мудр, тот в это пламя не пойдет.
 Лик хоти — это мнимое виденье,
 Лик страсти — как мясник с ножом кровавым,
 Как Каурава, Нанда или Данта,
 Сцепляющий и низко-рабский лик.
 Кто мудр, тот с этим дела не имеет,
 Скорей в огонь он бросится иль в воду
 Иль свергнется с обрывного утеса,
 Но не пойдет он к хоти в западню.
 Искать услад небесных — есть не больше
 Как содвигать в перемещеньи пытку.
 Басундара и Сундара, два брата,
 Друг с другом жили в ласковой любви, —
 Но им затмила хоть алканья разум,
 Друг друга, в возжеланыи, умертвили,
 И имя их погибло безвозвратно:
 Так вот к чему, ведя, приводит хоть.
 Ей человек оцеплен и принижен,
 В ее цепях он делается подлым,
 Она его бодилом жжет и колет,
 И длится ночь, избит, изношен он.
 Олень в лесу так жаждет возглаголать,
 И, речи не найдя, он умирает,
 И птица так летит в силок лукавый,
 И рыба так взманилась на крючок.
 Подумавши о надобностях жизни,
 В них постоянства вовсе не находишь:
 Едим мы, чтобы голод успокоить, —
 Чтоб жажда нас не жгла, должны мы пить, —
 Одежду надеваем мы от ветра
 И холода, — чтобы уснуть, ложимся, —
 Чтоб двигаться, должны искать повозку, —
 Чтоб отдохнуть, должны сиденье взять, —
 Чтоб грязными не быть, должны мы мыться, —
 Все это делать нам необходимо, —
 Нет постоянства в тех пяти желаньях,
 Чуть утишишь, вновь нужно утишать.
 Как человек, что одержим горячкой,
 Прохладного испить желает зелья, —
 Алканье утолить томленье хочет,
 Безумец постоянство видит в том.
 Но постоянства в прекращеньи боли

Не может быть: желая хоть утишить,
 Мы вновь хотим и громоздим хотенья,
 В превратности такой устоя нет.
 Наполниться питьем и вкусной пищей,
 Одеться в подходящие одежды,
 Не длительные это услаждения,
 Проходит время, скорбь приходит вновь.
 Прохладно лето в месячном сиянии,
 Зима приходит, — и умножен холод,
 Чрез восьмикратность мира все превратно,
 Рабам отдайся, — доблесть потерял.
 Молитвенность — все делает служебным,
 Как правит царь, что царствует высоко;
 Благоговейность повторяет скорби,
 Подъемля тяжесть, силой счет ведет.
 При всяком положении нашем в мире,
 Вкруг нас не устают скопляться скорби,
 Хоть будь царем, но пытка громоздится,
 Люби — скорби, один — нет счастья в том.
 Хотя б твои — четыре царства были,
 Участвовать — в одном ты только можешь,
 И в десять тысяч дел когда заглянешь,
 Узнаешь десять тысяч ты забот.
 Так положи конец своей печали,
 Утишь хотенье, воздержись от дела, —
 В том есть покой. Услад царя есть много, —
 Без царства же есть радостный покой.
 Не измышляй же мудрых ухищрений,
 Дабы вернуть меня к пяти желаньям:
 Что манит сердце — тихая обитель,
 Что любо сердцу — это вольный путь.
 А ты хотел бы, чтоб запутан был я
 В обязанности и соотношенья,
 Сверхенные хотел бы уничтожить
 Того, чего я тщателью ишу.
 Постылый дом мне страха не внушает,
 И не ишу я радостей небесных,
 Не жаждет сердце прибыли доступной,
 И снял с себя я царский мой венец.
 И вопреки тому, как размышляешь,
 Предпочитаю более не править:
 Избавившись змеиной пасти, заяц
 Придет ли вновь, чтоб пожраным быть ей?
 Кто факел держит и сжигает пальцы,
 Из рук своих не выпустит ли факел?

Неведенем подвигнуты они.
 Достойней — почитания закона
 И прекращенье жертвоприношений.
 Жизнь разрушать, хотя бы для молений,
 В том нет любви, в убийстве правды нет.
 Хотя б за эти жертвоприношенья
 И длительная нам была награда,
 Живое как могли бы умерщвлять мы?
 В награде же и длительности нет.
 То значило бы — мудро размышляя
 И отвлеченно чтя благоговенье,
 Пренебрегать благим в своих поступках:
 Кто мудр — тот разрушать не будет жизнь,
 Кто в этом, их устой — закон превратный,
 Кто в этом — ими правит шаткий ветер,
 Они как капля, свеянная с травки,
 Я — выхода надежного ишу.
 Есть Арада, он праведный отшельник,
 Слыхал, он говорит красноречиво
 О том, в чем верный путь освобожденья,
 И должен я туда, где он, идти.
 Но скорбь должна быть избранной неложно,
 Поистине мне жаль тебя оставить,
 Отечество твое да будет мирным,
 И свеще и тобой защищено.
 На это царство да прольется мудрость,
 Как красота полуденного Солнца,
 Да будешь ты вполне победоносным,
 Да сердцем совершенным править ты.
 Вода и пламень противоположны,
 Но пламень причиняет испаренье
 И пар в плавучесть облака восходит,
 Из облаков струится книзу дождь.
 Убийство и очаг несовместимы,
 Кто любит мир, убийство ненавидит,
 И если так убийцы ненавистны,
 Кто в этом, пресеки же их, о царь.
 Им повели найти освобожденье,
 Как тем, кто пьет и все ж иссох от жажды».
 И, сжав ладони, царь явил почтенье,
 А в сердце у него горел восторг.
 Он молвил: «Что ты ищешь, да найдешь ты,
 И плод его да скоро ты получишь,
 А как получишь этот плод прекрасный, —
 Вернись, прошу, и не отринь меня».

Кто был слепец и обладает зреньем,
 Захочет ли он снова темноты?
 Или богат по бедности вздыхает?
 Или мудрец невеждою быть хочет?
 Коль в этом мире есть такие люди,
 Тогда хочу опять в родимый край.
 Я избавленья жажду от рожденья,
 От старости, от смерти, — и хочу я
 Выпрашивать как милостыни пищи
 И возжеланья тела обуздать, —
 В отъединеньи быть, смирив хотенье,
 Избегнуть злых путей грядущей жизни,
 Так мир найду я в двух мирах спокойных,
 Прощу тебя, ты не жалея меня.
 Жалей скорее тех, что правят царством,
 Их души вечно пусты, вечно в жажде,
 Им в настоящем мире нет покоя,
 А после пытку примут как удел.
 Ты, что владеешь именем высоким
 И почитаньем, властелину должным,
 Со мною разделить хотел бы сан свой
 И дать мне долю всех своих услад, —
 Взамен и я прошу тебя сердечно,
 Ты раздели со мной мою награду.
 Кто трех разрядов ведает усладу,
 Тот в мире носит имя «Господин», —
 Но в том согласованья нет с рассудком,
 Затем что эти блага не удержишь.
 Где нет рожденья, жизни или смерти,
 Кто будет в том, — он истый Господин.
 Мне говорят: «Коль молод, будь веселым,
 А будешь стар, тогда и будь отшельник».
 Но я смотрю, что в старости есть слабость,
 Благоговейным быть нет сил тогда.
 Есть в юности могущество и твердость,
 Есть крепость воли, в сердце есть решимость, —
 А смерть как вор с ножом идет за нами,
 И либо ей добычу ухватить.
 Зачем же будем старости здесь ждать мы?
 Непостоянство — мощный есть охотник,
 Болезни — стрелы, лук его — есть старость,
 Где жизнь и смерть, он мчится за живым.
 Охотник не упустит верный случай.
 Зачем нам ждать, когда придет к нам старость?
 И те, что учат жертвоприношеньям, —

И Бодгисаттва, в сердце мир лелея,
 Решив его моление исполнить,
 Спокойно отбыл, путь свой продолжая,
 Чтоб к Араде-отшельнику прийти.
 А царь меж тем и свита за владыкой,
 Ладони сжав, пошли немного следом,
 И снова в Раджагригу возвратились,
 Лелея мысли в помнящих сердцах.

12. ОТШЕЛЬНИК

Сын лучезарного Солнца,
 Знатного рода Икшваку,
 К тихой направился роше,
 Арада Рама там был.
 Сын лучезарного Солнца,
 Полный почительным чувством,
 Стал перед Муни великим,
 Он пред Учителем был.
 Спутники тихих молений,
 Видя вдали Бодгисаттву,
 Радостно песню пропели,
 Тихо примолвив: «Привет».
 Сжавши ладони с почтеньем,
 Как подошел, преклонились,
 После обычных вопросов,
 Сели по сану они.
 Все Брамачарины, видя,
 Как был прекрасен царевич,
 В качествах тех искупались,
 Чистой напилась росы.
 Руки свои приподнявши,
 Так Бодгисаттву спросили:
 «Долго ли был ты бездомным
 И разлученным с семьей?
 Долго ли порваны были
 Узы любви, что держат,
 Как порывает порою
 Цепи окованный слон?
 Мудрости лик твой исполнен,
 Он просветлен безупречно,
 От ядовитого можешь
 Ты отвратиться плода.

В древнее время могучий
 Царь лучезарно-подобный
 Передал царственность сыну,
 Бросил увядший веноч:
 Но не такое с тобою,
 Силы младой ты исполнен,
 Все ж не вовлекся в любовь ты
 К гордому сану царя.
 Воля твоя непреклонна,
 Это мы явственно видим,
 Правый закон в ней вместился,
 Как в надлежащий сосуд.
 Воля твоя, укрепившись,
 Мудрости будет ладью,
 Переплывет она море,
 Жизни и смерти моря.
 Те, что лишь учатся просто,
 Их испытуют — и учат,
 Случай же твой особливый,
 Ум твой — как воля — готов.
 То, что предпринял ты ныне,
 Цепь изучений глубоких,
 Цель эта зрима тобою,
 Ты не отступишь пред ней».
 Радостно слушал царевич
 Эти слова увещанья.
 На обращение это
 Радостно он отвечал:
 «Без предпочтения эти
 И без пристрастия реченья,
 Я принимаю советы,
 И да свершатся они.
 Факел в ночи да взнесу я,
 В месте идя вероломном,
 Челн да пройдет через море,—
 Будь это так и сейчас.
 Но, сомневаясь, держую
 Выказать эти сомненья,
 Как победить, вопрошаю,
 Старость, болезни и смерть?»
 Арада Рама, услышав,
 Что вопрошает царевич,
 Сутры и Састры напомнил,
 Путь ускользнуть изъяснил.
 Молвил: «О юноша славный,

Столь высоко одаренный,
 Видный столь явно средь мудрых,
 Выслушай, что я скажу,—
 Речь о скончании смерти.
 Пять их — природа, измена,
 Старость, рождение и смерть,—
 Пять этих свойств, надлежащих
 Всем и всему в этом мире.
 Без недостатка — природа
 И, по себе, без пятна.
 Переплетенье природы
 В пять — сочетанье великих ¹⁷,
 Пять составных в сочетаньи —
 Власть восприятья дают.
 Власть восприятья — причина
 Той мировой перемены:
 Форма, и звук, и порядок,
 Вкус и касанье — их пять.
 Это предметы суть чувства,
 Что называется дхагу,
 Руки и ноги — дороги,
 Их же корнями зовут.
 Действия — путь пятикратный,
 Пять их — корней для свершенья:
 Око, и ухо, и тело,
 Нос и язык — путь ума.
 Разума корень — двоякий:
 Он — вещество и разумность;
 Узел природы — причина,
 Знающий это есть Я ¹⁸.
 Капила, Риши, а также
 Те, кто их путь соблюдает,
 Душу в основе увидя,
 Мудрую вольность нашли.
 Свойство постигнув рожденья,
 Старости дряхлой и смерти,—
 Силою мудрости зрящей
 Верный сложили устой.
 То же, что в противоречьи,—
 Так говорят они,— ложно.
 Страсть и неведение — пути,
 Ход к воплощениям вновь.
 Кто о душе усомнился,
 Это чрезмерность сомненья.
 Не соблюдя различенья,

Вольности путь не найдешь.
 Грань восприятья сдвигаю,
 Только запутаешь душу.
 К смуте неверье приводит,
 К разностям мыслей и дел.
 Цель о душе размышлений —
 «Знаю» и «Я постигаю»,
 «Я прихожу», «Ухожу я» —
 Это суть пути души.
 Разные есть возмечтанья,
 «Так это» иль отрицанье,
 Недостоверность такая —
 То, что зовут «темнота».
 Есть и такие, что молвят:
 «Видимость — тождество с духом»,
 «Внешнее — то же, что разум»,
 «Числа орудий — душа».
 Здесь различенье не точно,
 Это зовут — крючкотворством,
 Это суть вехи безумья,
 Это отметины лжи.
 Произношенье молений,
 И убиванье жертвы,
 И очищенные водою,
 И очищенные огнем,
 С целью конечной свободы,—
 Это плоды суть незнанья,
 Суть достиженья без средства,
 Путь, где, идя, не придешь.
 Соотношения множить,
 Это — прикованность к средству,
 Вещь для души брать основой,
 Это неволя есть чувств.
 Восемь таких умозрений
 В смерть и рожденье влекут нас.
 Пять состояний есть в мире,
 Так недоумки твердят:
 Тьма, наряду с ней безумье
 И сумасшествие также,
 Гневная страсть рядом с ними,
 Робостью схваченный страх.
 Лик сумасшествия — похоть,
 Из заблуждения — гневность,
 Страсть — из безумной ошибки,
 Сердце трепещет, в нем — страх.

Прочь от толпы удаляясь,
 В мире живя как отшельник,
 О подаянии прося,—
 Твердо блюда благолепность,
 В правом живя поведенны,
 Мало желая и зная,
 Как воздержанье принять,—
 Все принимаемая как пищу,
 Хочешь ли ты иль не хочешь,
 В Сутры и Састры вникая,
 Мир тишины возлюбя,—
 Явственно ведая свойство
 Страха и жадных желаний,
 Членами права умело,
 Ум в безлагольном смири,—
 Ты содвигаешь печали,
 Ты прикасаешься счастья,
 Первая это дхиана,
 Первый изведен восторг.
 Первый восторг получивши
 И просветленье познавши,
 Внутренним ты размышленьем
 Мысли единой служи.
 Сорваны пути безумья,
 Ум лишь от мысли зависит,
 В небе, где Брама, за смертью,
 Ты, просветленный, рожден.
 Средство свое применяя,
 Дальше идешь в просветлены
 И во вторичном восторге,
 В небе Абхасвары ты.
 Средство свое применяя,
 Третьей дхианы доходишь,
 Новое примешь рождение
 В небе Субхакристы ты.
 Этот восторг оставляя,
 Прямо в четвертый восходишь,
 Скорби и радости бросив,
 К вольности духом идешь.
 Здесь ты в четвертой дхиане,
 В небе ты Врихата-фала²⁰,
 Это — обширное небо,
 Это — вместительный плод.
 Все восходя в отвлеченны,
 В мыслях держа внетелесность,

130

Так недоумки глаголют,
 Пять означают желаний;
 Корень же скорби великой,
 То, в чем рождение и смерть,
 Жизнь, что кипит пятерично,
 Точка начальная вихря,
 Водорот изначальный,—
 Явственно вижу,— есть Я.
 Силою этой причины
 И возникает повторность,
 Узел рожденья и смерти
 Связан и вяжется ей.
 Если мы правильно смотрим
 И в различении точны,
 Четверократна возможность,
 Чтоб из цепей ускользнуть.
 Мудрость и свет зажигая,
 Борешься с мраком незнанья,—
 Делая свет очевидным,
 Гонишь утайную тьму,—
 Эти четыре постигнешь,¹⁹
 Можешь избежать рожденья,
 Старости можешь не ведать,
 Не проходить через смерть.
 Раз победили рождение,
 Старость и смерть,— мы достигли
 Места конечных свершений,
 Где невозбранный покой.
 Браманы, эту основу
 С чистою жизнью сливая,
 Много о ней говорили,
 Миру желая добра.
 Это услышав, царевич
 Араду вновь вопрошает:
 «Молви, как средства зовутся,
 В чем невозбранный покой,—
 Чистой в чем жизни есть свойство,
 Должное время какое
 Для совершенья той жизни,—
 Это, прошу, изъясни».
 Сутрам и Састрам согласно,
 Арада молвил подробно:
 «Раз обопреешься на мудрость,
 В этом и средство твое.
 Все ж я беседу продолжу.

129

В мудрости шествуя дальше,
 Бросишь четвертый восторг.
 Твердо продолжив исканье,
 Свергнув желание лика,
 В теле почувствуешь всюду
 Вольность и с ней пустоту.
 То ощущение окрепнет,
 Усовершенствуясь точно,
 И в пустоте развернется
 Веденья полный простор.
 Тишь изнутри получиши,
 «Я» отпадает как помысл,
 Жизнь в невещественном примешь,
 Мнимость познав вещества.
 Твердость зерна раздробивши,
 Себедь восходит зеленый,
 Птица умчится из клетки,
 Мы — из телесных границ.
 Выше, чем Браман, взнесенный,
 Признаки тела отбросив,
 Все ж ты еще существуешь,
 Мудрый, свободный, вполне.
 Ты вопрошаешь о средствах,
 Как ускользнуть в эту вольность?
 Раньше я молвил: «Узнает,
 Если кто в вере глубоок».
 Джаигисавья, и Вридха,
 Джанака, мудрые Риши,
 Правды ища той дорогой,
 Освобожденные нашли.
 Это услышав, царевич
 В духе те мысли проверил
 И, достигнув до влияния
 Жизней, что были пред тем, —
 Снова продолжил беседу,
 Так вопрошая и молвя:
 «Цепь этих помыслов мудрых
 Мыслью своей я вобрал.
 То, что ты строишь, есть цельность,
 Эти основы глубоки
 И далеко достягают,
 В этом я нечто узнал.
 Знание взяв за причину,
 Мы еще все не у цели,
 Но, понимая природу,

Все разветвлена ее,
 Ты говоришь мы свободны,
 Вольности мы достигаем, —
 В этом законе рожденья
 Новый закон есть в зерне.
 Душу соделавши чистой,
 «Я» возведя в очищенье,
 Ты говоришь мне, что в этом
 Освобождения путь.
 Если причину мы встретим
 С действием вместе, — в слияньи
 Этом возврат есть к рождению,
 К сложным препонам его:
 В семени скрытый зародыш
 Может огнем и водою,
 Может землею и ветром
 Видимо быть истреблен, —
 Встретя же, силой стеченья,
 Благоприятность условий,
 Он оживет, без причины
 Явной, желаньем влеком.
 Также и те, что достигли
 Той предположенной воли,
 В помысле «Я» сохраняя,
 Мысль о живых существах,
 Все не достигли до цели,
 Нет им конечной свободы,
 Прошлое тонко влияет,
 Сердце — в несчетности лет.
 Ты говоришь, что свобода
 От ограниченной жизни
 С нами, когда мы отбросим
 Самую мысль о душе.
 Как же распустишь веревки,
 Душу связавшие прочно?
 Если ты свойствами связан,
 Где же тут вольность тогда?
 Гуна и гуни — два слова,
 Свойство, предмет — два понятия,
 Разны они в представленьи,
 Но по основе — одно.
 Если ты скажешь, что можешь,
 Свойства предмета отнявши,
 Самый предмет не разрушить,
 Это же вовсе не так.

Чувства свои обуздавших,
 В роще подвижничеств точных
 Путь совершающих свой,
 Мирных, спокойных, довольных,
 Над Найранджаной-рекою
 Место близ них Бодхисаттва
 Выбрал и в мысли вступил.
 Ведая, сколь он упорно
 Сердцем искал избавленья,
 Бхикшу ему предложили
 Ряд преклоненных услуг.
 Знаки вниманья приявши,
 Истово занял он место,
 Как человек, что намерен
 В благовенныя пребыть.
 К средствам прилежно прибег он
 Для избежанья болезни,
 Путь, чтобы старости минушь,
 Путь, чтобы смерть победить.
 Сердце свое обратил он
 На умерщвление плоти,
 На воздержанье от страсти,
 Мысли о пище отверг.
 Пост соблюдал он, какого
 Не соблюдал человеку,
 Был в безглагольной он мысли,
 Шесть продолжал так годов.
 По конопляному только
 Зернышку ел каждодневно,
 Тело его исхудало,
 Тонкий и бледный он стал.
 Все он искал пресеченья
 Необозримого моря,
 Думал все глубже, как можно
 Смерть и рожденье стереть.
 Мудрости сеть расчленил,
 Делая путь совершенным,
 Все же он в этом не видел
 Освобожденья еще.
 Духом был волен, а телом
 Легок, воздушно-утончен,
 Имя его воссияло,
 Славой он был вознесен,—
 В нежной лазури означась,
 Серп новолунный так светит,—

134

Жар от огня ты огнинешь,
 Нет и огня вместе с этим,
 Плоскость отнявши у тела,
 Где же и тело тогда?
 Свойства есть плоскость; содвинешь —
 Самый предмет исчезает,
 Гуна — поверхность предмета,
 Гуни без гуны не быть.
 Освобождение это,
 Речь о котором была здесь,
 Не достигает свободы,
 Тело, как прежде, в цепях.
 Также еще говоришь ты —
 Чистое знание есть вольность,
 Если есть чистое знание,—
 Значит, и знающий есть.
 Если есть знающий,— как же
 Освободиться он может
 От единичного «Знаю»
 И от отдельного «Я»?
 Если без личности знание,
 Значит, тогда познающим
 Может чурбан быть и камень,
 Тем, кто свершает,— конец.
 Что мне здесь Арада молвил,
 Сердце не сделало сытым,
 Мудрости нет здесь вселенской,
 Лучшего должен искать»²¹.
 Путь свой направил он к Удре,
 «Я» было снова в беседе,
 «Мысль» и «Не-мысль» обсудили,
 Топь безысходной была.
 Если возможность возврата
 Не устранить от живого,
 Освобождения нет здесь,
 В цепи — повторно звено.
 Удру царевич оставил,
 К поискам путь свой направил,
 В Гайю пришел он на Гору,
 Где умерщвляется плоть.
 Было там место, чье имя —
 Пыточный Лес Уравильва,
 Пять там подвижников, Бхикшу,
 Раньше сошлись до него.
 Как этих пять он увидел,

133

Кумуда, цвет сокровенный,
 Так изливает свой дух.
 Был господин того места;
 Дочери, девы-царевны,
 Обе пришли, чтоб увидеть
 Этот измученный лик.
 Он был иссохший и тонкий,
 Словно увядшая ветка,
 Круг шестилетия свершился,
 Точка замкнула тот круг.
 Муку рожденья и смерти
 Он созерцал неотступно,
 Здесь не увидел он средства
 Вызвать взнесенный восторг.
 Путь умерщвления плоти
 Не был и средством тем прежним:
 Там он, под деревом Джамбу,
 Час вознесенный узнал.
 Это, он думал, есть верный
 Путь к просветленью восторга,
 Это — дорога иная,
 Не умерщвленная плоть.
 Должен искать я, скорее,
 Силы и мощи телесной,
 Должен напитком и яством
 Члены свои освежить.
 Этим достигши довольства,
 Разуму дам отдохнуть я,—
 Если мой разум в покое,
 В лад я безгласный вступлю.
 Лад призовет восхищенье,
 Взвезя, увижу я правду,
 Силу постигши закона,
 Этим распуताю все.
 Так, в совершенном покое,
 Старость и смерть устраню я;
 Пищею жизнь подкрепивши,
 Светлый закон я свершу.
 Тщательно это продумав,
 В водах реки он купался,
 Выйти хотел, и не мог он,
 Столь истощенным он был.
 Ветку к нему наклонивши,
 Дух тут помог, небожитель,
 Ветки рукой он коснулся,

Из Найранджаны исшел.
 Этой порою близ роши
 Главный пастух находился,
 Старшая дочь его также,
 Нандою звалась она.
 Дэва, один, обратясь к ней,
 Рек: «Бодгисаттва в той роше,
 С благоговейным даяньем
 Тотчас предстань перед ним».
 С радостью Нанда Балада
 К месту тому устремилась,
 Из халцедонов браслеты
 Млели на нежных руках.
 Снежились те халцедоны,
 Платье на ней голубело,
 Спорили эти оттенки,
 Как в пузыре водяном.
 С сердцем простым и невинным,
 Шла она быстрой ступою,
 Пред Бодгисаттвой склонилась,
 Рис благовонный неся.
 Чистый тот дар предложила,
 И не отверг Бодгисаттва,
 Тотчас вкусил,— для нее же
 Тотчас награда была.
 Только поел, освежился,
 Бодхи принять стал способен,
 Члены его воссияли,
 Сила еще возросла.
 Сотни потоков, сливаясь,
 Так устремляются в Море,
 В яркости так прибывает
 Первая четверть Луны.
 Это пять Бхикшу, увидя,
 Были объята смущеньем,
 Подозревая, что в сердце
 Жар у него ослабел.
 И, пятерых оставляя,
 Был он один, как пошел он
 К реву доброго знака,
 К древу счастливой судьбы.
 Там, под развесистым Бодхи,
 Мог довершить он исканья,
 Мог он достичь просветленья
 В цельной его полноте.

Шел он по ровному месту,
Нежные травы сгибались,
Поступью львиною шел он,
И содрогалась земля.
И, пробудившись при этом,
Радостью был Каля Нага
Двигнут,— глаза открывая
Свету, воскликнул он так:
«В оное время, когда я
Видел, как Будды приходят,
Землетрясение было,
Знаменья то же теперь.
Доблести Муни столь мощны,
Так их величество грозно,
Что и Земля не способна
Выдержать их на себе.
Вот отчего в средоточьи
Долгие гулы проходят,
В Мире как Солнце восходит,
Ярким он блеском залит.
Голубоватые птицы
Мчатся, их вижу пять соген,
Кружатся в лете направо,
Пересекая простор.
Льет освежающий ветер
Ласковость кротких дыханий,
Все эти дивные знаки
Те же, что в прежние дни.
Знаменья Будд миновавших!
Вижу я в том неоспорно,
Что Бодхисаттва достигнет
Мудрости высшей венца.
Вон от того человека,
Он от косца получает
Чистые гибкие травы,
Их возле древа простер.
Выпрямясь, там он садится,
Ноги скрестил под собою,
Их не небрежно кладет он,
В теле он весь закреплен.
Лик его твердый и четкий,
Как у небесного Наги,
И не покинет он места,
Замысел не довершив».
Так Каля Нага промолвил

Слово свое в подтвержденье,
Были небесные Наги
Радости полны живой.
Сдвинули веянье ветра,
Только тихонько он веял,
Стебли травы не дрожали,
Были недвижны листья.
Звери смотрели безгласно,
Взор их исполнен был чуда,
Это все знаменья были,
Что просветленья — придет.

Занятие 3

«В мире ныне — мощный Муни,
 Клятва — сильный шлем его.
 Лук в руке его могучий,
 В нем алмаз-стрела есть мудрость,
 Овладеет он хочет миром,
 Гибель царству моему.
 С ним равняться не могу я,
 Люди все в него поверят,
 На пути его спасенья
 Все прибежище найдут.
 Будет пуст мой край богатый,
 Но, пока закон нарушен,
 Человеку нет защиты,
 Око мудрости — не зрит,
 И пока еще я силен,
 Цель его я опрокину,
 Я его стропила рину,
 Он придет, а дом — пустой».
 Взяв свой лук с пятью стрелами,—
 С свитой женской и мужскою,—
 Он пошел в ту рошу мира,
 Чтоб лишить покоя плоть.
 Видя, как спокойный Муни
 Приготовился безгласно
 Пересечь пустыню Моря,
 Это Море трех миров,—
 Лук он взял рукою левой
 И, стрелу качнувши правой,
 К Бодгисаттве обращаюсь,
 Молвил: «Кшатрия! Восстань!
 Испугаться будет впору,
 Смерть твоя в засаде близкой,
 Воплощай свою молельность,
 Свой же замысел оставь.
 Не ищи освобожденья
 Для других, будь милосердным,
 Миротворь,— награду примешь,
 Путь свершив свой, в Небесах.
 Это — торная дорога,
 Победители ходили,
 Люди знатные, и Риши,
 И цари — дорогой той.
 Если ж ты сейчас не встанешь,
 Осмотрительно подумай,
 Свой обет отбрось, не жаждай,

139

13. МАРА

Сильный Риши, рода Риши,
 Твердо сев под древом Бодхи,
 Клятвой клялся — к воле полной
 Совершенный путь пробить.
 Духи, Наги, Сонмы Неба
 Преисполнились восторгом.
 Только Мара Дэвараджа,
 Враг молитв, один скорбел.
 Воин, царь пяти желаний,
 Изодранный в деле битвы,
 Враг всех ищущих свободы,
 Справедливо назван — Злой.
 Дочерей имел тот Мара,
 Трех красивых и приятных,
 Знала каждая, как в сердце
 У мужей зажечь любовь.
 Имя первой было Рати,
 А звалась вторая Прити,
 Третьей Тришна было имя,
 Дэви высшая в любви.
 Имя первой — Любострастье,
 А второй — Услада мужа,
 Имя третьей — Люборадость,
 Три искусницы в любви.
 Эти три, к отцу приблизась,
 Вместе все приблизась к Злому,
 Вопросы: «Чем смущен ты,
 Чем ты ныне огорчен?»
 И, свои смиривши чувства,
 Дочерям отец промолвил:

138

Чтобы взвизгнула стрела.
 Помнишь, Аида, внук Сомы,
 Чуть стрела его коснулась,
 Словно в вихре, сумасшедший,
 Тотчас разум потерял.
 Помнишь, Вимала, подвижник,
 Чуть свистящую услышал, —
 Потемнел в своей природе,
 Изменился сам в себе.
 Что же можешь ты, последний?
 Что ты можешь, запоздалый?
 Как стрелы моей избежешь?
 Встань немедля! Прочь скорей!
 Гнойный яд в стреле проворной,
 Где ударит, — строит козни.
 Вот, я целю! Что ж, еще ли
 Будешь в лик беды глядеть?
 Не бойшься? Не трепещешь
 Ты стрелы, несущей гибель?»
 Так хотел, угрозой, Мара
 Бодхисаттву устрашить.
 Но меж тем у Бодхисаттвы
 Сердце двинутым не стало,
 В сердце не было сомненья,
 Страх над ним не тяготел.
 И стрела, скользнув, мелькнула,
 Впереди ж стояли девы,
 Но не видел Бодхисаттва
 Ни стрелы, ни этих трех.
 Мара был смущен сомненьем
 И воскликнул с бормотаньем:
 «Дева снежных гор стреляла,
 Магесвара ранен был,
 Изменить был должен дух свой,
 Бодхисаттва ж неподвижен,
 На стрелу не смотрит даже,
 Ни на трех небесных дев.
 Хотя бы искра пробудилась
 В нем любовного хотенья!
 Нужно воинство собрать мне,
 Силой страшной утеснить».
 Только Мара так подумал,
 Вот уж воинство явилось,
 Так внезапно сгромоздилось,
 Каждый в облике своем.

И одни держали копыя,
 У других мечи сверкали,
 А иные, вырвав древо,
 Помавали тем стволлом.
 У иных сверкали искры
 От алмазных тяжких палиц,
 У других иное было,
 Лязг доспехов всех родов.
 Голова одних свиная,
 У других как будто рыба,
 Те — коням подобны быстрым,
 Те — подобные ослам.
 Лик иных был лик змеиный,
 Лик быка, и облик тигра,
 И подобные дракону,
 Львиноголавые скоты.
 На одном, иные, теле
 Много шей и глав носили,
 Глаз один на лица многих,
 Лик один, но много глаз.
 С кругобрюхими телами,
 А другие точно складка,
 Весь живот как провалился,
 Ноги тонкие одни.
 У иных узлом колени,
 Ляжки жирные раздулись,
 У иных не ногти — когти,
 Закорючены крючком.
 Безголовые там были,
 Те безгруды, те безлики,
 Две ноги, а тел не мало,
 Лики пепельней золы.
 Грубы вздувшиеся лица,
 Так разлезлись, что взирают
 Не туда-сюда, а всюду,
 Смотрит выпученный глаз.
 Рядом с ликом цвета пепла
 Лик звезды, всходящей утром,
 Те — как пар воспламененный,
 Те — ушами — точно слон.
 Горб у тех горе подобен,
 Те и наги, и мохнаты,
 В кожи, в шкуры те одеты,
 Ало-белый в лицах цвет.
 Те глядят в змеиной коже,

Те — как тигр — готовы прыгнуть,
 Те — в бубенчиках и кольцах,
 Эти с волосом как винт.
 Эти — волосы по телу
 Словно плащ распространили,
 Те еще — сосут дыханье,
 Те еще — крадут тела.
 Эти с вошлями танцуют,
 Эти пляшут, сжавши ноги,
 Эти бьют один другого,
 Эти выются колесом.
 Эти скачут меж деревьев,
 Эти воют, эти лают,
 Те — вопят охриплым вопом,
 Те пронзительно кричат.
 Дрожь идет в Земле великой
 От смешения злых шумов,
 Окружила древо Бодхи
 Та бесовская толпа.
 С четырех сторон уродство.
 Над собою изогнувшись,
 Тело рвет свое на части,
 Эти жрут его сполна.
 С четырех сторон окрестных
 Изрыгают дым и пламя,
 Вихри, бури отовсюду,
 Сопрясается гора.
 Пар, огонь и ветер с пылью
 Тьму, как деготь, созидают,
 Смоляные дышат мраки,
 Все невидимо кругом.
 Дэвы, склонные к закону,
 Также Наги все и Духи,
 Раздражась на войско Мары,
 Кровью плакали, смотря.
 И великим братством, Боги,
 Видя это искушение,
 С несмущенными сердцами,
 Состраданием горя,
 Все пришли, чтобы увидеть
 Бодгисатву, как сидит он
 Так светло-невозмутимо,
 Окружен толпою бесов.
 Несосчитанные злые,
 Землю с Небом потрясая,

Ревом звуков злополучных
 Наполняли все кругом.
 Но безгласный Бодгисаттва
 Между них сидел спокойный,
 И лицо его сияло,
 Прежний блеск не изменив.
 Царь зверей, так лев спокоен
 Меж зверей, что воют возле
 И вокруг рычат, свирепо, —
 Непривычно странный вид.
 Войско Мары поспешает,
 Выявляет крайность силы,
 Друг ко другу, друг за другом,
 Угрожают погубить.
 Взор в него вперяют острый,
 Зубы хищные оскалив,
 Налетают, словно выюга,
 Прыгнут здесь, а там скакнут.
 Но безгласный Бодгисаттва
 Наблюдает их спокойно,
 Как спокойно смотрит взрослый
 На играющих детей.
 Ярче дьявольское войско
 Распалось силой злобы,
 Хватя за камень — не поднимут,
 Схватят камень — не швырнуть.
 Их летающие копья,
 Стреловидные орудья,
 Зацепляются за воздух,
 Не хотят спуститься вниз.
 Гневный гром и тяжесть ливня,
 Град, несущий раздробленье,
 Превращались в пятицветный
 Нежных лотосов цветков.
 Между тем как яд отвратный
 И драконова отрова
 Обращались в благовонный,
 Сладко-свежий ветерок.
 И ущерб нанесли бессильны,
 Те несчетные творенья,
 Не коснувшись Бодгисаттвы,
 Только ранили себя.
 Помогала Маре тетка,
 Называлась Мага-Кали,
 У нее в руках был череп,

В блюдо выделан был он.
 Стоя против Бодгисаттвы,
 Похотливостью движений
 И приятным этим блюдом
 Помышляла искусить.
 Так все сонмы воинств Мары,
 Каждый в дьявольском облиczy,
 Закрутились, чтобы бунтом
 Бодгисаттву устраничь.
 Ни один его был даже
 Двинут волос в этой битве,
 И дружины Мары были
 Тяжкой схвачены тоской.
 И тогда, незримо, в высях,
 Тотчас воинства иные,
 Голос стройный умножая,
 Возгласили с высоты:
 «Вот он! Вот великий Муни!
 Дух его не тронут злобой,
 И его — порода Мары
 Тщечно хочет погубить.
 Затемненные, напрасно
 Вы упорствуете в грязном,
 Откажитесь же от тщетной,
 От убийственной мечты.
 Он спокоен, тихий Муни,
 Он сидит невозмутимый,
 Вы не можете Сумеру
 Сдунуть с каменных основ.
 Может быть, огонь замерзнет,
 И вода воспламенится,
 И земля, как пух, смягчится,
 Он не может ранен быть.
 Вам не ранить Бодгисаттву!
 Чрез века вспоен страданьем,
 Мысли стройно устремивши,
 Средства правильно развив,
 В чистоте взледев мудрость,
 Всех любя и всех жалея,
 Он скреплен четверократно,
 Тех углов не разделить.
 Эти доблести прекрасны
 И не могут разорваться,
 И сомнительным не сделать
 К высшей правде путь его.

Ибо, как должно, бесспорно,
 Солнце с тысячью лучами
 Потопив в сиянии сумрак,
 Мирovou тьму зажечь,—
 Или, дерево буравя,
 Мы зажжем огонь горящий,
 Иль, глубоко землю роя,
 Мы заставим брызнуть ключ,—
 Так и тот, кто непреклонен,
 Выбрав правильные средства,
 Если так искать он будет,
 Неизбежно он найдет.
 Темен мир без поученья,
 Три язвят его отравы,
 Хоть, неведенье и злоба,—
 В мире плоть он пожалел,
 И, жалея всех живущих,
 В эти трудности вместиных,
 Радость мудрости искал он,
 Чтобы страждущим помочь.
 Для чего же злое мыслить
 И тому прелоны ставить,
 Кто задумал — прочь из мира
 Скоробь гнущую изгнать?
 То неведенье, что всюду,
 Родилось от лжеучений,—
 Потому-то Бодгисаттва
 Привлечет людей к себе.
 Ослепить того, кто будет
 Вожакom великим мира,
 Невозможная затея:
 Так, испытанный вожак
 Чрез Великую Пустыню,
 Вдаль уводит караваны
 И, в песках дороги зная,
 Никогда не заведет.
 Так вся плоть в темноты впала,
 Где идут, не знают сами,
 Хочет он подъять светильник,—
 Для чего ж гасить его?
 Плоть застигнута, объята
 Морем смерти и рождений,
 Строит мудрости челнок он,—
 Для чего ж топить его?
 Ветвь молельности — терпенье,

Корень — твердость, поведенье
 Безупречное — расцветы,
 Сердце светлое — цветок,
 Мудрость высшая — все древо,
 Весь закон есть плод душистый,
 Тень его — живым защита,—
 Для чего ж срубать его?
 Хоть, неведенье и злоба,
 Это — пыточная дыба,
 Это — тяжкие засовы,
 На плечах существ ярмо.
 Чрез века он был подвижник,
 Чтобы снять с людей оковы,
 Он своей достигнет цели,
 Сев на крепкий свой престол.
 На своем законном троне
 Будет он — как были Будды
 Давних дней — в себе скрепленный,
 Цельно-замкнут, как алмаз.
 Если б вся земля дрожала,
 Это место будет стойко,
 Он на точке утвердился,
 Вам его не отвратить.
 Так умерьте же хотенья
 И, прогнав высокомерье,
 Приготовьтесь к размышленью,
 Чтоб смиренными пребыть».
 Слыша в воздухе те звуки,
 Бодхисаттву видя твердым,
 Страхом был застигнут Мара,
 Взлеты замысла прогнал.
 И, отвергши ухищренья,
 Вновь на Небо путь направил.
 Между тем его дружины,
 Все рассеяны кругом,
 С мест попадали высоких,
 Бранной гордости лишились
 И оружия, и доспехи
 Разметали по лесам.
 Так порою вождь жестокий
 Поражен в сраженьи насмерть,
 И ряды его редуют,—
 Войско Мары прочь бежит.
 Бодхисаттва успокоен,
 Тишина в уме высокоом,

Утро, Солнцу путь готовя,
 Расцветается зарей.
 Ослабел туман широкий,
 Праху серому подобный,
 Звезды с Месяцем бледнеют,
 Грани ночи стерты днем.
 Между тем с высот струится
 Водопад цветов небесных,
 Чтобы святить Бодхисаттве
 Нежно-дышащую дань.

14. ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Бодхисаттва, Мару победивши,
 Твердо ум в покое укрепив,
 Вычерпав до капли первоправду,
 В созерцанье глубоко вошел.
 И в порядке пред его очами
 Состоянья разные прошли,
 В ведение правое вступил он,
 В бодрствование первое вошел.
 Вспомнил он свои существованья,
 Там рожден и с именем таким,
 Все, до настоящего рожденья,
 Через сотни, тысячи смертей
 Мириады разных воплощений,
 Всякие и всюду, без числа.
 Всей своей семьи узнав сплетенья,
 Жалостью великой схвачен был.
 Миновало чувство состраданья,
 Видел вновь он все, что здесь живет,²³
 Шесть частей круговращения жизни²³,
 От рожденья к смерти, нет конца.
 Пусто все, и шатко, и неверно,
 Как платан, что каждый миг дрожит,
 Как мечта, что вспыхнет и погаснет,
 И как сон, что встанет и пройдет.
 И в середине бодрствования ночи
 Глянул он глазами чистых Дэв,
 Пред собой увидел все созданья,
 Как увидишь в зеркале свой лик:
 Всех, кто был рожден и вновь родился,
 Чтоб в рожденьи новом умереть,
 Благородных, низких, пышных, бедных,

Раньше — друг, родной, теперь — злой враг,
 Когти к горлу, пасти, зуб и клык,
 А иные гнутся, тяжко бремя,
 Но влечат, бодилами их жгут.
 Призраков пыгаемых несчетность,
 Горла, что иссохли, пить хотят,
 Те лететь должны чрез вышний воздух,
 Те, не зная смерти, быть в воде,
 Видел также он скупцов и жадных,
 Ныне — как голодные они,
 Их тела крутой горе подобны,
 Рты же — как игольное ушко.
 Рот всегда для пищи раскрывавая,
 Поглощают лишь один огонь,
 Пьют они отравленное пламя,
 Гарь внутри, и больше ничего.
 Жадные, обманывать умели,
 Облыгали тех, кто был благим,
 А теперь голодными родились,
 Призрак пищи вечно мучит их.
 Все отбросы от людей нечистых
 Были бы услудою для них,
 Но, едва такую сладость узрят,
 Исчезает в воздухе она.
 О, когда бы только кто предвидел,
 Что его за жадность сердца ждет,
 Самую он плоть свою бы отдал,
 Лишь бы милосердые оказать!
 Снова их рожденными узрел он,
 Их тела как сточная труба,
 Рождены из чрева лишь для грязи,
 Чтобы ведасть боль и трепетать.
 В жизни — ни одной минуты вольной
 От того, что смертный час грозит,
 И хоть жизнь — сплошные труд и горе,
 Вновь родятся, новая страда.
 Видел тех, что заслужили Небо,
 Но снедает их любовь к любви,
 Жажда быть любимым вечно мучит,
 Вянуть, как без влаги вянет цвет.
 Светлые дворцы их опустели,
 Дэвы спят во прахе на земле,
 Или молча горько-горько плачут,
 Вспоминая о былых любвах.
 Кто родился, грустен в увяданьи,

Всех жнецов своих безмерных жатв.
 Видел тех, кто правое свершает,
 Видел тех, кто в жизни служит злу,
 Копящих, как следствие, блаженство,
 Громоздящих в житницах беду.
 Различил сначала злых в деяньях,
 Злое им рожденье быть должно,
 Тех узрел, деянья чьи — молены,
 Место их — с людьми и средь Богов.
 Те опять в адах родятся нижних,
 Видел он всю пропасть пыток их,
 Токи пьют расплавленных металлов,
 Острые им вилы рвут тела.
 Стеснены в котлах с водой кипящей,
 Втиснуты в пылающих печах,
 Длиннозубым отданы собакам,
 Птицам, что выклеивают мозг.
 Из огня уходят в лес дремучий,
 Где, как бритва, листья режут их,
 Лезвия им руки отрезают,
 На куски их рубят топоры.
 Тело сплошь — зияющая рана,
 В членах искривляющихся боль,
 Пьют они горчайшие отравы,
 Их судьба им не дарует смерть.
 Кто восторг свой видел в злых деяньях,
 В злейшей видел он печали их,
 Здесь — мгновенный проблеск наслажденья,
 Долгий мрак зловецей пытки — там.
 Смех и шутка при чужих страданьях,
 Плач и вопль, когда возмездья час.
 О, когда б живые знали точно —
 В делании злом всех следствий цепь!
 Если б знали, верно б, отвернулись
 От своих замысленных путей!
 Если б знали, верно б, прочь бежали
 От того, что следом — кровь и смерть!
 Видел также он плоды рожденья
 В лике зверя, всех свершений счет,
 Накопленье собственных возвратов,
 Смерть — и вновь рожден звериний лик.
 Из-за шкуры или из-за мяса
 Измереть одним велит удел,
 Из-за рога, меха или крыльев
 Те же рвут друг друга из вражды.

Кто, любимый, умер, горе в том:
 Так стремятся к радостям небесным
 И в борьбе себе готовят боль.
 Что же стоят радости такие?
 Кто же будет, здраво, жаждать их?
 Чтоб добиться их, усиле нужно,
 Но они бессильны боль прогнать.
 Горе! горе! В этом нет различья!
 Дэвы в том обмануты равно!
 Чрез века они страданье терпят,
 Чрез века с хотеньем бой ведут.
 Достоверно ждут отдохновения,
 И опять паденье — их удел.
 Пытки их в Аду подстерегают,
 Рвут друг друга, точно зверя зверь.
 Ищут в жгучей жажде и сгорают,
 Ищут: «Где восторги?» — ждет их боль,
 В Небесах — мечтают — верный отдых,
 Но с рождением в Небе тоже боль.
 Раз рожден — страданье непрерывно,
 В мире нет приюта от тоски,
 Круговратность смерти и рожденья —
 Поворот несчетный колеса.
 В этих водах бьется все живое,
 В этих зыбях плоть не отдохнет.
 Чистым зреньем Дэвы так смотрел он,
 Пять пределов жизни созерцал
 Все, равно, бесплодно и напрасно,
 Дрожь листка, на миг пухляк волны.²³
 И вступил он в бодрствование третье,²³
 В глубь познания правды он вошел.
 Целый мир созданий созерцал он,
 Приносящий боль, водоворот,
 Полчища живущих, что стареют,
 Тех ряды, к которым смерть идет.
 Жажда, жадность, темнота незнания,
 Безысходность тесных жмущих пут.
 Внутрь себя взглянул он и увидел,
 Где исход рожденья, смерти ключ.
 Он удостоверился, что дряхлость —
 Из рожденья, как и смерть есть в нем:
 Если человек родился с телом,
 Тело унаследует недуг.
 Глянул он, откуда же рожденье,
 И увидел цепь свершений он,
 Что в другом свершалась месте, где-то,
 Не Всевышний делал те дела.
 Не были они самопричинны,
 Не было то личным бытие,
 Не были они и беспричинны, —
 Так звено с звеном он различил.
 Кто, сломав бамбук, сустав различит,
 Все суставы разделить легко:
 Так, причину смерти и рожденья
 Увидав, он к правде подошел.
 Все исходит в мире из цеплянья,
 Как, схватив траву, горит огонь;
 А идет цеплянье из хотенья,
 Хоть из ощущения идет;
 Как себе голодный ищет пищи
 Иль к колодцу жаждущий спешит,
 Есть так в ощущении жажда жизни,
 От касанья это все идет;
 К дереву так деревом коснешься,
 И огонь из тренья порожден;
 Шесть есть разных входов для касанья,
 Их причинность имя есть и лик;
 Имя с ликом родились от знания,
 Как зерно идет в росток и в лист,
 Знание же из имени и лика,
 Эти два слетаются в одно;
 Некая попутная причина
 Имя порождает, с ним и лик;
 А другой попутною причиной
 Имя с ликом к знанию ведет;
 Как корабль уходит с человеком,
 При сплетении суши и воды,
 Так из знания имя вышло с ликом,
 Имя с ликом корни создает;
 От корней рождается касанье;
 От касанья к ощущению путь;
 В ощущении кроется хотенье;
 И в хотении связь цеплянья есть;
 Эта связь причина есть деяний;
 А они ведут к рожденью вновь;
 А в рожденьи скрыты смерть и старость,
 В этом всех живых круговорот.
 Исто-просветленный, мысля точно,
 Он неукоснительно постиг:
 Ежели рождение разрушить,

Кто, любимый, умер, горе в том:
 Так стремятся к радостям небесным
 И в борьбе себе готовят боль.
 Что же стоят радости такие?
 Кто же будет, здраво, жаждать их?
 Чтоб добиться их, усиле нужно,
 Но они бессильны боль прогнать.
 Горе! горе! В этом нет различья!
 Дэвы в том обмануты равно!
 Чрез века они страданье терпят,
 Чрез века с хотеньем бой ведут.
 Достоверно ждут отдохновения,
 И опять паденье — их удел.
 Пытки их в Аду подстерегают,
 Рвут друг друга, точно зверя зверь.
 Ищут в жгучей жажде и сгорают,
 Ищут: «Где восторги?» — ждет их боль,
 В Небесах — мечтают — верный отдых,
 Но с рождением в Небе тоже боль.
 Раз рожден — страданье непрерывно,
 В мире нет приюта от тоски,
 Круговратность смерти и рожденья —
 Поворот несчетный колеса.
 В этих водах бьется все живое,
 В этих зыбях плоть не отдохнет.
 Чистым зреньем Дэвы так смотрел он,
 Пять пределов жизни созерцал
 Все, равно, бесплодно и напрасно,
 Дрожь листка, на миг пухляк волны.²³
 И вступил он в бодрствование третье,²³
 В глубь познания правды он вошел.
 Целый мир созданий созерцал он,
 Приносящий боль, водоворот,
 Полчища живущих, что стареют,
 Тех ряды, к которым смерть идет.
 Жажда, жадность, темнота незнания,
 Безысходность тесных жмущих пут.
 Внутрь себя взглянул он и увидел,
 Где исход рожденья, смерти ключ.
 Он удостоверился, что дряхлость —
 Из рожденья, как и смерть есть в нем:
 Если человек родился с телом,
 Тело унаследует недуг.
 Глянул он, откуда же рожденье,
 И увидел цепь свершений он,

Прекратится старость, с ней и смерть.
 Только уничтожь возникновение —
 И рождение вместе с ним конец.
 Только уничтожь цеплянье связи —
 И возникновение больше нет.
 Уничтожь хотенье — нет цеплянья.
 С ощущеньем — уничтожишь хоть.
 Нет касанья — нет и ощущенья.
 Шестеричность входов уничтожь,
 Нет касанья, входы уничтожишь —
 С ними нет имен и ликом нет.
 Знанья нет — и нет имен и ликом.
 Имена и лики уничтожь —
 Вместе с ними знанье погибает.
 Уничтожь неведение, — и с ним
 Имена и лики умирают²⁴.
 Так великий Риши завершен,
 Он усовершенствован в самбодхи,
 В мудрости пределов он достиг.
 Так усовершенствовавшись, Будда,²⁵
 Духом, восьмикратный путь нашел,²⁵
 Миру светоч — правильное зренье,
 Верный путь для всех, чтобы ступать.
 Так сполна он самость уничтожил, —
 Гаснет так огонь, пожрав траву.
 То он сделал, что хотел бы видеть
 Сделанным свободными людьми.
 Первый так прошел урок великий,
 Парамарта свершена была.
 Он вошел в глубокою Нирвану,
 Свет возрос, и темный мрак исчез.
 Полный совершенного покоя,
 И хранил молчанье, он достиг
 До криницы правды бесконечной,
 До неисчерпаемых ключей.
 Всей блистая мудростью лучистой,
 Так великий Риши там сидел,
 Между тем в глубоких содроганьях
 Сотрясалась мощная Земля.
 И опять был мир светло-спокоен,
 Дэвы, Наги, Духи собралась,
 Музыка небесная возникла,
 Правый был закон ей вознесен.
 Ветерки прохладные дышали,
 Упал с Небес душистый дождь,

И цветы не дожидались сроков,
 И плоды спешили заблестать.
 Из пространства, в пышном изобилии,
 Молниинные падали цветы,
 И других цветов лились гирлянды,
 Светлому к ногам свежая дань.
 Разные создания друг к другу
 Устремлялись, чувствуя любовь,
 Страх и ужас вовсе в мире стерлись,
 Ненависти не было ни в ком.
 Все, что жило в мире, сочеталось
 С вольной безупречностью любви,
 Дэвы, бросив вышние восторги,
 К грешным, облегчая их, сошли,
 Пытки было меньше все и меньше,
 Возрастала мудрости Луна.
 Видя свет, несомый людям Буддой,
 Ликовали духи в Небесах,
 Из жилищ небесных упали
 Приношенья, как цветочный дождь,
 Дэвы, Наги, голосом согласным,
 Восхваляли доблести его.
 Люди, видя эти приношенья,
 Слыша также радостный напев,
 Исполнялись светлым ликованием,
 Отдавались радости вполне.
 Только Мара, темный Дэвараджа,
 В сердце сжатом чувствовал тоску.
 Будда, потерявшись в созерцаньи,
 В сердце ощущая светлый мир,
 День ко дню, семь дней смотрел на Бодхи,
 На сьязое древо он смотрел.
 «Я теперь в покое совершенном, —
 Про себя безгласно он сказал, —
 Что хотело сердце — получило,
 Ускользнул от самого себя».
 Обозрело снова око Будды
 Все живое, что вступило в мир,
 Жалость в нем глубокая возникла,
 Он желал им вольной чистоты.
 Но, чтобы прийти к освобождению
 От слепой и жадной темноты,
 Сердце путь прямой должно наметить
 И не только внешне замолчать.

Принесите ж светлый дар ему!»
 С радостью пошли они немедля
 И еду молельно принесли.
 Он вкусил и размышлял глубоко:
 Кто услышит первый правды речь?
 Араду припомнил и Удраку,
 что достойны были знать закон.
 Но теперь уж оба были мертвы.
 И о тех он вспомнил, пятерых,
 что могли впервые слышать слово,
 Проповедь первичную приять.
 Восхотев Нирвану проповедать,
 Совершенный возвестить покой,
 К Бенаресу так он путь направил,
 Как пронзает Солнце тьмоту,—
 К граду, где издревле жили Риши,
 Он направил свой размерный шаг,—
 Царь быков глядит так взором кротким,
 Так ступает ровным шагом лев.

15. ВРАЩЕНИЕ КОЛЕСА

Благоговейно молчащий,
 Блеском сияя лучистым,
 Свет изливая прекрасный
 И не сравнимый ни с кем,
 Полный достоинства, шел он,
 Словно толпой окруженный,
 Юного Брамана встретил,
 Упага имя его.
 Видом великого Бхикшу
 Был поражен этот Браман,
 Скован почтительным чувством,
 Стал он у края пути.
 Сжавши ладони, смотрел он,
 Был он обрадован в сердце
 Зрелищем тем беспримерным
 И Совершенному рек:
 «Полчища тех, что — повсюду,
 Чар никаких не имеют,
 Грех их пятнает заразный,
 В людях изящества нет.
 Сердце великого мира
 Всюду охвачено смутей,
 Ты лишь один успокоен,

Он взглянул назад, и он подумал
 Об обете мощном,— и опять
 Восхотел закон он проповедать,
 Жатву боли в мире осмотрел.
 Брами-Дэва, видя эти мысли
 И желая свет распротранить,
 чтобы плоть от боли отдохнула,
 Снизойдя, отшельника узрел.
 Проповедник зрим был в нем верховный,—
 Он сосредоточенный сидел,
 Обладая мудростью и правдой,
 С сердцем, ускользнувшим от тьмот.
 И тогда, исполнившись почтеньем,
 Радостно великий Брама встал
 И, ладони сжавши перед Буддой,
 Так свое ходатайство изрек:
 «Как велико в целом мире счастье,
 Если с тем, кто темен и не мудр,
 Встретится столь любящий учитель,
 Озарит смутительную тьму!
 Гнет страданья жаждет облегченья,
 Грусть, что легче, тоже часа ждет.
 Царь людей, ты вышел из рождений,
 От смертей несчетных ускользнул.
 И теперь тебя мы умоляем:
 Ты спаси, из этих бездн, других,
 Получив блестящую добычу,
 Долю дай другим, что здесь живут.
 В мире, где наклонны все к корысти
 И делиться благом не хотят,
 Ты проникнись жалостью сердечной
 К тем, другим, кто здесь обремениен». —
 Так сказавши в виде увещанья,
 Брами-Дэва к Небу отошел.
 Будда же, призыв тот услышавши,
 Ликовал и в замысле окреп.
 Мысля, что просить он должен пищи,
 Каждый из царей, из четьярех,
 Дар ему принес,— и Совершенный,
 Взав четьяре, все их слил в одно.
 Тут торговцы мимо проходили,
 И небесный дружественный дух
 Им сказал: «Здесь есть великий Риши,
 Пребывает в горной роще он.
 Миру в нем — ристалище заслуги.

Лик твой как Месяц горит.
 Вид твой такой, что как будто
 Влагн испил ты бессмертной,
 Ты красотою отмечен,
 Как человек, что велик.
 Мудрости сила могуча,
 В этом ты царь полновластный,
 Мудрое что-то ты сделал,—
 Кто твой владыка? Ты — кто?»
 И отвечал Совершенный:
 «Я не имею владыки,
 Нет и почетного рода,
 Нет у меня и побед.
 Самонаученный этой
 Мудрости, самой глубокой,
 Сверхчеловеческих знаний
 Сам я душою достиг.
 Что подлежит познаванью,
 Мир чему должен учиться,
 Сам, чрез себя и собою,
 Это постиг я вполне.
 Это зовется Самбодхи,
 Меч этой мудрости острый,
 Меч тот разрушил семейство
 Всех ненавистных скорбей.
 Это главнейшей победой
 В мире зовут справедливо.
 Весь Бенарес будет слышать,
 Как загудит барабан.
 Остановиться нельзя уж!
 Имени я не имею,
 Радости я не желаю,
 Голос глаголющий я.
 Что возвещаю я,— правду,
 Что я ищу,— лишь свободы,
 Освобождения от пытки
 Всех и всего, что живет.
 Непременно клятву хочу я,
 Жатва той клятвы созрела,
 Ныне я выточил серп.
 Пышность, корысть и богатство,
 Все это брошено мною.
 Имени я не имею,
 Имя мне все же дают:

Я Справедливый Владыка,
 Также — Великий Учитель.
 Глянув на скорби бесстрашно,
 Также я — Храбрый Боец.
 Также — Благой я Целитель,
 Ибо целю я недуги.
 Путеводитель Благой я,
 Всем указующий путь.
 Сумрак ночной разгоняя,
 Светит лампада собою,
 Самолучистым сияньем,—
 Так и лампада моя.
 Тени в ней личного чувства
 Нет, а одна самосветность.
 Дерево древом буравя,
 Вызовешь верный огонь.
 Ветер в пространстве свободный
 Движется — собственной силой.
 Землю вскопаешь глубоко —
 Влагн дойдешь ключевой.
 Самопричинности в этом
 Дышит устав непреклонный,
 Все совершенные Муни
 Этот устав соблюдут.
 В светлых краях Бенареса
 Первое будет вращенье,
 Тот оборот Правосудья,
 Весь кругоход Колеса».

Упага, юноша-Браман,
 «О!» воздохнул, удивленный,
 И, понижая свой голос,
 Странную мудрость хвалил.
 Все, что с ним было, припомнил,
 Как он пришел к этой встрече,
 На поворотах дороги
 Он удивленный вставал.
 Каждый был шаг ему труден.
 Шел Совершенный неспешно,
 До Бенареса дошел он,
 До превосходной страны.
 Два там, в середине, потока,
 Реки сливались, мерцая:
 Вáрана — имя прохладной,
 Имя пленительной — Ганг.
 Светлые пажити, рощи,

Много цветов разноцветных,
 Много плодов золотистых,
 Мирно пасутся стада.
 Тихая это обитель,
 Нет в ней докучного шума,
 Старые Риши там жили,
 Чтя невозбранный покой.
 Это блестящее место
 Сделалось вдвое светлее,
 Восприимчивая сиянье
 Вновь воссиявших лучей.
 Там пребывал Каундинья,
 Дасабалакасиапа,
 Вагипа, Асваджит, Бхадра,
 Плоть истязали они.
 Видя, как Будда подходит,
 Сидя, они говорили:
 «Это идет Гаутама,
 Он осквернился мирским.
 Путь он суровый оставил,
 Ныне же снова нас ищет,—
 Мы уж, конечно, не встанем
 И не промолвим привет.
 И освежений обычных
 Мы уж ему не предложим,
 Ибо обет он нарушил,
 Гостеприимства лишен».
 Так согласившись, сидели,
 Это решение принявши.
 Все подошел Совершенный,
 Шел он неспешно — и вот!
 Не сознавая движений
 И нарушая решение,
 Все поднялись они вместе,
 Сесть предложили ему.
 Снять предложили одежду,
 Вымыть и вытереть ноги
 И спросили с почтеньем,
 Что он желает еще.
 Так оказавши внимание
 И соблюдая почтенье,
 Все же его Гаутамой
 Звали они — по семье.
 Тут, обращаясь к ним с словом,
 Возговорил Совершенный:

«Не называйте, прошу вас,
 Именем личным меня.
 В том небреженье слепое —
 Звать так достигшего правды.
 Но, почитают ли, нет ли,
 Дух мой спокоен вполне.
 Все же прошу вас отречься
 От неучтивости этой.
 Миру — спасение в Будде,
 Имя его — оттого.
 Он ко всему, что живое,
 С кроткой относится лаской,
 Видит детей он в живущих,
 Не презирайте ж отца».
 Движимый сильной любовью
 И состраданьем глубоким,
 Так говорил он, но горды
 Были они в слепоте.
 И говорили, что раньше
 Он в отреченьи был правом,
 Но, ничего не достигши,
 Тело и мысль распустил.
 Как же, они спросили,
 Мог бы он сделаться Буддой?
 Веры ему не давая,
 Так сомневались они.
 Высшую правду познавший,
 Мудрости свет всеохватный,
 К ним обратясь, Совершенный
 Верный им путь указал.
 Те, что, уча, неразумны,
 Тело свое умерщвляют,
 И неразумны другие,
 Кем услаждается плоть.
 Это две крайних ошибки,
 Два заблужденья великих,
 И ни одни, ни другие
 К правде пути не нашли.
 Будда сказал: «Кто чрезмерно
 Плоть истязанием мучит,
 Он вызывает страданьем
 Спутанность мыслей своих.
 Мысли большие не могут
 Дать даже знания мирского,
 Мысли такие не могут

Силу страстей победить.
 Кто засвечает лампаду,
 Жидкой наполнив водою,
 Он не сумеет, конечно,
 Сумрак огнем озарить.
 Также и тот, кто износит
 Тело свое, не сумеет
 Ни уничтожить незнания,
 Ни просветленность возжечь.
 Тот, кто, огонь добывая,
 Выберет древо гнилое,
 Он ничего не получит,
 Даром растратит свой труд.
 Если же твердое древо
 Деревом твердым буравишь,
 Раз ты упорен в усилии,
 Вспыхнет блестящий огонь.
 Если ты мудрости ищешь
 Не умерщвлением плоти
 И не уславою чувства,
 Жизни найдешь ты закон.
 Кто потакает хотеньям,
 Как же он будет способен
 Сутры и Састры постигнуть,
 Как он себя укротит!
 Тот, кто, в смятенности трудной,
 Ест, что к еде непригодно,
 И умножает недуг свой,—
 Он — услаждающий плоть.
 Если огонь разбросает
 По травянистой пустыне,
 Пламя, раздутое ветром,
 Сможет ли кто погасить?
 Так и огонь возжеланья,
 Так и пыланье хотенья.
 Крайности обе отбросив,
 Средней дороги держись.
 Всякие скорби окончив,
 Все устранив заблуждения,
 Я пребываю в покое,
 Невозмутимость храня.
 Виденье верного зренья
 Ярче высокого Солнца,
 Беспеременная мудрость
 Есть внутреннезоркость души.

Правое слово — чертог мой,
 Правое дело есть сад мой,
 Правая жизнь есть беседа,
 Где я могу отдохнуть.
 Путь надлежащего средства
 В рощи такие приводит.
 Правая память — мой город.
 Правые мысли — постель.
 Ровные это дороги,
 Чтоб ускользнуть от рожденья,
 Чтобы избавиться смерти,
 Вечную боль победить.
 Тот, кто из топкого места
 Этой уходит дорогой,
 Он достигает свершенья,
 Мудро дошел до конца.
 Он колебаться не будет
 В сторону ту и другую,
 Меж несосчитанных пыток
 Двух перекатных веков.
 Три многотрудные мира
 Этим путем побеждают,—
 Так разорвут паутину
 Цепко сплетенных скорбей.
 Этот мой путь беспримерный,
 Раньше о нем не слышали,—
 Правый закон избавленья
 Я, только я, увидал.
 Этой дорогой впервые
 Я разрушаю хотенье,
 Душное полчище хоти,
 Старость, и смерть, и недуг.
 Все бесполезные цели,
 Всякий источник страданья,
 Все, что бесплодно, как помысл,
 Уничтожается мной.
 Есть и такие, что бьются
 Против желаний — желая,
 Обуреваемы плотью,
 Плоти не видят своей.
 Эти источник заслуги
 Сами себе прекратили.
 В малых словах расскажу я
 Их затемненный удел.
 Как, угашая пожары,

Искру, порой, оставляют,
 И, позабытая, тлеет,
 Новым пожаром грозя,—
 Так в отвлеченьи их мысли
 «Я», как зерно, остается,
 Скорби великой источник,
 Движимый хотью вперед.
 Злые последствия дела,
 Деланье все пребывает.
 Хочешь зерно уничтожить,
 Влаги ему не давай.
 Если земли и воды нет,
 Если причин нет согласных,
 Лист и росток не родятся,
 Стебель не может возрасти.
 Все многосложные цепи,
 В разности жизней различных,—
 Злое ли это рождение,
 Дэва ли будет рожден,—
 Без окончания повторы
 И возвращаются в круге,
 Это — от жажущей хоти
 Сгибы звена ко звену.
 От высоты до низины,
 От вознесенности к срыву —
 Следствие это ущерба
 В прежде свершенных делах.
 Но уничтожишь зародыш,
 Связи не будет сплетенной,
 Действие дела исчезнет,
 Болям различным конец.
 Э т о имея, должны мы
 Т о унаследовать также;
 Э т о разрушишь, и с этим
 Также окончится т о.
 Нет ни рождения, ни смерти,
 Старости нет, ни болезни.
 Нет ни земли и ни ветра,
 Нет ни воды, ни огня.
 Нет ни конца, ни начала,
 Нет середины, обманов,
 Недостоверных учений,—
 Верная точка одна.
 Это предел окончания,
 Тут завершенность Нирваны.

Восемь дорог настоящих
 К мудрости этой ведут.
 В способе этом едином
 Больше уж нет дополнений.
 Мир ослепленный не видит,
 Я же мой путь увидал.
 Я прекращаю течение
 Токов, несущих страданье.
 Истин высоких — четыре²⁶,
 Мысля о них, ты спасен.
 Это есть з н а н и е скорби,
 Это есть — срезать причину,
 Во избежанье завязок
 В сложных узлах бытия.
 Это когда уничтожишь,
 Кончено также стремленье,
 С уничтоженьем смятенья
 Восемь открылось путей²⁷.
 Так четверичная правда²⁸
 Очи ума разверзает,
 Через меня — избавленье,
 Высшая мудрость — во мне»,
 Члены семьи Каундины
 Мудростью той напитались,
 С ними же Дэвы, их сонмы,
 Многие тысячи их.
 Сдвинув туман ослепленья,
 Чистый Закон увидавши,
 Дэвы, а также земные,
 Знали, что круг завершен.
 Чтò надлежало, свершилось.
 И, ликоваьем исполнен,
 Он вопрошил Каундинью,
 Голосом львиным сказав:
 «Знаешь ли ныне?» И Будде
 Вмиг отвечал Каундинья:
 «Мощным Учителем данный,
 Знаю великий Закон».
 И потому его имя
 Аньята есть Каундинья,—
 Аньята — Знающий значит²⁹,
 Верный устав он познал.
 Между пошедших за Буддой
 Первым он был в пониманьи.
 Только ответ тот раздался,

Грянул ликующий вскрик.
Духи земли восклицали:
«Сделано точным свершением!
Видя закон сокровенно,
В день, что отмечен средь дней,
Осуществил Совершенный
Тот оборот во вращениях,
Что никогда еще не был,—
Ход беспримерный свершен.
И человеки и Боги
Нежность росы получили,
Вот, перед всеми открылись,
Ныне, бессмертья врата.
То колесо — совершенно;
Спицы суть — правда поступков;
Ровный размах созерцанья —
Равный размер их длины;
Твердо-глядящая мудрость —
Есть на ступице насадка;
Скромность и вдумчивость мысли
Суть углубленья в гнезде;
Ось вкреплена здесь надежно;
Правая мысль есть ступица;
То колеса в завершеньи
Правды есть полный закон.
Полная истина ныне
В мире означила путь свой
И никогда не отступит
Перед ученьем другим».
Так в восхищеньи великом
Духи Земли ликовали,
Воздуха духи запели,
Дэвы вступили в тот хор.
Гимн они пели хваленья
До высочайшего Неба.
Дэвы тут Мира тройного,
Слыша, как Риши учил,
Между собой говорили:
«Дальше-прославленный Будда
Движет всем миром могучим,
Миру он точный рычаг!
Ради всего, что живое,
Создал устав он Закона,
Двинул во имя живущих
Светлое он колесо!»

Бурные ветры утихли,
Дымные тучи исчезли,
Дождь устремлялся цветочный
Из просветленных пространств.

Занятие 4

Самый совершенный, то — Нирвана,
 Это неподвижность есть покоя,
 Вольного от всяческих тревог».
 Увещанье Будды услышавши,
 Ясас был обрадован глубоко
 И почуял — в месте отвращения
 Мудрости пробился свежий ключ.
 Словно он взошел в затон прохладный.
 Подошел туда, где медлил Будда,
 Был на нем его покров обычный,
 Дух от недостатков волен был.
 Силой благодетельного корня,
 Что в других рожденьях накопился,
 Быстро получил он просветленье,
 Тайный свет познания в нем светил.
 Он уразумел — Закон услыша:
 Так, мгновенно, шелк меняет краски.
 Самоозаренье засветилось,
 То, что надлежало, свершено.
 И, себя в наряде пышном видя,
 Устыдился он, — но Совершенный,
 Внутреннюю мысль его увидев,
 Голосом напевным возвестил:
 «Пусть и украшения не сняты,
 Сердце покорить способно чувства, —
 Раз на все зриаешь без пристрастия,
 Внешнее не может захватить.
 Тело может ведасть власяницу,
 Мысли же — цепляться за мирское:
 Кто в лесу глухом мирского жаждет,
 Не подвижник он, а мирянин.
 Лик мирской являть способно тело,
 Сердцем же к высокому взноситься:
 Мирянин ли ты или отшельник,
 Все равно, коль победил себя.
 Тот, кто носит воинские знаки,
 Носит знак победы над врагами,
 Так же и отшельником одетый, —
 Говорит, что скорбь побеждена».
 Он ему сказал: «Приди же с миром,
 Будь со мной и будь смиренный Бхикшу».
 Сказан зов — и вот! В иной одежде
 Он пред ним отшельником стоял.
 В оны дни у Ясаса в весельи
 Пятьдесят четыре было друга:

16. УЧЕНИКИ

И теперь те пять, что подвизались,
 Асваджит, и Вашпа, и другие,
 Услыхав, что Каундинья ведал,
 Услыхав, что он узнал Закон, —
 С выраженьем кротким и смиренным,
 Сжав ладони, преклонились низко
 И свою почитительность явили,
 Посмотрев Учителю в лицо.
 Совершенный, способом премудрым,
 Каждого Закон обнять заставил.
 И таким путем пять мудрых Бхикшу
 Просветлели в собственном уме.
 Пять сполна, как первый, так последний,
 Лучезарно покорили чувства, —
 Так пять звезд сияют в вышнем Небе,
 Услужая ласковой Луне.
 В это время, в граде Кушинара,
 Некто Ясас, родом благородный,
 В сне ночном потерянный, внезапно
 Пробудился — и глаза раскрыл.
 Оком молодым он слуг окинул,
 Спали крепко женщины, мужчины,
 Платья в беспорядке, лица смяты,
 Отращенем сердце сжалось в нем.
 Думая о корне всех мучений,
 Размышлял он, как безумны люди,
 Размышлял, как это сумасбродно —
 Припадать к источнику скорбей.
 Он надел красивые убрания,
 В светлом лике из дому он вышел,
 На дороге встал и громко вскрикнул:
 «Горе! Бесконечна цепь скорбей!»
 Совершенный — путь держал во мраке
 И, услышав сетованья эти,
 Отвечал: «Приход твой здесь желанен,
 Скорби есть — и отдых от скорбей.
 Свежести исполненный, прекрасный,

Увидав, что друг их стал отшельник,
 В верный и они вошли Закон.
 Следствие деяний в прежних жизнях,
 Совершенный плод они явили:
 Так, порой, золу залешь водою,
 Высохнет вода, и жив огонь.
 Было шестьдесят теперь их мудрых,
 Шестьдесят учеников познавших.
 И учил он: «Берега другого
 Вы достигли, перейдя поток.
 Свершено, что ждало совершенья.
 От других примите милосердьё,
 Через все идя края и страны,
 Обращайте всех в своем пути.
 В мире, что сжигаем всюду скорбью,
 Рассевайте всюду поученья,
 Укажете путь идущим слепо,
 Светочем да будет жалость вам.
 Так же я на гору Гайясиришу
 Отойду к великим царским Риши,
 К Браманам, которые живут там,
 Поучая разному людей.
 Там живет и Риши Касиапа,
 Почитаем всеми как подвижник,
 Обращая тоже очень многих,—
 Посещу его и обращу».
 Отбыли те шесть десятков Бхикшу,
 Каждый получил предназначенье
 Проповедь держать по разным странам,
 Следуя наклонности своей.
 Но один пошел тот Чтимый миром,
 И пришел к горе он Гайясирише
 И вступил в молельную долину,
 В дол, где Риши Касиапа был.
 Касиапа в огненной пещере
 Совершал там жертвоприношенья,
 В пламенном том гроте злой жил Нага,
 Он искал покоя по горам.
 Чтимый миром, обратиться желая
 Этого отшельника, промолвил:
 «Где бы мог я ночью поместиться?»
 Касиапа Будде отвечал:
 «Не имею предложить приюта,
 Огненную разве ту пещеру,
 Где свершаю жертвоприношенья,

Там всегда прохладно по ночам.
 Но дракон там злой живет,— и может
 Отравлять людей по усмотренью».
 Будда отвечал: «Позволь мне только,
 На ночь поселюсь в пещере той».
 Касиапа делал затрудненья,
 Чтимый миром все просил упорно,
 И ответил Будде Касиапа:
 «Спорить никогда я не люблю.
 Лишь имею страх и опасенья,—
 Но как хочешь, так и сделать можешь».
 Тотчас Будда в грот вступил огнистый
 И в глубоком размышленьи сел.
 Увидавши Будду, злой тот Нага
 Изрыгнул свирепый яд огнистый
 И наполнил грот горячим паром,
 Но коснулся Будды пар не мог.
 Он сидел там неприкосновенный,
 А огонь перегорал в пещере,—
 Так до Неба Браны пламень вьется,
 Брама же сидит невозмутим.
 Злой тот Нага, увидавши Будду,
 Видя лик, сияющий покоем,
 Прекратил отравленные вихри,
 Сердцем стих и преклонил главу.
 Касиапа, увидавши ночью,
 Как горит огонь во тьме, пылая,
 Воздохнул: «О, горе, в том пожаре
 Этот светлый человек погиб».
 Утром он пришел с учениками
 Посмотреть. А Будда, покоривши
 Злого Нагу, сделал Нагу кротким,
 В нищенскую чашу положил.
 Касиапа думал: «Гаутама
 Сведуц и проник в благоговенье».
 Все же про себя сказал тихонько:
 «Я в познаниях тайных господин».
 Случаем воспользовавшись добрым,
 Будда оказал влиянье духом,
 Перемены вызвал в Касиапе,
 Тайные в нем мысли изменил,
 Сделал ум его покорно-гибким,
 Для Закона правого пригодным,—
 И, себя изведав, Касиапа
 Собственную скудность увидал.

Он смиренно принял поученье,
 С ним пятьсот ему во всем внимавших.
 Жертвенные взял свои сосуды
 И добро, швырнули в реку все.
 Это все поплыло по течению.
 Гада с Нади, братья, жили ниже,
 Увидав плавающие предметы,
 Меж собою говорили так:
 «Перемена важная случилась».
 И они тревожно тосковали
 И пошли, вверх по течению, к брату,
 И пятьсот за каждым верных шло.
 Увидав, что брат их стал отшельник,
 Что Закон владеет ими дивный,
 Молвили: «Коль брат наш подчинился,
 В этом мы последуем за ним».
 Так три брата и толпы их верных
 Проповедь услышали Владыки,
 Он учил о жертвоприношении,
 Говорил он притчу об огне:
 «Спутанные мысли — словно древо
 В дереве другом — огонь буравят,
 Дым густой неведенья рождает,
 Все живое ложной жгут мечтой.
 Так огонь печали и заботы,
 Загоревшись, жжет не устая,
 Все приводит к смерти и рождению,
 Нет топлива — и огонь не жжет.
 Так, когда у человека сердце
 Ко греху воспримет отвращенье,
 Отвращенье страсть уничтожает,
 Гаснет хоть, и в этом выход есть.
 Если только этот выход найден,
 Рождено с ним зрение и знание,
 Жизнь и смерть в потоках видны четко,
 Долг свершишь, — и жизни больше нет.
 Тысяча прислушавшихся Бхикшу
 Речи Совершенного внимали,
 Спали с душ их все былые пятна,
 К ним осoboждение пришло.
 Все, что надлежало, совершилось,
 В мудрости сиял высоко Будда,
 Правила он дал им очищенья,
 Мощный Риши стал учеником.
 Совершенный, с верными своими,

Путь направил ныне в царский город:
 Бимбисару Раджу вспомяная,
 В Раджагригу он с толпой пошел.
 Выполнить хотел он обещанье,
 И, прибив, он оставался в роше;
 Услышав об этом, царь со свитой
 К месту, где Владыка был, пошел.
 Увидав, как Будда восседает, —
 С сердцем, преисполненным смиренья,
 С колесницы пышной он нисходит,
 Украшенья снял, к нему пошел.
 Кротко он к ногам склонился Будды,
 О телесном спросил здоровьи.
 В свой черед, заговорил с ним Будда,
 Сесть с собою рядом попросил.
 Царь в уме подумал безглагольно:
 «Этот Сакья, верно, власть имеет,
 Коль своей он воле подчинил всех
 И вокруг него — ученики».
 Будда, эти мысли духом видя,
 Касиану вопрошая, молвил:
 «Отказавшись от огнепоклонства,
 Выгоду какую ты нашел?»
 Касиапа, тот вопрос услыша,
 Пред большим собраньем встал неспешно,
 Низко поклонился, сжав ладони,
 Обратился к Будде и сказал:
 «Огненного духа почитая,
 Выгоду я извлекал такую:
 В колесе был жизни беспрерывно,
 Ведал смерть, рождение, боль, недуг.
 Потому служенье это бросил.
 Я в огнепоклонстве был усердным,
 Я искал конца пяти желаний,
 И в ответ — желаний был возврат.
 Потому служенье это бросил.
 В этом я служеньи ошибался,
 Вечно возвращался я к рождению,
 Потому покоя возжелал.
 Я был сведущ — в самоогорченьи,
 Способ мой считался наилучшим,
 Мудрости же высшей был я чуждым.
 Потому отбросил способ свой.
 Я ушел искать Нирваны высшей.
 Отодвинув от себя рождение,

Сбросив смерть, болезнь, искал я места,
 Где неумирающий покой.
 Потому, познавши эту правду,
 Я закон огнепоклонства бросил
 И оставил жертвоприношение,
 Связанное с действием огня».
 Чтливый миром, слыша Касиапу
 И желая мир подвигнуть к благу,
 К Касиапе дальше обратился:
 «Так! Добро пожаловать! Приди!
 Ты желанен здесь, учитель мощный,
 Отличил Закон ты от закона,
 Высочайшей мудрости достиг ты.
 Пред собраньем этим я теперь
 Попрошу тебя явить блестяще
 Все твои высокие свершенья,
 Восхвали же своего владыку
 И свои сокровища открой».
 Тотчас же, в присутствии собрания,
 Тело погружая в бестелесность
 И в восторг моленный повергаясь,
 Он в пространство вышнее взошел.
 Там себя пред взорами явил он,
 Ходя, стоя, сидя, засыпая,
 Пар огнистый испуская телом,
 Справа, слева пламень был с водой,—
 Тело же его не обжигалось,
 Тело же его не увлажнялось,—
 Тучу дождевую испустил он,
 Грянул гром, и молния зажглась,
 И Земля и Небо содрогнулись,—
 Так внушил он миру восхищение,
 И глаза на яркий блеск смотрели,
 Этим ярким блеском не слепясь.
 И уста различные хвалили,
 Но язык единый был в хваленый,
 Зрелище чудесное пленило.
 И потом переменялось все,—
 Силою духовною влекомы,
 Все к ногам Учителя склонились,
 Восклидая: «Будда — наш учитель!
 Чтимого мы все — ученики».
 Так узнали все, что Совершенный
 Истинно Всезнающим зовется.
 К Бимбисаре Радже обратившись,

Будда слово должное сказал:
 «Да внимая — все уразумеют.
 Чувствами, и мыслями, и духом
 Властвует закон рожденья — смерти.
 Если ясно узришь то пятно,
 Четкое получишь восприятье;
 Получивши четкость восприятья,
 Знание себя получишь с этим,
 Восприять чувства победишь;
 Раз себя узнаешь и узнаешь
 Путь, который указуют чувства,
 Места нет для «Я» тогда, ни почвы,
 Чтобы это «Я» образовать;
 Все нагромождения печали,
 Скорби жизни, боль и скорби смерти
 Видишь как неотделимость тела,
 Тело же увидишь не как «Я»
 И для «Я» не узришь в теле почвы:
 В этом есть великое открытье,
 В этом есть бессмертный ключ покоя,
 В этом бесконечность тишины.
 Это мысль о самости — источник,
 Что несчетность более порождает,
 Мир, как бы веревками, связует,
 Знай, что «Я» не свяжешь, — нет и пут.
 Свойства «Я» узнав, порвешь веревки,
 Размыкаясь — цепи исчезают,
 Это узришь — вот освобождение,
 Да погибнет ложный помысл «Я»!
 Те, что «Я» подерживают в мысли,
 Или говорят, что «Я» есть вечно,
 Или говорят, что погибает,—
 Если взять пределы — жизнь и смерть,—
 Заблужденье их весьма прискорбно.
 Если «Я» не длится, — плод стремленья,
 Достижение, также погибает,
 Раз не будет После — плод погиб;
 Если ж это «Я» не погибает,—
 В средоточьи смерти и рожденья
 Тождество одно лишь есть, пространство,
 Что не рождено и не умрет.
 Если это «Я» есть в их понятии,
 Значит, все живое есть едино:
 Есть во всем такая неизменность,
 Самосовершенная, без дел.

Получил моленное он зренье,
Сотня тысяч духов с ним внимала
И бессмертный слышала Закон.

Если ж так, такая если самость
Действует, так самость есть владыка:
Что ж тогда заботиться о деле,
Если все уж сделано давно?
Если это «Я» неистребимо,
Разум скажет — «Я» и неизменно,
Мы же видим радость и печали,—
Где же постоянству место тут?
Зная, что в рождении свобода,
О пятне греха я мысль отброшу,
Длится мир, и все здесь в мире длится,—
Что ж об избавлении мечтать?
Что и говорить об устраниеньи
Самого себя, раз ложь есть правда?
Ежели не «Я» свершает дело,
Кто же, вправду, говорит о «Я»?
Но коли не «Я» свершает правду,
Нет здесь «Я», свершающего дело,—
Ежели ж отсутствуют здесь оба,
Правда в том, что вовсе нет здесь «Я».
Нет того, кто делает и знает,
Нет Владыки,— несмотря на это,
Вечно длится смерть здесь и рожденье,
Каждый день есть утро, есть и ночь.
Слушайте ж теперь меня и слыште:
Шесть есть чувств и шесть предметов чувства,
Слитые взаимно в шестеричность,
Шестеричность знания создают³⁰.
Чувства и предметы чувства, с знаньем
Единясь, родят прикосновенья.
Меж собой они переплетаясь,
Сеть воспоминания родят.
Как стекло и трут чрез силу Солнца
Возжигают огненное пламя,
Так, чрез чувства и предмет, есть знание,
А чрез знание есть Владыка сам;
Стебель есть из семени стремленье,
Семя есть не то же, что есть стебель,
Не одно и все же не другое:
Вот, в рожденьи, все, что здесь живет».
Чтимый миром проповедал правду,
Первоправду дал он в равновесьи,
Так, к царю со свитой говорил он,
Бимбисара Раджа светел был.
Все с себя былые пятна стер он,

18. ШЕДРЫЙ

Был в то время некий благородный,
 Имя чье — Друг Бедных и Сирот,
 Был богат он свыше всякой меры
 И в щедротах был неистощим.
 С Севера пришел он, из Кошалы,
 И гостил у друга своего,
 Имя чье хранит преданье — Чула.
 Услыхав, что Будда в мир пришел,
 Что живет в бамбуковой он роще,
 Что блестящи качества его,
 В ту же ночь отправился он в рощу
 И пред ликом Светлого предстал.
 Совершенный знал, кто прибыл в рощу,
 Видел сердце чистое его
 И, его по имени назвавши,
 Ласково с ним так заговорил:
 «Радуясь правдивому Закону,
 С сердцем кротким к веденью стремясь,
 Победив желание дремоты,
 Ты пришел явить почтенье мне.
 Так как мы увиделись впервые,
 Я свое ученье изложу
 И тебя приветствую достойно,
 Видя светлый плод твоих заслуг.
 В ряде предыдущих воплощений,
 Корень блага твердо посадив,
 Ты взрастил растение ожидания,
 И оно блестяще расцвело.
 Услыхавши ныне имя Будды,
 Ты душой своей возликовал,
 Ибо ты сосуд для правосудья,
 Скромный в духе, ты изящно-щедр.
 Ты в делах обильно благотворен,
 Помощь тем, кто помощи лишен,
 Именем владеешь знаменитым,
 И заслуга в нем свершенных дел.
 Ты свершаешь, повинуюсь сердцу,
 И за то, что щедро ты даешь,
 От меня, как дар, прими Нирвану,
 Щедрый дар Безветрия души.
 Мой устав исполнен благодати,
 Может он спасать от злых дорог,
 Изводит из спутанностей жизни,

Человека в Небо возводить.
 Все же не желай восторгов Неба,
 Их искать — великое есть зло,
 Ибо в возрастании хотенья,
 Как попутный призрак, скорбь растет.
 Укрепись в искусстве отреченья,
 Не ищи, не жаждай, не хоти,
 В том отрада тихого покоя,
 Ясный смысл Безветрия души.
 Смерть, болезнь и старость — это боли,
 Троекратность скорби мировой.
 Мир поняв, мы устраним рождение,
 Дряхлый возраст, и болезнь, и смерть,
 Человек наследует в рожденьи
 Дряхлый возраст, и болезнь, и смерть,
 И когда он вновь родится в Небе,
 К этому же там он приведен.
 Нет ни для кого там продолженья,
 Если ж нет, то в этом самом скорбь,
 А когда ты преисполнен скорби,
 В этом нет «доподлинного Я».
 Если же восторг без продолженья
 Есть не «Я», а только скорбь одна,
 В этом только скорбь повторной скорби,
 Накопленье новое скорбей.
 Истреби же эту скорбь, в том радость,
 Путь к тому — спокойствие души.
 Мир, по существу, всегда тревожен,
 Корень пытки в этом вижу я.
 Чтоб ручей не видеть в истеченьи,
 Наложь печать на самый ключ.
 Пусть ни жизнь, ни смерть тебя не тронут,
 Этих двух враждебных не желай.
 Загляни глубоко в мир обширный,
 Ты увидишь дряхлость, смерть, недуг,
 Мир объят пожаром всеохватным,
 Пепелище, где ни посмотри.
 Видя это вечное томленье,
 Мы должны стремиться к тишине,
 Слитны быть в одном великом Сердце,
 В светлую Обитель отойти.
 Пусто все! Нет «Я»! Для «Я» нет места!
 Этот мир — создание мечты,
 Мы — нагромождение осадков,
 Мы — переплетение семян».

Самосуществующим бы не был,
 Ибо в нем бы замысел дрожал.
 Если же без замысла он был бы,—
 Был бы он как малое дитя.
 И во всем, что живо, скорбь и радость,
 Если причиняет их Творец,—
 Значит, любит он и ненавидит,
 Самобытия здесь вовсе нет.
 И когда б Творец все создал,—
 Делать ли добро иль зло тогда,
 Было б совершенно безразлично,
 Все тогда его, и все есть в нем.
 Если ж рядом с ним другой есть кто-то,
 Значит, он не есть конец всего.
 Помысл о Творце отбросить надо,
 Сам опровергает он себя.
 Если скажем мы: Само-природа
 Есть Творец,— ошибочно и то:³⁴
 Что не из чего не истекает,
 Истеченье как же даст оно?
 Между тем кругом все в мире связано,
 Из причин и следствий все идет,
 Как растут из семени победы:
 Довод отвергает сам себя.
 Не само-природой все возникло.
 Если ж скажем — все через нее,
 Все б она собою наполнила,
 Нечего бы делать было ей.
 И само-природа, как понятие,—
 Ежели понятие примем мы,—
 Исключает видоизмененья,
 В мире ж все меняется везде.
 Раз само-природа есть причина,
 Что ж освободенья нам искать?
 Сами мы владеем той природой,
 Жизнь и смерть претерпим без борьбы.
 Ибо если кто освободится,
 То само-природа, вновь и вновь,
 Выстроит ему беду рожденья.
 Слепота ли зрение родит?
 Видим дым,— мы знаем: есть и пламень,
 Действие с причинной суть одно,
 И само-природа, неразумье,
 Разум, не могла бы сотворить.
 Если видим чашу золотую,

Благородный, слыша это слово,
 Первой грани святости достиг,
 Осушил он море жизнесмерти,
 И осталась капля лишь одна.
 В стороне от общества людского,
 Погашая вспышки всех страстей,
 Он достиг безличных состояний,
 Тучи тьмы разъялись перед ним.
 Так, порой, летит осенний ветер,
 Разгоняет в небе облака.
 И достиг он истинного зренья,
 Заблужденья прочь толпой ушли.
 Размышлял о мире он глубоко.
 Этот мир не сотворен Творцом,
 Ишвара не есть его причина,
 Но не беспричинен этот мир.
 Если б мир был Ишварою создан,
 Если б был Творцом он сотворен,
 Не было б ни старых в нем, ни юных,
 Не было бы после, ни теперь.
 Не было б пяти дорог рожденья,
 Переволпощения в мирах,
 И когда б, однажды, кто родился,
 Он бы уж разрушиться не мог.
 Не было бы скорби и злосчастья,
 Не было б ни зла здесь, ни добра,
 Ибо то, что чисто и не чисто,
 Все бы исходило от Творца.
 И когда бы мир Творцом был создан,
 Речь о том бы вовсе не велась,
 Ибо сын отца всегда признает
 И с почтеньем говорит «Отец».
 Люди, угнетаемые горем,
 На него б не поднимали бунт,
 Самосуществующему только б
 Отдавали дань любви сполна.
 Если б было так, все было б ясно,
 Виден был бы всем исток всего,
 Одного бы Бога почитали,
 И других бы не было Богов.
 И когда бы Ишвара Творцом был,
 Не был бы он в самобытии:
 Ибо если б ныне был Творцом он,
 Должен был бы быть Творцом всегда.

Вся она из золота сполна.
 И само-природу, как источник,
 Видя мир, должны отринуть мы.
 Если время есть причина мира,
 Вольности напрасно нам искать:
 Постоянно время, неизменно,
 Промежутки должно претерпеть.
 Как в рядах Вселенной нет пределов,
 В промежутках времени — в мирах —
 Нет границ, и нет им остановки,
 В тех морях лишь можем мы тонуть.
 Если «Я» вселенское — причина,
 Мировое «Я» — Творец миров,
 Радостью б одно другому было,
 Лишь одна б приятственность была.
 В этом мире не было б злой Кармы,
 Наши же деянья создают
 Доброе сплетение и злое, —
 Ложен довод мирового «Я».
 Если скажем мы — Творца нет вовсе,
 Вольность — бесполезная мечта:
 Если все собою достоверно,
 Что ж пытаться это изменять?
 Между тем различные деянья
 В мире и дают различный плод,
 Значит, все исходит в этом мире
 Из одной причины иль другой.
 Не Ничто — причина всех явлений,
 Есть и дух, и убыль духа есть;
 Все — в связи причинности законной,
 Неразрывна цепь, звено к звену».

Благородный, слышавший то слово,
 В сердце ощутил лучистый свет.
 Построеня правды он воспринял,
 Мудрость в сочетаньи с простотой.
 Укрепившись в истинном Законе,
 Низко перед Буддой преклоняясь,
 Он благоговейно сжал ладони
 И его смиренно стал просить:
 «В Шравасти живу я, край богатый,
 Там царит покой и тишина,
 Прасэнаджит — царь страны той мирной,
 Род его зовется родом Льва.
 Это имя всюду знаменито,

Славен он вдали, как и вблизи.
 Там желаю я найти Обитель
 И молю тебя ее принять.
 В сердце Будды — это твердо знаю —
 Предпочтений нет; не ищет он,
 Где бы отдохнуть; но эту просьбу
 Не отринь во имя всех живых».

Будда, зная, что владело сердцем,
 Побудившим эту речь держать,
 Видя помысл чистый милосердья,
 Молвил благородному в ответ:
 «Истинный Закон теперь ты видел,
 Сердце безобманное твое
 Любит щедрость, зная, что богатство
 Шагко и к нему не нужно льнуть.
 Если кладовая загорелась,
 То, что ускользнуло от огня,
 Мудрый отдаст другим охотно,
 Не держась за шагкое добро.
 Лишь скупец хранит его тревожно,
 Все его боится потерять,
 Позабыв закон непостоянства,
 В смертный час теряя разом все.
 Время есть для щедрости и способ,
 Как есть время в бой идти бойцу,
 Человек, способный быть щедротным,
 Сильный и способный есть боец.
 Тот, кто щедр, любим везде и всеми,
 В имени его широкий свет,
 Дружбу с ним благие ценят сердцем,
 В смертный час он полон тишины.
 Он не знает боли угрызений,
 Не терзает жалкий страх его,
 Демоном не может он родиться,
 Призраком не будет он бродить.
 Из щедрот — цветок произрастает,
 Милосердье — золотистый плод,
 Между кем бы щедрый ни родился,
 Светлый след его идет за ним.
 До бессмертной доходя дороги,
 Мы ведомы щедростью былой,
 Восьмикратный путь воспоминанья
 Озирая, радуемся мы.
 Любящий и щедрый, отдавая,
 Что имеет, гонит тени прочь,

И спросил: «Что здесь задумал ты?»
 Тот сказал: «Хочу создать Обитель,
 Чтобы Совершенному отдать».
 Князь, едва услышал имя Будды,
 Тотчас озаренье получил.
 Золота он взял лишь половину,
 Чтоб в Обитель часть свою внести:
 «Пусть — земля твоя, мой — деревья,
 Я деревья Будде отдаю».
 Так и согласились, стали строить,
 Строили и день они и ночь,
 Высоко хоромина взнеслася,
 Как дворец, один из четырех.
 Вымерены были направленья,
 Правильность их Будда подтвердил.
 Диво несравненное сияло,
 Совершенный в свой уют вошел.
 С ним вошли все верные толпою,
 Не было поклонов службы там.
 Лишь одно богатство в нем сияло:
 Золотом горела мудрость в нем.
 Щедрый же снискал свою награду,
 Кончив жизнь, взошел на небеса,
 Сыновьям и внукам оставляя
 Поле плодотворное заслуг.

19. СВИДАНИЕ

Будда был в стране Магадха,
 Он неверных обращал,
 Он Законом единичным
 Соглашал различность душ.
 Изменяя словом мудрым,
 Души вел он к одному:
 Так, когда восходит Солнце,
 Звезды тонут все в заре,
 И, покинув Раджагригу,
 Пятигорный этот град,
 Он пошел с учениками,
 Верных тысяча с ним шла.
 Он пошел с толпой великой
 До Нигантхи до горы,
 Что вблизи Капилавасту,

Устраняет жадное желанье,
 Копит мудрость зрячую в душе.
 Щедрый человек нашел дорогу,
 Чтоб достичь конечного пути:
 Кто возрастит растенье, тень имеет,
 И Нирвана щедрому дана.
 Отдавая платё — мы красивой,
 Разлучаясь с пищей — мы сильней.
 Основавши тихую обитель,
 Над цветком мы видим спелый плод.
 И дают не все красиво-щедро:
 Так дают, чтоб радости найти,
 И дают, чтоб получить сторицей,
 И дают, чтоб славу приобрести,
 И дают, чтоб счастье введать в Небе, —
 Но давая, ты даешь не так:
 Истинная щедрость вне расчетов,
 Ты, давая, просто лишь даешь.
 Что задумал, сделай это быстро!
 Бродит сердце, если ждет чего,
 Но, когда глаза открыты благу,
 Сердце возвращается домой!»
 Благородный принял поученье,
 Добрым сердцем просветлел еще,
 Друга своего позвал в Кошалу,
 Высмотрел пленительный там сад.
 Князь наследный Джэта был владельцем,
 В роще были чистые ключи.
 К князю во дворец пришел спросить он,
 Не продаст ли эту землю он.
 Князь ценил тот сад необычайно,
 Не хотел сперва его продать,
 А потом сказал: «Коли покроешь
 Золотом весь сад, — бери его».
 Благородный, в сердце восторгнувшись,
 Золотом стал землю покрывать.
 Джэта же сказал: «К чему ты трагишь
 Золото, — ведь сад я не отдам».
 Щедрый отвечал: «Не дашь? К чему же
 Ты сказал — все золотом покрой?»
 Спорили они и препирались,
 Наконец отпировались к судье.
 Между тем в народе говорили:
 «Щедрости такой примера нет».
 Джэта знал, что в щедром чисто сердце,

Сын его меж тем, приблизясь,
 Сел, молчанье храня,
 В совершенство облеченный,
 Не меняясь в лице.
 Так мгновенья истекали,
 И один перед другим,
 Хоронили чувства оба,
 И с тоской подумал царь:
 «Как он делает печальным
 И безрадостным меня,
 Сердце ждавшее — пустыня,
 Был родник — и где родник?
 Я похож на человека,
 Что давно искал воды,
 И ручей увидел светлый,
 Подошел — и нет ручья.
 Так теперь я вижу сына,
 Те же, прежние, черты,
 Но душой как отчужден он,
 В лике, весь он, как взнесен!
 Сердце он явить не хочет,
 Чувства спрятал он свои,
 Он сидит как не сидит там,
 Пред иссохшим я руслом».

Отдаленно так сидели,
 Мысли бились в уме,
 Их глаза вполне встречались,
 В сердце ж радость не заглясь.
 Так смотрели друг на друга,
 Как мы смотрим на портрет,
 О далеком вспоминая,
 Чью лишь тень здесь видит взор.
 Мыслил царь: «О ты, который
 Должен был бы быть царем,
 Мог бы целым царством править,
 Молишь пищи тут и там!
 Что за радость в этой жизни?
 В ней какая ж красота?
 Тверд и прям, как Златогорье,
 Весь как солнечный восход,
 Царь быков, в походке твердой,
 И бестрепетный, как лев, —
 Но лишен почета мира,
 Просишь милостыню ты!»
 Дух отца открыт был Будде,

Там к решению он пришел.
 Он замыслил благородно
 Приготовить светлый дар,
 Приготовить дар молельный
 Для родителя-царя.
 А учитель и советник
 Должных выслали людей
 И направо, и налево,
 Чтобы Будду увидеть.
 Вскоре Будда был увиден,
 Точно высмотрен был путь,
 Тотчас вестники вернулись
 С этой вестью во дворец.
 «Бывший долго так в отлучке,
 Чтобы светоч обрести, —
 Получивши озаренье,
 К нам царевич держит путь».

Царь обрадован был вестью,
 И с блестящей свитой он,
 Окруженный всею знатью,
 Вышел сына повстречать.
 И, неспешно приближаясь,
 Будду издали узрел,
 Красота его сверкала,
 В ней удвоенный был блеск,
 В средоточии великой
 Кругом сомкнутой толпы
 Был он словно вышний Брама
 На превысшей высоте.
 Царь покинул колесницу
 И с достоинством пошел,
 Сердцем мысля и тревожась,
 Так ли делает он все.
 Красоту родного вида,
 В тайне сердца ликовал,
 Все же слов, достойных мига,
 Не нашли его уста.
 И о том он также думал:
 «Я в слепой еще толпе,
 Сын же мой великий Риши, —
 Как мне с ним заговорить?»
 Также думал он, как долго,
 Как давно уж он желал
 Этой встречи, что случилась
 Неожиданно теперь.

Он любил его как сын,
 И, чтоб дух его подвигнуть
 И жалея весь народ, —
 Он явил свою чудесность,
 В средний воздух был взнесен,
 И рукой Луны касался,
 И до Солнца дотягал.
 И ходил он по пространству,
 Изменял различно лик,
 Разделял на части тело,
 Вновь его соединял.
 Шел по водам, как по суше,
 Был в земле он как в воде,
 И сквозь каменные стены
 Без помехи проходил.
 Справа, слева, он из бока
 Огонь и воду изводил.
 Царь был в радости великой
 И не думал как отец.
 И, воссев на лотос пышный,
 Как на царственный престол,
 Для отца из высей светлых
 Будда выявил Закон:
 «Знаю царское я сердце,
 И любовь и память в нем,
 Но да будут узы сердца
 Вмиг разъяты у него.
 Пусть не думает — о сыне,
 Прибавляя к скорби скорбь.
 Но услышь, что сын твой молвит
 О молельности тебе.
 Я молитвенную пищу
 Моему принес отцу.
 Царь, прими: такого яства
 Сыну отцу не приносил.
 Пусть росистый укажу,
 Это нежная роса,
 Этот путь ведет к бессмертью,
 Чрез рожденья и дела.
 Дело к делу, сочтаясь,
 Вырастают в долгий путь.
 Как же тщательно должны мы
 Делать добрые дела!
 Как заботливо нам нужно
 Со звоном сплетать звено!»

В смерти дух один уходит,
 Лишь в делах найдет друзей!
 Ввихрен в омут этой жизни,
 В пять больших ее дорог,
 В колесе вращаясь мощном,³⁵
 Три разряда дел творишь —
 Три разряда дел приводят
 К трем рождениям в мирах:
 Зверь, иль призрак, или демон —
 Силой страсти рождены.
 Силой должного старанья
 Слово с телом укроти,
 День и ночь — не в смуте будут,
 А в молчании ума.
 Только в этом смысл конечный,
 Правды жизни — нет иной.
 Так! Три мира только пена,
 Накипь в море в час грозы.
 Хочешь ведать наслажденье?
 Приближать его к себе?
 Так к четвертому рожденью
 Приготовься делом ты.
 Человеком ты и Дзэвой
 Чрез рожденье воплощен,
 Все же пять путей великих —
 Как неверность звезд ночных.
 Если даже для небесных
 Путь назначен перемен,—
 Как же ведать человеку
 Постоянство на земле.
 Самосдержанность — есть радость
 Между радостей земных!
 Лишь Нирвана верный отдых,
 То — Безветрие души!
 Пять услад, что ищем в чувствах,—
 Путь опасностей и смут,
 Мы живем среди восторгов
 Как с отравною змеей.
 Мудрый видит мир горящим,
 Мир — и вокруг него пожар.
 Не узнает он покоя,
 Не изгнавши жизнесмерть.
 В месте том, где хочет мудрый
 Дом свой верный основать,
 Нет оружия, нет орудий,

И, снискав покой желанный,
 Ты покой несешь другим.
 Мощный силой сострадания,
 Избавляешь всех живых.
 Если б ты с людьми остался,
 Сохраня царский сан,—
 Как могла бы избавленье
 Получить моя душа?
 Был бы царь ты справедливый,
 Но Закон бы не явил.
 Узы смерти и рожденья
 Ты бы нам не разрешил.
 Но, избегнув жизнесмерти,
 Воплощенья победив,
 Всем живым ты путь означил,
 Нежной блещущий росой.
 И, явивши власть над чудом,
 Силу мудрости явив,
 Жизнесмерть сразив, вознесся
 Над Бogaми и людьми.
 Ты царем бы правосудным
 Был, свой царский сан храня,—
 Но тогда б такой вселенской
 Благодати не достиг».

Восхваления закончив,
 Он, в молитвенной любви,
 Царь, отец, пред светлым сыном
 Преклонился до земли.
 Весь народ, все люди царства,
 Светлый тот Закон поняв,
 Видя Будду-чудотворца
 И почитательность царя,—
 Проникаясь просветленьем
 И молебно руки сжав,
 Совершенного почтили,
 Преклоняясь до земли.
 Мысли сильные в них были,
 Жизнь мирская в них прешла,
 Все исполнились желаньем
 Бросить тесные дома.
 Много знатных, много видных,
 Бросив дом блестящий свой,
 К верной Общине пристали,
 Чтоб обнять Закон сполна.
 Ананда, Тимбила, Нанда,

Нет слонов и нет коней.
 Там не мчатся колесницы,
 Не идут ряды солдат.
 Победив свое желанье,
 Все ты в мире победил.
 Победивши мрак незнания,
 Целый мир ты озарил.
 Во вселенной, озаренной,
 Нужно ль что еще искать?
 Раз узнав источник скорби,
 Загоччи ее исток,
 И, идя дорогой верной,
 От рождений волен ты».

Чудотворность сына видя,
 Был обрадован отец,
 Но, услышав слово правды,
 Был он в радости двойной.
 Стал сосуд он совершенный,
 Чтоб принять в себя Закон,
 И, сложив свои ладони,
 Восхваленье произнес:
 «Сколь поистине волшебное!
 Свой обет ты завершил.
 Светлый замысел исполнен,
 Скорбь превзойдена тобой.
 Сколь поистине волшебное!
 Сердце плакало мое.
 Но теперь та боль исчезла,
 Лишь оставив светлый плод.
 Сколь поистине волшебное!
 Срезал ныне колос я,
 Что посеян был рукою,
 Волей сына моего.
 Было правым то решение —
 Сан царя с себя сложить,
 Было правым то стремленье —
 Покаяние принять,
 Было правым то желанье —
 Связь семейную порвать,
 Было правым то воленье —
 Отказаться от любви.
 Риши древние напрасно
 Похвалялись, не дойдя,
 Ты ж дошел до светлой грани,
 Все, что нужно, совершил.

Блеск наряда брошен прочь!
 Пять восторгов правят миром,
 Он отбросил пять услад,
 И любимую супругу,
 И дитя оставил он!
 Возлюбив уединенье,
 Он блуждает без друзей,
 И скорбит супруга горько,
 Долго длится ночь вдовы!
 Измененного увидев
 Как отшельника его,
 Плачет, любит, вспоминает,
 Плачет вместе с ней дитя!
 А когда он в мир родился,
 Были знаменья на нем,
 Должен был он приношенья
 С четырех принять морей!
 Он к чему ж пришел в скитаньях?
 Предвещаний всех слова
 Были ложны и напрасны.
 Или есть величье в том?»
 Так в запутанных реченьях
 Говорил один с другим,
 Но спокойно Совершенный
 Путь бесстрастный совершал.
 Ко всему с любовью равной,
 Одного душой хотел —
 Избавления всем людям
 От несущих скорбь страстей.
 Этот замысел лелея,
 В город нищим он вошел,
 Чтобы дать векам грядущим
 Отречения пример.
 Принял все он без различья,
 Дал богатый, дал бедняк —
 Чашу нищую наполнил
 И в пустынность отошел.

20. ОБИТЕЛЬ

Властитель мира, обративши
 Несчетный люд Капилавасту,
 С великою толпою верных,
 В Кошалу путь направил свой,—

Анурудха, все пришли,
 Чтобы стать учениками
 Будды, давшего Закон.
 За одним другой и третий,
 Обращенным нет числа,
 Приходил отец за сыном,
 Видя верные врата.
 И когда настало время
 Подаанья попросить,
 Будда входит в пышный город,
 И царевич узнан в нем.
 Песнь хвалы и песнь восторга
 С края к краю раздалась:
 «Он вернулся к нам, Сиддартха,
 Просветленный, он пришел!»
 Стар и мал столпились, смотрят,
 Окна, двери, всюду глаз,
 Он идет, сияя светом,
 Лучезарной красотой.
 Лик его, в одежде скромной,
 Словно Солнце в облаках,
 И внутри и вне он светит
 Как один священный блеск.
 Все смотрели и дивились,
 В сердце радость с сожаленьем,
 Что как жертва он идет.
 С этой бритой головою,
 Темный выбравши покров,
 Очи светлые потупя,
 Безыскусственно идя.
 «Посмотрите! Посмотрите!
 Здесь бы нужен балдахин!
 Он драконом мог бы править,
 А во прахе он идет!
 Держит чашу подааний,
 Мог бы меч держать в руке,
 Мог бы он врага любого
 Победить и покорить!
 Мог бы женское он сердце
 Красотою услаждать!
 Мог бы яркою короной
 Возноситься над толпой!
 Красота мужская скрыта,
 Сердце ведает узду,
 Не подступит вождельень,

Туда, где царь жил Прасэнáджит
 И где Обитель Джэгаváна
 Теперь совсем была готова,
 Хоромы убранны вполне.
 В садах ключи и водомеры,
 Цветут цветы, плоды сверкают,
 У влаги редкостные птицы,
 И пенье птиц среди ветвей.
 Во всем прекрасная Обитель,
 Как райские чертоги Сивы.
 И Друг Сирог идет навстречу,
 Толпою слуг он окружен.
 Цветы он щедро рассыпает,
 Душистые зажег куренья,
 И Совершенного он просит
 В Обитель светлую взойти.
 В его руках кувшин узорный,
 На нем дракон златой сияет,
 И воду он струею светлой,
 Колопоклоненный, льет.
 То добрый знак, что Братству верных,
 Во все четыре края мира,
 Обитель эта Джэгавана
 Для тихой жизни отдана.
 Владыка дар прекрасный принял,
 И пожелание гласило,
 Чтоб это царство укреплялось
 И побеждало силу тьмы.
 Царь Прасэнáджит, услышавши,
 Что Совершенный возвратился,
 Пришел в Обитель с светлой свитой,
 Дабы к ногам его припасть.
 Сев в стороне и сжав ладони,
 Он к Будде речь держал такую:
 «Мое ль неведомое царство
 Такую заслужило честь?
 Какие могут злополучья,
 Какие могут здесь несчастья
 Возникнуть, если здесь пребудет
 Такой великий человек?
 Твое лицо святое видя,
 Могу и я иметь, быть может,
 Свою, желанную мне, долю
 Во всесвежительном ручье.
 Пусть много разных разделений,

Пусть город разнствует по вере,
 Но как высокий, так и низкий
 В широкий могут ток войти.
 Так ветер, по цветущей роще
 Провеяв, запахи сливает,
 И лишь единым дуновеньем
 Он благогодатным веет нам.
 И так же птицы Златогорья
 Своим многообразными видом,
 И разные мерцают тени,
 Сливаясь в золото одно.
 Так могут быть в одном собраньи
 Способностей различных люди.
 И некий был пустынножитель,
 Который, Риши напитков,
 Звездой родился трилучистой.
 Все бегло в этом мире шатком,
 И человек — хоть царь — тревожен,
 Простой же — в святости — велик».
 Знал Будда все, что было в сердце
 У Прасэнáджита, и знал он,
 Что два препятствия мешают
 Ему всю правду воспринять —
 Чрезмерная до денег жажда
 И жажда внешних развлечений,
 И он, мгновенно согласен,
 Такую проповедь держал:
 «Я изъясню Закон мой вкратце,
 И царь моим словам да внимлет,
 И, взвесив их в своем мышлении,
 Да твердо держится он их.
 И тот, кто связан злостью Кармой,
 Способен радоваться Будде,
 Насколько ж радуется больше —
 Кто в прошлых жизнях заслужил
 Свои свершенья я окончил,
 Исчерпал жизнь: ни дух, ни тело
 Не могут властвовать мной больше,
 Свободен я от всех оков.
 Не для меня — друзья, родные,
 И вот я ныне возвещаю:
 Деянья добрые и злые
 За нами следуют как тень.
 Как, значит, взнесены деянья
 Царя, что следует Закону!

Он в настоящей жизни славен,
 Потом восходит в Небеса.
 Но небрежение Законом
 Приводит к горьким злополучьям.
 Так в оно время было в мире,
 Гласит преданье, два царя.
 Один из них звался Кришасва,
 Что значит — Тошя Коняга,
 Другой — Хира́накашипу,
 Ступень Златая³⁶. Двое их.
 Но первый был благим владыкой
 И был взнесен на выси Неба,
 Второй был злой, — и жил, и умер,
 И вновь родился — в нищете.
 Что нужно — любящее сердце,
 В нем есть великая потреба!
 Народ царя — как сын единый,
 Не угнетать его — любить.
 Отбросить лживые ученья,
 Идти во всем прямой дорогой
 И возноситься лишь собою,
 А не вставая на других.
 Быть другом тех, чья жизнь — страданье,
 Не истязать себя, а также
 Не возвышаться сердцем слишком
 И знать душой, что все преидет.
 До высшей точки размышленья
 Свой разум возносить глядящий,
 И внутрь себя глядеть упорно,
 Свет счастья находить в себе.
 Из света есть во тьму дорога,
 И есть из тьмы дорога к свету,
 Есть мрак, что следует за тенью,
 Есть свет, с собой несущий свет.
 Кто мудр, тот ищет больше света.
 Для злого слова — громкий отклик.
 И мало тех, кто хочет видеть.
 Но от свершений — не уйти.
 Что сделал, — сделал. Путь намечен.
 И след идет по всей дорожке.
 Так возлюби же все благое,
 Иного выхода здесь нет.
 Ты то пожнешь, что ты посеял.
 Как сделал — сделанным так будет.
 Мы замкнуты в горе скалистой,

Лишь благостью пробьешь тропу.
 Рожденье, старость и болезни
 Нас стерегут, не выпуская.
 И свет услад есть вспышка молний,
 Лишь миг — ты в черной темноте.
 Зачем же быть неправосудным?
 Цари здесь были — словно Боги,
 На Небо громоздились мыслью
 И в пыль затоптаны навек.
 Круговорот времен — пожаром
 Растопит скаты Златогорья,
 Растает вся гора Сумеру,
 Иссохнет Океан до дна.
 Так что же наш неверный облик,
 Тень человека, что бледнеет?
 Пузырь, на миг огнем горящий,
 Через мгновенье — нет его.
 Сосуд обмана наше тело,
 Неверный знак мечты бродячей.
 Через страданья долгой ночи
 Приходит к нам мгновенно Смерть.
 Кто мудр, тот эти перемены
 Спокойно видит зорким оком.
 Он не приляжет на дороге,
 Не будет спать в ее пыли.
 Не занят он самоусладой,
 Узор цепей не закрепляет,
 Он разрешает постепенно
 Многообразие сложных пут.
 Не ищет дружб, не льнет к занятям,
 И мудрость лишь одну блюдет он.
 Он убегает ощущений,
 Лишь ощущая мир — как тень.
 И, зная, как непрочно тело,
 Его он все ж не оскверняет.
 Хотя б родился в бестелесном,
 От перемен не убежать.
 И потому-то так желает
 Беспременного он тела:
 Где перемена не меняет,
 Невозмутимый там покой.
 Пока на зыбях перемены
 Свою отдельность воплощаешь,
 Растет измена — корень скорби,
 Погаснет «Я» — и мир тебе.

Распространял кругом сиянье,
 Как ослепительное Солнце
 Своим присутствием слепил.
 Все леучители смутились,
 Народ же был исполнен веры.
 Потом он матери покойной
 Закон поведать восхотел.
 Он точас же взошел на Небо,
 Где тридцать три сияют Бога,
 И в обиталищах небесных
 Три месяца он пребывал
 Светло обращены им были
 Все Дэвы, жившие в том Небе.
 Свершивши это назначенье,
 Вернулся с Неба он к Земле.
 По лестнице семи сокровищ,
 По семицветной шел он книзу,
 Его сопровождали Духи,
 И снова был он на Земле.
 Спускаясь, он ступил на место,
 Куда идут в возврате Будды,
 Земные на него смотрели,
 В смиреннии ладони сжав.

21. ПЬЯНЫЙ СЛОН ³⁷

Мать на Небе обративши
 И толпы небесных Духов,
 К людям он опять вернулся
 Обращать еще других.
 Джива, Сула, Чурна, Анга,
 Ниагродха и другие.
 Шрикунтака и Упали
 Сердцем слышали его.
 Царь Гандхара ³⁸ внял Закону,
 Стал отшельником смиренным,
 Также демон Гимapati,
 Ватаджири также, бес.
 Брамачарин Прайянтика,
 На горе Ваджане живший,
 Вникнув в тонкое значенье
 Полустипшья, верным стал.
 Светлый вождь рожденных дважды,
 Сильный Браман Кутаданга,

Кто мудр — уходит от страданья.
 Коль дерево огнем объято,
 Как могут птицы собираться
 Среди обугленных ветвей?
 Кто мудр — лелеет это знание,
 В нем свет начальный озаренья:
 Жить без него, его теряя,
 Ошибка целой жизни в том,
 Здесь — средоточье всех учений,
 Без средоточья — нет покоя.
 Кто обожжен горячей болью,
 В прохладный лусть войдет поток.
 Равно во мраке свет лампы
 Предметам разноцветным светит:
 Так мудрость светит приходящим,
 Кто б ни желал ее принять.
 Порою отшельник погибает,
 Порою мирянин спасется,
 Захвачен омут маловерья,
 Исходишь с верой из пучин.
 Прилив хотенья прочь уносит,
 Кто в вожделены — вне спасенья,
 Свет мудрости — челнок послушный,
 И размышление есть руль.
 Моельность мысли завершенной —
 Призывный рокот барабана.
 Плотину мысли строй упорно,
 Бессилен будет всякий вал».
 Закончил проповедь Всеумудрый,
 И царь, душой ему внимая,
 Воспринял охлаждение к миру,
 К мерцанью призрачных услад.
 Так возвращаются к рассудку,
 Когда окончена пирушка,
 И так дорогу уступают,
 Коль мчится сумасшедший слон.
 Все леучители, увидя,
 Что тронут царь словами Будды,
 В один его просили голос:
 «Пусть Будда явит чудеса».
 И царь просил Владыку мира:
 «Моло, исполни их желанье!»
 И Будда молча согласился
 И чудотворность показал.
 Он восходил в высокий воздух,

Жил в селении Динамати,
 Жертвам не было числа.
 Совершенный верным средством
 Обратил его к Закону,
 Он с обрадованным сердцем
 Шел по верному пути.
 На горе высокой Веди
 Обращен был Панчасикха,
 И в селении Ваннушта
 Мать он Нанды обратил.
 В пышном граде Аньчавари
 Мощным духом овладел он.
 Бханабхадра, Шронаданга
 Светом правды просветлел.
 Мощный Нага, с злым волеьем,
 Царь страны, Закон воспринял,
 Перед ним врата раскрылись,
 Путь, обрызганный росой.
 И в селе Ангудимале³⁹,
 Силу дивную явивши,
 Совершил он обращение,
 К свету многих устремил.
 Пуридживана богатый,
 Услыхавши слово Будды,
 Воспринял Закон немедля
 И безмерно щедрым стал.
 И в селении Падатти
 Обращен был им Патали,
 И с Патали был Патала,
 Двое братьев, каждый — бес.
 Два Брамина в Бхидхавали —
 Мощный Век и Возраст Брамы, —
 С ним вступивши в спор глубокий,
 Сердцем приняли Закон.
 Как пришел он в Ваисали,
 Обратил бесов он Ракша,
 Обращен был с ними также
 Тот, чье имя было Лев.
 До горы пришел он Алы,
 Бес там Алава гнезвился,
 И другой там был — Кумара,
 Асидака третий был.
 Обратил бесов он этих.
 К Гаясирте путь направил,
 Обращен был бес Каньджана,

И пришел он в Бенарес.
 Обратил купцов богатых,
 И сандаловый он терем
 Принял в дар от обращенных,
 Благовонный до сих пор.
 И пришел он в Магивати,
 Обратил моленных Риши.
 И ступил ногой на камень,
 До сих пор там виден след.
 Колесо на нем двойное,
 В колесе сияют спицы,
 Десять сотен спиц блистает,
 Светлый след неистребим.
 Так в конце, порядком должным,
 Все, что в воздухе проходят,
 Все, что воду возлюбили,
 Были им обращены.
 Так с высот сияет Солнце,
 Свет доходит в темный погреб,
 Жар лучей пронзает холод,
 Темный погреб озарен.
 В это время Дэвадатта,
 Совершенства Будды видя,
 В сердце завистью ужален,
 Власть мышленья потерял.
 Измышлял дела он злые,
 Чтоб Закон остановился.
 Он взошел на Гридракуту,
 Камень тяжкий покати.
 Был на Будду он нацелен,
 Но, с горы скатившись, камень
 Разделился на две части
 И прошел по сторонам.
 Неупех увидя в этом,
 Он из царских загородок
 Отпустил, на путь прохожий,
 Дико-пьяного слона.
 Вознося могучий хобот
 И стремя раскаты грома,
 Этим хоботом грубил он
 И дыханьем заражал.
 Сумасшедшее дыханье
 Поднималось чадной тучей,
 Дикий бег его был ветер,
 Сумасбродная гроза.

Он счастливым не родится,
 Он обманется хотеньем,
 Тем, что Будда победил!
 Ты, валяющийся в страсти,
 Словно в темной грязной луже,
 Откажись от пут неверных,
 В этот самый день восстань!»
 Слово, услыша слово Будды,
 Вмиг возрадовался в сердце,
 Пьяный ум стал трезво-ясным,
 Пил небесную росу.
 И народ кругом, увидя,
 Что безумный слон стал мудрым,
 Поднял радостные клики,
 Это чудо вознося.
 Кто едва был добр, стал добрым,
 Кто был добрым, стал добрее,
 Кто не верил, стал тот верить,
 Верный — в вере твердым стал.
 Мощный царь Аджагасатру,
 Увидавши это чудо,
 Был глубоким мыслям предан
 И моленным стал вдвойне.
 Стройность в мыслях воцарилась,
 Семена взросли благие,
 Словно в день, когда впервые
 Люди в мире стали жить.
 Лишь свирепый Дэвадатта,
 Что чудесно был летучим,
 Низко пал, и пребывает
 В глубочайшем он Аду.

Если кто касался только
 Ног, хвоста, клыков грозящих
 Или хобота слоновья,
 Он мгновенно умирал.
 Так бежал тот слон свирепый
 По дорогам Раджагриги,
 Иступленно убивая
 Попадавшихся людей.
 Их тела лежат повсюду,
 Мозг разбрызган, кровь алеет,
 Это видно издалека,
 Все сидят в своих домах.
 В Раджагриге страх и ужас,
 Слышны крики, слышны вопли,
 Кто — за городом, стремится
 В яме жизнь свою спасти.
 Совершенный в это время
 Путь держал свой в Раджагригу,
 С высоты ворот просили
 Будду в город не вступать.
 С ним пять сотен было Бхикшу,
 Все они сокрылись в страхе,
 Только Ананда остался,
 Верность Будде сохранил.
 Но, одной лишь мыслью полон —
 Укротить любовью ярость,
 Шел спокойно Совершенный
 К сумасшедшему слону.
 Пьяный слон увидел Будду,
 Диким оком быстро глянул
 И, придя, пред ним склонился, —
 Пала тяжкая гора.
 Логос-руку протянувши,
 Приласкал его Владыка,
 Как светло ласкает тучу
 Устремленный луч Луны.
 И пока, к земле припавши,
 Слон лежал у ног Владыки,
 Мерным голосом Владыка
 Молвил светлые слова:
 «Если я дракон могучий,
 Как же слон сможет ранить
 Быстролетного дракона,
 Совершенного в бою!
 Если слон того захочет,

Все слова забыты правды,
 Пустошь — Небо и Земля!
 О, спаси меня, Владыка,
 Скоро так не уходи!
 Сжался, сжался! Был во тьме я,
 Был озябшим, шел к огню,
 Вот уж, вот уж приближался,—
 Вмиг исчез он и погас.
 Я бродил в пустыне дикой,
 В страхе путь свой потерял,
 Вдруг встает руководитель,—
 Чуть увидел, нет его.
 Чрез иссохшую трясину
 В жгучей жажде проходил,
 Вот мне озеро сверкнуло,
 Я спешу,— иссохло все.
 И росток сквозь землю бьется,
 Хочет выйти, дождь впивать,
 Встала туча, встал и ветер,—
 Нет дождя, иссох росток.
 Те фиалковые очи⁴¹,
 Что пронзали все миры,
 Озарили мрак глубокий,—
 Миг, и вновь сомкнулся мрак.
 Светоч мудрости зажег нам
 Совершенный для пути,
 И лампада воссияла,—
 Миг, и яркий свет погас.
 Будда, Ананду услыша,
 На слова его скорбел,
 Кротким голосом он начал
 Побеждать его печаль:
 «Если б только люди знали
 Точно, в чем природа их,
 Скорбь свою бы не ласкали,—
 Все, что живо, знает смерть.
 Есть во мне освобожденье,
 Всем вам путь я указал,
 Кто замыслит, тот достигнет,—
 Что ж мне тело сохранять?
 Дан Закон вам превосходный,
 Длиться будет он века.
 Я решился. Взор мой смотрит.
 В этом все заключено.
 В бурном токе этой жизни

24. КАНУН

Чтимый Ананда, увидя
 Сотрясение Земли,
 Был ужаснут,— сердце в страхе,
 Дыбом волосы его.
 Он спросил: «Откуда это?»
 Будда дал ему ответ:
 «Я предел означил жизни,
 Месяц трижды истечет,
 Остальное отвергаю;
 Оттого дрожит Земля».
 Слыша это слово Будды,
 Горько Ананда рыдал.
 Так сандаловое древо
 Сокрушает тяжкий слон;
 Так текут по капле смолы,
 Соскользя по стволу.
 И, подумавши о том, что
 Мир теряет Светоч свой,
 Восскорбев глубоко, дал он
 Волю сердцу своему.
 «Слышу я, что мой Владыка
 Хочет прочь от нас уйти!
 Тело слабо, разум слепнет,
 В смутном споре вся душа.

Средоточие избрав,
 Соблюдайте твердость мысли,
 Вознесите остров свой.
 Кости, кожа, кровь и жилы,
 Не считайте это — «Я»,
 В этом беглость ощущений,
 Пузыри в кипеньи вод.
 И, познавши, что в рожденьи
 Только скорбь, как смерть есть скорбь,
 Прилепитесь лишь к Нирване,
 К Безмятежию души.
 Это тело, тело Будды,
 Также знает свой предел,
 Есть один закон всеместный,
 Исключенья — никому».
 Слыша весть, что Совершенный
 В скором времени умрет,
 Был смущен народ Лихави,
 Собрались в тревоге Львы.
 И, обычаю согласно,
 Почитание явив,
 В стороне они стояли,
 Мыслям слов не находя.
 Зная, что у них на сердце,
 Мыслям слов не находя.
 Будда слово к ним сказал:
 «Видно мне, что в ваших мыслях
 Не мирское в этот час.
 Вас смущает то, что ныне
 Я решил окончить жизнь
 И повторностям рождений
 Положил навек конец.
 Все, что в мире существует,
 Вьется в вихре перемен,
 И печать непостоянства
 Есть печать всего, что здесь.
 Жили в оно время Риши,
 Были светлые Цари,
 Все прошли, от них осталась
 Память бледная одна.
 С мест своих нисходят горы,
 Отойдут богатыри,
 И Луна погаснет с Солнцем,
 Сами Боги отойдут.
 Будды все, веков минувших,
 Что несчетны, как песок,

Воссияли миру светом,
 И сгорели как свеча.
 Будды все веков грядущих
 Так же точно отойдут.
 Как же быть мне исключеньем?
 Я в Нирвану ухожу.
 Но они ушли из мира,
 Начертив для мира путь,—
 Совершайте же благое
 В светлый свой черед и вы.
 В этих безднах Троемирья
 Трудно помощь отыскать,—
 Восставляйте же плотину
 Перед натиском скорбей.
 Путь извилин покидая,
 Вверх идите прямым,
 Как свершает круг свой Солнце,
 До закатных гор идя».
 С сокрушенными сердцами
 Львы пошли к своим домам
 И, вздыхая, говорили:
 «Этой скорби меры нет!
 Золотой горе подобно
 Тело светлое его,
 И, однако, чрез мгновенье
 Рухнет царственный утес.
 Силы смерти и рожденья
 Были слабы краткий миг,
 Но уходит Совершенный,
 Где ж опору нам найти?
 Мир во тьме глухой был долго,
 За бродячим шел огнем,
 Солнце мудрости возникло
 И уходит,— где наш свет?
 Зыбь неведенья вскипела,
 Хлещут темные валы,
 Мир всецело заливают,—
 Где же мост и где паром?
 Врачеватель возлюбивший,
 Тот, чье снадобье есть мысль,
 Исцелитель беспримерный,—
 Почему уходит он?
 Знамя мудрости высокой,
 Знамя светлое любви,
 С сердцем, вышитым алмазом,

Лишился мир звезды руководящей,
 Болезнь, и смерть, и старость всевольны,
 Они идут пожаром всеохватным,—
 Каким дождем зальем мы тот огонь?
 Возлюбим же единственную мудрость,
 Воспомним, что во всем непостоянство:
 Кто это помнит, он, хотя б в дремоте,
 Один в ночи есть бодрствующий здесь».
 Так эти Львы, лелея мудрость Будды,
 Свои сердца к Высокому направя,
 Вдыхали о рождении и смерти,
 Грустя в сердцах о Человеке-Льве.
 И ныне тот Всеведущий, Всемудрый,
 Назад всем львиным телом обернулся,
 И раз еще взглянул на Ваисали,
 И вымолвил прощальный этот стих:
 «В последний раз, в последний раз я ныне
 Навеки ухожу от Ваисали,
 Из края, где рождаются герои,
 Теперь я ухожу, чтоб умереть».
 С неспешностью идя от места к месту,
 До Бхога-Нагары дошел в пути он,
 И отдохнул он там в тенистой роще,
 Где слово верным он своим сказал:
 «Теперь, свершив свой путь, войду в Нирвану,
 А вы Закон великий соблюдайте,
 Он ваша высочайшая твердыня,
 Когда вы в нем, вы им защищены.
 Того держитесь, что вам говорил я,
 Что с этим несогласно, отвергайте
 И не держитесь буквы, а глядите,
 Что золото и что лишь примесь есть.
 Исследовать, в чем истинность основы,
 С такой же осмотрительностью должно,
 Как драгоценник выбирает камни,
 И золото, чтоб перстень был хорош.
 Не зная, что в истом сказано Писаньи,
 То значит — жить и медлить в скудоумьи,
 Недостойно говорить о мудром
 Есть то, на что не нужно и смотреть.
 Кто меч берет неловкою рукою,
 Тот только ранит собственную руку,
 И кто в ночи дорогу ищет к дому,
 Тот должен в темноте остричь свой взор.
 Утратишь смысл — Закон в несоблюденьи,

Ненаглядным для очей,
 Стяг небесный, знак прекрасный,—
 Для чего ж склоняться ниц?
 Для чего ж в одно мгновенье
 Оборваться с высоты?»
 Сильный нежно любовью,
 Совершенный был пронзен,
 И пошел, скрепивши сердце,
 Как закаливают сталь.
 Столько было в нем терпенья,
 Было столько в нем любви,
 Как в цветке, что наклонился,
 Замышляя отвести.
 Так уходят от могилы,
 Где любимый схоронен,
 И последнее прощанье
 Отражается в глазах.

25. ПРОЩАНИЕ

Он уходил, идя к своей Нирване,
 А Ваисали было словно место,
 Что брошено. Так облачною ночью
 На Небесах нет звезд, и нет Луны.
 Тот мирный край объят теперь был скорбью:
 Так плачет дочь, когда отец отходит,
 Изящество ее тогда тускнеет,
 И слово замирает на устах.
 Когда он жил, тот любящий и мудрый,
 Она умом сияла, острою,
 Духовные теперь погасли силы,
 И сердце — чуть взнесется — упадет.
 Теперь так точно было с Ваисали,
 Погас весь блеск, что раньше был наружу:
 Так без воды трава, желтея, сохнет
 И так дымит затоптанный огонь.
 И говорил один из Львов, их главный:
 «Отходит ныне Царь людей в Нирвану,
 В великое безветренное место,—
 А мы опоры нашей лишены.
 Мы потеряли ныне твердость воли,
 Мы как огонь, лишившийся топлива,
 Как жаждающий, что влаги не находит,
 Как зябнувший, лишившийся огня.

Не соблюдаешь Закон — и разум спутан,
 Итак, кто мудр, тот в слово смотрит зорко,
 Всегда ища — смысл истинный найти».
 Сказавши так, пошел он в город Пáву,
 Там жил народ, носивший имя Сильных.
 Был некто там, чье имя было Чунда,
 Он Будду тотчас пригласил в свой дом.
 В последний раз там Будда принял пищу.
 Тем, кто там был, сказав слова Закона,
 Он отбыл в некий град Кушинагару
 И там в тенистой роще отдохнул.
 В златой реке он искупал там тело,
 Что как утес сияло золотистый,
 И Ананде так повелел он, выйдя:
 «Вот здесь, меж этих двух плакучих ив,
 Очисти место, постели циновку,
 Час полночи придет, уйду в Нирвану».
 У Ананды дыхание пресекалось,
 Но он веленье выполнил, в слезах.
 Циновку разостлал, и Совершенный,
 На правый бок, лег головой на Север
 И спал, как Львиный царь, скрестивши ноги,
 Как на подушке, на своей руке.
 Вся скорбь прешла. Изношенное тело
 Последний сон в тени дерев прияло.
 А верные, собравшись в круг, вздохнули:
 «Погасло око Мира, умер Свет!»
 Ручьи притихли, ветер притаился,
 Умолкли птицы, замолчали звери,
 И крупные с дерев сочились капли,
 До срока листья падали с ветвей.
 Цветы, склонив головки, увядали,
 Меж тем как Небожители и люди,
 Еще желаний полные, дрожали,
 И ими овладел захватный страх.
 Так путники в пустыне путь опасный
 Свершают и глядят, кругом — бесплодно,
 И далеко родимое селенье,
 И страшно им: «Что, если не дойдут?»
 От сна тут Совершенный пробудился
 И Ананде сказал: «Иди и молви
 Народу Сильных, что моя Нирвана
 Близка, пускай придут в последний раз».
 И Ананда пошел, скорбя и плача.
 Весть передал: «Владыка близок к смерти».

И Сильные, слова его услыша,
 Великий ощутили в сердце страх.
 Толпы мужчин и женщин поспешили
 В ту рощу, где был Будда меж деревьев,
 Пришли они в растерзанных одеждах,
 В пыли и в прахе, в скорби и в слезах.
 С рыданием к ногам припали Будды.
 Но Совершенный им сказал спокойно
 «Не сетуйте. Час радости есть ныне,
 Не призывайте скорбь сюда и страх.
 К чему стремился я в веках минувших,
 Я это получу через мгновенье,
 Освобожден от пут, теснящих чувства,
 Иду туда, где миру нет конца.
 Вещественность я эту оставляю,
 Огонь и Воздух, круг Земли и Воду,
 Туда, где смерти нет и нет рожденья,
 Я в достоверный ухожу покой.
 Навек освобожденный от печали, —
 Скажите мне, — зачем скорбеть я стал бы?
 Близ Гайи, на горе высокой Сирше,
 От тела я избавиться хотел.
 Когда-то. Но дабы свершить удел мой,
 Дольше пребывал с людьми я в мире,
 И сохранил болезненное тело,
 И жил, как с ядовитой жил змеей.
 Но ныне я пришел к успокоенью,
 Замкнулись ныне все истоки скорби,
 Уж никогда не получу я тела,
 Не надлежит скорбеть вам обо мне».
 Но Сильные, услыша слово Будды,
 Что он идет к великому покою,
 Смуглились так, что их глаза затмились,
 Ослепший взор лишь видел черноту.
 И, сжав ладони, так сказали Будде
 «Боль смерти и рожденья оставляя,
 Уходит Будда к вечному покою,
 И этому мы радуемся с ним.
 Пусть дом сгорел, — нам радоваться должно,
 Когда друзья в пожаре не погибли,
 И, может быть, ликуют сами Боги,
 И вдвое люди ликовать должны.
 Но если Совершенный удалился,
 И больше зрим — тем, кто живет, — не будет,
 И будет скрыт от нас источник светлый,

Как можем мы об этом не скорбеть?
 Среди Пустынь проходят караваны,
 И осторожен каждый шаг идущих,
 Вожак один у них для всей толпы их, —
 И вдруг он умер, как же не скорбеть?
 Узнали правду люди дней текущих,
 Всеведущего видели живого,
 Но не достигли до победы полной, —
 И мир своей насмешкой встретит их!
 Смеются так над тем, кто через горы
 Идет, где много скрытых есть сокровищ,
 Но он об этом золоте не знает
 И обнимает нищий свой удел».

Так Сильные пред Буддою искали
 Своим слезам и скорби оправданье;
 Так пред отцом порою ребенок плачет.
 И Будда кротко к ним заговорил:
 «Ища пути, старайтесь неустанно,
 Меня увидеть — это не довольно,
 Я указал дорогу вам — идите,
 Освободитесь от силков скорбей.
 Раз выбрав цель, не отступайтесь цели,
 Достигнете ее не тем, что буду
 Я виден вам, — кто хочет быть здоровым,
 Тот может быть здоровым без врача.
 Кто не свершает то, что повелел я,
 Меня напрасно будет этот видеть:
 Кто от меня вдали Закон свершает,
 Тот постоянно около меня.
 Заботливо в свое глядите сердце,
 Да не находит места в нем оплошность,
 Жизнь человека — что свеча под ветром,
 Следи — и ночь тебя не обоймет».

Ту проповедь любовную услыша,
 Сдержав рыданье, Сильные притихли
 И, твердость обрета в самосознании,
 Спокойные, пошли в свои дома.

26. НИРВАНА

Был Брамачарин там некий,
 Чистою жизнью известный,
 Все он живое лелеял,
 Звался Субхадрою он.

Меж лжеучителей был он
 Смолоду очень отмечен,
 Ныне ж, к Владыке стремясь,
 Ананде так говорил:
 «Мудрость, что дал Совершенный,
 Слышу я, трудно измерить.
 Самый искусный, меж всеми,
 Он укротитель коней.
 Слышу я также, что ныне
 Он достигает Нирваны,
 Трудно его будет видеть,
 Трудно увидеть и тех,
 Кто его с трудностью видел, —
 В зеркале Месяц не схватишь,
 В озере мы не ухватим
 И отраженья Луны.
 И потому я желаю,
 Полный почтительным чувством,
 От жизнесмерти спаясь,
 Светлого видеть Вождя.
 Солнце Высокого гаснет,
 Дай мне, на миг, его видеть!»
 Ананда очень смущен был,
 Как поступить, он не знал.
 Думал он так о Субхадре:
 «Верно, замыслил он спорить,
 Может быть, в сердце ликует,
 Будды предчувствуя смерть».

Встрече хотел помешать он,
 Будда же, в сердце читая,
 Молвил: «Я людям — спасенье,
 Пусть лжеучитель придет».

Это услыша, Субхадра,
 Радостью светлой исполнен,
 В сердце вдвойне озарился,
 Мудрость готов был принять.
 Был он сосудом, готовым
 Для восприятия Закона,
 Будда смягчил его жажду,
 Восемь путей указав.
 Освобожденные увидя,
 Пути свои порывая,
 Он заблужденья отбросил,
 Берег другой увидал.
 Сердце его расширилось,

Кончилась эта беседа,
 Молча на спящего Будду
 Долго он, долго смотрел.
 Думал: «Чрез малость мгновений
 Будда окончит предел свой,
 Мир этот первый оставлю,
 Мир этот вовсе погас».

Сжавши ладони, отшел он
 От совершенного лика,
 Сел в стороне, самосдержан,
 Лет истеченье отверг.

И достигнул он Нирваны
 Светлым путем отречения,—
 Малый костер так погашен
 Брызгами ливня с Небес.

Будда сказал своим верным:
 «Вот ученик мой последний,
 Он уж в Нирване! Любите
 Память о нем навсегда».

Первая кончилась смена
 Ночи, одетой звездами,
 Все они ясно сияли,
 Ярко горела Луна.

Не было в роще ни звука,
 И, проникаясь великим
 К ученикам состраданьем,
 Будда им всем завещал:

«Вот, достигну я Нирваны,
 Читите ее,— и за мною,
 Вы достигайте Нирваны,
 Это светильник в Ночи.

Камень ее самоцветный —
 Клад человеку, что беден.
 Что повелел вам, блюдите,
 Путь ваш — дорога моя.

Не избирайте другого.
 Тело, и мысли, и слово
 Вы в чистоте соблюдайте,
 Жизнь вашу чистой храня.

От накопленья богатства
 В днях вы своих воздержитесь,
 Не наполняйте амбары,
 Не умножайте стада.

Чара домов и поместий
 Да не пленяет вас в мире:

Это колодезь горячий,
 Нужно бежать от него.
 Не вовлекайтесь в гаданье,
 Звездочитанье уделов,
 Предвосхищение судеб,
 Это — запретное есть.

Лжи и притворства бегите,
 Следуйте правой дорогой.
 Будьте благими к живому,
 Это — мой краткий завет.

Это — основа Ученья,
 Путь к просветленной свободе,
 Это охватная мудрость,
 Путь, чтоб достигнуть конца.

Это блюдя, укротите
 Токи животного чувства,
 Ибо так правит стадами,
 Знающий путь свой, пастух.

Если же чувства не удержишь,
 Это есть конь разъяренный,
 Все он пространство измерит,
 Нагромождая беду.

Мудрый обходит враги,
 И уклоняется тигра,
 И не играет с змеєю,
 И не вбегает в пожар.

И за глоток наслажденья —
 Пропасти он не желает,
 Легкого сердца боится,
 Этого лишь одного.

Видели вы обезьяну,
 Как она в лес убегает?
 Вот — это легкое сердце,
 Мудрый удержит его.

Если же сердце отпустишь,
 Не достигнешь до Нирваны.
 Знайте же точную меру,
 В тихое место уйдя.

Будьте умеренны в пище:
 Если сломалась повозка,
 Быстро колеса поправьте,
 Без промедления — в путь.

Видели вы, над цветами
 Как мотылек пролетает?
 Чуть лишь коснется — и будет,

Не нарушает цветка.
 Пищи прося, принимайте
 Все, что дадут, благодарно,
 Не истощайте щедроты,
 Да не исчезнут совсем.
 Утром, и в полдень, и ночью
 Дело благо свершайте,
 Пусть в измененных сутках
 Сердце пребудет одним.
 В первую смену ночную
 Не отдавайтесь дремоте,
 После усните спокойно,
 К утру проснитесь светло.
 Кто отдается дремоте,
 Сонные ужасы кормит,
 Смерть стережет постоянно,
 Схватит — добыча в плену.
 Чарой змеиной можно
 Выманить из дому змея.
 Рано проснешься — из сердца
 Черная жаба уйдет.
 Если кто тело чужое
 Острым мечом рассекает,—
 Гневная мысль да не встанет,
 Злое не молвят уста.
 Гневное слово и мысли
 Ранят лишь вас, не другого,
 Молча претерпишь мученье,
 Это — победа побед.
 Гнев красоту разрушает,
 Уничтожает заслуги,
 Если ж разгневался мудрый,
 Это — огонь есть во льду.
 Ленисти темной бегите.
 Есть ли для ленисти место,
 Если к живущим погибель
 Всюду угрозно идет!
 Льстивая речь и обманы,
 Это — как бы волхованья,
 Тот, в ком молитвенно сердце,
 Любит прямые пути.
 Тихим довольствуйтесь малым,
 В малом — сокровытьность богатства
 Если кто малым доволен,
 Радость небесная с ним.

Связу семьи не скрепляйте:
 Если на ветке чрезмерность
 Птиц, прилетевших и севших,
 Ветка склоняется ниц.
 Раз многочисленны узы,
 Будешь запутан ты в сети:
 Старый так слон погрязает
 В топи болотной, лесу.
 Ночью ли, днем ли, старайтесь,
 Это великое дело:
 Малые горные речки
 Могут громаду изрыть.
 Друг благодетельный — благо,
 Все ж он не может сравниться
 С правою мыслью, что крепко
 В собственном удержишь уме.
 Правильный помысл есть панцирь,
 В правильной вере — оружие:
 Если подступится злое,
 Нет ему доступа тут.
 В Море рожденья и смерти,
 Мудрость — челнок есть проворный,
 Мудрость — живая лампада,
 Светоч над глыбами тьмы.
 Мудрость — целебное средство,
 Острый топор для деревьев
 Тех, что колючую сетью
 Путь заграждают тебе.
 Вносятся зыби незнанья,
 Мечутся волны хотенья,
 Выше их — мост лучезарный,
 Мудрость, дорога умов.
 Дело любви завершил я,
 Светлую цель не теряйте.
 Если же что вам неясно,
 Вы попросите меня».
 Все сохраняли молчанье,
 И Анурудда промолвил:
 «Может Луна раскалиться,
 Солнце прохладу узнать,
 Ветер проворный стать тихим,
 Твердость Земли стать подвижной,—
 Но не возникнет сомненье
 В этих сердцах никогда.
 Все ж мы скорбим, оттого что

Вот, умирает Учитель,
 И вознести наши мысли
 Нам невозможно сейчас.
 Мы только любим, печалься,
 Знаем, как сильно мы любим,
 И вопрошаем: «Зачем же
 Будда так скоро уйдет?»
 На говорившего глянув,
 Будда увидел всю горечь,
 Снова он с любящим сердцем
 Так, утешая, сказал:
 «Было в начале все твердым,
 Но, пошатнувшись, расселось,
 И сочтанья возникли,
 Непостоянства, борьба.
 Но согласованность встанет,
 В замыслах разных взаимность,—
 Где ж тогда Хаосу делать,
 Где тогда творчеству быть!
 Боги и люди, которым
 Надо спастись,— все спасутся!
 Верные, помните слово:
 Будет всеобщий конец.
 Час разрушенья Вселенной!
 Так не скорбите же тщетно,
 К дому стремитесь такому,
 Где разлучения нет.
 Мудрости светоч зажег я,
 Этими только лучами
 Можно развеять весь сумрак,
 Саван, окутавший мир.
 Мир укреплен не навеки.
 Радуйтесь, ежели друг ваш,
 Бывший в смертельной болезни,
 Боли навек избежал.
 Тело больное я бросил,
 Ток жизнесмерти я запер,
 Волен теперь я навеки,
 Радуйтесь вместе со мной!
 И соблюдайте сознание.
 Что существует — исчезнет.
 Вот я теперь умираю.
 Это последний завет!»
 Первой достигши дхианы,
 В радость восторга вступил он,

И через девять, в порядке,
 Он постепенно прошёл.
 После назад воротился,
 В первую снова вступил он,
 И, вознесенный, в четвертой
 Он задержался на миг.
 Тут досягнул он Нирваны.
 Умер. Земля содрогнулась,
 В воздухе всюду' струился
 Пламенный дождь из огня.
 И от земли, восьмикратный,
 Пламень подъялся повсюду,
 Пламени эти взметались,
 Вплоть до Небесных Жилищ.
 Гром прокатился по Небу,
 Гром по горам и долинам,
 Словно Асуры и Дэвы
 Бурный затеяли бой.
 От четырех отдалений
 Мощной Земли поднимаюсь,
 Бурные ветры столкнулись,
 Пепел с холмов упал.
 Солнце и Месяц померкли,
 Речки надулись в потоки,
 Чащи лесные дрожали,
 Словно осинный лист.
 Листья, сорвавшись до срока,
 Мчались дождем над землею,
 Слезы струили драконы
 На смоляных облаках,
 Чистые Дэвы, спустившись,
 Медлили в воздухе среднем,
 Скорби и радости чужды,
 Тихо о смерти грустя.
 Духи же Неба другие,
 Сердцем поникнув, скорбели
 И, принося приношенья,
 Сверху роняли цветы.
 Радостен был только Мара,
 Он ликовал в отдаленьи,
 Музыки громкие звуки
 Оповещали о том.
 Остров Вселенной, лишенный
 Самой блистательной славы,
 Был как гора без вершины,

Был словно слон без клыков,
 Бык был — рога потерявший,
 Темное Небо — без Солнца,
 Лилия, смятая бурей. —
 Умер Учитель. Ушел.

28. БЛАГО МИРА

Так останки почитая,
 Каждый день Богатыри
 Приносили приношенья,
 Благовонья и цветы.
 Семь царей, из стран различных,
 Весть кончины услышав,
 Через послов, просили Сильных
 Те останки разделить.
 Но Могучие сказали,
 Духом бранным возгорясь:
 «Мы скорей простимся с жизнью,
 Чем останки Будды дать».
 Так послы ни с чем вернулись,
 И во гневе семь царей
 Тучу войска стромоздили
 И направились в поход.
 Город Сильных окружили
 Колесницы и слоны,
 Все окрест — сады, деревни,
 Водоемы и поля —
 Было вытоптано войском,
 Что пришло, как саранча,
 Ничего не оставляя,
 Там, где, темное, прошло.
 С городских высоких башен
 Вниз смотря, Богатыри
 Увидали разрушенья
 И готовить стали бой.
 Вот наладили орудья,
 Чтобы камни вдале метать,
 Чтобы факелов летучих
 Во врагов стремить огни.
 Семь царей, в своих окопах,
 Окружили город тот.

В каждом войске дышит храбрость,
 Барабан гремит, как гром.
 И уж Сильные готовы
 Бой убийственный начать,
 В это время некий Браман,
 Дрона, так царям сказал:
 «Посмотрите, стены крепки,
 Защитит их — и один.
 Если ж многие столпились,
 Как их можно покорить?»
 Стук мечей — кровавый подвиг,
 Многим гибель тут грозит,
 И каков исход ни будет,
 Смерть промчится с двух сторон.
 Победить сильнейший может,
 Может слабый победить.
 Презирай змею, но тело,
 Раз в нем яд, спасешь ли как?
 Место кроткого как будто
 Между женщин и детей,
 Но в ряды его зачисли,
 Будет доблестный боец.
 И врага сомнувши силой,
 Увеличишь в нем вражду:
 Покоришь его любовью —
 Жатва скорби не взойдет.
 Этот спор — лишь жажда крови,
 Допустить его нельзя!
 Раз почтить хотите Будду —
 Знайте сдержанность, как он!»
 Так, любя основы мира,
 Смелый Браман говорил,
 Веря в правду, он не ведал
 Колесаний никаких.
 Семь царей ответ держали:
 «Мы усилию враги,
 Но не низкое желанье
 Нами властвует теперь.
 Ради правого закона
 Мы вступить готовы в бой.
 Мы священные останки
 Надлежаще чтить хотим.
 Из-за женщины красивой
 Был не раз смертельный бой, —
 Сколь же больше нужно биться,

Чтоб Учителя почтить!
 Не щадя ни сил, ни жизней,
 Мы, коль нужно, в бой пойдем, —
 Драгоценные останки
 Мы молено чтить хотим.
 Если спора не хотите,
 Разделите их меж нас.
 Мы же гнев на время сдержим,
 Как от чары спит змея».
 Говорил к Могучим Дрона:
 «Там, за городом цари,
 Их доспехи словно Солнце,
 Гнев разбужен в них, как лев.
 Разгромить готовы город,
 Но, боясь неправоты,
 В бой вступаю из-за веры,
 Так глясят через меня:
 «Мы пришли не денег ради,
 И земель мы не хотим,
 Не надменное в нас чувство
 И не помыслы вражды.
 Мы великого чтим Риши,
 Наш почет есть ваш почет,
 Значит, мы в моленьях братья,
 Ищем мы духовных благ.
 Громоздит богатства — скупость,
 Непростительна вина.
 Сколь же более преступно —
 Благ духовных не давать!
 Мы почтить хотим останки,
 Разделите ж с нами их.
 Если ж чести лишены вы,
 Приготовьтесь в бой вступить!»
 От себя же я прибавлю:
 Будда, как покой узнал,
 Всем, любя, желал покоя.
 Разделите светлый дар!»
 Дрона передал посланье
 И Могучих убедил,
 Имя Будды победило,
 Свет, исполненный любви,
 Конь, дорогу потерявший,
 Стройно так идет опять,
 Если видящий возница
 Путь ему предначертал.

Лучезарные останки
 Между всеми разделив,
 Часть восьмую сохранили,
 Семь же отдали царям.
 Каждый царь, свой дар священный
 Поместив на голове,
 В край родимый воротился
 И Святители воздвиг.
 Брамачарин же у Сильных
 Попросил златой кувшин,
 И от тех царей обломки
 Он останков получил.
 Это взявши, он часовню
 Благодатную воздвиг,
 И доднесь еще зовется
 Этот храм — Златой Кувшин.
 Люди все Кушинагары,
 Прах сожжения собрав,
 Храм воздвигли в этом месте,
 Он зовется — Прах Святой.
 Это первые святыни,
 Что воздвиглись на земле.
 Ими в первый раз молельно
 Остров мира воссиял.
 Много верных пришло,
 Чтоб украсить храмы те,
 И, как горы золотые,
 Вознеслись они светло.
 Слово точное Закона,
 На Соборе Пятисот⁴³,
 Чтобы верно сохранилось,
 Было в запись внесено.
 И великий царь Асока,
 Что жестоким раньше был,
 Свет увидев, озарился
 И Закон распростиранял.
 Как есть древо Асока,
 Что кончается цветком,
 Он над островом Вселенной
 Светом правды воссиял.
 И, святыни созида,
 Беспременно щедрым был:
 Восемь он десятков тысяч
 Башен в день один воздвиг.
 Тот, кто звался Совершенный,

Он в Nirване навсегда,
 Но священные останки
 Светят миру до сих пор.
 Кто, живя, осуществляет
 Совершеннейший Закон,
 Он в немеркнущее место
 За Высоким отойдет.
 Потому-то, без изъятия,
 Сердцем светоч увидав,
 Небожители, земные
 Будут чтить его всегда.
 Будем чтить того, кто сердцем
 Сострадательным любил
 И достиг высокой правды,
 Чтоб избавить всех живых.
 Боль рождения и смерти
 Им навек побеждена,
 Он скопления страданья
 Отодвинул ото всех.
 Показавшего дорогу
 Как не будем мы любить?
 Цепи снявшего с печальных,
 Как не будем чтить его?
 Чтоб воспеть его деянья,
 Свет единый вознести,
 Опираясь на Писанья,
 Духом в Летопись смотря,—
 Не для личного почета,
 Не ища себе наград,
 Сердцем видя Благо Мира,
 Эту песню я пропел.

/ МАТЕРИАЛЫ К «САТИРИКОНУ» ПЕТРОНИЯ И РАССКАЗАМ ИЗ ТАЛМУДА

<ПИР ТРИМАЛЬХИОНА>

ПЕР. А. К. ГАВРИЛОВА И И. И. ХОЛОДНЯКА,
СТИХИ В ПЕРЕВОДЕ Б. И. ЯРХО И М. Л. ГАСПАРОВА

Пришел уже третий день, а это значит — ожидание дарового обеда. Да только нам, истерзанным столькими ранами, бегство казалось милее покоя. О ту самую пору, когда мы печально обсуждали, каким способом убежать от наступающей грозы, явился раб Агамемнона и нас, перепуганных, прервал. «Вы что же, — говорит, — не знаете, кто угощает сегодня? Трималхион, человек до того изысканный, что у него в триклинии часы, а в них встроены трубаки, чтобы ему возвещать, какая толика жизни им еще утрачена». Тут, позабыв о всех бедах, мы тщательно одеваемся, а Гитону, до сих пор любезно исполнявшему обязанности раба, велим идти мыться.

27. А пока мы, еще одетые, стали прогуливаться, а вернее — забавляться, подходя то к одному, то к другому кружку развлекающихся. И тут глазам нашим вдруг предстал лысый старик, облаченный в аленькую тунику и развлекавшийся игрой в мяч в обществе подростков-рабов. На мальчишек этих, быть может, и стоило посмотреть, но не они привлекли наше внимание, а сам отец семейства, обутый в туфельки и усердно швырявший зеленый мячик. Если мячик падал на землю, хозяин поднимать его уже не удостоивал, ибо рядом стоял слуга с полным мешком их и подавал игрокам по мере надобности. И еще новинка: за чертой круга игры стояли двое евнухов, один с серебряной ночной вазой в руках и другой, считавший мячики, — не те, что отскакивали от рук в крученой игре, а те, что падали на землю. Мы взирали на эту роскошь, когда подбежал Менелай, чтобы шепнуть: «Тот самый, у кого сегодня возляжете; а впрочем, начало пира вы уже видите». Менелай не кончил еще, как Трималхион щелкнул перстами, и евнух подставил ему, поглощенному игрой, свою посудину. Освободив мочевой пузырь, хозяин спросил воды умыться руки и, едва окунув в нее пальцы, вытер их о голову ближайшего мальчишки.

28. Всего было не пересмотреть. А потому отправляемся в баню и, пропотев в горячей, сей же час в холодную. А Трималхиона уже надушили духами и принялись обсушивать не полотенцами, а полотнищами тончайшего льна. Тем временем на глазах у него трое иатралиптов пили фалернское и, вздоря, лили его на пол, а хозяин приговаривал, что это по нем. Потом завернули его в алое урсовое одеяло, уложили на носилки, и двинулось шествие: впереди — четверо скороходов с блестящими нашьепками, за ними — повозка ручная с его любимчиком: старобразный мальчик, подслепый, еще некрасивее господина! А когда хозяина несли, к изголовью его склонился с крошечной флейтой музыкант и по дороге напевал какую-то песенку, точно нашептывал что-то ему на ухо.

Подивившись этому вдосталь, идем мы дальше и вместе с Агамемноном подошли ко входу, на косяке прибито небольшое объявление с следующей надписью: «Буде какой раб без хозяйского приказа из дому отлучится, причитается ему ударов сто». Тут же в дверях стоял привратник, сам в зеленом, а кушак вишневым — этот лущил горох на серебряном блюде. Над дверью висела золотая клетка, из которой пестрая сорока кричала входящим приветствие.

29. Заглядевшись на все это, я так запрокинул голову, что едва ног не сломал. Иначе и невозможно было, когда от входа налево, у каморки привратника, на стене нарисован был огромный пес, а над ним крупными буквами написано: «Злая собака!» Сотоварищи мои прыснули со смеху, а я, чуть пришел в себя, принялся, затаив дыхание, разглядывать прочую настенную живопись. На одной картине продавались гуртом рабы, каждый с ярлыком; сам Трималхион, еще подростком, вступал, держа жезл, в Рим, ведомый Минервою; дальше было про то, как научился он вести счета, как кассой стал ведать, — все это трудолюбивый художник добросовестнейшим образом снабдил надписями. В конце галереи Меркурий за челюсть втаскивал его на высокую трибуну. Здесь же присутствовала Фортуна с непомерным рогом изобилия и три парки, прядущие златую нить. Еще я заметил в портике кучку скороходов с учителем, их обучающим, а в углу увидел большой шкаф: в его углублении вроде домика стояли серебряные лары, мраморное изваяние Венеры и золотой ларец весьма внушительной величины, в коем, как мне поведали, «сам» хранил первое свое бритье. Я спросил у старшего по атрию, что у них нарисовано посредине. «Илиас с Одюсией, — отвечал он, — да Лэнатов гладиаторский бой».

30. Очень многого так и не довелось рассмотреть; мы уже подошли к триклинию. При входе в него управляющий принимал счета, но особенно меня поразило, что на косяках двери, ведущей в триклиний, прибиты были пучки ликторских прутьев с секирами, а ниже выступало медное острие наподобие корабельного тарана с такой надписью: «Гаю Помпею Трималхиону, севиру августалов, от Киннама казначея». Ниже этой надписи свисала с потолка лампа в два фитиля, и две дощечки были еще укреплены на обоих косяках; на одной, если не изменяет мне память, стояло: «30 и 31 декабря наш Гай обедает в гостях», а на другой вычерчен был путь Луны и изображения семи

планет; тут же цветными шариками были отмечены в списке дни счастливые и несчастные. Накушавшись этих прелестей, мы делаем попытку вступить в триклиний, как вдруг один из слуг, для этого дела приставленный, вскричал: «Правой!» Мы, понятно, всполошились немного, как бы кто из нас не шагнул через порог, не сообразуясь с предписанием. Но когда мы наконец дружно шагнули правой, нам в ноги кинулся раздетый раб и стал упрашивать, чтобы выручили его из беды; невелика и провинность, за которую взыскивают: стащили у него в бане одежду казначея, а и вся-то цена ей десять штук! Пришлось нам с правой ноги вернуться и упрашивать казначея, который в своей выгородке подсчитывал золотые, чтоб отпустил рабу его провинность. Воззрившись на нас с важностью, тот отвечал: «Не в убытке для меня суть, но какво нерадение паршивого раба! Обеднишное мое платье прозевал, которое мне когда-то клиент один на деньрождение подарил: тирийский, сами понимаете, пурпур, раз только стирано. Да чего уж! Только ради вас!»

31. Облагодетельствованные великим этим благодеянием, едва вступили мы в триклиний, как бежит нам навстречу тот самый раб, за которого мы хлопотали, и, не дав опомниться, осыпает нас неистовыми лобзаниями, изъявляя признательность за наше человеколюбие, а потом говорит: «Еще увидите, кому добро сделали: хозяйского вина слуга-распорядитель!» Наконец, мы возлегли. Александрийские мальчишки льют нам на руки снежную воду; их сменяют другие, принимаются за наши ноги и вычищают ногти с пугающим проворством. К тому же нелегкую эту должность они отправляли не молча, а попутно еще напевая. Тогда мне захотелось испробовать, неужели тут вся челядь так певуча, и я попросил пить. Сию же минуту подскочил мальчишка, и тоже с пронзительной песнью; так же и все они, чего бы ни спросить у любого, — словом, хор в пантомиме, а не прислуга за обедом отца семейства.

Подали, впрочем, очень недурную закуску. Между тем все уже возлегли, кроме одного Трималхиона, которому — неслышанная вещь — оставлено было первое место. Между блюдами закуски стоял ослик коринфской бронзы, на коем висели два вьюка: в одном были светлые, в другом темные насыпаны оливки. На спине ослик вез два блюда с вырезанным по краешку Трималхионовым именем и весом серебра, а на блюдах устроены были мостики, на которых лежали жареные сони, политые медом с маком. Кроме них поданы были на серебряной сковородке колбаски горячие с подложенными внизу сирийскими сливами и гранатовыми семечками.

32. Мы уже окунулись в эти роскошества, когда под звуки музыки внесли самого Трималхиона и осторожно уложили на сложное сооружение из подушек. Смех был неизбежен, хотя неосторожен: из пышного алого одеяния выглядывает бритый череп, шея укутана тканью, а поверх нее пущена салфетка с широкой каймой и бахромой, ниспадавшей на обе стороны. На левом мизинце его было толстое позолоченное кольцо, на кончике безымянного пальца той же руки — кольцо поменьше, и, как мне показалось, чистого золота, только усеянное сверху железными звездочками. А чтобы не этим только убранством похвалиться перед нами, он обнажил правую руку, на которой красовался золотой браслет и кольцо слоновой кости, сомкнутое сверкающей пластинкой.

33. Поковыряв в зубах серебряным перышком, он произнес: «Сказать по правде, други мои, еще мне не в радость было идти к столу, да уж чтобы не задерживать вас дольше моим отсутствием, я от собственного удовольствия отрекся. Дозволите разве мне игру кончить». Сейчас явился слуга с доской из терпентинного дерева и с хрустальными кубиками. Тут бросилось мне в глаза самое изысканное из всего: вместо черных и белых камешков были у него золотые и серебряные денарии. Пока хозяин играл и бранился не хуже мастерового, а мы все еще закусывали, поставили перед нами на большом блюде корзину, в которой оказалась деревянная курица с растопыренными крыльями, как бывает у наседок. Немедленно подскочили два раба и, порывшись под грохот музыки в соломе, вытащили оттуда павлиньи яйца, чтобы раздать их гостям. Ради этого эпизода поднял взор и хозяин. «Други, — сказал он, — это я велел посадить курицу на павлиньи яйца; чего доброго, они уж и высижены; а впрочем, попробуем: может, еще и можно пить их». Нам подают ложки не менее полфунта весом, и мы разбиваем скорлупу, слепленную, как оказалось, из сдобного теста. Заглянув в яйцо, я чуть не выронил своей доли, ибо мне почудилось, что там сидит уж цыпленок. Но, услышав, как один завсегдатай примолвил: «Эге! да тут, надо полагать, что-то путное!», снимаю до конца скорлупку пальцами и вытаскиваю жирненькую пеночку, облепленную пряным желтком.

34. Между тем хозяин, оставив игру, велел и себе подать того же, что ели мы, а нам громогласно дал разрешение, если кто пожелает, выпить медовухи по второму разу, затем грянула музыка, а хор запел, торопливо убирая блюда с закуской. Когда в этой сумятице случайно какое-то из серебряных блюд упало на пол и слуга его было подобрал, Трималхион это заметил и повелел подвергнуть слугу заушению, а блюдо бросить на пол обратно. Тут же появился буфетчик с метлой и вымел серебряную вещь вместе с сором. Потом вошли двое с волосами эфиопов и с крохотными бурдючками в руках, вроде тех слуг, какие обычно опрыскивают арену в амфитеатре, и полили нам вина на руки: о воде не было и помину.

Хвалимый за эту изысканность, хозяин воскликнул: «Марс правду любит! Оттого и велел я каждому из вас отдельный стол поставить; да и от рабов этих противных с их суетней нам не так душно будет». Немедленно затем внесены были стеклянные амфоры, запечатанные гипсом; а на горлышках у них болтались ярлычки с надписью: «Фалернское, опимиевского розлива, столетнее». Мы разбираем ярлычки, а хозяин всплеснул руками и молвил: «Ох-хо-хо! Вино-то, знать, долговечнее бедных людишек! А потому тронули! Сколько пьется, столько и живется! Настоящее опимиевское выставляю; вчерашнее было хуже, хоть гости были почище вас!» Мы принялись пить и старательно подхваливать эту роскошь, а слуга тем временем приносит серебряный скелет, собранный так, что суставы его и позвонки выворачивались в любую сторону. Раз-другой выбросил он этот скелет на стол, так что гибкие его сцепления укладывались то так, то этак, а Трималхион присовокупил:

Ох, и несчастные мы, ничтожные мы человеки,
Будем и мы таковы, когда нас Оркус настигнет,
Ну, а покуда живешь, пей и гуляй, коли так!

35. За одобрением последовало первое блюдо, отнюдь не такое величественное, как ждалось; впрочем, диковинный вид его обратил на себя общее внимание. На совершенно круглом блюде изображены были по окружности двенадцать знаков Зодиака, а над каждым рука кухонного мастера поместила свое, подходящее к нему, кушанье: над Овном — овечий горошек, над Тельцом — кусок телятины, над Близнецами — яички и почки, над Раком — венок, над Львом — африканские смоквы, над Девой — матку свинки, над Весами — ручные весы, на одной чаше которых лежал сырный пирог, а на другой — медовый; над Скорпионом — какую-то морскую рыбку, над Стрельцом — лупоглазую рыбину, над Козерогом — морского рака, над Водолеем — гуся, а над Рыбами — двух красноперок. В середине уложен был медовый сот на куске свежего дерна. Египетский мальчик разносил теплый хлеб в серебряной грелке, а сам гнуснейшим голосом завывал песенку из мима «Ласерпициана». Приунывши несколько, мы потянулись за этими убогими угощениями. «Прошу обедать, — сказал Трималхион, — и быть при праве».

36. Только он это произнес, как грянет оркестр да как вскочат четверо, подбежали, приплясывая, и сняли с блюда крышку. И вот видим мы под ней, на втором, иначе говоря, блюде, жирную дичину, вымя свиное, а посредине зайца с крыльями, приделанными так, чтобы походить на Пегаса. По углам блюда, видим, стоят четыре Марсия с бурдючками, откуда бежит перченая подливка прямо на рыбок, а те как бы плавают в канавке. Прислуга хлопает в ладоши, мы усердно ей вторим и с веселием накидываемся на эти отборные вещи. Улыбнулся хозяин своему трюку и воскликнул: «Кромсай!» Тотчас явился резник и взмахами в лад с оркестром разрезал кушанье так, как бойцы рубятся на арене под водяной орган. Трималхион все повторял протяжно: «Кромсай, кромсай!» Я уже начал догадываться, что какая-то острота сопряжена с этим столько раз повторенным словом, и, преодолев свою скромность, спросил о том у своего собеседника, что лежал местом выше меня. Тому, видно, эти выдумки были не новость. «Ты погляди, — сказал он, — на малого, что кушанье кромсает: его Кромсаем зовут; выходит, как хозяин скажет „КРОМСАЙ“, так зараз и подзывает и приказывает».

37. Я уже не способен был что-либо вкушать; обратившись к соседу, чтобы узнать возможно больше, я начал издали, спросив, что это за женщина носится туда-сюда. «А это, — ответил тот, — супруга Трималхионова, Фортунатой зовут. И правда, червонцы ведром мерит! А не так давно знаешь кто была? Не при гении твоём будь сказано — ты бы у ней из рук хлеба не взял. А вот смотри ж ты: ни за что ни про что вон куда залетела — стала у Трималхиона все и вся. Короче, скажи она ему в полдень, что на небе потемки, — поверит! Сам именно своему и счет потерял: сверхбогатеи! Зато эта сучища под землей видит. Всюду влезет! Но твердая, трезвая, ума ясного — видишь, сколько золота! Зла, конечно, она на язык, кукушка ночная! Но уж кого полюбит — так полюбит, а не любит — так нет! У самого-то Трималхиона земли — птице не облететь, а казны — видимо-невидимо! Да у его привратника в камерке серебра навалено больше, чем у иного в целом хозяйстве. А челяди у него, челяди! Провалиться мне, коли из них десятая доля хозяина своего знает в лицо! Короче, захочет, так всех этих брандахлыстов в бараний рог скрутит».

38. Ты думаешь, он покупает что-нибудь? Все дома родится: шерсть, хрукты разные, перец; птичьего молока спросишь — подадут. Короче: жиденькая у него шерсть получалась — закупил он баранов в Таренте да в стадо и припустил; а чтобы аттический мед у него дома водился, пчел с Афин привезти велел, к тому ж и здешние, значит, пчелки поправятся от гречанок. Да вот на днях еще писал он, чтобы ему из Индии чемпионных семян прислали. Лошачихи у него — все от диких ослов. А вот подушки видишь, так они сплошь багрецом или кошенильной шерстью набиты. Одно слово, блаженный муж! Да и на тех, что с ним вместе вольную получили, ты не очень-то фыркай: тоже не без навару. Хоть вон того возьми, который там с краешку расположился: на сегодня свои восемьсот имеет. А с ничего пошел! Не так давно поленья таскал на шее. Болтают люди — я-то не знаю, слышал только, — будто он шапку Инкуба похитил, а клад-то ему и открылся. Что ж делать, кому бог дал, тому не завидуй. Ушлый, конечно, себе на уме. Днями такое объявление сделал о сдаче квартиры: „Гай Помпей Диоген верхний этаж сдает с июльских календ в связи с приобретением дома“. Да и сосед его, вон на месте вольноотпущенника, неплохо уж приподнимался. Не виню его, конечно. Он уж и мильон видал, да споткнулся, а теперь не знаю, остался ли у него хоть волос не заложженный. Гераклом клянусь, нет в том его вины, лучше его и человека на свете не бывало. Это все отпущенники, злодеи, все они себе, негодяи, прибрали! Ты уж так и знай: всё товарищи, а похилилось дело — дружба врозь. А ведь не худыми какими делами занимался, чтобы так-то его, — похоронным мастером был! За стол, бывало, сядет, что твой царь: кабан в обертке, пирогов всяческих силища! А повара! пекаря! Бывало, вина зазря прольется больше, чем у иного в погребке стоит! Не человек, чудо! А похилились дела — струхнул, как бы кредиторы о прогаре его не пронюхали, да и объявил аукцион таким вот образом: „Юлий Прокул лишние вещи с аукциона продает“».

39. Тут хозяин прервал сладостную нашу беседу. Блюдо было уже убрано, и повеселевшие гости занялись вином и общей беседою. Подпершись локтем, хозяин сказал тогда: «Окажете-ка честь этому вину: рыбе плавать надо. Ну? Неужто вы подумали, что с меня того обеда довольно, который на крышке виделся? Таким ли вы знали Улисса? А что, и за едой нехудо филологию помнить. Пусть лежат спокойно косточки хозяина моего, за то что пожелал меня человеком сделать среди людей. Оттого ничем меня теперь не удивишь: хоть бы на то блюдо сошлюсь и его эмблематы. Вон это — небеса, а на них двенадцать богов живет, а как вертятся они, двенадцать обличьев и выходит. К примеру — Баран вышел: ладно! Кто, значить, родился под тем бараном, у того и скотины много, и шерсти, а кроме

того, голова крепкая, рога бесстыжая, рога бодучие! Об эту пору все ученые родятся да бараны». Мы не удерживали восторга перед изысканным астрологом, а он продолжал: «Ну, а там, значить, из небесов и Теленок выходит; народ тут все брыкливый родится, да пастухи, да кто сам себе пропитанье ищет. А когда Двойни выйдут, — родятся парные упряжки, да быки, да яички, а еще те, что „и вашим и нашим“. А под Раком я сам родился: вот и стою я на четырех и более, имения у меня много на земле и на море: рак-то ведь и туда и сюда ходит. Оттого я давеча туда и не поставил ничего, чтобы, значить, генезису своего не пригнетить. А на Льва родятся все прожоры и люди начальственные; на Деву — бабье всякое, да беглые, да те, кому на привязи сидеть; а как Весы выйдут — родятся торговки мясом да мазями и все, кто взвешивает; а на Скорпиона родятся такие, что и отравить и зарезать человека готовы; на Стрелка войдут все косоглазые, кто метит в ворону, попадает в корову; на Козерога — все бедняки, у кого с горя рога растут; на Водолея — трактирщики да тыквы; ну, а под Рыбами — повара да риторы. Вот и вертится небо, как жернов, и все какая-нибудь мерзость выходит: то народится человек, то помрет. А дерну кусок посередине, да сот медовый на нем — так у меня и это не зря: мать-земля круглешенька, словно яичко, посередине, и добра на ней много, что меду в сотах».

40. «Ловко!» — возопили мы хором и, воздев руки к потолку, свидетельствуем, что Гиппарха и Арата сопоставить с хозяином нельзя. Но вот явилась толпа слуг и разостлала на наших ложах ковры, на которых были вытканы сети, облава с рогатинами и всякий охотничий снаряд. Мы не успели еще сообразить, куда направить нашу догадливость, как вдруг за дверьми триклиния поднимался шум невероятный, и вот уже в комнату влетела и стала бегать вокруг стола свора лаконских псов. За ними внесли блюдо, а на нем лежал огромный кабан, да еще с шапкой на голове. На клыках его подвешены были две корзинки из пальмовых листьев с финиками, одна с сирийскими, другая — из Фив, что в Египте; вокруг теснились крохотные поросята из пропеченного теста, точно они рвались к вымени. Эти были для раздачи в виде гостинцев. Ну а рушить зверя явился не тот Кромсай, что дичину нам резал, а какой-то верзила с бородой, в охотничьей обуви и пестрой коротенькой накидке. Выхватив охотничий нож, он яростно пырнул им кабана в брюхо, после чего из раны вылетела стая дроздов. Но уже стояли наготове птицеловы с клевыми ловушками, и как те ни метались по триклинию, мигом оказались переловлены. Трималхион велел раздать их, каждому по штуке, и прибавил: «Да вы посмотрите только, какие вкусные желуди подобрал этот лесной свин». Немедленно мальчишки приступают к висящим на клыках корзинам, вынимают фиванские и сирийские финики и делят между гостями поровну.

41. Тем временем, лежа поодаль от этой суматохи, я терялся в мыслях, зачем бы это кабану пожаловать в шапку. Прикинув и так и этак, я убедился, что пуст мой коробок, и решил спросить у моего путевода о том, что отнимало у меня покой. «Ну, это, — ответил он, — тебе и раб твой отменно растолкует, это не проблема, ничего нет проще. Кабан этот вчера востребован был к концу обеда, а гости отпустили его; вот он нынче и вернулся на пир вольноотпущенником». Я осудил свое тупоумие и далее спрашивать не стал: подумают, того гляди, что я с порядочными людьми не обедал.

Пока шла эта беседа, красавец-мальчишка, увитый плющом и виноградом, представлял пред нами то шумного Вакха-Бромия, то его же как пьяного Лиэя, а то как Евгия-победителя; в корзинке он разносил виноградные грозды, тоненьким голоском исполняя творение своего господина. На эти звуки Трималхион обернулся и промолвил: «Дионис-Свободный!» Тотчас раб стащил с кабана шапку и надел себе на голову. А хозяин еще добавил: «Теперь не сможете вы отрицать, что у меня ОТЕЦ Свободный». Мы расточаем похвалы этому хозяйскому речению и, конечно же, целуем красавца, обошедшего все столы.

После этого блюда Трималхион отправился на горшок. Обретя свободу от властелина, мы стали вызывать пирующих на разговор... Тогда вступил первый. Спросив себе питье, он повел такую речь: «И куда это день девается? Только повернулся — и ночь! Тогда уж лучше — из спальни прямо за стол! Шибко же холодно было сегодня! Насилу баней отогрелся. А горяченькогохватишь — лучше одежды разогреет. Опрокинул чистого — и захорошело! Так по мозгам-то и вдарило!»

42. Разговор подхватил Селевк. «А я не всякий день и в баню хожу; баня — что твой сукновал, вода зубастая, от ней у нас сила каждый день тает. Да лучше я медовухи горшочек хвачу, и хотел меня иметь этот холод. Да и не до бани было, друга хоронял сегодня. Милый был человек, добряк-то наш, Хрисанф-то, и спекся! Давно ли вроде меня окликал? Будто сейчас с ним говорю! Ох-хо-хо! Ткни в человека — и дух вон; ходим — меха надутые. Да мы мухи не стоим! Муха-то хотя на что пригодна, а мы, сказать по правде, пшик! И чего он все воздерживался: пять деньков капельки воды в рот не брал, хлеба ни крохи! А проку? Туда и пошел, где больше всего народу. Лекаря его извели, может, такой у него рок судьбы. Лекаря-то звать — себя только тешить. Проводили, однако, на славу: и покров и одёр — все как быть следует. Реву-то одного что было — отпуская, выходит, на волю кой-кого. Жена тоже повыла, да это для виду. А ей ли не житье было за покойником? Видно, баба — баба и есть, воронье племя! Ни одной добра ни на грош делать не след. На помойную яму не напасешься хламу! Да вишь ты, старая любовь хуже клеща».

43. Он наскучил, и крикнул Филерот: «Да ну его! Живое о живом! Покойник твой свое получил; красиво жил, красиво и помер. Чего ему жаловаться? С медяков начал. Квадрант, бывало, из навоза зубами достанет, вот как! За что ни берется, все растет, как соты. Провалиться мне, не меньше сотни тысяч оставил в звонкой монете! А сказать по правде — поверьте уж мне; собаку я на людях съел, — такой зубастый был, на язык злой, не человек, буза! Вот брат его — тот был молодец. У того дружить так дружить: и деньгами поможет, и накормит на славу. Ну, поначалу-то ему не больно повезло, да первый же сбор осенний его выручил: сколько захотел, столько и взял за вино. А уж

как наследство получил, совсем голову задрал. Да еще и хапанул поболее, чем ему оставлено. И ведь пень какой — на брата прогневался, да все добро на какого-то собачьего сына переписал! Кто кровному своему враг, себе враг! Были у него из слуг наушники, они и подвели. Известное дело: на веру скор будешь — беды не избудешь, в торговом деле особенно. Ну да и то сказать: пожил в свое удовольствие; был смел, вот и съел! Удачливый человек, одно слово. Дотронется — свинец золотом станет. Да и какой труд, когда все как по маслу котится? А годков сколько было ему, как полагаешь? Семьдесят и боле! Кражистый, старость нипочем: с головы — ворон черный. С каких пор его знаю, все он промышляет: ни одной сучки в дому у себя не пропустил. Да и насчет парнишек мастак! А что худого? Только это с собой и в могилу взял!»

44. Филерот кончил, за ним Ганимед: «Да будет вам молоть-то, что ни к селу ни к городу! Хлеб-то, хлеб-то у нас как кусается, и никому дела нет! Нынче у меня хлеба — шаром покати! Нет, какова засуха? А уж год зубами щелкаем. Чтоб эдилам нашим пусто было, они, видно, с хлебопеками заодно: рука, знаешь, руку моет! Бедный люд воет, а у тех брюханов что день, то сатурналии! Эх, были б живы те львы, кого застал я здесь, как из Азии пришел! То-то была жизнь. Попадись, бывало, в муке хоть зернышко песку, так они твою физию так выгладят, что на тебя Юпитер прогневается. Помню Сафиния, у Старых ворот жил, еще я был махонький. Перец — не человек! Под ним все огнем горит. Прямой, простой, друзьям друг! Такой в потемках ни на грош не обочтет. А в совете примется за кого, так уж правду режет, да начистоту, без фигур разных. И как вел дела на площади — его издали слышно бывало: глотка что твоя труба! И ведь не употеет, не сплюнет — такой азиат! Ты поклон, он ниже, каждого по имени приветит, точно свой брат! Вот и было тогда хлеба как грязи: на грош купишь, вдвоем не слопаешь. А нынче на тот же грош отвесят тебе вот такую фитюльку: и глянуть не на что. Ох-хо-хо! Что день, то хуже. В колонии нашей все взад пошло расти, что твой телячий хвост! А все почему? Потому что эдил у нас гроша ломаного не стоит: ему бы кошель набить потуже, а мы околевай. Сидит себе дома, посмеивается: в сутки награбит больше, чем иному родитель по себе оставит. Да, уж я знаю, откуда у тебя тысяча-то денариев завелась. Не будь мы хуже скопцов, мы б тебе спесь посбили. Только уж и народ нынче: дома лев, а чуть за порог — лиса. Так и у меня: последнее тряпье проел, а постоит эта голодуха, так и домишко продавать придется. И что же это только будет, как ни боги, ни люди тутошной колонии не пожалеют? А все из-за эдилов, провалиться мне! Небо ни во что не ставят! Поститься перестали, Юпитера в грош не ставят, ни до чего дела нет, все в мошну себе норовим! А бывало, прежде оденутся хозяйки, косы распустят, босиком на моленье-то пойдут, да попросту, по душе у Юпитера дождичка попросят. Вот и польет, бывало, как из бадьи, ждать не заставит — мокрые как мыши домой придут. А теперь, как позабыли мы богов, они сюда — тихими стопами. Ну, пашни и...»

45. «Полно, — перебил лоскутник Эхион. — Чего вздор несешь? Раз на раз не приходит, как сказал хозяин, потеряв свинку пестренькую. Сегодня нет, завтра будет! В жизни всегда так! Чего говорить: будь у нас люди как люди, лучше бы нашей родины в свете не было; теперь худо, но не ей одной. Нюни нечего распускать: куда ни ступи, везде мокро. Будь ты в ином месте, ты бы, чего доброго, рассказывал, что здесь у нас жареные поросята разгуливают! Вот скоро игры будут — целых три дня на праздники; и не люди ланистов, а почти все добровольцы. Тит наш великой души и голова горячая! У него — затевать так затевать. Я у него свой человек: этот знает, чего хочет. Железо будет — класс! Удирать не даст, прирежут тут же, в амфитиатре! А и есть с чего разгуляться: тридцать миллионов осталось, как отец-то его не по-хорошему умер. Тысяч четыреста он истратит — и не почувствует, а разговоров — на век! Уже у него набраны молодцы; поедет и баба драться с колесницы, выйдет на бой и Гликонов дворецкий, которого с хозяйкой, знаешь, застали, увидишь свару всенародную между ревнушами да волокитами! Дешевка Гликон — своего дворецкого зверям отдавать! Себя же и ославит! Чем слуга виноват, когда заставили? Вот ты бы квашню взять да быку на рога и посадить! А ты не можешь по ослу, так по вьюку лупишь. Неужто Гликон думал, что Гермогена поросль добром кончит? Тот стервятнику на лету когти подрезать мог; змеюка веревочку не родит! Гликон, да, Гликон свое получил; пока жив, на нем клеймо будет, разве смерть сотрет! Ладно, всяк на свою голову грешит. А вот чую я, накормит нас Маммея, да еще по паре денариев отпустит мне и моим. А коли так — всех от Норбана оттащит; я тебе точно говорю, обойдет он его на всех парусах. Да в самом деле: что мы от Норбана стоящего видали? Гладиаторов выставили грошовых, дохлые совсем: дунешь — с ног валятся, у нас зверям краше бросают. Выпустил конных — словно со светильника, петушки, да и только: один шатается, другой валится, а как и этого прирезали, третий выполз, мертвец мертвецом, ни ног, ни рук. Один фракиец на что-то похож был, дрался законно. Короче, всех посекли; народ-то знай кричал: „Хорошенько их!“ А они дёру! „Я тебе, — говорит, — праздник устроил!“ — А я тебе похлопал; пожалуй, еще за тобой и осталось! Рука руку моет, — выходит, мы и сочлись!

46. Ты, Агамемнон, сдается мне, сказать хочешь: „Чего там разоряется этот зануда?“ Это оттого, что тебе бы говорить, да ты не говоришь. Не нашего ты десятка, смеешься с бедных людей. Да мы знаем — ты от учености полудурок. Ну ладно, еще уговорю тебя побывать в усадьбе у меня. Посмотришь мою хибару; найдем чего пожевать — куренки, яйца, будет недурственно, хотя в этом году погода не очень была по делу. Все равно чего-нибудь найдем, сыты будем. Подрастает тебе и ученичок, цацарончик мой. Уже он четвертые доли считает, жив будет, будет у тебя раб под боком. Ты знаешь, чуть он не занят, не отойдет от стола. Шустрый, с головой, только на птиц больно лютый. Трех щеглов я придушил уже, говорю — ласка заела. Так он другую завел песенку — рисовать во все лопатки. Вообще-то в гречат он уже вгрызся, теперь вцепился в латынь. Только учитель его делает что хочет; не сидит на месте, приходящий. Науку знает — трудиться не желает. Другой тоже есть, не очень учен, зато въедлив — мало знает, много учит. Зайдет на праздник, что дашь, он и рад. Ну купил я ему эти книжки красные, потому что хочу, чтобы он

права нюхнул. Хлебное дело. А в науках он уж довольно изгваздался. Словом, если отвалить захочет, положил я обучить его такому ремеслу — цирюльник, или там глашатай, или хоть юрис, — которого у него, кроме Орка, никто не отымет. Вот и ору на него каждый день: „Примигений, чему бы ни учился, для себя учишься. Вон Филерон юрис: не учился б он, достал бы его сейчас голод. Давно ль, давно ли он на хребте таскал товар на продажу в розницу, а теперь на Норбана тянет. Наука, друг, сокровищница мыслей, ремесло ввек не мрет“».

47. Такие речи гремели, когда вошел Трималхион. Отерши лицо, он омыл руки в благовониях и, недолго помолчав, сказал: «Не прогневайтесь, други мои, у меня сколько уж дней желудок не отзывается, и ничего не могут поделывать врачи. Помогли мне, однако, яблочные кожурки да сосна на укусе. Надеюсь, однако, он теперь обратно за ум возьмется. А то иной раз у меня в брюхе прямо быки ревут. Уж вы, пожалуйста, кому приспичит, не стесняйтесь! Никто, чай, без щелки не родился. По-моему, хуже той муки нет, как терпеть. Вот чего и Юпитер воспретить не может! Чего, Фортуна та, смеешься? А кто это по ночам мне спать не дает? А по мне, так и в триклинии никому не заказано делать так, чтоб приятно было, да и врачи не велят терпеть. Ну а совсем припрет, так там за дверью все наготове: вода, посуда и вся принадлежность. Миазма, вы мне поверьте, она по мозгам ударяет и по всему телу разливается. Сколько народу, знаю, оттого и погигло, что не желали себе правду сказать». Мы благодарим хозяина за великодушную его предупредительность и топим смех, прикладываясь к вину почаще и не подозревая, что у нас, как говорится, все впереди. А пока под звуки музыки очищены были столы и введены в триклиний три белых свиньи в нарядной упряжи с бубенцами; слуга-докладчик сообщил нам, что одна двухлетка, другая трехлетка, а третья старушка. Я было вообразил себе, что это акробаты с учеными свиньями и что сейчас они покажут что-нибудь мудреное, вроде того, из-за чего собирается народ на улице. Однако Трималхион вывел нас из недоумения, спросив: «Которую прикажете сейчас на стол подать? Курицу-то обыкновенную или там рагу Пенфей и прочую ерунду — это и простые люди умеют; а мои повара по теленку зараз в медном котле варят, во как!» И, не дожидаясь нашего выбора, велел повару нарезать старушку. «Которого десятка?» — крикнул он ему звонко. «Из сорокового», — ответил тот. «Куплен или домашний?» — «Никак нет, тебе по завещанию Пансы достался». — «Ну, смотри, не подгадь, не то велю тебя в посыльные перебросить».

48. Жаркое повело на кухню повара, получившего грозное это предупреждение, а Трималхион окинул нас ласковым оком и вдруг всполошился: «Вино не по вкусу — переменю! Или покажите, что оно хорошее. Слава богам, у меня не покупное; теперь все скусное у меня в одной усадьбе родится пригородной, где я еще не бывал ни разу. Говорят, между Тарентом где-то и Таррациной. Хотелось бы мне еще к моим имениям Сицилии полоску прикупить; заблагорассудится в Африку собраться, так по своей земле поеду. Да ты скажи мне, Агамемнон, в какой диспутации ты сегодня упражнялся? Я хоть в судах дел не веду, а грамоте учился отчетливо. Ты не думай, что я науку не обожаю: три библиотеки у меня — греки и латины отдельно. А скажи-ка мне, будь друг, каков был у твоей речи перестазис?» — «Поссорились богач с бедняком», — отвечал Агамемнон. «А что это бедняк?» — спросил хозяин. «Остро», — похвалил Агамемнон и изложил какую-то контroversию. А хозяин тут же: «Если это было, — говорит, — то контroversии нет, а если не было, так это чужь». — После того, как мы отнесли к этому и подобному этому с восторженными похвалами, хозяин продолжал: «Скажи ты мне, милый ты мой Агамемнон, а ты упомнишь ли двенадцать напастей, что на Геракла обрушились? Или еще о царе Улиссе рассказ, как Циклоп-то ему большой палец вышиб? Еще мальчишкой я об этом у Гомера начитался. А Сивиллу, ту я собственными глазами в Кумах видел, как она в баночке на гвоздике висела; ребятишки дразнят ее: Сибюлла, ти селейс? — а она в ответ: апосанейн село».

49. Еще не все это явил нам наш хозяин, как уже воздвигнуто было блюдо с огромной жареной свиньей во весь стол. Быстрота привела нас в восторг: мы клянемся, что и курицу обыкновенную так скоро не сварить, тем более свинья эта была гораздо крупнее представленной прежде. Между тем хозяин стал все пристальнее приглядываться и вдруг разразился: «Что-о? Да никак вепрь этот еще не выпотрошен? Нет же, ей-ей! Вести повара, вести сюда!» Приблизившись к столу, удрученный повар признался, что выпотрошить забыл. «Что-о? забыл? — кричал хозяин, — по-твоему, это как перцу или тмину не посыпать? Раздевай!» И тут же двое истязателей сняли с загрустившего повара платье и встали по обе стороны от него. Тогда уже хором вступились гости, говоря: «Прости, пожалуйста, вперед провинится, никто не простит». Только я, по природной свирепости, не удержался, нагнулся к Агамемнону и шепчу ему на ухо: «Однако и негодяй же этот раб: забыть свинью выпотрошить! Да если б он у меня рыбешку пропустил, клянусь Гераклом, я б не простил ему». Но не таков был Трималхион, посветлев лицом, уже он говорил виноватому: «Ну, коли у тебя память такая дырявая, потроши свинью здесь, пред нами!» Повар накинул платье, взялся, все еще трепеща от страха, за нож и потыкал им в свиное чрево. И что ж? Прорехи расползлись под тяжестью содержимого, а оттуда полезли колбаски и сосиски.

50. Узрев этот фокус, прислуга захлопала в ладоши с восклицанием: «Нашему Гаю слава!» Да и повару перепало кое-что — питье, серебряный венок и бокал на подносе коринфской бронзы. Агамемнон взял подарок, чтобы разглядеть его ближе, а хозяин и скажи: «У меня у одного только настоящая коринфская». Я уже ждал, что он с обычной своей отвагой заявит теперь, будто ему доставляют посуду из самого Коринфа. Но сказанное им едва ли было не лучше. «Вы, может, спросите, — сказал он, — отчего это у меня у одного коринфская настоящая? Очень просто: мастер, у кого покупаю, Коринф зовется; так зачем мне коринфская, когда у меня Коринф? А чтоб ты не считал, что я без понятия, так я очень даже знаю, откуда все это коринфское пошло. Только, значить, Трой полонили, а Ганнибал — мужик хитрющий и большой мошенник — взял все статуи медные, золотые, серебряные, в костер свалил и поджег. А мастера тот сплав растащили и понаделали горшков всяких, тарелок, фигурок разных. Вот вам и коринфская

бронза, каша-меша, ни то ни се. И уж вы простите меня, а по мне, так стеклянная посуда лучшее, по крайности не воняет. Не бейся она, я бы на золотую и глядеть не стал; ну а так, конечно, грош ей цена.

51. Жил-был, однако же, мастер. Соорудил он такую чашу стеклянную, что и разбить нельзя. Понес ее Цезарю в подарок. Ну, допустили его. Протягивает опять же Цезарю — и об пол ее. Цезарь с переляку прям обмер. А тот чашу с полу поднял — она только помялась чуток, будто медная. Достает он молоток из-за пазухи да чашу-то играючи и выправил — любо-дорого. Ну, после такого он уж думал, что Зевса за яйца держит, а Цезарь и спроси: „Знает ли еще кто твой рецепт стекольный?“ Видишь ты?! А как тот сказал, что никто, повелел Цезарь его обезглавить: дескать, кабы этакую штуку узнали, так стало бы золота как грязи.

52. Не, я серебро больше уважаю. Кубки есть такие — мало с ведро... про то, как Кассандра сынишек режет, и лежат детишки мертвенькие, словно взаправду. Еще чаша есть у меня, что оставлена от благодетелей моих, так там Дедал Ниобу в троянского коня запихивает. Тоже и бой Гермерота с Петраитом у меня на кубках: увесистые такие! Нет, я сознания, что это мое, ни за какие деньги не продам».

Хозяин еще не кончил, когда слуга уронил на пол чашку. Оглянувшись на него, Трималхион произнес: «А ну-ка, быстро выпори сам себя, раз ты дрянь такая!» Мальчишка сразу заскулил, начал просить. «Чего ж ты меня просишь, — молвил хозяин, — я, что ль, твоей беде причина? Мой совет: себя же упрасивай дрянью не быть». В конце концов мы упросили его — простил слугу, а тот, отпущенный, стал скакать вокруг стола и кричать: «Воду в ведро, вино в нутро!» Мы оценили изящество шутки, и всех более Агамемнон, который отлично знал, за какие заслуги его и в другой раз пригласят. Между тем, выслушав нашу похвалу, хозяин стал пить хмельнее и, близкий уже к опьянению, говорит: «А что ж это никто Фортунату мою сплясать не просит? Я вам откровенно скажу — кордака лучше ее никто не спляшет». Воздевши руки кверху, сам он начал передразнивать Сира-гаера, а слуги подтягивали: «Мадейя перимадейя!» Уже он недалек был от того, чтоб пуститься в пляс, но тут Фортуната что-то ему шепнула на ухо — сказала, полагаю, что несовместимы с его достоинствами повадки столь подлые. О, какое же это было испытание, когда он не умел решить, Фортунате ли ему следовать или собственной своей натуре!

53. Решительно остановил его плясовой задор только делопроизводитель, огласивший нечто вроде городских известий: «В день седьмой до секстильских календ в Кумской усадьбе Трималхиона родилось мужского пола 30, женского — 40; пшеницы ссыпано в закрома с гумна 500 тысяч мер; быков выложено 500. Того же числа: раб Митридат распят на кресте за то, что поносными словами обозвал радость нашу, Гая господина. Того же числа: отложено в сундуки 10 миллионов, ибо другого помещения им не найдено. Того же числа: случился пожар в Помпеяньских садах, а началось с дома вилика Насты». — «Что-о? — воскликнул Трималхион, — когда это я успел Помпеяньские сады купить?» — «Прошлый год, — отвечивший делопроизводитель, — потому не оприходованы еще». Как вспыхнет Трималхион: «Да если я и вперед землю покупать буду и мне о том в течение шести месяцев не доложат, так я в книги записывать запрещаю!» Тогда же оглашены были постановления эдилов и завещания лесничих, в конце которых объяснялось, почему Трималхиону не оставляют наследства; а еще списки виликов, дело о разводе полевого смотрителя с отпущенницей — той самой, которую с банщиком застали; ссылка дворецкого в Байи; казначей, преданный суду; а еще судебное решение о комнатных слугах.

Наконец, явились акробаты. Здоровенный детина расставил свою лестницу и велел мальчишке карабкаться по ступенькам и наверху скакать под музыку, проходить сквозь горящий обруч и держать в зубах амфору. Любовался на это один Трималхион, приговаривая, до чего неблагодарное это ремесло. Впрочем, только две вещи на свете ему больше других и нравятся: акробаты да трубачи, а прочие гармонии чушь. «Купил я как-то, — сообщил он, — комедиантов да и заставил их нашу ателлану давать, а греку-свирельщику велел, чтоб пел по-латыни».

54. Не успел Гай окончить, как мальчишка рухнул на... Трималхиона. Слуги завопили, и гости тоже — не из-за этого плюгавца, конечно, он бы себе и шею сломил, так им бы потеха; а вот плохой выходил конец ужина, когда пришлось бы оплакивать чужого покойника! Сам хозяин взвыл страшным голосом и лежал так, точно рука его поранена; сбежались врачи, а впереди всех Фортуната, простоволосая, с большим бокалом в руках, крича в голос, какая она бедная и несчастная. Мальчишка, что с лестницы слетел, между тем пресмыкался у нас в ногах и просил отпущения. Я изнемогал, гадая, не готовится ли этим просьбам смехотворная какая-нибудь перипетия: все не выходил у меня из головы тот повар, что позабыл выпотрошить свинью. Потому я стал оглядывать всю столовую, не покажется ли из стены какой-нибудь фокус, особенно когда принялись колотить слугу, который ушибленную хозяйскую руку завернул в белую, а не в пурпурную шерсть. Подозрение мое почти оправдалось, ибо хозяин изрек такой приговор: вместо наказания — отпустить мальчишку на волю, и пусть никто не скажет, что такого мужа из-под раба высвободили.

55. Мы решение Трималхиона одобряем и начинаем на все лады пустословить про то, до чего переменчива бывает судьба человеческая. «Нужна, — сказал хозяин, — надпись об этом истерическом случае». Сейчас требует он таблички для письма и, недолго помучившись, читает следующее:

То, чего не ждешь, иногда наступает вдруг,
Ибо все наши дела вершит своевольно Фортуна.
Вот почему наливай в кубки фалернское, мальчик.

После таких стихов пошли толковать о поэзии. Долго решали, что лучше фракийца Мопса стихотворца нет, а тут

и вступил хозяин. «А скажи-ка нам, господин ученый, какая, по-твоему, разница между Цицероном и Публием? По-моему, тот речист, зато этот — человек порядочный. Можно ли лучше, чем эдак вот, сказать?»

Разрушит роскошь скоро стены римские...
 Павлин пасется в клетке для пиров твоих,
 Весь в золотистой вавилонской вышивке,
 А с ним каплун и куры нумидийские.
 И цапля, гостя милая заморская,
 Та Благочестья жрица, та танцовщица,
 Предвестница тепла, зимы изгнанница,
 В котле кутилы ныне вьет гнездо свое.
 Зачем вам нужен жемчуг, бисер Индии?
 Иль чтоб жена в жемчужном ожерелии
 К чужому ложу шла распутной поступью?
 К чему смарагд зеленый, дорогой хрусталь
 Иль Кархедона камни огнецветные?
 Ужели честность светится в карбункулах?
 Зачем жене, одетой в ткань воздушную,
 При всех быть голой в одеянье облачном.

56. «А какое ремесло, — прибавил он, — после наук станем считать всех труднее? По-моему, лекарем быть или менялой. Лекарь — тот знает, что у народишка в кишках делается, да еще когда лихоманка приходит; хоть я их и терпеть не могу: уж очень часто они меня утятинной горькой потчуют. Ну а меняла — тот сквозь серебро медь видит. То же и у скота, волы да овцы всех больше работают: по милости волов хлебушко жуем, а овцы — так ведь это их шерсткой мы красуемся. Эх, волки позорные, — и шерстку носим, и баранинки просим! Ну, пчелы, те совсем божьи зверушки: плюют медком, и пускай говорят, что они его от Юпитера брали. С того же и жалят: где сладкое, там и горькое!»

Хозяин совсем бы отнял хлеб у философов, как начали обносить нас вазой с записками, а приставленный к этому делу слуга читал, кому какой достается гостинец. «Серебро со свинством» — подан был окорок, на нем серебряные уккусницы. «Ошейник» — был подан кус бычачьей шеи. «Честность и огорчение» — вышли связка чеснока и горчица. «Порей и зверобой» — подали розги и бич. «Лебедь и медянка» — дан соус из лебеды и аттический мед. «Денное и ночное» — кусок жаркого и свиток. «Собачье и свинячье» — поданы зайчатина и окорок. «Буква да мышь, буква да ноги» — принесли гостю камыш, а на нем миноги. Смеялись весьма: была сотня подобных штук, да не удержала их память.

57. Аскилт с такой дерзкой безудержностью упивался всем этим, воздымая руки к небу и хохоча едва не до слез, что вспыхнул Трималхионов однокашник, тот самый, что местом был повыше моего, и как гаркнет: «Чего зубы скалишь, баран? Тебе, может, прием нашего хозяина не по вкусу? Тоже богач выискался: ты лучше, что ли, едаешь? Жаль, далеко от тебя сижусь, а то б я те по хайлу-то съездил, хранителем этого места клянусь! Ишь фрукт, туда же, зубоскалит, побродяга незнамо какой, потаскун, да ты дерьма своего не стоишь. Короче, задеру я на тебя ногу, так не будешь знать, куда деться. Меня не скоро рассердишь, да уж зато в мягком мясе червь заводится! Зубы скалит! Да с чего тут скалиться? Тебя, что ли, отец из другого места родил? Ты всадник римский, ну а я — сын царский! В рабы как попал? Да своей охотой пошел: лучше римским гражданином быть, чем дань платить. Зато теперь так живу, что никого не смешу. В люди вышел, людям в глаза гляжу, гроша медного никому не должен, к суду не привлекался, никто мне на площади не скажет: „Долг отдавай!“ И землицы купил, и денешки водятся: я, брат, двадцать ртов кормлю, да пса еще! Супругу свою на волю выкупил, чтоб об нее руки не обтирал никто, — по тыще денариев за голову выложил! В севираг угодил задаром; надеюсь, помру так, что краснеть не буду. А ты, видать, так трудишься, что уж и назад оглядеться некогда? На другом вошь видишь, на себе не видишь клеща. Тебе одному мы и надсмешны. Вон, учитель твой, более старше, и ему с нами нравится. А ты, молокосос, ни бе ни ме не знаешь; ваза глинная, чего там, ремешок ты размокший, мягче — не лучше! Ишь, богатей какой: два раза тогда обедай, два ужинай! Мне честность моя сокровища дороже. Короче, мне двух разов никто не напоминал. Сорок лет был я рабом! И никому приметно не было — раб я или вольный! Меня мальчишкой кудлатым сюда в город привезли: еще и базилики построено не было. Из кожи, бывало, лезу, чтоб хозяина потешить: то-то важнеющая была персона! Да ты весь ногтя его не стоишь. А ведь были, конечно, в дому, кто мне ножку норовил подставить. Спасибо гению хозяйскому, выплыл я. Вот где агон-то! Потому что свободным на свободе родиться — это проще, чем „марш сюда!“ Ну чего уставился на меня, как коза на горох?»

58. После такого обращения Гитон, который прислуживал, не умея более сдерживаться, рассмеялся, пожалуй, не совсем пристойным образом. Заметив это, Аскилтов супостат обратил свой пыл на мальчишку. «А ты, еще и ты хохочешь, луковица махровая! — гремел он. — Сатурналии счас, что ль? Декабрь месяц? Давно ли двадцатую долю уплатил? Да чего ждать от висельника? воронье мясо! Гляди у меня, прогневаается на тебя Юпитер, да и на хозяина твоего, на потатчика! Чтоб мне куском подавиться, только ради моего однокашника тебе спускаю, а то б я те по-

казал! Мы-то в порядке, а вот твои, которые тебе потакают, — мякина. Верно сказано: что хозяин, то и слуга. Ух, еле-еле держусь — горячиться не люблю, а разойдусь, так мать родную не пожалею! Ладно, отловлю тебя на улице, крыса, да нет, земли ком! Ни дна мне, ни покрывки, если я хозяина твоего в бараний рог не согну, да и с тобой управлюсь, хотя б ты, провалиться мне, Юпитера звал Олимпийца. Погодь, не помогут тебе патлы твои аршинные и хозяин грошовый! Ладно, попадешь мне на зуб, я не я буду, коль из тебя улыбочки эти не выколочу, хотя б у тебя борода была золотая. Погоди, прогневится на тебя Ахвина, да и на того, кто тебе первый сказал „марш сюда!“. Мы геометриям, да болтологиям, да ерунде этой, чтобы гнев богиня воспела, не обучались, ну а что каменными буквами — разберем, сотые доли считаем, от асса, от фунта, от сестерция. Ну-ка давай! На что спорим? Выходи, деньги на кон! Сейчас увидишь, что отец зря за тебя платил. А я, между прочим, из риторики знаю. Гляди: „Далеко иду, широко иду, кто я, угадай“. А то еще: „Бежит, а все на месте стоит“. „Растет, а меньше становится“. А-а? Забегал, засновал, употел, как мышь в лоханке? Тогда молчи да людей почище твоего не трогай, они тебя в упор не видят. Да плевал я на эти кольца рыжие, что ты у подружки стащил. Хватай-бери! Давай, идем на площадь денег просить в долг — увидишь, как моему железу поверят. Так-то, мокрохвостый! Пусть мне ни в чем поживы не будет, пусть я подлецом умру, пусть мою память проклянут, если я тебя в вывернутой тоге не настигну. Да уж и тот хорош, кто тебя обучил всему этому: фуфло, а не учитель. Мы учились, так учитель говорил, бывало: „Ну, порядок, что ли? Валяй домой, по сторонам не зевать, старших не задевать!“ А теперь ровно шалман, никого стоящего не выходит. Не, я каков есть, за свое ремесло богов благодарю!»

59. Аскилт уж затевал отвечать на эту ругань, но Трималхион, насладившись красноречием своего однокашника, прикрикнул: «Что за шум! Потихе, лучше будет! Ты, Гермерот, пожалел бы мальчугана! Кровя у него горячие, будь хоть ты поумнее. В этом деле завсегда так: кто побежденный, тот победил. Был бы ты теперь петушком таким же, ко-ко-ко, тоже, верно, петушился бы! Повернем-ка лучше сызнова на веселье, да вот гомеристов посмотрим».

Тут вошла толпа и ударила копьями в щиты. Трималхион уселся повыше на подушке, и пока гомеристы, предаваясь необыкновенному своему обыкновению, разговаривали греческими стихами, хозяин нараспев оглашал то же по латинской книге. «Знаете, — сказал он, — что за фабулу они дают? Жили два брата: Диомед и Ганимед; и была у них сестрица Елена. Ну, Агамемнон ее увез, а Диане лань подбросил. Вот Гомер излагает теперь, как троянцы с тарантинцами дерутся. Царь, понятно, одолел, а Ифигению, дочку свою, Ахиллу замуж отдал. Только от этого спятил Аякс и теперь самую суть нам выложит». При этих словах Трималхиона гомеристы издали вопль, слуги забегали, и был внесен на тяжеленном серебряном блюде целый разварной теленок в шлеме. За ним ворвался Аякс, размахивая, как полоумный, обнаженным мечом; бросившись к теленку, он рубил его налево и направо, искромсал всего и на лезвии меча раздал куски телятины потрясенным гостям.

60. Не успели мы еще и в себя прийти от этих изящных перипетий, как вдруг затрещал потолок и сотрясся триклиний. Я в ужасе вскочил, трепеща, как бы не обрушился сверху какой-нибудь акробат. Да и другие гости тоже с недоумением подняли глаза и ждали, не сулит ли им небо чего новенького. Но вот потолок раздвигается, и тут же спускается огромный обруч, словно сбитый с огромной бочки, весь увешанный золотыми венками и склянками благовоний. Хозяин велит нам разбирать эти гостинцы, я взглядываю на стол, а тут уж стояло блюдо с пирогами; посреди красовался слепленный булочником Приап и держал в широком переднике всякие плоды и гроздьи, подерживая их обычным для себя способом. Мы не без алчности потянулись было к этой роскоши, когда новое театральное действие освежило наше веселие. Все эти пироги, все плоды при малейшем прикосновении брызгали шафраном, так что терпкая влага достигала до лица. Тогда мы догадались, что это блюдо, столь изобильно и благочестиво напоенное священной влагой, — дань обряду. Мы привстали на ложе и произнесли: «Августу, отцу отечества — слава!» Тем не менее и после такого моления иные потаскивали фрукты; набрали их и мы, даже в салфетки, и более всех я, не знавший предела тем дарам, какие загружались Гитону за пазуху. В это время вошли трое слуг, в белых туниках с поясами, двое из них поставили на стол изваяния Ларов с буллами на шеях, а третий обходил кругом с чашей вина и кричал: «Да помогут нам боги!..» Хозяин пояснил нам, что божки эти называются один «Незевай», другой «Получай», а третий «Наживай». После этого все лобызали точное подобие Трималхионово; совесть принудила и нас.

61. И вот, когда все пожелали себе доброго душевного и телесного здоровья, обернулся хозяин к Никероту: «Э-э, да ты в компании прежде повеселее бывал; а теперь чегой-то молчишь, ничего не промычишь; уж будь другом, хоть для меня Расскажи нам историю твою». Растроганный дружеским обращением, Никерот ответил: «Не будь мне ни в чем удачи, коли я давно с умиления чуть ли не треснул: все смотрю на тебя — не налюбуюсь! В самом деле — веселиться так веселиться! Правда, этих мне грамотеев страшновато: небось смеяться с меня станут. А-а, их дело! Так и быть, расскажу, пусть смеются, от меня не убудет. Пусть смеются, лишь бы не насмехались». Слово такое изрек и начал рассказ.

«Как я еще в рабстве был, жили мы в Тесном переулке: верно, знаете дом Гавиллы? Ну так вот; божеским изволением, полюбил я там хозяйку Теренция трактирщика; да вы, чай, все ее знали, Мелиссу из Тарента: вот уж ягодка была! Вы не думайте, что я, провалиться на месте, ее физицики или вроде из-за любовного дела — просто поклада-стая была баба; что ни попросишь, никогда отказа не будет. Асс, пол-асса заведутся — у ей отложу, и никогда меня не обманула. Ну вот, скончался сожитель ее в усадьбе. Я сквозь все препоны, все рогатки рвался-метался, чтоб к ней пробиться, — друг, известное дело, в беде познается. А тут как раз хозяин в Капую отлучился — отборное ба-рахло сбывать.

62. Тем-то случаем и уговорил я нашего постояльца проводить меня до пятого мильного столбика. А он был служивый, силен, как смерть! Улизнули мы с последними петухами. Месячно было, что в полдень. Дошли до кладбища; ну, приятель мой завернул туда, значит, до ветру, а я песенки пою да звезды считаю. Оглянулся я на сопутника, а он, догола раздевшись, и всю одежду тут же у дороги и склал. У меня душа чуть в нос не ушла: ни жив ни мертв стою! А он обмочил одежду свою и вдруг волком перекинулся! Верьте, не шую, коли соврал я — не видать мне достатка никакого! О чем бишь я? Ах вот — только он волком обернулся — и выть. А там в лес! Спервоначалу я и опомниться не мог, где я; потом подхожу, хочу его одежду поднять, а она уж каменная! Мало не подох я с перепугу, а меч таки выхватил и давай, палки-моталки, теней крошить, и так до самой усадьбы, пока к подруге не пришел. Вхожу — что привидение, сам без памяти, пот по желобку текет, в глазах муть, отдышался еле! Тут Мелисса моя ну дивиться, чего меня по ночам носит, да и говорит: „Что б тебе пораньше прийти? Как раз помог бы нам чуток: в усадьбе волк был да всю скотинку, живодер этакий, перерезал! Только и он не даром ушел: наш раб ему шею дротиком проколл“. Выслушал я это и, во всю ночь глаз не сомкнувши, чуть рассвело, словно торгош обобранный, как припущу до дому! Пробегаю то место, где одежда каменная лежала, не нашел ничего, только крови маленечко. Домой прихожу — а там лежит служивый мой на постели, точно бык, а лекарь шею ему перевязывает. Тут я смекнул: оборотень! И уж наперед хоть убейте меня, с ним дружбу водить не стал. Об этом другие соображай, а я коли соврал, пусть демоны ваши на меня прогневаются».

63. Все остолбенели от изумления, а Трималхион говорит: «Ну, дружнице, и рассказец у тебя! Верь не верь, у меня волосы дыбом стали; знаю: Никерон пустяков травить не станет, человек надежный, не пустельга! Ну и я вам тоже — осел после соловья — ужас один расскажу. В те поры, как у меня еще грива была, — а жил я сызмальства не для своего удовольствия, — помер у самого у нашего наперсничек — жемчужинка, и умница, и все что хотите. Как, значит, по нем мать-то бедняжка заголосила, да и многие из наших тогда пригорюнились, а ведьмы как начали — словно собаки по зайцу гонять! Был тогда у нас каппадокиец один, верзила, никого не боялся, да и силища тоже: Юпитера разгневанного удерживать мог! Этот не струсил: выхватил меч, за двери выскочил да, обмотавши нарочно руку левую, женщину в этом самом месте — чур, от слова не станется! — наскрозь и просадил! Слышим, воет; впрочем, врать не буду: самое-то не видали. Да только вернулся наш громила, повалился на кровать, а тело все синее, словно его бичом стегали: что значит — нечисть-то эта его потрогала! Заперли мы двери да и опять за прежнее. Только мать захотела мертвенького сынишку обнять, тронула — а там, видит, чучело соломенное лежит! Ни тебе сердца у него, ни кишок, ничегошеньки! Видно, ребенка-то ведьмы сцапали да вместо него куклу соломенную подсунули. Уж это вы мне поверьте, на том стою: и ведьмы есть, и духи ночные: все вверх дном подымут. И громила наш, верзила-то, после того уж не оправился, да и вообще скоро с ума спятил и помер».

64. Мы удивились не менее, чем уверовали, и поцеловали стол, чтобы ведьмы сидели смирно, когда пойдем с ужина. У меня уж и светильников стало более прежнего в глазах, да и столовая переменялась решительно. А Трималхион говорит: «Слышь, Плокам, что ж ты ничего нам не порасскажешь, ничем не позабавишь? Прежде ты веселей смотрел: все куплеты напевал, а то и арию! Смоквы, смоквы, где ваша сладость!» — «Правда твоя, — отвечал тот, — умчалась четверка моих коней, зато подагра со мной! А был молод, так с пеня беркулез сделался. Уж сплясать ли, или там куплеты спеть, цирюльника представить — так у меня равных не было, кроме разве Апеллета». Тут приставил он ладонь к губам и просипел какую-то пакость, каковую тут же объявил «грецкой музыкой».

Теперь и сам Трималхион, изображая трубача, обернулся к своему любимчику, коего именовал Крезом. Мальчишка этот был подслеповатый, с гнилыми зубами; он все кутал в зеленую тряпку черненькую, непристойно разжиревшую собачонку, клал ей на подушки хлебные объедки, а та отворачивалась с отвращением. Вспомнив про эту заботу, Трималхион велел привести своего Скилака, «надежу дома и семьи». Тут же приведен был на цепи страшный барбос; привратник пинком дал ему знак лечь, и тот лег перед столом. А хозяин, бросая ему булки, произнес: «Никто в доме моем столько меня не любит». Негодуя, что Скилака так щедро нахваливают, мальчишка спустил свою шавку на пол и стал поощрять ее к раздору. Ну, а Скилак, истинный душою пес, наполнил столовую отвратнейшим лаем и едва не разодрал Крезову Маргаритку. Ссора, сумятица, — а в довершение всего рухнул на стол светильник, вдребезги перебив всю хрустальную посуду, кое-кого из гостей спрыснув горящим маслом. Чтобы не показалось, что он сожалеет об убытке, Трималхион расцеловал мальчишку и велел вскарабкаться себе на спину. Тот нимало не медля оседлал его, стал тузить от души и кричал с хохотом: «Отвечай-ка, сколько гусей летело?» Вытерпев это некоторое время, хозяин велел смешать порядочное ведерко и раздать всем рабам, которые сидели позади гостей. «С условием, — прибавил он, — ежели кто добром не захочет принять, тому лей на голову. Днем строжиться, теперь веселиться!»

65. За такой человечностью последовали деликатесы, которых одно воспоминание, прямо скажу, меня ранит. Вместо дроздов подали каждому по жирной такой курице и гусиные яйца под шапкой, а хозяин настойчиво предлагал нам их отведать, уверяя, что это куры без костей. Внезапно двери триклиния сотрясены были ликтором, и в длинном белом одеянии взошел гость с шумной ватагой. Сокрушенный этим величием, я думал, что явился претор, порывался уже вскочить и босым стать на пол, но посмеялся моей поспешности Агамемнон. «Сиди смирно, — говорит, — глупый ты человек! Это — Габинна, семир, он же похоронных дел мастер: надгробия его признаны великими». Успокоенный этой речью, я опустился на ложе и с великим любопытством взирал на входившего Габинну. Хмельной, тот рукой опирался на плечо жены своей; на голове у него висело несколько венков, а умощения стекали со лба ручьями. Преважно разлегшись на преторском месте, он тотчас потребовал вина и горячей воды. Любу-

ясь веселым гостем, и сам Трималхион спросил вместительный кубок и осведомился, каково принимали. «Всего было, — ответил тот, — тебя не хватало: сердцем-то я тут был! А недурно было, ей-ей! недурно! Славный устроен был Сциссой девятый день по своему рабе, земля ему пухом! На волю отпущен посмертно! А ведь придется Сциссе сборщикам пять процентов порядочных внести: покойник у них в пятьдесят тысяч оценен! А в общем, славно погуляли, хоть и пришлось половину питья покойнику на косточки выплеснуть».

66. «Да что у вас все-таки на столе было?» — справился хозяин. «Расскажу, коли сумею, — ответил тот, — а то у меня такая крепкая память, что иной раз свое имя забудешь. Значит, так: перво-наперво дали поросенка в колбасном венце, кругом колбаски кровяные и куриные потрошки — превкусно состряпано; а еще, кажись, бураки да отрубяной хлеб, без всяких там: по мне, куда лучше белого, силу дает, и по делам пойдешь — не плачешь. На второе сырная запеканка холодная, а на подливку горячий мед, политый первеющим испанским вином! Ну, запеканки-то я ни крошки не тронул, зато подливочки хлебнул достаточно! Кругом горох с волчьими бобами, орехов вволю и каждому по яблоку. Я, впрочем, парочку прихватил да вот в салфетку завязал: коли не принесу мальчишке гостинца, шуму наделает! Да, вот еще, спасибо, супруга подсказывает: было у нас, между прочим, по куску медвежатины, ну, Сцинтилла моя сдуру-то кусанула, так ее наизнанку вывернуло; а я ничего: больше фунта оплел: на вкус — чисто кабан. Да что, всамделе, думаю себе, ест же медведь людишек, так людишкам и подавно медведя есть. На закуску молодой сыр был и патока, да по устрице каждому, да по куску сычуга, да ливер в формочках, да яйца под шапкой, да репа, да горчица, да дерьмо на палочке... Паламеду не придумать! Да, еще на блюде тминные семечки с приправой разносили, так иные бессовестные туда трижды пригоршни запускали; а уж на окорок и глядеть не хотелось!»

67. «А ты скажи мне, Гай, чего это Фортуны за столом нет?» — «Не знаешь ты ее, что ли, — был ответ, — пока серебра не уберет, пока остатков слугам не раздаст, маковой росинки в рот не возьмет!» — «Так вот, — возразил гость, — коли она сейчас с нами не ляжет — я отчаливаю!» И чуть было не встал, да по хозяйскому знаку прислуга четыре-пять раз выкликнула Фортунату. Она и вошла в желтом кушаке, снизу видна алая туника, на ногах витые браслеты и позолоченные туфельки. Обтирая руки висевшим на шее полотенцем, она поместилась на ложе, где возлежала Габиннина хозяйка Сцинтилла, захлопавшая на радостях в ладоши. «Милая, тебя ли вижу?» — расцеловала ее Фортуната. Дошло вскоре до того, что Фортуната стащила с своих лап браслеты и совала их в глаза дивившейся Сцинтилле; потом расстегнула запястья на ногах и сняла с головы сетку — по ее словам — из червонного золота. Заметив это, Трималхион велел подать себе все эти драгоценности и говорил так: «Вот кандалы женские: грабят нас, балбесов! У нее золота на шесть с половиной фунтов; а впрочем, и у меня самого имеется браслетик фунтов на десять — из десятой процента от доходов Меркурия». В довершение всего, чтобы не показаться хвастуном, он велел сходить за весами и обойти с золотом всех гостей, чтоб удостоверились в весе. Не отстала и Сцинтилла: сняла с шеи золотой медальон, «талиманчик», как она его называла, вынула оттуда пару сережек и дала в свой черед рассмотреть Фортунате. «Муженька моего подношение, — сказала она, — ни у кого лучше нет!» — «Еще бы, — промолвил Габинна, — ты мне нутро вымотала, пока я тебе этих горошин стеклянных не купил. Ей-ей, будь у меня дочка, я бы ей ушонки прочь отрезал! Не будь на свете баб, у нас бы все дешевле пареной репы шло; а тут писаешь кипятком, а пьешь холодком!»

Между тем женщины в упоении стали спьяну взапуски хохотать и целоваться. Одна трещала, какая она внимательная мать семейства, другая — об увлечениях и невнимании мужа. Посреди этих взаимных излияний Габинна потихоньку сошел с места и, ухватив Фортунату за ноги, занес их на ложе. «Ай, ай!» — вскричала та, когда туника скользнула выше колен. Закрыв платочком пылающее негодованием лицо, она прильнула на грудь Сцинтилле.

68. Когда несколько времени спустя Трималхион объявил перемену блюд, слуги убрали все столы и принесли другие, разбросали опилки, пропитанные шафраном и киноварью и еще — такого я никогда не видел прежде — мелкой слюдяной крошкой. Тогда хозяин произнес: «Мог бы я, конечно, удовольствоваться этим блюдом, даден вам второй стол, но коли есть хорошенькое что-нибудь, неси». Между тем раб-александриец, подававший горячую воду, засвистал по-соловьиному, а Трималхион вскрикивал то и дело: «Сменяй!» А тут и новая забава: стоявший подле Габинны раб, полагаю, по господскому приказу, взвыл вдруг не своим голосом:

Тою порою Эней уж плыл по открытому морю...

Никогда еще звуки столь въедливые не поражали моего слуха. Не говоря уж о варварской разноголосице то нараставших, то замиравших криков, примешивал он сюда же стихи ателланы, так что первый раз в жизни я был недоволен и Вергилием. Когда же он наконец притомился и замолк, Габинна продолжил: «А какая была его наука? Среди зазывал на площади возрос — и все тут. А зато погонщика там представить, разносчика ли — никого ему под пару нет. Шибко умнеющий парнишка: он и сапожник, он и повар, он же пекарь, и все что хотите. Есть за ним два порока, кабы не они, отдай за него все медные: обрезанный и храпит крепко. А что глазом косит — ничего, вроде Венеры выходит! Ну и молчать не любит, глаз не закрое никогда. Я за него три сотни денариев отсчитал!»

69. «Только ты, — перебила его Сцинтилла, — не все художества этого негодника выкладываешь. Потаскун! Я уж его отучу, постараюсь!» Рассмеялся Трималхион. «Узнаю, — говорит, — каппадокийца, себя ни в чем не обидит! И за то хвалю, ей-ей. Помрешь, на могилу не принесут этого! А ты, Сцинтилла, ревнива не будь! Поверь мне, знаем и мы вас! Да будь мне пусто, если я хозяйку мою не пользовал, да так, что даже и хозяин догадываться начал: зато он и отослал меня за вилой присматривать. Ладно, молчи, язык, хлеба дам». А этот негодник раб, будто его и впрямь похвалили, вынул из-за пазухи глиняный светильник и битые полчаса представлял трубача, между тем как Габинна ему подпевал, играя рукой на губе. Под конец тот вышел прямо на середину и то подражал флейтистам,

играя на тростинках, то представлял житея погонщика, пока не подозвал его Габинна к себе, поцеловал и протянул вина со словами: «Нормально, Масса, сапоги дарю тебе!»

Нашим мучениям не было бы конца, если бы не внесли десерт последний: дроздов из пшеничного теста, начиненных орехами и изюмом. Потом подали кидонские яблоки с торчащими шипами, наподобие ежей. Но это еще можно было снести, когда бы не последовало блюдо настолько дикое, что лучше уж с голоду умереть. Казалось, поставлен был откормленный гусь, обложенный рыбой и всяческой дичью; а Трималхион говорит: «Все, что тут положено, из единой природы создано». Я как человек догадливый тотчас прикинул, что здесь такое, и, на Агамемнона поглядев, говорю ему: «Будет удивительно, если все это не из... создано или, в лучшем случае, из грязи. На сатурналиях в Риме видал я такие образы яств».

70. Еще я не кончил свою речь, когда Трималхион произнес: «Как верно, что у меня дело растет, а не тело, — все это мой повар из свиньи состряпал! Человек — дороже не бывает! Хочешь — из пузыря рыбку сделает, из сала — голубя, из оковалка — горлицу, из окорока — курицу. Я ему имя хорошенькое придумал: он у меня Дедал. А что он умница, так я ему с Рима подарок привез: ножи железные с Норика». И он сей же час велел принести последние и любовался, на них глядя. Также и нам дана была возможность испытать лезвие на своей щеке. Вдруг являются двое слуг, словно поссорившихся у водоема: во всяком случае, они все еще держали амфоры. Да только, хоть Трималхион и вел разбирательство по их спору, ни один из них не слушал его решения, а все колотил палкой по амфоре другого. Задетые наглостью этих пьяниц, мы начинаем присматриваться к дерущимся и замечаем, как из амфор сыплется устрицы и ракушки, каковые были собраны слугой, а мальчиком разнесены на блюде. Этим изыскам не уступил изобретательный повар: на серебряной сковородке принес он жареных улиток и что-то пропел дрожащим, противным голосом. Совестно рассказывать, что было потом: кудлатые мальчишки внесли — неслыханное дело — умощения в серебряной лохани и умастили ноги возлежащих гостей, предварительно увенчав голени и лодыжки цветами. Потом такого же умощения подлили в сосуд с вином и в светильник.

Уже Фортунату тянуло плясать, уже Сцинтилла чаще била в ладоши, чем говорила, а Трималхион крикнул: «Приглашаю, Филаргир и Карион, хоть ты и ярый зеленый, да скажи и сожительнице своей Менофиле, чтобы с нами возлегла». Что тут сказать? Едва не столкнули нас с наших мест, так буйно овладела челядь всем триклинием. Я со своей стороны обнаружил, что выше меня расположился повар — тот самый, создатель гуся из свиньи, от которого несло рассолом и приправами. Да и не довольно ему было лежать рядом, нет же, пустился тут же подражать Эфесу трагику, время от времени предлагая хозяину биться об заклад, что на ближайших бегах в цирке пальма первенства достанется зеленому.

71. Растроганный этим вызовом, Трималхион воскликнул: «Други мои, рабы — тоже люди, тем же млеком вскормлены, да только довлеет над ними злая судьбина! Ну, буду жив, так дам им скоро вольным воздухом подышать; короче, их всех по завещанию на волю отпускаю. Филаргиру отказываю еще и землю да и сожительницу его вдобавок, Кариону — доходный дом, да выкупных пять процентов, да кровать с бельем. А всему добру Фортунату назначаю наследницей, прошу всех любить ее и жаловать! Все это я для того объявляю, чтоб люди мои меня уже теперь любили, как покойника!»

Все рассыпалось в благодарности к хозяину за его милости, а он, шутки в сторону, велел принести свое завещание и с начала до конца прочитал его рыдавшей прислуге. Потом он повернулся к Габинне и говорит: «Что, друг сердешный, воздвигаешь ли памятник мой, как я заказывал? Весьма прошу тебя: изобрази ты у статуи моей в ногах собачку, да венков, умощений, да все подвиги Петраита-молодца — я, стало, через тебя и по смерти жить буду! Да вот еще, чтобы все место было вдоль — сажен десятка полтора, а вглыбь — вдвое столько. Пусть их вокруг могилки моей деревья растут со всяким фруктом да виноградище! До чего ж заблуждаются люди: у живых дома изукрашены, а никто не подумает об той обители, которую подоле населять придется! А для того пускай будет наперед всего на надписи прописано: „Гробнице сей по наследству не переходить“. Ну и еще позабочусь и распоряжение завещательное сделаю, чтоб мне мертвому ни от кого обиды не принять: я из отпущенных одного к усыпальнице сторожем назначу, чтобы, значит, народ к памятнику моему за нуждой не бегал. А еще тебя прошу, на памятнике моем кораблики сделай, чтоб на всех парусах летели, а я чтоб на судейском месте сидел — в претексту облачен, на каждом пальце по золотому перстню и в народ из мешка деньгами сыплю: я ведь, знаешь, народу угощение дал — по два денария. А хочешь, пусть там и триклинии будут, и как всем людям хорошо. А по правую руку мне Фортунаты статую поставишь: в руках у ней голубка, а на ленточке собачку ведет; тут же и цацарон мой, и амфоры огромные, да закупорены чтоб, не то прольется вино. А одну, пожалуй, сваяй разбитую, и над ней мальчишка плачет. Посредине часы — понадобится кому время посмотреть, волей-неволей имечко мое прочтет. А еще подумай хорошенько, годится ли, по-твоему, такое надписание: „Здесь покоится Гай Помпей Трималхион Меценатиан. Севиром избран заочно. В любую декурию римскую попасть мог, не пожелал. Честен, тверд, предан. С малого начал, тридцать миллионов оставил. Философии не обучался. Будь здоров и ты“».

72. После этих слов хозяин залился слезами. Заревела Фортуната, заревел Габинна, а там и все семейство наполнило триклиний стенаньем, словно их позвали на похороны. Да что уж тут, принялся и я всхлипать. Тогда Трималхион сказал: «А, коли знаем, что помрем, так чего ж не жить! Я вам худого не пожелаю, рванемте-ка в баню, ей-ей хорошо будет; головой стою — не раскаемся: она словно печь каленая!» — «Истинно верно, — подтвердил Габинна, — один день надвое растянем, легче будет!» И он, вскочив с места, босой устремился вслед за ликующим хозяином. Обернулся я к Аскилту и говорю: «Ты как думаешь? я если увижу баню, тут мне конец». — «Не станем

перечить, — ответил тот, — а пока они в свою баню идут, улизнем в сутолоке». На том порешив и взяв Гитона в провожатые по галерее, мы пробираемся к дверям, где цепной пес встретил нас с таким неистовством, что Аскилт с перепугу упал в бассейн с водой. Про меня нечего говорить: я и намалеванного пса давеча испугался, а тут с пьяных глаз, принявшись спасать барахтавшегося в воде, полетел сам в тот же омут! Но вот явился спаситель наш, дворецкий, который и разъяренного пса смирил, и нас, дрожавших, вытащил на сухое место. А Гитон, умница, сразу от барбоса остроумнейшим способом откупился: все, что от нас за ужином получил, он побросал лающему зверю; увлеченная едой, собака утишила свой гнев. А когда мы, замерзая совершенно, упрашивали дворецкого, чтоб он выпустил нас за двери, «ты ошибаешься, — сказал он мне, — если считаешь выйти там, где вошел; у нас, брат, ни единого гостя никогда той же дверью не выпускают: впусьт в одну, в другую выпустят».

73. Что могли мы, жалкие люди, сделать, попав в этот новый Лабиринт? Теперь уже мы мечтали идти мыться, а потому своей волей просим дворецкого, чтобы вел нас в баню, и, скинув одежду, которую Гитон принялся сушить при входе, вступаем в баню, представлявшую собой место тесное и похожее на вместилище холодной воды, где вытянувшись стоял Трималхион. Но и здесь не дано было избавиться от его меры не знающего самохвальства. Теперь он рассуждал, что ничего нет лучше, чем мыться без толкотни и что на этом самом месте когда-то была пекарня. Наконец, он сел, утомленный, но, соблазнившись банной гулкостью, разинул чуть не до потолка пьяную свою пасть и залился песнями Менекрата, как утверждали те, кто умел понимать его язык. Остальные гости, взявшись за руки, кружились хороводом вокруг чана и улюлюкали на все голоса. Иные, заложив руки за спину, старались поднять зубами с полу кольцо или, став на одно колено, перегибались затылком назад и силились дотянуться до самых пальцев ноги; а мы в свою очередь, пока те развлекались как могли, мы опускаемся в ванну, уготовляемую для хозяина.

Когда хмель рассеялся, нас провели в другой триклиний, где Фортуната уже расставила свои изыски. Тут мы рассмотрели светильник и бронзовых рыбаков, столы все из серебра, вокруг — чаши глиняные с позолотой и вино, которое цедили сквозь полотно на глазах у всех.

«Други мои, — сказал Трималхион, — сегодня мой раб первое бритье празднует; хороший — чтоб не соглазить! человек, подходящий! А потому — тронули и чтоб гулять до зари!»

74. Не успел он кончить — пропел петя-петушок. Встревоженный этим гласом, хозяин велел вылить вина под стол, а светильник — окропить чистым вином. Мало того, он поменял перстень с левой руки на правую и сказал: «Не зря этот трубач нам знак подал: не то пожару быть, не то помрет кто-то по соседству. Чур нас! А потому кто принесет этого глашатая, тому наградные!» Не успел договорить — уж тащат соседского петуха, каковой приговорен был хозяином к сварению в котле. Сейчас же ощипывает его тот повар-искусник, который недавно настряпал птиц и рыб из свиньи, и кидает в кастрюлю. А пока Дедал разливал обжигающую жидкость, Фортуната молола перец в деревянной мельнице.

Ну а когда полакомились деликатесами, хозяин оглянулся на прислугу и «вы это что, — говорит, — все не ужинали? А ну, прочь, пускай теперь другие послужат». Тут вступил новый отряд, и те, уходя, воскликнули: «Прощай, Гай!», а эти — «Здравствуй, Гай!» Тогда же омрачилось впервые наше веселье. Пришел с новой сменой совсем недурной мальчонка, тут Трималхион и кинься на него с лобзаннями. А потому Фортуната, чтобы не уронить своих прав, принялась поносить мужа, величая его отребьем и срамником, раз он не умеет похоть свою придержать. Напоследок она бросила: «Кобель!» Трималхиона задела брань, он и запусти кубком Фортунате в лицо. Та возопила, словно ей глаз выбили, и трясущимися руками закрыла лицо. Всполошилась и Сцинтилла, укрывая ту, трепещущую, у себя на груди. Более того, внимательный мальчишка тот тоже приложил к хозяйкиной щеке холодный кувшинчик. А Фортуната, прильнув к нему, заплакала-зарыдала. Между тем Трималхион не унимался. «Что-о?! — кричал он. — Актерка мне станет перечить?! С каната ее снял, в люди вывел! Ишь, раздулась, как жаба! Через плечо никогда не переплюнет! Колода, не женщина! Ну да, кто на чердаке родился, тому дворец не приснится! Пусть гений мой от меня отвернется, коли я не усмирю эту Кассандру армейскую! А я-то, дурень грошовый, из-за нее десяток миллионов прозевал. Сама знаешь, не вру! Агафон-то, парфюмер хозяйки соседней, отозвал меня. „Мой тебе совет, — говорит, — роду своему вымереть не дай“. А я-то все добрячка ломаю, славы худой боюсь — себе же крылья подрезал. Ну, ладно, пожди! Ногтями меня откапывать станешь! А чтоб ты прочухала, чего ты над собой сделала: слышь, Габинна, не хочу, не нужно статуи ейной на памятнике на моем, а то мне и покойником все с ней грызться. Хуже того, еще ты не знаешь, как я навредить умею: мертвого меня ей не целовать, не желаю!»

75. После таких раскатов Габинна стал упрашивать хозяина не гневаться боле. «Все-то, все мы грешны, — говорил он. — Чай, не боги, а человеки». Это же подтвердила плачущая Сцинтилла и, заклиная Гая его гением, стала просить, чтобы переломил он себя. Не умея долее сдерживать слезы, Трималхион говорит так: «Твоей, Габинна, мощной клянусь — плюнь ты мне в рожу, если я в чем виноват! Что мальчишку этого славенького чмокнул, так ведь не за красу его, — славный, вот что. Уж он десятые доли высчитывает, книжку с листа читает, подачки копит: уж он себе на них фракийскую форму купил, стульчик гнутый и два черпачка. Так мне потому и не глядеть на него? Не велит Фортуната! На ходули забравшись, у ней мнение? Мой тебе совет, совушка: сама свое добро переваривай, а меня, милая моя, ощериться не вынуждай, не то увидишь, какой у меня есть нрав! Ты меня знаешь: что порешил, колом пришил! Ну, да ладно — не будем о грустном! Прошу вас, други мои, ублажайте себя! И я был прежде как вы, да старанием собственным видите до чего дошел. Есть в голове умишко — в люди выйдешь. Другое прочее — чушь одна! „Умно купи, с толком продай!“, а то иной вам такого нагородит! Вот я — с богатства трескаюсь! Рыдаешь,

храпуша? Смотри, как бы о жребии своем не возрыдать! Ладно, о чем это я? Честен, вот и добрался до богатства такого. С этот вот канделябер был, не больше, как из Азии прибыл. Короче говоря, всякий день, бывало, к нему примеряюсь. А чтоб скорее шерсть на роже росла, все маслицем из светильника губу потираю... Четырнадцать годков у хозяина за жену ходил — а что худого, коли господин желает? Хозяйка, та тоже была премного довольна. Смекнули? Хвастать не хочу, оттого и молчу.

76. Ну, как-никак, изволением богов, стал я хозяйствовать в доме, а там и к хозяину в душу залез. Что говорить: он меня вместе с Цезарем наследником сделал, получил я наследство — с сенаторской каймой. Ну, да человеку все мало. Подвзаялся торговать. Длинно рассказывать не стану: пять судов снарядил, погрузил вина — оно в те поры на вес золота ходило, — отправил в Рим. И что вы думаете? Будто я им так приказал: все разом потонули суда! Истинно слово, не вру: в один день у меня Нептун тридцать миллионов слопал! Думаете, я руки опустил? Как не так: я от убытка этого не поперхнулся, словно не было ничего! Другие построил — больше, лучше, задачливей: никого не было, кто б меня крепким мужиком не назвал: у большого корабля — большая, знаешь ли, сила! Опять вина нагрнул, сала, стручков, да благовоний, да рабов. Ну, тут и Фортуната святое дело сделала: все золото свое, все тряпье продала да мне сотню золотых в руку положила. Отсюда пошло вздыматься мое добро. Спорится дело, коль боги захочут. В один оборот округлил миллиончиков десять. Тотчас откупил все поместья, что прежде за благодетелем за моим были. Строю себе дом, покупаю людей, вьючный скот; к чему притронусь — растет, как сот. А как собралось у меня больше казны, чем на всей родине было, я и шабаш: с торговлей покончил и давай на отпущенниках наживаться. И уж подлинно: я и браться-то ни за что не хотел, да уговорил меня кудесник, что забрел как-то сюда в колонию, гречишка один — Серапой звали, завсегдатель был у богов. Он обо мне такое рассказал, о чем я и сам перзабыл, разъяснил мне все с головы до пят, в кишки заглянул; разве того только не сказал, чем я вчера ужинал.

77. Можно подумать, он век со мной прожил. Да вот, Габинна, ты, кажись, был тогда. „Хозяйку твою ты, — говорит, — тем-то вот взял, в друзьях тебе нет удачи, никто твоего добра не помнит как следует; земли у тебя необъятные. Пригрел ты змею на груди своей“. А еще то, чего мне бы не рассказывать, — что остается и по сей час моей жизни тридцать лет четыре месяца и два дни. А мимо того, скоро получать мне наследство. Довлеет надо мной моя судьбина. Так что удастся мне, может, до Апулии угодья довести, тогда буду считать, что недаром прожил. А пока Меркурий меня хранит: выстроил я дом этот, сами помните, была конура, нынче — храм. Четыре столовых имеется, комнат жилых — двадцать, мраморных портиков — два, да наверху комнатушки рядком, да моя спальня, да вот этой змеи логово, да привратника каморка отменная, да и гостям есть где приткнуться. Короче, сам Сквавр, бывало, сюда наедет, так нигде лучше гостить не предпочитает, а у него отцовская усадьба приморская в наличии. Да много чего у меня есть, покажу вам сейчас. Верьте мне: есть асс — стоишь асс, имеешь — силу заимеешь. Вот и сотоварищ ваш — был лягушок, стал царь! Ты подай-ка, Стих, то платье выходное, в каком хочу, чтоб выносили меня. Подай и умащений, и на пробу из амфоры той, из коей велю косточки мои омыть».

78. Не промедлил Стих и принес в триклиний белый покров и тогу с пурпурной каймой. А хозяин велел нам ощупать, хороша ли шерсть, из которой они сработаны. «Смотри у меня, Стих, — промолвил он с улыбкой, — чтоб этой ткани мыши да моль не тратили, не то я тебя живьем изжарю. Желая, чтоб на славу меня хороняли, чтобы весь народ для меня доброго просил». Сейчас откупорил он пузырек с нардом и всех нас помазал со словами: «Уповаю, что будет мне мертвому так же славно, как и живо». Он еще и вино велел налить в винный сосуд и пригласил: «Вообразите, что тризну по мне правите».

Стало совсем тошнотворно, когда Трималхион, постыдно и тяжело охмелевший, велел завести в триклиний новых исполнителей — трубачей, а сам, утопая в подушках, вытянулся на последнем своем одре и распорядился: «Считайте, что помер я; вдарьте-ка чего хорошенького». И завели же трубачи погребальный вой! Особенно хорош был раб того похоронных дел мастера, что был красой собрания, — этот такое рванул, что всполошил целую округу. А потому пожарные сторожа из соседней части, решив, что у Трималхиона пожар, нежданно вломилась в дверь и стали, в соответствии с предписаньями, орудовать с помощью воды и топоров. Улучив неоцененный случай, мы надули Агамемнона и бежали стремглав, словно и вправду от пожара...

C. PETRONI ARBITRI SATYRICON 26–78

Venerat iam tertius dies, id est expectatio liberae cenae, sed tot vulneribus confossis fuga magis placebat quam quies. Itaque cum maesti deliberarem quonam genere praesentem evitarem procellam, unus servus Agamemnonis interpellavit trepidantes et: «Quid? vos, inquit, nescitis hodie apud quem fiat? Trimalchio, lautissimus homo. Horologium in triclinio et bucinatorem habet subornatum, ut subinde sciat quantum de vita perdidit!»

Amicimus ergo diligenter obliti omnium malorum et Gitona libentissime servile officium tuentem iubemus in balneum sequi.

[27] Nos interim vestiti errare coepimus, immo iocari magis et circulis accedere, cum subito videmus senem calvum, tunica vestitum russea, inter pueros capillatos ludentem pila. Nec tam pueri nos, quamquam erat operae pretium, ad spectaculum duxerant, quam ipse pater familiae, qui soleatus pila prasina exercebatur. Nec amplius eam repetebat quae terram contigerat, sed follem plenum habebat servus sufficebatque ludentibus. Notavimus etiam res novas: nam duo spadones in diversa parte circuli stabant, quorum alter matellam tenebat argenteam, alter numerabat pilas, non quidem eas quae inter manus lusu expellente vibrabant, sed eas quae in terram decidebant.

Cum has ergo miraremur lautitias, accurrit Menelaus: «Hic est, inquit, apud quem cubitum ponitis, et quidem iam principium cenae videtis. Et iam non loquebatur Menelaus cum Trimalchio digitos concrepuit, ad quod signum matellam spado ludenti subiecit. Exonerata ille vesica aquam poposcit ad manus, digitosque paululum adpersos in capite pueri tersit.

[28] Longum erat singula excipere. Itaque intravimus balneum, et sudore calfacti momento temporis ad frigidam eximus. Iam Trimalchio unguento perfusus tergebatur, non linteis, sed palliis ex lana mollissima factis. Tres interim iatraliptae in conspectu eius Falernum potabant, et cum plurimum rixantes effunderent, Trimalchio hoc suum propinasse dicebat. Hinc involutus cocchina gausapa lecticae impositus est praecedentibus phaleratis cursoribus quattuor et chiramaxio, in quo deliciae eius vehebantur, puer vetulus, lippus, domino Trimalchione deformior. Cum ergo auferretur, ad caput eius symphoniacus cum minimis tibiis accessit et tanquam in aurem aliquid secreto diceret, toto itinere cantavit.

Sequimur nos admiratione iam saturi et cum Agamemnone ad ianuam pervenimus, in cuius poste libellus erat cum hac inscriptione fixus:

QVISQVIS SERVVS SINE DOMINICO IVSSV FORAS EXIERIT ACCIPIET PLAGAS CENTVM.

In aditu autem ipso stabat ostiarius prasinatus, cerasino succinctus cingulo, atque in lance argentea pisum purgabat. Super limen autem cavea pendebat aurea in qua pica varia intrantes salutabat.

[29] Ceterum ego dum omnia stupeo, paene resupinatus crura mea fregi. Ad sinistram enim intrantibus non longe ab ostiarii cella canis ingens, catena vinctus, in pariete erat pictus superque quadrata littera scriptum CAVE CANEM. Et collegae quidem mei riserunt. Ego autem collecto spiritu non destiti totum parietem persequi. Erat autem venalicium <cum> titulis pictis, et ipse Trimalchio capillatus caduceum tenebat Minervamque ducente Romam intrabat. Hinc quemadmodum ratiocinari didicisset, deinceps dispensator factus esset, omnia diligenter curiosus pictor cum inscriptione reddiderat. In deficiente vero iam porticu levatum mento in tribunal excelsum Mercurius rapiebat. Praesto erat Fortuna cornu abundanti copiosa et tres Parcae aurea pensa torquentes. Notavi etiam in porticu gregem cursorum cum magistro se exercentem. Praeterea grande armarium in angulo vidi, in cuius aedicula erant Lares argentei positi Venerisque signum marmoreum et pyxis aurea non pusilla, in qua barbam ipsius conditam esse dicebant. Interrogare ergo atriensem coepi, quas in medio picturas haberent." Iliada et Odyssean, inquit, ac Laenatis gladiatorum munus."

[30] Non licebat <tam multa otiose> considerare. Nos iam ad triclinium perveneramus, in cuius parte prima procurator rationes accipiebat. Et quod praecipue miratus sum, in postibus triclinii fasces erant cum securibus fixi, quorum imam partem quasi embolum navis aeneum finiebat, in quo erat scriptum: C. POMPEIO TRIMALCHIONI SEVIRO AVGVSTALI CINNAMVS DISPENSATOR. Sub eodem titulo et lucerna bilychnis de camera pendebat, et duae tabulae in utroque poste defixae, quarum altera, si bene memini, hoc habebat inscriptum: III ET PRIDIE KALENDAS IANVARIAS C. NOSTER FORAS CENAT, altera lunae cursum stellarumque septem imagines pictas; et qui dies boni quique incommodi essent, distinguente bulla notabantur.

His repleti voluptatibus cum conaremur in triclinium intrare, exclamavit unus ex pueris, qui super hoc officium erat positus: "Dextro pede!" Sine dubio paulisper trepidavimus, ne contra praeceptum aliquis nostrum limen transiret.

Ceterum ut pariter movimus dextros gressus, servus nobis despoliatus procubuit ad pedes ac rogare coepit, ut se poenae eriperemus: nec magnum esse peccatum suum, propter quod periclitaretur; subducta enim sibi vestimenta dispensatoris in balneo, quae vix fuissent decem sestertiorum. Retulimus ergo dextros pedes, dispensatoremque in atrio aureos numerantem deprecari sumus ut servo remitteret poenam. Superbus ille sustulit vultum et: "Non tam iactura me movet, inquit, quam neglegentia nequissimi servi. Vestimenta mea cubitoria perdidit, quae mihi natali meo cliens quidam donaverat, Tyria sine dubio, sed iam semel lota. Quid ergo est? dono vobis eum."

[31] Obligati tam grandi beneficio cum intrassemus triclinium, occurrit nobis ille idem servus, pro quo rogaveramus, et stupentibus spississima basia impegit gratias agens humanitati nostrae." Ad summam, statim scietis, ait, cui dederitis beneficium. Vinum dominicum ministratoris gratia est.»

Tandem ergo discubimus, pueris Alexandrinis aquam in manus nivatam infudentibus, aliisque insequentibus ad pedes ac paronychia cum ingenti subtilitate tollentibus. Ac ne in hoc quidem tam molesto tacebant officio, sed obiter cantabant.

Ego experiri volui an tota familia cantaret, itaque potionem poposci. Paratissimus puer non minus me acido cantico exceptit, et quisquis aliquid rogatus erat ut daret. Pantomimi chorum, non patris familiae triclinium crederes.

Allata est tamen gustatio valde lauta; nam iam omnes discubuerant praeter ipsum Trimachionem, cui locus novo more primus servabatur. Ceterum in promulsidari asellus erat Corinthius cum bisaccio positus, qui habebat olivas in altera parte albas, in altera nigras. Tegebant asellum duae lances, in quarum marginibus nomen Trimalchionis inscriptum erat et argenti pondus. Ponticuli etiam ferruminati sustinebant glires melle ac papavere sparsos. Fuerunt et tomacula supra craticulam argenteam ferventia posita et infra craticulam Syriaca pruna cum granis Punici mali.

[32] In his eramus lautitiis, cum Trimalchio ad symphoniam allatus est, positusque inter cervicalia minutissima expressit imprudentibus risum. Pallio enim coccineo adrasum excluserat caput, circaque oneratas veste cervices laticlaviam immiserat mappam fimbriis hinc atque illinc pendentibus. Habebat etiam in minimo digito sinistrae manus anulum grandem subauratum, extremo vero articulo digiti sequentis minorem, ut mihi videbatur, totum aureum, sed plane ferreis veluti stellis ferruminatum. Et ne has tantum ostenderet divitias, dextrum nudavit lacertum armilla aurea cultum et eboreo circulo lamina splendente conexo.

[33] Vt deinde pinna argentea dentes perfodit: "Amici, inquit, nondum mihi suave erat in triclinium venire, sed ne diutius absentivos morae vobis essem, omnem voluptatem mihi negavi. Permittetis tamen finiri lusum." Sequebatur puer cum tabula terebinthina et crystallinis tesseris, notavique rem omnium delicatissimam. Pro calculis enim albis ac nigris aureos argenteosque habebat denarios.

Interim dum ille omnium textorum dicta inter lusum consumit, gustantibus adhuc nobis repositorium allatum est cum corbe, in quo gallina erat lignea patentibus in orbem alis, quales esse solent quae incubant ova. Accessere continuo duo servi et symphonia strepente scrutari paleam coeperunt, erutaque subinde pavonina ova divisere convivis. Convertit ad hanc scenam Trimalchio vultum et: "Amici, ait, pavonis ova gallinae iussi supponi. Et mehercules timeo ne iam concepti sint. Temptemus tamen, si adhuc sorbilia sunt." Accipimus nos cochlearia non minus selibras pendentia, ovaque ex farina pingui figurata pertundimus. Ego quidem paene proieci partem meam, nam videbatur mihi iam in pullum coisse. Deinde ut audivi veterem convivam: «Hic nescio quid boni debet esse», persecutus putamen manu, pinguisissimam ficedulam inveni piperato vitello circumdatam.

[34] Iam Trimalchio eadem omnia lusu intermisso poposcerat feceratque potestatem clara voce, siquis nostrum iterum vellet mulsum sumere, cum subito signum symphonia datur et gustatoria pariter a choro cantante rapiuntur. Ceterum inter tumultum cum forte paropsis excidisset et puer iacentem sustulisset, animadvertit Trimalchio colaphisque obiurgari puerum ac proicere rursus paropsidem iussit. Insecutus est supellecticarius argentumque inter reliqua purgamenta scopis coepit everrere. Subinde intraverunt duo Aethiopes capillati cum pusillis utribus, quales solent esse qui harenam in amphitheatro spargunt, vinumque dederunt in manus; aquam enim nemo porrexit.

Laudatus propter elegantias dominus: „Aequum, inquit, Mars amat. Itaque iussi suam cuique mensam assignari. Obiter et putidissimi servi minorem nobis aestum frequentia sua facient.“

Statim allatae sunt amphorae vitreae diligenter gypsatae, quarum in cervicibus pittacia erant affixa cum hoc titulo: FALERNVM OPIMIANVM ANNORVM CENTVM. Dum titulos perlegimus, composuit Trimalchio manus et: „Eheu, inquit, ergo diutius vivit vinum quam homuncio. Quare tangomenas faciamus. Vita vinum est. Verum Opimianum praesto. Heri non tam bonum posui, et multo honestiores cenabant.“ Potantibus ergo nobis et accuratissime lautitias mirantibus larvam argenteam attulit servus sic aptatam ut articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem flecterentur. Hanc cum super mensam semel iterumque abiecisset, et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret, Trimalchio adiecit:

Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est!
Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.
Ergo vivamus, dum licet esse bene.

[35] Laudationem ferculum est insecutum plane non pro expectatione magnum, novitas tamen omnium convertit oculos. Rotundum enim repositorium duodecim habebat signa in orbe disposita, super quae proprium convenientemque materiae structor imposuerat cibum: super arietem cicer arietinum, super taurum bubulae frustum, super geminos testiculos ac rienes, super cancrum coronam, super leonem ficum Africanam, super virginem sterliculam, super libram stateram in cuius altera parte scriblita erat, in altera placenta, super scorpionem pisciculum marinum, super sagittarium oclopetam, super capricornum locustam marinam, super aquarium anserem, super pisces duos mullos. In medio autem caespes cum herbis excisus favum sustinebat. Circumferebat Aegyptius puer clibano argenteo panem. < . . . > Atque ipse etiam taeterrima voce de Laserpicario mimo canticum extorsit. Nos ut tristiores ad tam viles accessimus cibos: «Suadeo, inquit Trimalchio, cenemus; hoc est ius cenae».

[36] Haec ut dixit, ad symphoniam quattuor tripudiantes procurrerunt superioremque partem repositorii abstulerunt. Quo facto, videmus infra altitia et sumina leporemque in medio pinnis subornatum, ut Pegasus videretur. Notavimus etiam circa angulos repositorii Marsyas quattuor, ex quorum utriculis garum piperatum currebat super pisces, qui <tamquam> in euripo natabant. Damus omnes plausum a familia inceptum et res electissimas ridentes aggredimur. Non minus et Trimalchio eiusmodi methodio laetus: «Carpe!», inquit. Processit statim scissor et ad symphoniam gesticulatus ita laceravit obsonium, ut putares essedarium hydraule cantante pugnare. Ingerebat nihilo minus Trimalchio lentissima voce: «Carpe! Carpe!» Ego suspicatus ad aliquam urbanitatem totiens iteratam vocem pertinere, non erubui eum qui supra me

accumbebat, hoc ipsum interrogare. At ille, qui saepius eiusmodi ludos spectaverat: «Vides illum, inquit, qui obsonium carpit: Carpus vocatur. Ita quotiescumque dicit ‘Carpe’, eodem verbo et vocat et imperat».

[37] Non potui amplius quicquam gustare, sed conversus ad eum, ut quam plurima exciperem, longe accersere fabulas coepi sciscitarique, quae esset mulier illa quae huc atque illuc discurreret.» Vxor, inquit, Trimalchionis, Fortunata appellatur, quae nummos modio metitur. Et modo, modo quid fuit? Ignoscet mihi genius tuus, noluisse de manu illius panem accipere. Nunc, nec quid nec quare, in caelum abiit et Trimalchionis topanta est. Ad summam, mero meridie si dixerit illi tenebras esse, credet. Ipse nescit quid habeat, adeo saplutus est; sed haec lupatria providet omnia, et ubi non putes. Est sicca, sobria, bonorum consiliorum: tantum auri vides. Est tamen malae linguae, pica pulvinaris. Quem amat, amat; quem non amat, non amat. Ipse Trimalchio fundos habet, quantum milvi volant, nummorum nummos. Argentum in ostiarii illius cella plus iacet, quam quisquam in fortunis habet. Familia vero — babaecalis! — non mehercules puto decumam partem esse quae dominum suum noverit. Ad summam, quemvis ex istis babaecalis in rutae folium coniciet.

[38] “ Nec est quod putes illum quicquam emere. Omnia domi nascuntur: lana, credrae, piper; lacte gallinaceum si quaesieris, invenies. Ad summam, parum illi bona lana nascebatur; arietes a Tarento emit, et eos culavit in gregem. Mel Atticum ut domi nasceretur, apes ab Athenis iussit afferri; obiter et vernaculae quae sunt, meliusculae a Graeculis fient. Ecce intra hos dies scripsit, ut illi ex India semen boletorum mitteretur. Nam mulam quidem nullam habet, quae non ex onagro nata sit. Vides tot culcitrae: nulla non aut conchyliatum aut coccineum tomentum habet. Tanta est animi beatitudo! Reliquos autem collibertos eius cave contempnas. Valde sucossi sunt. Vides illum qui in imo imus recumbit: hodie sua octingenta possidet. De nihilo crevit. Modo solebat collo suo ligna portare. Sed quomodo dicunt — ego nihil scio, sed audivi — quomodo Incuboni pilleum rapuisset, et thesaurum invenit. Ego nemini invideo, si quid deus dedit. Est tamen sub alapa et non vult sibi male. Itaque proxime cum hoc titulo proscripsit: C. POMPEIVS DIOGENES EX KALENDIS IVLIIS CENACVLVM LOCAT; IPSE ENIM DOMVM EMIT. Quid ille qui libertini loco iacet? Quam bene se habuit! Non impropero illi. Sestertium suum vidit decies, sed male vacillavit. Non puto illum capillos liberos habere. Nec mehercules sua culpa; ipso enim homo melior non est; sed liberti scelerati, qui omnia ad se fecerunt. Scito autem: sociorum olla male fervet, et ubi semel res inclinata est, amici de medio. Et quam honestam negotiationem exercuit, quod illum sic vides! Libitinarium fuit. Solebat sic cenare, quomodo rex: apros gausapatos, opera pistoria, avis, cocos, pistores. Plus vini sub mensa effundebatur, quam aliquis in cella habet. Phantasia, non homo. Inclinatis quoque rebus suis, cum timeret ne creditores illum conturbare existimarent, hoc titulo auctionem proscripsit: C. IVLIVS PROCVLVS AVCTIONEM FACIET RERVM SVPERVACVARVM.”

[39] Interpellavit tam dulces fabulas Trimalchio; nam iam sublatum erat ferculum, hilaresque convivae vino sermonibusque publicatis operam coeperant dare. Is ergo reclinatus in cubitum: “Hoc vinum, inquit, vos oportet suave faciatis: pisces natate oportet. Rogo, me putatis illa cena esse contentum, quam in theca repositorii videratis?

Sic notus Vlixes?

Quid ergo est? Oportet etiam inter cenandum philologiam nosse. Patrono meo ossa bene quiescant, qui me hominem inter homines voluit esse. Nam mihi nihil novi potest afferri, sicut ille terculus iam se mel habuit praxim. Caelus hic, in quo duodecim dii habitant, in totidem se figuras convertit, et modo fit aries. Itaque quisquis nascitur illo signo, multa pecora habet, multum lanae, caput praeterea durum, frontem expudoratam, cornum acutum. Plurimi hoc signo scolastici nascuntur et arietilli.» Laudamus urbanitatem mathematici; itaque adiecit: «Deinde totus caelus taurulus fit. Itaque tunc calcitrosi nascuntur et bubulci et qui se ipsi pascunt. In geminis autem nascuntur bigae et boves et colei et qui utrosque parietes linunt. In cancro ego natus sum: ideo multis pedibus sto, et in mari et in terra multa possideo; nam cancer et hoc et illoc quadrat. Et ideo iam dudum nihil super illum posui, ne genesim meam premerem. In leone cataphagae nascuntur et imperiosi. In virgine mulieres et fugitivi et compediti; in libra laniones et unguentarii et quicumque aliquid expendunt; in scorpione venenarii et percussores; in sagittario strabones, qui holera spectant, lardum tollunt; in capricorno aerumosi, quibus prae mala sua cornua nascuntur; in aquario copones et cucurbitae; in piscibus obsonatores et rhetores. Sic orbis vertitur tanquam mola, et semper aliquid mali facit, ut homines aut nascantur aut pereant. Quod autem in medio caespitem videtis et super caespitem favum, nihil sine ratione facio. Terra mater est in medio quasi ovum corrotundata, et omnia bona in se habet tanquam favus.»

[40] «Sophos!» universi clamamus, et sublatis manibus ad camaram iuramus Hipparchum Aratumque comparandos illi homines non fuisse, donec advenerunt ministri ac toralia praeposuerunt toris, in quibus retia erant picta subsessoresque cum venabulis et totus venationis apparatus. Necdum sciebamus <quo> mitteremus suspiciones nostras, cum extra triclinium clamor sublatus est ingens, et ecce canes Laconici etiam circa mensam discurrere coeperunt. Secutum est hos repositorium, in quo positus erat primae magnitudinis aper, et quidem pilleatus, e cuius dentibus sportellae dependebant duae palmulis textae, altera caryatis, altera thebaicis repleta. Circa autem minores porcelli ex coptoplacentis facti, quasi uberibus imminerent, scrofam esse positam significabant. Et hi quidem apophoreti fuerunt.

Ceterum ad scindendum aprum non ille Carpus accessit, qui altitia laceraverat, sed barbatus ingens, fasciis cruralibus alligatus et alicula subornatus polymita, strictoque venatorio cultro latus apri vehementer percussit, ex cuius plaga turdi evolaverunt. Parati aucupes cum harundinibus fuerunt, et eos circa triclinium volitantes momento exceperunt. Inde cum suum cuique iussisset referri, Trimalchio adiecit: «Etiam videte, quam porcus ille silvaticus lotam comederit glandem.» Statim pueri ad sportellas accesserunt quae pendebant e dentibus, thebaicasque et caryatas ad numerum divisere cenantibus.

[41] Interim ego, qui privatum habebam secessum, in multas cogitationes diductus sum, quare aper pilleatus intrasset. Postquam itaque omnis bacalusias consumpsi, duravi interrogare illum interpretem meum, quod me torqueret. At ille:

«Plane etiam hoc servus tuus indicare potest: non enim aenigma est, sed res aperta. Hic aper, cum heri summa cena eum vindicasset, a conviviis dimissus <est>; itaque hodie tamquam libertus in convivium revertitur.» Damnavi ego stuporem meum et nihil amplius interrogavi, ne viderer nunquam inter honestos cenasse.

Dum haec loquimur, puer speciosus, vitibus hederisque redimitus, modo Bromium, interdum Lyaeum Euhiumque confessus, calathisco uvas circumtulit, et poemata domini sui acutissima voce traduxit. Ad quem sonum conversus Trimalchio: «Dionyse, inquit, liber esto.» Puer detraxit pilleum apro capitique suo imposuit. Tum Trimalchio rursus adiecit: «Non negabitis me, inquit, habere Liberum patrem.» Laudamus dictum Trimalchionis, et circumeuntem puerum sane perbasiamus.

Ab hoc ferculo Trimalchio ad lasanum surrexit. Nos libertatem sine tyranno nacti coepimus invitare convivarum sermones.

Dama itaque primus cum pataracina poposcisset: «Dies, inquit, nihil est. Dum versas te, nox fit. Itaque nihil est melius quam de cubiculo recta in triclinium ire. Et mundum frigus habuimus. Vix me balneus calfecit. Tamen calda potio vestiarius est. Staminatas duxi, et plane matus sum. Vinus mihi in cerebrum abiit.»

[42] Excepit Seleucus fabulae partem et: «Ego, inquit, non cotidie labor; baliscus enim fullo est: aqua dentes habet, et cor nostrum cotidie liquescit. Sed cum mulsi pultarium obduxi, frigori laecasin dico. Nec sane lavare potui; fui enim hodie in funus. Homo bellus, tam bonus Chrysanthus animam ebulliit. Modo, modo me appellavit. Videor mihi cum illo loqui. Heu, eheu! Vtres inflati ambulamus. Minoris quam muscae sumus. <Illae> tamen aliquam virtutem habent; nos non pluris sumus quam bullae. Et quid si non abstinox fuisset! Quinque dies aquam in os suum non coniecit, non micam panis. Tamen abiit ad plures. Medici illum perdiderunt, immo magis malus fatus; medicus enim nihil aliud est quam animi consolatio. Tamen bene elatus est, vitali lecto, stragulis bonis. Planctus est optime — manu misit aliquot — etiam si maligne illum ploravit uxor. Quid si non illam optime accepisset? Sed mulier quae mulier milvinum genus. Neminem nihil boni facere oportet; aequae est enim ac si in puteum conicias. Sed antiquus amor cancer est.»

[43] Molestus fuit, Philerosque proclamavit: «Vivorum meminerimus. Ille habet, quod sibi debebatur: honeste vixit, honeste obiit. Quid habet quod queratur? Ab asse crevit et paratus fuit quadrantem de stercore mordicus tollere. Itaque crevit, quicquid crevit, tanquam favus. Puto mehercules illum reliquisse solida centum, et omnia in nummis habuit. De re tamen ego verum dicam, qui linguam caninam comedi: durae buccae fuit, linguosus, discordia, non homo. Frater eius fortis fuit, amicus amico, manu plena, uncta mensa. Et inter initia malam parram pilavit, sed recorrexit costas illius prima vindemia: vendidit enim vinum quantum ipse voluit. Et quod illius mentum sustulit, hereditatem accepit, ex qua plus involavit quam illi relictum est. Et ille stips, dum fratri suo irascitur, nescio cui terrae filio patrimonium elegavit. Longe fugit, quisquis suos fugit. Habuit autem oracularios servos, qui illum pessum dederunt. Nunquam autem recte faciet, qui cito credit, utique homo negotians. Tamen verum quod frunitus est, quam diu vixit. <Datum est> cui datum est, non cui destinatum. Plane Fortunae filius. In manu illius plumbum aurum fiebat. Facile est autem, ubi omnia quadrata currunt. Et quot putas illum annos secum tulisse? Septuaginta et supra. Sed corneolus fuit, aetatem bene ferebat, niger tanquam corvus. Noveram hominem olim oliorum, et adhuc salax erat. Non mehercules illum puto domo canem reliquisse. Immo etiam puellarius erat, omnis Minervae homo. Nec improbo, hoc solum enim secum tulit.»

[44] Haec Phileros dixit, illa Ganymedes: «Narrat is quod nec ad terram pertinet, cum interim nemo curat quid annona mordet. Non mehercules hodie buccam panis invenire potui. Et quomodo siccitas perseverat! Iam annum esuritio fuit. Aediles male eveniat, qui cum pistoribus colludunt: 'Serva me, servabo te.' Itaque populus minutus laborat; nam isti maiores maxillae semper Saturnalia agunt. O si haberemus illos leones, quos ego hic inveni, cum primum ex Asia veni. Illud erat vivere. <Si mila Siciliae si inferior esset> larvas sic istos percolopabant, ut illis Iuppiter iratus esset. Sed memini Safinium; tunc habitabat ad arcum veterem, me puero: piper, non homo. Is quacunquē ibat, terram adurebat. Sed rectus, sed certus, amicus amico, cum quo audacter posses in tenebris micare. In curia autem quomodo singulos pilabat. Nec schemas loquebatur sed directum. Cum ageret porro in foro, sic illius vox crescebat tanquam tuba. Nec sudavit unquam nec expuit; puto enim nescio quid Asiadis habuisse. Et quam benignus resalutare, nomina omnium reddere, tanquam unus de nobis! Itaque illo tempore annona pro luto erat. Asse panem quem emisses, non potuisses cum altero devorare. Nunc oculum bubulum vidi maiorem. Heu heu, quotidie peius! Haec colonia retroversus crescit tanquam coda vituli. Sed quare nos habemus aedilem trium cauniarum, qui sibi mavult assem quam vitam nostram? Itaque domi gaudet, plus in die nummorum accipit quam alter patrimonium habet. Iam scio unde acceperit denarios mille aureos. Sed si nos coleos haberemus, non tantum sibi placeret. Nunc populus est domi leones, foras vulpes. Quod ad me attinet, iam pannos meos comedi, et si perseverat haec annona, casulas meas vendam. Quid enim futurum est, si nec dii nec homines eius coloniae miserentur? Ita meos fruniscar, ut ego puto omnia illa a diibus fieri. Nemo enim caelum caelum putat, nemo ieiunium servat, nemo lovem pili facit, sed omnes opertis oculis bona sua computant. Antea stolatae ibant nudis pedibus in clivum, passis capillis, mentibus puris, et lovem aquam exrabant. Itaque statim urceatim plovebat: aut tunc aut nunquam, et omnes ridebant udi tanquam mures. Itaque dii pedes lanatos habent, quia nos religiosi non sumus. Agri iacent. . .

[45] — Oro te, inquit Echion centonarius, melius loquere. 'Modo sic, modo sic', inquit rusticus: varium porcum perdiderat. Quod hodie non est, cras erit: sic vita truditur. Non mehercules patria melior dici potest, si homines haberet. Sed laborat hoc tempore, nec haec sola. Non debemus delicati esse; ubique medius caelus est. Tu si aliubi fueris, dices hic porcos coctos ambulare. Et ecce habituri sumus munus eccellente in triduo die festa; familia non lanistica, sed plurimi liberti. Et Titus noster magnum animum habet, et est caldicerebrius. Aut hoc aut illud erit, quid utique. Nam illi domesticus sum, non est miscix. Ferrum optimum daturus est, sine fuga, carnarium in medio, ut amphitheater videat.

Et habet unde. Relictum est illi sestertium tricentis: decessit illius pater male. Vt quadringenta impendat, non sentiet patrimonium illius, et sempiterno nominabitur. Iam Manios aliquot habet et mulierem essedariam et dispensatorem Glyconis, qui deprehensus est cum dominam suam delectaretur. Videbis populi rixam inter zelot et amasiunculos. Glyco autem, sestertarius homo, dispensatorem ad bestias dedit. Hoc est se ipsum traducere. Quid servus peccavit, qui coactus est facere? Magis illa matella digna fuit quam taurus iactaret. Sed qui asinum non potest, stratum caedit. Quid autem Glyco putabat Hermogenis filicem unquam bonum exitum facturam? Ille miluo volanti poterat ungues resecare; colubra restem non parit. Glyco, Glyco dedit suas; itaque quamdiu vixerit, habebit stigmam, nec illam nisi Orcus delebit. Sed sibi quisque peccat. Sed subolfacio quia nobis epulum daturus est Mammaea, binos denarios mihi et meis. Quod si hoc fecerit, eripiat Norbano totum favorem. Scias oportet plenis velis hunc vinciturum. Et revera, quid ille nobis boni fecit? Dedit gladiatores sestertarios iam decrepitos, quos si sufflasses, cecidissent; iam meliores bestiarios vidi. Occidit de lucerna equites; putares eos gallos gallinaceos: alter burdubasta, alter loripes, tertarius mortuus pro mortuo, qui haberet nervia praecisa. Vnus licuius flaturae fuit Thraex, qui et ipse ad dictata pugnavit. Ad summam, omnes postea secti sunt; adeo de magna turba 'Adhibete' acceperant: plane fugae merae. 'Munus tamen, inquit, tibi dedi — et ego tibi plodo.' Computa, et tibi plus do quam accepi. Manus manum lavat.

[46] "Videris mihi, Agamemnon, dicere: 'Quid iste arguat molestus?' Quia tu, qui potes loquere, non loquis. Non es nostrae fasciae, et ideo pauperorum verba derides. Scimus te prae litteras fatuum esse. Quid ergo est? Aliqua die te persuadeam, ut ad villam venias et videas casulas nostras. Inveniemus quod manducemus, pullum, ova: belle erit, etiam si omnia hoc anno tempestas dispere pallavit. Inveniemus ergo unde saturi fiamus. Et iam tibi discipulus crescit cicaro meus. Iam quattuor partis dicit; si vixerit, habebis ad latus servulum. Nam quicquid illi vacat, caput de tabula non tollit. Ingeniosus est et bono filo, etiam si in aves morbosus est. Ego illi iam tres cardeles occidi, et dixi quia mustella comedit. Invenit tamen alias nenias, et libentissime pingit. Ceterum iam Graeculis calcem impingit et Latinas coepit non male appetere, etiam si magister eius sibi placens sit. Nec uno loco consistit, sed venit <raro; scit qui>dem litteras, sed non vult laborare. Est et alter non quidem doctus, sed curiosus, qui plus docet quam scit. Itaque feriatis diebus solet domum venire, et quicquid dederis, contentus est. Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata, quia volo illum ad domusionem aliquid de iure gustare. Habet haec res panem. Nam litteris satis inquinatus est. Quod si resilierit, destinavi illum artificii docere, aut tonstreinum aut praeconem aut certe causidicum, quod illi auferre non possit nisi Orcus. Ideo illi cotidie clamo: "Primigeni, crede mihi, quicquid discis, tibi discis. Vides Phileronem causidicum: si non didicisset, hodie famem a labris non abigeret. Modo, modo, collo suo circumferebat onera venalia; nunc etiam adversus Norbanum se extendit." Litterae thesaurum est, et artificium nunquam moritur».

[47] Eiusmodi tabulae vibrabant, cum Trimalchio intravit et detera fronte unguento manus lavit; spatioque minimo interposito: "Ignoscite mihi, inquit, amici, multis iam diebus venter mihi non respondit. Nec medici se inveniunt. Profuit mihi tamen maleicorium et taeda ex aceto. Spero tamen, iam veterem pudorem sibi imponet. Alioquin circa stomachum mihi sonat, putes taurum. Itaque si quis vestrum voluerit sua re causa facere, non est quod illum pudeatur. Nemo nostrum solide natus est. Ego nullum puto tam magnum tormentum esse quam continere. Hoc solum vetare ne Iovis potest. Rides, Fortunata, quae soles me nocte desomnem facere? Nec tamen in triclinio ullum vetuo facere quod se iuvet, et medici vetant continere. Vel si quid plus venit, omnia foras parata sunt: aqua, lasani et cetera minutalia. Credite mihi, anathymiasis si in cerebrum it, et in toto corpore fluctum facit. Multos scio periisse, dum nolunt sibi verum dicere." Gratias agimus liberalitati indulgentiaeque eius, et subinde castigamus crebris potiunculis risum.

Nec adhuc sciebamus nos in medio lautitiarum, quod aiunt, clivo laborare. Nam mundatis ad symphoniam mensis tres albi sues in triclinium adducti sunt capistris et tintinnabulis culti, quorum unum bimum nomenclator esse dicebat, alterum trimum, tertium vero iam sexennem. Ego putabam petauristarios intrasse et porcos, sicut in circulis mos est, portenta aliqua facturos. Sed Trimalchio expectatione discussa: "Quem, inquit, ex eis vultis in cenam statim fieri? Gallum enim gallinaceum, Penthiacum et eiusmodi nenias rustici faciunt: mei coci etiam vitulos aeno coctos solent facere." Continuoque cocum vocari iussit, et non expectata electione nostra maximum natu iussit occidi, et clara voce: "Ex quota decuria es?" Cum ille se ex quadragesima respondisset: "Empticus an, inquit, domi natus? — Neutrum, inquit cocus, sed testamento Pansae tibi relictus sum. — Vide ergo, ait, ut diligenter ponas; si non, te iubebo in decuriam viatorum conici." Et cocum quidem potentiae admonitum in culinam obsonium duxit.

[48] Trimalchio autem miti ad nos vultu respexit et: "Vinum, inquit, si non placet, mutabo; vos illud oportet bonum faciatis. Deorum beneficio non emo, sed nunc quicquid ad salivam facit, in suburbano nascitur eo, quod ego adhuc non novi. Dicitur confine esse Tarraciniensibus et Tarentinis. Nunc coniungere agellis Siciliam volo, ut cum Africam libuerit ire, per meos fines navigem. Sed narra tu mihi, Agamemnon, quam controversiam hodie declamasti? Ego autem si causas non ago, in domusionem tamen litteras didici. Et ne me putes studia fastiditum, tres bybliotheas habeo, unam Graecam, alteram Latinam. Dic ergo, si me amas, peristasim declamationis tuae."

Cum dixisset Agamemnon: "Pauper et dives inimici erant. . .", ait Trimalchio: "Quid est pauper? — Urbane", inquit Agamemnon et nescio quam controversiam euit. Statim Trimalchio: "Hoc, inquit, si factum est, controversia non est; si factum non est, nihil est." Haec aliaque cum effusissimis prosequeremur laudationibus: "Rogo, inquit, Agamemnon mihi carissime, numquid duodecim aerumnas Herculis tenes, aut de Vlixae fabulam, quemadmodum illi Cyclops pollicem poricino extorsit? Solebam haec ego puer apud Homerum legere. Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: "Sibilla, ti thelis?", respondebat illa: "apothanin thelo".

[49] Nondum efflaverat omnia, cum repositorium cum sue ingenti mensam occupavit. Mirari nos celeritatem coepimus,

et iurare ne gallum quidem gallineum tam cito percoqui potuisse, tanto quidem magis, quod longe maior nobis porcus videbatur esse, quam paulo ante aper fuerat. Deinde magis magisque Trimalchio intuens eum: "Quid? quid? inquit, porcus hic non est exinteratus? Non mehercules est. Voca, voca cocum in medio." Cum constitisset ad mensam cocus tristis et diceret se oblitum esse exinterare: "Quid, oblitus? Trimalchio exclamat, putes illum piper et cuminum non coniecisse! Despolia!" Non fit mora, despoliatur cocus atque inter duos tortores maestus consistit. Depre cari tamen omnes coeperunt et dicere: "Solet fieri. — Rogamus mittas. — Postea si fecerit, nemo nostrum pro illo rogabit." Ego crudelissimae severitatis, non potui me tenere, sed inclinatus ad aurem Agamemnonis: "Plane, inquam, hic debet servus esse nequissimus: aliquis oblivisceretur porcum exinterare? Non mehercules illi ignoscerem, si piscem praeterisset." At non Trimalchio, qui relaxato in hilaritatem vultu: "Ergo, inquit, quia tam malae memoriae es, palam nobis illum exintera." Recepta cocus tunica cultrum arripuit, porcique ventrem hinc atque illinc timida manu secuit. Nec mora, ex plagis ponderis inclinatione crescentibus tomacula cum botulis effusa sunt.

[50] Plausum post hoc automatam familia dedit et "Gaio feliciter!" conclamavit. Nec non cocus potione honoratus est, etiam argentea corona poculumque in lance accepit Corinthia. Quam cum Agamemnon propius consideraret, ait Trimalchio: "Solutus sum qui vera Corinthia habeam." Expectabam ut pro reliqua insolentia diceret sibi vasa Corintho afferri. Sed ille melius: "Et forsitan, inquit, quaeris quare solus Corinthia vera possideam: quia scilicet aerarius, a quo emo, Corinthus vocatur. Quid est autem Corinthum, nisi quis Corinthum habeat? Et ne me putetis nesapium esse, valde bene scio, unde primum Corinthia nata sint. Cum Ilium captum est, Hannibal, homo vafer et magnus stelio, omnes statuas aeneas et aureas et argenteas in unum rogam congegit et eas incendit; factae sunt in unum aera miscellanea. Ita ex hac massa fabri sustulerunt et fecerunt catilla et paropsides <et> statuncula. Sic Corinthia nata sunt, ex omnibus in unum, nec hoc nec illud. Ignoscetis mihi quod dixero: ego malo mihi vitrea, certe non olunt. Quod si non frangerentur, mallem mihi quam aurum; nunc autem vilia sunt.

[51] "Fuit tamen faber qui fecit phialam vitream, quae non frangebatur. Admissus ergo Caesarem est cum suo munere, deinde fecit reporrigere Caesari et illam in pavimentum proiecit. Caesar non pote valdius quam expavit. At ille sustulit phialam de terra; collisa erat tamquam vasum aeneum. Deinde martiolum de sinu protulit et phialam otio belle correxit. Hoc facto putabat se coleum Iovis tenere, utique postquam illi dixit: 'Numquid alius scit hanc condituram vitreorum?' Vide modo. Postquam negavit, iussit illum Caesar decollari: quia enim, si scitum esset, aurum pro luto haberemus.

[52] «In argento plane studiosus sum. Habeo scyphos urnales plus minus <C> <. . . videtur> quemadmodum Cassandra occidit filios suos, et pueri mortui iacent sic uti vivere putes. Habeo capidem quam <mi> reliquit patronorum <meorum> unus, ubi Daedalus Niobam in equum Troianum includit. Nam Hermerotis pugnas et Petraitis in poculis habeo, omnia ponderosa; meum enim intelligere nulla pecunia vendo.»

Haec dum refert, puer calicem proiecit. Ad quem respiciens Trimalchio: "Cito, inquit, te ipsum caede, quia nugax es." Statim puer demisso labro orare. At ille: "Quid me, inquit, rogas? Tanquam ego tibi molestus sim. Suadeo, a te impetres, ne sis nugax." Tandem ergo exoratus a nobis missionem dedit puero. Ille dimissus circa mensam percucurrit. Et "Aquam foras, vinum intro" clamavit <Trimalchio>. Excipimus urbanitatem iocantis, et ante omnes Agamemnon, qui sciebat quibus meritis revocaretur ad cenam. Ceterum laudatus Trimalchio hilariter bibit et iam ebrio proximus: "Nemo, inquit, vestrum rogat Fortunatam meam, ut saltet? Credite mihi: cordacem nemo melius ducit».

Atque ipse erectis super frontem manibus Syrum histrionem exhibebat concinente tota familia: «madeia perimadeia.» Et prodisset in medium, nisi Fortunata ad aurem accessisset; et credo, dixerit non decere gravitatem eius tam humiles ineptias. Nihil autem tam inaequale erat; nam modo Fortunatam suam <verebatur>, revertebat modo ad naturam.

[53] Et plane interpellavit saltationis libidinem actuarius, qui tanquam Urbis acta recitavit: «VII kalendas Sextiles: in praedio Cumano, quod est Trimalchionis, nati sunt pueri XXX, puellae XL; sublata in horreum ex area tritici milia modium quingenta; boves domiti quingenti. Eodem die: Mithridates servus in crucem actus est, quia Gai nostri genio male dixerat. Eodem die: in arcam relatum est, quod collocari non potuit, sestertium centies. Eodem die: incendium factum est in hortis Pompeianis, ortum ex aedibus Nastae vilici. — Quid, inquit Trimalchio, quando mihi Pompeiani horti empti sunt? — Anno priore, inquit actuarius, et ideo in rationem nondum venerunt.» Excanduit Trimalchio et: "Quicumque, inquit, mihi fundi empti fuerint, nisi intra sextum mensem sciero, in rationes meas inferri vetuo." Iam etiam edicta aedilium recitabantur et saltuariorum testamenta, quibus Trimalchio cum elogio exheredabatur; iam nomina vilicorum et repudiata a circumitore liberta in balneatoris contubernio deprehensa, et atriensis Baias relegatus; iam reus factus dispensator, et iudicium inter cubicularios actum.

Petauristarii autem tandem venerunt. Baro insulsissimus cum scalis constitit puerumque iussit per gradus et in summa parte odaria saltare, circulos deinde arduos transire et dentibus amphoram sustinere. Mirabatur haec solus Trimalchio dicebatque ingratus artificium esse: ceterum duo esse in rebus humanis, quae libentissime spectaret, petauristarios et cornicines; reliqua, animalia, acroemata, tricas meras esse." Nam et comoedos, inquit, emeram, sed malui illos Atella<na>m facere, et choraulen meum iussi Latine cantare".

[54] Cum maxime haec dicente Gaio puer <in lectum> Trimalchionis delapsus est. Conclamavit familia, nec minus conviviae, non propter hominem tam putidum, cuius etiam cervices fractas libenter vidissent, sed propter malum exitum cenae, ne necesse haberent alienum mortuum plorare. Ipse Trimalchio cum graviter ingemisset superque brachium tanquam laesum incubisset, concurrere medici, et inter primos Fortunata crinibus passis cum scypho, miseramque se atque infelicem proclamavit. Nam puer quidem, qui ceciderat, circumibat iam dudum pedes nostros et missionem rogabat. Pessime mihi erat, ne his precibus per ridiculum aliquid catastropha quaeretur. Nec enim adhuc exciderat cocus ille, qui

oblitus fuerat porcum exinterare. Itaque totum circumspicere triclinium coepi, ne per parietem automatam aliquod exiret, utique postquam servus verberari coepit, qui brachium domini contusum alba potius quam conchyliata involverat lana. Nec longe aberravit suspicio mea; in vicem enim poenae venit decretum Trimalchionis, quo puerum iussit liberum esse, ne quis posset dicere tantum virum esse a servo vulneratum.

[55] Comprobamus nos factum et quam in praecipiti res humanae essent, vario sermone garrimus.”Ita, inquit Trimalchio, non oportet hunc casum sine inscriptione transire; statimque codicillos poposcit et non diu cogitatione distorta haec recitavit:

«Quod non expectes, ex transverso fit
et supra nos Fortuna negotia curat:
quare da nobis vina Falerna puer.»

Ab hoc epigrammate coepit poetarum esse mentio < . . . > diuque summa carminis penes Mopsium Thracem commorata est < . . . > donec Trimalchio: «Rogo, inquit, magister, quid putas inter Ciceronem et Publilium interesse? Ego alterum puto disertorem fuisse, alterum honestiorem. Quid enim his melius dici potest?

Luxuriae ructu Martis marcent moenia.
Tuo palato clausus pavo pascitur
plumato amictus aureo Babylonico,
gallina tibi Numidica, tibi gallus spado.
Ciconia etiam, grata peregrina hospita
pietaticultrix, gracilipes, crotalistria,
avis exul hiemis, titulus tepidi temporis,
nequitiae nidum in caccabo fecit modo.
Quo margarita cara tibi, bacam Indicam?
An ut matrona ornata phaleris pelagiis
tollat pedes indomita in strato extraneo?
Smaragdum ad quam rem viridem, pretiosum vitrum?
Quo Carchedonios optas ignes lapideos?
Nisi ut scintillet probitas e carbunculis?
Aequum est induere nuptam ventum textilem,
palam prostare nudam in nebula linea?

[56] «Quod autem, inquit, putamus secundum litteras difficillimum esse artificium? Ego puto medicum et nummularium: medicus, qui scit quid homunciones intra praecordia sua habeant et quando febris veniat, etiam si illos odi pessime, quod mihi iubent saepe anatinam parari; nummularius, qui per argentum aes videt. Nam mutae bestiae laboriosissimae boves et oves: boves, quorum beneficio panem manducamus; oves, quod lana illae nos gloriosos faciunt. Et facinus indignum, aliquis ovillam est et tunicam habet. Apes enim ego divinas bestias puto, quae mel vomunt, etiam si dicuntur illud a love afferre. Ideo autem pungunt, quia ubicunque dulce est, ibi et acidum invenies.»

Iam etiam philosophos de negotio deiciebat, cum pittacia in scypho circumferri coeperunt, puerque super hoc positus officium apophoreta recitavit. «Argentum sceleratum»: allata est perna, supra quam acetabula erant posita. «Cervical»: offla collaris allata est. «Serisapia et contumelia»: <xerophagiae ex sale> datae sunt et contus cum malo. «Porri et persica»: flagellum et cultrum accepit. «Passeres et muscarium»: uvam passam et mel Atticum. «Cenatoria et forensia»: offlam et tabulas accepit. «Canale et pedale»: lepus et solea est allata. «Muraena et littera»: murem cum rana alligatum fascemque betae accepit. Diu risimus. Sexcenta huiusmodi fuerunt, quae iam exciderunt memoriae meae.

[57] Ceterum Ascyrtos, intemperantis licentiae, cum omnia sublatis manibus eluderet et usque ad lacrimas rideret, unus ex conlibertis Trimalchionis excanduit, is ipse qui supra me discumbebat, et:

«Quid rides, inquit, berbex? An tibi non placent lautitiae domini mei? Tu enim beatior es et convivare melius soles. Ita Tutelam huius loci habeam propitiam, ut ego si secundum illum discumberem, iam illi balatum cluissem. Bellum pomum, qui rideatur alios; larifuga nescio quis, nocturnus, qui non valet lotium suum. Ad summam, si circumminxero illum, nesciet qua fugiat. Non mehercules soleo cito fervere, sed in molle carne vermes nascuntur. Ridet! Quid habet quod rideat? Numquid pater fetum emit lamna? Eques Romanus es? Et ego regis filius. Quare ergo servivisti? Quia ipse me dedi in servitum et malui civis Romanus esse quam tributarius. Et nunc spero me sic vivere, ut nemini iocus sim. Homo inter homines sum, capite aperto ambulo; assem aerarium nemini debeo; constitutum habui nunquam; nemo mihi in foro dixit: ‘Redde quod debes’. Gubulas emi, lamellulas paravi; viginti ventres pasco et canem; contubernalem meam redemi, ne qui in illius capillis manus tergeret; mille denarios pro capite solvi; sevir gratis factus sum; spero, sic moriar, ut mortuus non erubescam. Tu autem tam laboriosus es, ut post te non respicias! In alio peduclum vides, in te ricinum non vides. Tibi soli ridiculi videmur; ecce magister tuus, homo maior natus: placemus illi. Tu lacticulosus, nec ‘mu’ nec ‘ma’ argutas, vasus fictilis, immo lorus in aqua: lentior, non melior. Tu beatior es: bis prande, bis cena. Ego fidem meam malo quam thesauros. Ad summam, quisquam me bis poposcit? Annis quadraginta servivi; nemo tamen scit utrum servus essem an liber. Et

puer capillatus in hanc coloniam veni; adhuc basilica non erat facta. Dedi tamen operam ut domino satis facerem, homini maiesto et dignitosso, cuius pluris erat unguis quam tu totus es. Et habebam in domo qui mihi pedem opponerent hac illac; tamen — genio illius gratias! — enatavi. Haec sunt vera athla; nam in ingenuum nasci tam facile est quam ‚Accede istoc’. Quid nunc stupes tanquam hircus in ervilia?”

[58] Post hoc dictum Giton, qui ad pedes stabat, risum iam diu compressum etiam indecenter effudit. Quod cum animadvertisset adversarius Ascyli, flexit convicium in puerum et: «Tu autem, inquit, etiam tu rides, caepa cirrata? O? Saturnalia? rogo, mensis December est? Quando vicesimam numerasti? Quid faciat crucis offla, corvorum cibaria. Curabo iam tibi Iovis iratus sit, et isti qui tibi non imperat. Ita satur pane fiam, ut ego istud conliberto meo dono, alioquin iam tibi depraesentiarum reddidisssem. Bene nos habemus, at isti nugae, qui tibi non imperant. Plane qualis dominus, talis et servus. Vix me teneo, nec sum natura caldicerebrius, <sed> cum coepi, matrem meam dupundii non facio. Recte, videbo te in publicum, mus, immo terrae tuber: nec sursum nec deorsum non cresco, nisi dominum tuum in rutae folium non conieci, nec tibi parsero, licet mehercules Iovem Olympium clames. Curabo longe tibi sit comula ista besalis et dominus dupunduarius. Recte, venies sub dentem: aut ego non me novi, aut non deridebis, licet barbam auream habeas. Athana tibi irata sit curabo, et qui te primus deurode fecit. Non didici geometrias, critica et alogas naenias, sed lapidarias litteras scio, partes centum dico ad aes, ad pondus, ad nummum. Ad summam, si quid vis, ego et tu sponsiunculam: exi, defero lamnam. Iam scies patrem tuum mercedes perdidisse, quamvis et rhetoricam scis. Ecce:

‘Qui de nobis? longe venio, late venio: solve me’.

Dicam tibi, qui de nobis currit et de loco non movetur; qui de nobis crescit et minor fit. Curris, stupes, satagis, tanquam mus in matella. Ergo aut tace aut meliorem noli molestare, qui te natum non putat, nisi si me iudicas anulos buxeos curare, quos amicae tuae involasti. Occuponem propitium! Eamus in forum et pecunias mutuemur: iam scies hoc ferrum fidem habere. Vah, bella res est volpis uda! Ita lucrum faciam et ita bene moriar ut populus per exitum meum iuret, nisi te toga ubique perversa fuero persecutus. Bella res et iste, qui te haec docet: mufrius, non magister. <Nos aliter> didicimus. Dicebat enim magister: ‘Sunt vestra salva? Recta domum. Cave circumspicias, cave maiorem maledicas’. At nunc mera mapalia: nemo dupundii evadit. Ego, quod me sic vides, propter artificium meum diis gratias ago.»

[59] Coeperat Ascylos respondere convicio, sed Trimalchio delectatus colliberti eloquentia: «Agite, inquit, scordalias de medio. Suaviter sit potius, et tu, Hermeros, parce adulescentulo. Sanguen illi fervet, tu melior esto. Semper in hac re qui vincitur, vincit. Et tu cum esses capo, cocococo, atque cor non habebas. Simus ergo, quod melius est, a primitiis hilares et Homeristas spectemus.” Intravit factio statim hastisque scuta concrepuit. Ipse Trimalchio in pulvino consedit, et cum Homeristae Graecis versibus colloquerentur, ut insolenter solent, ille canora voce Latine legebat librum. Mox silentio facto: “Scitis, inquit, quam fabulam agant? Diomedes et Ganymedes duo fratres fuerunt. Horum soror erat Helena. Agamemnon illam rapuit et Dianae cervam subiecit. Ita nunc Homeros dicit, quemadmodum inter se pugnent Troiani et Parentini. Vicit scilicet, et Iphigeniam, filiam suam, Achilli dedit uxorem. Ob eam rem Ajax insanit, et statim argumentum explicabit.” Haec ut dixit Trimalchio, clamorem Homeristae sustulerunt, interque familiam discurrentem vitulus in lance ducenaria elixus allatus est, et quidem galeatus. Secutus est Ajax strictoque gladio, tanquam insaniret, concidit, ac modo versa modo supina gesticulatus, mucrone frustra collegit mirantibusque vitulum partitus est.

[60] Nec diu mirari licuit tam elegantes strophas; nam repente lacunaria sonare coeperunt totumque triclinium intremuit. Consternatus ego exsurrexi, et timui ne per tectum petauristarius aliquis descenderet. Nec minus reliqui convivae mirantes erexere vultus expectantes quid novi de caelo nuntiaretur. Ecce autem diductis lacunaribus subito circulus ingens, de cupa videlicet grandi excussus, demittitur, cuius per totum orbem coronae aureae cum alabastris unguenti pendebant. Dum haec apophoreta iubemur sumere, respiciens ad mensam <. . .>.

Iam illic repositorium cum placentis aliquot erat positum, quod medium Priapus a pistore factus tenebat, gremioque satis amplo omnis generis poma et uvas sustinebat more vulgato. Avidius ad pompam manus porreximus, et repente nova ludorum remissio hilaritatem hic refecit. Omnes enim placentae omniaque poma etiam minima vexatione contacta coeperunt effundere crocum, et usque ad nos molestus umor accedere. Rati ergo sacrum esse fericulum tam religioso apparatu perfusum, consurreximus altius et «Augusto, patri patriae, feliciter» diximus. Quibusdam tamen etiam post hanc venerationem poma rapientibus, et ipsi mappas implevimus, ego praecipue, qui nullo satis amplo munere putabam me onerare Gitonis sinum.

Inter haec tres pueri candidas succincti tunicas intraverunt, quorum duo Lares bullatos super mensam posuerunt, unus pateram vini circumferens “dii propitii” clamabat.

Aiebat autem unum Cerdonem, alterum Felicionem, tertium Lucronem vocari. Nos etiam veram imaginem ipsius Trimalchionis, cum iam omnes basiarent, erubuimus praeterire.

[61] Postquam ergo omnes bonam mentem bonamque valitudinem sibi optarunt, Trimalchio ad Nicerotem respexit et: «Solebas, inquit, suavius esse in convictu; nescio quid nunc taces nec muttis. Oro te, sic felicem me videas, narra illud quod tibi usu venit.» Niceros delectatus affabilitate amici: «Omne me, inquit, lucrum transeat, nisi iam dudum gaudimonio dissilio, quod te talem video. Itaque hilaria mera sint, etsi timeo istos scolasticos ne me rideant. Viderint: narrabo tamen, quid enim mihi aufert, qui ridet? satius est rideri quam derideri.”

Haec ubi dicta dedit talem fabulam exorsus est:

«Cum adhuc servirem, habitabamus in vico angusto; nunc Gavillae domus est. Ibi, quomodo dii volunt, amare coepi uxorem Terentii coponis: noveratis Melissam Tarentinam, pulcherrimum bacciballum. Sed ego non mehercules corporaliter aut propter res venerias curavi, sed magis quod benemoria fuit. Si quid ab illa petii, nunquam mihi negatum; fecit assem,

semissem habui; in illius sinum demandavi, nec unquam fefellit sum. Huius contubernalis ad villam supremum diem obiit. Itaque per scutum per ocream egi aginavi, quemadmodum ad illam pervenirem: nam, ut aiunt, in angustiis amici apparent.

[62] «Forte dominus Capuae exierat ad scruta scita expedienda. Nactus ego occasionem persuadeo hospitem nostrum, ut mecum ad quintum miliarium veniat. Erat autem miles, fortis tanquam Orcus. Apoculamus nos circa gallicinia; luna lucebat tanquam meridie. Venimus inter monimenta: homo meus coepit ad stelas facere; sedeo ego cantabundus et stelas numero. Deinde ut respexi ad comitem, ille exiit se et omnia vestimenta secundum viam posuit. Mihi anima in naso esse; stabam tanquam mortuus. At ille circumminxit vestimenta sua, et subito lupo factus est. Nolite me iocari putare; ut mentiar, nullius patrimonium tanti facio. Sed, quod coeperam dicere, postquam lupo factus est, ululare coepit et in silvas fugit. Ego primitus nesciebam ubi essem; deinde accessi, ut vestimenta eius tollerem: illa autem lapidea facta sunt. Qui mori timore nisi ego? Gladium tamen strinxi et <in tota via> umbras cecidi, donec ad villam amicae meae pervenirem. In larvam intravi, paene animam ebullivi, sudor mihi per bifurcum volabat, oculi mortui; vix unquam refectus sum. Melissa mea mirari coepit, quod tam sero ambularem, et: ‘Si ante, inquit, venisses, saltem nobis adiutasses; lupo enim villam intravit et omnia pecora tanquam lanius sanguinem illis misit. Nec tamen derisit, etiamsi fugit; senius enim noster lancea collum eius traiecit’. Haec ut audivi, operire oculos amplius non potui, sed luce clara Gaii nostri domum fugi tanquam copo compilatus; et postquam veni in illum locum, in quo lapidea vestimenta erant facta, nihil inveni nisi sanguinem. Vt vero domum veni, iacebat miles meus in lecto tanquam bovis, et collum illius medicus curabat. Intellexi illum versipellem esse, nec postea cum illo panem gustare potui, non si me occidisses. Viderint quid de hoc alii exopinissent; ego si mentior, genios vestros iratos habeam.»

[63] Attonitis admiratione universis: “Salvo, inquit, tuo sermone, Trimalchio, si qua fides est, ut mihi pili inhorruerunt, quia scio Niceronem nihil nugarum narrare: immo certus est et minime linguosus. Nam et ipse vobis rem horribilem narrabo. Asinus in tegulis.

«Cum adhuc capillatus essem, nam a puero vitam Chiam gessi, ipsi nostri delicatus decessit, mehercules margaritum, <sacritus> et omnium numerum. Cum ergo illum mater misella plangeret et nos tum plures in tristimonio essemus, subito <stridere> strigae coeperunt; putares canem leporem persequi. Habebamus tunc hominem Cappadocem, longum, valde audaculum et qui valebat: poterat bovem iratum tollere. Hic audacter stricto gladio extra ostium procucurrit, involuta sinistra manu curiose, et mulierem tanquam hoc loco — salvum sit, quod tango! — mediam traiecit. Audimus gemitum, et — plane non mentiar — ipsas non vidimus. Baro autem noster introversus se proiecit in lectum, et corpus totum lividum habebat quasi flagellis caesus, quia scilicet illum tetigerat mala manus. Nos cluso ostio redimus iterum ad officium, sed dum mater amplexaret corpus filii sui, tangit et videt manuciolum de stramentis factum. Non cor habebat, non intestina, non quicquam: scilicet iam puerum strigae involaverant et supposuerant stramentitium vavatonem. Rogo vos, oportet credatis, sunt mulieres plussciae, sunt Nocturnae, et quod sursum est, deorsum faciunt. Ceterum baro ille longus post hoc factum nunquam coloris sui fuit, immo post paucos dies freneticus periit.»

[64] Miramur nos et pariter credimus, osculatique mensam rogamus Nocturnas, ut suis se teneant, dum redimus a cena.

Et sane iam lucernae mihi plures videbantur ardere totumque triclinium esse mutatum, cum Trimalchio: «Tibi dico, inquit, Plocame, nihil narras? nihil nos delectaris? Et solebas suavius esse, canturire belle deverbia, adicere melicam. Heu, heu, abistis dulces caricae. — Iam, inquit ille, quadrigae meae decucurrerunt, ex quo podagricus factus sum. Alioquin cum essem adolescentulus, cantando paene tisticus factus sum. Quid saltare? quid deverbia? quid tonstrinum? Quando parem habui nisi unum Apelletem?»

Appositaque ad os manu, nescio quid taetrum exhibavit quod postea Graecum esse affirmabat. Nec non Trimalchio ipse cum tubicines esset imitatus, ad delicias suas respexit, quem Croesum appellabat. Puer autem lippus, sordidissimis dentibus, catellam nigram atque indecenter pinguem prasina involuebat fascia, panemque semissem ponebat supra torum, ac nausea recusantem saginabat. Quo admonitus officio Trimalchio Scylacem iussit adduci «praesidium domus familiaeque». Nec mora, ingentis formae adductus est canis catena vinctus, admonitusque ostiarii calce ut cubaret, ante mensam se posuit. Tum Trimalchio iactans candidum panem: “Nemo, inquit, in domo mea me plus amat.” Indignatus puer, quod Scylacem tam effuse laudaret, catellam in terram deposuit hortatusque <est> ut ad rixam properaret. Scylax, canino scilicet usus ingenio, taeterrimo latratu triclinium implevit Margaritamque Croesi paene laceravit. Nec intra rixam tumultus constitit, sed candelabrum etiam supra mensam eversum et vasa omnia crystallina comminuit, et oleo ferventi aliquot convivas respersit. Trimalchio, ne videretur iactura motus, basiavit puerum ac iussit supra dorsum ascendere suum. Non moratus ille usus est equo, manuque plena scapulas eius subinde verberavit, interque risum proclamavit: “Bucco, bucco, quot sunt hic?” Repressus ergo aliquamdiu Trimalchio camellam grandem iussit misceri potiones<que> dividi omnibus servis, qui ad pedes sedebant, adiecta exceptione: “Si quis, inquit, noluerit accipere, caput illi perfunde. Interdium severa, nunc hilaria”.

[65] Hanc humanitatem insecutae sunt matteae, quarum etiam recordatio me, si qua est dicenti fides, offendit. Singulae enim gallinae altilis pro turdis circumlatae sunt et ova anserina pilleata, quae ut comessemus, ambitiosissime <a> nobis Trimalchio petiit dicens exossatas esse gallinas. Inter haec triclinii valvas lictor percussit, amictusque veste alba cum ingenti frequentia comissator intravit. Ego maiestate conterritus praetorem putabam venisse. Itaque temptavi assurgere et nudos pedes in terram deferre. Risit hanc trepidationem Agamemnon et: “Contine te, inquit, homo stultissime. Habinnas sevir est idemque lapidarius, qui videtur monumenta optime facere.”

Recreatus hoc sermone reposui cubitum, Habinnamque intrantem cum admiratione ingenti spectabam. Ille autem iam ebrius uxoris suae umeris imposuerat manus, oneratusque aliquot coronis et unguento per frontem in oculos fluente, praetorio loco se posuit, continuoque vinum et caldam poposcit. Delectatus hac Trimalchio hilaritate et ipse capaciorem poposcit scyphum, quaesivitque quomodo acceptus esset. «Omnia, inquit, habuimus praeter te; oculi enim mei hic erant. Et mehercules bene fuit. Scissa lautum novendialem servo suo misello faciebat, quem mortuum manu miserat. Et, puto, cum vicensimariis magnam mantissam habet; quinquaginta enim millibus aestimant mortuum. Sed tamen suaviter fuit, etiam si coacti sumus dimidias potiones super ossucula eius effundere.»

[66] — Tamen, inquit Trimalchio, quid habuistis in cena? — Dicam, inquit, si potuero; nam tam bonae memoriae sum, ut frequenter nomen meum obliviscar. Habuimus tamen in primo porcum botulo coronatum et circa sangunculum et gizeria optime facta et certe betam et panem autopsyrum de suo sibi, quem ego malo quam candidum; <nam> et vires facit, et cum mea re causa facio, non ploro. Sequens ferculum fuit scribilita frigida et supra mel caldum infusum eccellente Hispanum. Itaque de scribilita quidem non minimum edi, de melle me usque tetigi. Circa cicer et lupinum, calvae arbitrato et mala singula. Ego tamen duo sustuli et ecce in mappa alligata habeo; nam si aliquid muneris meo vernulae non tulero, habebo convicium. Bene me admonet domina mea. In prospectu habuimus ursinae frustum, de quo cum imprudens Scintilla gustasset, paene intestina sua vomuit; ego contra plus libram comedi, nam ipsum aprum sapiebat. Et si, inquam, ursus homuncionem comest, quanto magis homuncio debet ursum comesse? In summo habuimus caseum mollem et sapam et cocleas singulas et cordae frusta et hepatica in catillis et ova pilleata et rapam et senape et catillum concacatum — pax Palamedes! — Etiam in alveo circumlata sunt oxycomina, unde quidam etiam improbi ternos pugnos sustulerunt. Nam pernae missionem dedimus.

[67] «Sed narra mihi, Gai, rogo, Fortunata quare non recumbit? — Quomodo nosti, inquit, illam, Trimalchio, nisi argentum composuerit, nisi reliquias pueris diviserit, aquam in os suum non coniciet. — Atqui, respondit Habinnas, nisi illa discumbit, ego me apoculo.» Et coeperat surgere, nisi signo dato Fortunata quater amplius a tota familia esset vocata. Venit ergo galbino succincta cingillo, ita ut infra cerasina appareret tunica et periscelides tortae phaecasiaeque inauratae. Tunc sudario manus tergens, quod in collo habebat, applicat se illi toro, in quo Scintilla Habinnae discumbebat uxor, osculataque plaudentem: «Est te, inquit, videre?»

Eo deinde perventum est, ut Fortunata armillas suas crassissimis detraheret lacertis Scintillaeque miranti ostenderet. Ultimo etiam periscelides resolvit et reticulum aureum, quem ex obrussa esse dicebat. Notavit haec Trimalchio iussitque afferri omnia et: «Videtis, inquit, mulieris compedes: sic nos barcalae despoliamur. Sex pondo et selibram debet habere. Et ipse nihilo minus habeo decem pondo armillam ex millesimis Mercurii factam.» Ultimo etiam, ne mentiri videretur, stateram iussit afferri et circulatum approbari pondus. Nec melior Scintilla, quae de cervice sua capsellam detraxit aureolam, quam Felicionem appellabat. Inde duo crotalia protulit et Fortunatae invicem considerata dedit et: «Domini, inquit, mei beneficio nemo habet meliora. — Quid? inquit Habinnas, excatarrissasti me, ut tibi emerem fabam vitream. Plane si filiam haberem, auriculas illi praeciderem. Mulieres si non essent, omnia pro luto haberemus; nunc hoc est caldum meiere et frigidum potare.»

Interim mulieres sauciae inter se riserunt ebriaeque iunxerunt oscula, dum altera diligentiam matris familiae iactat, altera delicias et indiligentiam viri. Dumque sic cohaerent, Habinnas furtim consurrexit, pedesque Fortunatae correptos super lectum immisit. «Au! au!» illa proclamavit aberrante tunica super genua. Composita ergo in gremio Scintillae indecentissimam rubore faciem sudario abscondit.

[68] Interposito deinde spatio cum secundas mensas Trimalchio iussisset afferri, sustulerunt servi omnes mensas et alias attulerunt, scobemque croco et minio tinctam sparserunt et, quod nunquam ante videram, ex lapide speculari pulverem tritum. Statim Trimalchio: «Poteram quidem, inquit, hoc fericulo esse contentus; secundas enim mensas habetis. <Sed> si quid belli habes, affer».

Interim puer Alexandrinus, qui caldam ministrabat, lusciniis coepit imitari clamante Trimalchione subinde: «Muta!». Ecce alius ludus. Servus qui ad pedes Habinnae sedebat, iussus, credo, a domino suo proclamavit subito canora voce:

Interea medium Aeneas iam classe tenebat. . .

Nullus sonus unquam acidior percussit aures meas; nam praeter errantis barbariae aut adiectum aut deminutum clamorem, miscebat Atellanicos versus, ut tunc primum me etiam Vergilius offenderit. Lassus tamen cum aliquando desisset, adiecit Habinnas et «Nunquam, inquit, didicit, sed ego ad circulatores eum mittendo erudibam. Itaque parem non habet, sive muliones volet sive circulatores imitari. Desperatum valde ingeniosus est: idem sutor est, idem cocus, idem pistor, omnis Musae mancipium. Duo tamen vitia habet, quae si non haberet, esset omnium numerum: recutitus est et stertit. Nam quod strabonus est, non curo; sicut Venus spectat. Ideo nihil tacet, vix oculo mortuo unquam. Illum emi trecentis denariis. . .»

[69] Interpellavit loquentem Scintilla et: «Plane, inquit, non omnia artificia servi nequam narras. Agaga est; at curabo stigmam habeat.» Risit Trimalchio et: «Adcognosco, inquit, Cappadocem: nihil sibi defraudit, et mehercules laudo illum; hoc enim nemo parentat. Tu autem, Scintilla, noli zelotypa esse. Crede mihi, et vos novimus. Sic me salvum habeatis, ut ego sic solebam ipsumam meam debattuere, ut etiam dominus suspicaretur; et ideo me in vilicionem relegavit. Sed tace, lingua, dabo panem.» Tanquam laudatus esset nequissimus servus, lucernam de sinu fictilem protulit et amplius semihora tubicines imitatus est succinente Habinna et inferius labrum manu deprimente. Ultimo etiam in medium processit et modo harundinibus quassis choraulas imitatus est, modo lacernatus cum flagello mulionum fata egit, donec vocatum ad se Habinnas basiavit, potionemque illi porrexit et: «Tanto melior, inquit, Massa, dono tibi caligas».

Nec ullus tot malorum finis fuisset, nisi epidipnis esset allata, turdi siligine uvis passis nucibusque farsi. Insecuta sunt Cydonia etiam mala spinis confixa, ut echinos efficerent. Et haec quidem tolerabilia erant, si non fericulum longe monstrosius effecisset ut vel fame perire mallems. Nam cum positus esset, ut nos putabamus, anser altilis circaque pisces et omnium genera avium: “<Amici> , inquit Trimalchio, quicquid videtis hic positum, de uno corpore est factum.” Ego scilicet homo prudentissimus, statim intellexi quid esset, et respiciens Agamemnon: “Mirabor, inquam, nisi omnia ista de <fimo> facta sunt aut certe de luto. Vidi Romae Saturnalibus eiusmodi cenarum imaginem fieri”.

[70] Necdum finieram sermonem, cum Trimalchio ait: “Ita crescram patrimonio, non corpore, ut ista cocus meus de porco fecit. Non potest esse pretiosior homo. Volueris, de vulva faciet piscem, de lardo palumbam, de perna turturem, de colaepio gallinam. Et ideo ingenio meo impositum est illi nomen bellissimum; nam Daedalus vocatur. Et quia bonam mentem habet, attuli illi Roma munus cultros Norico ferro.” Quos statim iussit afferri, inspectosque miratus est. Etiam nobis potestatem fecit ut mucronem ad buccam probarem.

Subito intraverunt duo servi, tanquam qui rixam ad lacum fecissent; certe in collo adhuc amphoras habebant. Cum ergo Trimalchio ius inter litigantes diceret, neuter sententiam tulit discernentis, sed alterius amphoram fuste percussit. Consternati nos insolentia ebriorum intentavimus oculos in proeliantes, notavimusque ostrea pectinesque e gastris labentia, quae collecta puer lance circumtulit. Has lautitias aequavit ingeniosus cocus; in craticula enim argentea cocleas attulit et tremula taeterrimaque voce cantavit.

Pudet referre quae secuntur: inaudito enim more pueri capillati attulerunt unguentum in argentea pelve pedesque recumbentium unxerunt, cum ante crura talosque corollis vinxissent. Hinc ex eodem unguento in vinarium atque lucernam aliquantum est infusum.

Iam coeperat Fortunata velle saltare, iam Scintilla frequentius plaudebat quam loquebatur, cum Trimalchio: «Permitto, inquit, Philargyre et Cario, etsi prasinianus es famosus, dic et Menophilae, contubernali tuae, discumbat. «Quid multa? Paene de lectis deiecti sumus, adeo totum triclinium familia occupaverat. Certe ego notavi super me positum cocum, qui de porco anserem fecerat, muria condimentisque fetentem. Nec contentus fuit recumbere, sed continuo Ephesum tragoedum coepit imitari et subinde dominum suum sponsione provocare si prasinus proximis circensibus primam palmam».

[71] Diffusus hac contentione Trimalchio: «Amici, inquit, et servi homines sunt et aequae unum lactem biberunt, etiam si illos malus fatus oppresserit. Tamen me salvo cito aquam liberam gustabunt. Ad summam, omnes illos in testamento meo manu mitto. Philargyro etiam fundum lego et contubernalem suam, Carioni quoque insulam et vicesimam et lectum stratum. Nam Fortunatam meam heredem facio, et commendo illam omnibus amicis meis. Et haec ideo omnia publico, ut familia mea iam nunc sic me amet tanquam mortuum”.

Gratias agere omnes indulgentiae coeperant domini, cum ille oblitus nugarum exemplar testamenti iussit afferri et totum a primo ad ultimum ingemescente familia recitavit. Respiciens deinde Habinnam: “Quid dicis, inquit, amice carissime? Aedificas monumentum meum quemadmodum te iussi? Valde te rogo, ut secundum pedes statuae meae catellam pingas et coronas et unguenta et Petraitis omnes pugnas, ut mihi contingat tuo beneficio post mortem vivere; praeterea ut sint in fronte pedes centum, in agrum pedes ducenti. Omne genus enim poma volo sint circa cineres meos, et vinearum largiter. Valde enim falsum est vivo quidem domos cultas esse, non curari eas, ubi diutius nobis habitandum est. Et ideo ante omnia adici volo: HOC MONUMENTUM HEREDEM NON SEQUATUR. Ceterum erit mihi curae, ut testamento caveam ne mortuus iniuriam accipiam. Praeponam enim unum ex libertis sepulchro meo custodiae causa, ne in monumentum meum populus cacatum currat. Te rogo, ut naves etiam <in fronte> monumenti mei facias plenis velis euntes, et me in tribunali sedentem praetextatum cum anulis aureis quinque et nummos in publico de sacculo effundentem; scis enim, quod epulum dedi binos denarios. Faciatur, si tibi videtur, et triclinia. Facies et totum populum sibi suaviter facientem. Ad dexteram meam pones statuam Fortunatae meae columbam tenentem, et catellam cingulo alligatam ducat, et cicaronem meum, et amphoras copiosas gypsatas, ne effluent vinum. Et urnam licet fractam sculpas, et super eam puerum plorantem. Horologium in medio, ut quisquis horas inspiciet, velit nolit, nomen meum legat. Inscriptio quoque vide diligenter si haec satis idonea tibi videtur:

C. POMPEIUS TRIMALCHIO MAECENATIANVS HIC REQVIESCIT
HVIC SEVIRATVS ABSENTI DECRETVS EST
CVM POSSET IN OMNIBVS DECVRIIS ROMAE ESSE TAMEN NOLVIT
PIVS FORTIS FIDELIS EX PARVO CREVIT SESTERTIVM RELIQVIT TRECENTIES
NEC VNQVAM PHILOSOPHV M AVDIVIT
VALE
ET TV”

[72] Haec ut dixit Trimalchio, flere coepit ubertim. Flebat et Fortunata, flebat et Habinnas, tota denique familia, tanquam in funus rogata, lamentatione triclinium implevit. Immo iam coeperam etiam ego plorare, cum Trimalchio: «Ergo, inquit, cum sciamus nos morituros esse, quare non vivamus? Sic nos felices videam, coniciamus nos in balneum, meo periculo, non paenitebit. Sic calet tanquam furnus. — Vero, vero, inquit Habinnas, de una die duas facere, nihil malo»; nudisque consurrexit pedibus et Trimalchionem gaudentem subsequi.

Ego respiciens ad Ascyllon: «Quid cogitas? inquam, ego enim si videro balneum, statim expirabo. — Assentemur, ait ille, et dum illi balneum petunt, nos in turba exeamus».

Cum haec placuissent, ducente per porticum Gitone ad ianuam venimus, ubi canis catenarius tanto nos tumultu excepit, ut Ascyllotos etiam in piscinam ceciderit. Nec non ego quoque ebrius, qui etiam pictum timueram canem, dum natanti opem

fero, in eundem gurgitem tractus sum. Servavit nos tamen atriensis, qui interventu suo et canem placavit et nos trementes extraxit in siccum. At Giton quidem iam dudum <se> servatione acutissima redemerat a cane: quicquid enim a nobis acceperat de cena, latranti sparserat, et ille avocatus cibo furorem suppresserat. Ceterum cum algentes utique petissemus ab atriense ut nos extra ianuam emitteret: «Erras, inquit, si putas te exire hac posse, qua venisti. Nemo unquam convivarum per eandem ianuam emissus est; alia intrant, alia exeunt.»

[73] Quid faciamus homines miserrimi et novi generis labyrintho inclusi, quibus lavari iam coeperat votum esse? Ultro ergo rogavimus ut nos ad balneum duceret, proiectisque vestimentis, quae Giton in aditu siccare coepit, balneum intravimus, angustum scilicet et cisternae frigidariae simile, in qua Trimalchio rectus stabat. Ac ne sic quidem putidissimam eius iactationem licuit effugere; nam nihil melius esse dicebat quam sine turba lavari, et eo ipso loco aliquando pistrinum fuisse. Deinde ut lassatus consedit, invitatus balnei sono diduxit usque ad cameram os ebrium et coepit Menecratis cantica lacerare, sicut illi dicebant, qui linguam eius intellegebant. Ceteri convivae circa labrum manibus nexis currebant, et gingilipho ingenti clamore exsonabant. Alii autem aut restrictis manibus anulos de pavimento conabantur tollere, aut posito genu cervices post terga flectere, et pedum extremos pollices tangere. Nos, dum alii sibi ludos faciunt, in solium, quod Trimalchioni parabatur, descendimus.

Ergo ebrietate discussa in aliud triclinium deducti sumus ubi Fortunata disposuerat lautitias ita ut supra lucernas <vidi . . .> aeneolosque piscatores notaverim et mensas totas argenteas calicesque circa fictiles inauratos et vinum in conspectu sacco defluens. Tum Trimalchio: «Amici, inquit, hodie servus meus barbatoriam fecit, homo praefiscini frugi et micarius. Itaque tangomenas faciamus et usque in lucem cenemus.»

[74] Haec dicente eo gallus gallinaceus cantavit. Qua voce confusus Trimalchio vinum sub mensa iussit effundi lucernamque etiam mero spargi. Immo anulum traiecit in dexteram manum et: «Non sine causa, inquit, hic bucinus signum dedit; nam aut incendium oportet fiat, aut aliquis in vicinia animam abiciat. Longe a nobis! Itaque quisquis hunc indicem attulerit, corollarium accipiet.» Dicto citius de vicinia gallus allatus est, quem Trimalchio iussit ut aeno coctus fieret. Laceratus igitur ab illo doctissimo coco, qui paulo ante de porco aves piscesque fecerat, in caccabum est coniectus. Dumque Daedalus potionem ferventissimam haurit, Fortunata mola buxea piper trivit.

Sumptis igitur matteis, respiciens ad familiam Trimalchio: «Quid vos, inquit, adhuc non cenastis? Abite, ut alii veniant ad officium.» Subiit igitur alia classis, et illi quidem exclamavere: «Vale Gai», hi autem: «Ave Gai.» Hinc primum hilaritas nostra turbata est; nam cum puer non inspeciosus inter novos intrasset ministros, invasit eum Trimalchio et osculari diutius coepit. Itaque Fortunata, ut ex aequo ius firmum approbaret, male dicere Trimalchionem coepit et purgamentum dedecusque praedicare, qui non contineret libidinem suam. Ultimo etiam adiecit: «canis!». Trimalchio contra offensus convicio calicem in faciem Fortunatae immisit. Illa tanquam oculum perdidisset, exclamavit manusque trementes ad faciem suam admovit. Consternata est etiam Scintilla trepidantemque sinu suo texit. Immo puer quoque officiosus urceolum frigidum ad malam eius admovit, super quem incumbens Fortunata gemere ac flere coepit. Contra Trimalchio: «Quid enim, inquit, ambubaia non meminit se? de machina illam sustuli, hominem inter homines feci. At inflat se tanquam rana, et in sinum suum non sputat, codex, non mulier. Sed hic, qui in pergula natus est, aedes non somniatur. Ita genium meum propitium habeam, curabo domata sit Cassandra caligaria. Et ego, homo dipundiarius, sestertium centies accipere potui. Scis tu me non mentiri. Agatho unguentarius here proxime seduxit me et: 'Suadeo, inquit, non patiaris genus tuum interire.' At ego dum bonatus ago et nolo videri levis, ipse mihi asciam in crus imegi. Recte, curabo me unguibus quaeras. Et, ut depraesentiarum intelligas quid tibi feceris: Habinna, nolo statuam eius in monumento meo ponas, ne mortuus quidem lites habeam. Immo, ut sciat me posse malum dare, nolo me mortuum basiet.»

[75] Post hoc fulmen Habinnas rogare coepit ut iam desineret irasci, et: «Nemo, inquit, nostrum non peccat. Homines sumus, non dei.» Idem et Scintilla flens dixit, ac per genium eius Gaium appellando rogare coepit ut se frangeret. Non tenuit ultra lacrimas Trimalchio et: «Rogo, inquit, Habinna, sic peculium tuum fruniscaris: si quid perperam feci, in faciem meam inspue. Puerum basiavi frugalissimum, non propter formam, sed quia frugi est: decem partes dicit, librum ab oculo legit, thraecium sibi de diariis fecit, arcisellium de suo paravit et duas trullas. Non est dignus quem in oculis feram? Sed Fortunata vetat. Ita tibi videtur, fulcipedia? Suadeo, bonum tuum concoquas, milva, et me non facias ringentem, amasiuncula: alioquin experieris cerebrum meum. Nosti me: quod semel destinavi, clavo tabulari fixum est. Sed vivorum meminerimus. Vos rogo, amici, ut vobis suaviter sit. Nam ego quoque tam fui quam vos estis, sed virtute mea ad hoc perveni. Corcillum est quod homines facit, cetera quisquilia omnia. Bene emo, bene vendo; alius alia vobis dicet. Felicitate dissilio. Tu autem, sterteia, etiamnum ploras? Iam curabo fatum tuum plores. Sed ut coeperam dicere, ad hanc me fortunam frugalitas mea perduxit.

«Tam magnus ex Asia veni, quam hic candelabrus est. Ad summam, quotidie me solebam ad illum metiri, et ut celerius rostrum barbatum haberem, labra de lucerna ungebam. Tamen ad delicias ipsimi annos quattuordecim fui. Nec turpe est, quod dominus iubet. Ego tamen et ipsimae satis faciebam. Scitis quid dicam: taceo, quia non sum de gloriosis.

[76] «Ceterum, quemadmodum di volunt, dominus in domo factus sum, et ecce cepi ipsimi cerebellum. Quid multa? coheredem me Caesari fecit, et accepi patrimonium laticlavium. Nemini tamen nihil satis est. Concupivi negotiari. Ne multis vos morer, quinque naves aedificavi, oneravi vinum — et tunc erat contra aurum — misi Romam. Putares me hoc iussisse: omnes naves naufragarunt. Factum, non fabula. Vno die Neptunus trecenties sestertium devoravit. Putatis me defecisse? Non mehercules mi haec iactura gusti fuit, tanquam nihil facti. Alteras feci maiores et meliores et feliciores, ut nemo non me virum fortem diceret. Scis, magna navis magnam fortitudinem habet. Oneravi rursus vinum, lardum, fabam, sepladium, mancipia. Hoc loco Fortunata rem piam fecit: omne enim aurum suum, omnia vestimenta vendidit et mi centum aureos

in manu posuit. Hoc fuit peculii mei fermentum. Cito fit quod di volunt. Vno cursu centies sestertium corrotundavi. Statim redemi fundos omnes, qui patroni mei fuerant. Aedifico domum, venalicia coemo, iumenta; quicquid tangebam, crescebat tanquam favus. Postquam coepi plus habere quam tota patria mea habet, manum de tabula: sustuli me de negotiatione et coepi libertos fenerare. Et sane nolente me negotium meum agere exhortavit mathematicus, qui venerat forte in coloniam nostram, Graeculio, Serapa nomine, consiliator deorum. Hic mihi dixit etiam ea, quae oblitus eram; ab acia et acu mi omnia euit; intestinas meas noverat; tantum quod mihi non dixerat, quid pridie cenaveram. Putasses illum semper mecum habitasse.

[77] “Rogo, Habinna — puto, interfuisti —: ‘Tu dominam tuam de rebus illis fecisti. Tu parum felix in amicos es. Nemo unquam tibi parem gratiam refert. Tu latifundia possides. Tu viperam sub ala nutricas’ et — quid vobis non dixerim — etiam nunc mi restare vitae annos triginta et menses quattuor et dies duos. Praeterea cito accipiam hereditatem. Hoc mihi dicit fatus meus. Quod si contigerit fundos Apuliae iungere, satis vivus pervenero. Interim dum Mercurius vigilat, aedificavi hanc domum. Vt scitis, casula erat; nunc templum est. Habet quattuor cenationes, cubicula viginti, porticus marmoratos duos, susum cellationem, cubiculum in quo ipse dormio, viperae huius sessorium, ostiarii cellam perbonam; hospitium hospites capit. Ad summam, Scaurus cum huc venit, nusquam mavoluit hospitari, et habet ad mare paternum hospitium. Et multa alia sunt, quae statim vobis ostendam. Credite, mihi: assem habeas, assem valeas; habes, habebis. Sic amicus vester, qui fuit rana, nunc est rex. Interim, Stiche, profer vitalia, in quibus volo me efferri. Profer et unguentum et ex illa amphora gustum, ex qua iubeo lavari ossa mea.”

[78] Non est moratus Stichus, sed et stragulam albam et praetextam in triclinium attulit. <Vitalia Trimalchio accepit> iussitque nos temptare, an bonis lanis essent confecta. Tum subridens: “Vide tu, inquit, Stiche, ne ista mures tangant aut tineae; alioquin te vivum conburam. Ego gloriosus volo efferri, ut totus mihi populus bene imprecetur.” Statim ampullam nardi aperuit omnesque nos unxit et: “Spero, inquit, futurum ut aequae me mortuum iuvet tanquam vivum.” Nam vinum quidem in vinarium iussit infundi et: “Putate vos, ait, ad parentalia mea invitatos esse”.

Ibat res ad summam nauseam, cum Trimalchio ebrietate turpissima gravis novum acroama, cornicines, in triclinium iussit adduci, fultusque cervicalibus multis extendit se super torum extremum et: “Fingite me, inquit, mortuum esse. Dicite aliquid belli.” Consonuere cornicines funebri strepitu. Vnus praecipue servus libitinarii illius, qui inter hos honestissimus erat, tam valde intonuit, ut totam concitaret viciniam.

Itaque vigiles, qui custodiebant vicinam regionem, rati ardere Trimalchionis domum, effregerunt ianuam subito et cum aqua securibusque tumultuari suo iure coeperunt. Nos occasionem opportunissimam nacti Agamemnoni verba dedimus, raptimque tam plane quam ex incendio fugimus.

1. Пир, испорченный гостем

Ваикра Рабба 28:2

Шимон, сын Рабби, устраивал пир для своего сына. Пошел (Шимон) и позвал всех мудрецов, но забыл про Бар-Каппару.

Пошел тот и так написал на воротах: «После веселия смерть — что останется от веселия?»

Сказал тот (Шимон): Кто это сделал мне так?! Есть ли кто-нибудь, кого мы не позвали?

Ответили ему: Бар-Каппара — тот, кого забыл ты позвать.

Сказал: Но позвать теперь его одного... позорно это.

Пошел и устроил еще один пир и позвал всех мудрецов и Бар-Каппару с ними.

На всякое блюдо, что подавали им, он (Бар-Каппара) говорил три сотни притч о том лисе. И не прикасались гости к кушаньям, слушая его, пока те не остывали и их не выносили оттуда.

Спросил рабби Шимон у слуг: Отчего блюда нетронуты?

Сказали ему: Некий старец сидит там и на каждое блюдо говорит три сотни притч, (кушанья) остывают и никто их не ест.

Вышел к нему и сказал: Что я сделал тебе, что ты испортил мне мою еду?!

Ответил ему: Разве еда твоя мне нужна? Ведь сказал Шломо: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (Эккл 1:3), а что сказано далее: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки» (Эккл 1:4).

А потом простили они друг друга, и стал между ними мир.

И тогда сказал ему (рабби Шимону — Бар-Каппара): Этот мир, он не твой, но дал тебе в нем Бог покой.

А в грядущем мире, который весь твой, воздаст тебе сторицей.

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כח

שמעון ב"ר עשה סעודה למשתה בנו אזל וקרא לכל רבני' ואינשי מיקרא בר קפרא. אזל וכת' על תרעיה אחר שמחתו מות מה יתרון לשמחתו. אמ' מאן עבד לי הדין, אית דלא צווחינן ליה, אמרו ליה בר קפרא דאינשיית למיקרא ליה. אמ' הא כדו מיקרייא לגרמיה סניא הוא, אזל ועבד מגס אוחרי וקרא לכל רבני' וקרא ליה. כל תבשיל ותבשיל שהיו מביאין לפניהם הוה אמר עליו תלת מאוון מתלין מן הדין תעלא ולא הוה טעימין תבשילא מדהוה צונן, והוה מפקין כל חדא וחדא תבשילא כמה דהוה. אמ' ר"ש בר' לשמשיה על מה תבשילין שלמין, א"ל חד סב יתיב תמן והוא אומ' על כל תבשיל ותבשיל מתלין עד אינון צניין ולא אכלין. סליק לגביה אמ' ליה מה עבדיית לך דסרחת מגוסי, אמ' ליה וכי למגוסך אנא צריך, לא כך אמ' שלמה מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, מה כת' בתריה דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת (קהלת א, ד). מדאיתפיסון דין עם דין ועבדון שלמא אמ' ליה ומה העולם הזה שאינו שלך השפיע לך הקב"ה שלוה, העולם הבא שכולו שלך על אחת כמה וכמה. א"ר סימון אמ' לו הקב"ה לאדם זה הרי חרשתה וקצרתה ועימרתה ועשיתה ערימה, הא עבידה ערימה, אם אי אני מוציא לך מעט רוח יכול את לזרות, אפי' שכר אותו הרוח יכול את ליתן, הה"ד מה יתרון לו שיעמול לרוח (קהלת ה, טו).

Иерусалимский Талмуд (Мозд Катан 3:1 81г)

Рабби (Йегуды га-Наси) привечал Бар-Эльяшу.
Сказал ему (Бар Эльяше) Бар-Каппара: Весь народ идет вопрошать (мира) для Рабби, а ты, ты не вопрошаешь?
Сказал ему тот: А что я вопрошу?
Ответил: Так вопрошай...

...взглянет с небес
Стенающая в сокрытой части дома пугает крылатых
Увидели ее юноши и сокрылись старцы встали и остались стоять
Сбежавший скажет: «Увы, увы!», а схваченный пленен в узах своего греха

(Услышав вышесказанное из уст Бар-Эльяши,) Отвернул Рабби лицо свое и увидел, что (Бар-Каппара) смеется.
Сказал ему: Я не знаком с тобой в качестве старца.
И знал тот, что не получит назначения в его дни.

Ваикра Рабба (9:2-3)

Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу, если кто в благодарность приносит ее... (Лев 7:11-12).

...
Кто приносит жертву в благодарность, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим (сам дерех), тому явлю Я спасение Божие (Пс 50(49):23).
читай сам дерех как шам дерех. Велика ценность того, кто знает цену своей дороге.
История о рабби Янае, который шел по дороге и встретил человека, каковой был весьма представителен.

Сказал ему: Соизволит ли учитель мой посетить меня?
Ответил: Если угодно тебе.
Привел его в свой дом.
За трапезой проверил его знания Писания и ничего не нашел в нем. Проверил его знания Мишны и ничего не нашел в нем. Талмуд – не нашел в нем. Агаду – не нашел в нем.
Сказал ему: Благослови!

Сказал ему: Благословит Янай в доме своем...
Сказал ему: Способен ли ты повторить за мной то, что я тебе скажу?
Ответил: Да!
Сказал ему: Говори: «Пес ел хлеб Яная!»

Вскочил и схватил его, говоря: Мое наследство у тебя, а ты унижаешь меня!
Ответил ему рабби Янай: И что это за наследство твое, что у меня?
Сказал: Ведь с детства я говорю: «Тору дал нам Моисей, наследие общине Иакова» (Втор 33:4). Ведь не сказано: «общине Яная»!
Как только примирились, сказал ему рабби Янай: Все-

תלמוד ירושלמי מסכת מועד קטן
פרק ג [דף פא טור ג]

רבי הוה מוקר לבר אלעשא אמר ליה בר קפרא כל עמא שאלין לרבי ואת לית את שאל ליה אמר ליה מה נישאול אמר ליה שאול משמים נשקפה הומיה ברכתי ביתה מפחדת כל בעלי כנפים ראוה נערים ונחבאו ושישים קמו עמדו הנס יאמר הו והנלכד נלכד בעונו הפך רבי וחמתיה גחך אמר רבי איני מכירך זקן וידע דלית הוא מתמנייא ביומוי

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת צו פרשה ט

[ג] ד"א ושם דרך, שין כת', דשים אורחיה סגי שווי. מעשה בר' ינאי שהיה מהלך בדרך פגע בו אדם אחד שהיה משופע ביותר אמ' לו משגח ר' לאיתקבלא גבן, אמ' ליה מה דהני לך. הכניסו לתוך ביתו בדקו במקרא ולא מצאו, בדקו במשנה ולא מצאו, בתלמוד ולא מצאו, בהגדה ולא מצאו. אמ' ליה בריך, אמ' ליה יברך ינאי בבייתיה. אמ' ליה אית בך אמ' מה דאנא אמ' לך, אמ' ליה אין. אמ' ליה אמור אכל כלבא פסתיה דינאי. קם צריה. אמ' ליה מה ירתותי גבך דאת מוני לי, אמ' ליה ומה ירתותך גבי, אמ' ליה דמינוקייא אמ' תורה צוה לנו משה מורשה (דברים לג, ד), קהלת ינאי אין כת' כאן, אלא קהלת יעקב (שם / דברים ל"ג, ד'). מן דאיתפיסין דין לדין אמ' ליה למה זכית למיכל על פתורי, אמ' ליה מן יומיי לא שמעית מילא בישא וחיזרתי למריה ולא חמית תרין דמיתכתשין דין עם דין ולא יהבית שלמא ביניהון. אמ' ליה כל הדא דרך ארץ גבך וקריתך כלבא, וקרא עליה ושם דרך אראנו בישע אלהים, שין כת', דשים אורחיה סגי שוי. דאמ' ר' ישמע' בר' נחמ' עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הה"ד לשמור את דרך עץ החיים (בראשית ג, כד). דרך, זו דרך

таки, чем ты удостоился есть от моего хлеба?
 Ответил: За всю мою жизнь, ежели слышал я, что о ком-то говорят дурное, то не доносил ему. И если видел двоих ругающихся друг с другом, всегда примирял их.

Сказал ему рабби Янай: Так велико твое благочестие, а я назвал тебя псом!

И тогда произнес о нем этот стих: «Кто приносит жертву в благодарность, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие». И этот: «Велика ценность того, кто знает цену своей дороге».

2. Мудрый муж и наглый кастрат

Когелет Рабба 10:7

Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком.
 Рабби Акива восходил в Рим и встретил одного царского евнуха. Сказал ему: Ты учитель иудеев? Ответил: Да. Сказал: Тогда, три слова я тебе скажу: Тот кто на коне – царь, на осле – свободный, тот кто обут – человек. Тот у кого ничего этого нет – погребенному лучше быть. Ответил ему: Три слова ты сказал, три слова я тебе верну в замен: Великолепие лица – борода, радость сердца – жена, удел Господа – сыновья. Горе тому у кого этого нет! И более того, уже опередило тебя Писание: Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком. Как только услышал это тот евнух, ударил голову свою о стену и помер.

3. Мудрецы, колдуны и иные

Иерусалимский Талмуд, Сангедрин 7:13, 25г

История. Рабби Лиэзер, рабби Йеошуа и рабби Акива пошли мыться в ту баню, что в Тиберии.
 Увидел их один отступник и сказал то, что сказал, и были они схвачены куполом.
 Сказал рабби Лиэзер рабби Йеошуа: Посмотри, что тебе сделать!
 Когда выходил тот отступник, сказал рабби Йеошуа то, что сказал, и был тот схвачен вратами. И всякий, кто входил, давал ему подзатыльник, а всякий, кто выходил, оплеуху.
 Сказал тот: Разрешите то, что сделали!
 Сказали ему: Разрешит ты, и мы разрешим!
 Разрешили и те, и другие.
 А когда выходили из бани, сказал рабби Йеошуа тому отступнику: Что ты знаешь?
 Сказал тот: Пойдемте к морю.
 Как спустились они к морю, сказал тот отступник то, что сказал, и разделил море. И сказал им: Не так ли делал

арץ, ואחר כך עץ החיים, זו תורה. אראנו בישיע אלהים, אמ' ר' אבהו זה אחד מן המקראות שישיעתו שלישראל, ישועתו שלהקב"ה, ולכה לישיעתה לנו (תהלים פ, ג).

קהלת רבה (וילנא) פרשה י

א [ז] ראיתי עבדים על סוסים, ... ר' עקיבא הוה סליק לרומי פגע ביה חד סריס מן מלכותא, אמר ליה את הוא רביהון דיהודאי אמר ליה אין אמר ליה שמיע מינאי תלת מילין דעל סוס מלך, דעל חמר בן חורין, מנעלים ברגליו בר נש, דלא דין ולא דין, חפיר טב מיניה, אמר תלת מילין אמרת, תלת מילי שמע לי חילופיהו, הדרת פנים זקן, שמחת לבב אשה, נחלת ה' בנים, אוי לו לאותו האיש דחסר שלשתו, ולא עוד שקדמו הכתוב ראיתי עבדים על סוסים, כיון דשמע ההוא סריס כן טרף רישיה אגודא ומית.

תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ז דף כה טור ד /הי"ב

דלמא רבי ליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא עלון למיסחי בהדין דימוסין דטיבריא חמתון חד מיניי אמר מה דמר ותפשיתון כיפה א"ר ליעזר לר' יהושע מה יהושע בן חנינה חמי מה דאת עבד מי נפיק אהן מינייא אמר רבי יהושע מה דמר ותפש יתיה תרעה והוה כל מאן דעליל הוה יהיב ל' חד מרתוקה וכל מאן דנפיק הוה יתיב ליה בנתיקה אמר לון שרון מה דעבדתון אמרין ליה שרי ואנן שריי שרון אילין ואילין מן דנפקון אמר רבי יהושע לההוא מינייא הא מה דאת חכם אמר ניחות לימא מן דנחתין לימא אמר ההוא מינייא מה דאמר ואיתבזע ימא אמר לון ולא כן עבד משה רבכון בימא אמרין ליה לית את מודה

Моше, учитель ваш, с морем?!
Сказали ему: Не согласился ли ты с нами, что Моше ходил между вод?
Сказал им: Да.
Сказали ему: И ты ходи между вод.
Ходил тот между вод, и велел рабби Йеошуа Господину моря, и поглотило его море.

История. Рабби Лиэзер, рабби Йеошуа и раббан Гамлиэль отправились в Рим. Пришли в одно место и обнаружили там детей, которые играли в камешки и так говорили друг другу: Сыновья Израиля так делают и говорят: «Эти [зерна] – трума, а эти – десятина!». Сказали мудрецы: Не иначе как есть в этом месте евреи! И вошли они в то место и были приняты в одном доме. Приступили они там к еде, и всякое кушанье, что подавали им, перед тем как подать, заносили в одну малую комнату, и лишь затем подавали им.
Подумали: Может быть, эти блюда нам подают от идоложертвенного!
Сказали ему [хозяину]: Отчего всякое кушанье, что ты приносишь нам, пока не занесешь его в ту комнату, нам не подаешь? И сели там трапезничать.
Сказал он им: Отец у меня есть, старый человек, и он принес обет, что не покинет этой комнаты, пока не увидит мудрецов Израиля.
Сказали: Ступай, скажи ему, пусть выходит к нам, ибо мы здесь!
Вышел к ним.
Спросили его: Что с тобой?
Сказал им: Молитесь о сыне моем, ибо не рождает.
Сказал р. Лиэзер р. Йеошуа: Решай, что будешь делать.
Сказал им: Принесите мне семя льна. И принесли ему семя льна. Увиделось ему, и посеял семена на каменном столе, увиделось ему, и укрыл семена, увиделось ему, и взошли, увиделось ему, и срывал [побеги], пока не возникла женщина, и волосы ее заплетены в косы.
Сказал ей: Разрешите то, что вы сделали! Сказала она: Мне не разрешено! Сказал ей: Если нет, то я возвещу о тебе! Сказала ему: Я не могу, ибо они скрыты на дне моря! И повелел р. Йеошуа Господину моря и извергло море. Тогда молились [мудрецы] о нем, и удостоился [тот человек] породить р. Йеуду бен Бетейра. И сказали: Если бы мы пришли сюда лишь затем, чтобы помочь появиться этому человеку, то и этого было бы достаточно!

4. Прекрасный юноша

Иерусалимский Талмуд, Орайот 3:4, 48:2

Двоим предстоит позор – мужчина предшествует женщине, так как женщине свойственно, а мужчине не свойственно.
История о рабби Йеошуа, который пришел в Рим.

לן דהליך משה רבן בגויה אמר לון אין אמרון
ליה והליך בגויה הלך בגויה גזר רבי יהושע על
שרה דימא ובלעיה

דלמא רבי ליעזר ור' יהושע ורבן גמליאל סלקון
לרומי עלון לחד אתר ואשכחון מיינוקיא עבדין
גבשושין ואמרין הכין בני ארעא דישראל עבדין
ואמרין ההן תרומה וההן מעשר אמרין מסתברא
דאית הכא יהודאין עלון לחד אתר ואקבלון בחד
כיי יתבון למיכל והוה כל תבשיל דהוה עליל
קומיהון אי לא הוון מעלין ליה בחד קיטון לא
הוה מיייתי ליה קומיהון וחשון דילמא דאינון
אכלין זבחי מתים אמרין ליה מה עיסקך דכל
תבשיל דאת מיייתי קומינן אין לית את מעיל להן
קיטונ' לית את מיייתי לון קומינן אמר לון חד
אבא גבר סב אית לי וגזר על נפשיה דלא נפק
מן הדא קיטונא כלום עד דייחמי לחכמי ישראל
אמרין ליה עול ואמור ליה פוק הכא לגביהון
דאינון הכא נפק לגבון אמרין ליה מה עיסקך
אמר לון צלון על ברי דלא מוליד אמר רבי ליעזר
לרבי יהושע מה יהושע בן חנניה חמי מה דאת
עביד אמר לון אייתון לי זרע דכיתן ואייתון ליה
זרע דכיתן איתחמי ליה זרע ליה על גבי טבלה
איתחמי מרבץ ליה איתחמי דסלקת איתחמי
מיתלש בה עד דאסק חדא איתא בקלעיתא
דשערה אמר לה שריי מה דעבדתין אמרה ליה
לי נא שרייה אמר לה דלא כן אנא מפרסם לך
אמרה ליה לי נא יכלה דאינון מטלקין בימא וגזר
רבי יהושע על שריא דימא ופלטון וצלון עלוי
וזכה למיקמה לרבי יודה בן בתירה אמרו אילו
לא עלינו לכאן אלא להעמיד הצדיק הזה דיינו

תלמוד ירושלמי מסכת הוריות
פרק ג דף מח טור ב /ה"ד

שניהם עומדין בקלון האיש קודם לאשה למה
שהאשה דרכה לכן והאיש אין דרכו לכן מעשה
בי רבי יהושע שעלה לרומי אמרו על תינוק

Рассказали ему об одном юноше, иерусалимитяnine. Был он розовощек, и красив глазами, и кудри его лежат волнами, и он в позоре...

Пошел р. Йеошуа его испытать.

Как только дошел до входа, тотчас сказал ему: «Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям?» (Ис 42:24).

Тотчас ответил юноша и так сказал: «Не Господь ли, против Которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его» (Ис 42:24).

Тотчас полились слезы из его глаз, и сказал: «Я призываю в свидетели небо и землю, что не уйду я с этого места, пока не выкуплю его!».

И выкупил его за большие деньги, и послал в страну Израиля, и провозгласил о нем этот стих: «Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудой, изделием рук горшечника!» (Плач 4:2).

Вавилонский Талмуд (Гитин 45a)

Учили мудрецы: история про р. Йеошуа бен Хананию, который пришел в великий город Рим, и сказали ему: «Юноша один в тюрьме, красив глазами и собой хо-рош, и кудри его лежат волнами».

Пришел р. Йеошуа и встал у двери тюрьмы и сказал ему: «Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям?».

Тотчас ответил юноша и так сказал: «Не Господь ли, против Которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его».

Сказал: «Уверен я, что будет он учителем закона в Израиле! Клянусь храмовым служением, что выкуплю его за все деньги, что дали мне!».

И не ушел оттуда, пока не выкупил его за великие деньги, и не прошло и немногих дней, как стал тот учителем закона в Израиле.

Тосефта Назир 4:7

Так говорил Шимон Праведник: Никогда я не ел повинного жертвоприношения назорея, кроме одного единственного. Когда он пришел ко мне с юга. И когда я увидел его, розовощекого, прекрасного глазами, красивого видом, и кудри его лежали волнами, то сказал ему: «Сын мой, почему ты решил остричь такие прекрасные волосы?».

Ответил мне пастух: «Я был в своем городе и пошел набрать воды из источника, и посмотрел я на свое отражение и испытал вождеделение в сердце своем, и захотел мой иецер извести меня, и я сказал ему: "Злодей, следовало ли тебе вождеделить то, что тебе не принадлежит! То, что станет прахом и добычей червей?! Вот я остригу тебя во [имя] Небес!"».

Я склонился перед ним, и поцеловал его в голову,

аחד ירושלמי שהיה אדמוני עם יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו מסודרות לו תלתלתלים והוא עומד בקלון והלך רבי יהושע לבודקו כיון שהגיע לפתחו נענה ר' יהושע ואמר לו מי נתן למשיס' יעקב וישראל לבוזזים הלא יי' נענה התינוק ואמ' לו זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו מיד זלגו עיניו דמעו ואמ' מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ שאיני זז מיכן עד שאפדנו ופדאו בממון הרבה ושילחו לארץ ישר' וקרא עליו הפסוק הזה בני ציון היקרים וגו'

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נח עמוד א

ת"ר: מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו: תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו: סדורות לו תלתלים. הלך ועמד על פתח בית האסורים, אמר: (ישעיהו מב) מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ענה אותו תינוק ואמר: הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. אמר: מובטחני בו שמורה הוראה בישראל, העבודה! שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו. אמרו: לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל.

תוספתא מסכת נזיר (ליברמן) פרק ד הלכה ז

אמ' שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר חוץ מאחד בלבד מעשה באחד שבא אלי מן הדרום וראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו תלתלים נמתי לו בני מה ראית לשחת שער זה נאה גם לי רועה הייתי בעירי ובאתי למלאות מן הנהר מים ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלי וביקש להעבירני מן העולם נמתי לו רשע לא היה לך להתגרות אלא בדבר שאינו שלך בדבר שעתיד לעשות עפר רמה ותולעה הרי עלי לגלחך לשמים המכתי את ראשו ונשקתיו ואמרתי בני כמותך ירבו עושי רצון מקום

и сказал ему: «Сын мой, да умножатся такие, как ты, выполняющие волю Вездесущего, в Израиле. Это про тебя сказано в Писании: “Если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу...”» (Чис 6:2)

5. Дороги в Рим

Сифрей Дварим 43

Однажды входили раббан Гамлиэль, рабби Йеошуа, рабби Элеазар бен Азария и рабби Акива в Рим и услышали голос толпы на Капитолии, что разносился на сто двадцать миль вокруг, и заплакали они, и только рабби Акива засмеялся.

Сказали ему: «Акива, почему мы плачем, а ты смеешься?».

Сказал им: «А почему вы плачете?».

Сказали ему: «Как не плакать, когда инородцы, язычники приносят жертвы идолам и поклоняются истуканам, и пребывают в покое и благоденствии, а Дом, подножие Бога, предан огню и стал обиталищем зверей полевых».

Сказал им: «Потому-то я и смеялся! Если таково прогневившим Его, то исполнившим Его волю тем более...».

И вновь, однажды восходили мудрецы в Иерусалим.

Добравшись до Цофим, разорвали свои одежды.

Добравшись до Храмовой горы, увидели лиса, выходящего из Святой Святы. Мудрецы стали плакать, а рабби Акива – смеяться.

Сказали ему: «Акива, всегда ты вызываешь удивление! Мы плачем, а ты смеешься!».

Сказал им: «А почему вы плачете?».

Сказали ему: «Как не плакать! Место, о котором сказано: “А если приступит кто посторонний, предан будет смерти” (Числ 3:10), – лис выходит из него! Свершилось сказанное в пророчестве: “Оттого-то изнашивает наше сердце, оттого померкли наши глаза, оттого что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней” (Плач 5:17–18)».

Сказал им: «Именно поэтому я и смеялся!

Ведь сказал пророк: “И возьму Я себе в свидетели свидетелей верных: Урию-священника и Захарию, сына Варахиина” (Ис 8:2). А какое отношение имеет Урия к Захарии?! Что сказал Урия: “Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора этого Дома – лесистым холмом” (Иер 26:18). А Захария сказал: “Так говорит Господь...: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней. И улицы этого города наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его” (Зах 8:4). А то, что оба эти пророка названы пророком “свидетели”, означает, что их пророчества свидетельствуют друг о друге. Исполнится пророчество Урии – исполнится пророчество Захарии. Отменится пророчество Урии – отменится пророчество Захарии. Увидел я, что исполнилось пророчество Урии, и обра-

בישראל עליך נתקיים זה שנ' איש או אשה כי פליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'

פרי דברים פרשת עקב פסקא מג

וכבר היו רבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבה נכנסים לרומי שמעו קול המיה של מדינה מפיטיוליס עד מאה ועשרים מיל התחילו הם בוכים ורבי עקיבה מצחק אמרו לו עקיבה מפני מה אנו בוכים ואתה מצחק אמר להם אתם למה בכיתם אמרו לו ולא נבכה שהגויים עובדי עבודה זרה מזבחים לאלילים ומשתחווים לעצבים יושבים בטח שלוה ושאנן ובית הדום רגליו של אלהינו היה לשריפת אש ומדור לחיות השדה אמר להם אף אני לכך צחקתי אם כך נתן למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו. שוב פעם אחת היו עולים לירושלם הגיעו לצופים קרעו בגדיהם הגיעו להר הבית וראו שועל יוצא מבית קדש הקדשים התחילו הם בוכים ורבי עקיבה מצחק אמרו לו עקיבה לעולם אתה מתמיה שאנו בוכים ואתה מצחק אמר להם ואתם למה בכיתם אמרו לו לא נבכה על מקום שכתוב בו (במדבר א נא) והזר הקרב יומת הרי שועל יוצא מתוכו עלינו נתקיים (איכה ה יז - יח) על זה היה דוה לבנו על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו אמר להם אף אני לכך צחקתי הרי הוא אומר (ישעיה ח ב) ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו וכי מה ענין אוריה אצל זכריה מה אמר אוריה (ירמיה כו יח) ציון שדה תחרש וירושלם עיים תהיה והר הבית לבמות יער מה אמר זכריה (זכריה ח ד) כה אמר ה' צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות וגו' ורחבות העיר וגו' אמר המקום הרי לי שני עדים האלו אם קיימים דברי אוריה קיימים דברי זכריה ואם בטלו דברי אוריה בטלים דברי זכריה שמחתי שנתקיימו דברי אוריה לסוף שדברי זכריה עתידים לבוא, בלשון הזה אמרו לו עקיבה נחמתנו.

довался тому, что исполнится пророчество Захарии!».
И тогда так они ему сказали: «Утешил ты нас, Акива!».

6. Чужой в городе

ИТ Брахот 2:8, 5в

Кагана был молод весьма.
Когда взошел сюда, увидел его один пустой человек.
И так ему сказал: О чем на небесах восклицают?
Ответил ему: О том, что приговор твой уже запечатан!
И так оно и было. И повредился тот.
Однажды увидел его один, тоже пустой человек, и сказал ему: О чем на небесах восклицают?
Сказал ему: О том, что приговор твой уже запечатан!
И так оно и было.
Сказал [Кагана про себя]: Разве не для того взошел я (в Страну Израиля), чтобы воздавать добром, а вместо того грешу я?! Разве для того я взошел, чтобы убивать сыновей Страны Израиля?! Следует мне низойти оттуда, куда взошел.
Пришел к рабби Йоханану и так ему говорил: Есть человек, и родная мать его презирает, а жена отца почитает. Куда пойдет сей человек?
Ответил ему: Пускай пойдет туда, где почитаем.
И снизошел Кагана оттуда, куда взошел.
Пришли и сказали рабби Йоханану: Снизошел Кагана в Вавилон.
Сказал он: Как мог он уйти, разрешения не испросив?!
Сказали ему: Те слова, что говорил тебе, испрошением позволения были.

Рабби Зеира, когда взошел сюда, то пошел к кровопускателю. После пошел покупать литру (либру) мяса у мясника.
Сказал ему: Почему вон та литрета?
Сказал ему: Пятьдесят мин и оплеуха впридачу.
Сказал ему: Возьми шестьдесят?
Не согласился.
Возьми семьдесят?
Не согласился.
Возьми восемьдесят?
Не согласился.
Возьми девяносто?
Так, пока не предложил сто, и все равно не согласился.
Сказал ему: Ну что же, поступай по своему обычаю.
Поутру пришел в дом учения и сказал там мудрецам: Как нехорош обычай местный, согласно которому не ест человек и либры мяса, чтобы не получить оплеуху впридачу.
Сказали ему: Откуда у тебя этот обычай?
Ответил: От такого-то мясника.
Послали за ним и обнаружили, что его гроб выносят из дома.
Сказали ему: Рабби, так-то?
Сказал им: Пусть придет на меня [беда], ведь не сердился я на него! Я думал, что таков обычай ваш

תלמוד ירושלמי ברכות ב ה ע"ג

כהנא הוה עולם סגין. כד סליק להכא חמתיה חד בר פחין. אמר ליה: מה קלא בשמיא? אמר ליה: גזר דיניה דההוא גברא מיחתם. וכן הוות ליה, ומתפגע ביה. חמתיה חד חרן. אמ' ליה: מה קלא בשמיא? אמר ליה: גזר דיניה דההוא גברא מיחתם. וכן הוות ליה. אמר: מה סליקית מזכי ואנא איחטי. מה סליקית למיקטלה בני ארעא דישראל. ניזול וניחות לי מן הן. דסליקית, אתא לגבי רבי יוחנן. א"ל: בר נש דאימיה מבסרא ליה, ואיתתיה דאבוהי מוקרא ליה, להן ייזיל ליה? א"ל: ייזיל להן דמוקרין ליה. נחת ליה כהנא מן הן. דסלק, אתון אמרין ליה לר' יוחנן: הא נחית כהנא לבבל. אמר: מה הוה מיזל ליה דלא מיסב רשותא? אמרין ליה: ההיא מילתא דאמר לך היא הוה נטילת רשות דידיה.

רבי זעירא כד סלק להכא. אזל אקיז דם. אזל בעי מיזבון חדא ליטרא דקופד מן טבחא. א"ל בכמה הדין ליטרת? א"ל: בחמשין מניי וחד קורסם. א"ל סב לך שיתין. ולא קביל עילוי. סב לך ע', ולא קביל עילוי. סב לך פ', סב לך צ', עד דמטא מאה, ולא קביל עילוי. א"ל: עביד כמנהגך ברומשא נחית לבית וועדא. אמר לון רבנן: מה ביש מנהגא דהכא, דלא אכיל בר נש ליטרא דקופד עד דמחו ליה חד קורסם? אמרין ליה: ומה הוא דין? אמ' לון: פלן טבחא. שלחון בעיי מייתיתיה ואשכחון ארוניה נפקא. אמרין ליה: ר', כל הכין אמר ליה, וייתי עליי דלא כעסית עילוי, מי סברת דמנהגא כן?

Рабби Иса, когда взошел сюда, пошел к цирюльнику, а затем мыться в публичную баню Тиберии. Встретил его там один шутник и дал ему один подзатыльник.

И сказал ему: Еще слаба петля для того человека...

И был там [в бане] один архонт, и судил он там одного разбойника.

И тут вышел тот [насмешник] и, смеясь, встал за колонной.

Сказал тот архонт [разбойнику]: Кто твой сообщник?

Поднял тот глаза и увидел того смеющегося и сказал: Он со мной!

Того схватили, осудили, и приговорили их к одной казни.

И когда выходили они, влача два дерева [распятия?], совершил рабби Иса свое мытье.

Сказал ему [насмешник]: Та петля, что была слаба, уже окрепла...

Сказал ему: Дурная судьба того человека! И разве не написано: Итак, не насмешничайте, чтобы узы ваши не стали крепче (Исайя 28:22).

Иерусалимский Талмуд, Пеа, 1:1, 15г

Рабби Шмуэль, сын рава Ицхака, имел обыкновение, взявши ветви, восхвалять невест. А рабби Зеира, когда видел его за этим, имел обыкновение скрываться от лица его. Говорил: Погляди на этого старика, как он позорит нас. А когда тот умер, были три часа грома и молнии в мире, и вышла Бат-Коль и сказала: Умер рабби Шмуэль, сын рава Ицхака, воздающий добро! А когда пошли воздавать ему добром, спустился огонь с небес и, приняв форму огненной ветви, отградил [погребальное] ложе от общины. И говорили люди: Вот он тот старик, коему выросла ветвь.

Берешит раба, 59:4

Когда умирал рабби Шмуэль, сын рава Ицхака, тот, что с тремя ветвями плясал [перед невестами], пришли ветры и вихри и вырвали все добрые деревья в Земле Израиля.

Почему так? Потому что он собирал с них ветви и восхвалял с ними невест.

А мудрецы говорили: Почему он поступает так и позорит Тору?! Сказал рабби Зеира: Оставьте его, потому

ר' יסא, כד סליק להכא, אזל ספר. בעי מסחי באהן דימוסן דטיבריא. פגע ביה חד ליצן ויהב ליה פורקדל חד. א"ל: עד כדון עונקתיה דההוא גברא רפיא. והוה ארכונא קאים דאין אחד ליסטיס. ואזל קם ליה גחיק כל קבליה. א"ל ארכונ': מאן הו' עמך? תלה עינוי וחמא דהוא גחיק. אמר ליה: אהן דגחיק הוא עמי. נסביה ודניה ואודי ליה על חד קטיל. מי נפקין תרויהון, טעינין תרתי שרין. דעבד רבי יסא מסחי, א"ל ההוא: עונקתא דהות רפיא כבר שנצת. אמר ליה: ביש גדא דההוא גברא. ולא כתיב: "ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם" (ישעיהו כח כב)?

תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א דף טו טור ד/ה"א

רבי שמואל בר רב יצחק הוה נסיב שיבשתיה והוה מקלס קומי כליא והוה רבי זעירא חמי ליה ומיטמר מן קומוי אמר חמי להדין סבא איך הוא מבהית לן וכיון דדמך הוה תלת שעין קלין וברקין בעלמא נפקת ברת קלא ואמרה דמך רבי שמואל בר רב יצחק גמיל חסדיא נפקון למיגמול ליה חסד נחתת אישתא מן שמיא ואיתעבידת כמין שבשא דנור בין ערסא לציבורא והוון ברייתא אמרין חיוי דדין סבא דקמת ליה שבישתיה והבאת שלום בין אדם לחבירו כתיב סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו בקשהו במקומך ורדפיהו במקום אחר

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה נט

ר' שמואל בר רב יצחק פתח רודף צדקה וחסד וגו' (משלי כא כא) כד דמך ר' שמואל בר רב יצחק (הוה מרקד אתלת) נפקין רוחין ועלעולין ועקרין כל אילני טביא דארעא דישראל, למה כן, דהוה לקיט מינהון שיבשבן ומהלך קודם כליא, והוון רבנין אמרין למה הוא עבד כדון ומבזה

что он знает, что делает.

Когда же он умер, и пошли [мудрецы] воздать ему добром, то спустилась [с неба] огненная ветвь и сделалась как бы миртовой ветвью, и отделила [погребальное] ложе от общины. И говорили: Взгляните на этого старца, ради него был явлен венец!

7. Женщина и проповедник

ИТ Сота, 1:2, 16г

Рабби Завадия от имени тестя рабби Леви рассказывал эту историю:

Рабби Меир субботними ночами толковал публично в синагоге, что в Хамате. И была там одна женщина, которая [приходила] внимать его голосу.

Однажды его толкование продолжалось долго, и когда вернулась она домой, то оказалось, что весь светильник уже выгорел.

Сказал ей муж: Где ты была?

Сказала она ему: Я слушала голос толкователя!

Сказал он ей: Тем и этим [клянусь], что да не войдет та женщина в дом сей, пока не пойдет и не плюнет в лицо толкователю.

Провидел рабби Меир святым духом и притворился больным глазами.

Сказал он: Всякая женщина, которая умеет заговаривать глаза, пусть приблизится и пусть шепчет!

Сказали ей соседки: Вот твой час! Вернешься в дом мужа! Пойди, притворись шепчущей и плюнь ему в глаз!

Предстала перед ним.

Спросил: Сведуща ли ты в заговаривании больного глаза?

Убоявшись его, сказала: Нет.

Сказал он ей: Плюнь мне в лицо семь раз, и будет мне хорошо.

А как только плюнула, сказал он ей: Пойди, скажи мужу: Ты сказал один раз [плюнуть], а я плюнула семь раз.

Сказали ему ученики: Учитель, так позорят Тору! Если ты хотел призвать его к порядку, то разве мы бы не привели его, не уложили бы его на скамью и, дав ему несколько палочных ударов, не убедили бы его добровольно согласиться с женой?

Сказал он им: Разве не достаточно Меиру уподобиться Творцу своему? Ведь если святое имя, написанное в святости, Святой, благословен Он, повелел смыть водой, чтобы установить мир между мужем и женой, то уж не стоит ли тем более поступиться честью рабби Меира?!

אוריתא, אמר ר' זעירא שבקו יתיה דהוא ידע מה עבד, כד דמך נפקון למגמל חסד ונחתת שבשבה דנור ואיתעבידת כמין שבשבה דהדס ואפסיקת בין ערסה לציבורא, אמרין חזוהי דהדין סבא דקמת ליה מתלי שבשבתייה.

תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק א דף טז טור ד"ה"ב

רבי זבדיה חתניה דרבי לוי הוה משתעי הדין עובדא רבי מאיר הוה יליף דריש בכנישתא דחמתא כל לילי שובא והוה תמה חדא איתתא יליפה שמעה קליה חד זמן עני דריש אזלת בעית מיעול לביתיה ואשכחת בוצינא מיטפי אמר לה בעלה הן הוייתה אמרה ליה מישמעא קליה דדרושא אמ' לה מכך וכך דלית ההיא איתתא עללה להכא לבייתה עד זמן דהיא אזלה ורקקה גו אפוי דדרושא צפה רבי מאיר ברוח הקודש ועבד גרמיה חשש בעייניה אמר כל איתתא דידעה מילחוש לעיינה תיתי תילחוש אמרין לה מגירתא הא ענייתך תיעלין לביתך עבדי גרמין לחשה ליה ואת רקקה גו עייניה אתת לגביה אמר לה חכמה את מילחוש לעיינא מאימתיה עליה אמרה ליה לא אמר לה ורוקקין בגויה שבע זימנין והוא טב ליה מן דרקקת אמר לה אזלין אמרין לבעליך חד זמן אמרת לי והיא רקקה שבעה זימנין אמרו לו תלמידיו רבי כך מבזין את התורה אילו אמרת לו לא הוית מייתי ליה ומלקין לה ספסליה ומרציין ומרצייה ליה לאיתתיה אמר לון ולא יהא כבוד מאיר ככבוד קונו מה אם שם הקודש שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו וכבוד מאיר לא כל שכן

Берешит раба (17:3)

«Сотворю ему подмогу, соответствующую ему (кенегдо)» (Быт 2:18).

Если достоин, [жена ему] — «подмога», а если нет — «против него (кенегдо)».

Сказал рабби Йеосуа бен Нехемия: Если достоин — как жена Ханани бен Хакиная, а если нет — как жена рабби Йосе Галилеянина.

У рабби Йосе Галилеянина была дурная жена, и была она племянницей его и позорила его перед учениками. Сказали ему ученики: Учитель, отошли от себя эту негодную женщину, ибо она не делает тебе чести.

Сказал он им: Велика выплата по брачному договору на мне, и не могу я отослать ее.

Однажды сидели и учились он и рабби Элеазар бен Азария. Когда же закончили, сказал ему [рабби Элеазар бен Азария]: Если угодно учителю, то мы пойдем к нему домой.

Сказал ему [рабби Йосе]: Да.

Когда же вошли, [жена рабби Йосе] поморщила нос и вышла. Посмотрел [рабби Йосе] на горшок на плите, сказал ей [жене]: Есть что-нибудь в этом горшке? Сказала она ему: Там травяной отвар.

Подошел и открыл горшок и нашел там цыплят.

Понял р. Элеазар бен Азария то, что услышал.

Сели они есть.

Спросил рабби Элеазар бен Азария: Учитель мой! Сказала, что травяной отвар, а там были цыплята.

Сказал ему [рабби Йосе]: То были чудеса.

Когда же закончили [есть], сказал ему [рабби Элеазар]: Учитель, отошли от себя эту напасть, ибо она не делает тебе чести.

Сказал ему [рабби Йосе]: Господин мой, большая выплата по брачному договору на мне, и не могу я отослать ее.

Сказал тот: Мы соберем [сумму, необходимую по] брачному договору, чтобы отослать ее от тебя.

Так они и сделали, собрали [необходимую] по брачному договору [сумму], и отослали ее от него, и нашли ему другую жену, лучше той. Грехи той женщины [бывшей жены рабби Йосе] привели к тому, что пошла она и вышла замуж за городского стража. Спустя некоторое время напали на того беды, и она водила его по всему городу, прося подаяния, и ходила с ним по всем кварталам, но когда подходила к кварталу рабби Йосе Галилеянина, возвращалась.

Поскольку тот человек [ее муж] хорошо знал город, сказал он ей: Почему ты не ведешь нас в квартал рабби Йосе Галилеянина, ибо слышал я, что он исполняет заповедь милостыни.

Сказала она ему: Я — его бывшая [жена], и не могу видеть его лица.

Однажды пришли они и взывали [рядом с] кварталом рабби Йосе Галилеянина, и начал он [муж] бить ее, и крики их стали посмешищем для всего города. Посмотрел рабби Йосе Галилеянин и увидел, что унижены они на улице, призвал он их, и отдал им одно из

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית
פרשה יז סימן ג

ג אעשה לו עזר כנגדו, אם זכה עזר ואם לאו כנגדו, אמר רבי יהושע בר נחמיה אם זכה כאשתו של רבי חנינא בר חכינאי, ואם לאו כאשתו של רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הוה ליה אנתתא בישא, והות ברתא דאחתיה, והות בזית ליה קדם תלמידוי, אמרין תלמידוי שבקא להדא אנתתא בישא דליתא מיקרך, אמרר להון פורנא רב עלי, לית בידי מה אשבוק לה, חד זמן הוון יתבין פשטין הוא ור"א בן עזריה, דמן חסלין א"ל משגח רבי ואנן סלקין בביתא א"ל אין, סליק, כי סליק אמכת לאפה ונפקת לה, צפה בההיא קדירה, אמר לה אית בההיא קדירה כלום, א"ל אית פרפריין, אזל גליתה ואשכח פרפריין, ידע ר"א בן עזריה מה הוא שמע, יתבון להון אכלין, א"ל רבי לא אמרת אלא פרפריין, והא אשכחנן בגוה פרפריין, א"ל מעשה נסים הן, מן דחסלין א"ל רבי שבוקא ההיא אנתתא מינך, דלית היא עבדא ליקרתך, א"ל פורנא רב עלי ולית בי מה אשבוק לה, א"ל אנן יהיבנן לה פורנא ושבקית מינך, עבדון ליה כן פסק לה פורנא, ושבק יתה מיניה ואסבון יתיה איתתא אחרא טבא מינה, גרמון חובין דההיא איתתא ואזלת ואתנסבית לסנטרין דקרתא, לבתר יומין אתון יסורין עליו ואיתעוור, והוות ציירת בידיה ומחזרא ליה על שקקיא דקרתא, כיון דהות מטיא בשקקיא דרבי יוסי הגלילי הות קיימא לה וחזרה לאחורה, מן דהוה ההוא גברא חכים קרתא, אמר לה למה את לא מובלת לי לשכונתיה דרבי יוסי הגלילי, דאנא שמע דההוא עביד מצוה, אמרת ליה משבקתיה אנא, ולית בי דליחמי סבר אפוהי, חד זמן אתון קרון בשכונתיה דרבי יוסי ארגיש בה יום קדמוי ויום תניין ושרי מחי לה, ואזיל קלהון והוון מתבזין בכל קרתא, אודיק ר' יוסי לקלהון וחמהון מתבזן בגו שוקא, א"ל למה את מחי לה א"ל כל יום היא מובדה פרנסתיה דהדין שקקיה מיני כיון דשמע רבי יוסי כן נסביהון ויהיב יתהון בחדא ביתא מן דידיה, והוה מפרנס יתהון כל יומי חייהון, על שם (ישעיה נח) ומבשרך לא תתעלם.

своих помещений, и содержал их всю их жизнь, из-за [сказанного в стихе]: «...и от плоти своей не укрывайся» (Ис 58:7).

8. Плуты, простаки и мудрецы

ИТ Таанит 1:4 746

Провиделось рабби Абагу, что Пентакака вознес молитву и низвел дождь. После дождя призвал того и спросил: «Каково твое ремесло?».

Сказал ему: «Тот человек (как принято в талмудической литературе, герой говорит о себе в третьем лице. – Р.К.) пять грехов каждый день творит: даю приют блудницам, убираю театр, приношу их одеяния в баню, хлопаю в ладоши и пляшу и звоню в колокольчики перед их выходом».

Спросил его раби Абагу: «Какое же благо ты сотворил?»

Ответил: «Однажды, когда этот человек украшал театр, пришла одна женщина и, став за колонной, плакала. Сказал я ей: “Чего тебе?”. Ответила: “Муж этой женщины арестован. И вот ищущу я, что мне сделать, чтобы выкупить его”. И продал я свои инструменты и дал ей денег и сказал: “Иди, выкупи своего мужа и не греши”».

Сказал ему раби Абагу: «Такой, как ты, достоин молиться о выпадении дождя и молитва твоя должна быть услышана!».

ТИ Брахот 3:4, 6г

Хотели мудрецы отменить это омовение ибо галлейские жены становились от холодной воды бесплодными, но сказал рабби Иегошуа: То что ограждает Израиль от греха не отменяют. А что значит ограждать от греха?

История об одном стороже виноградников
Пришел он возлежать с замужней женщиной.
Но пока они устраивали себе место, где смогут потом омыться,
пришли путники, и так предотвращен был грех.

История об одном человеке, который пришел к служанке Рабби возлежать с ней

Сказала ему: Пока госпожа моя не омывается, то и я не омываюсь!

Сказал ей: Полно, ведь ты подобна скотине!

Сказала ему: А разве не учил ты, что тот, кто приходит возлежать со скотиной, подлежит побиению камнями, как сказано «Всякий скотоложник да будет предан смерти» (Исх 22:18)?

תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק א דף טו ב /ה"ד

איתחמי לר' אבהו פנטקה יצלי ואתי ומיטר' נחי' מיטרא שלח ר' אבהו ואייתיתי' א"ל מה אומנך א"ל חמש עבירן ההוא גוברא עביד בכל יום מוגר זנייתא משפר תייטרון מעיל מניהון לבני מטפח ומרקד קדמיהון ומקיש בבבולייא קדמיהון א"ל ומה טיבו עבדת א"ל חד זמן הוא ההוא גברא משפר תייטרון אתת חדא איתא וקמת לה חורי עמודא בכייה ואמרת לה מה ליך ואמרה לי בעלה דההיא איתתא חביש ואנא בעיא מיחמי מה מעבד ומפנינ' וזבנית ערסי ופרוס ערסי ויבית לה טימיתיה ואמרית לה הא ליך פניי בעליך ולא תיחטיי א"ל כדאי את מצלייא ומתענייא.

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ג דף ו טור ג /ה"ד

רבי יהושע בן לוי ביקשו לעקור את הטבילה הזאת מפני נשי הגליל שהיו נעקרות מפני הצינה אמר להן רבי יהושע בן לוי דבר שהוא גודר את ישראל מן העביר' אתם מבקשי' לעקור אותו מהו גודר ישראל מן העבירה מעשה בשומר כרמים אחד שבא להיזקק עם אשת איש עד שהן מתקינין להן מקום איכן הן טובלין עברו העוברין והשבין ובטלה העבירה מעשה באחד שבא להיזקק עם שפחתו של רבי אמרה לו אם אין גבירתי טובלת איני טובלת א"ל ולא כבהמ' את אמר' לו ולא שמע' בבא על הבהמה שהו' נסקל שנאמר כל שוכב עם בהמה מות יומת

ИТ, Йевамот 12:6 (13a)

Симонийцы пришли к Рабби и сказали ему: Дай нам одного человека, чтобы он проповедовал, судил, правил бы синагогой, преподавал бы Писание, учил Мишне и смог бы ответить на любой вопрос. И дал он им Леви бар Сиси. Построили ему помост великий и усадили его там.

Пришли и спросили его: «Безрукая — как разувает [при обряде халицы]?»

Не ответил он.

«Плюнула вдова кровью [во время того же обряда]?»

Не ответил он.

Сказали [жители Симонии]: «Может быть, он не учен в законе, но знаток агады? Спросим об агаде».

Спросили его: «Что означает написанное: "Что начертано (хатум) письменама истинными (ктав эмет)" (Дан 10:21)? Если "истинными (эмет)", отчего "начертано (хатум)"; а если "начертано" — почему "истинными"?». Не ответил он.

Пришли они к Рабби и сказали: «Тот ли это, о ком просили мы?»

Ответил им: «Жизнь ваша! Человека, подобного мне, я к вам направил!»

Послал за ним, и привезли его.

Спросил его (Рабби): «Безрукая — как разувает?»

Ответил ему [Леви]: «Даже зубами».

Спросил его [Рабби]: «Плюнула кровью?»

Ответил ему [Леви]: «Достаточно капли слюны».

Спросил его [Рабби]: «Что начертано письменама истинными? Если "истинными", отчего "начертано", а если "начертано" — почему "истинными"?»

Сказал ему [Леви]: «"Начертано" было до вынесения приговора, "истинными" стало после того, как вынесен приговор».

«Почему же ты не ответил им?»

Сказал ему [Леви]: «Сделали для меня большой помост и усадили меня там, и вознесся дух мой, и пропали из моей памяти слова Торы».

Сказал о нем [Рабби]: «"Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то [положи] руку на уста" (Притч 30:32–33). Унизился ты в словах Торы, потому что возгордился...»

Мишна, Авода Зара 3:4

Спрашивал Прокл, сын философа, у раббана Гамлиэля в Акко, когда тот мылся в бане Афродиты, и так говорил ему: Сказано в Торе вашей: «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей» (Втор 13:18). Почему же ты моешься в бане Афродиты?

Сказал ему: Не отвечают в бане.

А когда выходил, так сказал: Я не пришел в ее пределы — она пришла в мои пределы. И не говорят ведь: «Сделаем баню прекрасную для Афродиты», а говорят:

תלמוד ירושלמי מסכת יבמות
פרק יב דף יג טור א/ה"ו

בני סימונייא אתון לגבי רבי אמרין ליה בעא תתן לן חד בר נש דריש דיין וחזן ספר מתניין ועבד לן כל צורכינן ויהב לון לוי בר סיסי עשו לו בימה גדולה והושיבוה עליה אתון ושאלון ליה הגידמת במה היא חולצת ולא אגיבון רקה דם ולא אגיבון אמרין דילמה דלית הוא מרי אולפן נישאול ליה שאלון ליה דאגדה אתון ושאלון ליה מהו הדין דכתיב אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת ולא אגיבון אתון לגבי דרבי אמרון ליה הדין פייסונא דפייסנתך אמר לון חייכון בר נש דכוותי יהבית לכון שלח אייתיתיה ושאל ליה אמר ליה רקה דם מהו אמ' ליה אם יש בו צחצוחית של רוק כשר הגידמת במה היא חולצת אמר ליה בשיניה אמר ליה מהו הדין דכתיב אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמ' לי עד שלא נתחתם גזר דין רשום משנתחתם גזר דין אמת אמר ליה ולמה לא אגיבתינן אמר ליה עשו לי בימה גדולה והושיבו אותי עליה וטפח רוחי עלי וקרא עליו אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה מי גרם לך להתנבל בדברי תורה על שנישאת' בהן עצמך

משנה מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ד

[ד] שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל בעכו שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו אין משיבין במרחץ וכשיצא אמר לו אני לא באתי בגבולה היא באתה בגבולי

«Сделаем Афродиту прекрасную для бани». И другое объяснение: Если дадут тебе много денег, ведь все равно не войдешь ты в твой храм, будучи наг и после семяизвержения, и не будешь ты мочиться перед ней. А здесь – вот она стоит над стоком и получается, что весь народ мочится перед ней. И сказано в Писании: «Кумиры богов – их сожгите огнем» (Втор 7:25) – только те, к кому относятся как к богам, а те, к кому не относятся как к богам, дозволены.

אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי אלא
אומרים נעשה אפרודיטי נוי למרחץ דבר אחר
אם נותנין לך ממון הרבה אי אתה נכנס לע"ז
שלך ערום ובעל קרי ומשתין בפניה וזו עומדת
על פי הביב וכל העם משתינין לפניה לא נאמר
אלא אלהיהם את שנוהג בו משום אלוה אסור
ואת שאינו נוהג בו משום אלוה מותר

/ МАТЕРИАЛЫ К «ПУТЕВОДИТЕЛЮ РАСТЕРЯННЫХ» МАЙМОНИДА
И «ТРАКТАТУ О ШЕСТИ ДНЯХ ТВОРЕНИЯ» ТЕОДОРИХА ШАРТРСКОГО

МАЙМОНИД «ПУТЕВОДИТЕЛЬ РАСТЕРЯННЫХ»

ФРАГМЕНТЫ

Часть 1 Глава 1

על (целем — ‘образ’) и לומת (дмут — ‘подобие’). Люди полагали, что слово על (‘образ’) на еврейском языке указывает на конфигурацию вещи и ее очертания, и привело их это к полнейшему соматизму (букв. «отелесению») из-за Его речения: «сделаем человека по образу Нашему (בצלמנו), и по подобию Нашему (לדמולנו)» (Быт. 1:26). И они подумали, что Бог обладает человеческой формой, то есть конфигурацией и очертаниями, что и заставило их сделать вывод о полнейшем соматизме, — и они уверовали в него. И считают они, что отказавшись от этого верования, они объявили бы ложным текст [Писания], и даже сделали бы Божество не сущим, если бы Оно не было телом, обладателем лица и рук, таким же, как они сами, по конфигурации и очертаниям — разве что, согласно их фантазиям, более крупным и великолепным; да еще и материя Его не есть кровь и плоть — вот предел того, что они считают очищением [представлений] о Боге.

Впрочем, насчет того, что должно быть сказано по поводу отрицания телесности и утверждения истинного единства (какое не может обладать истинностью без отрицания телесности), то доказательства всего этого ты узнаешь из настоящего трактата. Здесь же, в этой главе, наши замечания касаются разъяснения понятий על (образ) и לומת (подобие).

Итак, я утверждаю: для того, что общеизвестно среди широкой публики как форма, то есть для конфигурации вещи и ее очертаний, в еврейском языке есть особое имя — תאר (тоар — ‘облик’, ‘вид’). Сказано, [например]: «красив станом (תאר) и красив лицом» (Быт. 39:6); «Каков вид его (תאר)» (Сам. I, 28:14); «видом (תאר) как царский сын» (Суд. 8:18). И об искусственной форме говорится: «очерчивает его (תאר) резцом... и циркулем очерчивает его (תאר)» (Ис. 44:13). Это выражение совершенно неприменимо к Божеству, да превознесется Оно, — да уберемся мы [от этого]!

Слово על (‘образ’), напротив, применяется к природной форме; я имею в виду тот эйдос (содержание), посредством которого вещь субстанцируется и становится тем, что она [есть]; это ее истинная сущность в качестве вот этого сущего. В человеке таковым эйдосом является то, из чего происходит человеческое постижение; именно ввиду этого интеллектуального постижения сказано о [человеке]: «По образу Божию (בצלם אלהים) сотворил его» (Быт. 1:27).

И потому сказано: «образ их (עלם) унижаешь Ты» (Пс. 73:20), ведь *унижению* подвергается именно душа, то есть видовая форма, а не конфигурация частей тела и их очертания. Аналогично этому я утверждаю, что причина, по которой идолы именуются עלים (образами) (напр. Числ. 33:52; Иез. 7:20, 16:17, 23:14) состоит в том, что искомое в них — это предполагаемый в них эйдос, а не их конфигурация и очертания; то же утверждаю я относительно «образов (עלם) наростов ваших» (Сам. I, 6:5), ибо их интенцией был эйдос устранения вреда, причиняемого *наростами*, а не конфигурация *наростов*. Но если нельзя избежать [признания] того, что об «изваяниях наростов» и «изображениях» [говорится] по поводу конфигурации и очертаний, то придется считать על (образ) многозначным или

неопределенным именем, относящимся как к видовой форме, так и к форме искусственной и ей подобному — к конфигурации и очертаниям природных тел, так что в речении “Сделаем человека по образу Нашему” будет подразумеваться видовой форма, каковой является интеллектуальное постижение, а не конфигурация и очертания. Итак, мы объяснили тебе разницу между [словами] *בְּצַל* (образ) и *כְּצֶלֶם* (вид, облик) и объяснили в чем состоит эйдос образа.

Что же касается [слова] *לְמִת* (*‘подобие’*), то это имя существительное от *מִת* (походить, быть подобным) и означает [помимо внешнего сходства] также и уподобление в эйдосе... И ввиду того, что человек выделен обретающимся в нем чрезвычайно удивительным эйдосом, которым не обладает ничто из существующего под сферой Луны, — интеллектуальным постижением, в коем не участвуют ни чувства, ни телесные органы, — уподоблено [человеческое постижение] Божьему постижению, которое не пользуется никаким инструментом; несмотря на то, что нет тут подобия по истинной сути — оно имеется лишь на первый взгляд. И из-за этого, то есть из-за Божественного разума, соединяющегося с ним, сказано о человеке, что он [создан] *по образу Бога и по подобию Его*, а не из-за того, что Бог, да превознесется Он, будучи телесным, обладает обликом.

Глава 2

Один ученый муж [много] лет тому назад задал мне удивительный вопрос; уместно поразмыслить над этим вопросом и над ответом, который мы дали. Но прежде чем приступить к изложению этого вопроса и ответа на него, замечу: известно всякому, кто владеет еврейским языком, что слово *אֱלֹהִים* (Элоhim) может означать и Божество, и ангелов, и судей — правителей государств. Как уже *Онкелос Прозелит* (мир ему!) объяснил (объяснил правильно), в словах: «И будете, как Элоhim (*אֱלֹהִים*), знающие добро и зло (*טוֹב ורָע*)» подразумевается последнее из перечисленных значений; он перевел: “И будете, как владыки (*כְּרַבְרָבִים*)...”

После того как мы разъяснили многозначность этого слова, приступим к изложению вопроса. Сказал вопрошающий: “Из того, что ясно сказано в тексте, очевидно, что вначале предопределено было человеку, что он, подобно другим живым существам, будет лишен интеллекта и мышления и не сможет отличать добро от зла; когда же он взбунтовался, то заслужил для себя своим бунтом великое совершенство, свойственное только человеку, а именно, в нем появилась та присущая нам способность различения, которая является благороднейшим из эйдосов, которыми мы наделены, посредством которого мы становимся субстанцией. Но разве не странно, что в наказание за бунт было дано ему совершенство, которым не обладал он прежде, а именно интеллект? Это как если бы кто-нибудь рассказал нам, что некий человек бунтовал и множил несправедливость, за что был подвергнут метаморфозе и превращен в небесное светило”.

Таково было содержание вопроса и смысл его, хотя он и не был высказан в точно таких выражениях. Теперь же выслушай, каково было содержание нашего ответа. Сказал я: “О ты, который приступает к умозрению с начатками мысли и случайными догадками, который мнит, будто способен понять Книгу, [назначенную быть] руководством от первых [поколений] до последних, просматривая ее в один из часов досуга между пиршествами и любовными утехами, как читают какие-нибудь исторические хроники или книги стихов! Соберись с мыслями и сосредоточь свое внимание, ибо дело обстоит не так, как показалось тебе в начале размышления, но так, как это станет ясным после размышления над следующими словами: разум, который Бог излил на человека и в котором состоит последнее совершенство его, и есть то, что было у Адама до того, как он взбунтовался, и именно из-за этого сказано о нем, что он [создан] *по образу Бога и по подобию Его*; именно благодаря этому он стал тем, к кому обращался [Бог] и кому повелевал, как сказано: «И повелел Господь Бог человеку...», ибо не дается повеление скотам и тем, у кого нет разума, и разумом различают между истиной и ложью, а это было у человека в совершенстве и цельности. Что же касается [понятий] ‘плохое’ и ‘хорошее’, то они относятся к [сфере] общепринятого, а не умопостигаемого. Ведь не говорится: «Небеса сферические — хорошо» или: «Земля плоская — плохо», но говорится «истинно» или «ложно». Подобно этому в нашем языке об истинном и ложном говорят [соответственно] *לֵמֶת* и *רָשָׁע*, а о хорошем и плохом — *טוֹב* и *רָע*. Разумом человек распознает *истину* и *ложь*, и это относится ко всем умопостигаемым предметам.

И когда [человек] находился в наиболее совершенном и законченном из своих состояний, обладая теми природными качествами и умопостигаемыми [понятиями], благодаря которым было сказано о нем: «Не много Ты умалил его пред ангелами (*אֱלֹהִים*)», — тогда не обладал он ни в коей мере способностью, применяющей общепринятые суждения. Он не постигал их, так что даже то, предосудительность чего является наиболее очевидным и общепринятым — обнажение срамоты, — не было плохим в его глазах, и не постигал он предосудительности этого.

Когда же он взбунтовался и устремился к воображаемым предметам вожделения и к услаждению своих телесных ощущений, как сказано: “...что хорошо древо для еды, и что оно услада для глаз”, был он наказан тем, что отнято у него было оное интеллектуальное постижение. И потому нарушил он заповедь, повеление о которой ему было дано из-за его интеллекта, и приобрел постижение общепринятых мнений, и погряз в суждениях о плохом и хорошем. Тогда и узнал он, сколь ценно то, что потерял, то, лишившись чего, оказался нагим; [тогда узнал он] в каком положении оказался. Поэтому сказано: “Будете, как Элоhim, знающие *טוֹב* (хорошее) и *רָע* (плохое)”, а не сказано: “знающие *רָשָׁע* (ложное) и *לֵמֶת* (истинное)», или «постигающие *רָשָׁע* (ложное) и *לֵמֶת* (истинное)»: ведь в необходимом совершенно нет *טוֹב* (хорошего и плохого), но только *לֵמֶת* *רָשָׁע* (ложное и истинное).

Обрати внимание на то, что сказано: «И открылись (*הִתְקַדְּמוּ*) глаза их обоим, и узнали они, что наги», — не

сказано: "Открылись глаза их обоим, и увидели они". Ибо то же, что видел он прежде, видел он и после — ведь не было у него пелены на глазах, которая была снята [теперь]; однако возникло у него новое состояние, в котором он счел предосудительным то, что не считал предосудительным прежде. И знай, что это слово — я имею в виду *פרז* (прозревать) — применяется к прозрению мысли, а никак не к обновлению чувственного зрения: "И открыл Бог глаза ее..."; "Тогда откроются глаза слепых..."; "С ушами отверстыми не слышал ты". [Последняя фраза] аналогична речению: "Глаза у них, чтобы видеть, но они не видели".

Что же касается сказанного об Адаме: "...изменил он лик свой (*פָּנָיו*), и Ты изгнал его", то истолкование и разъяснение этого следующее: "когда изменил направление свое, был изгнан", ибо *פָּנָיו* (лицо) — слово, производное от *פָּנָה* (обращаться, направляться), ведь человек обращает свое лицо к той вещи, к которой желает направиться. Таким образом, здесь говорится, что человек, когда он изменил свое направление и устремился к той вещи, к которой ему перед этим было заповедано не стремиться, был изгнан из *райского сада*. Таково наказание, соответственное его бунту, как *мера за меру*. Ибо сначала было позволено ему вкушать наилучшие яства и наслаждаться безмятежностью и спокойствием; когда же, как мы упоминали, он сделался алчен и погнался за своими наслаждениями и за своими фантазиями, и вкусил того, от чего запрещено было ему вкушать, был он лишен всего и приговорен к тому, чтобы питаться наихудшей едою, которая прежде вообще не употреблялась им в пищу, и даже это только после тягот и трудов, как сказано: «И терние и волчец произрастит она тебе [и будешь питаться полевою травой]»; «В поте лица твоего [будешь есть хлеб]...». И в разъяснение этого говорится: «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю...». И был он приравнен к скотам в том, что касается пищи и большинства его состояний, как сказано: «И будешь питаться полевою травой». И сказано в разъяснение этого повествования: «Но человек в великолепии не [долго] пребудет, подобен он животным погибающим».

Да превознесется Обладатель воли, Чьи цели и Чья мудрость неисповедимы!

Часть 1

Глава 65

Я не считаю, что после того, как ты достиг сей ступени и приобрел истинное знание того, что Он, Превознесенный, существует не существованием и един не единством,¹ тебе нужно объяснять [необходимость] отдалить от Него атрибут речи, в особенности с учетом господствующего в нашем народе единодушного мнения² о том, что Тора сотворена.³ Под этим подразумевается, что речь, приписываемая Ему, сотворена Им и приписывается Ему потому только, что тот *голос*,⁴ который слышал Моисей, Бог сотворил и произвел так же, как Он сотворил все, что Он сотворил и произвел.⁵ Пророчеству еще будет посвящено подробное обсуждение;⁶ здесь же мы желаем разъяснить лишь то, что Ему приписывается речь тем же образом, каким Ему приписываются какие бы то ни было действия, подобные нашим.⁷

И чтобы направить умы⁸ к понятию о том, что есть Божественное знание,⁹ которое постигают пророки, было сказано, что Бог разговаривал с ними и обращался к ним с речами,¹⁰ дабы мы знали, что сообщаемое нам исходит от Бога¹¹ (в том смысле, который мы объясним в дальнейшем)¹² и не есть выражение их собственных мыслей и мнений; ранее мы уже упоминали об этом.¹³ Цель же настоящей главы - разъяснение того, что *דַבָּר* (говорение) и *דַבְרֵי* (сказывание) - многозначные выражения. [В одних случаях] они обозначают произносимое устами, как, например, во фразах: "Моисей говорил...",¹⁴ "И сказал Фараон".¹⁵ В других - нечто представляемое¹⁶ в интеллекте, но не произносимое, как сказано: "И сказал я в сердце своем... и тогда говорил я в сердце своем";¹⁷ "И сердце твое будет говорить";^{17a} "О Тебе говорит сердце мое";¹⁸ "И сказал Исав в сердце своем"¹⁹ - подобные примеры многочисленны. Иногда [это выражение] означает намерение: "...и думал (*דַבְרֵי*), букв. "сказал") поразить Давида"²⁰ - это все равно как если бы было сказано, что [филистимлянин] хотел убить его, то есть намеревался сделать это. "Не думаешь (*דַבְרֵי*, букв. "говоришь") ли убить меня...?"²¹ истолкование и смысл этой фразы - "ты намереваешься убить меня"; "И намеревалась (*דַבְרֵי*), букв. "и сказала") вся община забросать их камнями";²² подобные примеры также многочисленны.

И всякий раз, когда *דַבְרֵי* (сказывание) и *דַבָּר* (говорение) приписываются Богу, в них подразумевается одно из двух последних значений, то есть они перифрастически обозначают²³ либо желание или волю, либо эйдос, уразумываемый от Бога, вне зависимости от того, каким образом он становится ведомым - посредством сотворенного голоса или посредством какой-либо из разновидностей пророчества (относительно которых в дальнейшем будут даны разъяснения).²⁴ И не [подразумеваются в них], будто Он, Превознесенный, говорит, запечатлевая звуки в голосе,²⁵ или будто Он, Превознесенный, обладает душою, в которой запечатлевались бы понятия, так что в Его сущности было бы нечто, добавочное к ней;²⁶ однако эти понятия связываются с Ним и приписываются Ему в том же смысле, в котором приписываются Ему какие бы то ни было действия.

Что же касается использования именно слов לְבַרְבְּרָא и וַיִּבְרָא для перифрастического обозначения желания и воли, то это связано с разъясненной нами многозначностью данных выражений. Кроме того, они употребляются в смысле уподобления Его нам, на что мы указывали ранее.²⁷ Ибо человек не может понять с первого взгляда,²⁸ каким образом может осуществиться то, что Он желает осуществить, посредством одной только Его воли, но, согласно начальному воззрению, тот, кто желает осуществить нечто, неизбежно должен либо осуществить это посредством своих собственных действий, либо повелеть другому произвести это. Поэтому Богу было метафорически приписано повеление²⁹ о возникновении того, бытие чего угодно Ему, и говорится, что Он повелел, чтобы нечто стало сущим, и это нечто стало сущим. Смысл этих выражений - уподобления Его деяний нашим, в дополнение к разъясненному нами ранее значению слова "воля". Итак, всякий раз, когда в *рассказе о творении*³⁰ встречается выражение "И сказал",³¹ оно означает "И пожелал Он" или "И было угодно Ему". Об этом [толковании] упоминали не только мы; оно вообще широко известно.³²

И доказательством этого - я имею в виду, что לְבַרְבְּרָא ([творящие] "речения") на самом деле суть воления, а не речения, - служит следующее соображение: речение должно быть обращено к сущему, которое выслушивает это повеление. Сходным образом и речение: "Словом Господним небеса сотворены" имеет тот же смысл, что и [вторая половина этого стиха]: "и дыханием уст Его - все воинство их".³³ Так как "уста Его" или "дыхание уст Его" суть метафоры, "слово Его" или "речение Его" - тоже метафоры, и, значит, в этом предложении подразумевается, что [небеса] стали сущими в соответствии с Его намерением и Его волей. Сие не сокрыто ни от одного из ученых мужей, известных в нашем народе.³⁴ И нет нужды разъяснять тебе также и то, что слова לְבַרְבְּרָא и וַיִּבְרָא имеют в еврейском языке одинаковое значение, [как это видно из фразы:] "Ибо он слышал все слова (לְבַרְבְּרָא) Господа, которые Он говорил (וַיִּבְרָא) нам".³⁵

¹См. выше, гл. 57 и прим. 4 к ней, гл. 63 и прим. 25 к ней.

לְבַרְבְּרָא - консенсуса, согласия; ср. также в конце следующей главы. וַיִּבְרָא в исламе - один из источников фикха, см. Ислам, стр. 91, EI, v. 3, pp. 1023-1025; некоторые авторы, распространяя действие принципа и на сферу теологии, обвиняли философов в ереси на том основании, что их воззрения противоречат общему мнению (см. напр. ал-Газали, "Книга о различии между исламом и ересью"; ср. в христианстве - определение догматов на основании того, во что "верили всегда, верили все"). Ибн Рушд выступал против подобных обвинений, утверждая, что принцип консенсуса не может касаться теологических вопросов, которые по сути своей должны быть достоянием единиц ("Рассуждение, выносящее решение...", В кн. А. В. Сагадеев, "Ибн Рушд"; "Опровержение опровержения", стр. 587, van den Bergh, v. 2, pp. 205-206). Многочисленные высказывания Маймонида отражают сходную позицию; так, например, в III, 17 он противопоставляет свое мнение "мнению большинства наших мудрецов"; эпизодические ссылки на консенсус играют роль дополнительного диалектического аргумента; ср. прим. 4 к гл. 59. Вообще говоря, в иудаизме принцип консенсуса имеет определенное значение в сфере халахи, при определении круга авторитетных источников Устной Торы и полномочий халахических инстанций (см. предисловие Маймонида к Мишне Тора); прямая апелляция к консенсусу в сфере теологии, для определения обязательных верований - явление сравнительно редкое (напр. у Элияху бен Элиезера из Кандии, "Красота веры", кон. XIV, рукопись). В данном случае ссылка на וַיִּבְרָא связана с тем, что вопрос о сотворенности Торы не может не ассоциироваться с аналогичным вопросом в мусульманской теологии, см. сл. прим.

³В Агаде имеется представление о Торе как начале, инструменте, плане Творения, наподобие Логоса или Софии (Авот, III, 14; Берешит раба, I, 1, 8), или даже как о непосредственном агенте творения, демиурге. Наряду с этим неоднократно отмечается, что сама она также сотворена - прежде, чем был сотворен мир (Шабат 88б, Песахим 54а; Берешит раба, I, 4, VIII, 2; Мидраш Конен, Оцар хамидрашим, т. 1); некоторые каббалисты говорили о предвечной Торе (см. Г. Шолем, "Понятие Торы в еврейской мистике", "Основы каббалистической символики" [на ивр.], стр. 36-85). В книге "Верования и мнения" Саадия Гаон полемизирует с интерпретациями Премудрости из книги Притчей (гл. 8) и Иова (гл. 28:12-28) как несотворенной сущности. Он упоминает две такие интерпретации: некоторые еврейские авторы связывали эти библейские тексты с развиваемой ими концепцией предвечных духовных атомов, из которых Бог создал стихии и все сущее (странная комбинация "Тимея" и "Сефер Йецира", см. Wolfson). Христиане понимали стихи о Премудрости как указание на предвечный Логос, несотворенное творящее слово Бога (см. Саадия Гаон, "Верования и мнения", II, 6, стр. 93-94; ср. Роузентал, "Торжество знания", стр. 129-130). Наряду с еврейской традицией, фоном для настоящей главы служит сыгравшая огромную роль в истории мусульманской теологии дискуссия о сотворенности и несотворенности Корана.

Мутазилиты, отрицавшие атрибуты, признавали Коран сотворенным, ашариты считали, что по своей сущности - это несотворенный Божественный атрибут речи, проявления которого в письме и речи сотворены, более крайние школы считали несотворенными даже написанные и произнесенные слова Корана (см. напр. аш-Шахрастани, стр. 55, 73, 77-78, 85-86, 92, 101-102, 203). Wolfson, "Repercussions of the Kalam in Jewish Philosophy", idem, "The Philosophy of the Kalam"; Peters, "God's Created Speech"); в итоге этой дискуссии признание несотворенности Корана стало неотъемлемой чертой мусульманской ортодоксии. Вопрос о сотворенности Торы связан также с развернутой в предыдущих главах полемикой против магической концепции языка и, в особенности, Божественных имен. Библейский рассказ о творении мира словом служил одним из основных источников подобных представлений. Тора мыслилась как совокупность творящих речений, которые суть не что иное, как магические имена; более того, Тора в целом представлялось как одно Божественное имя, заключающее в себе всю полноту творящей энергии (см. Шолем, "Понятие Торы в еврейской мистике", "Основы каббалистической символики" [на ивр.], стр. 39-47). Интерпретируя в настоящей главе творящее речение Бога как воление, Маймонид стремится устранить связь творения со стихией языка, подорвав тем самым основы магии имен.

⁴אלִיָּוֶדֶת или "речение", если понимать это слово как арабское, см. примечания Капах и Шварца.

⁵См. прим. 20 к гл. 5.

⁶Ниже, II, 32-37.

⁷Ср. гл. 26 и 46. Маймонид подчеркивает здесь, что выражение "сотворенный голос" необязательно означает голос, воспринимаемый внешними органами чувств; напротив, из дальнейшего явствует, что речь идет о голосе, раздающемся в сознании пророка; см. ссылки, данные в прим. 21 к гл. 5. Ср. также II, 33 (о голосе, исходившем с Синая); КМ, Санһедрин, X, 1, восьмой из "тринадцати догматов" (о том, что передача Торы от Бога к Моисею иносказательно именуется речью).

⁸פֶּאֶר שְׁטוּת אֱלֹהִים, см. прим. 5 к гл. 46.

⁹עַל אֱלֹהִים.

¹⁰Ср. прим. 28 к гл. 2.

¹¹Наш перевод следует Ибн Тиббону и Эвен Шмуэлю; Капах, Пинес и Шварц понимают синтаксис этой фразы иначе.

¹²Ниже, II, 12, 33, 36.

¹³Выше, гл. 46.

¹⁴Исх. 19:19.

¹⁵Исх. 5:5.

¹⁶אֱלֹהֵינוּ אֵלֵנוּ - "представляемое понятие", см. прим. 19 к гл. 1 и прим. 12 к гл. 50.

¹⁷Эккл. 2:15; ^{17a}Притч. 23:33.

¹⁸Пс. 27:8.

¹⁹Быт. 27:41.

²⁰Сам. II, 21:16.

²¹Исх. 2:14.

²²Числ. 14:10.

²³כְּנֹאֵיךְ, указывают намеком, иносказательно.

²⁴Ниже, II, 41-42, 44-45.

²⁵וְצוֹתָרִי בְחֹרֵם בְּחֹרֵם, букв. "говорит звуками и голосом", можно: "говорит, произнося согласные и гласные", см. прим. 15 к гл. 62, прим. 16 и 36 к гл. 46.

²⁶Таким образом, Богу нельзя приписать и внутреннюю, мысленную речь.

²⁷См. гл. 23 и прим. 10, 11 и 17 к ней, гл. 46 и 54.

²⁸См. гл. 1, прим. 44.

²⁹אֵלֶּיךָ, в некоторых манускриптах - אֵלֶּיךָ (ивр. "речение").

³⁰וְעֵשָׂה בְרֵאשִׁית, первая глава книги Бытия; см. прим. 30 и 69 к Введению.

³¹Быт. 1:3, 1:6 и далее.

³²Подразумевается Саадия Гаон; в получившем широчайшее распространение арабском переводе Библии он передает появляющийся в рассказе о творении глагол וַיִּשֶׁר (и сказал) как אֶש (пожелал); ср. "Верования и мнения", II, 5, стр. 92; Комментарии Саадии Гаона на Бытие, стр. 219, 240; см. также комментарий Ибн Эзры к Быт. 1:3; Клайн-Бреслави, Творение [на ивр.], стр. 91-96.

³³Пс. 33:6. Маймонид опирается здесь на принцип библейского параллелизма.

³⁴Ср. "Верования и мнения", II, 5, стр. 92-93.

³⁵Ис. Нав. 24:27.

Часть 1 Глава 72

Знай, что сущее в целом есть не что иное, как единый индивид; то есть шар, ограниченный внешними небесами, со всем, что внутри него, есть несомненно единый индивидум с такой же степенью индивидуальности, что и Зайд или Умар. И многообразие субстанций [сущего], то есть субстанций этого шара и всего того, что в нем, подобно многообразию субстанций органов человеческого индивидуума.¹

Подобно тому, как Зайд, к примеру, есть единый индивидум, при том, что составлен из различных органов, из плоти, костей, различных жидкостей² и пневм,³ также и упомянутый шар как целое составлен из небес, четырех стихий и того, что образовано их соединением; внутри него нет никакой пустоты; это сплошное, заполненное тело.⁴ В центре его - земной шар, земля окружена водою, вода - воздухом, воздух - огнем, огонь - пятым телом;⁵ оно состоит из нескольких вложенных друг в друга сфер, между которыми нет промежутка и какой бы то ни было пустоты, ибо, будучи идеально округлыми, они плотно прилегают друг к другу.

Все они движутся равномерным круговым движением, ни одна из них не ускоряется и не замедляется. Иными словами, ни одна из этих сфер не движется иногда быстрее, а иногда медленнее, ибо в том, что касается скорости и направления движения, каждая из них следует своей природе.⁶ С другой стороны, некоторые из этих сфер движутся быстрее других. Самым быстрым среди всех является движение сферы, окружающей все [мироздание], - той, которая совершает суточное вращение и движет вместе с собой все остальные [сферы] как части движущегося целого, ведь все остальные [сферы] являются ее частями. Центры этих сфер различны: центры одних совпадают с центром мироздания, центры других - вне центра мироздания.⁷

Некоторые совершают свое постоянное собственное движение⁸ в направлении с востока на запад, другие постоянно движутся с запада на восток. Каждая звезда, расположенная на этих небесах, представляет собой зафиксированную в определенном месте и не обладающую собственным движением часть сферы; нам кажется, что [звезда] движется, из-за движения тела, частью которого она является.⁹

И материя пятого тела в целом, совершающего круговое движение, не такова, как материя тел четырех стихий, находящихся внутри нее. Число этих объемлющих мироздание сфер никоим образом и ни в коем случае не может быть меньше восемнадцати, что же касается предположения о том, что их больше восемнадцати, то это возможно и заслуживает рассмотрения. Также и вопрос о том, существуют ли эпициклы,¹⁰ которые не окружают собой все мироздание, заслуживает рассмотрения.¹¹

И внутри низшей, ближайшей к нам сферы, некоторая материя, отличающаяся от материи пятого тела, приняла четыре первичные формы; и благодаря этим четырем [формам] возникли четыре тела¹² - земля, вода, воздух и огонь. У каждого из четырех есть естественное место, свойственное ему, так что будучи предоставлено своей природе, оно не может находиться вне его. Это - мертвые тела, лишённые жизни и восприятия; сами по себе они не движутся, а покоятся в своих естественных местах. Но если одно из них покидает свое естественное место под действием принуждения, то, когда устраняется эта принуждающая причина, оно начинает двигаться по прямой, чтобы вернуться в свое естественное место. И нет в нем начала, из-за которого оно бы покоилось¹³ или двигалось не по прямой. Среди прямолинейных движений, наличествующих у этих четырех стихий, когда они возвращаются на свои места, есть два [вида] движения: движение к периферии - у огня и воздуха, и движение к центру - у воды и земли. И когда любая из этих [стихий] достигает своего естественного места, она останавливается.¹⁴

Что же касается тел, совершающих вращательные движения, то они суть живые существа, обладающие душой, посредством которой они движутся.¹⁵ В них нет никакой основы покоя; они не подвержены никакому изменению, кроме [перемены] местоположения, связанной с их движением по кругу. Что же касается вопроса о том, есть ли у них разум, посредством которого они представляют себе понятия, то это станет ясно только в результате тонкого умозрения¹⁶. И поскольку пятое тело в целом совершает постоянное вращательное движение, среди стихий возникает из-за этого вынужденное движение, при котором они покидают свои места¹⁷, то есть огонь и воздух вытесняются в [область] воды, затем все это проникает в тело земли, в ее глубины, и между стихиями происходит смешение. Затем они начинают двигаться обратно к своим местам, из-за чего также и частицы земли покидают свое место вместе с водою, воздухом и огнем. При всем этом [стихии] оказывают влияние друг на друга и воспринимают воздействие друг от друга, в результате чего происходят изменения в их смеси, так что из нее возникают сначала различные виды испарений¹⁸, затем - различные виды минералов, всевозможные виды растений и многие животные, соответственно тому, что определяется характером¹⁹ смеси. И все возникающее и распадающееся возникает из стихий и распадается на

них. Подобно этому, каждая стихия возникает из других и распадается, превращаясь в другие, поскольку материя их всех едина.²⁰ И не может существовать материя без формы, как и природная форма этих [сущностей], подверженных возникновению и уничтожению, не может существовать без материи. Таким образом, возникновение и уничтожение [стихий], а также возникновение того, что возникает из них, и уничтожение того, что распадается на них, представляет собой круговорот, подобный круговращению небес, так что движение этой оформленной материи, выражающееся в чередовании форм, аналогично пространственному движению сферы, при котором все ее части периодически возвращаются на те же самые места.

В человеческом теле есть главенствующие органы и органы подчиненные, нуждающиеся для поддержания своего существования в управлении главенствующего, правящего ими органа. Подобно этому и в мировом целом есть главенствующие части - объемлющее пятое тело, и части подчиненные, нуждающиеся в управлении, - стихии и то, что образовано из них. И главенствующий орган, каковым является сердце, движется постоянно и является первоначалом всякого движения, происходящего в теле; все остальные органы подчиняются ему, и оно посредством своего движения придает им [различные] силы, необходимые для их деятельности²¹. Подобно этому, небесная сфера есть то, что посредством своего движения управляет остальными частями мира; она придает всему возникающему силы, обретающиеся в нем. И первый источник всякого движения - движение сферы, так же как источник души, обитающей в любом одушевленном существе из этого мира, - душа сферы²².

И знай, что, в соответствии с разъясненным выше, есть четыре силы, распространяющиеся от небесной сферы в этот мир: сила, вызывающая смешение и соединение [стихий] (ее, несомненно, достаточно для порождения минералов); сила, наделяющая растительной душой всякое растение; сила, наделяющая животной душой всякое животное, сила, наделяющая рациональной способностью все разумящее. И все это осуществляется посредством [чередования] света и темноты, происходящего от того, что [небеса] излучают сияние и обращаются вокруг земли. И если сердце остановится на мгновение ока, человек умрет и исчезнет всякое движение [в его теле] и все его силы; подобно этому, если бы небесная сфера остановилась, это означало бы смерть мироздания в целом и исчезновение всего, что его наполняет. И подобно тому, как живое существо живет в качестве единого целого благодаря движению сердца, при том, что в нем есть неподвижные части, лишённые ощущения, как, например, кости, хрящи и тому подобное, также и сущее в целом есть единый индивидуум, который жив благодаря движению небесной сферы, обладающей в нем тем же статусом, что и сердце в том, что обладает сердцем, - несмотря на то, что среди [сущего] есть множество неподвижных мертвых тел. Таким образом, подобает тебе представлять весь этот шар²³ как единый, живой, движущийся, одушевленный индивидуум. Ибо, как это будет разъяснено, представление такого рода крайне необходимо или, [во всяком случае,] крайне полезно при доказательстве того, что Божество едино. На основании этого же представления становится ясно, что Единый творит только единое²⁴. И как невозможно, чтобы органы человека существовали обособленно - пока они действительно являются органами человека, - то есть не может быть обособленной печени, обособленного сердца, обособленной плоти, так же не может существовать одной части мироздания без других при том устойчивом состоянии сущего, о котором мы говорили; [не может быть,] чтобы существовал огонь без земли, или земля без неба или небо без земли. И подобно тому, как в сем человеческом индивидууме есть некая сила, которая связывает его органы друг с другом и управляет ими, которая снабжает каждый орган тем, что необходимо для поддержания его в исправном состоянии и защиты от того, что ему вредит (о ней ясно заявляют врачи, называя ее силой, правящей телом живых существ,²⁵ и зачастую именуя ее "природой"),²⁶ - так и в мировом целом есть сила, которая связывает его части друг с другом и охраняет от гибели виды, она же охраняет и индивидуумов, принадлежащих этим видам, - пока их возможно охранять; кроме того, некоторые индивидуальные сущности мира она охраняет [постоянно].²⁷ Относительно этой силы возникает вопрос, требующий умозрительного рассмотрения, - действует ли она при посредстве небесной сферы или без него.²⁸

может существовать одной части мироздания без других при том устойчивом состоянии сущего, о котором мы говорили; [не может быть,] чтобы существовал огонь без земли, или земля без неба или небо без земли. И подобно тому, как в сем человеческом индивидууме есть некая сила, которая связывает его органы друг с другом и управляет ими, которая снабжает каждый орган тем, что необходимо для поддержания его в исправном состоянии и защиты от того, что ему вредит (о ней ясно заявляют врачи, называя ее силой, правящей телом живых существ,²⁵ и зачастую именуя ее "природой"),²⁶ - так и в мировом целом есть сила, которая связывает его части друг с другом и охраняет от гибели виды, она же охраняет и индивидуумов, принадлежащих этим видам, - пока их возможно охранять; кроме того, некоторые индивидуальные сущности мира она охраняет [постоянно].²⁷ Относительно этой силы возникает вопрос, требующий умозрительного рассмотрения, - действует ли она при посредстве небесной сферы или без него.²⁸

В теле человеческого индивидуума есть вещи, служащие определенным целям: некоторые из них, такие как органы пищеварения, служат для выживания индивидуума, цель других, как, например, органов размножения, - обеспечивать сохранение вида, назначение третьих, например рук и глаз, - способствовать действиям, необходимым при добыче пропитания и тому подобному. Есть также вещи, которые сами по себе не имеют особого назначения, однако они с необходимостью проистекают из состава вышеупомянутых органов и сопутствуют ему; этот специфический состав - необходимое условие обретения [органами] именно такой²⁹ формы, каковая необходима для совершения ими действий, для которых они предназначены. По этой причине тому, что является целесообразным, сопутствуют, в силу необходимости, связанной с материей, другие вещи, например волосяной покров или окраска тела. Соответственно, существование таких вещей не следует какой-либо закономерности; зачастую некоторые из них вообще отсутствуют. Кроме того, в этом отношении между индивидуумами встречаются чрезвычайно резкие различия, тогда как между их органами такого быть не может. Например, не встретишь индивидуума, печень которого в десять раз больше печени другого, но можно встретить человека, лишенного бороды или волос на каком-либо участке тела, или такого, чья борода в десять или, к примеру, в двадцать раз больше, чем у другого индивидуума; такое часто бывает - я имею в виду различия в волосяном покрове и пигментации.

Подобно этому, среди полноты сущего есть разновидности, возникновение которых целесообразно, устойчивые и подчиняющиеся закономерностям, среди которых бывают только незначительные различия, определяемые мерой случайных количественных и качественных отклонений, присущей этому виду. Есть в ней и разновидности, не служащие определенной цели, но являющиеся необходимым следствием универсальных природных процессов возникновения и уничтожения, как например, различные виды червей, образующиеся из навоза, виды живых существ, которые образуются в плодах при гниении, и тех, что образуются в гнилой сырости, черви, образующиеся в кишечнике, и тому подобное. В общем, как мне представляется, все, что лишено способности порождать себе подобное, принадлежит к этому роду, и поэтому не наблюдается какой-либо закономерности, которой они следуют, несмотря на то, что их появление неизбежно, так же как неизбежно существование различных окрасок и различных видов волосяного покрова у человеческих индивидуумов.³⁰

И подобно тому, как в человеческом теле есть и элементы, устойчивые в качестве единичных сущностей, например основные органы, и элементы, сохраняющиеся только как виды, но не как единичные сущности, например четыре жидкости, так же и в полноте сущего есть тела, устойчиво существующие в качестве индивидуумов, а именно пятое тело со всеми его частями, и тела, сохраняющиеся в качестве видов, такие как стихии и то, что образовано из них.³¹

И подобно тому, как у человека те самые силы, которые вызывают его к существованию и поддерживают оное на протяжении отпущенного ему времени, вызывают также распад и уничтожение, в мире возникновения и уничтожения в целом причины возникновения являются также и причинами уничтожения. Возьмем, например, четыре силы, присутствующие в теле всякого существа, обладающего пищеварением, а именно: притягивающая, удерживающая,

переваривающая и изгоняющая. Если бы эти силы могли уподобиться силам разума так, чтобы они совершали только те действия, которые необходимы, только в то время, когда это необходимо, и только в той мере, в какой это необходимо, то человек был бы избавлен от крайне тяжелых напастей и от многих болезней. Однако, поскольку это невозможно, так как они совершают свои природные действия неразумно и слепо, отнюдь не сознавая того, что они делают, то из-за них неизбежно возникают тяжкие болезни и страдания, хотя они являются орудиями, необходимыми для становления живого существа и поддержания его жизни на протяжении отпущенного ему времени.

Поясним это на примере. Если бы притягивающая сила притягивала только то, что подходит [организму] во всех отношениях и только в необходимом количестве, то человек был бы избавлен от множества болезней и бедствий. Однако, поскольку это не так, ибо она притягивает любое вещество, принадлежащее к роду притягиваемых ею веществ, пусть даже оно несколько отклоняется [от требуемого] по количественным или качественным характеристикам, отсюда с необходимостью следует, что она притягивает вещество, которое горячее или холоднее того, что требуется, гуще или жиже, или является избыточным.

Вследствие этого возникает засорение сосудов,³² возникают закупорки³³ и нагноения,³⁴ ухудшается качество жидкостей и изменяется их количество, из-за чего возникают такие болезненные явления³⁵ как чесотка,⁵³ зуд⁵⁴ и бородавки⁵⁵ или такие тяжкие недуги как раковая опухоль,⁵⁶ лепра,⁵⁷ гангрена,⁵⁸ при которых разрушается форма одного или нескольких органов.

Аналогично обстоит дело и с остальными из четырех перечисленных сил. И точно так же происходит с сущим в целом: то самое, что делает необходимым возникновение того, что возникает, и продолжение его существования определенным сроком, - а именно смешение стихий посредством приводящих их в движение и проникающих в них сил небесных сфер, - является и причиной возникновения среди сущего вредоносных факторов, таких как паводки, проливные дожди, снегопады, град, ураганные ветры, гром, молния и гнилостный воздух и даже таких крайне разрушительных факторов, несущих гибель целой стране, нескольким странам или целым регионам, как разверстие земли, землетрясение и огненный дождь и затопление земли водой из моря и глубин.

И знай: при всем том, что мы говорили относительно подобия мирового целого человеческому индивидууму, не за счет приведенных сопоставлений говорится о человеке как о микрокосме, ибо эта аналогия целиком применима к любой животной особи с полностью [развитыми] органами, но ведь ты никогда не услышишь, чтобы кто-либо из древних называл осла или коня микрокосмом. О человеке же это говорится благодаря тому, что присуще исключительно ему, а именно [благодаря] рациональной способности - то есть тому разуму, который [называется] материальным разумом, - ибо ничего подобного нет ни у какого другого вида живых существ. Разъяснение сего: ни одна животная особь не нуждается для поддержания своего существования в размышлении, рассуждении³⁶ и [способности к] управлению,³⁷ ибо [животное] следует и влечется за своей природой. Оно ест то, что попадет из пригодного ему, укрывается там, где ему придется, покрывает ту самку, которая попадет ему во время брачного сезона, если у него есть брачные сезоны. Таким образом существование особи длится столько, насколько оно может продлиться, и поддерживается существование ее рода; при этом она никоим образом не нуждается³⁸ в другой особи того же вида, которая бы поддерживала ее и помогала бы ей выжить, делая для нее то, что она сама сделать не в состоянии. Человек же отличается тем, что если, допустим, какой-нибудь индивидуум окажется в одиночестве, лишится [способности к] управлению и станет подобным скотине, то сразу же погибнет. Он не сможет просуществовать даже одного дня, иначе как благодаря случайности, то есть если ему попадет что-нибудь, чем он будет питаться; ведь пища, обеспечивающая его существование, требует [для своего приготовления] искусства и длительных планируемых действий,³⁹ которые не могут быть выполнены без размышления и рассуждения, без помощи многочисленных орудий. Столь же [невозможно это] и без помощи множества человеческих индивидуумов, каждый из которых специализируется в какой-либо работе, и посему должен существовать тот, кто управляет ими, объединяет их так, чтобы их сообщество было упорядоченным и устойчивым, чтобы они помогали друг другу.⁴⁰ Подобно этому и защита от стужи в холодное

время, от зноя в жаркое время, укрытие от дождей, снега и бушующего ветра требует заблаговременного совершения многочисленных подготовительных действий, которые не могут быть исполнены без размышления и рассуждения. По сей причине и существует в [человеке] эта разумная сила, с помощью которой он размышляет и рассуждает, трудится и изготавливает при посредстве разнообразных ремесел свою пищу, жилище и одежду. С ее помощью он управляет всеми органами тела, так чтобы главенствующий среди них действовал, как он должен действовать, и подчиненный управлялся так, как он должен быть управляем. По этой причине, если, допустим, какой-нибудь человеческий индивид утратил бы сию силу и остался бы лишь с животными [способностями], он пропал бы и погиб тотчас же. Сила эта весьма благородна, самая благородная среди сил живого существа. Кроме того, [эта сила] чрезвычайно сокровенна, ее истинная суть не может быть понята с первого взгляда, как могут быть поняты остальные природные силы.

Подобно этому и в сущем есть нечто, управляющее им как единым целым, приводящее в движение его высший главенствующий орган, и дающее оному движущую силу, чтобы управлять при посредстве ее всем остальным. И если, предположим, это нечто перестанет существовать, то перестанет существовать весь этот шар - и главенствующие части его, и подчиненные. И благодаря этому началу сохраняется существование этого шара и каждой его части; это начало есть Божество, да превознесется Его имя.

Именно в связи с этим об одном только человеке говорится как о микрокосме, поскольку есть в нем некое начало, управляющее им как целым. И в связи с этим Бог, да превознесется Он, на нашем языке именуется "жизнью мира", как сказано: "И клялся жизнью мира".⁴¹

И знай, что та аналогия, которую мы установили между миром в целом и человеческим индивидуумом, не [нарушается] различиями ни в чем из того, что мы упомянули, за исключением трех моментов. Во-первых, главенствующий орган всякого живого существа, обладающего сердцем, получает пользу от подчиненных органов, ибо к нему возвращается польза, получаемая ими. В полноте сущего ничего подобного нет, ибо всякое [бытие], которое эманурует другому упорядоченность или наделяет другое силами, не получает обратно от нижестоящего никаких благ; оно дает то, что дает, так, как дает достойный благодетель, который делает это по своей природной щедрости и врожденной добродетельности,⁴² не ожидая [выгоды], - ибо тем самым оно уподобляется Божеству, да превознесется Его имя.

Во-вторых, сердце всякого живого существа, обладающего сердцем, находится в его средоточии, а остальные, подчиненные органы, окружают его, чтобы приобщить к своим благам, охраняя и защищая его собою, так чтобы вредоносные влияния извне не могли с легкостью к нему проникнуть. В мировом целом дело обстоит наоборот: более достойным⁴³ окружено более низменное, поскольку первое гарантировано от восприятия воздействий со стороны чего-либо внешнего, и будь оно даже восприимчиво к таким влияниям, снаружи нет никакого другого тела, могущего воздействовать на него. Ибо оно распространяет свою эманацию на все, что внутри, его же никоим образом не достигают воздействия и силы, исходящие от других тел. Вместе с тем, здесь имеется и некоторое сходство, а именно: в живом организме чем дальше от главенствующего органа расположен какой-либо из его органов, тем он менее благороден - в сравнении с тем, который ближе. Так же обстоит дело и с миром в целом: чем ближе тела к центру, тем мрачнее они, тем грубее их субстанция, их движение затрудняется, сияние и прозрачность их покидают - по мере удаления их от достойного, сияющего, прозрачного, подвижного, утонченного, простого тела, то есть небесной сферы.⁴⁴ И каждое тело, которое расположено возле него, приобретает нечто из этих качеств, соответственно своей близости к нему, и становится более достойным чем то, что находится ниже.⁴⁵

В-третьих, упомянутая рациональная способность есть сила, имманентная телу и неотделимая от него, тогда как Бог, да превознесется Он, не есть сила, имманентная мировому телу, Он отделен от всех частей мироздания,⁴⁶ а управление и провидение Его, да превознесется Он, присутствует в мире⁴⁷ таким образом, что сущность и истинная реальность

этого присутствия сокрыты от нас и человеческие силы слишком ограничены для его [постижения]. Ибо, [с одной стороны,] существует доказательство трансцендентности Его, да превознесется Он, по отношению к миру, Его непричастность к нему. И, [с другой стороны,] существует доказательство наличия воздействия⁴⁸ Его управления и провидения в каждой части [мироздания], даже самой мелкой и ничтожной. Благословен Тот, Чье совершенство ослепило нас.

И знай, что подобало бы уподобить отношение Бога, да превознесется Он, к миру, отношению к человеку приобретенного интеллекта,⁴⁹ который не есть сила, имманентная телу, - он по самой своей сути отделен от плоти, распространяя, [однако,] на нее свою эманацию. В таком случае аналогией рациональной способности служили бы интеллекты сфер, которые имманентны телам. Однако понятие об интеллектах сфер, о существовании отделенных интеллектов, представление о приобретенном интеллекте, вопрос о том, является ли он также отделенным, - все это предметы, требующие умозрительного рассмотрения и обсуждения; аргументы, касающиеся этого, трудноуловимы, хотя и истинны; относительно них возникают многочисленные сомнения, дающие порицающему повод для порицаний и придиричвому - для придинок. Мы же хотели только, чтобы вначале ты представил себе сущее в ясной форме; и ничего из упомянутого нами в этом вольном изложении не станет отрицать никто, кроме людей двух [типов]: тот, кто невежествен в очевидном, - как отвергает несведущий в геометрии доказанные математические утверждения, - или тот, кто, предпочитая придерживаться предвзятого воззрения, обманывает себя. Стремящийся же к истинному умозрению должен учиться, с тем чтобы уяснить себе истинность⁵⁰ всего того, о чем мы рассказали. И знай, что такова, вне всякого сомнения и колебания, форма сущего, обладающего устойчивым существованием. И желающий принять это [как истину], положившись на сведущего в доказательствах того, что доказано, может принять сказанное и строить на этом основании свои умозаключения и аргументы. Тот же, кто не захочет полагаться на авторитет, - даже в этих исходных положениях, - должен учиться, и тогда он уяснит себе, что дело обстоит именно таким образом. "Вот это мы дознали; так оно и есть; выслушай это и заметь для себя".⁵¹ После этого введения приступим к изложению того, что мы обещали изложить и разъяснить.

Как говорилось выше (прим. 67 к гл. 71), в настоящей главе Маймонид дает обозрение философской картины мира, акцентируя внимание на ее ценностных и эстетических аспектах. Здесь не найти строгого описания аристотелевской теории движения (подобного тому, что дается во Введении к ч. II), тогда как многие формулировки и концепции настоящей главы не имеют аналогов в других частях Путеводителя. Таково, например, описание мира как единого организма и как подобия микрокосма; объяснение движения небесных тел и воздействия их на подлунный мир имманентными силами; "природа", управляющая подлунным миром, которая похожа больше на платоническую мировую душу или стоический логос, занимает место перипатетического "Активного Интеллекта". Вообще говоря, Маймонид сосредотачивает все внимание на имманентных принципах упорядоченности и гармонии космоса; только в самом конце главы он отмечает, что более точное описание Божественного действия в мире требует обращения к концепции трансцендентного Интеллекта, которая выходит за рамки изложения. Все эти особенности объясняются указанной спецификой настоящей главы, которая близка по духу не столько к аристотелевской физике, сколько к традиции, восходящей к диалогу "Тимей" и представленной такими текстами, как псевдоаристотелевский трактат "О мире", вторая книга цицероновского трактата "О природе богов" и т. д. Маймонид, по-видимому, рассматривал подобное описание как корректную популяризацию перипатетической физики ввиду той особой цели, которую он поставил здесь перед собой (см. выше, в Предисловии, о пятой причине противоречий).

¹ См. напр. Платон, "Тимей" 30b-31b, 69c, 92c; Аристотель, "О небе", I, 9; Цицерон, "О природе богов", кн. 2, XI (Философские трактаты, стр. 109-110); Псевдо-Аристотель, "О мире", гл. 6 (в кн. Античность в контексте современности, стр. 161-167); Ибн Туфейль, "Роман о Хайе, сыне Якзана" (ИП, стр. 361-362); ср. ФЭС, стр. 362.

² В соответствии с гуморальной теорией: кровь, желтая и черная желчь, флегма; см. напр. гиппократовский трактат "О природе человека", IV-V; ср. выше, прим. 54 к гл. 34.

³ Согласно представлениям, господствовавшим в средневековой медицине, существуют три общие пневмы (pneumata) - природная, животная и душевная, а также пневмы отдельных органов; подробнее см. выше, прим. 13 к гл. 32 и прим. 4 к гл. 40.

⁴ См. ниже, гл. 73, постулат 2.

⁵ Лат. Quinta essentia - пятый элемент, эфир, из которого состоят небесные сферы; см. "Квинтэссенция", ФЭС, стр. 256.

⁶ основополагающий для всей античной астрономии постулат о том, что движение звезд и планет должно сводиться к равномерным круговым движениям сфер, впервые сформулирован Платоном (по свидетельству Симпликия, см. Рожанский, "История естествознания в эпоху античности", стр. 228-229) и подробно обоснован Аристотелем ("Физика", VIII, 8-9; "О небе", I, 2; II, 3-6).

⁷ Эксцентрические сферы. Эксцентры, как и эпициклы (см. ниже) были введены Гиппархом для объяснения аномалий в движении планет, не укладывающихся в гомоцентрическую модель Евдокса-Каллиппа-Аристотеля; см. ниже, II, 24 о противоречии между этой концепцией и высказанным выше положением об отсутствии зазоров между сферами.

⁸ В отличие от движения, обусловленного их участием в суточном вращении.

⁹ См. ниже, II, 8. Аристотель, "О небе", II, 8-9; Клайн-Браслави, Творение [на ивр.], стр. 187-189.

¹⁰ Эпицикл - малые сферы, центры которых жестко связаны с одной из больших сфер; см. напр. Рожанский, стр. 253-261.

¹¹ В "Основополагающих законах Торы" (МТ I, 1, 3:5) Маймонид насчитывает восемнадцать сфер, "охватывающих мироздание", и восемь эпициклов. См. Tz. Langermann, "The True Perplexity...".

¹² Stoicheion, "простое тело", элемент, стихия.

¹³ Вне естественного места.

¹⁴ Теория четырех стихий, их естественных движений и естественных мест подробно излагается Аристотелем в трактатах "О небе", I, 3; III; IV, 4; "О возникновении и уничтожении", II, 1-3; 5-8; ср. также МТ I, 1, 3:10-11.

¹⁵ Под "живым" здесь понимается то, что обладает имманентной причиной движения - душой. Вращение небесных сфер порождается стремлением их душ к Перводвигателю - трансцендентной целевой причине движения. См. ниже, II, 4-5, 10; МТ I, 1, 3:9; ср. Платон, "Тимей", 36e-40b; Аристотель, "Метафизика", XII, 7, 1072a26-27; "О небе", II, 2, 285a30, 12, 292a20-21; "О душе", I, 407b6-12; Плотин, "Эннеады", II, 2; ал-Фараби, "Гражданская политика" (СЭТ, стр. 82-84); Ибн Сина, "Книга знания", "Метафизика", (Избранное, стр. 167-169, 172-180); "О душе" (Избранное, стр. 391-392); "Книга исцеления", "Метафизика", IX, 2 (Al-Shifa, Al-Pahiyyat, v. 2, pp. 381-393).

¹⁶ Sm. II, 5. Согласно Аристотелю, движение живого существа порождается стремлением, которое направляется созерцаемой в уме (или в воображении) целью (или воображением, "О душе", III, 9-11). В соответствии с этим, многие средневековые философы признавали наличие у небесных сфер стремления и ума (II, 4-5); ср. также тексты ал-Фараби и Ибн Сины, указанные в предыдущем примечании. Ибн Рушд, признавая сферы простой субстанцией (см. выше, прим. 31 к гл. 58), отрицал наличие у них души, отличной от актуального интеллекта, который, в свою очередь, тождествен отделенному интеллекту (см. "Трактат о субстанции сферы", изд. Нуман); его мнение было воспринято еврейскими авероистами, см. напр. Нарбони, "Трактат о совершенстве души", II, 5; Албалаг, "Исправление мнений", 60-61 (стр. 84-88). Ср. также Герсонид, "Войны Господни", V, 6; комментарий Фалакеры к Путеводителю, II, 4.

¹⁷ Аристотель, "Метеорологика", I, 2-3.

¹⁸ См. "Метеорологика", I, 4.

¹⁹ 'κρᾶσις, гр. *krasis*, лат. *temperamentum*; в гуморальной теории (см. выше, прим. 4): соотношение четырех "жидкостей" в организме (см. напр. "Фрагменты ранних греческих философов", Алкмеон, 24В4; Гиппократ, "О древней медицине", 7, 14; "О природе человека", 4-8; "Избранные книги", стр. 210; ср. выше, прим. 54 к гл. 34) или в отдельном органе; в более широком смысле - характерное для данного сложного тела сочетание качеств и сил, происходящих от его составных элементов; чем более уравновешено, гармонично это сочетание, тем более совершенную форму может воспринять смесь; см. напр. Ибн Сина, "Книга знания", "Физика" (Избранное, стр. 203-210); Йехуда халеви, "Кузари", V, 12.

²⁰ См. Аристотель, "О небе", III, 6-7; "О возникновении и уничтожении", II, 4; МТ I, 1, 4:5.

²¹ См. напр. Аристотель, "О частях животных", 665a12, 666b17; ал-Фараби, "Трактат о взглядах..." (ФТ, стр. 305, 308); Ибн Сина, "Книга исцеления", "Физика", "О животном", стр. 40, 360, "О душе" (Избранное, стр. 516); ср. Платон, "Тимей", 70c; Galen, "On the Usefulness", pp. 291-292; Harvey, "De motu cordis", p. 108.

²² Ср. учение "Тимея" о средстве души звездам и об отражении круговращения звезд в движениях души (41e, 43a-47d, 90a, d); несмотря на то, что Аристотель в целом отверг платоновское представление о круговращениях души ("О душе", I, 3), некоторые элементы его были усвоены перипатетизмом.

²³ То есть все мироздание, заключенное внутри сферы высших небес.

²⁴ Предыдущая фраза подразумевает доказательство единства Божия без использования постулата о сотворенности мира (см. ч. II, гл. 1, второе доказательство единства; ср. там же, гл. 22), последняя - о значении единства мира в рамках креационистской картины (см. Филон "De orif. mundi", LXI (171)).

²⁵ Gr. *to hegemonikon*, лат. *principatum* (Galen, "Definitiones medicae", CXIII; Цицерон, "О природе богов", кн. 2, IX).

²⁶ "Природа" (*physis*) - одно из основных понятий античной философии, начиная с досократиков, имевшее чрезвычайно широкий спектр значений. Медико-биологический аспект этого понятия выступает на первый план в гиппократовском корпусе, где говорится о природе как о целительной силе, активно противостоящей болезни. У Аристотеля, в особенности в его биологических сочинениях, и у Галена, который постоянно ссылается на "природу" как источник целесообразности в живом организме, этот термин приобретает значение, близкое к тому, о котором говорит здесь Маймонид: это действующий принцип целесообразного строения и функционирования живого организма, сила, которая объединяет все элементы живого тела, подчиняя их единой цели - достижению наивысшей возможной ступени бытия. См. Аристотель, "Метафизика", V, 4; "Физика", II, 1; "О частях животных", I, 641a25-b30; Гиппократ, *On Epidemics*, VI.5; *On Aliments* XXXIX; *On Fractures*, I; Гален, *Definitiones medicae*, CXIII, XCV; Galen, "On the Usefulness of Parts of Body", pp. 10-11, 188-189, 264, 620-622, 725-729; Цицерон, "О природе богов", кн. 2, IX-XI, XXXII-XXXIV, "Братья чистоты" (ИП, стр. 156-157); Йехуда халеви, "Кузари", I, 70-79; III, 23; V, 10, 12; Маймонид, "О здоровом образе жизни" (Медицинские сочинения Маймонида, изд. Мунтнера, т. 1, стр. 44-45), "Афоризмы Моисея" (там же, т. 2, стр. 89, 123); Ибн Тиббон, "Разъяснение необычных слов"; M. Neuburger, *History of*

Medicine, v. 1, pp. 136-137; Н. Simon, M. Simon, "Die alte Stoa und ihr Naturbegriff" и рецензия Мунтнера на эту книгу (Мекорот 1957); J. Ritter K. Gruender, "Historisches Wörterbuch der Philosophie" Bd. 6, pp. 421-444.

²⁷ Речь идет о небесных телах, не подверженных уничтожению.

²⁸ См. ниже, II, 10, 12; Langermann, "Maimonides Repudiation of Astrology", pp. 140-146.

²⁹ מִלִּי הָיָה הַיְשׁוּב, точнее: "(такой формы), какова она есть".

³⁰ Назначение всех этих рассуждений - дать модель, которая бы определила и ограничила роль случайности, как существующей словно бы на периферии закономерности, вопреки мутакаллимам, учившим о тотальной случайности.

³¹ См. напр. "Роман о Хайе, сыне Якзана" (ИП, стр. 361-362).

³² Жил, вен, артерий.

³³ М.б. "тромбы", Пинес: sclerosis.

³⁴ М.б. воспаления

³⁵ Букв. «болезни».

³⁶ Пинес: "проницательность".

³⁷ מְרִיבּוּ (означает и способность, и деятельность) - предусмотрительность, распорядительность, управление (в т. ч. собой), планирование (в т. ч. своих действий), (само)контроль

³⁸ Для сохранения своей жизни.

³⁹ Букв. "длительного управления"

⁴⁰ Согласно Платону, государство "создают наши потребности", то есть необходимость взаимопомощи и разделения труда ("Государство", II, 369b далее); ср. аристотелевскую формулу "человек - по природе [существо] общественное" ("Никомахова этика", 1097b11, 1169b18, "Политика", 1253a2); см. также "Братья чистоты", I, 100; ал-Фараби, "Трактат о взглядах...", гл. 26 (ФТ, стр. 303-304) и гл. 34 (там же, стр. 348-349); Ибн Халдун, "Книга назиданий...", кн. I, предисловие первое (ИП, стр. 563-564).

⁴¹ Дан. 12:7; см. выше, гл. 69. Традиционный перевод - "и клялся живущим вечно"; ср. эпитафия в начале Путеводителя, перед Посвящением и примечание к нему.

⁴² Ср. переводы Ибн Тиббона, Капаха, Пинеса. Эманация, переливающееся через край благо и бытие (см. прим. 2 к гл. 9, прим. 21 и 23 к гл. 58), деяние, связанное с полнотой, а не с недостатком, и, значит, свободное от корысти, постоянно ассоциируется в арабоязычной философии с такими эпитетами как מְרִיבּוּ, מְרִיבּוּ, מְרִיבּוּ и т. д.; ср. ал-Фараби, "Трактат о взглядах...", гл. 8 (ФТ, стр. 229); Walzer, pp. 359-360; Ибн Сина, Избранное, стр. 153, 339-340; "Кузари", V, 12.

⁴³ Т. е. объемлющей сферой

⁴⁴ См. напр. ал-Фараби, "Трактат о взглядах..." (ФТ, стр. 309-311).

⁴⁵ См. напр. Йехуда халеви, "Кузари", V, 2.

⁴⁶ То есть даже по отношению к небесной сфере, в противоположность мнению сабиев, см. I, 63, 22; III, 29.

⁴⁷ Букв. сопровождает мир, сопутствует миру.

⁴⁸ Или "отпечатков", "следов". Как отмечает Альтман ("Maimonides on Intellect...", р. 120), этот термин (гр. *ichnos*) - плотиновского происхождения; см. "Эннеады", V, 2; ср. Бахья ибн Пакуда, "Обязанности сердец", I, 7 ("отпечатки мудрости"); Abramov, "Al-Kasim b. Ibrahim...", 85.

⁴⁹ אֱלֵנִי לְאַלְמוּתוֹפֵאֵד, ивр. переводы: שכל הנפש или שכל הנאצל (Ибн Тиббон в переводе Путеводителя и в "Разъяснении необычных слов", см. статью שכל הנפש, ал-Харизи), שכל הנפש (Зерахия бен Исаак, Комментарий на Притчи, цит. в J. Hercz, "Drei Abhandlungen..."). Следует иметь в виду, что в некоторых текстах (как, например, в трактате "Дух милости", в ивр. переводе "Возвышенной веры" Авраама бен Давида) термин שכל הנפש употребляется в совершенно ином смысле - в значении вторичных интеллигибилий, т.е. теорем, приобретаемых с помощью первичных интеллигибилий, аксиом (см. прим. 49 к гл. 34); ср. Altmann, "Maimonides on the Intellect...", pp. 74-75, по поводу *en hexei nous* (*intellectus in habitu*) у Александра Афродисийского. См. прим. 25 и 26 к гл. 2, прим. 10 к гл. 30, прим. 49 к гл. 34, прим. 26 к гл. 62, прим. 12 к гл. 66. Источник термина - *ho thurathein nous* ("извне [приходящий] интеллект") у Александра Афродисийского (комментарий к *De anima*, стр. 193). Концепция приобретенного интеллекта рассматривается в большинстве текстов, затрагивающих перипатетическое учение об интеллекте; она непосредственно связана с вопросом о возможности для человеческой души (интеллекта) соединиться с Божеством и обрести бессмертие - важнейшей точкой соприкосновения религии и философии. См. напр. ал-Фараби, "О значениях [слова] интеллект" (Boyges, pp. 24-32, ФТ, стр. 30-33, 37), "Трактат о взглядах..." (Walzer, стр. 242-245, 404, 406, 409, 439, 442; ФТ, стр. 313-315); Ибн Сина, "Книга о душе" (Избранное, стр. 416-417, 505); Йехуда халеви "Кузари", IV, 9. Особенно много занимался этой проблемой Ибн Рушд, его последователи и критики, см. напр. его сочинения: Комментарий на "Трактат об интеллекте" Александра Афродисийского (изд. Дэвидсона, стр. 213-214), "Послание о возможности соединения..." (ивр. с комм. Нарбони, изд. Bland); Малый, Средний и Большой комментарии к *De anima*; а также Нарбони, "Трактат о совершенстве души", 128 и далее; Герсонид, "Войны Господни", I, 10; Трактат "Дух милости", гл. 3. Среди множества исследований, посвященных данной теме, укажем следующие: A. Altmann, "Maimonides on the Intellect", pp. 79-91; Davidson, "Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect..."; Merlan, "Monopsychism..."; Rahman, "Prophecy in Islam"; Ivry, "Averroes on Intellection and Conjunction". О рецепции термина в каббале см. Исаак из Акры, "Светоч очей", стр. 222; Идель, "Мистический опыт..." [на ивр.], стр. 117. Критику перипатетической концепции приобретенного интеллекта см. Хасдай Крескас, "Свет Господень", II; W. Harvey, "Hasdai Crescas' Critique of the Theory of the Acquired Intellect", Равицкий, "Диспут в Кандии..." [на ивр.], стр. 204-209. Согласно трактату "О значениях [слова] интеллект", рекомендованному Маймономидом как надежное изложение данной темы, можно обрисовать концепцию "приобретенного интеллекта" следующим образом. Человеческий интеллект, абстрагируя интеллигибилии от материи и делая их своими формами, переходит из потенциального состояния в актуальное (см. текст в прим. 29 и 32 к гл. 68). На первом этапе актуальный интеллект не свободен от множественности и, значит, не полностью актуален. Ведь созерцая одну интеллигибилию и отождествляясь с ней, он не может одновременно созерцать другую интеллигибилию. Сосуществование различных интеллигибилий возможно, только если они пребывают в состоянии, промежуточном между потенцией и актом. Это свойство интеллигибилий "заслонять" друг друга связано с тем, что интеллект постиг их, восходя от материи к форме, из-за чего они несут на себе отпечаток множественности. В Активном Интеллекте, напротив, все интеллигибилии нисходят из единого первоначала, которое просвечивает в каждой из них, делая их прозрачными друг для друга. Поэтому, когда человек начинает постигать интеллигибилии в их единстве (согласно ал-Фараби, для это требуется постижение всех или большинства интеллигибилий), он уподобляется Активному Интеллекту. О том, как именно происходит этот переход, ал-Фараби не дает ясного представления. В отличие от большинства последующих философов (в том числе и Маймономид), он не говорит о соединении человеческого интеллекта с Активным Интеллектом.

⁵⁰ Или: "истинный смысл"

⁵¹ Иов 5:27. Последние три слова фразы на иврите לֵךְ וְתִדְעַתְּ לָךְ могут быть поняты как "узнай сам". По-видимому, Маймономид видит в этом стихе два упомянутых выше варианта реакции на сообщение: либо просто "выслушай это", либо, вдобавок к этому, "узнай сам".

Часть 2

Глава 5

Перевод С. Парижского

То, что небесные сферы являются живыми и разумными, то есть постигающими, абсолютно истинно и с точки зрения Торы. Вопреки представлениям невежд, они не являются неодушевленными субстанциями вроде огня или земли. Они, по мнению философов, живые существа, подчиняющиеся своему Владыке и воздающие Ему наивысшую хвалу и славу. Сказано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь»¹. Как далеки от истинных представлений те, кто считает это описание душевного состояния²! Еврейский язык позволяет употреблять глаголы «проповедует» и «вещает» только в отношении одушевленных существ. Из этого ясно следует, что в этом стихе описывается состояние самих небес, а не душевного состояния созерцающих их людей, как сказано: «Нет речи и нет слов, не слышен голос их»³. Здесь совершенно ясно и недвусмысленно разъяснено, что речь идет о самих небесах, которые восхваляют Бога и возвещают о Его чудесах без речи и без языка. Воистину так, ибо тот, кто восхваляет при помощи речи, делает это, исходя из своего умозрения. Само умозрение является истинной хвалой, а словесное выражение служит лишь средством для наставления других или для того, чтобы показать свое понимание, как сказано: «Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь»⁴, и мы уже разъяснили это⁵. Таково доказательство Торы, и отрицать его может лишь невежда или упрямец.

Мнение мудрецов по этому вопросу не нуждается в разъяснении и доказательстве. Достаточно посмотреть на установленный ими распорядок благословения луны, на многочисленные молитвенные формулы и толкования на стих: «и небесные воинства Тебе поклоняются»⁶, а также на стих: «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости»⁷, и подобных примеров из слов мудрецов можно привести во множестве.

В мидраше *Берешит Рабба*⁶ толковали Его слова: «Земля же была безвидна [тоха] и пуста [боху]»⁹ так: она, земля, возмущалась [тоха] и негодовала [боха] из-за своей участи, говоря: мы с ними, то есть с небесами, сотворены одновременно, но в высших сферах есть жизнь, а в низших нет! То есть, мудрецы явно считали, что небеса являются живыми, а не неодушевленными существами, как первоэлементы. Теперь тебе ясно, что высказывание Аристотеля о том, что небесная сфера мыслит и постигает, соответствует словам наших пророков и хранителей нашего Учения, мудрецов наших, да будет память о них благословенна.

Знай, что все философы единогласно утверждают, что управление этим низшим миром совершается через влияние небесной сферы, как мы упоминали выше¹⁰, и что небесные сферы мыслят и постигают то, чем они управляют. Про это Тора тоже высказывается совершенно ясно: «так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом»¹¹, то есть Он сделал их средством управления сотворенными существами, и им, как средству, нельзя поклоняться. И для разъяснения сказано: «и управлять днем и ночью, и отделять»¹², а смысл «управления» состоит в том, чтобы руководить через влияние. Это средство является дополнительным по отношению к свету и тьме, которые являются непосредственной причиной возникновения и уничтожения, ибо именно про свет и тьму говорится в вышеупомянутом стихе: «и отделять свет от тьмы». И невозможно, чтобы тот, кто чем-то управляет, не знал того, чем он управляет, так что мы теперь знаем истинное значение понятия «управления». Подробнее мы разъясним этот предмет в другом месте.

¹ Псалом 19:2

² Человека, который созерцает небеса.

³ Пс. 19:4 (пер. М. Левинова)

⁴ Пс. 4:5

⁵ См. Путеводитель I:50

⁶ Неемия 9:6

⁷ Иов 38:7

⁸ 2:1

⁹ Быт. 1:2

¹⁰ Путеводитель I:72

¹¹ Второзаконие 4:19

¹² Быт. 1:18

Часть 2 Глава 10

Перевод С. Парижского

Всем известно из книг философов, что в связи с вопросом о порядке управления они утверждают, что низший мир, то есть наш мир возникновения и уничтожения, управляется силой влияния небесных сфер. Мы уже не раз упоминали об этом¹, да и мудрецы наши, да будет память о них благословенна, говорили²: «Нет ни одной травинки в низшем мире, у которой не было бы звезды [*мазаль*] свыше, понуждающей ее и повелевающей ей «Расти!», как сказано: «Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?»³. Словом *мазаль* они называют как созвездие, так и отдельную звезду. Это ясно видно из высказывания мудрецов в начале Берешит Рабба: «Есть звезды [*мазаль*], которые завершают свой путь за тридцать дней, а есть такие, которые за тридцать лет»⁴. Из их слов очевидно, что даже у отдельных существ есть силы небесных сфер, управляющие ими. Несмотря на то, что совокупные силы влияния небесных сфер распространяются на все мироздание в целом, существуют также силы отдельных звезд, управляющие отдельными видами существ, как это бывает с силами, управляющими единым телом. Ведь, как мы уже говорили⁵, все мироздание является единым телом.

Философы также указывают, что у луны есть дополнительная сила влияния, связанная с первоэлементом воды. Доказательством этого являются приливы в морях и реках, связанные с прибавлением луны, и отливы, связанные с убыванием луны, ведь вода поднимается с приближением луны и отступает с ее удалением, я имею в виду ее восход и заход в четвертях небесной сферы, как ясно всякому, кто исследовал этот вопрос.

Очевидно также, что луч солнца движет первоэлементом огня, ведь мы наблюдаем приток тепла с восходом солнца и усиление холода с его заходом или сокрытием. Это настолько очевидно, что не требует пространного упоминания.

Зная это, я подумал, что может быть четыре сферы небесных светил, влияя на все мироздание в целом через причинно-следственную связь, имеют еще особую связь с одним из четырех первоэлементов, так что в этой сфере сосредоточены силы влияния, направленные на этот определенный первоэлемент, и именно эта сфера своим порождающим движением вызывает движение первоэлемента: лунная сфера движет водой, солнечная сфера – огнем, а сфера подвижных звезд – воздухом. Из-за разнообразия движения подвижных звезд, их возвращений, отклонений, искривлений и задержек, формы которые принимает первоэлемент воздуха чрезвычайно многообразны: воздух быстро меняется, сжимается и распространяется. Сфера неподвижных звезд движет землей как первоэлементом. Может быть потому движения первоэлемента земли инертные, и он плохо смешивается другими элементами, что неподвижные звезды неторопливы в своем движении. Мудрецы тоже указывали, что неподвижные звезды связаны с землей, говоря, что количество видов растений соответствует числу неподвижных звезд среди остальных светил.

Итак, порядок, судя по всему, такой: четыре небесных сферы движут четырьмя первоэлементами, и сил влияния, распространяющихся от них на все мироздание тоже четыре, как мы упоминали⁶, и причин движения каждой из небесных сфер тоже четыре: форма сферы, то есть ее сферичность; душа сферы; разум, при помощи которого она формирует представления, как мы разъясняли⁷; и отделенная разумная сущность, к которой она стремится. Вдумайся в это внимательно!

Объясняется это тем, что если бы не сферическая форма, небесная сфера не могла бы совершать непрерывного кругового движения, ибо никакого другого непрерывного возвратного движения, кроме кругового, не существует. То, что движется по прямой, даже если возвращается обратно несколько раз по той же траектории, не может двигаться непрерывно, ибо между двумя фазами противоположного движения существует точка покоя, как уже было неопровержимо доказано⁸. Из этого с необходимостью следует, что единственной формой непрерывного возвратного движения по одной траектории является движение по кругу.

Способностью к самостоятельному движению обладает только одушевленная сущность. Отсюда с необходимостью следует, что небесные сферы обладают душой. Движение также с необходимостью обусловлено представлением и влечением к представляемому, как мы разъяснили⁹. А это возможно только в разуме, ибо речь не идет о простом отталкивании от противоположности или о стремлении к подобному. Соответственно, с необходимостью должна быть некоторая сущность, представление о которой вызывает стремление, как мы разъяснили¹⁰. Таковы четыре причины движения небесной сферы.

Четыре общих силы влияния, распространяющихся от них, это сила роста минералов, сила растительной души, сила животной души и сила разумной души, как мы разъяснили¹¹. Более того, если ты исследуешь действие этих сил, то обнаружишь, что они разделяются на два вида: формирование какой-либо сущности и сохранение какой-либо сущности, то есть постоянное сохранение вида и временное сохранение индивида. Именно это подразумевают, когда говорят, что природа разумна, поскольку управляет возникновением живых существ подобно искусному мастеру, а также сохраняет их и создает условия для их существования при помощи причин, то есть формирующих и питающих сил, благодаря которым их существование продолжается столько, сколько возможно. За этим стоит та самая божественная сила, от которой исходят эти два вида влияния через посредство небесной сферы. Таким образом, число четыре содержит глубокие тайны, которые надлежит исследовать. В мидраше Танхума сказано: «Сколько ступеней было на лестнице? Четыре»¹². Речь идет про стих: «Вот, лестница стоит на земле»¹³. Во многих источниках также сказано, что было четыре стана ангелов, и идея эта повторяется не раз¹⁴. Я видел в некоторых рукописях версию: «Сколько ступеней было на лестнице? Семь». Однако, во всех рукописях и во всех толкованиях говорится про то, что ангелов, которые поднимались и спускались по лестнице, было именно четыре: двое поднимались, и двое спускались¹⁵, и все четверо в какой-то момент встречались на одной из ступеней, так что поднимающиеся и спускающиеся оказывались на одном уровне. Из этого описания и из того, что сказано в пророческом видении, мудрецы сделали вывод, что ширина лестницы была равна ширине мироздания и еще одной трети, ведь ширина одного ангела в соответствии с пророческим видением равна трети мироздания, как сказано: «Тело его – как топаз»¹⁶. Получается, что четыре ангела по ширине равны одной целой и одной трети ширины мироздания. Что же касается притчей Захарии, который говорил про «четыре колесницы, которые выходят из ущелья между двумя медными горами»¹⁷, их он сам толкует так: «это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли»¹⁸, ибо они являются причиной всего возникающего.

То, что упоминается медь, как и в других стихах: «как блестящая медь»¹⁹, является намеком на некоторую многозначность. Это я еще разъясню далее²⁰. То, что они говорят в Берешит Рабба про ангела, равного по ширине трети мироздания, в этом нет ничего загадочного. Мы уже разъяснили в своем большом своде закона²¹, что все сотворенные сущности делятся на три вида: отделенные разумные сущности – ангелы; небесные сферы; и первоматерия, то есть подлунный мир возникновения и уничтожения. Именно так должен понимать тот, кто хочет постичь загадочные слова пророков, проснуться от праздного сна, не утонуть в море невежества и вознестись разумом в высшие сферы. Тот же, кому нравится тонуть в море невежества, пусть не напрягает свое тело и свои мысли. Ему достаточно перестать двигаться, и по законам природы он опустится на низшую ступень. Поэтому вдумайся во все сказанное и сделай соответствующие выводы!

¹ См. Путеводитель I:72, II:4

² Берешит Рабба 10:6

³ Иов 38:33

⁴ Берешит Рабба 10:4

⁵ См. Путеводитель I:72

⁶ См. Путеводитель I:72

⁷ См. Путеводитель II:4

⁸ См. Путеводитель II:4

⁹ См. Путеводитель II:4

¹⁰ См. Путеводитель II:4

¹¹ См. Путеводитель I:72

¹² См. Ялкуп Реувени, раздел «Ангел», параграф 99

¹³ Бытие 28:12

¹⁴ См. например, Пиркей де-рабби Элиезер 4:12, Бемидбар Рабба 2:10

¹⁵ См. Вавилонский Талмуд, трактат Хуллин 91б

¹⁶ Даниил 10:6, см. Берешит Рабба 68:12

¹⁷ Захария 6:1

¹⁸ Захария 6:5

¹⁹ Иезекииль 1:7, Даниил 10:6

²⁰ См. Путеводитель II:29, 43

²¹ См. Мишне Тора, книга «Знание», Законы об основах Торы, 2:3

Часть 2

Глава 13

Перевод С. Парижского

Среди тех, кто верит в существование Бога, есть три воззрения относительно предвечности мира или его сотворенности.

Первого воззрения придерживаются все те, кто верят в Учение Моисея, учителя нашего, мир ему, и оно гласит, что весь мир, то есть все существующее, кроме Бога, да будет Он превознесен, вызвано к существованию Богом, да будет Он превознесен, из совершенного и абсолютного небытия, и что Бог, да будет Он превознесен, до этого существовал сам, и не было кроме Него ничего, ни ангелов, ни небесных сфер, ни чего бы то ни было из существующего в подлунном мире, а затем Он вызвал к существованию всё сущее в его нынешнем виде, по Своей воле и желанию, не из чего бы то ни было, и даже само время было в числе сотворенных сущностей, ведь время обусловлено движением, которое является акциденцией движущейся сущности, и такая сущность, движением которой обусловлено время, тоже не существовала предвечно, а возникла из небытия.

Когда говорят «Бог существовал до сотворения мира», то слово «существовал» относится ко времени, и возникает представление о том, что Его существование до сотворения мира было бесконечным, однако все это лишь условное подобие времени, а не время в его подлинной сущности, ибо время без сомнения является акцидентальным свойством, которое, по нашим воззрениям, принадлежит к числу сотворенных сущностей, так же как черное и белое, хотя оно и не принадлежит к категории качества, а целиком и полностью является акцидентальным свойством движения, как ясно всякому, кто понимает слова Аристотеля, разъясняющие вопрос о времени и сущем как таковом¹.

Мы же теперь разясним один вопрос, который, хоть и не относится непосредственно к теме этой главы, но полезен для ее рассмотрения. Это вопрос о природе времени, которой ставил в затруднение многих ученых, например Галена и других, и они не могли решить, является ли время самостоятельной сущностью или же оно – акцидентальное свойство среди других. Акцидентальные свойства первого порядка, такие как цвет и вкус, являются очевидными и воспринимаются непосредственно. Те же акцидентальные свойства, основой которых являются другие акцидентальные свойства, как, например, блеск по отношению к цвету или кривизна или округлость по отношению к линии, гораздо сложнее понять, в особенности когда основное акцидентальное свойство не устойчиво, а постоянно изменяется. В этом случае постичь его еще сложнее. Время же по своей природе включает и то, и другое, являясь акцидентальным свойством, производным от движения, а движение – это акцидентальное свойство движущейся сущности, и при этом движение не похоже на черное и белое, являющиеся устойчивыми акцидентальными свойствами, а наоборот – вся его сущность связана с невозможностью удержать его даже на мгновение ока. Из-за этого время с необходимостью является трудно постигаемым.

В соответствии с нашими воззрениями, время является сотворенной и созданной сущностью, подобно всем остальным акцидентальным свойствам и сущностям, к которым эти свойства относятся. Поэтому вызывание Богом мира к существованию не является временным началом, ведь время само относится к сотворенным сущностям. Вдумайся внимательно в этот вопрос, чтобы не сбили тебя с толку контраргументы, убеждающие того, кто этого не знает. Ведь как только ты принимаешь существование времени до сотворения мира, ты с необходимостью приходишь к представлению о предвечности. Ведь время – это акцидентальное свойство, которое должно к чему-то относиться. Из этого следует, что нечто должно было существовать до возникновения этого мира. Из этого тупика необходимо выбраться.

Это одно из трех воззрений, без сомнения являющееся основой Учения Моисея, учителя нашего, мир ему. Важнее его по значению лишь принцип единобожия. Да не придет тебе в голову ничего другого. Праотец наш Авраам начал свой путь с проповеди этого воззрения, к которому он пришел при помощи умозрения, и потому стал «призывать имя Господа, Бога вечного»², и наиболее очевидным образом выразил это в словах: «Владыке неба и земли»³.

Второго воззрения придерживаются все известные нам философы. Они утверждают, что невозможно помыслить, чтобы Бог вызвал к существованию нечто из ничего. По их утверждению абсолютное уничтожение и исчезновение тоже невозможно. Другими словами, невозможно, чтобы какая-либо вещь, составленная из формы и материи, возникла из полного отсутствия той самой материи или уничтожилась до полного исчезновения той самой материи. По их мнению приписывать Богу такое действие – это все равно, что приписывать ему возможность соединения противоположностей или возможность сотворить подобного Себе, да будет Он превознесен, или превратить Себя в тело, или сотворить квадрат, диагональ которого равна его стороне, или тому подобные логически противоречивые вещи.

Из их высказываний можно сделать следующий вывод: точно так же, как невозможность вызвать к существованию логически противоречивые сущности не умаляет Его всемогущества, ведь логическая невозможность неизменна, существует сама по себе и не зависит от деятеля, точно так же невозможность вызвать к существованию нечто из ничего не умаляет Его всемогущества, ибо это частный случай логического противоречия. Поэтому они полагают, что существует некая предвечная материя, так же как предвечен Бог, и Бог не существовал без нее, и она не существовала без Бога. При этом они не считают, что материя находится на том же уровне бытия, что и Бог, да будет Он превознесен. Бог является причиной существования материи. Материя для Бога – это как, скажем, глина для горшечника или железо для кузнеца. Он создает из материи все, что пожелает. В какой-то момент Он может создать из нее небо и землю, а в какой-то момент – что-то другое. Сторонники этого воззрения полагают, что и небо подвержено возникновению и уничтожению, только оно не возникает из ничего и не уничтожается до полного исчезновения, а подобно тому, как части животных возникают из существующей материи и разлагаются до существующей материи, так же и небо возникает и уничтожается. Их возникновение и уничтожение ничем не отличается от того, что происходит со всеми остальными сущностями под небесами.

Сторонники этого воззрения делятся на разные направления, которые нет пользы упоминать в этой книге. Общий принцип, на котором зиждутся их воззрения, я тебе разъяснил. Такого же воззрения придерживался и Платон. Ты увидишь, что Аристотель в «Физике» говорит, что Платон считает, что небо подвержено возникновению и уничтожению⁴, а также сможешь найти подробное изложение его воззрений в «Тимее»⁵. Однако, его воззрения не совпадают с нашими, как мог бы подумать тот, кто серьезно не разбирается в философских науках. Мы полагаем, что небо возникло из ничего после полного небытия, а он полагает, что оно было вызвано к существованию и возникло из чего-то. Таково второе воззрение.

Третье воззрение принадлежит Аристотелю, его последователям и комментаторам. Аристотель согласен со сторонниками вышеупомянутого воззрения, что ничего материальное не может ни в коем случае возникнуть из чего-то нематериального. При этом, он утверждает, что к небу законы возникновения и уничтожения не относятся. Если кратко изложить его воззрение, то оно таково: он утверждает, что весь этот мир, как он есть, всегда был и всегда будет; и что неизменная сущность, не подверженная возникновению и уничтожению, то есть небо, всегда останется такой. Время и движения являются вечными и постоянными, не подверженными возникновению и уничтожению. То, что подвержено возникновению и уничтожению, находится под лунной сферой, и так будет всегда. То есть первоматерия сама по себе не возникает и не уничтожается, а принимает разные формы, одну за другой. Одна форма уходит, другая приходит. Весь этот порядок мироздания, что внизу, что наверху, незыблем и непреходящ, и ничего принципиально нового, выходящего за рамки природы и нарушающего ее законы, в нем возникнуть не может. Несмотря на то, что он не говорил такими словами, из его воззрений можно сделать вывод, что невозможно, чтобы желание Бога или Его воля претерпели изменение; и что все мироздание Бог вызвал к существованию по Своей воле, но не путем творения из ничего. Ведь точно так же, как невозможно помыслить отсутствие или изменение природы Бога, невозможно, согласно Аристотелю, помыслить изменение воли Бога или появление у Него желания. Из этого следует, что все существующее, как оно есть, всегда было таким, и останется таким навечно.

Таково краткое изложение подлинного содержания воззрений тех, кто принимает в качестве неопровержимого доказательства то, что Бог вызвал мир к существованию.

Что же касается тех, кто не признает существования Бога, да будет Он превознесен, и полагает, что сущности возникают и уничтожаются путем случайного соединения и распада, и что в мире нет того, кто его упорядочивает и направляет, то это Эпикур и его школа, и подобные им, как описано у Александра⁶, и нам нет пользы их упоминать, ведь существование Бога уже неопровержимо доказано⁷. Нет никакой пользы излагать воззрения людей, если противоположный им принцип неопровержимо доказан. Точно так же нет никакой пользы излагать аргументацию сторонников второго воззрения в пользу возникновения и уничтожения неба, ведь они придерживаются воззрения о предвечности мира, и с нашей точки зрения нет разницы между тем, кто полагает, что небо с необходимостью возникает из чего-то и уничтожается, превращаясь во что-то, и Аристотелем, который полагает, что оно не подвержено возникновению и уничтожению, ведь цель всякого, следующего Учению Моисея и праотца нашего Авраама, состоит в том, чтобы провозглашать, что нет ничего, предшествующего Богу, и что для Бога творение мира из ничего не является невозможным. Более того, некоторые ученые считают, что оно является необходимым.

После изложения этих воззрений, я начну разъяснять аргументацию Аристотеля, касающуюся его воззрения.

¹ См. Аристотель, Физика, IV, 2, 219b, 1-13

² Бытие 21:33

³ Быт. 14:22

⁴ Аристотель, Физика, VIII, 1, 251b, 17-19

⁵ См. Платон, «Тимей», 28, 38

⁶ Афродисийского

⁷ См. Путеводитель II:1

Часть 2 Глава 30

Перевод С. Парижского

Знай, что существует различие между «первым» и «началом», ибо начало заключено в том, чему оно служит началом, или сопутствует ему, но не обязательно предшествует ему по времени, подобно тому, как говорят, что сердце – это начало живого существа. И первоэлемент является началом того, что из него состоит. Некоторые употребляют применительно к этому слово «первый», но «первый» может означать предшествующий по времени, при этом не обязательно являющийся причиной последующего, как например в высказывании: «Первым, кто жил в этом доме, был такой-то, а после него в нем жил такой-то», и никому не придет в голову сказать, что один был началом другого. В нашем языке понятие «первый» выражает слово *т^ехилла*: «Начало [*т^ехиллат*] слова Господня к Осии»¹, а понятие «начала» передается словом *решит*, образованным от «головой» (*рош*), которая является началом живого существа, исходя из своего места в нем. Мир не был создан «в начале» во временном смысле, как мы уже разъяснили², ибо время является сотворенной сущностью. Поэтому в высказывании «*б^е-решит*» («в начале»)³ предлог *б^е* имеет инструментальное значение, и правильный перевод этого стиха такой: «Посредством начала сотворил Бог то, что наверху, и то, что внизу». Это объяснение соответствует гипотезе о сотворенности мира.

То, что некоторые мудрецы говорят о времени до сотворения мира, очень сложно объяснить, ибо таково мнение Аристотеля, которое я разъяснил тебе ранее⁴. Он полагает, что начало [«первое»] времени помыслить невозможно, и это его мнение предосудительно. Тех, кто так думает, ввели в заблуждение выражения «день один»⁵, «день второй»⁶, которые они поняли буквально и стали рассуждать: если не было еще небесных сфер и солнца, при помощи чего был измерен первый день? Поэтому сказал рабби Йехуда бен рабби Симон: «Из этого следует, что был порядок времен, предшествующий нашему». Сказал рабби Аббаху: «Из этого следует, что Святой, благословен Он, творил миры и уничтожал их»⁷. Это мнение еще предосудительнее первого.

Ты же вдумайся в то, что заставило их обоих прибегнуть к таким объяснениям, а именно – наличие времени до появления нашего солнца. Далее я дам тебе разъяснение этого трудного вопроса. Впрочем, эти двое мудрецов могли полагать, что отсутствие порядка времен в принципе невозможно, но тогда получается гипотеза о предвечности мира, от которой люди Торы должны держаться подальше. Я считаю, что их высказывания подобны высказыванию рабби Элиезера: «Небеса – из чего были созданы?»⁸ Одним словом, не обращай внимания на подобные высказывания, ведь я уже разъяснил тебе⁹, что основополагающим принципом Торы является то, что Всевышний сотворил мир не из чего-то, не в какой-то момент времени, а наоборот, время было сотворено, ибо оно является следствием движения небесной сферы, а небесная сфера была сотворена.

Еще тебе следует знать, что мудрецы неоднократно утверждали¹⁰, что слово *эт* в выражении «...небо [*эт ха-шамаим*] и землю [*эт ха-арец*]»¹¹ означает «вместе с», имея в виду, что Он вместе с небесами сотворил все, что в них, а вместе с землей – все, что на ней. Тебе также известно их разъяснение того, что небо и земля были созданы одновременно¹², ведь сказано: «[Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса:] призову их, и они предстанут вместе»¹³. Отсюда следует, что все было сотворено единовременно, а затем сущности стали отделяться одна от другой, так что уподобили это земледельцу, разом бросившему в землю множество различных семян – часть из них взошла через день, часть через два, часть через три, хотя засеяли их всех одновременно. Это, несомненно правильное, рассуждение снимает затруднение, приведшее рабби Йехуду бен рабби Симона к его утверждению про невозможность измерить первый, второй и третий дни. Мудрецы наши, блаженной памяти, прямо говорили в Берешит Рабба про то, что свет, упомянутый в Торе, был сотворен в первый день. А еще они говорили так: «Это те самые светила,

которые были сотворены в первый день, а подвешены только в четвертый»¹⁴. Таким образом, их высказывания по этому вопросу совершенно ясны.

Тебе также следует знать, что «земля» (*эреци*) – это многозначное слово, которое может относиться как к общему, так и к частному. В общем значении речь идет про все, что находится в подлунном мире, то есть – про четыре первоэлемента. А в частном значении имеется в виду один, последний из них, называемый «земля» (*адама*). Лучшим доказательством этого является стих: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух Божий»¹⁵, то есть все они тут названы «землей».

После же этого сказано: «И назвал Бог сушу землею»¹⁶. В этом содержится одна из великих тайн, ибо каждый раз, когда тебе встречается выражение «И назвал Бог то-то так-то и так-то», оно призвано отделить эту сущность от чего-то другого, с чем ты мог бы ее смешать в силу общего многозначного имени. Поэтому я растолковал тебе этот стих: «Посредством начала сотворил Бог то, что наверху, и то, что внизу». То есть «земля», про которую речь идет в начале – это «все, что внизу», то есть четыре первоэлемента, а позднее, когда сказано «И назвал Бог сушу землею», речь идет уже только про саму землю как первоэлемент. Итак, это мы разъяснили.

Теперь тебе следует знать, что все четыре первоэлемента, к которым отсылает первое слово «земля», упомянуты после «небес», ведь далее говорится про «землю», «дух» и «тьму», а «тьма» – это первоэлемент огня. И не следует думать никак иначе! Сказано: «И ты слышал слова Его из среды огня»¹⁷, а еще сказано: «И когда вы услышали глас из среды мрака»¹⁸, и еще: «Все мрачное сокрыто внутри его; будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый»¹⁹. Первоэлемент огня называется этим словом не потому, что он светоносный, а потому, что он прозрачный. Если бы он был светоносным, мы бы по ночам видели все мироздание в лучах света.

Первоэлементы упомянуты в своем природном порядке: земля, над ней вода, воздух прилегает к воде, а огонь над воздухом. Поскольку сказано, что воздух был над водой, тьма, которая над бездною, несомненно расположена выше воздуха, а то, что воздух назван «духом Божиим» связано с тем, что надо было показать его движение, то есть то, что он «носился», а движение воздуха всегда приписывается Богу: «И поднялся ветер от Господа»²⁰, «Ты дунул духом Твоим»²¹, «И воздвигнул Господь западный ветер»²², и таких мест множество. Точно так же, первое упоминание «тьмы»²³ относится к первоэлементу, а второе упоминание²⁴ – к мраку, и для того, чтобы их различить говорится, как мы и разъяснили: «А тьму – ночью»²⁵. Теперь это разъяснено.

Ты также должен знать, что сказанное «и отделил воду, которая под твердь, от воды, которая над твердь»²⁶ не относится к разделению в пространстве, как будто одна вода оказывается выше, а другая ниже, будучи одной природы. На самом деле надо понимать так, что Он разделил между ними по их сущности, то есть форме, назвав сначала «водой» одну природную форму, а затем произвел другую форму, которая и есть та вода, которую мы знаем. Поэтому понадобилось сказать: «а собрание вод назвал морями»²⁷, ведь первый раз вода упоминается в стихе про «дух над водою»²⁸, и очевидно, что она была в морях, но часть ее была выделена в особой природной форме над воздухом, а оставшаяся часть стала той водой, которую мы знаем. Поэтому высказывание «и отделил воду, которая под твердь, от воды, которая над твердь»²⁹ равносильно высказыванию «и отделил Бог свет от тьмы»³⁰, поскольку речь идет о разделении природных форм.

Сама небесная твердь была образована из воды, как сказали мудрецы: «сгустилась средняя капля»³¹, и потому сказано: «И назвал Бог твердь небом»³², чтобы разъяснить, как я уже говорил, многозначность слова «небо», потому что первое упоминание неба в «небо и землю»³³ не относится к тому небу, которое Бог потом назвал «небом»³⁴. И еще больше это различие было подчеркнуто в словах «по тверди небесной»³⁵, чтобы разъяснить, что «небесная твердь» и «небо» – это не одно и то же. Из-за этой многозначности иногда случается, что истинное небо иногда называется «твердь», а истинная твердь – «небом», поэтому в стихе «И поставил их Бог на тверди небесной»³⁶ подтверждается то, что и так выводилось при помощи умозаключений, а именно – что все звезды и солнце с луной закреплены на небесном своде, ибо в мире не бывает пустоты, но не на поверхности свода, как представляют себе простолюдины, ведь сказано «в [б^е] тверди небесной», а не «на [аль] тверди небесной».

Выясняется, что изначально была некая общая материя, которая называлась «вода», а затем она разделилась на три формы: одна часть стала морями, другая – твердь, а еще одна часть оказалась над твердь, совсем за земными пределами. Писание здесь касается глубоких тайн. То, что находится над твердь, называется «водой» только по имени, и не имеет ничего общего с природой воды, как говорили наши мудрецы, блаженной памяти: «Четверо вошли в сад...сказал им рабби Акива: когда вы дойдете до плит чистого мрамора, не говорите «вода, вода», ибо написано: «Говорящий ложь не останется перед глазами моими»^{37,38}. Задумайся над этим и извлеки для себя урок, если ты способен извлекать уроки: насколько это высказывание раскрывает и разъясняет все, к чему ты можешь прийти при помощи умозаключений, изучая «Метеорологику».

Еще следует тебе уразуметь, почему во второй день не сказано «он хорош». Высказывания мудрецов, блаженной памяти, на этот счет, отклоняющиеся от простого смысла, тебе известны, особенно это: «Потому что не было завершено создание воды»³⁹. Для меня же смысл этого совершенно ясен: всякий раз, когда упоминается какая-нибудь часть творения, которая постоянна, устойчива и продолжительна, говорится «хорошо». В случае с твердью, и особенно с тем, что выше нее и называется «вода», все очень таинственно, как ты уже понял. Ведь если рассматривать этот предмет поверхностно и буквально, то получится, что его как бы вообще не существует, ведь между нами и нижними небесными сферами нет ничего, кроме четырех первоэлементов, и выше воздуха не может быть воды. Кроме того, если представить, что эта твердь и то, что над ней, находятся выше небесных сфер, все становится еще более непостижимым. Однако, если понять этот вопрос на глубоком сокрытом уровне, его следует держать в тайне от простолюдинов. Тогда как можно про такое сказать «хорошо», ведь смысл «хорошо» в том, что благо и польза от сотворения и существования этого всем очевидны. А нечто, смысл чего потаен, и что по простому смыслу не существует, какое благо и пользу может принести людям, чтобы сказать про него «хорошо»? Я вынужден дать тебе дополнительное разъяснение, что, несмотря на то, что это большая часть сотворенного, оно не является целью творения, про которую можно было бы сказать «хорошо», а его существование необходимо лишь как средство для того, чтобы раскрылась земля. Вдумайся в это!

Еще тебе следует уразуметь то, что разъяснили мудрецы про траву и деревья, которые произрастил Бог из земли. Произрастил он их после того, как пролил на землю дождь, и сказанное: «но пар поднимался с земли»⁴⁰ описывает состояние, предшествовавшее словам «да произрастит земля зелень»⁴¹. Поэтому Онкелос перевел: «облако поднималось с земли». Он основывался на понимании стиха «и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле»⁴². С этим все ясно.

Известно тебе, ищущий знания, что первые из причин возникновения и уничтожения, после силы небесных сфер, это свет и тьма, в силу холода и тепла, зависящих от них. Из-за движения сфер первоэлементы перемешиваются, а из-за влияния света и тьмы меняется характер смеси. В результате первичного смешивания образуются два пара, определяющих в первую очередь все метеорологические явления, в том числе дождь. Эти два пара определяют также возникновение минералов, растений и животных. Последняя стадия смешивания приводит к возникновению человека. Тьма является основой существования всего низшего мира, а свет появляется выше нее. При отсутствии света состояние мира остается прежним, и Писание описывает сотворение мира в точности таким образом, не убавляя ничего.

Тебе следует уяснить высказывание мудрецов: «Все, что возникло при сотворении мира, появилось в своей полной стати и при своем полном разуме и характере [*цивьон*]»⁴³. Это значит, что все сотворенное появилось в своем совершенном количестве, совершенной форме и в наилучших акцидентальных проявлениях. Слово *цивьон* является производным от *циви* в том же значении, что в «красе [*циви*] всех земель»⁴⁴. Усвой и уясни это, ибо это важный основополагающий принцип.

Тебе очень важно уяснить, почему сотворение человека упомянуто в описании шести дней творения следующим образом: «мужчину и женщину сотворил их»⁴⁵. Вся история сотворения мира завершается словами: «Так совершены небо и земля и все воинство их»⁴⁶. После этого начинается новый рассказ о сотворении Евы из ребра Адама, в котором упоминается древо жизни, древо познания добра и зла, змей и все остальное, а также говорится о том, что все это произошло после того, как Адам был помещен в сад Эдемский. Все мудрецы, блаженной памяти, согласны, что все это произошло в шестой день⁴⁷ творения, и что после шести дней творения ничего уже не менялось. Это недалеко от того, что мы сказали про то, что определенного момента природа находилась в процессе становления. Я тебе еще приведу их высказывания в соответствующих местах, и разъясню некоторые вещи так, как они разъясняли. Знай, что все приводимые мной слова мудрецов полны совершенства, и смысл их глубок, но доступен для того, кто имеет указание. Поэтому я не буду долго и обстоятельно толковать их, чтобы не раскрывать тайн, а буду лишь упоминать в определенном порядке и с краткими намеками, достаточными для таких, как ты.

Например, приведу их слова о том, что Адам и Ева были сотворены одновременно, соединенные спинами, а затем разделены, так что одна половина стала Евой и предстала перед Адамом лицом к лицу, а то, что сказано «одно из ребер его»⁴⁸, имеется в виду «одна из сторон его». В доказательство приводили стих про «ребро скинии»⁴⁹, которое на арамейский переводится как «сторона», и мудрецы сказали тем же словом «из сторон его»⁵⁰.

А еще разъясняли то, что они были в каком-то отношении двумя существами, а в каком-то одним, ведь сказано: «кость от костей моих, и плоть от плоти моей»⁵¹, и усиливается это тем, что имя у них было общим: «она будет называться женой [*иша*], ибо взята от мужа [*иш*]»⁵², а также тем, что «прилепится к жене своей, и будут одна плоть»⁵³. Как велико невежество того, кто не понимает, что все это сказано с необходимостью и по существу. Итак, это ясно.

Еще к толкованиям мудрецов, которые ты должен для себя уяснить, относятся их слова про то, что змей был ездовым животным размером с верблюда, и именно его наездник соблазнил Еву, а наездником

был Самаэль⁵⁴. Этим именем они называют Сатану. В нескольких местах они говорят о том, что Сатана хотел сбить с толку праотца нашего Авраама и помешать ему принести в жертву Исаака, также сбить с толку Исаака, чтобы тот не подчинился своему отцу. В связи с жертвоприношением Авраама говорят мудрецы: «Пришел Самаэль к праотцу нашему Аврааму и сказал: ты что, дед, лишился разума? Сына, которого даровали тебе на сотом году жизни, ты хочешь зарезать?». Итак, ты понял, что Самаэль – это Сатана. Это имя тоже не случайно, как и само слово «змей». Вот как они описывали соблазнение Евы: «На нем ехал Самаэль, а Святой, благословен Он, посмеивался над верблюдом и его наездником»⁵⁵.

Ты также должен понять и уяснить, что змей не обращался к Адаму напрямую, и не разговаривал с ним. Непосредственный разговор он вел с Евой, а Адам пострадал через Еву, и именно таким образом змей привел его к гибели. Вечная вражда существует лишь между змеем и Евой и их потомками⁵⁶. Несомненно, ее потомство – это и потомство Адама. Удивительна, тем не менее, эта связь змея с Евой, потомство с потомством, голова с пятою, то, что она поражает его в голову, а он ее в пяту⁵⁷. Итак, это тоже ясно.

Среди странных высказываний мудрецов есть такие, простой смысл которых кажется непристойным, но стоит тебе по-настоящему усвоить главы этого трактата, тебе откроется истинная мудрость этой притчи и ее связь с реальностью: «Когда змей овладел Евой, внедрил в нее нечистоту. Когда Израиль стоял перед горой Синай, ушла его нечистота. Нечистота народов, которые не стояли перед горой Синай, осталась»⁵⁸. Вдумайся хорошо также и в то, что они сказали: «Древо жизни – пятьсот лет ходу, и все воды творения текут из-под него»⁵⁹. И пояснили, что речь идет о толщине ствола, а не о размахе ветвей: «не концы ветвей, а ствол пятьсот лет ходу»⁶⁰. То есть речь идет о толщине ствола, стоящего вертикально, и это пояснение тоже имеет свой смысл. Итак, это ясно.

Еще ты должен уяснить их высказывание о том, что Святой, благословен Он, не показал Адаму древо познания, и не покажет⁶¹. И это верно, ибо такова необходимая природа вещей.

Еще ты должен понимать, что сказанное «и взял Господь Бог человека»⁶² означает – стал для него причиной. «И поселил его [вайанихеу]»⁶³ – оставил его в покое [хиниах ло]. Мудрецы не толковали этот стих как перемещение из одного места в другое, а понимали его как возвышение человека над всеми смертными тварями и наделение его особым положением.

Еще ты должен понять и усвоить мудрость, содержащуюся в том, что двое сыновей Адама получили имена Каин и Авель, и что Каин убил Авеля в поле⁶⁴, и что оба они сгинули, только одному дали отсрочку, и что мир был предназначен для Сифа, «Сиф, потому что Бог положил мне другое семя»⁶⁵, и все это верно.

Еще ты должен понять и уяснить, что «И нарек человек имена...»⁶⁶ указывает на то, что языки возникли по соглашению, а не являются естественными, как некоторые думали.

Еще тебе надо уяснить четыре выражения, описывающих отношения Бога с небом: «сотворил [бара]», «создал [аса]», «приобрел [кана]» и «Бог [эль]». Сказано: «Сотворил [бара] Бог небо и землю»⁶⁷; «когда Господь Бог создал [аса] землю и небо»⁶⁸; «Владыки [конэ] неба и земли»⁶⁹; «Бога [эль] вечного»⁷⁰; «Богом неба и Богом земли»⁷¹; Сказанное: «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил»⁷²; «Моя десница распростирает небеса»⁷³; «простираешь небеса»⁷⁴ – все входит в категорию «создал [аса]». Слово «образование [йецира]» не используется, потому что, как мне кажется, оно относится исключительно к приданию внешней формы, контура или других случайных признаков, потому что внешняя форма и контур – это тоже случайные признаки, и поэтому сказано: «образую [йоцер] свет»⁷⁵, ведь свет – это акцидент, и «образую горы»⁷⁶ – формирую их; и в этом же смысле: «И создал [вайицер] Господь Бог человека»⁷⁷. Про сотворение чего-то, имеющего отношение к мирозданию в целом говорится «сотворил [бара]», ведь мироздание в целом возникает с нашей точки зрения из небытия. «Создал [аса]» говорится про родовые формы, и про них же говорится «приобрел [кана]», потому что Он властвует над ними как господин над своими рабами, и потому Он зовется «Господь всей земли»⁷⁸ и просто «Господь»⁷⁹. Поскольку не бывает владыки без владений, возникает гипотеза о предвечности некоей материи, для опровержения которой и используются выражения «сотворил [бара]» и «создал [аса]». Что же касается выражений «Бог неба» и «Бог вечный [олам⁸⁰]», то они связаны с Его совершенством как владыки, которому подчиняются небо и все мироздание, не в аспекте управления, иначе было бы использование слово «приобрел [кана]», а в аспекте занимаемого ими места в мироздании, то есть Он – Бог, а не небеса.

Эти поучения, вместе с предшествующими и последующими, достаточны для моего замысла.

¹ Осия 1:2

² Путеводитель II:13

³ Бытие 1:1

⁴ Путеводитель II:13

⁵ Быт. 1:5

⁶ Быт. 1:8

- ⁷ См. Берешит Рабба 3:7
⁸ См. Путеводитель II:26
⁹ См. Путеводитель II:13
¹⁰ См. Берешит Рабба 1:14
¹¹ Быт. 1:1
¹² См. Вавилонский Талмуд, трактат Хагига 12а
¹³ Исаия 48:13
¹⁴ Вавилонский Талмуд, трактат Хагига 12а
¹⁵ Быт. 1:2
¹⁶ Быт. 1:10
¹⁷ Второзаконие 4:36
¹⁸ Втор.5:20(23)
¹⁹ Иов 20:26
²⁰ Числа 11:31
²¹ Исход 15:10
²² Исх. 10:19
²³ Быт. 1:2
²⁴ Быт. 1:4
²⁵ Быт. 1:5
²⁶ Быт. 1:7
²⁷ Быт. 1:10
²⁸ Быт. 1:2
²⁹ Быт. 1:7
³⁰ Быт. 1:4
³¹ Берешит Рабба 4:2
³² Быт. 1:8
³³ Быт. 1:1
³⁴ Быт. 1:8
³⁵ Быт. 1:20
³⁶ Быт. 1:17
³⁷ Псалом 101:7
³⁸ Вавилонский Талмуд, трактат Хагига 14б
³⁹ Берешит Рабба 4:6-7
⁴⁰ Быт. 2:6
⁴¹ Быт. 1:11
⁴² Быт. 2:5
⁴³ Вавилонский Талмуд, трактат Рош ха-Шана 11а
⁴⁴ Иезекииль 20:6
⁴⁵ Быт. 1:27
⁴⁶ Быт. 2:1
⁴⁷ См. например Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара 8а
⁴⁸ Быт. 2:21
⁴⁹ Исх. 26:20
⁵⁰ Берешит Рабба 17:6
⁵¹ Быт. 2:23
⁵² Быт. 2:23
⁵³ Быт. 2:24
⁵⁴ См. Пиркей де-рабби Элиезер, гл. 13
⁵⁵ Там же
⁵⁶ См. Быт. 3:15
⁵⁷ См. там же
⁵⁸ Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат 145б
⁵⁹ Берешит Рабба 15:6
⁶⁰ Там же
⁶¹ Берешит Рабба 15:7
⁶² Быт. 2:15
⁶³ Там же
⁶⁴ Быт. 4:8
⁶⁵ Быт. 4:25
⁶⁶ Быт. 2:20
⁶⁷ Быт. 1:1
...

⁶⁸ Быт. 2:4

⁶⁹ Быт. 14:19

⁷⁰ Быт. 21:33

⁷¹ Быт. 24:3

⁷² Пс. 8:4

⁷³ Исаия 48:13

⁷⁴ Пс. 104:2

⁷⁵ Исаия 45:3

⁷⁶ Амос 4:13

⁷⁷ Быт. 2:7

⁷⁸ Иисус Навин 3:11

⁷⁹ Исход 23:17

⁸⁰ Слово *олам* может также означать «мироздание», и Маймонида имеет в виду это значение.

Часть 3

Глава 13

Перевод С. Парижского

Иногда самые совершенные умы впадают в растерянность, сталкиваясь с вопросом о цели мироздания. Я разъясню тебе, что растерянность эту можно разрешить в соответствии со всеми существующими подходами. Я утверждаю, что всякий деятель действует целенаправленно, так что необходимым образом существует цель, ради которой он совершил действие. Это самоочевидно и не требует доказательства при помощи философской аргументации. Также очевидно, что нечто, созданное с определенной целью, возникло после того, как ранее не существовало. Для всех также очевидно, что нечто существующее по необходимости, то есть нечто, что не может отсутствовать в мире ни в какой из моментов времени, не нуждается в деятеле. Мы это уже разъясняли¹. А поскольку нечто, существующее по необходимости, не создается деятелем, по отношению к нему не существует целеполагания. Поэтому нельзя спросить: «В чем цель существования Творца (да будет Он превознесен)?», поскольку Он не является сотворенной сущностью.

Исходя из этих предпосылок, ясно, что искать цель можно только в отношении сотворенных сущностей, созданных разумным существом, обладающим рациональными принципами. В таком случае необходимо задаться вопросом о целевой причине. А в случае несотворенных сущностей речь о цели идти не может, как мы уже выяснили.

После этого предисловия, ты понимаешь, что не имеет смысла искать цели всего мироздания, независимо от того, придерживаемся ли мы гипотезы о сотворенности мира, или, как Аристотель, считаем, что мир предвечен. Исходя из его представления о предвечности мира не имеет смысла искать цели даже у отдельных частей мироздания. По его мнению, нельзя спросить: «В чем цель существования небесных сфер?», «Для чего они имеют такие размеры и такое число?», «Для чего материя имеет такие свойства?», «Для чего существует тот или иной вид животных или растений?», ведь он исходит из того, что все существует в силу вечной необходимости, всегда было и всегда будет. Несмотря на то, что физика изучает цель физических предметов, речь не идет об их конечной цели, о которой мы рассуждаем в этой главе. Но в рамках физики очевидно, что у каждой вещи в природе должна быть какая-то цель. Эта целевая причина, самая совершенная из всех четырех причин, сокрыта в большинстве видов. И сам Аристотель не раз повторял, что «природа ничего не создает напрасно»², то есть у всего, что совершается в природе, с необходимостью должна быть какая-то цель. Аристотель прямо говорил, что растения созданы ради животных³. Он также утверждал, что одни сущности существуют ради других, особенно части животных.

Знай, что наличие такой цели у природных сущностей с необходимостью привело философов к основанию, выходящему за рамки природы, а именно к тому, что Аристотель называет «умом» или «богом»⁴. Именно он действует на все, что существует ради чего-то другого. И знай, что для всякого, обладающего честным разумом, одно из самых сильных доказательств сотворенности мира заключается именно в том, что у любой природной сущности с необходимостью есть какая-либо цель, и что существование одних сущностей ради других с необходимостью указывает на целеполагание, а помыслить целеполагание в отношении несотворенных сущностей невозможно.

Но вернемся к теме нашей главы, а именно к вопросу о цели, и скажем: Аристотель разъяснил, что в природных сущностях движущее, форма и цель совпадают, то есть одинаковы по виду⁵, ибо форма Шимона создает частную форму его сына Немуэля через то, что придает свою видовую форму материи Немуэля, а

цель Немуэля в том, чтобы обрести форму человека. Таким образом, по мнению Аристотеля, у всех частных представителей природных видов, нуждающихся в деторождении, три причины совпадают по виду. Это все относится к ближайшей цели. Что же касается конечной цели каждого вида, то всякий, рассуждающий о природных вещах, утверждает, что она необходима, но постичь ее очень трудно, и тем более это относится к конечной цели всего мироздания. Из слов Аристотеля можно сделать вывод, что он считал конечной целью всех природных видов постоянство возникновения и уничтожения, являющееся необходимым, так что становление материи всегда должно продолжаться, несмотря на то, что частные сущности не могут продолжать вечное существование и существуют лишь до тех пор, пока из них не возникнет максимум того, что может возникнуть, то есть пока их материальное существование не раскроется в максимально возможном совершенстве. Ведь конечная цель состоит в достижении совершенства. Он разъяснил также, что наиболее совершенная из возможных материальных сущностей – это человек, который является последней и самой совершенной стадией развития сущностей, составленных из первоэлементов. Поэтому, если мы скажем, что всё в подлунном мире существует ради него, это будет истиной с этой точки зрения, то есть с точки зрения того, что все, что подвержено изменению, движется к достижению максимально возможного совершенства. У Аристотеля не может возникнуть вопроса о конечной цели человека, поскольку в силу своей гипотезы о предвечности мира, он считает ближайшей целью всего сотворенного достижение совершенной видовой формы. Поэтому всякая сущность, действия которой являются совершенными, с необходимостью вытекая из видовой формы, полностью и совершенным образом достигает своей цели. Конечной же целью вида является увековечивание этой формы в возникновении и уничтожении, так чтобы не прекращалось возникновение, стремящееся к достижению максимального совершенства. И ясно, что гипотеза о предвечности мира не согласуется с вопросом о конечной цели всего мироздания.

Что же касается нашей гипотезы о сотворенности мира из небытия, кажется, что вопрос о цели всего мироздания применительно к ней оправдан. Может возникнуть предположение, что целью существования всего мироздания является существование человеческого рода, который может служить Богу, и все, что делается, делается ради него, так что даже небесные сферы вращаются ему на пользу, дабы произвести необходимые ему сущности. Некоторые прямолинейно понятые стихи из книг пророков подтверждают такие воззрения: «Он образовал ее для жительства»⁶, «если завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил»⁷, «раскинул их, как шатер для жилья»⁸. Если небесные сферы существуют ради человека, то тем более ради него существуют остальные живые существа и растения. Однако, если исследовать это воззрение так, как следует разумному человеку исследовать любое воззрение, в нем обнаружится изъян. А именно в том, что тому, кто придерживается такого воззрения, можно сказать: «Может ли Творец осуществить эту цель, а именно существование человеческого рода, без всех этих приготовлений, или же он может осуществить ее только после них?» А если на этот кто-нибудь ответит утвердительно, что можно, например, помыслить существование человека, скажем, без небес, то на это можно сказать: «Что тогда пользы ему от всех этих сущностей, не являющихся целью? Ведь они существуют ради цели, которая может осуществиться и без них всех!»

И даже если всё существует ради человека, а цель человека – служить Богу, то все равно остается вопрос: в чем конечная цель этого служения? Ведь Он, да будет Он превознесен, не становится более совершенным от того, что все Его творения будут служить Ему и постигать Его истинным образом, и не будет Ему никакого умаления, если вообще ничего, кроме Него не будет существовать. А если кто-нибудь скажет: «Это нужно не для Его совершенства, а для нашего, ибо это наивысшее благо и совершенство для нас», снова с необходимостью возникнет вопрос: «А в чем конечная цель нашего существования в этом совершенном состоянии?» И все эти вопросы с неизбежностью в конечном итоге приводят к утверждению: «Такова воля Бога» или «Так с необходимостью следует из Его мудрости». И это правильно, ведь наши мудрецы именно так установили в молитве: «Ты отделил человека изначально, и назначил предстоять Тебе, ибо кто скажет Тебе, что делать, и если прав будет, что это даст Тебе?»⁹ То есть они ясно сказали, что нет другой цели, кроме воли Бога. Поскольку это так, то, принимая во внимание гипотезу о сотворенности мира, мы должны утверждать, что возможно существование чего-то, не относящегося к этому мирозданию со всеми его причинно-следственными связями, и тогда с необходимостью существование всего в мире, кроме человека, становится бессмысленным, ведь получается, что все возникло без цели, ведь конечная цель, а именно человеческий род, может существовать и без всего остального.

Поэтому я считаю, что правильное мнение, соответствующее Торе и согласующееся с умозрением, это не полагать, что всё существует ради человека, и есть другие сущности, существующие ради самих себя, а не для чего-то другого. Тогда вопрос о цели отпадает по отношению ко многим сущностям, даже если мы считаем мир сотворенным, ибо мы утверждаем, что Бог вызвал к существованию разные части мироздания по Своей воле, некоторые из них ради них самих, а некоторые – ради других частей. А эти другие части уже существуют ради самих себя. Точно так же, как Он желает, чтобы существовал человеческой род, Он желает,

чтобы существовали небесные сферы со всеми светилами, и так же желает, чтобы существовали ангелы. И в каждом случае Его воля направлена на самую сущность сотворенного. Что же касается тех вещей, которые не могут осуществиться без определенных предпосылок, Он сначала вызвал к существованию эти предпосылки, например, чувственное восприятие возникло раньше, чем разум. Это мнение также подкрепляется высказываниями в книгах пророков: «Все сделал Господь ради Себя»¹⁰ - это выражение может иметь переходное значение («ради него»), а может возвратное («ради Себя»), и тогда смысл его в том, что Он всё сделал ради самого Себя, да будет Он превознесен, то есть ради Своей воли, которая является Его сущностью, как мы уже разъяснили в этой книге¹¹. Мы также уже разъяснили¹², что сущность Его, да будет Он превознесен, называется также «славой», как в стихе: «покажи мне славу Твою»¹³. Поэтому вышеупомянутый стих «Все сделал Господь ради Себя» согласуется со сказанным: «каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил»¹⁴, то есть всё, создание чего приписывается Мне, Я сотворил только ради воли Своей. А то, что сказано «образовал и устроил», как раз о том, что я разъяснил по поводу сущностей, которые не могут возникнуть, пока не возникнут другие, предшествующие им. Поэтому сказано «образовал» Я то, что по необходимости должно предшествовать, например, материю для всякой материальной сущности. А затем «устроил», при помощи уже возникшей предпосылки, то, что Я изначально намеревался вызвать к существованию. И это чистая воля.

Когда ты изучишь внимательно книгу, наставляющую всякого идущего по пути поиска истины, и потому называемую Наставление (Тора), тебе станет ясным вопрос, который снова и снова возникает в связи с описанием сотворения мира, а именно что не сказано ни про одну сотворенную вещь, что она сотворена ради другой. Сказано, что Он вызвал к существованию все отдельные части мироздания, и что их возникновение соответствовало Его замыслу. Именно в этом смысл слов: «И увидел Бог, что это хорошо»¹⁵, ибо известно тебе наше разъяснение того, что «Тора говорит языком человеческим»¹⁶, а мы говорим «хорошо» про то, что соответствует нашему замыслу. А про все мироздание в целом сказано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»¹⁷, что значит, что все возникшее возникло в соответствии с замыслом, и не произошло никаких сбоев, и потому сказано «весьма». Ибо иногда нечто бывает «хорошим» и соответствующим замыслу на некоторое время, а затем перестает соответствовать своему назначению. Поэтому сказано, что всё соответствовало цели и замыслу постоянным и непреходящим образом.

И пусть не вводит тебя в заблуждение сказанное про звезды: «чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью»¹⁸, ведь ты мог бы подумать, что имеется в виду «для того, чтобы делать это». На самом деле это указание на их природу, так как они были сотворены по Его воле, то есть светоносными и управляющими, так же как сказано про человека: «и владьте над рыбами морскими»¹⁹, и смысл этого не в том, что человек создан ради этого, а в том, что Он, да будет Он превознесен, сотворил его таким по природе. Что касается сказанного про растения, которые Он предназначил в пищу человеку и другим животным²⁰, Аристотель и другие уже разъяснили это. Очевидно, что растения были вызваны к существованию для животных, поскольку последним необходимо пропитание. Со звездами иначе. Они существуют не ради нас, и не для того, чтобы приносить нам благо, потому что сказанное «светить и управлять», как мы уже разъяснили, относится к их влиянию на низший мир, ибо природа блага состоит в его распространении. Благо приходит всегда в такой форме, что получатель блага выступает как будто в качестве цели для своего благодетеля. Житель города, например, может вообразить, что цель царя в том, чтобы охранять по ночам его дом от грабителей. Он будет в чем-то прав: в том, что его не грабят по ночам, есть заслуга царя, и легко подумать, что цель царя в том и состоит, чтобы охранять дом этого горожанина. В свете этого мы должны толковать все высказывания, в которых по простому смыслу кажется, что нечто высшее создается ради чего-то более низкого, так что это необходимым образом следует из его природы, и нам следует придерживаться воззрения о том, что все мироздание соответствует Его замыслу, да будет Он превознесен, и Его воле, и не следует искать для этого никаких других причин и целей. Так же, как мы не ищем цели для Его существования, да будет Он превознесен, нам не следует искать цели для Его воли, по которой возникло всё, что возникло, и всё, что еще возникнет.

Не тешь себя иллюзиями относительно того, что небесные сферы и ангелы были вызваны к существованию ради нас, ибо разъяснили уже нам наше достоинство: «Вот народы - как капля из ведра»²¹. Поэтому вдумайся в то, кто ты, и что такое небесные сферы, звезды и отделенные разумные сущности. Тогда станет очевидной для тебя истина, а именно то, что человек - это самая совершенная и достойная из возникших материальных сущностей, но не более того. Если сравнить существование человека с существованием небесных сфер, и тем более с существованием отделенных разумных сущностей, станет очевидным его крайнее ничтожество. Сказано: «Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в ангелах Своих усматривает недостатки: тем более - в обитающих в храминах из брения, которых основание прах»²². И знай, что слуги, о которых идет речь в этом стихе, не относятся к человеческому роду. Лучшее доказательство этого сказанное далее «тем более - в обитающих в храминах из брения, которых основание прах», то есть «слуги», о которых здесь идет речь, это ангелы. А «ангелы», упомянутые в стихе, это несомненно небесные

сферы. Из самого стиха всё становится ясно. Элифаз другими словами в другом стихе выразил эту же мысль: «Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его: тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду»²³. Из этого видно, что «святые Его» - это его слуги, и что они не из рода человеческого. А «ангелы» упомянутые в предыдущем стихе – это небесные сферы. А слово «недостатки» означает, что они материальны. Несмотря на то, что они из самой тонкой материи и обладают самыми большими размерами и свечением, по сравнению с отделенными разумными существами они тусклы и невзрачны. А касательно ангелов сказано «слугам Своим не доверяет» в том смысле, что нет у них прочного существования, ведь по нашему мнению они сотворены. И даже по мнению тех, кто придерживается воззрения о предвечности мира, у них есть причины, и их место в мироздании не является прочным и основательным по сравнению с Ним, да будет Он превознесен, существование которого является абсолютно необходимым.

Сказанное «нечист и растлен» соответствует сказанному «обитающих в храминах из брения», то есть человек – это такое нечистое и растленное существо, поскольку в нем таится порча и проникает во все его члены, то есть в него проникает небытие. «Беззаконие» (*авла*) - это порча, как сказано: «Будет злодействовать [*йаввель*] в земле правых»²⁴, а «человек» (*иш*) – это род человеческий (*адам*), ведь иногда человеческий род называется этим словом тоже: «Кто ударит человека так, что он умрет»²⁵. И таких воззрений следует придерживаться. Ибо когда человек знает все про себя, и не питает иллюзий, понимая свое место в мироздании, его мысли успокаиваются, и он не пытается искать цель в том, у чего нет цели, или в том, существование чего зависит исключительно от божественной воли, или если угодно от божественной мудрости.

¹ См. Путеводитель II, Предпосылки, 20

² См. например Политика, I:8, 1256b, 20-21

³ См. Политика, I:8, 1256b, 15

⁴ См. Метафизика, XII, глава 7

⁵ См. Физика II, глава 7

⁶ Исаия 45:18

⁷ Иеремия 33:25

⁸ Ис. 40:22

⁹ Из молитвы «Неила» на Йом-Киппур

¹⁰ Притчи 16:4

¹¹ См. Путеводитель I:69

¹² См. Путеводитель I:64

¹³ Исход 33:18

¹⁴ Исаия 43:7

¹⁵ Быт. 1:4 и далее

¹⁶ См. Путеводитель I:26

¹⁷ Быт. 1:31

¹⁸ Быт. 1:17-18

¹⁹ Быт. 1:28

²⁰ См. Быт. 1:29-30

²¹ Ис. 40:15

²² Иов 4:18-19

²³ Иов 15:15-16

²⁴ Исаия 26:10

²⁵ Исход 21:12

ТЕОДОРИХ ШАРТРСКИЙ «ТРАКТАТ О ШЕСТИ ДНЯХ ТВОРЕНИЯ»

Предисловие

Теодорих Шартрский родился в Бретани в последней четверти XI в., поэтому при жизни его чаще называли Бретонцем. Он был известен как преподаватель свободных искусств, особенно тривиума, преподавал в парижских школах и в Шартре, где был сначала архидиаконом, а после смерти Гильберта Порретанского – канцлером собора (в 1140-х гг.). Предшественником Гильберта был старший брат Теодориха – Бернард Шартрский, также знаменитый в свое время мыслитель, один из основателей Шартрской школы. Его сочинения по диалектике не дошли, но, согласно дошедшему до нас тексту эпитафии, он:

Логики узел разбив, тех он достигнул глубин,
Коих еще не видал в наше время никто.
Первым «Аналитики» и «Опроверженья» он понял,
Первым из галлов собрал богатства мудрости греков.¹

Теодориха уже тогда, в середине XII столетия, считали одним из первооткрывателей не только Аристотеля, но и Платона. Герман Каринтийский, посвящая ему свой перевод птолемеевской «Планисферы», писал, что Теодорих «вернул с небес людям душу Платона»². Иоанн Солсберийский, учившийся в Шартре, называл его *artium studiosissimus investigator*.³ Кларембальд Аррасский в одном частном письме называет своего учителя магистра Теодориха «крупнейшим философом Европы» (*totius Europe philosophorum precipuus*).⁴ Бернард Сильвестр посвятил ему «Космографию». Такие уважительные отклики мыслителей второй половины XII-XIII вв. свидетельствуют о значении Теодориха для европейской науки, о котором не следует судить по его не слишком обширному наследию, дошедшему до наших дней. Он не оставил сочинений, сравнимых по масштабу с «Космографией» или «О сущностях» Германа Каринтийского, но, скорее всего, он был, что называется, «харизматическим» педагогом. Его преподавание арифметики пользовалось большой популярностью, возможно, он был одним из первых, кто ввел в европейскую математику *rota*, т.е. ноль.⁵ Теодорих комментировал риторические сочинения Цицерона («О нахождении» и приписывавшуюся ему «Риторику к Гереннию»⁶) и боэциевы богословские сочинения, *opuscula sacra*, в том числе, его трактат «О Троице»: двенадцатое столетие было временем нового открытия Боэция – *aetas boetiana*. Шартрскому собору он оставил в наследство солидную библиотеку различных книг по квадривиуму, а также, что интересно, списки «Корпуса гражданского права», к тому времени недавно открытого и начинавшего приобретать большую популярность. Библиотека погибла во время бомбежек 1944 г., но известна по фотографиям.

Сам Теодорих не был из монастырских скромников, как и его современники Петр Абеляр и Гильом Коншский, он по-новому осознал свою исключительность в академическом мире: «Я позволил себе прихоть выгнать бесполовую толпу невежественных школяров. Потому что таковы уж люди, которые окружают меня: они притворяются гениями, в душе ненавидя знание, они заявляют, что усердно работают дома, и претендуют на звание магистров, они превращают школьный диспут в клоунаду, вооружившись пригоршней пустых слов. Но двери моего дворца закрыты для тех, кого привела сюда одна лишь слава моего имени, я не желаю, чтобы потом, в своих странах, они с пылом и жаром своих обманчивых аргументов распространяли небылицы о Теодорихе!» В другом автобиографическом пассаже он даже сделал довольно кокетливое сравнение себя с Сократом, который интеллектуально «развращает» молодежь⁷. Его современник и во многом оппонент Гуго Сен-Викторский вполне мог иметь в виду таких педагогов, когда пишет о смирении как необходимом условии

¹ Dissolvens logice nodos penetravit ad illa / Que non adtigerant tempora nostra prius / Primus Analeticos, primusque resolvit Helencos, / E Gallis Grecas accumulavit opes. Vernet A. Une épitaphe de Thierry de Chartres // Recueil de travaux offert à Clovis Brunel. P., 1955. P. 670. Versus 25-28.

² Цит. по: Fredborg K. M. Introduction // The Latin Rhetorical Commentaries... op. cit. P. 3.

³ John of Salisbury. Metalogicon 1.5 / Ed. Cl. C. I. Webb. P. 16.

⁴ Häring N. M. Introduction // Commentaries on Boethius by Thierry of Chartres and His School / Ed. N. M. Häring. Toronto, 1971. P. 46.

⁵ Häring N. M. Thierry of Chartres // Dictionary of Scientific Biography. Ранее было известно его начертание, но не значение.

⁶ Thierry of Chartres. The Latin Rhetorical Commentaries / Ed. K. M. Fredborg. Toronto, 1988.

⁷ Эта автобиографическая заметка содержится в комментарии на Цицеронов трактат «О нахождении», где можно найти также замечательное, и тоже не лишнее автобиографичности литературное описание богини Зависти, которая сопровождает богиню Славу в ее земном странствии. Цит. по : Dronke P. Thierry of Chartres // A History of Twelfth-Century Western Philosophy / Ed. P. Dronke. Cambridge, 1988. P. 362. Об образе Сократа в средневековой литературе см. : Opelt I. Das Bild des Sokrates in der christlichen lateinischen Literatur // Platonismus und Christentum. Suppl. X. 1983. S. 192-207. Ср. : Guillelmus de Conchis. Dragmaticon philosophiae. III 2-3 / Ed. I. Ronca. (CCCM 152). Turnhout, 1997. P. 55-56.

преподавательской деятельности⁸. Теодорих был европейски знаменитой фигурой и уже поэтому вызывал споры.

Большой интерес для понимания научного мировоззрения Теодориха представляет входивший в его личную библиотеку двухтомный свод учебного материала по семи свободным искусствам, снабженный его предисловием и заметками: «Семикнижие» (*Heptateuchon*)⁹. Это практическое воплощение идеала единого христианского знания, известного для двенадцатого века и вне Шартрской школы (достаточно вспомнить «Дидаскаликон» Гуго Сен-Викторского). Свободные искусства – орудия на службе философии, любви к мудрости, которая, по-боэциевски говорит Теодорих, есть «полноценное понимание истины вещей» (*integra comprehensio veritatis eorum que sunt*). Познание мира и Бога едино, полноценно постольку, поскольку объединяет свободные искусства, философию и богословие. В этом идеале человеческой мудрости проявился особый гуманизм XII века¹⁰. Для одних аспектов картины мира служат философские, научные аргументы, для других – богословские. И те, и другие аргументы воспринимаются Теодорихом как «покровы», *integumenta*, что вообще свойственно Шартрской школе¹¹. Сама идея научного и философского прогресса воспринималась новаторами и переводчиками XII-XIII вв. как откровение сокрытого или непонятого неверными, как обретение несправедливо хранящегося у чужих сокровища знания¹².

«Трактат о шести днях творения», скорее всего, стал подведением итогов многолетней работы над богословскими проблемами. Правда, бесспорной хронологии творчества Теодориха не существует, что усложняет и толкование его интеллектуального развития. Николаус Херинг, автор критического издания, легшего в основу нашего перевода, считает, что трактат написан в 1130-1140 гг., по другим мнениям, после 1148 г., т.е. в последние годы жизни¹³. Возможно, несмотря на незаконченность, это единственное сочинение, рассчитанное автором на «публикацию»: в нем явственно видна стилистическая работа над текстом, меньше повторов и дидактических маньеристических оборотов, свойственных для его лекций и глосс, также изданных Н. Херингом.

«Шестоднев», несомненно, самое смелое произведение Теодориха и один из самых новаторских текстов того времени. Один замечательный историк средневековой философии неслучайно сказал, что это первая систематическая попытка вывести космологию из сферы чуда и дать физической теории относительную независимость от богословия, попытка, которая заслужила Теодориху выдающееся место среди философов¹⁴. Действительно, Теодорих формулирует свою новую задачу в первых же строках, отдав дань почтения своим великим предшественникам, *авторитетам* эпохи Отцов: его интересует не аллегорическое или моральное толкование, но «историческое», буквальное. И такое толкование, по его мнению, может быть только физическим. «*Consequatur naturaliter*», «*ordo naturalis exigebat*», «*contingebat naturaliter*» – это лейтмотив трактата, объясняющий возникновение небес, земли, воздуха, жизни как таковой. Живое возникает естественно из неживого. Стоическая концепция «жизненного тепла» (*calor vitalis*), воспринятая через Цицерона («О природе богов»), дала Теодориху и его современникам возможность отойти в этом вопросе от буквы Писания¹⁵. Даже человек включается философом в эту природную череду!

В тринадцатом столетии такие «естественные» объяснения уже стали почти традиционными, во всяком случае «модно» было «говорить согласно природе», «*naturaliter loqui*», но около 1140 года это было новшеством. Четыре стихии – «как бы» действующие причины, огонь «совершенно активен», земля «совершенно пассивна». велик соблазн увидеть здесь материализм или, если угодно, деизм. Однако Теодорих, вполне искренне, а не ради камуфляжа предостерегает нас: «Если кто со вниманием рассмотрит

⁸ *Hugo de Sancto Victore. Didascalicon. De studio legendi. III 3 ; III 13 / Ed. Ch. H. Buttimer. Washington, 1939. P. 53, 63.*

⁹ Рукопись Chartres. Bibliothèque municipale. 497-498. На 1170 страницах в две колонки записано около пятидесяти различных трактатов. Эта работа была незакончена к моменту смерти философа. *Burnett Ch. The Contents and Affiliation of the Scientific Manuscripts Written at, or Brought to, Chartres // The World of John of Salisbury / Ed. M. Wilks. Oxford, 1984. P. 127-160.*

¹⁰ *Jeuneau E. Un représentant du platonisme au XII siècle : maître Thierry de Chartres // Id. Lectio philosophorum. Amsterdam, 1973. P. 78.*

¹¹ *Jeuneau E. L'usage de la notion d'integumentum a travers les gloses de Guillaume de Conches // Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. Vol. 24. 1957. P. 35-100. Dronke P. Bernard Silvestris, Natura, and Personification // Id. Intellectuals and Poets in Medieval Europe. R., 1992. P. 55ff.*

¹² *Beaujouan G. The Transformation of the Quadrivium // Renaissance and Renewal in the Twelfth Century / Ed. R. L. Benson, G. Constable. Cambridge, 1982. P. 485-486.*

¹³ *Høring N. M. Introduction... op. cit. P. 47. Il divino e il megacosmo. Testi filosofici e scientifici della scuola di Chartres / A cura di E. Maccagnolo. Milano, 1980. P. 89-90. Энцо Макканьоло считает «Трактат» квинтэссенцией всей богословской работы Теодориха.*

¹⁴ *Klibansky R. The School of Chartres // The Twelfth-Century Europe and the Foundations of Modern Society / Ed. M. Clagett et al. Madison, 1961. P. 8.*

¹⁵ *Lapidge M. The Stoic Inheritance // A History of Twelfth-Century Western Philosophy / Ed. P. Dronke. Cambridge, 1988. P. 108-109.*

устройство мира, познает, что действующая причина его – Бог, формальная – Премудрость Божья, целевая – Его благодать; материальная же причина – это четыре элемента, которые Творец *сотворил в начале из ничего*. «Физик» должен считаться с постоянно действующей в мире созидающей силой, *virtus artifex operatrix*, и эта сила божественна (параграфы 25-27).

Теодорих не был единственным, кто говорил тогда о мировой душе, о материи, об «иле», черпая в равной мере из сокровищницы христианской, ветхозаветной и языческой. Таково было чисто шартрское гуманистическое ощущение: Бернард Шартрский говорил, что он и его современники – «карлики, сидящие на плечах гигантов», и поэтому видят дальше своих великих предшественников. В этой формуле выражался общий оптимистический настрой ученых, который мы сейчас охарактеризовали бы как идею «культурного прогресса», если бы это не было анахронизмом. Для Теодориха, как и для его старшего брата, как и для донесшего до нас эти слова Иоанна Солсберийского, речь шла о неразрывном единстве наук и Откровения, «прогресса» испуленного человечества на пути к Царствию небесному¹⁶.

И наконец несколько слов о переводе. Хотя окончательная редакция его принадлежит П. В. Соколову и автору этих строк, мы предлагаем вниманию читателя результат эксперимента: коллективной работы студентов в моем семинаре по изучению средневековых научных текстов, который я проводил на кафедре истории средних веков исторического факультета МГУ в 2006 году. Примерно так, коллективно, над переводами научных текстов работали переводчики XII века. Всем участникам этого семинара, нашим соавторам, я выражаю глубокую благодарность.

Теодорих поставил перед собой цель дать сугубо рациональное объяснение происхождения вещей, *secundum phisicam*, не умаляя при этом чудотворной роли Творца. Только его вмешательство могло вывести природу из состояния первоначального хаоса. *Mutatis mutandis*, Жоно называет это кинетической теорией тел. Пифагорейский привкус арифметических спекуляций на тему Троицы имел большой успех и в XII-XIII вв., и позже, у Николая Кузанского.¹⁷

William had mocked the fundamentalists of his day, who accepted the existence of such waters as a miraculous divine contravention of the laws of nature; Thierry is insisting, by contrast, that what Moses gives at the opening of Genesis is not an account of creation as based on physical laws. Admittedly Moses expressed himself in oracular utterances, that have to be scrutinized carefully for their literal meaning. And it needs a physicist to elucidate that meaning accurately.¹⁸

¹⁶ Подобную формулу у грамматика Присциана, осуждавшего студентов, игнорировавших последние научные достижения, ссылаясь на мудрость древних, вспоминает также Гильом Коншский в своих комментариях на Присциана: *quanto juniores tanto perspicaciores. Jeuneau E.* «Nani gigantum humeris insidentes». *Essai d'interprétation de Bernard de Chartres // Id. Lectio philosophorum. Recherches sur l'École de Chartres.* Amsterdam, 1973. P. 58-59, 72.

¹⁷

¹⁸ *Dronke P. Thierry of Chartres... op. cit. P. 377.*

ТРАКТАТ О ШЕСТИ ДНЯХ ТВОРЕНИЯ

1. Я намереваюсь согласно физике и буквально истолковать здесь первую часть книги Бытия о семи днях и различиях дел, совершенных Господом в шесть дней. Сначала я вкратце расскажу о намерении автора и пользе книги. Затем я поведу речь об историческом смысле написанного, полностью оставив в стороне аллегорическое и моральное толкование, в достаточной мере открытое нам святыми учителями.¹⁹

Итак, намерение Моисея в этом труде было показать, что сотворение вещей и людей было совершено единым Господом, Ему же достоин честь и поклонение. Польза же этой книги заключается в познании Бога по делам Его, Которому единому подобает совершать религиозное поклонение.

Заглавие книги таково: *Начало книги Бытия* (genesis); это означает, что книга о сотворении или возникновении (generatione) вещей озаглавлена так же, как Евангелие от Матфея в первой своей части: *Книга родословия Иисуса Христа*.

2. *В начале сотворил Бог небо и землю и т.д. (Быт. 1,1).*

Моисей разумно показывает причины, лежащие в основе существования мира, и последовательность времен, в которые был сотворен и украшен мир. Итак, сначала мы поведем речь о причинах, а затем о порядке времен.

Есть четыре причины мировой субстанции: действующая, т.е. Бог, формальная, т.е. Премудрость Божья, целевая – Его благодать и материальная – четыре элемента.²⁰

Поскольку мирское переменчиво и брэнно, необходимо, чтобы у него был Творец. Поскольку мир устроен разумно и в прекраснейшем порядке, необходимо, чтобы он был сотворен Премудростью. Поскольку же, по верному рассуждению, Сам Творец ни в чем не испытывает нужды, но самодостаточен и в Себе Самом имеет высшее благо, надлежит, чтобы сотворенное Им было сотворено исключительно по Его благодати и милосердию, для того, чтобы у него были те, кого Он по благодати своей мог бы причастить своему блаженству.

Поскольку всякое упорядочивание прилагается к неупорядоченным вещам, надлежит, чтобы нечто неупорядоченное предшествовало порядку, который затем был придан этому неупорядоченному по Премудрости <Творца>, и, так обустроивая беспорядочное, Премудрость сия стала бы очевидной даже для мало знающих.²¹

Таким образом, если кто со вниманием рассмотрит устройство мира, познает, что действующая причина его – Бог, формальная – Премудрость Божья, целевая – Его благодать; материальная же причина – это четыре элемента, которые Творец *сотворил в начале из ничего*.

3. Это различие причин Моисей очевидным образом излагает в своей книге. Ведь когда он говорит: *В начале сотворил Бог небо и землю*, то указывает действующую причину, т.е. Бога.

Указывает он и материальную причину, т.е. четыре элемента, называя их небом и землей, и подтверждает, что они были сотворены Богом, когда говорит: *В начале сотворил Бог небо и землю* и далее.

Везде, где Моисей говорит *И сказал Бог* и далее, он имеет в виду формальную причину, т.е. Премудрость Божью, поскольку «говорить» для Творца означает ничто иное, как в совечной Себе Премудрости придавать будущей вещи форму.

Там же, где Моисей говорит: *И увидел бог, что это хорошо*, он указывает на формальную причину – благодать Творца. Ибо под «видением» подразумеваются любовь и благодать; как говорит пословица, «где любовь, там и око». ²² Ведь для Творца «видеть, что что-то хорошо сотворено» означает ничто иное, как то, что Он возлюбил сотворенное Им в благодати своей, которой Он и творил.

В материи, состоящей из четырех элементов, действует Троица: как действующая причина она творит ее; как формальная причина Она сотворенную материю образует и располагает; как причина целевая Она образованную и упорядоченную материю любит и направляет.

Ибо Отец есть действующая причина, Сын – формальная, Дух Святой – целевая, а четыре элемента – материальная. Через эти четыре причины существует всеобщая материальная субстанция.

4. Теперь – о ходе времени при сотворении. И сначала необходимо рассмотреть, что такое естественный день. Естественный день – это промежуток времени, за который совершается одно полное обращение <солнца> от восхода до восхода. Также днем называется свечение воздуха, возникающее от самого

¹⁹ Ср.: *Johannes Scotus Eriugena*. Periphyseon. 693B-C: Ac prius dicendum quod de allegoricis intellectibus moralium interpretationum nulla nunc nobis intentio est, sed de sola rerum factarum creatione secundum historiam pauca disserere <...> Satis enim a sanctis patribus de talium allegoria est actum.

²⁰ Ср.: *Guillelmus de Conchis*. Glosae super Platonem. 32. *Johannes Saresberiensis*. Policraticus. VII, 5.

²¹ Ср.: Тимей 30а.

²² Ср.: Гильом Коншский. Драгматикон I.

неба и полностью отделенное от тьмы, называемой ночью. В этих двух значениях употребляется в Священном Писании слово день.

Возникает вопрос, каким образом согласуются между собой слова святых: *все одновременно (simul) создал Живущий во веки (Сир. 18, 1) и совершил Господь в шесть дней (Быт. 2, 1)* и далее. Надлежит разуметь, что первое высказывание относится к первоматерии, второе же трактует о различении форм, что далее будет объяснено с точки зрения физики.

5. В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1, 1), т.е. в первый момент времени Он сотворил материю²³. Когда же было сотворено небо, оно не могло оставаться неподвижным из-за своей легкости, а так как оно всё объемлет собой, оно не могло перемещаться с места на место прямолинейным движением; посему с самого момента своего сотворения небо начало вращаться кругообразно, так что за <соответствующий> промежуток времени было полностью совершено первое обращение. Этот промежуток времени был назван первым днем.

6. В это первое обращение высший элемент неба, т.е. огонь, осветил верхнюю часть низшего <по отношению к нему> элемента, т.е. воздуха. Ибо природа небесного огня такова, что он своим вращением освещает воздух, через посредство же воздуха нагревает водные и земные <тела>.

Как говорят философы, у огня два свойства: одно – сияние и другое – жар. Сияние огонь, по своей природе, производит в воздухе. Жар же он возбуждает в водных и земных <телах>. Ведь жар – свойство огня, которым тот разделяет твердые <тела>. Если же жар ощущается в воздухе, это происходит оттого, что этот жар есть сам воздух, сгущенный из низших элементов.

Итак, в первый день сотворил Бог материю и свет, т.е. свечение, зародившееся в воздухе при вращении высшего элемента, т.е. огня. Таково творение первого дня.

7. Когда же благодаря свойству высшего элемента воздух осветился, естественно последовало, что, посредством самого этого свечения воздуха, огонь нагрел третий элемент, т.е. воду, и, нагревшись, она повисла над воздухом в виде пара.

Ведь природа тепла такова, что оно разделяет воду на мельчайшие капли и силой своего движения поднимает над воздухом; в небесных облаках происходит то же, что в кипящем котле. Облака же или пар суть не что иное, как скопление мельчайших капель, поднимаемых в воздух силой тепла. Если бы сила тепла была большей, всё это скопление превратилось бы в чистый воздух; если бы она была слабее, тогда, несомненно, эти мельчайшие капли, сталкиваясь между собой, превратились бы в более крупные капли, откуда дождь. Если же мельчайшие эти капли сближаются ветром, возникает снег; если же ветер сближает крупные капли, образуется град.²⁴

8. Таким образом, огромное количество текучей воды, в начале, без сомнения, достигавшее сферы луны, оказалось подвешено над высшим эфиром силой тепла, так что при втором обороте небесной сферы второй элемент, т.е. воздух сразу же переместился в середину между водой текучей и водой, парообразно подвешенной.

Об этом и говорит Моисей: *и поместил твердь между водами.*²⁵ И воздух тогда заслуженно был назван твердью, ибо он как бы твердо держит верхние воды и содержит в себе нижние, и отделяет их друг от друга непреходимой границей.

Лучше, однако, сказать, что воздух называется твердью из-за того, что своей легкостью удерживает землю в её пределах и отверждает её. Ибо существует взаимосвязь между твердостью земли и легкостью воздуха; твердость земли проистекает от сжатия легким воздухом, легкость же и подвижность воздуха существует, поскольку имеет опору в неподвижности земли.

²³ Друг Теодориха Бернард Сильвестр считал возможным видеть в материи «помощника» Творения (Cosmographia / Ed. P. Dronke. Leiden, 1978. P. 29-31). Сам Теодорих в Глоссе на Боэция (II 32) менее ортодоксален: Бог творит *preiacente materia*. Dronke P. Thierry of Chartres... op. cit. P. 375.

²⁴ Здесь, возможно, он ориентировался на Цицерона: De natura deorum. II, 27 / Ed. A. St. Pease. Darmstadt, 1968. P. 612-613. В использовании тривиальных образов для объяснения сложных космологических концепций Теодорих не оригинален среди средневековых авторов. Интересно, что современник Теодориха и не менее смелый «физик» Гильом Коншский считал верхние воды научно «невозможными», смеялся над фундаменталистами своего времени, которые принимали их существование как чудесную данность, вмешательство Бога в природный распорядок (Guillelmus de Conchis. Philosophia. II. II. 4-8 / Ed. G. Maurach. Pretoria, 1980. P. 42-43). Теодорих же как раз доказывает их естественную необходимость.

²⁵ Ср. важное различие в син. пер.: *и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью*, (Быт. 1, 7).

Итак, первое обращение огня осветило воздух. И промежуток, за который было совершено это обращение, составил первый день. Второй оборот этого огня нагрел воду и поместил твердь меж водой и водой. И время, за которое был совершен этот оборот, было названо вторым днем.

9. После того, как вода в виде пара повисла над воздухом, согласно естественному ходу вещей последовало, что с уменьшением количества жидкой воды показалась земля – не непрерывная, но наподобие островов. Это может быть доказано многими способами.

Чем больше пара выходит из кипящего котла, тем меньше воды в нем остается. Подобным же образом, если водную поверхность, разлитую на некоем столе, постоянно подогревать сверху, то вскоре из-за нисходящего сверху жара вода эта обмелеет и на её поверхности появятся пятнышки суши, поскольку на этих местах вода сожмется и стянется в одно место.

Итак, воздух, помещенный между водами и всё сильнее нагреваемый, совершил третий полный оборот, во время которого отделил от воды сушу в виде островков.

10. При этом же обороте воздуха случилось так, что из смешения жара, зародившегося в верхней части воздуха, и влажности земли, только что появившейся из воды, следовательно, из этих двух элементов, земля получила способность произвести (*vim producendi*) травы и деревья. Эта способность естественным образом низошла от небесного жара на землю, недавно показавшуюся из воды. И промежуток времени, за который произошел третий оборот неба, был назван третьим днем.

После того, как твердь была помещена меж водами и в ней из обступавших её вод зародился такой жар, что под действием его твердь привлекла к себе часть жидкой воды и так появилась суша, – после этого, говорю я, естественно воследовало, что из собрания тех вод, поднятых до тверди жаром третьего дня, были сотворены звездные тела.

11. То, что материя звезд была сотворена из воды, может быть неопровержимо доказано. Ведь очевидно, что два высших элемента – огонь и воздух – не содержат в себе никакого сгущения, так что сами по себе и по своей природе они могут быть увидены только акцидентально.

Если же какие-нибудь невежды и говорят, что видели небо сквозь чистый воздух, и воображают, будто видели что-то зелёное, то это – в высшей степени ложь. Ибо там, где зрение бессильно, из-за ошибки чувств кажется, что нечто видел, чего и не видел. Точно так же человеку с закрытыми глазами кажется, будто он видит какие-то тени. Ведь, хотя зрение и возникает благодаря истечению света из глаз, оно бессильно, если взгляд не отражается от какого-либо препятствия.

12. Если даже этот нижний воздух, помещенный между нами и стеной, оградой или каким-либо подобным предметом, не может встать на пути взгляда, чтобы вызвать зрительное ощущение, тем менее это может сделать более прозрачный верхний воздух. Собственно говоря, воздух именно потому называется небом (*celum*), что скрыт (*celetur*) от наших глаз.²⁶

Отсюда ясно, что любое видимое тело происходит из какого-либо сгущения, берущего начало в плотности воды или земли. Так, облака представляются видимыми из-за густоты водных испарений. Именно благодаря им пламя возникает во влажном воздухе или в какой-либо сжигаемой материи.

Так же и солнечный луч, проникающий через окно, становится видимым только благодаря пылинкам,двигающимся вместе с ним и отсвечивающим в сиянии солнца. Что касается прочих вещей, то и там внимательному исследователю очевидно, что видимое есть то, что возникает из препятствия <для зрения>, которым служат земля и вода.

13. Следовательно, необходимо, чтобы всякое тело, представляющееся видимым в тверди небесной, было видимым из-за плотности земли или воды. Но земные <тела>, ни под действием жара, ни с помощью чего-то другого не могут подняться до тверди небесной. Это свойственно природе воды.

Итак, материальной причиной всего, что представляется видимым в небе, является вода. Подобным образом существуют облака, молнии, кометы. Следовательно, материей звездных тел необходимо является вода.

Более того: как свидетельствует наука о природе, все питаемое (*nutribile*) питается тем, из чего материально состоит. А как утверждают физики, звездные тела подпитываются влагой. Следовательно, представляется, что они состоят материально из воды.

Итак, промежуток времени, в который было совершено четвертое обращение <огня> и из парообразных вод были сотворены звездные тела – этот промежуток времени, говорю я, был назван четвертым днем.

²⁶ Эта предложенная в VII веке Исидором Севильским этимология (Этим. XIII, 6, 6) стала общепринятой в Средние века.

14. После того, как звезды были сотворены и начали свое движение в небесной тверди, огонь из-за их движения усилился и, преобразуясь в жар, дающий начало жизни, сообщил сначала воде как элементу превысшему земли. От этого произошли водные животные и птицы. И пространство этого пятого обращения <огня> было названо пятым днем.

Через посредство влаги этот живородящий жар²⁷ проник и к земным <телам>, от чего произошли земнородные животные, в числе которых был сотворен *по образу и подобию Божию* (Быт. 1, 26) человек.²⁸ И пространство этого шестого обращения <огня> было названо шестым днем.

15. Так первое обращение легчайшего, высшего и неспособного находиться в покое неба осветило воздух. Воздух же, разогрев воду и повесив ее над собой, стал твердью. Твердь, получив от верхнего пара силу жара, вызвала появление суши и дал земле плодородие. Тогда из водной массы, подвешенной в тверди под действием жара, возникли звезды.

Движение и жар звезд положили начало зарождению водных животных, а через посредство воды оно перешло на землю.

В дальнейшем, кроме этих способов творения материальных вещей никаких других быть не могло – как на небе, так и на земле.

16. То, что родилось или было сотворено после шестого дня, возникло не каким-нибудь новым способом творения, но получило свое существо одним из выше описанных способов. И так, «в седьмой день Бог почил от своих трудов», т.е. не стал творить новым образом, поскольку все элементы были совершенным образом согласованы между собой и получили должное украшение.

Если же Он и творил что-то новое, это не дает нам повод говорить, что Он творил по-новому. Напротив, мы утверждаем: все, что Он потом сотворил или творит сейчас, Он произвел одним из этих способов и посредством семенных причин, которые он придал элементам в эти шесть дней.

17. Огонь всегда активен, а земля всегда пассивна. Два элемента, находящихся посередине активны и пассивны одновременно. Воздух воспринимает действие огня, он как бы служит ему и передает его свойства другим элементам. Вода воспринимает действие воздуха и огня, она как бы служит высшим элементам и передает их свойства последнему элементу.

Следовательно, огонь есть как бы творец и действующая причина, подчиненная ему земля есть как бы формальная причина, а два средних элемента суть как бы инструмент или нечто объединяющее, с помощью которого действие высшего элемента передается низшим, ибо своим посредничеством они умеряют и соединяют чрезмерную легкость воздуха и тяжесть земли.

Эти свойства, а также те, которые я называю семенными причинами, Бог-Творец всего вложил во все элементы и пропорционально распределил между ними, дабы из этих качеств элементов возник гармоничный порядок времен и чтобы в должные моменты времени, сменяющиеся согласно с этими свойствами, возникали телесные творения²⁹.

О причинах и порядке времен сказано достаточно. Перейдем теперь к изложению буквального смысла.

²⁷ Стоическое понятие *calor vitalis* могло быть известно Теодориху из Цицерона: «De natura deorum». II, 24-27 / ed. A. St. Pease. Darmstadt, 1968. P. 604-613. Оригинальность Теодориха в том, что он наделил его не только физическим, как у Цицерона, но и космогоническим значением.

²⁸ Николаус Херинг поставил точку перед сложноподчиненной констуркцией «в числе которых...», толкуя ее как независимое предложение и, тем самым, навязывая Теодориху представление, вполне традиционное для средневековой экзегетики, о творении человека как особом моменте, «венце» Творения. Однако фраза, начинающаяся с относительного местоимения, никогда не воспринималась в средневековом научном тексте как самостоятельная, даже если в рукописи она начиналась с заглавной буквы. Теодорих, сохраняя важнейшее для христианства понятие «по образу Божию», все же рассматривает появление человека в общей цепи возникновения животных как результат воздействия жара. Херинг считает, что Теодорих разделял общепринятый августиновский взгляд на предсуществование человеческих душ (ed. cit. P. 156), однако в трактате ничто на это не указывает, в историографии высказывались и противоположные мнения. См., например: *Dronke P. New Approaches to the School of Chartres* (1971) // *Id. Intellectuals and Poets in Medieval Europe*. R., 1992. P. 33-34.

²⁹ Семнадцатый параграф может показаться радикально «материалистическим» – в современном, а не в средневековом схоластическом смысле. Если во втором параграфе «действующая причина – Бог», то здесь «как бы» (*quasi*) одна из стихий, т.е. сила чисто физическая. Теодориху можно было бы приписать то же, что Паскаль Декарту: Бог дает «щелчок, чтобы привести мир в движение» (*une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement*) и выходит за его рамки. Однако «материализм» этого параграфа уравновешен в параграфах 25-27.

18. *В начале сотворил Бог небо и землю.*

Здесь Моисей как бы говорит: сначала Он *сотворил небо и землю*. Говоря *в начале*, он не имел в виду ничего, кроме того, что до того Бог не сотворил ничего и что и то и другое Он сотворил одновременно. Но я намереваюсь показать, что означает *небо и земля* и как физики понимают то, что они были созданы одновременно.

С разумной точки зрения, все телесное получает свою плотность или тяжесть от активного движения и постоянного стремления вперед окружающих и сжимающих его легких элементов, а легкие элементы приобретают это стремление благодаря тому, что их движение и стремление отталкивается от чего-то телесного или устойчивого.

Я думаю, не будет лишним доказать это. Очевидно, что твердость земли возникает из сжимающего воздействия окружающих ее легких элементов. Но твердым называется то, что с трудом поддается разделению. А что земля такова не следует из природы ее частиц, ибо тогда они не могли бы перемещаться в легкие элементы, т.е. в воздух и огонь. Однако, очевидно, что частицы перемещаются между элементами.

19. Далее: то, что земля и вода телесны, не следует из тяжести верхних элементов, ибо они невесомы. Следовательно, остается, что окружающее и сжимающее устремление легких элементов сжимает нижние элементы до состояния телесности.

Способность сжимать, свойственная легким элементам, огню и воздуху, непременно связана с движением. А подобное движение должно опираться на что-то телесное.

20. То, что движение опирается на нечто твердое, можно вывести из многих примеров. Когда человек переходит с места на место, он, перенося одну ногу, другой опирается на землю, так этот перенос опирается на нечто неподвижное. Палец в своем движении опирается на кисть, кисть на предплечье, предплечье на плечо.

То же самое можно опытным путем установить относительно движения других членов. При броске камня, стремительность полета брошенного камня происходит оттого, что бросающий опирается на что-то твердое. Поэтому, чем тверже он упирается, тем сильнее выходит бросок.

Полет птиц имеет опору. То, что круговое движение имеет начало в центре, очевидно не только ученым, но и людям далеким от наук.

21. Движение небесного огня и нижнего воздуха – круговое, что хорошо видно по движению звезд. Иначе и быть не может. Ведь поскольку они по необходимости движутся, они должны были бы либо все время двигаться вперед, либо постоянно возвращаться. Двигаться постоянно вперед невозможно, поскольку такое движение имеет конец. Поэтому они движутся по кругу.

Всякое круговое движение осуществляется с опорой на что-то неподвижное. Движение воздуха и огня невозможно без опоры в центре. Этот центр неподвижен, и движение обымает его. Следовательно, их движение невозможно без опоры на нечто устойчивое.

Как мы говорили, их стремление вперед и легкость происходят от движения, поскольку они движутся частицами, и частицы примыкают друг к другу неплотно. Поэтому они жидкие и тот, кто касается их, не ощущает в них сопротивления. Они не могут ни сопротивляться чему-либо, ни утяжелить что бы то ни было, иначе как при случайном движении. Поэтому они и легкие.

Поскольку же субстанциально огонь и воздух легкие, легкость, в свою очередь, сама по себе предполагает телесность. А телесность сама по себе предполагает обымющую ее легкость. Земля и вода субстанциально телесны. И поскольку, говорю я, вещи таковы, богодухновенный философ действительно говорит о создании четырех элементов. Но именем земли он обозначил все телесное как достойнейшей частью телесности. Именем же неба он назвал легкое и невидимое, поскольку по природе своей оно скрыто от нашего взора.

22. Показав творение элементов, далее он рассказывает, каковы они были в начале творения, говоря, что *земля была безвидна и пуста* и т.д.

Какова была земля он четко демонстрирует, говоря, что она была безвидна, т.е. лишена формы, которую приобрела потом из согласия элементов, и пуста, т.е. не имеющая того, что было сотворено на ней позже: трав, деревьев и животных.

Каким был второй элемент, т.е. вода, он показывает, когда говорит, что *и была тьма над поверхностью бездны*. Это значит, что вода была темна.

Затем, согласно некоторым мнениям, он заводит речь о третьем элементе, воздухе: *и Дух Божий носился над водою*.³⁰ Это значит, что воздух, который благодаря своей разреженности некоторым образом достигает тонкости Божественного Духа, *носился над водами*, т.е. беспорядочно двигался над водой.

³⁰ Амвросий Медиоланский. Шестоднев. I, 8, 29. PL 14. Col. 150A Августин. Буквальное толкование на книгу Бытия. I, 6, 2. PL 34. Col. 25. Иоанн Скот Эриугена. О разделении природы. II, 19. PL 122. Col. 552C

23. Мне же кажется, что Моисей, когда говорил, что земля была безвидна и пуста, под названием земли подразумевал бесформенность двух элементов: земли и воды.

Их безвидность состояла тогда в смешанности, так что земля была недостаточно твердой, чтобы совершенно отделиться от влаги, а вода недостаточно жидкой, чтобы полностью отделиться от тяжести земли. Смешение их было таково, что они были как бы два в одном. Пустота же их была в том, что в них не было еще того, что потом из них было сотворено.

Говоря, что тьма была над поверхностью бездны, он описывает бесформенность третьего элемента, т.е. воздуха. Подобно тому как свою форму воздух получает от света, его бесформенность называется тьмой. Тьма же эта была такова, что воздух был почти столь же тяжел, что и земля, она была наполнена очень плотными облаками настолько, что почти не отделялась от телесности воды, однако в ней уже различимыми проблески воздуха.

Эта плотность воздуха происходила оттого, что его тьма еще не рассеялась огнем, поскольку он тогда еще не обладал той силой, которая у него есть сейчас, и он проникал в гущу воздуха, не вызывая в нем никакого рассеивающего движения. Так, через тьму воздуха Моисей показал нам изначальное качество четвертого элемента.

24. Эту бесформенность, или, лучше сказать, единообразие элементов древние философы называли то *yle*, то *chaos*. Моисей же дал этому смешению имя земли и воды. Бесформенность элементов состояла тогда в том, что один элемент был почти таким же, как другой. И поскольку различия их между собой были едва заметны и совсем ничтожны, они почитались философами за ничто, и те называли перемешанные до неразличимости элементы одной бесформенной материей.

Однако, Платон, размышляя о том неуловимом, что их отличало, осознавал существовавшие внутри этого смешения различия между элементами, хотя они и были ничтожны. Поэтому он утверждал, что материя, т.е. это смешение, лежит в основе элементов, не в том смысле, что смешение предшествует им по сотворению и по времени, но как всякому разделению в природе предшествует смешение, как звук – голосу и род – виду.

25. *И Дух Божий носился над водою (Быт. 1, 2).*

Рассмотрев материю, Моисей далее говорит, что действие Творца, которого он называет Духом Святым, предшествует материи и управляет ей, образуя и упорядочивая её.

Он самым ясным образом описывает далее действующую силу Творца. Ибо эта сила, действующая в материи, образует все сущее на небе и на земле. Ведь сама по себе материя является бесформенной и может получить форму только от силы Творца, действующего в ней и упорядочивающего её. Силу эту философы называют разными именами.

26. Меркурий в книге, называемой *Трисмегист*, называет эту силу духом, говоря так: «Мир – это Бог и материя (*yle*), как мы считаем вслед за греками. И миру сообщался дух, или был присущ дух»³¹.

И немного после: «Умопостигаемое высшее, называемое Богом, является Правителем и Властителем для чувственно воспринимаемого бога, объемлющего в себе всё пространство, материю всех рождающих и творящих и всякое сущее независимо от его размеров. Духом приводятся в движение и управляются все формы, согласно своей природе распределённые Богом. Материя или мир является вместилищем³², движением и скоплением всего <сущего>. Бог является их правителем, дарующим всему то, что ему необходимо. Дух же всё наполняет в зависимости от свойства каждой природы».

27. Платон в *Тимее* называет этот дух Мировой Душой.³³ Вергилий же так говорит о нем:

От начала же земли, моря и бездонно глубокое небо,

³¹ Асклепий. Гл. 14. *Corpus hermeticum* / Ed. A. D. Nock, A.-J. Festugière. Milano, 2005. P. 538. Теодорих был одним из первых христианских мыслителей, кто после Отцов обратился к чтению герметических текстов. «Асклепий» стал для него не просто одной из *auctoritates*, но настоящим источником вдохновения.

³² Ср.: «Восприемница и как бы кормилица всякого рождения». Тимей. 49а.

³³ Тимей. 34bD. Учение о мировой душе было развито и Халкидием в его комментарии на «Тимей», хорошо известном шартрским философам, например, в 29-31, 51-52 главах. *Calcidio. Commentario al «Timeo» di Platone. Testo latino a fronte* / A cura di Cl. Moreschini. Milano, 2003. P. 162-168, 206-210. Вопрос о мировой душе был одним из ключевых в философии Шартрской школы и вообще в богословских дискуссиях XII-XIII вв. Гильом из Сен-Тьерри осудил Абеяра за идентификацию мировой души со Святым Духом. Молодой Гильом Коншский, комментируя «Тимей» и «Утешение философией», следовал Абеяру, но, возможно, подчиняясь церковным решениям, даже не упоминает о ней в своем позднем сочинении: «Драгматиконе». См. подробнее: *Gregory T. Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la scuola di Chartres*. Firenze, [1955]. P. 123ss.

Луны сияющий шар и титановы звёзды
Сокровенным питаемы духом.³⁴

А вот как евреи говорят о действующем духе. Моисей так: «И Дух Божий носился над водою». Давид же так: «Словом Господа сотворены небеса» и далее.³⁵ Соломон же так говорит о Духе: «Дух Господа наполняет вселенную».³⁶ Христиане называют этот Дух Святым Духом.³⁷

28. Так как бесформенная материя получает формы не сама из себя, но силою действия Творца, движущего её и действующего в ней, то благоразумнейший философ Моисей, указав на бесформенность материи, добавляет о действующей силе Творца, которой материи придается форма, говоря: «И Дух Божий носился над водою».

И он правильно назвал в этом месте всю материю водой, во-первых, потому, что, как мы говорили, тогда один элемент был почти тем же по качеству, что и другой, и поэтому все они могли называться одним именем; во-вторых, потому, что это смешение имело скорее подобие воды, чем другого элемента; и наконец потому, что у древних философов сказано, что влага – материя наиболее важная для сотворения вещей.³⁸

Ведь естественная влага, поднятая жаром с земли, сгустилась, образовав травы и деревья. Животные же, как точно известно из физики, произошли из влажного и жидкого семени и от него приобрели строение своего тела. Что касается камней и металлов, то они сгустились из влаги; и это доказывается тем, что они при растворении обращаются в воду.

То, что звёзды были сотворены из воды, доказано было выше. Поэтому некоторым философам и показалось, что вода – материя всех вещей. Согласно этому учению поэт и назвал Океан отцом вещей.³⁹

29. И сказал Бог: да будет свет (Быт. 1, 3).

Поведав о двух началах творения, т.е. о материи и о движущей силе, он хочет последовательно показать, каким образом и в каком порядке Дух Божий действует в материи по предвечно определённом и явленному в премудрости Творца образу.

Но в этом месте, в согласии с порядком изложения, не следует много говорить о Божественности, чтобы стало понятно, что означает по отношению к Богу «говорить» и почему он (Моисей) раньше упоминает о Духе, чем о Слове. Да не усомнится никто, что все, излагаемое нами об этих вещах, взято нами из истинной и святой теологии.

30. Существуют четыре способа рассуждения, которые приводят человека к знанию о Творце: арифметические, музыкальные, геометрические и астрономические доказательства. Всеми этими средствами надлежит ненадолго воспользоваться в наших размышлениях о божественном, дабы искусство Творца было явлено в вещах и было рационально показано то, что мы излагаем.

Всякой инаковости предшествует единое, ибо единица предшествует двоице, которая является началом всякой инаковости. Ведь «иное» говорится, когда речь идёт о двух вещах. Единое предшествует всякой изменчивости, поскольку всякое изменение возникает из двоицы. Ибо ничто неспособно изменяться или двигаться, если оно неспособно пребывать сначала в одном состоянии, а затем в другом. Итак, этому разнообразию состояний предшествует единое: таким же образом оно предшествует и изменчивости.

³⁴ Энеида. VI, 724-726.

³⁵ Пс. 32, 6.

³⁶ Прем. 1, 7.

³⁷ В этих параграфах Теодорих демонстрирует особое, свойственное для Шартра отношение к авторитетам, сформулированное в знаменитом выражении «Nani gigantum humeris insidentes» (карлики, сидящие на плечах гигантов) и отображенное в не менее знаменитом витраже южного крыла трансепта шартрского собора с фигурами евангелистов на плечах четырех великих пророков. «Философы» (Гермес, Платон и Вергилий) предшествуют Евреям: Моисею, Давиду и Соломону. Эта последовательность, конечно, не случайна и заставляет вспомнить другой символический эпизод подобного рода: в XV в. в сиенском соборе был создан роскошный мраморный пол: прямо перед парадным входом, на первом месте в ряду языческих и христианских пророков была помещена внушительная фигура Гермеса Трисмегиста. Ренессансное отношение в древней мудрости, к *prisca theologia* хорошо известно, но у этого «откровения Гермеса Трисмегиста» (Фестюжьер) были средневековые предшественники.

³⁸ Скорее всего имеется в виду Фалес, поскольку он упоминается у Амвросия (Шестоднев. I, 2, 6. PL 14. Col. 135A)

³⁹ Вергилий. Георгики. IV, 380.

31. Но изменчивости подвержено всё сотворённое. Всё, что есть, есть либо вечное, либо сотворённое. И так как Единое предшествует всему сотворённому, необходимо, чтобы Единое было вечным. А вечное есть ничто иное, как Божественность. Следовательно, Единое есть сама Божественность.

Божественность же есть форма существования единичных вещей. И подобно тому, как нечто становится светлым от света или жарким от жара, так же и вещи приобретают свою сущность из Божественности. Поэтому верно говорится, что Бог сущностно есть всё и повсюду. Следовательно, Единое есть форма существования единичных вещей. Поэтому верно говорится: всё, что есть, существует потому, что едино.⁴⁰

32. Но когда мы говорим, что Божественность является формой существования для единичных вещей, мы не имеем в виду, что Божественность есть некая форма, существующая в материи, как форма треугольника, квадрата или чего-либо подобного.

Мы говорим так потому, что причастность Божественности составляет целокупную и единственно возможную сущность сотворённых вещей, так что сама материя существует благодаря причастности Божественности, а не Божественность возникает в материи, из неё или в ней.

Подобным же образом надлежит понимать то, что Единое является формой существования единичных вещей.

Далее, когда о Боге говорится в абсолютном смысле, без какого-либо определения, название Божественности прилагается к Ней самой. Если же Богу придаётся некое определение или о Нём говорится во множественном числе, то определение Божественности относится к тому, что причастно Ей.

33. Именно так надлежит употреблять слово «единое». Когда оно употребляется просто и без всякого определения, то прилагается к самой Божественности. Когда же о едином говорится с добавлением определения или во множественном числе, например *некое единое* или *две единицы*, или *три, дважды* или *трижды единое* или нечто подобное, тогда слово «единое» без сомнения прилагается к тому, что причастно ему.

Поэтому, философы, приписывая единому части, говорят не о сущности Единого, но приписывают части тому, что причастно Единому. Ведь согласно арифметическому расчёту единица неделима. Подобным же образом умножение единицы влечет за собой возникновение других чисел. По этой причине эти причастные истинной единице числа существуют и множатся.

34. Следовательно, у Единого может быть только одна субстанция и единственная сущность, которая является самой Божественностью и высшим благом. Единое же, которое, будучи умноженным, содержит числа, или единицы, из которых состоят числа, суть ничто иное как части истинного Единого, которые составляют суть вещей. И вещь существует до тех пор, пока остаётся причастной Единому. Как только она отделяется от Единого, претерпевает уничтожение.

Итак, Единое есть форма и основа существования, отделение же есть причина уничтожения. Из истинного Единого, которое есть Бог, возникает всякая множественность. В самом же Боге нет никакой множественности, поскольку нет в Нем числа.

35. Так как из числа возникают и вес, и мера, и место, и образ, и время, и движение, и всё, что существует через количество или качество, или отношение и что-либо иное, - так как, говорю я, все вышеназванное существует через число, необходимо, чтобы само Единое, т. е. Божественность превосходила бы всё вышеперечисленное по Своей природе.

Следовательно, Божественность не ограничивается весом, мерой, местом, образом, временем, движением, отношением чего-либо к чему-либо, но есть Единое, т. е. вечность и то, благодаря чему существуют вещи (*permanencia* от *per* <quod> *manent*), Оно есть начало и источник всего.

36. Поскольку Единое – творец всякого числа, а число бесконечно, то необходимо, чтобы могущество Единого также не имело бы конца. Значит, Единое всемогуще в сотворении чисел. Но ведь сотворение чисел и есть сотворение вещей.⁴¹

⁴⁰ Ср.: *Бозций*. Комментарий к Порфирию, I. PL. Vol. 64. Col. 83B. Рус. пер. Т. Ю. Бородай // *Бозций*. Утешение философией и другие трактаты / ред. Г. Г. Майоров. М., 1990. С. 24-25.

⁴¹ Об этой последней фразе, явно отсылающей к платоновской философии и, возможно, к Пифагору, ее значении и влиянии см.: *Brunner F. Creatio numerorum rerum est creatio // Mélanges René Crozet. Vol. 2. Poitiers, 1966. P. 719-725.* Пифагорейский привкус арифметических спекуляций на тему Троицы имел большой успех в XII-XIII вв., как позже у Николая Кузанского. *Jeuneau E. Lectio philosophorum... op. cit. P. 8-11.*

Следовательно, Единое всемогуще в сотворении вещей. А то, что всемогуще в сотворении вещей, есть единственное и само по себе всемогущее. Итак, Единое всемогуще. Тогда Единое необходимо является Божеством. О Едином сказано достаточно.

37. Теперь надлежит сказать о том, каким образом из Единого возникает Равное.⁴² В арифметике есть много различных способов образования одних чисел из других. Некоторые числа порождают другие из самих себя и своей субстанции, как двойка, умноженная сама на себя, даёт четвёрку, тройка девятку, и так же другие. Некоторые же числа возникают посредством других: так двойка с помощью тройки рождает шестёрку и так далее.

Сначала числа дают начало только квадратам или кубам, кругам или сферам, сохраняющим равенство размеров. И только затем эти числа производят <фигуры>, у которых одна часть длиннее или короче, т. е. такие, у которых стороны неравны.

38. Сначала возникают числа одной природы. Затем среди них появляется разнообразие. Вначале при возникновении чисел двойка рождает из себя двойное, тройка – тройное, четвёрка – четырёхкратное и также другие. В дальнейшем такой порядок в возникновении соблюдаться не может.

В отношении единицы можно обнаружить два способа возникновения. Умноженная на другие числа, она рождает все числа. Из себя же самой и из своей субстанции она не может породить ничего иного, как только равное себе, в то время как другие числа, умноженные на себя, рожают неравные себе числа. Единица же всегда остается только самой единицей.

39. У рождающего и рождённого одна и та же субстанция, каковой для них является истинное Единое. Единое же из самого себя не может породить ничего, кроме равной себе единицы. Ибо поскольку равное предшествует неравному, необходимо, чтобы предшествовало и возникновение равного.

А поскольку Единое порождает и то и другое (т. е. равное и неравное) и, умноженное на любое число, рождает неравное, то необходимо, чтобы оно рождало равное посредством того, что по природе предшествует всем числам. А это и есть само Единое. Следовательно, Единое из себя и своей субстанции не может произвести ничего иного, кроме равного себе.

40. Из того, что было сказано, ясно, что Равное, которое рождает Единое из себя и из своей субстанции, по природе предшествует всякому числу. Ведь так как рождение этого Равного относится к сущности Единого, Единое же предшествует всякому числу, то возникновение равного необходимо предшествует всякому числу. Таким образом, Равное и его возникновение по природе предшествуют всякому числу.

А всё, что предшествует всякому числу, как мы сказали выше, вечно. Следовательно, Равное Единому и происхождение этого Равного от Единого вечны. Но невозможно, чтобы было две или несколько вечных <сущностей>. Значит, Единое и Равное Единому – одно.

41. И хотя субстанция Единого и равного Ему совершенно (*penitus*) едина, однако, так как ничто не может родить самое себя, и быть рождающим – это одно свойство, каковое принадлежит Единому, а быть рождённым – другое, относящееся к Равному, то для обозначения этих свойств, принадлежащих Единому и Равному при сохранении между ними вечного единства боговдохновенные философы употребили слово лицо (*persona*). Так что сама вечная субстанция называется лицом Рождающего, поскольку Она Единое, лицо же Рождённого называется так потому, что Оно есть Равное.

Так как Единое – первая и единственная сущность всех вещей, Равное же является Равным для Единого, это Равное необходимо есть равенство существования вещей, т. е. вечный Образ, или Обозначение, или Определение, вне Которого или сверх Которого невозможно ничему быть.

Таким образом, это Равное Единому есть как бы Образ и Свет Единого.⁴³ Образ – ибо оно есть образ действия Единого в вещах. Свет – ибо оно то, чем все вещи различаются друг от друга. А все вещи отделяются друг от друга границей и пределом.

⁴² В своем комментарии на Бозция Теодорих использует термин *equalitas* (равенство, равное) в значении близком к «совершенному равновесию частей». *Commentum*. II, 39-42 / Ed. N. Häring. Toronto, 1971. P. 80-82. Однако там используется и бозциевское разделение *eternum* и *perpetuum*, а также понятие эманации (в отличие от более традиционной и менее «опасной» для богословия «причастности»). В результате этого роль Творца в системе мироздания выглядит несколько иной, чем в нашем «Трактате», где подчеркивается, что все творится Им *secundum physicam*. Следовательно, мир не есть просто зеркальный образ божества См.: *Chenu M.-D. Une définition pythagoricienne de la vérité au Moyen Âge // Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. Année 27. 1961. P. 7-13.*

⁴³ Послание к Евреям 1, 3.

42. А этот предел или Равное Единому древние философы называли иногда Разумом Божественности, иногда Провидением, а иногда Премудростью Творца. Это очень мудро, ведь если Божественность есть Единое, то само это Единое есть сущность (esse) всех вещей. Ибо Равное Единому есть некоторый образ бытия (modus), превыше которого и вне которого ничего не может быть.

Но этот образ бытия не может быть ничем иным, кроме как первой и вечной Премудростью. Она же есть то единственное, которым утверждается сущность каждой вещи и сверх которой или превыше которой ничто разумное не может существовать. От неё приобретают все вещи свои меры и формы.

В ней же содержатся определения (notiones) всех вещей. Ибо определение вещи заключается в её равенстве самой себе. Если же определение не полностью или с излишком покрывает <обозначаемую им> вещь, то его надлежит называть не определением, а ложным вымыслом (imaginatio). Как было сказано, необходимо, чтобы Равное Единому было Равенством существования вещей. Следовательно, равенство поистине составляет определение каждой вещи.

Если же определение не заключает в себе равенства, оно не должно называться определением вещи. Поэтому определением называется то, что является собственным описанием вещи, отличающим ее от других. Благодаря ему она не остается внутри себя и не выдается за свои пределы.

43. Подобно тому, как существование вещи происходит от Единого, её форма, образ, мера происходят от Равного Ему. Человек или что-либо подобное существуют до тех пор, пока они обладают целостностью. Если же они разделяются в себе, тотчас же гибнут.

Таким же образом из равенства того Единого, через которое существует человек, происходит его форма. Если же к Единому, через которое существует человек, прилагается нечто иное, или же от этого Единого что-либо отнимается, то оно не должно называться сущностью человека (humanitas). Если бы не было равенства существования в человеке, или камне, или чем-либо подобном, любая из этих вещей никоим образом не могла бы существовать.

Так как это равенство Единого содержит в себе определения вещей и порождает их из себя, оно подобным же образом порождает из себя и содержит в себе формы всех вещей. И подобно тому, как Единое рождает из себя все числа, Равное Единому производит из себя все отношения и неравенства между вещами. И в Него все разрешается.

44. Через Него же существуют меры, веса и все, что вообще есть. Ведь любая мера возникает либо из равенства, либо из неравенства. Но и в том, и в другом случае она необходимо возникает из равенства, ибо само неравенство возникает из равенства.

Более того: всякий образ (modus) есть среднее между большим и меньшим. Ведь то, что больше, превосходит его, а то, что меньше, не доходит до его пределов. Следовательно, образ есть равенство всех вещей. Но ведь всякая мера вещи возникает из образа, а следовательно из равенства. Так же следует рассуждать и о весах.

Но к чему доказывать это через единичные вещи? Напротив, следует утверждать то, что Равное Единому есть форма существования единичных вещей, во всеобщем смысле. Это легко постигнет тот, кто может объять быстротой разума бег тончайших частиц.

45. Таким образом, если Равное Единому есть равенство существования, а через равенство существования вещь существует и получает от него, как от некоего своего устава и вечного закона бытия, свои границы и пределы, то нет сомнения, что это Равное Единому – вечная форма существования вещей и их формальная причина, согласно которой Предвечный Зодчий образовал способ существования для всех вещей.

А так как Равное Единому есть равенство существования, как было сказано ранее, то очевидно, что это Равное есть истина каждой вещи. Ведь истина вещи есть ничто иное, как равенство ее существования, так что душа, постигающая ее, не находится ни ниже, ни выше ее пределов.

46. Если же душа в своем постижении создает понятие, которое либо превосходит, либо не покрывает саму вещь, возникает ложь, не имеющая субстанции, ибо истина есть первое бытие и первая сущность всех вещей. Тот, кто говорит истину, всегда говорит о том, что есть в самой вещи, тот же, кто лжет, выходит за пределы вещи.

А поскольку равенство истины таково, каким представило его вышеизложенное повествование, то отсюда очевидным образом следует, что это равенство есть Слово Божественной Сущности. Ибо Слово есть ничто иное, как предвечное предопределение Творца обо всех вещах: «то, что есть эта вещь», «какова она есть» и «поскольку есть» какова она по своему достоинству, по времени или по месту. А предопределение это и есть равенство существования вещей, выше или ниже которого ничто не может существовать.

47. Подобное же равенство есть равенство Единого. Истина есть вечный образ вещей и прочее, что вышеизложенное рассуждение приписывает равенству Единого. Следовательно, Слово есть равенство божественного Единства, а Единство – Божество. Единство же само рождает равенство Самому Себе. Значит, Божество есть Слово.

О рождении Слова некий великий философ сказал: *однажды сказал Бог*. Так он в кратких словах упомянул явно и о Единстве, и о Слове.

О равенстве Единого сказано достаточно. Теперь надлежит изъяснить согласно вышеупомянутым способам рассуждения, каким образом осуществляется взаимная связь между равенством и единством.

/ МАТЕРИАЛЫ К БАБЕЛЮ И БОРХЕСУ

БАБЕЛЬ

В подвале	245
Улица Данте.....	248
Дезертир	250
Дневник 1920 года	251
Эля Исаакович и Маргарита Прокофьевна	283
На поле чести	284
Из «Конармии»	285
Переход через Збруч	285
Медали.....	288
Мой первый гусь	289
Рабби	290
Путь в Броды	291
Учение о тачанке	292
Комбриг два	293
Кладбище в козине	294
Берестечко.....	294
Замостье	295
Сын рабби	296
Король	297
Гюи Де Мопассан	300
Отец	302
Мой первый гонорар.....	305
Шабос-нахаму.....	309
Справка	311
Закат	312
БОРХЕС	
Исаак Бабель.....	330
Смерть и буссоль	330
Эмма Цунц.....	334
Я еврей.....	336
Тайное чудо	336
Deutsches Requiem	339

БАБЕЛЬ

В подвале

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плавание на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги.

Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленишами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негодья. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негодья — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она придела меня, как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздвинулось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. На завтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, — не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на Судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбтому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока: он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», — протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем, — Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,
 Меня своим вниманьем удостоите.
 Не восхвалять я Цезаря пришел,
 Но лишь ему последний долг отдать.
 Так начинается игру Антоний.

Я задохся и прижал руки к груди.
 Мне Цезарь другом был, и верным другом,
 Но Брут его зовет властолюбивым,
 А Брут — достопочтенный человек...
 Он пленных приводил толпами в Рим,
 Их выкупом казну обогащая.
 Не это ли считать за властолюбье...
 При виде нищеты он слезы лил, —
 Так мягко властолюбье не бывает.
 Но Брут его зовет властолюбивым,
 А Брут — достопочтенный человек...
 Вы видели во время Луперкалий,
 Я трижды подносил ему венец,
 И трижды от него он отказался.
 Ужель и это властолюбье?..
 Но Брут его зовет властолюбивым,
 А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, — глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломались. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейкаха пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
 Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
 И всякий нищий им пренебрегает.
 Когда б хотел я возбудить к восстанью,
 К отмщению сердца и души ваши,
 Я повредил бы Кассию и Бруту,
 Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом кричал мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током Они теперь из ваших глаз польются. Всем этот плащ знаком. Я помню даже, где в первый раз его накинул Цезарь: То было летним вечером, в палатке. Где находился он, разбив неврийцев. Сюда проник нож Кассия; вот рана Завистливого Каски; здесь в него Вонзил кинжал его любимец Брут. Как хлынула потоком алым кровь, Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейкаха двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от

Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на волю, — это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрешила меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофе. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принести на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, — и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок, — сказала Бобка, — и где дитя находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

1930

Улица Данте

От пяти до семи гостиница наша «Hôtel Danton»¹ поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

— Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу... В этом никто нам не откажет...

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— On va refaire votre vie...²

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins³.

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare⁴ Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte Mailot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на

¹ Отель Дантон (фр.)

² Нужно переделать вашу жизнь... (фр.)

³ Винный рынок (фр.)

⁴ Вокзал Сен-Лазар (фр.)

Rue Royale⁵. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновение в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины:

— Oh, Jean...⁶

Я вычитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь, они поцеловали друг друга, девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнеся ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему» в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы *tailleur*⁷. Мосье Анриш англезировал Жермен, она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии — oh, Jean! — все оставлено было для Бьеналья.

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

Для всех пришедших издали этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда прошла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменял свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменяла день, но она переменяла и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее oh, Jean... и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а прорывав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой, отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках.

— Mon viex, вы дали отставку Жермен?..

— Cette femme est folle⁸, — ответил он и стал ежиться, — то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот, — все это не касается мадемуазель Жермен, все это песни не для нее... Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли... куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен...

Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— ...Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j'en ai plein le dos...⁹

Он повеселел в кафе «Де Пари» за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепаной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с Rue de la Gaité¹⁰. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнувшийся англичанин.

— Ah, canaille!¹¹ — сказал им вслед Бьеналь. — Два года назад с нее довольно было аперитива...

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналья и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель «Дантон», синие их плащи распахнулись в нашем ве-

⁵ Королевская улица (фр.)

⁶ О, Жан... (фр.)

⁷ Английский дамский костюм (фр.)

⁸ Эта женщина сумасшедшая (фр.)

⁹ О, у меня достаточно хлопот... (фр.)

¹⁰ Улица Веселья (фр.)

¹¹ А, каналья! (фр.)

стибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналья была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме *tailleur* и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые, в чулках до бедер, как пажы, — они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— *Voilà qui n'est pas gai*, — сказал я, входя, — *quell malheur!*¹²

— *C'est l'amour, monsieur... Elle l'aimait...*¹³

Под кружевцем вываливались лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— *L'amore*, — как эхо сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте. — *Dio cartiga qu-elli, chi non conoseono l'amore...*¹⁴

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— *L'amour*, — наступая на меня, повторила мадам Трюффо, — *c'est une grosse affaire, l'amour...*¹⁵

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— *Dio*, — произнесла синьора Рокка, — *tu non perdoni qu-elli, chi non ama...*¹⁶

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее ночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

Дезертир

Капитан Жемье был превосходнейший человек, к тому же философ. На поле битвы он не знал колебаний, в частной жизни умел прощать маленькие обиды. Это немало для человека — прощать маленькие обиды. Он любил Францию с нежностью, пожиравшей его сердце, поэтому ненависть его к варварам, осквернившим древнюю ее землю, была неугасима, беспощадна, длительна, как жизнь.

Что еще сказать о Жемье? Он любил свою жену, сделал добрыми гражданами своих детей, был французом, патриотом, книжником, парижанином и любителем красивых вещей.

И вот — в одно весеннее сияющее розовое утро капитану Жемье доложили, что между французскими и неприятельскими линиями задержан безоружный солдат. Намерение дезертировать было очевидно, вина несомненна, солдата доставили под стражей.

— Это ты, Божи?

— Это я, капитан, — отдавая честь, ответил солдат.

— Ты воспользовался зарей, чтоб подышать чистым воздухом?

Молчание.

— *C'est bien*¹⁷. Оставьте нас.

Конвой удалился. Жемье запер дверь на ключ. Солдату было двадцать лет.

¹² Вот кому невесело. Какой ужас! (фр.)

¹³ Это любовь, сударь... Она любила его... (фр.)

¹⁴ Любовь. Бог наказывает тех, кто не знает любви... (ит.)

¹⁵ Любовь... это великое дело, любовь... (фр.)

¹⁶ Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит... (ит.)

¹⁷ Хорошо (фр.).

— Ты знаешь, что тебя ожидает? *Vous*ons¹⁸, объяснись. Божи ничего не скрыл. Он сказал, что устал от войны.

— Я очень устал от войны, *mon capitaine*!¹⁹ Снаряды мешают спать шестую ночь...

Война ему отвратительна. Он не шел предавать, он шел сдаться.

Вообще говоря, он был неожиданно красноречив, этот маленький Божи. Он сказал, что ему всего двадцать лет, *mon Dieu, c'est nature*²⁰, в двадцать лет можно совершить ошибку. У него есть мать, невеста, *des bons amis*²¹. Перед ним вся жизнь, перед этим двадцатилетним Божи, и он заглядит свою вину перед Францией.

— Капитан, что скажет моя мать, когда узнает, что меня расстреляли, как последнего негодяя?

Солдат упал на колени.

— Ты не разжалобишь меня, Божи! — ответил капитан. — Тебя видели солдаты. Пять таких солдат, как ты, и рота отравлена. *C'est la defaite. Cela jamais*²². Ты умрешь, Божи, но я спасаю тебя в твою последнюю минуту. В мэрии не будет известно о твоём позоре. Матери сообщат, что ты пал на поле чести. Идем.

Солдат последовал за начальником. Когда они достигли леса, капитан остановился, вынул револьвер и протянул его Божи.

— Вот способ избежать суда. Застрелись, Божи! Я вернусь через пять минут. Все должно быть кончено.

Жемье удалился. Ни единый звук не нарушил тишину леса. Офицер вернулся. Божи ждал его сгорбившись.

— Я не могу, капитан, — прошептал солдат. — У меня не хватает силы...

И началась та же канитель — мать, невеста, друзья, впереди жизнь...

— Я даю тебе еще пять минут, Божи! Не заставляй меня гулять без дела.

Когда капитан вернулся, солдат всхлипывал, лежа на земле. Пальцы его, лежавшие на револьвере, слабо шевелились.

Тогда Жемье поднял солдата и сказал, глядя ему в глаза, тихим и душевным голосом:

— Друг мой, Божи, может быть, ты не знаешь, как это делается?

Не торопясь, он вынул револьвер из мокрых рук юноши, отошел на три шага и прострелил ему череп.

* * *

И об этом происшествии рассказано в книге Гастона Видаля. И действительно, солдата звали Божи. Правильно ли данное мною капитану имя Жемье — этого я точно не знаю. Рассказ Видаля посвящен некоему Фирмену Жемье в знак глубокого благоговения. Я думаю, посвящения достаточно. Конечно, капитана звали Жемье. И потом, Видаль свидетельствует, что капитан действительно был патриот, солдат, добрый отец и человек, умевший прощать маленькие обиды. А это немало для человека — прощать маленькие обиды.

Дневник 1920 года

Житомир. 3.6.20

Утром в поезде, приехал за гимнастеркой и сапогами. Сплю с Жуковым, Топольником, грязно, утром солнце в глаза, вагонная грязь. Длинный Жуков, прожорливый Топольник, вся редакционная коллегия — невообразимо грязные люди.

Дрянной чай в одолженных котелках. Письма домой, пакеты в Югоста, интервью с Поллаком, операция по овладению Новоградом, дисциплина в польской армии — слабеет, польская белогвардейская литература, книжечки папиросной бумаги, спички, до(украинские) жиды, комиссары, глупо, зло, бессильно, бездарно и удивительно неубедительно. Выписка Михайлова из польских газет.

Кухня в поезде, толстые солдаты с налитыми кровью лицами, серые души, удушливый зной в кухне, каша, полдень, пот, прачки толстоногие, апатичные бабы — станки — описать солдат и баб, толстых, сытых, сонных.

Любовь на кухне.

После обеда в Житомир. Белый, не сонный, а подбитый, притихший город. Ищу следов польской культуры. Женщины хорошо одеты, белые чулки. Костел.

Купаюсь у Нуськи в Тетереве, скверная речонка, старые евреи в купальне с длинными тощими ногами, обросшими седым волосом. Молодые евреи. Бабы на Тетереве полощут белье. Семья, красивая жена, ребенок у мужа.

Базар в Житомире, старый сапожник, синька, мел, шнурки.

Здания синагог, старинная архитектура, как все это берет меня за душу.

Стекло к часам 1200 р. Рынок. Маленький еврей философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые

¹⁸ Посмотрим (*фр.*).

¹⁹ Капитан (*фр.*).

²⁰ Мой бог, это естественно (*фр.*).

²¹ Хорошие друзья (*фр.*).

²² Поражение. Ну никогда (*фр.*).

туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р. Интересная старуха, злая, толковая, неторопливая. Как они все жадны к деньгам. Описать базар, корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни. Разговор с русской, пришедшей одолжить лоханку. Пот, чахлый чай, въедаюсь в жизнь, прощайте, мертвецы.

Зять Подольский, заморенный интеллигент, что-то о Профсоюзах, о службе у Буденного, я, конечно, русский, мать еврейка, зачем?

Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.

После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворнику, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца — прикололи, ксендз приставил к задней стене лестницу, таким способом спасались.

Заходит суббота, от тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный декаданс. Сам цадик — его широкоплечая, тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике, видны мещанские, но просторные комнаты. Все чинно, жена — обыкновенная еврейка, даже типа модерн.

Лица старых евреев. Разговоры в углу о дороговизне.

Я путаюсь в молитвеннике. Подольский поправляет. Вместо свечи — коптилка.

Я счастлив, огромные лица, горбатые носы, черные с проседью бороды, о многом думаю, до свиданья, мертвецы. Лицо цадика, никелевое пенсне.

— Откуда вы, молодой человек?

— Из Одессы.

— Как там живут?

— Там люди живы.

— А здесь ужас. Короткий разговор. Ухожу потрясенный.

Подольский, бледный и печальный, дает мне свой адрес, чудесный вечер. Иду, думаю обо всем, тихие, чужие улицы.

Кондратьев с черненькой еврейкой, бедный комендант в папахе, он не имеет успеха.

А потом ночь, поезд, разрисованные лозунги коммунизма (контраст с тем, что я видел у старых евреев).

Стук машин, своя электрическая станция, свои газеты, идет сеанс синемаатографа, поезд сияет, грохочет, толсто-мордые солдаты стоят в хвост у прачек (на два дня).

Житомир. 4.6.20

Утром — пакеты в Югроста, сообщение о житомирском погроме, домой, Орешникову, Нарбуту.

Читаю Гамсуна. Собельман рассказывает мне сюжет своего романа.

Новая рукопись Иова, старик, живший в столетиях, отсюда унесли ученики, чтобы симулировать вознесение, пресыщенный иностранец, русская революция.

Шульц, вот главное, сластолюбие, коммунизм, как мы берем у хозяев яблоки, Шульц разговаривает, его лысина, яблоки за пазухой, коммунизм, фигура Достоевского, тут что-то есть, тут надо выдумать, это неистощимое любопытствие, Шульц на улицах Бердичева.

Хелемская, у которой был плеврит, понос, пожелтела, грязный капот, яблочный мусс. Зачем ты здесь, Хелемская? Тебе надо выйти замуж, муж — техническая контора, инженер, аборт или первый ребенок, вот какова была твоя жизнь, твоя мать, ты брала раз в неделю ванну, твой роман Хелемская, и вот как тебе надо жить, и ты приспособишься к революции.

Открытие коммунистического клуба в редакции. Вот он пролетариат — эти из подполья невероятно чахлые еврейки и евреи. Жалкое, страшное племя, иди вперед. Описать потом концерт, женщины поют малороссийские песни.

Купание в Тетереве. Киперман, как мы ищем пищу. Что такое Киперман? Какой я дурак, замотал деньги. Он колеблется как тростина, у него большой нос, и он нервен, может быть, сумасшедший, однако обжулил, как он оттягивает уплату, заведует клубом. Описать его штаны, нос и неторопливый говор, мучения в тюрьме, страшный человек Киперман.

Ночь на бульваре. Погоня за женщинами. Четыре аллеи, четыре стадии: знакомство, беседа, возникновение желания, удовлетворение желания, внизу Тетерев, лекпом старый, который говорит, что у комиссаров все есть, и вино, но он благожелателен.

Я и украинская редакция.

Гужин, на которого сегодня пожаловалась Хелемская, ищут чего-нибудь получше. Я устал. И вдруг одиночество, течет передо мною жизнь, а что она обозначает.

Житомир. 5.6.20

Получил в поезде сапоги, гимнастерку. Еду на рассвете в Новоград. Машина Thornicroft. Все взято у Деникина. Рассвет на монастырском или школьном дворе. Спал на машине. В 11 часов в Новограде. Дальше на другом Thornicroft'e. Обходной мост. Город живее, развалины кажутся обычными. Беру мой чемодан. Штаб уехал на Корец. Одна из евреек родила, в лечебнице, конечно. Длинный и горбоносый просит службу, бегаёт за мной с чемоданом. Обещал завтра вернуться. Новоград — Звягель.

На грузовике снабженец в белой папахе, еврей и сутуловатый Морган. Ждем Моргана, он в аптеке, у братишки триппер. Машина идет из-под Фастова. Два толстых шофера. Летим, настоящий русский шофер, вытрясло все внутренности. Поспевает рожь, скачут ординарцы, несчастные, огромные запыленные грузовики, раздетые польские пухлые беловолосые мальчишки, пленные, польские носы.

Корец, описать, евреи у большого дома, ешиве бохер в очках, о чем они говорят, старики с желтыми бородами, сутуловатые коммерсанты, хилые, одинокие. Хочу остаться, но телефонисты сворачивают провода. Конечно, штаб уехал. Рвем яблоки и вишни. С бешеной скоростью дальше. Потом шофер, красный кушак, ест хлеб пальцами, запачканными машинным маслом. Не доезжая 6 верст — магнето залито маслом. Починка под палящим солнцем, пот и шоферы. Доезжаю на телеге с сеном (забыл — инспектор артиллерии Тимошенко (?) осматривает орудия в Кореце. Наши генералы). Вечер. Ночь. Парк в Тоше. Мчится Зотов с штабом, скачут обозы, штаб уехал на Ровно, тьфу ты, пропасть. Евреи, решаю остаться у Дувид Ученик, солдаты отговаривают, евреи просят. Умываюсь, блаженство, много евреев. Братья Ученика — близнецы? Раненые зовут знакомиться. Здоровые черти, ранены в мякоть ноги, сами передвигаются. Настоящий чай, ужинаю. Дети Ученика, маленькая, но многоопытная девочка с прищуренными глазами, трепещущая девушка 6 лет, толстая жена с золотыми зубами. Сидят вокруг меня, в доме тревога. Ученик рассказывает — ограбили поляки, потом эти налетели, с гиканьем и шумом, все разнесли, вещи жены.

Девочка — вы не еврей? Ученик сидит и смотрит, как я ем, на его коленях дрожит девочка. Она напугана, погребла и стрельба и ваши. Я говорю — будет хорошо, что такое революция, говорю от избытка. С нами плохо, нас будут грабить, не ложитесь спать.

Ночь, фонарь перед окном, еврейская грамматика, болит душа, волосы у меня свежие, свежая тоска. Пот от чаю. Подмога — Цукерман с винтовкой. Радиотелеграфист. Солдаты во дворе, гонят спать, хихикают. Подслушиваю: предчувствуют, становись, скошу косой.

Лови арестованную. Звезды, ночь над местечком. Казак высокий, с серьгой, с белым донышком шапки. Арестовали сумасшедшую Стасовой — тюфяк, поманила пальцем, идем, я тебе дам, у меня бы всю ночь работала, вилась, скакала бы да не бегала. Солдаты гонят спать. Ужинают — яичница, чай, жаркое, невообразимая грубость, развалилась у стола, хозяйка, дай. Ученик перед своим домом, выставили дежурного, комедия, иди спать, я сторожу свой дом. Страшная история с арестованной сумасшедшей. Ищут — убьют.

Не сплю. Я помешал, они сказали — все пропало.

Тяжелая ночь, дурак с поросычьим телом — радиотелеграфист. Грязные ногти и деликатное обхождение. Беседа о еврейском вопросе. Раненый в черной рубашке — молокосос и хам, старые евреи бегают, женщины в разгоне. Никто не спит. Какие-то девушки на крылечке, какой-то солдат спит на диване.

Пишу дневник. Есть лампа. Парк перед окном, проезжает обоз. Никто не ложится спать. Приехала машина. Морган ищет священника, я веду его к евреям.

Горынь, евреи и старухи у крылечек. Тоша ограблена, в Тоше чисто, Тоша молчит. Чистая работа. Шепотом — все забрали и даже не плачут, специалисты. Горынь, сеть озер и притоков, вечерний свет, здесь был бой перед Ровно. Разговоры с евреями, мое родное, они думают, что я русский, и у меня душа раскрывается. Сидим на высоком берегу. Покой и тихие вздохи за спиной. Иду защищать Ученика. Я им сказал, что у меня мать еврейка, история, Белая Церковь, раввин.

Ровно. 6.6.20

Спал тревожно, несколько часов. Просыпаюсь, солнце, мухи, постель хорошая, еврейские розовые подушки, пух. Солдаты стучат костылями. Снова — дай, хозяйка. Жареное мясо, сахар из граненой стопочки, сидят развалиясь, чубы свисают, одеты по-походному, красные штаны, папахи, обрубки ног висят молодцевато. У женщин кирпичные лица, бегают, все не спали. Дувид Ученик бледен, в жилетке. Мне — не уезжайте до того, как они здесь. Забирает фура. Солнце, напротив парк, фура ждет, уехали. Конец. Спас.

Вчера вечером прибыла машина. В 1 час едем из Тоши на Ровно. Горынь на солнце сияет. Гуляю утром. Оказывается, хозяйка не ночевала дома, прислуга с подругами сидела с солдатами, хотевшими ее изнасиловать, всю ночь до рассвета, кормила их беспрерывно яблоками, степенные разговоры, надоело воевать, хотим жениться, идите спать. Девочка кривоглазая разговорилась, Дувид одел жилет, талес, степенно молится, благодарит, на кухне мука, месят, зашевелились, прислуга толстоногая, босая, толстая еврейка с мягкой грудью убирает и беспрерывно рассказывает. Речи хозяйки — она за то, чтобы было хорошо. Дом оживает. Еду на Thornicroft'e в Ровно. Две павших лошади. Сломанные мосты, автомобиль на мостках, все трещит, бесконечные обозы, скопления, ругань, описать обоз в полдень перед сломанным мостом, всадники, грузовики, двуколки со снарядами. Наш грузовик мчится бешено, хотя он весь изломан, пыль.

Не доезжая 8 верст — стал. Вишни, сплю, потеем на солнце. Кузицкий, потешная фигурка, моментально гадает, раскладывает карты, фельдшер из Бородяниц, бабы платили за лечение натурой, жареными курицами и собой,

все тревожится — отпустит ли его начсанчасти, показывает действительные раны, когда сходит, хромает, бросил девицу на дороге в 40 верстах от Житомира, иди, она говорила, что за ней ухаживает наштадив. Теряет хлыстик, сидит полуголый, болтает, врет без удержу, карточка брата, бывшего штаб-ротмистра, теперь начдива, женатого на польской княгине, расстрелян деникинцами.

Я медик.

В Ровно пыль, пыльное золото расплавленное течет над скучными домишками.

Проходит бригада, Зотов в окне, ровенцы, вид казаков, изумительное спокойное, уверенное войско. Еврейские девицы и юноши следят с восхищением, старые евреи смотрят равнодушно. Дать воздух Ровно, что-то раздерганное, неустойчивое, и есть быт и польские вывески.

Описать вечер.

Хасты, черноволосая и хитрая девица, приехавшая из Варшавы, ведет, фельдшер, злое словесное зловоние, кокетство, вы у нас будете есть, умываюсь в проходной комнате, все неудобно, блаженство, я грязен и потен, потом горячий чай с моим сахаром.

Описать тот Хаст, сложная фурия, невыносимый голос, думаю, что я не понимаю по-еврейски, ссорятся беспрерывно, животный страх, отец — не простая вещь, улыбающийся фельдшер, лечит от трипперов (?), улыбается, невидим, но, кажется, вспылчив, мать — мы интеллигенты, у нас ничего нет, он же фельдшер, работник, пусть будут эти, но тихо, мы измучены, явление ошеломляющее — круглый сын с хитрой и идиотской улыбкой за стеклами круглых очков, вкрадчивая беседа, за мной ухаживают, масса сестер, все сволочи (?). Зубной врач, какой-то внук, с которым все разговаривают так же визгливо и истерически, как со стариками, приходят молодые евреи — ровенцы с плоскими и пожелтевшими от страха лицами и рыбьими глазами, рассказывают о польских издевательствах, показывают паспорта, был торжественный декрет о присоединении к Польше и Волыни, вспоминаю польскую культуру, Сенкевича, женщин, великодержавие, опоздали родиться, теперь классовое самосознание.

Даю стирать белье. Пью чай беспрерывно и потею зверски и всматриваюсь в Хастов внимательно, пристально. Ночь на диване. В первый раз со дня выезда разделся. Закрывают все ставни, горит электричество, духота страшная, там спит масса людей, рассказы о грабежах буденновцев, трепет и ужас, за окном фыркают лошади, по Школьной улице обозы, ночь,

Белёв. 11.7.20

Ночевал с солдатами штабного эскадрона, на сене. Спал плохо, думаю о рукописях. Тоска, упадок энергии, знаю, что превозмогу, когда это будет? Думаю о Хастах, гниды, вспоминаю все, и эти вонючие души, и бараньи глаза, и высокие скрипучие неожиданные голоса, и улыбающийся отец. Главное — улыбка и он, вспылчивый, и много тайн, смердящих воспоминаний о скандалах. Огромная фигура мать, она зла, труслива, обжорлива, отвратительна, остановившийся, ожидающий взор. Гнусная и подробная ложь дочери, смеющиеся глаза сына из-под очков.

Слоняюсь по селу. Еду в Клевань, местечко взято вчера 3-й кавбригадой 6-й дивизии. Наши разъезды появились на линии шоссе Ровно — Луцк, Луцк эвакуируется.

8–12-го тяжелые бои, убит Дундич, убит Щадилов, командир 36-го полка, пало много лошадей, завтра будем знать точно.

Приказы Буденного об отобрании у нас Ровно, о невероятной усталости частей, о том, что яростные атаки наших бригад не дают прежних результатов, беспрерывные бои с 27 мая, если не дадут передышки — армия сделается небоеспособной.

Не рано ли издавать такой приказ? Разумно, будят тыл — Клевань. Похороны 6 или 7 красноармейцев. Поехал за тачанкой. Похоронный марш, на обратном пути с кладбища — походный бравурный марш, процессии не видно. Столяр — бородатый еврей — бегаёт по местечку, он сколачивает гробы.

Главная улица — тоже Schossowa²³.

Моя первая реквизиция — записная книга. Со мной ходит служка Менаше. Обедаю у Мудрика, старая песня, евреи разграблены, недоумение, ждали советскую власть как избавителей, вдруг крики, нагайки, жида. Меня обступил целый круг, я им рассказываю о ноте Вильсону, об армиях труда, еврейчики слушают, хитрые и сочувственные улыбки, еврей в белых штанах лечился в сосновом лесу, хочет домой. Евреи сидят на завалинках, девицы и старики, мертво, знойно, пыльно, крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи, вот что туманит душу.

Полковник Горов выбран населением, — войт²⁴ — 60 лет, дореформенная благородная крыса. Говорим об армии, о Брусилове, если Брусилов пошел, чего же нам думать. Седые усы, шамкает, бывший человек, курит самодельный табак, живет в управлении, старика жалко.

Писарь в волостном управлении, красивый хохол, идеальный порядок, переучивался по-польски, показывает

²³ Шоссейная (польск.).

²⁴ Войт — староста, городской голова (польск.).

мне книги, статистику в волости — 18600 человек, из них 800 человек поляков, хотели присоединить к Польше, торжественный акт о присоединении к польскому государству.

Писарь тоже дореформенный, в бархатных штанах, с хохлацкой мовой, тронутый новым временем, усики.

Клевань, его дороги, улицы, крестьяне и коммунизм далеко друг от друга.

Хмелеводство, много рассадников, четырёхугольные зеленые стены, сложная культура.

У полковника — голубые глаза, у писаря — шелковистые усы.

Ночь, работа штаба в Белёве. Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства? Трогательная дружба двух братьев. Константин и Михайло. Жолнаркевич — старый служака, точный, работоспособный без надрыва, энергичный без шума, польские усы, польские тонкие ноги. Штаб — это Жолнаркевич, еще 3 писаря, заматывающихся к ночи.

Колоссальное дело, расположение бригад, нет припасов, самое главное — операционные направления, делается незаметно. Ординарцы спят на земле у штаба. Горят тонкие свечки, наштадив в шапке отирает лоб и диктует, диктует непрерывно — оперсводки, приказания, Артдивизиону, Плетарму, держим направление на Луцк.

Ночь, сплю на сене рядом с Лепиным, латышом, бродят оторвавшиеся кони, выхватывают сено из-под головы.

Белёв. 12.7.20

Утром — начал журнал военных действий, разбираю оперсводки. Журнал — будет интересная штука.

После обеда еду верхом на лошади ординарца Соколова (больного возвратным тифом, он лежит рядом на земле в кожаной куртке, худой и породистый, с плетью в исхудавшей руке, ушел из госпиталя, не кормили, и было скучно, лежал больной в эту страшную ночь оставления Ровно, весь был залит водой, длинный, шатается, любопытно разговаривает с хозяевами, но и повелительно, точно все мужики его враги). Шпаков, чешская колония. Богатый край, много овса и пшеницы, еду через деревни — Пересопница, Милостово, Плоски, Шпаково. Есть льнянка, из нее подсолнечное масло, и много гречихи.

Богатые деревни, жаркий полдень, пыльные дороги, прозрачное небо без облака, лошадь ленивая, хлещу — бежит. Первая моя поездка верхом. В Милостове — беру подводу Шпакова — еду за тачанкой и лошадьми с предписанием от штаба дивизии.

Мягкосердечие. С восхищением вглядываюсь в нерусскую, чистую, крепкую жизнь чехов. Хороший староста, по всем направлениям скачут всадники, каждый раз новые требования, сорок подвод сена, 10 свиней, агенты Опродкома — хлеба, квитанция у старосты — овес получили — спасибо. Разведком 34-го полка.

Крепкие избы сияют на солнце, черепица, железо, камень, яблоки, каменное здание школы, полугородского типа женщины, яркие передники. Идем к мельнику Юрипову, самый богатый и интеллигентный, высокий красивый типичный чех с западноевропейскими усами. Прекрасный двор, голубятня, это умиляет меня, новые мельничные машины, бывшее благосостояние, белые стены, обширный двор, одноэтажный просторный светлый дом и комната — хорошая, вероятно, семья у этого чеха, отец — жилистый бедняк, — все добрые, крепкий сын с золотыми зубами, стройный и широкоплечий. Хорошая, наверное, молодая жена и дети.

Усовершенствованная, конечно, мельница.

Чех набит квитанциями. Забрали четырех лошадей и дали записки в Ровенский уездный комиссариат, забрали фаэтон, дали взамен разломанную тачанку, квитанции три на муку и овес.

Приходит бригада, красные знамена, мощное спянное тело, уверенные командиры, опытные, спокойные глаза чубатых бойцов, пыль, тишина, порядок, оркестр, рассасываются по квартирам, комбриг кричит мне — ничего не брать отсюда, здесь наш район. Чех беспокойными глазами следит за мотающимся в отдалении молодым ловким комбригом, вежливо разговаривает со мной, отдает сломанную тачанку, но она рассыпается. Я не проявляю энергии. Идем во второй, в третий дом. Староста указывает, где можно взять. У старика действительно фаэтон, сын жужжит над ухом, сломано, передок плохой, думаю — есть у тебя невеста или едете по воскресеньям в церковь, жарко, лень, жалко, всадники рыщут, так выглядит сначала свобода. Ничего не взял, хотя и мог, плохой из меня буденновец.

Обратно, вечер, во ржи поймали поляка, как на зверя охотятся, широкие поля, алое солнце, золотой туман, колышутся хлеба, в деревне гонят скот, розовые пыльные дороги, необычайной нежной формы, из краев жемчужных облаков — пламенные языки, оранжевое пламя, телеги поднимают пыль.

Работаю в штабе, (лошадь скакала здорово), иду спать рядом с Лепиным. Он латыш, морда туповатая, поросычья, очки, кажется, добр. Генштабист.

Острит тупо и неожиданно. Бабка, когда ты умрешь, и вцепился.

В штабе нет керосина. Он говорит — мы стремимся к свету, у нас нет освещения, буду играть с деревенскими девушками, протянул руку, не пускает, морда напряженная, свиньячья губа вздрагивает, очки шевелятся.

Белёв. 13.7.20

Я именинник. 26 лет. Думаю о доме, о своей работе, летит моя жизнь. Нет рукописей. Тупая тоска, буду превозмогать. Веду свой журнал, будет интересная вещь.

Писаря красивые молодые, штабные русские молодые люди поют арии из опереток, развращены немного штабной работой. Описать ординарцев — наштадива и прочих — Черкашин, Тарасов, — барахольщики, лизоблюды, льстецы, обжоры, лентяи, наследие старого, знают господина.

Работа штаба в Белёве. Хорошо налаженная машина, прекрасный начальник штаба, машинная работа и живой человек. Открытие — поляк, убрали его, по требованию начдива вернули, любим всеми, хорошо живет с начдивом, что он чувствует? И не коммунист, и поляк, и служит верно, как цепная собака, разбери. Об операциях. Где стоят наши части. Операция на Луцк. Состав дивизии, комбриги.

Как протекает работа штаба — директива, потом приказ, потом оперативная сводка, потом разведсводка, тащим политотдел, ревтрибунал, конский запас.

Еду в Ясиневици обменять экипаж на тачанку и лошадей. Пыль невероятная, жара. Едем через Пересопницу, отрада в полях, 27-й год, думаю, готова рожь, ячмень, местами очень хорош овес, мак отцветает, вишен нет, яблоки неспелые, много льянки, гречихи, много вытопанных полей, хмель.

Богатая, но в меру, земля.

Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична, привозят из отдела снабжения, разломал стол, но достал. Дьяков, его любит команда, командир у нас геройский, был атлетом, полуграмотен, теперь «я инспектор кавалерии», генерал, Дьяков — коммунист, смелый старый буденновец. Встретился с миллионером, дама под ручкой, что, господин Дьяков, не встречался ли я с вами в клубе? Был в 8-ми государствах, выйду на сцену, моргну.

Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, каждый раз теряет их, одолела, говорит, канцелящина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты.

Тачанка и пара тощих лошадей, о лошадях.

К Дьякову с требованиями, уф, заморился, раздавать белье, все в затылок, отношения отеческие, ты будешь (больному) старшим гуртовщиком. Домой. Ночь. Штабная работа.

Живем в доме матери старосты. Веселая хозяйка говорит скороговоркой, подол подоткнут, работает как муравей на своих, да еще на 7 человек. Черкашин (ординарец Лепина) наглый и надоедливый, не дает покоя, всё мы требуем, какие-то дети шляются, сено забираем, в хате, полной мух, детей, стариков, невеста, толкутся солдаты и горланят. Старуха больна. Старики приходят в гости и горестно молчат, лампочка.

Ночь, штаб, выпренный телефонист, К. Карлыч пишет донесения, ординарцы, дежурные писаря спят, на деревне ни зги, сонный писарь стучит приказ, К. Карлыч точный как часы, молчаливо приходят ординарцы.

Операция на Луцк. Ведет 2-я бригада, пока не взяли. Где наши передовые части?

Белёв. 14.7.20

С нами живет Соколов. Лежит на сене, длинный, русский, в кожаных сапогах. Румяный орловец, безобидный парень Миша. Лепин, когда никто не видит, заигрывает с наймишкой, тупое, напряженное лицо, наша хозяйка говорит скороговоркой, присказки, работает без устали, старуха свекровь — высохшая старушонка, любит ее, Черкашин, ординарец Лепина, понукает, сыпет не замолкая.

Лепин заснул в штабе, совершенно идиотское лицо, никак не может проснуться. На деревне стон, меняют лошадей, дают одров, травят хлеба, забирают скот, жалобы начальнику штаба, Черкашина арестовывают, избил плетью мужика. Лепин 3 часа пишет письмо в Трибунал, Черкашин, мол, находился под влиянием возмутительно провокационных выходок красного офицера Соколова. Не советую — 7 солдат в одной хате.

Злой и тощий Соколов говорит мне — мы всё уничтожаем, ненавижу войну.

Почему все они — Жолнаркевич, Соколов здесь на войне? Все это бессознательно, инертно, недуманье. Хороша система.

Франк Мошер. Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны. Что говорят западноевропейским солдатам? Русский империализм, хотят уничтожить национальности, обычаи — вот главное, захватить все славянские земли, какие старые слова. Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет — судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление.

Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летний Грищук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому (он из Кре-менецкого уезда), не пускают, молчит.

Начдив Тимошенко в штабе. Колоритная фигура. Колосс, красные полукожаные штаны, красная фуражка, строг, из взводных, был пулеметчиком, артиллерийский прапорщик в прошлом. Легендарные рассказы. Комиссар 1-й бригады испугался огня, ребята на коней; начал бить плетью всех начальников, Книгу, полковых, стреляет в комиссара, на коней, суки, гонится, 5 выстрелов, товарищи, помогите, я тебе дам, помогите, прострелил руку, глаз, осечку револьвер, а я комиссара отчитал, электризует казаков, буденновец, с ним ехать на позиции, или поляки убьют, или он убьет.

2-я бригада атакует Луцк, к вечеру отошла, противник контратакует, большие силы, хочет пробиться на Дубно, Дубно занято нами.

Сводка — взят Минск, Бобруйск, Молодечно, Проскурров, Свенцяны, Сарны, Старо-Константинов, подходят к Галиции, где будет к. маневр — на Стыри или Буге. Ковель эвакуируется, большие силы во Львове, показание Мошера. Будет удар.

Благодарность начдива за бои перед Ровно. Привести приказ.

Деревня, глухо, огонь в штабе, арестованные евреи. Буденновцы несут коммунизм, бабка плачет. Эх, тускло живут россияне. Где украинская веселость? Начинается жатва. Поспевает мак, где бы взять зерно для лошадей и вареники с вишнями.

Какие дивизии левее?

Мошер босой, полдень, тупой Лепин.

Белёв. 15.7.20

Допрос перебежчиков. Показывают наши листовки. Велика их сила, листовки помогают казакам.

Любопытный у нас комиссар — Бахтуров, боевой, толстый, ругатель, всегда на позициях.

Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?

Надо брать оперативные сводки у Лепина, это — мука. Штаб помещается в доме крещеного еврея.

Ординарцы стоят ночью у здания штаба.

Начинают косить. Я учусь распознавать растения. Завтра именины сестры.

Описание Волыни. Гнусно живут мужики, грязно, едим, лирический Матяш, бабник, даже когда со старухой говорит и то протяжнее.

Лепин ухаживает за наймичкой.

Наши части в 1½ верстах от Луцка. Армия готовится к конному наступлению — сосредотачивает силы во Львове, подвозит к Луцку.

Взяли воззвание Пилсудского — Воины Речи Посполитой. Трогательное воззвание. Могилы наши белеют костями пяти поколений борцов, наши идеалы, наша Польша, наш светлый дом, ваша родина смотрит на вас, трепещет, наша молодая свобода, еще одно усилие, мы помним о вас, всё для вас, солдаты Речи Посполитой.

Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов — нет посулов, и слова — порядок, идеалы, свободная жизнь. Наша берет!

Новоселки. 16.7.20

Получен приказ армии — захватить переправы на реке Стыри на участке Рожиче — Яловичи.

Штаб переходит в Новоселки, 25 верст. Еду с начдивом, штабной эскадрон, скачут кони, леса, дубы, тропинки, красная фуражка начдива, его мощная фигура, трубачи, красота, новое войско, начдив и эскадрон — одно тело.

Квартира, молодые хозяйева и богатые довольно, есть свиньи, корова, одно слово — немає²⁵.

Рассказ Жолнаркевича о хитром фельдшере. Две женщины, надо справиться. Дал одной касторки, когда ее схватило — направился к другой.

Страшный случай, солдатская любовь, двое здоровых казаков сторговались с одной — выдержишь, выдержу, один три раза, другой полез — она завертелась по комнате и загадила весь пол, ее выгнали, денег не заплатили, слишком была старательная.

О буденновских начальниках — кондотьеры или будущие узурпаторы? Вышли из среды казаков, вот главное — описать происхождение этих отрядов, все эти Тимошенки, Буденные сами набирали отряды, главным образом — соседи из станицы, теперь отряды получили организацию от Соввласти.

Приказ по дивизии выполняется, сильная колонна движется из Луцка на Дубно, эвакуация Луцка, очевидно, отменяется, туда прибывают войска и техника.

У молодых хозяев — она высокая, со следами деревенской красоты, копается среди 5-ти детей, валяющихся на лавке. Любопытно — каждый ребенок ухаживает за другим, мама, дай ему цигки. Мать — стройная и красная, лежит строго среди этих копошащихся детей. Муж добр. Соколов: этих щенят надо перестрелять, зачем плодить. Муж: из маленьких будут большие.

Описать наших солдат — Черкашина (сегодня явился маленько ущемленный из Трибунала) — наглого, длинного, испорченного, какой он житель коммунистической России, Матяш, хохол, беспредельно ленивый, охочий до баб, всегда в какой-то истоме, с расшнурованными сапогами, ленивые движения, ординарец Соколова — Миша, был в Италии, красивый, неряшливый.

Описать — поездка с начдивом, небольшой эскадрон, свита начдива, Бахтуров, старые буденновцы, при выступлении — марш.

Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую — 20 тысяч. Ежели поднимется, значит, это лошадь.

²⁵ Ничего нет (укр.).

Берут свиней, кур, деревня стонет. Описать наше снабжение. Сплю в хате. Ужас их жизни. Мухи. Исследование о мухах, мириады. Пятеро маленьких, кричащих, несчастных.

Продовольствие от нас скрывают.

Новоселки. 17.7.20

Начинаю военный журнал с 16/VII. Еду в Полжу — Политотдел, там едят огурцы, солнце, спят босые за стогами сена. Яковлев обещает содействие. День проходит в работе.

У Лепина вспухла губа. У него покатые плечи. Тяжело с ним. Новая страница — изучаю оперативную науку.

Возле одной из хат — зарезанная теля. Голубоватые соски на земле, кожа только. Неописуемая жалость! Убитая молодая мать.

Новоселки — Мал. Дорогостай. 18.7.20

Польская армия сосредотачивается в районе Дубно — Кременец для решительного наступления. Мы парализуем маневр, предупредим. Армия переходит в наступление на южном участке, наша дивизия в армейском резерве. Наша задача — захватывать переправы через Стырь в районе Луцка.

Выступаем утром в Мал. Дорогостай (севернее Млынова), обоз оставляем, больных и административный штаб тоже, очевидно, предстоит операция.

Получен приказ из югзапфронта, когда будем идти в Галицию — в первый раз советские войска переступают рубеж, — обращаться с населением хорошо. Мы идем не в завоеванную страну, страна принадлежит галицийским рабочим и крестьянам, и только им, мы идем им помогать установить советскую власть. Приказ важный и разумный, выполнят ли его барахольщики? Нет.

Выступаем. Трубачи. Сверкает фуражка начдива. Разговор с начдивом о том, что мне нужна лошадь. Едем, леса, пашни жнут, но мало, убого, кое-где по две бабы и два старика. Волынские столетние леса — величественные зеленые дубы и грабы, понятно, почему дуб — царь.

Едем тропинками с двумя штабными эскадронами, они всегда с начдивом, это отборные войска. Описать убранство их коней, сабли в красном бархате, кривые сабли, жилетки, ковры на седлах. Одеты убого, хотя у каждого по 10 френчей, такой шик, вероятно.

Пашни, дороги, солнце, созревает пшеница, топчем поля, урожай слабый, хлеба низкорослые, здесь много чешских, немецких и польских колоний. Другие люди, благосостояние, чистота, великолепные сады, объедаем несозревшие яблоки и груши, все хотят на постой к иностранцам, ловлю и себя на этом желании, иностранцы запуганы.

Еврейское кладбище за Малином, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское население, все повторяется, теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм.

Все чаще и чаще встречаются окопы старой войны, везде проволока, ее хватит для заборов еще лет на 10, разоренные деревни, везде строятся, но слабо, нет ничего, никаких материалов, цемента.

На привалах с казаками, сено лошадям, у всех длинная история — Деникин, свои хутора, свои предводители, Буденные и Книги, походы по 200 человек, разбойничьи налеты, богатая казацкая вольница, сколько офицерских голов порублено. Газету читают, но как слабо западают имена, как легко все повернуть.

Великолепное товарищество, спаянность, любовь к лошадям, лошадь занимает ¼ дня, бесконечные мены и разговоры. Роль и жизнь лошади.

Совершенно своеобразное отношение к начальству — просто, на «ты».

М. Дорогостай разрушено было совершенно, строится.

Въезжаем в сад к батюшке. Берем сено, едим фрукты, тенистый, солнечный прекрасный сад, белая церковка, были коровы, лошади, попик в косичке растерянно ходит и собирает квитанции. Бахтуров лежит на животе, ест простоквашу с вишнями, дам тебе квитанции, право, дам.

У попа объели на целый год. Погибает, говорят, он просится на службу, есть у вас полковые священники?

Вечером на квартире. Опять немае — все врут, пишу журнал, дают картошку с маслом. Ночью в деревне, огромный багровый пламенный круг перед глазами, из разоренного села сбегают желтые пашни. Ночь. Огоньки в штабе. Всегда огоньки в штабе, Карл Карлович диктует приказание наизусть, никогда ничего не забывает, понутив головы, сидят телефонисты. Карл Карлович служил в Варшаве.

М. Дорогостай — Сморгва — Бережцы. 19.7.20

Ночь спал плохо. Рези в желудке. Вчера ели зеленые груши. Чувствую себя скверно. Выезжаем на рассвете.

Противник атакует на участке Млынов — Дубно. Мы ворвались в Радзивиллов.

Сегодня на рассвете решительное наступление всех дивизий — от Луцка до Кременца. 5-я, 6-я дивизии — сосредоточены в Сморгве, достигнуто Козино.

Берем, значит, на юг.

Выступаем из М. Дорогостай. Начдив здоровается с эскадронами, лошадь трепещет. Музыка. Вытягиваемся по дороге. Невыносимая. Идем через Млынов — Бережцы, в Млынов нельзя заехать, а это еврейское местечко. Подъ-

езжаем к Бережцы, канонада, канцелярия поворачивает назад, пахнет мазутом, по откосам ползут отряды кавалерии. Смордва, дом священника, заплаканные провинциальные барышни в белых чулках, давно таких не видел, раненая попадья, хромая, жилистый поп, крепкий дом, штадив и начдив 14, ждем прибытия бригад, наш штаб на возвышенности, поистине большевистский штаб — начдив Бахтуров, военкомы. Нас обстреливают, начдив молодец — умен, напорист, франтоват, уверен в себе, сообразил обходное движение на Бокунин, наступление задерживается, распоряжения бригадам. Прискакали Колесов и Книга (знаменитый Книга, чем он знаменит). Великолепная лошадь Колесова, у Книги лицо хлебного приказчика, деловитый хохол. Приказания быстры, все советуются, обстрел увеличивается, снаряды падают в 100 шагах.

Начдив 14 пожиже, глуп, разговорчив, интеллигент, работает под буденновца, ругается непрерывно, я дерусь всю ночь, не прочь прихвастнуть. Длинными лентами извиваются на противоположном берегу бригады, обстрел обозов, столбы пыли. Буденновские полки с обозами, с коврами по седлам.

Мне все хуже. У меня 39 и 8. Приезжают Буденный и Ворошилов.

Совещание. Пролетает начдив. Бой начинается. Лежу в саду у батюшки. Грищук апатичен совершенно. Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убежит.

Знает, что такое начальство, немцы научили.

Начинают прибывать раненые, перевязки, голые животы, долготерпение, нестерпимый зной, обстрел с обеих сторон непрерывный, нельзя забыть. Буденный и Ворошилов на крылечке. Картина боя, возвращаются кавалеристы, запыленные, потные, красные, никаких следов волнения, рубал, профессионалы, все протекает в величайшем спокойствии — вот особенность, уверенность в себе, трудная работа, мчатся сестры на лошадях, броневик Жгучий. Против нас — особняк графа Ледоховского, белое здание над озером, невысокое, некричащее, полное благородства, вспоминаю детство, романы, — много еще вспоминаю. У фельдшера — жалкий красивый молодой еврей — может быть, получал жалованье у графа, сер от тоски. Извините, как положение на фронте? Поляки издевались и мучили, он думает, что теперь настанет жизнь, между прочим, казаки не всегда хорошо поступают.

Отзвуки боя — скачущие всадники, донесения, раненые, убитые.

Сплю у церковной ограды. Какой-то комбриг спит, положив голову на живот какой-то барышни.

Вспотел, полегчало. Еду в Бережцы, там канцелярия, разоренный дом, пью вишневый чай, ложусь в хозяйкину постель, потею, порошок аспирина. Хорошо бы поспать. Вспоминаю — у меня жар, зной, у церковной ограды солдаты с воем, а другие с хладнокровием, припускают жеребцов.

Бережцы, Сенкевич, пью вишневый чай, лег на пружинный матрац, ребенок какой-то задыхается рядом. Забылся часа на два. Будят. Я пропотел. Едем ночью обратно в Смордву, оттуда дальше, опушка леса. Поездка ночью, луна, где-то впереди эскадрон.

Избушка в лесу. Мужики и бабы спят вдоль стен. Константин Карлович диктует. Картина редкая — вокруг спит эскадрон, все во тьме, ничего не видно, из лесу тянет холодом, натыкаюсь на лошадей, в штабе — едят, больной ложусь у тачанки на землю, сплю 3 часа, укрытый шалью и шинелью Барсукова, хорошо.

20.7.20. Высоты у Смордвы. Пелча

Выступаем в 5 часов утра. Дождь, сыро, идем лесами. Операция идет успешно, наш начдив верно указал путь обхода, продолжаем загибать. Промокли, лесные дорожки. Обход через Бокуйку на Пелчу. Сведения, в 10 часов взята Добрыводка, в 12 часов после ничтожного сопротивления Козин. Мы преследуем противника, идем на Пелчу. Леса, лесные дорожки, эскадроны выются впереди.

Здоровье мое лучше, неисповедимыми путями.

Изучаю флору Волынской губернии, много вырублено, вырубленные опушки, остатки войны, проволока, белые окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги в лесу, ясень.

По лесным тропинкам в Пелчу. Приезжаем к 10 часам. Опять село, хозяйка длинная, скучно — немае, очень чисто, сын был в солдатах, дает нам яиц, молока нет, в хате невыносимо душно, идет дождь, размывает все дороги, черная глючающая грязь, к штабу не подойти. Целый день сижу в хате, тепло, там дождь за окном. Как скучна и пресна для меня эта жизнь — цыплята, спрятанная корова, грязь, тупость. Над землей невыразимая тоска, все мокро, черно, осень, а у нас в Одессе...

В Пелче захватили обоз 49-го польского пехотного полка. Дележ под окном, совершенно идиотская ругань, при том подряд, другие слова скучны, их не хочется произносить, о ругани, Спаса мать, гада мать, крестьянки ежатся, Бога мать, дети спрашивают, — солдаты ругаются. Бога мать. Застрелю, бей.

Мне достается бумажный мешок и сумка к седлу. Описать эту мутную жизнь. Хлопец не идет работать на поле. Сплю на хозяйской кровати. Узнали о том, что Англия предложила мир Сов. России с Польшей, неужели скоро кончим?

21.7.20. Пелча — Боратин

Нами взят Дубно. Соппротивление, несмотря на то, что мы говорим — ничтожное. В чем дело? Пленные говорят и видно — революция маленьких людей. Много об этом можно сказать, красота фронтона Польши, есть трогатель-

ность, моя графиня. Рок, гонор, евреи, граф Ледоховский. Пролетарская революция. Как я вдыхаю запах Европы — идущий оттуда.

Выезжаем в Боратин через Добрыводка, леса, поля, тихие очертания, дубы, опять музыка и начдив, и сбоку — война. Привал в Жабокриках, ем белый хлеб. Грищук кажется мне иногда ужасным — забит? Немцы, эта жующая челюсть.

Описать Грищука.

В Боратине — крепкое, солнечное село. Хмиль, смеющийся дочке, молчаливый, но богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота, отхожу от болезни, для меня все крестьяне на одно лицо, молодая мать. Грищук сияет, ему дали яичницу с салом, прекрасная, тенистая клуня, клевер. Отчего Грищук не убегает?

Прекрасный день. Мое интервью с Константином Карловичем. Что такое наш казак? Пласты: барахольство, удалство, профессионализм, революционность, зверина жестокость. Мы авангард, но чего? Население ждет изобретателей, евреи свободы — приезжают кубанцы...

Командарм вызывает начдива на совещание в Козин. 7 верст. Еду. Пески. Каждый дом остался в сердце. Кучки евреев. Лица, вот гетто, и мы старый народ, измученные, есть еще силы, лавка, пью кофе великолепный, лью бальзам на душу лавочника, прислушивающегося к шуму в лавке. Казаки кричат, ругаются, лезут на полки, несчастная лавка, потный рыжебородый еврей... Брожу без конца, не могу оторваться, местечко было разрушено, строится, существует 400 лет, остатки синагоги, великолепный разрушенный старый храм, бывший костел, теперь церковь, очаровательной белизны, в три створки, видный издали, теперь церковь. Старый еврей — я люблю говорить с нашими — они меня понимают. Кладбище, разрушенный домик рабби Азраила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом, эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания, этот замученный еврей — мой проводник, какая-то семья тупых толстоногих евреев, живущих в деревянном сарае при кладбище, три гроба евреев солдат, убитых в русско-германскую войну. Абрамовичи из Одессы, хоронить приезжала мать, и я вижу эту еврейку, хоронящую сына, погибшего за противное ей непонятное, преступное дело.

Новое и старое кладбище — местечку 400 лет.

Вечер, хожу между строениями, евреи и еврейки читают афиши и прокламации, Польша — собака буржуазии и прочее. Смерть от насекомых и не уносите печей из теплушек.

Евреи — портреты, длинные, молчаливые, длиннорылые, не наши толстые и jovial²⁶. Высокие старики, шатающиеся без дела. Главное — лавка и кладбище.

7 верст обратно в Боратин, прекрасный вечер, душа полна, богатые хозяева, лукавые девушки, яичница, сало, наши гоняют мух, русско-украинская душа. Мне, верно, не интересно.

22.7.20. Боратин

До обеда — доклад в Полештарм. Хорошая солнечная погода, богатое, крепкое село, иду на мельницу, что такое водяная мельница, еврей служба, потом купаюсь в холодной мелкой речке под нежарким солнцем Волыни. Две девочки играют в воде, странное, с трудом преодолимое желание сквернословить, скользкие и грубые слова.

Соколову худо. Даю ему лошадей для отправки в госпиталь. Штаб выезжает в Лешнюв (Галиция, в первый раз переходим границу). Я жду лошадей. Хорошо в деревне, светло, сыто.

Выезжаю через два часа на Хотин. Дорога леском, тревога. Грищук туп и страшен. Я на тяжелой лошади Соколова. Я один на дороге. Светло, прозрачно, не жарко, легкая теплота. Фурманка впереди, пять человек, похожих на поляков. Игра, едем, останавливаемся, откуда? Взаимный страх и тревога. У Хотина видны наши, въезжаем, стрельба. Дикая скачка назад, тащу коня на поводу. Пули жужжат, воют. Артиллерийский огонь. Грищук то несется с мрачной и молчаливой энергией, то в опасные минуты — непонятен, вял, черен, заросшая челюсть. В Боратине уже никого нет. Обоз за Боратином, начинается каша. Обозная эпопея, отвращение и мерзость. Командует Гусев. Стоим полночи у Козина, стрельба. Высылаем разведку, никто ничего не знает, разъезжают верховые, имеющие деловой вид, высокий немчик — райкоменданта, ночь, хочется спать, чувство беспомощности — не знаешь, куда тебя везут, думаю, что это 20–30 человек из загнанных нами в леса, набег. Но откуда артиллерия? Засыпаю на полчаса, говорят, была перестрелка, наши выслали цепь. Двигаемся дальше. Лошади измучены, ужасная ночь, двигаемся колоссальным обозом в непроглядной тьме, неизвестно, через какие деревни, пожарище где-то сбоку, пересекают дорогу другие обозы — потрясен фронт или обозная паника?

Ночь тянется бесконечно, попадаем в яму. Грищук странно правит, нас бьют сзади дышлом, крики где-то вдали, останавливаемся через каждые полверсты и стоим томительно, бесцельно, долго.

У нас рвется возжа, тачанка не повинуется, отъезжаем в поле, ночь, у Грищука припадок звериного, тупого, безнадёжного и бесящего меня отчаяния: о, сгорели б те вожжи, о, — сгори да сгори. Он слеп, он признается в этом, Грищук, он ничего не видит ночью. Обоз нас оставляет, дороги тяжелы, черная грязь, Грищук, хватаясь за обрывок вожжи, — неожиданным своим звенящим тенорком — пропадем, поляк догонит, канонада отовсюду, обозные

²⁶ Жизнерадостные, веселые (*фр.*)

— мы в кругу. Едем на авось с порванной вожжой. Тачанка визжит, тяжелый мутный рассвет вдали, мокрые поля. Фиолетовые полосы на небе, с черными провалами. На рассвете — местечко Верба. Железнодорожное полотно — мертвое, мелкое, пахнет Галицией. 4 часа утра.

23.7.20. В Вербе

Евреи, не спавшие ночь, стоят жалкие, как птицы, синие, взлохмаченные, в жилетах и без носков. Мокрый безрадостный рассвет, вся Верба забита обозами, тысячи повозок, все возницы на одно лицо, перевязочные отряды, штаб 45-й дивизии, слухи тяжелые и, вероятно, нелепые, и эти слухи несмотря на цепь наших побед... Две бригады 11-й дивизии в плену, поляки захватили Козин, несчастный Козин, что там будет. Стратегическое положение любопытное, 6-я дивизия в Лешнюве, поляки в Козине, в Боратине, в тылу, исковерканные пироги. Ждем на дороге из Вербы. Стоим два часа, Миша в белой высокой шапке с красной лентой скачет по полю. Все едят — хлеб с соломой, зеленые яблоки, грязными пальцами, вонючими ртами — грязную, отвратительную пищу. Едем дальше. Изумительно — остановки через каждые 5 шагов, нескончаемые линии обозов 45-й и 11-й дивизий, мы то теряем наш обоз, то находим его. Поля, потоптанное жито, объеденные, еще не совсем объеденные деревни, местность холмистая, куда приедем? Дорога на Дубно. Леса, великолепные старинные тенистые леса. Жара, в лесах тень. Много вырублено для военных надобностей, будь они прокляты, голые опушки с торчащими пнями. Древние Вольские Дубенские леса, узнать, где-то достают мед, пахучий, черный.

Описать леса.

Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба. Следует ужас, она варит на 100 человек, мухи, распаренная и растрясенная комиссарская Шурка, свежина с картошкой, берут все сено, косят овес, картошка пудами, девочка сбивается с ног, остатки благоустроенного хозяйства. Жалкий длинный улыбающийся чех, полная хорошая, иностранная женщина жена.

Вакханалия. Сдобная гусевская Шурка со свитой, красноармейцы — дрянь, обозники, все это топчется на кухне, сыплет картошку, ветчина, пекут коржи. Температура невыносимая, задыхаешься, тучи мух. Замученные чехи. Крики, грубость, жадность. Все же великолепный у меня обед — жареная свинина с картошкой и великолепный кофе. После обеда сплю под деревьями — тихий тенистый откос, качели летают перед глазами. Перед глазами — тихие зеленые и желтые холмы, облитые солнцем, и леса, Дубенские леса. Сплю часа три. Потом в Дубно. Еду с Прищепой, новое знакомство, кафтан, белый башлык, безграмотный коммунист, он ведет меня к жене. Муж — а гробер менч²⁷ — ездит на лошаденке по деревням и скупает у крестьян продукты. Жена — сдобная, томная, хитрая, чувственная молодая еврейка, 5 месяцев замужем, не любит мужа, впрочем, чепуха, заигрывает с Прищепой. Центр внимания на меня — er ist ein²⁸ <нрзб> — вглядывается, спрашивает фамилию, не отрывает глаз, пьет чай, у меня идиотское положение, я тих, вял, вежлив и за каждое движение благодарю. Перед глазами — жизнь еврейской семьи, приходит мать, какие-то барышни, Прищепка — ухажер. Дубно переходило несколько раз из рук в руки. Наши, кажется, не грабили. И опять все трепещут, и опять унижение без конца, и ненависть к полякам, рвавшим бороды. Муж — будет ли свобода торговли, немножко купить и сейчас же продать, не спекулировать.

Я говорю — будет, все идет к лучшему — моя обычная система — в России чудесные дела — экспрессы, бесплатное питание детей, театры, интернационал. Они слушают с наслаждением и недоверием. Я думаю — будет вам небо в алмазах, все перевернет, всех вывернет, в который раз, и жалко.

Дубенские синагоги. Все разгромлено. Осталось два маленьких притвора, столетия, две маленькие комнатухи, все полно воспоминаний, рядом четыре синагоги, а там выгон, поля и заходящее солнце. Синагоги приземистые старинные зеленые и синие домишки, хасидская, внутри — архитектуры никакой. Иду в хасидскую. Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет, старики бегают по синагоге — воя нет, почему-то все ходят из угла в угол, молитва самая непринужденная. Вероятно, здесь скопились самые отвратительные на вид евреи Дубно. Я молюсь, вернее, почти молюсь и думаю о Гершеле, вот как бы описать. Тихий вечер в синагоге, это всегда неотразимо на меня действует, четыре синагожки рядом. Религия? Никаких украшений в здании, все бело и гладко до аскетизма, все бесплотно, бескровно, до чудовищных размеров, для того, чтобы уловить, нужно иметь душу еврея. А в чем душа заключается? Неужто именно в наше столетие они погибают?

Уголок Дубно, четыре синагоги, вечер пятницы, евреи и еврейки у разрушенных камней — все памятно. Потом вечер, селедка, грустный, оттого что не с кем совокупиться. Прищепка и дразнящая, раздражающая Женя, ее еврейские и блистающие глаза, толстые ноги и мягкая грудь. Прищепка — руки грузнут, и ее упорный взгляд, и дурак муж, кормящий в крохотном закутке перемененную лошадь.

Ночуем у других евреев, Прищепка просит, чтобы ему играли, толстый мальчик с твердым, тупым лицом, задыхаясь от ужаса, говорит, что у него нет настроения. Лошадь напротив в дворике. Грищуку 50 верст от дому. Он не убегает.

²⁷ Грубиян (еврейск.)

²⁸ Он (нем.)

Поляки наступают в районе Козина-Боратино, они у нас в тылу, 6-я дивизия в Лешнове, Галиция. Идет операция на Броды, Радзивиллов вперед и одной бригадой на тыл. 6 дивизия в тяжких боях.

24.7.20

Утром — в Штарме. 6 дивизия ликвидирует противника, напавшего на нас в Хотине, район боев Хотин — Козин, и я думаю — несчастный Козин.

Кладбище, круглые камни.

Из Кривих с Прищепой еду в Лешнов на Демидовку. Душа Прищепы — безграмотный мальчик, коммунист, родителей убили кадеты, рассказывает, как собирал свое имущество по станице. Декоративен, башлык, прост как трава, будет барахольщик, презирает Грищука за то, что тот не любит и не понимает лошадей. Едем через Хорупань, Сморгду и Демидовку. Запомнить картину — обозы, всадники, полуразрушенные деревни, поля и леса, дубы, изредка раненые и моя тачанка.

В Демидовке к вечеру. Еврейское местечко, я настораживаюсь. Евреи по степи, все разрушено. Мы в доме, где масса женщин. Семья Ляхецких, Швехвелей, нет, это не Одесса.

Зубной врач — Дора Ароновна, читает Арцыбашева, а вокруг гуляет казачье. Она горда, зла, говорит, что поляки унижали чувство собственного достоинства, презирает за плебейство коммунистов, масса дочерей в белых чулках, набожные отец и мать. Каждая дочь — индивидуальность, одна жалкая, черноволосая, кривоногая, другая — пышная, третья — хозяйственная, и все, вероятно, старые девы.

Главные раздоры — сегодня суббота. Прищепа заставляет жарить картошку, а завтра пост, 9 Аба, и я молчу, потому что я русский. Зубной врач, бледная от гордости и чувства собственного достоинства, заявляет, что никто не будет копать картошки, потому что праздник.

Долго мною сдерживаемый Прищепа прорывается — жида, мать, весь арсенал, они все, ненавидя нас и меня, копают картошку, боятся в чужом огороде, валят на кресты, Прищепа негодует. Как все тяжело — и Арцыбашев, и сирота гимназистка из Ровно, и Прищепа в башлыке. Мать ломает руки — развели огонь в субботу, кругом брань. Здесь был Буденный и уехал. Спор между еврейским юношей и Прищепой. Юноша в очках, черноволос, нервен, алые воспаленные веки, неправильная русская речь. Он верит в Бога, Бог — это идеал, который мы носим в нашей душе, у каждого человека в душе есть свой Бог, поступаешь дурно — Бог скорбит, эти глупости высказываются восторженно и с болью. Прищепа оскорбительно глуп, он разговаривает о религии в древности, путает христианство с язычеством, главное — в древности была коммуна, конечно, плетет без толку, ваше образование — никакого, и евреи — 6 классов Ровенской гимназии — говорит по Платонову — трогательно и смешно — роды, старейшины, Перун, язычество.

Мы едим как волю, жареный картофель и по 5 стаканов кофе. Потеет, всё нам подносят, всё это ужасно, я рассказываю небылицы о большевизме, расцвет, экспрессы, московская мануфактура, университеты, бесплатное питание, ревельская делегация, венец — рассказ о китайцах, и я увлекаю всех этих замученных людей. 9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает свою мать и говорит, что верит в Бога для того, чтобы сделать ей приятное, приятным тенорком поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужа убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова. Коптит лампочка, воеет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидовка, ночь, казаки, все как тогда, когда разрушали храм. Иду спать на дворе, вонючем и мокрым.

Беда с Грищуком — он в каком-то остолбенении, ходит, как сомнамбула, лошадей кормит слабо, о бедах заявляет *post-factum*²⁹, благоволит к мужикам и детям.

Приехали с позиции пулеметчики, останавливаются в нашем дворе, ночь, они в бурках. Прищепа ухаживает за еврейкой из Кременца, хорошенькая, полная, в гладком платье. Она нежно краснеет, кривой тесть сидит неподалеку, она цветет, с Прищепой можно поговорить, она цветет и жеманится, о чем они беседуют, потом — он спать, провести время, ей мучительно, кому ее душа понятнее, чем мне? Он — будем пихать, я думаю с тоской — неужели она, говорит Прищепа — согласилась (у него все соглашаются). Вспоминаю, у него, вероятно, сифилис, вопрос — излечился.

Девушка потом — я буду кричать. Описать их первые деликатные разговоры, о чем же вы думаете — она интеллигентный человек, служила в Ревкоме.

Боже, думаю я, женщины теперь слышат все ругательства, живут по-солдатски, где нежность?

Ночью гроза и дождь, бежим в хлев, грязно, темно, мокро, холодно, пулеметчиков на рассвете гонят на позиции, они собираются под проливным дождем, бурки и иззябшие лошади. Жалкая Демидовка.

25.7.20

Утром отъезд из Демидовки. Мучительные два часа, евреек разбудили в 4 часа утра и заставили варить русское мясо, и это 9 Аба. Девушки полуголые и встрепанные бегают по мокрым огородам, похоть владеет Прищепой неот-

²⁹ Задним числом (*лат.*)

ступно, он нападает на невесту сына кривого старика, в это время забирают подводу, идет ругань невероятная, солдаты едят из котлов мясо, она — я буду кричать, ее лицо, он прижимает к стене, безобразная сцена. Она всячески отбивает подводу, они спрятали ее на чердаке, будет хорошая еврейка. Она препирается с комиссаром, говорящим о том, что евреи не хотят помогать Красной Армии.

Я потерял портфель, потом нашел его в штабе 14 дивизии в Лешнюве.

Едем на Остров — 15 верст, оттуда дорога на Лешнюв, там опасно, польские разъезды. Батюшка, его дочь, похожая на Плевицкую или на веселый скелет. Киевская курсистка, все истосковались по вежливости, я рассказываю небылицы, она не может оторваться. 15 опасных верст, скачут часовые, проезжаем границу, деревянный настил. Везде окопы.

Приезжаем в штаб. Лешнюв. Полуразрушенное местечко. Русские достаточно запаскудили. Костел, униатская церковь, синагога, красивые здания, несчастная жизнь, какие-то призрачные евреи, отвратительная хозяйка, галичанка, мухи и грязь, длинный, одичавший оболтус, славяне второго сорта. Передать дух разрушенного Лешнюва, худосочие и унылая полузаграничная грязь.

Сплю в клуне. Идет бой под Бродами и у переправы — Чуровице. Циркуляры о советской Галиции. Пасторы. Ночь в Лешнюве. Как все это невообразимо грустно, и эти одичалые и жалкие галичане, и разрушенные синагоги, и мелкая жизнь на фоне страшных событий, до нас доходят только отсветы.

26.7.20. Лешнюв

Украина в огне. Врангель не ликвидирован. Махно делает набеги в Екатеринославской и Полтавской губерниях. Появились новые банды, под Херсоном — восстание. Почему они восстают, короток коммунистический пиджак?

Что с Одессой, тоска.

Много работы, восстанавливаю прошлое. Сегодня утром взяты Броды, опять окруженный противник ушел, резкий приказ Буденного, 4 раза выпустили, умеем раскачать, но нет сил задержать.

Совещание в Козине, речь Буденного, перестали маневрировать, лобовые удары, теряем связь с противником, нет разведки, нет охранения, начдивы не имеют инициативы, мертвые действия.

Разговариваю с евреями, в первый раз — неинтересные евреи. Сбоку разрушенная синагога, рыженький из Броды, земляки из Одессы.

Переезжаю к безногому еврею, благоденствие, чистота, тишина, великолепный кофе, чистые дети, отец потерял обе ноги на ит. фронте, новый дом, строятся, жена корыстолюбива, но прилична, вежлива, маленькая тенистая комнатка, отдыхаю от галичан.

У меня тоска, надо все обдумать, и Галицию, и мировую войну, и собственную судьбу.

Жизнь нашей дивизии. О Бахтурове, о начдиве, о казаках, мародерство, авангард авангарда. Я чужой.

Вечером паника, противник потеснил нас из Чуровице, был в 1½ верстах от Лешнюва. Начдив ускакал и прискакал. И начинается странствие, и снова ночь без сна, обозы, таинственный Грищук, лошади идут бесшумно, брань, леса, звезды, где-то стоим. На рассвете Броды, все это ужасно — везде проволока, обгоревшие трубы, малокровный город, пресные дома, говорят, здесь есть товары, наши не преминут, здесь были заводы, русское военное кладбище и поистине — безвестные одинокие кресты у могил — русские солдаты.

Белая совсем дорога, вырубленные леса, все исковеркано, галичане на дорогах, австрийская форма, босые с трубками, что в их лицах, какая тайна ничтожества, обыденщины, покорности.

Радзивиллов — хуже Брод, проволока на столбах, красивые здания, рассвет, жалкие фигуры, оборванные фрукты, обтрепанные зевающие евреи, разбитые дороги, снесенные распятия, бездарная земля, подбитые католические храмы, где ксендзы — а здесь были контрабандисты, и я вижу прежнюю жизнь.

Хотин. 27.7.20

От Радзивиллова — бесконечные деревни, мчащиеся вперед всадники, тяжело после бессонной ночи.

Хотин — та самая деревня, где нас обстреляли. Квартира — ужасная — нищета, баня, мухи, степенный, кроткий, стройный мужик, прожженная баба, ничего не дает, достаю сало, картошку. Живут нелепо, дико, комнатенка и мириады мух, ужасная пища, и не надо ничего лучше — и жадность, и отвратительное неизменяющееся устройство жилища, и воняющие на солнце шкуры, грязь без конца раздражает.

Был помещик — Свешников, разбит завод, разбита усадьба, величественный остов завода, красное кирпичное здание, размещенные аллеи, уже нет следа, мужики равнодушны.

У нас хромает артснабжение, втягиваюсь в штабную работу — гнусная работа убийства. Вот заслуга коммунизма — нет хоть проповеди вражды к врагам, только, впрочем, к польским солдатам.

Привезли пленных, одного совершенно здорового ранил двумя выстрелами без всякой причины красноармеец. Поляк корчится и стонет, ему подкладывают подушку.

Убит Зиновьев, молоденький коммунист в красных штанах, хрипы в горле и синие веки.

Носятся поразительные слухи — 30-го начинают переговоры о перемирии.

Ночью в вонючей дыре, называемой двором. Не сплю поздно, захожу в штаб, дела с переправой не блестящи.

Поздняя ночь, красный флаг, тишина, жаждущие женщин красноармейцы.

28.7.20. Хотин

Бой за переправу у Чуровице. 2-я бригада в присутствии Буденного — истекает кровью. Весь пехотный батальон — ранен, избит почти весь. Поляки в старых блиндированных окопах. Наши не добились результата. Крепнет ли у поляков сопротивление?

Разложения перед миром — не видно.

Я живу в бедной хате, где сын с большой головой играет на скрипке. ТERRORИЗИРУЮ хозяйку, она ничего не дает. Грищук, окаменелый, плохо ухаживает за конями, оказывается, он приучен голодом.

Разрушенная экономия, барин Свешников, разбитый величественный винный завод (символ русского барина?), когда выпустили спирт — все войска перепились.

Раздраженный — я не перестаю негодовать, грязь, апатия, безнадежность русской жизни невыносимы, здесь революция что-то сделает.

Хозяйка прячет свиней и корову, говорит быстро, елейно и с бессильной злобой, ленива, и я чувствую, что она разрушает хозяйство, муж верит в власть, очарователен, кроток, пассивен, похож на Строева.

Скучно в деревне, жить здесь — это ужасно. Втягиваюсь в штабную работу. Описать день — отражение боя, идущего в нескольких верстах от нас, ординарцы, у Лепина вспухла рука.

Красноармейцы ночуют с бабами.

История — как польский полк четыре раза клал оружие и защищался вновь, когда его начинали рубить.

Вечер, тихо, разговор с Матяш, он беспредельно ленив, томен, соплив и как-то приятно, ласково похотлив. Страшная правда — все солдаты больны сифилисом. У Матяш, выздоравливает (почти не лечась). У него был сифилис, вылечил за две недели, он с кумом заплатил бы в Ставрополе 10 коп. серебром, кум умер, у Миши есть много раз, у Сенечки, у Гераси сифилис, и все ходят к бабам, а дома невесты. Солдатская язва. Российская язва — страшно. Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размолоченное стекло. Все бойцы — бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь.

Письмо Жене, тоска по ней и по дому.

Надо следить за особотделом и ревтрибуналом.

Неужели 30-го переговоры о мире?

Приказ Буденного. Мы в четвертый раз выпустили противника, под Бродами был совершенно окружен.

Описать Матяша, Мишу. Мужики, в них хочется вникать.

Мы имеем силы маневрировать, окружать поляков, но хватка, в сущности, слабая, они пробиваются, Буденный сердится, выговор начдиву. Написать биографии начдива, военкома Книги и проч.

29.7.20. Лешнюв

Утром уезжаем в Лешнюв. Снова у прежнего хозяина — чернобородого, безногого Фроима. За время моего отсутствия его ограбили на 4 тысячи гульденов, забрали сапоги. Жена — льстивая сволочь, холоднее ко мне, видит, что пожить трудно, как они жадны. Я разговариваю с ней по-немецки. Начинается дурная погода.

У Фроима — дети хромоногие, их много, я их не разбираю, корову и лошадь он прячет.

В Галиции невыносимо уныло, разбитые костелы и распятие, хмурое небо, прибитое, бездарное, незначительное население. Жалкое, приученное к убийству, солдатам, непорядку, степенные русские плачущие бабы, взрытые дороги, низкие хлеба, нет солнца, ксендзы в широких шляпах — без костелов. Гнетущая тоска от всех строящих жизнь.

Славяне — навоз истории?

День протекает тревожно. Поляки прорвали расположение 14-й дивизии правее нас, вновь заняли Берестечко. Сведений никаких, кадриль, они заходят нам в тыл.

Настроение в штабе. Константин Карлович молчит. Писаря — эта откормленная, наглая, венерическая шпанка — тревожится. После тяжелого однообразного дня — дождливая ночь, грязь — у меня туфли. Вот и начинается могущественный дождь, истинный победитель.

Шлепаем по грязи, пронизывающий мелкий дождь.

Стрельба орудийная и пулеметная все ближе. Меня клонит ко сну нестерпимо. Лошадям нечего дать. У меня новый кучер — поляк Говинский, высокий, проворный, говорливый, суетливый и, конечно, наглый парень.

Грищук идет домой, иногда он прорывается — я замученный, по-немецки он не мог научиться, потому что хозяин у него был серьезный, они только ссорились, но никогда не разговаривали.

Оказывается еще — он голодал семь месяцев, а я скупно давал ему пищу.

Совершенно босой, с впавшими губами, синими глазами — поляк. Говорлив и весел, перебежчик, мне он противен.

Клонит ко сну непреодолимо. Спать опасно. Ложусь одетый. Рядом со мною две ноги Фроима стоят на стуле. Светит лампочка, его черная борода, на полу валяются дети.

Десять раз встаю — Говинский и Грищук спят — злоба. Заснул к четырем часам, стук в дверь — ехать. Паника, неприятель у местечка, стрельба из пулеметов, поляки приближаются. Все скачет. Лошадей не могут вывести, ломают ворота, Грищук со своим отвратительным отчаянием, нас четыре человека, лошади не кормлены, надо заехать за сестрой, Грищук и Говинский хотят ее бросать, я кричу не своим голосом — сестра? Я зол — сестра глупа, красива.

Летим по шоссе на Броды, я покачиваюсь и сплю. Холодно, пронизывает ветер и дождь. Надо следить за лошадьми, сбруя ненадежна, поляк поет, дрожу от холода, сестра говорит глупости. Качаюсь и сплю. Новое ощущение — не могу раскрыть век. Описать — невыразимое желание спать.

Опять бежим от поляка. Вот она — кав. война. Просыпаюсь — мы стоим перед белыми зданиями. Деревня? Нет, Броды.

30.7. Броды

Унылый рассвет. Надоела сестра. Где-то бросили Грищука. Дай ему Бог.

Куда заехать? Усталость гнетет. 6 часов утра. Какой-то галичанин, к нему. Жена на полу с новорожденным. Он — тихий старичок, дети с голой женой, их трое, четверо.

Еще какая-то женщина. Пыль, прибитая дождем. Подвал. Распятие. Изображение святой Девы. Униаты действительно ни то ни другое. Сильный католический налет. Блаженство — тепло, какая-то горячая вонь от детей, женщин. Тишина и уныние. Сестра спит, я не могу, клопы. Нет сена, я кричу на Говинского. У хозяев нет хлеба, молока.

Город разрушен, ограблен. Город огромного интереса. Польская культура. Старинное, богатое, своеобразное еврейское поселение. Эти ужасные базары, карлики в капотах, капоты и пейсы, древние старики. Школьная улица, 9 синагог, все полуразрушено, осматриваю новую синагогу, архитектура <нрзб> кондеш, шамес, бородатый и говорливый еврей — хоть бы мир, как будет торговля, рассказывает о разграблении города казаками, об унижениях, чинимых поляками. Прекрасная синагога, какое счастье, что у нас есть хотя бы старые камни. Это еврейский город — это Галиция, описать. Окопы, разбитые фабрики, Бристоль, кельнерши, «западноевропейская» культура и как жадно на это бросаешься. Эти жалкие зеркала, бледные австрийские евреи — хозяева. И рассказы — здесь были американские доллары, апельсины, сукно.

Шоссе, проволока, вырубленные леса и уныние, уныние без конца. Есть нечего, надеяться не на что, война, все одинаково плохо, одинаково чужие, враждебные, дикие, была тихая и, главное, исполненная традиций жизнь.

Буденновцы на улицах. В магазинах — только ситро, открыты еще парикмахерские. На базаре у мегер — морковь, все время идет дождь, беспрерывный, пронзительный, удушающий. Нестерпимая тоска, люди и души убиты.

В штабе — красные штаны, самоуверенность, важничают мелкие душонки, масса молодых людей, среди них и евреи, состоят в личном распоряжении командарма и заботятся о пище.

Нельзя забыть Броды и эти жалкие фигуры, и парикмахеров, и евреев, пришедших с того света, и казаков на улицах.

Беда с Говинским, лошадям совершенно нет корма. Одесская гостиница Гальперина, в городе голод, есть нечего, вечером хороший чай, утешаю хозяина, бледного и растревоженного, как мыш. Говинский нашел поляков, взял у них кепи, кто-то помог и Говинскому. Он нестерпим, лошадей не кормит, где-то шатается, болтает, ничего не может достать, боится, чтобы его не арестовали, а его пытались уже арестовать, приходили ко мне.

Ночь в гостинице, рядом супруги и разговоры, и слова и... в устах женщины, о русские люди, как отвратительно вы проводите ваши ночи и какие голоса стали у ваших женщин. Я слушаю, затаив дыхание, и мне тяжело.

Ужасная ночь в этих замученных Бродах. Быть наготове. Я таскаю ночью сено лошадям. В штабе. Можно спать, противник наступает. Вернулся домой, спал крепко, с помертвевшим сердцем, разбудил Говинский.

31.7.20. Броды, Лешнюв

Утром перед отъездом на Золотой улице ждет тачанка, час в книжном магазине, немецкий магазин. Есть все великолепные неразрезанные книги, альбомы, Запад, вот он Запад, и рыцарская Польша, хрестоматия, история всех Болеславов, и почему-то мне кажется, что это красота, Польша, на ветхое тело набросившая сверкающие одежды. Я роюсь, как сумасшедший, перебегаю, темно, идет поток и разграбление канцелярских принадлежностей, противные молодые люди из трофкомиссии архивоенного вида. Отрываюсь от магазина с отчаянием.

Хрестоматии, Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники.

Штаб в Станиславчике или Кожошкове. Сестра, она служила по Чрезвычайкам, очень русская, нежная и сломанная красота. Жила со всеми комиссарами, так я думаю, и вдруг — альбом Костромской гимназии, классные дамы, идеальные сердца, Романовский пансион, тетя Маня, коньки.

Снова Лешнюв, и мои хозяева, страшная грязь, налет гостеприимства, уважения к русским и по моей доброте сошел, неприветливо у разоряемых людей.

О лошадях, кормить нечем, худеют, тачанка рассыпается, из-за пустяков, я ненавижу Говинского, какой-то веселый, прожорливый неудачник. Кофе мне уже не дают.

Противник обошел нас, от переправы оттеснил, зловещие слухи о прорыве в расположении 14-й дивизии, скачут ординарцы. К вечеру — в Гржималовку (севернее Чуровице) — разоренная деревня, достали овес, беспрерывный дождь, короткая дорога в штаб для моих туфель непроходима, мучительное путешествие, позиция продвигается, пил великолепный чай, горячо, хозяйка притворилась сначала больной, деревня все время находилась в сфере боев за переправу. Тьма, тревога, поляк шевелится.

К вечеру приехал начдив, великолепная фигура, перчатки, всегда с позиции, ночь в штабе, работа Константина Карловича.

1.8.20. Гржималовка, Лешнюв

Боже, август, скоро умрем, неистребима людская жестокость. Дела на фронте ухудшаются. Выстрелы у самой деревни. Нас вытесняют с переправы. Все уехали, осталось несколько человек штабных, моя тачанка стоит у штаба, я слушаю бой, хорошо мне почему, нас немного, нет обозов, нет административного штаба, спокойно, легко, огромное самообладание Тимошенко. Книга апатичен, Тимошенко: если не выбьет — расстреляю, передай на словах, все же наддив усмежается. Перед нами дорога, разбухшая от дождя, пулемет вспыхивает в разных местах, невидимое присутствие неприятеля в этом сером и легком небе. Неприятель подошел к деревне. Мы теряем переправу через Стырь. Едем в злополучный Лешнюв, в который раз?

Надив к 1-й бригаде. В Лешнюве — ужасно, заезжаем на два часа, административный штаб утекает, стена неприятеля вырастает повсюду.

Бой под Лешнювом. Наша пешка в окопах, это замечательно, волынские босые, полуидиотические парни — русская деревня, и они действительно сражаются против поляков, против притеснявших панов. Нет ружей, патроны не подходят, эти мальчики слоняются по облитым зноем окопам, их перемещают с одной опушки на другую. Хата у опушки, мне делает чай услужливый галичанин, лошади стоят в лощинке.

Сходил на батарею, точная, неторопливая, техническая работа.

Под пулеметным обстрелом, визжание пуль, скверное ощущение, пробираемся по окопам, какой-то красноармеец в панике, и, конечно, мы окружены. Говинский был на дороге, хотел бросить лошадей, потом поехал, я нашел его у опушки, тачанка сломана, перипетии, ищу, куда бы сесть, пулеметчики сбрасывают, перевязывают раненого мальчика, нога в воздухе, он рычит, с ним приятель, у которого убили лошадь, подвязываем тачанку, едем, она скрипит, не вертится. Я чувствую, что Говинский меня погубит, это — судьба, его голый живот, дыры в башмаках, еврейский нос и вечные оправдания. Я пересаживаюсь в экипаж Михаила Карловича, какое облегчение, я дремлю, вечер, душа потрясена, обоз, стоим по дороге к Белавцам, потом мы по дороге, окаймленной лесом, вечер, прохлада, шоссе, закат — катимся к позициям, отвозим мясо Константину Карловичу.

Я жаден и жалок. Части в лесу, они отошли, обычная картина, эскадрон, Бахтуров читает сообщение о III Интернационале, о том, что съехались со всего мира, белая косынка сестры мелькает между деревьями, зачем она здесь? Едем обратно, что такое Михаил Карлович? Говинский удрал, лошадей нет. Ночь, сплю в экипаже рядом с Михаилом Карловичем. Мы под Белавцами.

Описать людей, воздух.

Прошел день, видел смерть, белые дороги, лошадей между деревьями, восход и закат. Главное — буденновцы, кони, передвижения и война, между житом ходят степенные, босые и призрачные галичане.

Ночь на экипаже.

(У леска стоял с тачанкой писарей.)

2.8.20. Белавцы

История с тачанкой. Говинский приближается к местечку, конечно, кузнеца не нашел. Мой скандал с кузнецом, толкнул женщину, визг и слезы. Галичане не хотят починять. Арсенал средств, убеждения, угрозы, просьбы, больше всего подействовало обещание сахару. Длинная история, один кузнец болен, тещу его к другому, плач, его тащут домой. Мне не хотят стирать белья, никакие меры воздействия не помогают.

Наконец починяют.

Устал. В штабе тревога. Уходим. Противник нажимает, бегу предупредить Говинского, зной, боюсь опоздать, бегу по песку, предупредил, догнал штаб за селом, никто не берет меня, уходят, тоска, еду несколько времени с Барсуковым, двигаемся на Броды.

Мне дают санитарную тачанку 2-го эскадрона, подъезжаем к лесу, стоим с Иваном повозочным. Приезжает Буденный, Ворошилов, будет решительный бой, ни шагу дальше. Дальше разворачиваются все три бригады, говорю с комендантом штаба. Атмосфера начала боя, большое поле, аэропланы, маневры кавалерии на поле, наша конница, вдали разрывы, начался бой, пулеметы, солнце, где-то сходятся, заглушенное «ура», мы с Иваном отходим, опасность смертельная, что я чувствую, это не страх, это пассивность, он, кажется, боится, куда ехать, группа с Корочаевым идет направо, мы почему-то налево, бой кипит, нас догоняют на лошади — раненые, смертельно бледный — братишка, возьми, штаны окрашены кровью, угрожает нам стрелять, если не возьмем, осаживаем, он страшен, куртку Ивана заливает кровь, казак, остановились, буду перевязывать, у того легкая рана, в живот, кость повреждена, везем еще одного, у которого лошадь убили. Описать раненого. Долго плуаем под огнем по полям, ничего не видать, эти равнодушные дороги и травка, посылаем верховых, выехали на шоссе — куда ехать, Радзивиллов или Броды?

В Радзивиллове должен быть административный штаб и все обозы, по моему мнению, в Броды ехать интереснее, бой идет за Броды. Победило мнение Ивана, одни обозники говорят, что в Бродах — поляки, обозы бегут, Штарм выехал, едем в Радзивиллов. Приезжаем ночью. Все это время ели морковь и горох — сырые, пронзительный голод, грязные, не спали. Я выбрал хату на окраине Радзивиллова. Угадал, нюх выработался. Старик, девушка. Кислое молоко великолепно, съели, готовится чай с молоком, Иван идет за сахаром, пулеметная стрельба, грохот обозов, выскакиваем, лошадь захромала, так уж полагается, убегаем в панике, стреляют по нас, ничего не понимаем, сейчас поймает, мчимся на мост, столпотворение, провалились в болото, дикая паника, валяется убитый,

брошенные подводы, снаряды, тачанки. Пробка, ночь, страх, обозы стоят бесконечные, двигаемся, поле, стали, спим, звезды. Во всей этой истории мне больше всего жаль погибшего чая, до странности жаль. Я об этом думаю всю ночь и ненавижу войну.

Какая тревожная жизнь.

3.8.20

Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город переходит из рук в руки. Та же ужасная картина, полуразрушено, город ждет снова. Питпункт, на окраине встречаюсь с Барсуковым. Еду в штаб. Пустынно, мертво, уныло. Зотов спит на стульях, как мертвец. Спят Бородулин и Поллак. Здание Пражского Банка, обобранное и разодранное, клозеты, эти банковские загородки, зеркальные стекла.

Говорят, что начдив в Клёкотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской. Иван стоит у штаба. Ехать или не ехать. Едем в Клёкотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная сила двигается, бесконечные ряды, фольварк, имение разрушенное, молотилка, локомотив Клентона, трактор, локомотив работал, жарко.

Поле сражения, встречаю начдива, где штаб, потеряли Жолнаркевича. Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю, они уходят бледные пешком.

До этого — страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите.

Впечатления больше воспринимаю умом. Начинается бой, мне дают лошадь. Вижу, как строятся колонны, цепи, идут в атаку, жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны, огонь достигает высочайшей силы, в безмолвии происходит рубка. Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива?

Начало моих приключений, двигаюсь с обозами к шоссе, бой усиливается, нашел питпункт, на шоссе обстреляли, свист снарядов, разрывы в 20 шагах, чувство безнадежности, обозы скачут, я прибил к 20-му полку 4-й дивизии, раненые, вздорный командир, нет, говорит, не ранен, ударился, профессионалы, и все поля, солнце, трупы, сижу у кухни, голод, сырой горох, лошадь нечем кормить.

Кухня, разговоры, сидим на траве, полк вдруг выступает, мне нужно к Радзивиллову, полк идет к Лешнюву, и я бессилён, боюсь оторваться. Бесконечное путешествие, пыльные дороги, я пересаживаюсь на телегу, Квазимодо, два ишака, жестокое зрелище — этот горбатый кучер, молчаливый, с лицом темным, как Муромские леса.

Едем, у меня ужасное чувство — я отдаляюсь от дивизии. Теплится надежда — потом можно будет проводить раненого в Радзивиллов, у раненого еврейское бледное лицо.

Въезжаем в лес, обстрел, снаряды в 100 шагах, бесконечное кружение по опушкам.

Песок тяжелый, непролазный. Поэма о лошадях замученных.

Пасека, обыскиваем ульи, четыре хаты в лесу — ничего нет, все обобрано, я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дело, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок, едем дальше, от усталости едва сижу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать, въехали в Конюшков, крадем ячмень, мне говорят — ищите, берите, всё берите — я ищу сестру по деревне, истерика у баб, забирают через 5 минут после приезда, какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжело от непрекращающихся ужасов, ищу сестру, у меня непреодолимая печаль, похитил кружку молока у командира полка, вырвал поляницу из рук сына крестьянки.

Через 10 минут выезжаем. Вот те и на! Поляки где-то близко. Опять назад, я думаю, что не выдержу, еще и рысью, сначала еду с командиром, потом пристаю к обозам, хочу пересест на телегу, у всех один ответ — пристали кони, ну, скинь меня и садись сам, сядь, дорогой, только здесь убитые, я смотрю на рядно, под ним убитые.

Приезжаем в поле, там много обозов 4-й дивизии, батарея, опять кухня, ищу сестер, тяжелая ночь, хочу спать, надо кормить лошадь, я лежу, лошади поедают великолепную пшеницу, красноармейцы в пшенице — бледные, совсем мертвые. Лошадь мучает, я гоняюсь за ней, пристал к сестре, спим на тачанке, сестра — старая, лысая, вероятно еврейка, мученица, эта невыносимая брань, повозочный ее сталкивает, лошади путаются, повозочного не разбудишь, он груб и ругается, она говорит — наши герои — ужасные люди. Она укрывает его, они спят обнявшись, несчастная, старая сестра, хорошо бы застрелить возницу, брань, ругань, сестра не от мира сего — засыпаем. Просыпаюсь через два часа — украли уздечку. Отчаяние. Рассвет. Мы в 7 верстах от Радзивиллова. Еду на ура. Несчастная лошадь, все мы несчастные, полк пойдет дальше. Трогаюсь.

За этот день — главное — описать красноармейцев и воздух.

4.8.20

Двигаюсь один к Радзивиллову. Тяжкая дорога. Никого по пути, лошадь пристала, боюсь на каждом шагу встретить поляков. Прошло благополучно, в районе Радзивиллова никаких частей, в местечке — смутно, меня посылают на станцию, опустошенное и совершенно привыкшее к переменам население. Шеко на автомобиле. Я в квартире Буденного. Еврейская семья, барышни, группа из гимназии Бухтеевой, Одесса, сердце замерло.

О счастье, дают какао и хлеб. Новости — новый начдив — Апанасенко, новый наштадив — Шеко. Чудеса.

Приезжает Жолнаркевич с эскадромом, он жалок, Зотов объявляет, что он смещен, пойду торговать на Сухаревку лепешками, что же новая школа, вы, говорит, войска расставлять умеете, в старину умел, теперь без резервов не умею.

У него жар, он говорит то, чего говорить не следовало, перебранка с Шеко, тот сразу поднял тон, начальник штаба приказал вам явиться в штаб, мне сдавать нечего, я не мальчик, чтобы шляться по штабам, оставил эскадрон и уехал. Уезжает старая гвардия, все ломается, вот и нет Константина Карловича.

Еще впечатление — и тяжкое и незабываемое — приезд на белой лошади начдива с ординарцами. Вся штабная сволочь, бегущая с курицами для командарма, относятся покровительственно, хамски, Шеко — высокомерен, спрашивает об операциях, тот объясняет, улыбается, великолепная, статная фигура и отчаяние. Вчерашний бой — блестящий успех 6-й дивизии — 1000 лошадей, 3 полка загнаны в окопы, противник разгромлен, отброшен, штаб дивизии в Хотине. Чей это успех — Тимошенки или Апанасенки? Тов. Хмельницкий — еврей, жрун, трус, нахал, при командарме — курица, поросенок, кукуруза, его презирают ординарцы, нахальные ординарцы, единственная забота ординарцев — курицы, сало, жрут, жирные, шоферы жрут сало, — все на крылечке перед домом. Лошади есть нечего.

Настроение совсем другое, поляки отступают, Броды хотя ими заняты, снова бьем, вывоз Буденный.

Хочу спать, не могу. Перемены в жизни дивизии будут иметь важное значение. Шеко на подводе. Я с эскадромом. Едем на Хотин, опять рысь, 15 верст сделали. Живу у Бахтурова. Он убит, нет начдива, чувствует, что и ему не быть. Дивизия потрясена, бойцы ходят тихие, — нарастает или нет. Наконец-то я поужинал — мясо, мед. Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро. Сплю в клуне, наконец-то покой.

5.8.20. Хотин

День покоя. Ем, шляюсь по залитой солнцем деревне, отдыхаем, обедал, ужинал — есть мед, молоко.

Главное — внутренние перемены, все перевернуто.

Начдива жалко до боли, казачество волнуется, разговоры из-под угла, интересное явление, собираются, шепчутся, Бахтуров подавлен, герой был начдив, теперь командир в комнату не пускает, из 600 — 6000, тяжкое унижение, в лицо бросили — вы предатель, Тимошенко засмеялся, — Апанасенко, новая и яркая фигура, некрасив, коряв, страстен, самолюбив, честолюбив, написал воззвание в Ставрополь и на Дон о беспорядках тыла, для того, чтобы сообщить в родные места, что он начдив. Тимошенко был легче, веселее, шире и, может быть, хуже. Два человека, не любили они, верно, друг друга. Шеко разворачивается, невероятно корявые приказы, высокомерие. Совсем другая работа штаба. Обозов и административного штаба нету. Лепин поднял голову — он зол, туп и возражает Шеко.

Вечером музыка и пляска — Апанасенко ищет популярности, круг шире, Бахтурову выбирает лошадь из польских, нынче все ездят на польских, великолепные кони, узкогрудые, высокие, английские, рыжие кони, этого нельзя забыть. Апанасенко заставляет проводить лошадей.

Целый день — разговоры об интригах. Письмо в тыл.

Тоска по Одессе.

Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова.

Об ординарцах, связывающих свою судьбу с «господами». Что будет делать Михеев, хромым Сухоруков, все эти Гребушки, Тарасовы, Иван Иванович с Бахтуровым. Все идут следом.

О польских лошадях, об эскадронах, скачущих в пыли на высоких, золотистых, узкогрудых польских конях. Чубы, цепочки, костюмы из ковров.

В болоте завязли 600 коней, несчастные поляки.

6.8.20. Хотин

На том же месте. Приводимся в порядок, куем лошадей, едим, перерыв в операциях.

Моя хозяйка — маленькая, пугливая, хрупкая женщина с измученными и кроткими глазами. Боже, как ее мучают солдаты, это бесконечное варево, крадем мед. Приехал домой хозяин, бомбы с самолета угнали у него коней. Старик не ел 5 суток, теперь отправляется по белу свету искать своих коней, эпопея. Старый старик.

Знойный день, густая, белая тишина, душа радуется, кони стоят, им молотят овес, возле них целый день спят казаки, кони отдыхают — это на первом плане.

Изредка мелькает фигура Апанасенки, в отличие от замкнутого Тимошенки, он — свой, он — отец командир.

Утром уезжает Бахтуров, за ним свита, слежу за работой нового военкома, тупой, но обтесавшийся московский рабочий, вот в чем сила — шаблонные, но великие пути, три военкома — обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку, молодого 23-летнего юношу, скромный Ширяев, хитрый Гришин. Сидят в садку, военком выспрашивает, сплетничают, высокопарно говорят о мировой революции, хозяйка отряхивает яблоки, потому что все объели, секретарь военкома, длинный, с звонким голосом ходит, ищет пищу.

В штабе новые веяния — Шеко пишет особенные приказы, высокопарные и трескучие, но короткие и энергичные, подает свои мнения Реввоенсовету, действует по собственной инициативе.

Все грустят о Тимошенко, бунта не будет.

Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как

лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде.

Иван Иванович — сидя на скамейке, говорит о днях, когда он тратил по 20 тысяч, по 30 тысяч. У всех есть золото, все набрали в Ростове, перекидывали через седло мешок с деньгами и пошел. Иван Иванович одевал и содержал женщин. Ночь, клуна, душистое сено, но воздух тяжелый, чем-то я придавлен, грустной бездумностью моей жизни.

7.8.20. Берестечко

Теперь вечер, 8. Только что зажглись лампы в местечке. В соседней комнате панихида. Много евреев, заунывные родные напевы, покачиваются, сидят по скамьям, две свечи, неугасимая лампочка на подоконнике. Панихида по внучке хозяина, умершей от испуга после грабежей. Мать плачет, под молитву, рассказывает мне, мы стоим у стола, горе молотит меня вот уже два месяца. Мать показывает карточку, истертую от слез, и все говорят — красавица необычайная, какой-то командир бегал за яром, стук ночью, поднимали с кровати, рылись поляки, потом казаки, непрерывная рвота, истекла. И главное у евреев — красавица, такой в местечке не было.

Памятный день. Утром — из Хотина в Берестечко. Еду с секретарем военкома Ивановым, длинный, прожорливый парень без стержня, оборванец — и вот, муж певицы Комаровой, мы концертировали, я ее выпишу. Русский менаде.

Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовищно.

Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под Берестечком, казачьи могилы. И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — хлоп против пана.

Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вонючие, всему этому 100–200 лет, население крепче, чем в других местах, главное — архитектура, белые водянисто-голубые домики, улочки, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить — ценное еврейство, богатые хохлы, ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан — кожевников, торговля с Австрией, контрабанда.

Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, как будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией, местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили, аптекарю раскаленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера — идиотизм. Поляки сошли с ума, они губят себя.

Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские. Ксендз Тузинкевич — я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор книг, много латыни, издания 1860 года, вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X, хорошее лицо, изумительный портрет Сенкевича — вот он, экстракт нации. Над всем этим воняет душонка Сухина. Как это ново для меня — книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича, и я ее поймал. Лепин трогательно вдруг играет на пианино. Вообще — он иногда поет по-латышски. Вспомнить его босые ножки — умора. Это очень смешное существо.

Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, стра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Служитель трепещет, как птица, корчится, мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги.

Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе.

Описать эту пару. Графский старинный польский дом, наверное, больше 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 года, *notre petit héros acheve 7 semai-nes*³⁰. Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетие, мать — графиня, рояль Стейнвей, парк, пруд.

Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают Ревком, евреи наматывают бороды, еврейки слушают о российском рае, международном положении, о восстании в Индии.

Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с чахлым мешуресом, неожиданное красноречие, о чем он говорил?

³⁰ Нашему маленькому герою исполняется 7 недель (фр.)

8.8.20. Берестечко

Живаюсь в местечко. Здесь были ярмарки. Крестьяне продают груши. Им платят давно не существующими деньгами. Здесь жизнь была ключом — евреи вывозили хлеб в Австрию, контрабанда товаров и людей, близость границы.

Необыкновенные сараи, подземелья.

Живу у содержательницы постоялого двора, рыжая тощая сволочь. Ильченко купил огурцов, читает «Журнал для всех» и рассуждает об экономической политике, во всем виноваты евреи, тупое, славянское существо, при разграблении Ростова набившее карман. Какие-то приемыши, недавно умершая. История с аптекарем, которому поляки запускали под ногти булавки, обезумевшие люди.

Жаркий день, жители слоняются, начинают оживать, будет торговля.

Синагога, Торы, 36 лет тому назад построил ремесленник из Кременца, ему платили 50 рублей в месяц, золотые павлины, скрещенные руки, старинные Торы, во всех шамесах нет никакого энтузиазма, изжеванные старики, мосты на Берестечко, как всколыхнули, поляки придавали всему этому давно утраченный колорит. Старичок, у которого остановился Корочаев, разжалованный начдив, со своим оруженосцем-евреем. Корочаев был предчека где-то в Астрахани, поковырять его, оттуда посыплется. Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодущие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейских лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь, барышни в белых чулках, капоты, как мало толстяков.

Ведем разведку на Львов. Апанасенко пишет послания Ставропольскому Исполкому, будем рубить головы в тылу, он восхищен. Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом — мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14-ю дивизию. Приближаемся к Радзихову. Газеты московские от 29/VII. Открытие II конгресса III Интернационала, наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым фактором.

Надо приглядеться к Апанасенко. Атаман.

Панихида тихого старика по внучке.

Вечер, спектакль в графском саду, любители из Берестечка, денщик болван, барышни из Берестечка, затихает, здесь бы пожить, узнать.

9.8.20. Лашков

Переезд из Берестечко в Лашков, Галиция. Экипаж начдива, ординарец начдива Лёвка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, как он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село. «Зарезать» не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нему, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал, хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет? Нет, не думал. А надо было подумать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну да м. и., а теперь, Степан, будем тебя убивать. Оставили чуть теплого. Другой рассказ о сестре милосердия Шурке. Ночь, бой, полки строятся, Лёвка в фаэтоне, сожитель Шуркин тяжело ранен, отдает Лёвке лошадь, они отвозят раненого, возвращаются к бою. Ах, Шура, раз жить, раз помирать. Ну да ладно. Она была в заведении в Ростове, скачет в строю на лошади, может отпустить пятнадцать. А теперь, Шурка, поедем, отступаем, лошади запутались в проволоке, проскакал 4 версты, село, сидит, рубит проволоку, проходит полк, Шура выезжает из рядов, Лёвка готовит ужинать, жрать охота, поужинали, поговорили, идем, Шура, еще разок. Ну ладно. А где?

Ускакала за полком, пошел спать. Если жена приедет — убью.

Лашков — зеленое, солнечное, тихое, богатое галицийское село. Живу у дьякона. Жена только что родила.

Придавленные люди. Чистая, новая хата, а в хате ничего. Рядом типичные галицийские евреи. Думают — не еврей ли? Рассказ — ограбили, обрубил голову двум курицам, нашел вещи в клуне, выкопал из-под земли, согнал всех в хату, обычная история, запомнить мальчика с бакенбардами. Рассказывают мне, что главный раввин живет в Бельзе, поистребили раввинов.

Отдыхаем, в моем палисаднике 1-й эскадрон. Ночь, у меня на столе лампочка, тихо фыркают лошади, здесь все кубанцы, вместе едят, спят, варят, великолепное, молчаливое содружество. Все они мужиковаты, по вечерам полными голосами поют песни, похожие на церковные, преданность коням, небольшие кучки — седло, уздечка, расписная сабля, шинель, я сплю, окруженный ими.

Сплю днем на поле. Операций нет, какая это прекрасная и нужная вещь — отдых. Кавалерия, кони отходят от этой нечеловеческой работы, люди отходят от жестокости, вместе живут, поют песни тихими голосами, что-то друг дружке рассказывают.

Штаб в школе. Начдив у священника.

10.8.20. Лашков

Отдых продолжается. Разведка на Радзихов, Соколовку, Стоянов, всё к Львову. Получено известие, что взят Александровск, в международном положении гигантские осложнения, неужели будем воевать со всем светом?

Пожар в селе. Горит клуна священника. Две лошади, бившиеся что есть мочи, сгорели. Лошадь из огня не выведешь. Две коровы удрали, у одной потрескалась кожа, из трещин — кровь, трогательно и жалко.

Дым оболочивает все село, яркое пламя, черные пухлые клубы дыма, масса дерева, жарко лицу, все вещи из поповского дома, из церкви выбрасывают в палисадник. Апанасенко в красном казакине, в черной бурке, гладко выбритое лицо — страшное явление, атаман.

Наши казаки, тяжкое зрелище, тащут с заднего крыльца, глаза горят, у всех неловкость, стеснение, неискоренима эта так называемая привычка. Все хоругви, старинные Четьи-Минеи, иконы вынесены, странные раскрашенные бело-розовые, бело-голубые фигурки, уродливые, плосколицые, китайские или буддийские, масса бумажных цветов, загорится ли церковь, крестьянки в молчании ломают руки, население, испуганное и молчаливое, бегают босячком, каждый садится у своей хаты с ведром. Они апатичны, прибиты, нечувствительны — необычайно, они бросились бы даже тушить. С воровством удалось совладать — солдаты, как хищные, затрудненные звери ходят вокруг батюшкиных чемоданов, говорят, там золото, у попа можно взять, портрет графа Андрея Шептицкого, митрополита Галицкого. Мужественный магнат с черным перстнем на большой и породистой руке. У старого священника, 35 лет прослужившего в Лашкове, трепещет все время нижняя губа, он рассказывает мне о Шептицком, тот не «выхован» в польском духе, из русинских вельмож, «граф на Шептицах», потом ушли к полякам, брат — главнокомандующий польскими войсками, Андрей вернулся к русинам. Своя давняя культура, тихая и прочная. Хороший интеллигентный батюшка, припасший мучку, курицу, хочет поговорить об университетах, о русинах, несчастный, у него живет Апанасенко в красном казакине.

Ночью — необыкновенное зрелище, ярко догорает шоссе, моя комната освещена, я работаю, горит лампочка, покой, душевно поют кубанцы, их тонкие фигуры у костров, песни совсем украинские, лошади ложатся спать. Иду к начдиву. Мне о нем рассказывает Винокуров — партизан, атаман, бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание, идеал — Думенко, сочащаяся рана, надо подчиняться организации, смертельная ненависть к аристократии, попам и, главное, к интеллигенции, которую он в армии не переваривает. Институт он кончит — Апанасенко, чем не времена Богдана Хмельницкого?

Глубокая ночь. 4 часа.

11.8.20. Лашков

День работы, сидение в штабе, пишу до усталости, день покоя. К вечеру дождь. У меня в комнате ночуют кубанцы, странно — смиренные и воинственные, домовитые и немолодые крестьяне ясного украинского происхождения.

О кубанцах. Содружество, всегда своей компанией, под окном ночью и днем фыркают кони, великопелный запах навоза, солнца, спящих казаков, два раза в день варят огромные ведра похлебки и мясо. Ночью кубанцы в гостях. Бесперывный дождь, они сушатся и ужинают у меня в комнате. Религиозный кубанец в мягкой шляпе, бледное лицо, светлые усы. Они истовы, дружелюбны, дики, но как-то более привлекательны, домовиты, меньше ругатели, спокойнее, чем донцы и ставропольцы.

Сестра приехала, как все ясно, это надо описать, она стерта, хочет уезжать, там все были — комендант, эти по крайней мере говорят, Яковлев, и ужас, Гусев. Она жалка, хочет уходить, грустна, говорит непонятно, хочет о чем-то со мною поговорить и смотрит на меня доверчивыми глазами, мол, я друг, а остальные, остальные слезни (?). Как быстро уничтожили человека, принизили, сделали некрасивым. Она наивна, глупа, восприимчива даже к революционной фразе, и чудачка много говорит о революции, служила в Культпросвете ЧК, сколько мужских влияний.

Интервью с Апанасенко. Это очень интересно. Это надо запомнить. Его тупое, страшное лицо, крепкая сбитая фигура, как у Уточкина.

Его ординарцы (Лёвка), статные золотистые кони, прихлебатели, экипажи, приемыш Володя — маленький казак со старческим лицом, ругается, как большой.

Апанасенко — жаден к славе, вот он — новый класс. Несмотря на все оперативные дела — отрывается и каждый раз возвращается снова, организатор отрядов, просто против офицерства, 4 Георгия, службист, унтер-офицер, прапорщик при Керенском, председатель полкового комитета, срывает погоны у офицеров, длинные месяцы в астраханских степях, непререкаемый авторитет, профессионал военный.

Об атаманах, их там много было, доставали пулеметы, дрались со Шкуро и Мамонтовым, влились в Красную Армию, героическая эпопея. Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть Апанасенки к богатым, к интеллигентам, неугасимая ненависть.

Ночь с кубанцами, дождь, душно, какая-то странная чесотка у меня.

12.8.20. Лашков

Четвертый день в Лашкове. Необычайно забитая галицийская деревня. Жили лучше русских, хорошие дома, много добропорядочности, уважение к священникам, честны, но обескровлены, сваренный ребенок у моих хозяев, как он родился и зачем он родился, в матери ни кровинки, где-то что-то непрерывно скрывают, где-то хрюкают свиньи, где-то, вероятно, спрятано сукно.

Свободный день, хорошее дело — корреспондентство, ежели его не запускать.

Надо писать в газету и жизнеописание Апанасенки.

Дивизия отдыхает — какая-то тишина на сердце и люди лучше — песни, костры, огонь в ночи, шутки, счастливые, апатичные кони, кто-то читает газету, походка вразвалку, куют лошадей. Как все это выглядит. Уезжает в отпуск Соколов, даю ему письмо домой.

Пишу — все о трубках, о давно забытых вещах, Бог с ней, с революцией, туда и надо устремиться.

Не забыть бы священника в Лашкове, плохо бритый, добрый, образованный, может быть, корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка, дом его, хорошо жил, смешливые гравюрки.

Трения военкома с начдивом, тот встал и вышел с Книгой в то время, когда Яковлев, начподив, делал доклад, Апанасенко пришел к военкому.

Винокуров — типичный военком, гнет свою линию, хочет исправлять 6-ю дивизию, борьба с партизанщиной, тяжелодум, морит меня речами, иногда груб, всем на «ты».

13.8.20. Нивица

Ночью приказ — двигаться на Буск — 35 верст восточнее Львова.

Утром выступаем. Все три бригады сосредоточены в одном месте. Я на Мишиной лошади, научилась бежать, но шагом не идет, трусит ужасно. Целый день на коне с начдивом. Хутор Порады. В лесу 4 неприятельских аэроплана, пальба залпами. Три комбрига — Колесников, Корочаев, Книга. Василий Иванович хитрит, пошел на Топоров в обход (Чаныз), нигде не встретил неприятеля. Мы на хуторе Порады, разбитые хаты, извлекаю из люка старуху, голубцы. Вместе с наблюдателем на батарее. Наша атака у леска.

Беда — болото, каналы, негде развернуться кавалерии, атаки в пешем строю, вялость, падает ли мораль? Упорный бой и все же легкий (по сравнению с империалистической бойней) под Топоровом, берут с трех сторон, не могут взять, ураганный огонь нашей артиллерии из двух батарей.

Ночь. Все атаки не удались. На ночь — штаб переезжает в Нивица. Густой туман, пронзительный холод, лошадь, дорога лесами, костры и свечи, сестры на тачанках, тяжелый путь после дня тревог и конечной неудачи.

Целый день по полям и лесам. Интереснее всех — начдив, усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за все, страстность, если бы он там был, все было бы хорошо.

Что запомнилось? Езда ночью, визг баб в Порадах, когда у них начали (прервал писанье, в 100 шагах разорвались две бомбы, брошенные с аэроплана. Мы у опушки леса с запада ст. Майданы) брать белье, наша атака, что-то невидное, нестрашное издали, какие цепочки, всадники ездят по лугу, издали все это совершается неизвестно для чего, все это не страшно.

Когда вплотную подошли к местечку, началась горячка, момент атаки, момент, когда берут город, тревожная, лихорадочная, возрастающая, доводящая до отчаяния безнадежности трескотня пулеметов, непрерывные разрывы и над всем этим — тишина сверху и ничего не видно.

Работа штаба Апанасенко — каждый час донесения командарму, выслуживается.

Озябшие, усталые приехали в Нивицу. Теплая кухня. Школа.

Пленительная жена учителя, националистка, какое-то внутреннее веселье в ней, расспрашивает, варит нам чай, защищает свою мову, ваша мова хорошая и наша мова, и все смех в глазах. И это в Галиции, хорошо, давно я этого не слышал. Сплю в классе, на соломе рядом с Винокуровым.

Насморк.

14.8.20

Центр операций — взятие Буска и переправа через Буг. Целый день атака на Топоров, нет отставили. Опять нерешительный день. Опушка леса у ст. Майданы. Противником взят Лопатин.

К вечеру выбили. Снова Нивица. Ночевка у старухи, двор вместе со штабом.

15.8.20

Утром в Топорове. Бои у Буска. Штаб в Буске. Форсировать Буг. Пожар на той стороне. Буденный в Буске. Ночевка в Яблоновке с Винокуровым.

16.8.20

К Ракобутам, бригада переправилась. Еду опрашивать пленных.

Снова в Яблоновке. Выступаем на Н. Милатин, ст. Милатин, паника, ночевка в странноприимнице.

17.8.20

Бои у железной дороги, у Лисок. Рубка пленных. Ночевка в Задвурдзе.

18.8.20

Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб, проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия двигается к Буску, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком, Сухоруков, держащийся при всех режимах,

ж-му, ему подпеваает Суслов, всякие Лёвки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеательность все усиливается, атака аэропланов, непрерывно курсируют по 5–6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. В лесу. Интрига с сестрой. Апанасенко сделал ей с места в карьер гнусное предложение, она, как говорят, ночевала, теперь говорит о нем с омерзением, но ей нравится Шеко, а она нравится военкомдиву, который маскирует свой интерес к ней тем, что она, мол, беззащитна, нет средств передвижения, нет защитников. Она рассказывает, как за ней ухаживал Константин Карлович, кормил, запрещал писать ей письма, а писали ей бесконечно. Яковлев ей страшно нравился, начальник регистрационного отдела, белокурый мальчик в красной фуражке, просил руку и сердце и рыдал, как дитя. Была еще какая-то история, но я об ней ничего не узнал. Эпопея с сестрой — и главное, о ней много говорят и ее все презирают, собственный кучер не разговаривает с ней, ее ботиночки, переднички, она оделяет, книжки Бебеля.

Женщина и социализм.

О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б..., но товарищи, и б... потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем, чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащут сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи и у населения.

Нервность Апанасенки, его ругня, есть ли это сила воли?

Ночь снова в Нивице, сплю где-то на соломе, потому что ничего не помню, все на мне порвано, тело болит, СТО верст на лошади.

Ночую с Винокуровым. Его отношения к Иванову. Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом. Военком с ним невыносимо груб, непрерывно матом, ко всему придирается, что же ты, и мат, не знаешь, не сделал, собирай манатки, выгоню я тебя.

Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами.

За ночь 2-я бригада ночным налетом взяла Топоров. Незабываемое утро. Мы мчимся на рысях. Страшное, жуткое местечко, евреи у дверей как трупы, я думаю, что еще с вами будет, черные бороды, согбенные спины, разрушенные дома, тут же <нрзб>, остатки немецкой благоустроенности, какое-то невыразимое привычное и горячее еврейское горе. Тут же монастырь. Апанасенко сияет. Проходит вторая бригада. Чубы, костюмы из ковров, красные кисеты, короткие карабины, начальники на статных лошадях, буденновская бригада. Смотр, оркестры, здравствуй-те, сыны революции, Апанасенко сияет.

Из Топорова — леса, дороги, штаб у дороги, ординарцы, комбриги, мы влетаем на рысях в Буск, в его восточную половину. Какое очаровательное место (18-го летит аэроплан, сейчас будет бросать бомбы), чистые еврейки, сады, полные груш и слив, сияющий полдень, занавески, в домах остатки мещанской, чистой и, может быть, честной простоты, зеркала, мы у толстой галичанки, вдовы учителя, широкие диваны, много слив, усталость невыносимая от перенапряжения (снаряд пролетел, не разорвался), не мог уснуть, лежал у стены рядом с лошадьми и вспоминал пыль дороги и ужас обозной толкотни, пыль — величественное явление нашей войны.

Бой в Буске. Он на той стороне моста. Наши раненые. Красота — там горит местечко. Еду к переправе — острое ощущение боя, надо пробежать кусок дороги, потому что он обстреливает, ночь, пожар сияет, лошади стоят под хатами, идет совещание с Буденным, выходит Реввоенсовет, чувство опасности, Буск в лоб не взяли, прощаемся с толстой галичанкой и едем в Яблоновку глубокой ночью, кони едва идут, ночуем в дыре, на соломе, начдив уехал, дальше у меня и военкома нету сил.

1-я бригада нашла брод и переправилась через Буг у Поборжаны. Утром с Винокуровым на переправу. Вот он Буг, мелкая речушка, штаб на холме, я измучен дорогой, меня отправляют обратно в Яблоновку допрашивать пленных. Беда. Описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать надо далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

Допрос пленных в Яблоновке. Люди в нижнем белье, есть евреи, белокурые полячки, истомленные, интеллигентный паренек, тупая ненависть к ним, залитое кровью белье раненого, воды не дают, один толстоморденыкий тычет мне документы. Счастливыцы — думаю я, — как вы ушли. Они окружают меня, они рады звуку моего благожелательного голоса, несчастная пыль, какая разница между казаками и ими, жила тонка.

Из Яблоновки еду обратно на тачанке в штаб. Опять переправа, бесконечные переправляющиеся обозы (они не ждут ни минуты, вслед за наступающими частями) грузнут в реке, рвутся построики, пыль душит, галицийские деревни, мне дают молоко, в одной деревне обед, только что оттуда ушли поляки, все спокойно, деревня замерла, зной, полуденная тишина, в деревне никого, изумительно то, что здесь такая ничем не возмутимая тишина, свет, покой — как будто фронта и в 100 верстах нету. Церкви в деревнях.

Дальше неприятель. Два голых зарезанных поляка с маленькими лицами порезанными сверкают во ржи на солнце.

Возвращаемся в Яблоновку, чай у Лепина, грязь, Черкашин унижает его и хочет бросить, если присмотреться, лицо у Черкашина страшное, в его прямой, высокой как палка фигуре угадывается мужик — и пьяница, и вор, и хитрец.

Лепин — грязен, туп, обидчив, непонятен.

Длинный нескончаемый рассказ красивого Базкунова, отец, Нижний Новгород, заведующий химотделом, Крас-

ная Армия, деникинский плен, биография русского юноши, отец — купец, был изобретателем, торговал с ресторанами московскими. В течение всего пути толковал с ним. Это мы едем на Милатин, по дороге — сливы. В ст. Милатине церковь, квартира ксендза, ксендз в роскошной квартире — это незабываемо, — он ежеминутно жмет мне руку, отправляется хоронить мертвого поляка, приседает, спрашивает — хороший ли начальник, лицо типично иезуитское, бритое, серые глаза бегают и как это хорошо, плачущая полька, племянница, просящая, чтобы ей вернули телку, слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски. Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота, иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться. Ждем решения — где остаться — в старом или новом Милатине. Ночь. Паника. Какие-то обозы, где-то поляки прорвались, на дороге столпотворение вавилонское, обозы в три ряда, я в Милатинской школе, две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные галичанки, патриотки, своя культура, спальня, может быть, папилютки, в этом грохочущем, воюющем Милатине, за стенами обозы, пушки, отцы командиры рассказывают о подвигах, оранжевая пыль, клубы, монастырь ими заверчен. Сестры угощают меня папиросами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре.

Стук в дверь. Комендант зовет. Испуг. Едем в новый Милатин. *Н. Милатин*. С военкомом в странноприимнице, какое-то подворье, сарай, ночь, своды, прислужница ксендза, мрачно, грязно, мириады мух, усталость ни с чем не сравнимая, усталость фронта.

Рассвет, выезжаем, должны прорвать железную дорогу (все это происходит 17/VIII), железную дорогу Броды-Львов.

Мой первый бой, видел атаку, собираются у кустов, к Апанасенке ездят комбриги — осторожный Книга, хитрит, приезжает, забросает словами, тычут пальцами в бугры — по-под лесом, по-над лощиной, открыли неприятеля, полки несутся в атаку, шашки на солнце, бледные командиры, твердые ноги Апанасенко, ура.

Что было? Поле, пыль, штаб у равнины, неистово ругающийся Апанасенко, комбриг — уничтожить эту сволочь в... бандяги.

Настроение перед боем, голод, жара, скачут в атаку, сестры.

Гремит ура, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, «мекая», ну, да, Шеко воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление.

Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого «вроде» прапорщика, предательски убитого.

Впереди — вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побоище. Ездим с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился — рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся, как следует, у Матусевича убили лошадь, он со страшным, грязным лицом бежит, ищет лошадь. Ад. Как мы несем свободу, ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают, Апанасенко — не трать патронов, зарежь. Апанасенко говорит всегда — сестру резать, поляков резать.

Ночуем в Задвурдзе, плохая квартира, я у Шеко, хорошая пища, непрерывные бои, я веду боевой образ жизни, совершенно измучен, мы стоим в лесах, кушать целый день нечего, приезжает экипаж Шеко, подвозит, часто на наблюдательном пункте, работа батарей, опушки, лощины, пулеметы косят, поляки главным образом защищаются аэропланами, они становятся грозными, описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета, паника в обозах, нервирует, непрерывно планируют, скрываемся от них. Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-Ле-Ро во Львове, наши странствия по бригадам, Книга только в обход, Колесников в лоб, едем с Шеко в разведку, непрерывные леса, смертельная опасность, на горках, перед атакой пули жужжат вокруг, жалкое лицо Сухорукова с саблей, мотаюсь за штабом, мы ждем донесений, а они двигаются, делают обходы.

Бои за Баршовице. После дня колебаний к вечеру поляки колоннами пробиваются к Львову. Апанасенко увидел и сошел с ума, он трепещет, бригады действуют всем, хотя имеют дело с отступающими, и бригады вытягиваются нескончаемыми лентами, в атаку бросают 3 кавбригады, Апанасенко торжествует, хмыкает, пускает нового комбрига 3 Литовченко, взамен раненого Колесникова, видишь, вот они, иди и уничтожь, они бегут, корректирует действия артиллерии, вмешивается в приказания комбатарей, лихорадочное ожидание, думали повторить историю под Задвурдзе, не вышло. Болото с одной стороны, губительный огонь с другой. Движение на Остров, 6-я кавдивизия должна взять Львов с юго-восточной стороны.

Колоссальные потери в комсоставе: ранен тяжело Корочаев, убит его помощник — еврей убит, начальник 34-го полка ранен, весь комиссарский состав 31-го полка выбыл из строя, ранены все наштабриги, буденновские начальники впереди.

Раненые ползут на тачанках. Так мы берем Львов, донесения командарму пишутся на траве, бригады скачут,

приказы ночью, снова леса, жужжат пули, нас сгоняет с места на место артогонь, тоскливая боязнь аэропланов, спешу тебя, будет разрыв, во рту скверное ощущение и бежишь. Лошадей нечем кормить.

Я понял — что такое лошадь для казака и кавалериста.

Спешенные всадники на пыльных горячих дорогах, седла в руках, спят как убитые на чужих подводах, везде гниют лошади, разговоры только о лошадях, обычай мены, азарт, лошади мученики, лошади страдальцы, об них — эпопея, сам проникся этим чувством — каждый переход больно за лошадь.

Визиты Апанасенко со свитой к Буденному. Буденный и Ворошилов на фольварке, сидят у стола. Рапорт Апанасенко, вытянувшись. Неудача особого полка — проектировали налет на Львов, вышли, в особом полку сторожевое охранение, как всегда, спало, его сняли, поляки подкатили пулемет на 100 шагов, изловили коней, поранили половину полка.

Праздник Спаса — 19 августа — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились, Сидоренко или Егор рубят шашкой гусей на доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых (лугах), население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое, странное, изумленное и совсем согнутое.

В этом празднике есть что-то тихое и придавленное.

Униатский священник в Баршовице. Разрушенный, испоганенный сад, здесь стоял штаб Буденного, и сломанный, сожженный улей, это ужасный варварский обычай — вспоминаю разломанные рамки, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья, их тревожные рои.

Священник объясняет мне разницу между униатством и православием. Шептицкий великий человек, ходит в парусиновой рясе. Толстенький человек, черное, пухлое лицо, бритые щеки, блестящие глазки с ячменем.

Продвижение к Львову. Батареи тянутся все ближе. Малоудачный бой под Островом, но все же поляки уходят. Сведения об обороне Львова — профессора, женщины, подростки. Апанасенко будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства.

Прошла неделя боев — 21 августа наши части в 4-х верстах у Львова.

Приказ — всей Конармии перейти в распоряжение зап-фронта. Нас двигают на север — к Люблину. Там наступление. Снимают армию, стоящую в 4-х верстах от города, которого добивались столько времени. Нас заменит 14-я армия. Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией? 45-верстный переход из Баршовице в Адамы будет мне памятен всю жизнь. Я на своей пегой лошаденке, Шеко в экипаже, зной и пыль, пыль из Апокалипсиса, удушливые облака, бесконечные обозы, идут все бригады, облака пыли, от которых нет спасения, страшно задыхаешься, кругом грай, движение, уезжаю с эскадронам по полям, теряем Шеко, начинается самое страшное, езда на моем непоспевающем коньке, бесконечно едем и все рысью, я выматываюсь, эскадрон хочет обогнать обозы, обгоняем, боюсь отстать, лошадь идет как пух, по инерции, идут все бригады, вся артиллерия, оставили для заслона по одному полку, которые должны присоединиться к дивизии с наступлением темноты. Проезжаем ночью через мертвый, тихий Буск. Что особенного в галицийских городах? Смешение грязного и тяжелого Востока (Византии и евреев) с немецким пивным Западом. От Буска 15 км. Я не выдержу. Меняюсь лошадьми. Оказывается, нет покрышки на седле. Ехать мучительно. Каждый раз я принимаю другую позу. Привал в Козлове. Темная изба, хлеб с молоком. Какой-то крестьянин, мягкий и приветливый человек, был военнопленным в Одессе, я лежу на лавке, заснуть нельзя, на мне чужой френч, лошади во тьме, в избе душно, дети на полу. Приехали в Адамы в 4 часа ночи. Шеко спит. Я ставлю где-то лошадь, сено есть, и ложусь спать.

21.8.20. Адамы

Испуганные русины. Солнце. Хорошо. Я болен. Отдых. Днем всё в клуне, сплю, к вечеру лучше, ломит голова, болит. Я у Шеко живу. Холуй наштадива, Егор. Едим хорошо.

Как мы добываем пищу. Воробьев принял 2-й эскадрон. Солдаты довольны. В Польше, куда мы идем, можно не стесняться, с галичанами, ни в чем не повинными, надо было осторожнее, отдыхаю, не сижу на седле.

Разговор с комартидивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы.

Это просто средство, которым не брезгует партия.

Два одессита — Мануйлов и Богуславский, опрвоенком авиации, Париж, Лондон, красивый еврей, болтун, статья в европейском журнале, помнаштадив, евреи в Конармии, я вожу их в корень. Одет во френч — излишки одесской буржуазии, тяжкие сведения об Одессе. Душат. Что отец? Неужели все отобрали? Надо подумать о доме.

Прихлебательствую.

Апанасенко написал письмо польским офицерам. Бандяги, прекратите войну, сдайтесь, а то всех порубим, паны. Письмо Апанасенки на Дон, Ставрополь, там чинят затруднения бойцам, сыны революции, мы герои, мы неустрашимые, идем вперед.

Описание отдыха эскадрона, визг свиней, тащут курей, агенты, туши на площади. Стирают белье, молотят овес, скачут со снопами, лошади, помахивая ушами, жрут овес. Лошадь это всё. Имена: Степан, Миша, братишка, старуха. Лошадь — спаситель, это чувствует каждую минуту, однако избить может нечеловечески. За моей лошадью никто не ухаживает. Слабо ухаживают.

22.8.20. Адамы

У Мануйлова — помнаштадив — болит живот. Конечно. Служил у Муравьева, чрезвычайка, что-то военное, следственное, буржуй, женщины, Париж, авиация, что-то с репутацией, и он коммунист. Секретарь Богуславский — испуганно молчит и ест.

Спокойный день. Движение дальше на север.

Живу с Шеко. Ничего не могу делать. Устал, разбит. Сплю и ем. Как мы едим. Система. Каптеры, фуражиры, ничего не дают. Прибытие красноармейцев в деревню, обшаривают, варят, всю ночь трещат печи, страдают хозяйские дочки, визг свиней, к военному с квитанциями. Жалкие галичане.

Эпопея — как мы едим. Хорошо — свиньи, куры, гуси. «Барахольщики», «молошники» те, которые отстают.

23–24.8.20. Витков

Переезд в Витков на подводе. Институт обывательских подвод, несчастные обыватели, их мотают по две-три недели, отпускают, дают пропуск, другие солдаты перехватывают, снова мотают. Случай — при нас приехал мальчик из обоза. Ночь. Радость матери.

Идем в район Красностав — Люблин. Взяли армию, находившуюся в 4-х верстах от Львова. Кавалерия не могла взять.

Дорога в Витков. Солнце. Галицийские дороги, нескончаемые обозы, заводные лошади, разрушенная Галиция, евреи в местечках, уцелевшая ферма где-нибудь, чешская, предположим, налет на неспелые яблоки, на пасеки.

О пасеках подробно в другой раз.

В дороге, на телеге, думаю, тоскую о судьбах революции.

Местечко особенное, построенное после разрушения по одному плану, белые домики, деревянные высокие крыши, тоска.

Живем с помнаштадивами, Мануйлов ничего не понимает в штабном деле, муки с лошадьми, никто не дает, едем на обывательских подводах, у Богуславского сиреневые кальсоны, в Одессе успех у девочек.

Солдаты просят спектакля. Их кормят — «Денщик подвел».

Ночь наштадива — где 33-й полк, где пошла 2-я бригада, телефон, армприказ комбригу 1, 2, 3!

Дежурные ординарцы. Устройство эскадронов, командиры эскадронов — Матусевич и бывший комендант Воробьев, неизменно веселый и, кажется, глупый человек. Ночь наштадива — Вас просят к начдиву.

25.8.20. Сокаль

Наконец город. Проезжаем местечко Тартакув, евреи, развалины, чистота еврейского типа, раса, лавчонки.

Я все еще болен, не могу опомниться от львовских боев. Какой спертый воздух в этих местечках. В Сокале была пехота, город нетронут, наштадив у евреев. Книги, я увидел книги. Я у галичанки, богатой к тому же, едим здорово, курицу в сметане.

Еду на лошади в центр города, чисто, красивые здания, все загажено войной, остатки чистоты и своеобразия.

Революционный комитет. Реквизиции и конфискации. Любопытно: крестьянство не трогают совершенно. Все земли в его распоряжении. Крестьянство в стороне.

Объявления революционного комитета.

Сын хозяина — сионист и ein angesprochener Nationalist³¹. Обычная еврейская жизнь. Они тяготеют к Вене, к Берлину, племянник, молодой юноша, занимается философией и хочет поступить в университет. Едим масло и шоколад. Конфеты.

У Мануйлова трения с наштадивом. Шеко посылает его...

У меня самолюбие, ему не дают спать, нет лошади, вот тебе Конармия, здесь не отдохнешь. Книги — polnische, juden³².

Вечером — начдив в новой куртке, упитанный, в разноцветных штанах, красный и тупой, развлекается — музыка ночью, дождь разогнал. Идет дождь, мучительный галицийский дождь, сыпет и сыпет, бесконечно, безнадежно.

Что делают в городе наши солдаты? Темные слухи.

Богуславский изменил Мануйлову. Богуславский раб.

26.8.20. Сокаль

Осмотр города с молодым сионистом. Синагоги — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет назад, бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет тому назад, те же фигурки в капотах, двигаются, размахивают руками, воют. Это партия ортодоксов — они за Белзского раввина, знаменитый Белзский раввин, удравший в Вену. Умеренные за Гусятинского раввина. Их синагога. Красота алтаря, сделанного каким-то ремесленником, великолепие зеленоватых люстр, изъеденные столики, Белзская синагога — видение старины. Евреи просят воз-

³¹ Речистый националист (нем.)

³² Польские, еврейские (нем.)

действовать, чтобы их не разорвали, забирают пищу и товары.

Жиды всё прячут. Сапожник, сокальский сапожник, пролетарий. Фигура подмастерья, рыжий хасид — сапожник.

Сапожник ждал Советскую власть — он видит жидоедов и грабителей, и не будет заработку, он потрясен и смутит недоверчиво. Неразбериха с деньгами. Собственно говоря, мы ничего не платим, 15–20 рублей. Еврейский квартал. Неописуемая бедность, грязь, замкнутость гетто. Лавчонки, все открыты, мел и смола, солдаты рыщут, ругают жидов, шляются без толку, заходят в квартиры, залезают под стойки, жадные глаза, дрожащие руки, необыкновенная армия.

Организованное ограбление писчебумажной лавки, хозяин в слезах, всё рвут, какие-то требования, дочка с западно-европейской выдержкой, но жалкая и красная, отпускает, получает какие-то деньги и магазинной своей вежливостью хочет доказать, что все идет как следует, только слишком много покупателей. Хозяйка от отчаяния ничего не соображает.

Ночью будет грабеж города — это все знают.

Вечером музыка — начдив развлекается. Утром он писал письма на Дон и Ставрополь. Фронту невоготу выносить безобразия тыла. Вот пристал!

Холуи начдива водят взад и вперед статных коней с нагрудниками и нахвостниками.

Военком и сестра. Русский человек — хитрый мужичок, грубый, иногда наглый и путаный. Он о сестре высокого мнения, выщупывает меня, выпрашивает, он влюблен.

Сестра идет прощаться к начдиву, это после всего, что было. С ней спали все. Хам Суслов в смежной комнате — начдив занят, чистит револьвер.

Получаю сапоги и белье. Сухоруков получал, сам распределял, это обер-холуй, описать.

Разговор с племянником, который хочет в университет.

Сокаль — маклера и ремесленники, коммунизм, говорят мне, вряд ли здесь привьется.

Какие раздерганные, замученные люди.

Несчастливая Галиция, несчастные евреи.

У моего хозяина — 8 голубей.

У Мануйлова острый конфликт с Шеко, у него в прошлом много грехов. Киевский авантюрист. Приехал разжалованный из наштабригов 3.

Лепин. Темная, страшная душа.

Сестра — 26 и 1.

27.8.20

Бои у Знятыня, Длужнова. Едем на северо-запад. Полдня в обозе. Движение на Лащов, Комаров. Утром выехали из Сокаля. Обычный день — с эскадронами, начдивом мотаемся по лесам и полянам, приезжают комбриги, солнце, 5 часов не слезал с лошади, проходят бригады. Обозная паника. Оставил обозы у опушки леса, поехал к начдиву. Эскадроны на горе. Донесения командарму, канонада, аэропланов нет, переезжаем с места на место, обычный день. К ночи тяжкая усталость, ночуем в Василов. Назначенного пункта — Лащова не достигли.

В Василове или поблизости 11-я дивизия, столпотворение, Бахтуров — малюсенькая дивизия, он несколько поблек, 4-я дивизия ведет успешные бои.

28.8.20. Комаров

Из Василова выехал на 10 минут позже эскадронов. Еду с тремя всадниками. Бугры, поляны, разрушенные эконии, где-то в зелени красные колонны, сливы. Стрельба, не знаем, где противник, вокруг нас никого, пулеметы стучат совсем близко и с разных сторон, сердце сжимается, вот так каждый день отдельные всадники ищут штабы, возят донесения. К полудню нашел в опустошенной деревне, где в льохи³³ спрятались все жители, под деревьями, покрытыми сливами. Еду с эскадроном. Вступаем с начдивом, красный башлык, в Комаров. Недостроенный великолепный красный костел. До того, как вступили в Комаров, после стрельбы — ехал один — тишина, тепло, ясный день, какое-то странное прозрачное спокойствие, душа побаливает, один, никто не надоедает, поля, леса, волнистые долины, тенистые дороги.

Стоим против костела.

Приезд Ворошилова и Буденного. Ворошилов разносит при всех, недостаток энергии, горячится, горячий человек, бродило всей армии, ездит и кричит, Буденный молчит, улыбается, белые зубы. Апанасенко защищается, зайдем в квартиру, почему, кричит, выпускаем противника, нет соприкосновения, нет удара.

Апанасенко не годится?

Аптекарь, предлагающий комнату. Слух об ужасах. Иду в местечко. Невыразимый страх и отчаяние.

Мне рассказывают. Скрытно в хате, бояться, чтобы не вернулись поляки. Здесь вчера были казаки есаула Яковлева. Погром. Семья Давида Зиса, в квартирах, голый, едва дышащий старик пророк, зарубленная старуха, ребенок

³³ Погреб, подвал (укр.)

с отрубленными пальцами, многие еще дышат, смрадный запах крови, все перевернуто, хаос, мать над зарубленным сыном, старуха, свернувшаяся калачиком, 4 человека в одной хижине, грязь, кровь под черной бородой, так в крови и лежат. Евреи на площади, измученный еврей, показывающий мне все, его сменяет высокий еврей. Раввин спрятался, у него все разворочено, до вечера не вылез из норы. Убито человек 15 — Хусид Ицка Галер — 70 лет, Давид Зис — прислужник в синагоге — 45 лет, жена и дочь — 15 лет, Давид Трост, жена — резник.

У изнасилованной.

Вечером — у хозяев, казенный дом, суббота вечером, не хотели варить, до тех пор пока не прошла суббота.

Ищу сестер, Суслов смеется. Еврейка докторша.

Мы в странном старинном доме, когда-то здесь все было — масло, молоко.

Ночью — обход местечка.

Луна, за дверьми, их жизнь ночью. Вой за стенами. Будут убирать. Испуг и ужас населения. Главное — наши ходят равнодушно и пограбляют где можно, сдирают с изрубленных.

Ненависть одинаковая, казаки те же, жестокость та же, армии разные, какая ерунда. Жизнь местечек. Спасения нет. Все губят — поляки не давали приюту. Все девушки и женщины едва ходят. Вечером — словоохотливый еврей с бороденкой, имел лавку, дочь бросилась от казака со второго этажа, переломала себе руки, таких много.

Какая мощная и прелестная жизнь нации здесь была. Судьба еврейства. У нас вечером, ужин, чай, я сижу и пью слова еврея с бороденкой, тоскливо спрашивающего — можно ли будет торговать.

Тяжкая, беспокойная ночь.

29.8.20. Комаров, Лабуне, Пневск

Выезд из Комарова. Ночью наши грабили, в синагоге выбросили свитки Торы и забрали бархатные мешки для седел. Ординарец военкома рассматривает тефилии, хочет забрать ремешки. Евреи угодливо улыбаются. Это — религия.

Все с жадностью смотрят на недобранное, ворошат кости и развалины. Они пришли для того, чтобы заработать.

Захромала моя лошадь, беру лошадь наштадива, хочу поменять, я слишком мягок, разговор с солтысом³⁴, ничего не выходит.

Лабуне. Водочный завод. 8 тысяч ведер спирта. Охрана. Идет дождь пронизывающий, непрерывный. Осень, все к осени. Польская семья управляющего. Лошади под навесом, красноармейцы, несмотря на запрет, пьют. Лабуне — грозная опасность для армии.

Все таинственно и просто. Люди молчат, и ничего не заметно как будто. О, русский человек. Все дышит тайной и грозой. Смирившийся Сидоренко.

Операция на Замостье. Мы в 10 верстах от Замостье. Там спрошу об Р. Ю.

Операция, как всегда, несложна, обойти с запада и с севера и взять. Тревожные новости с запфронта. Поляки взяли Белосток.

Дальше едем. Разграбленное поместье Кулагковского у Лабуньки. Белые колонны. Пленительное, хоть и барское устройство. Разрушение невообразимое. Настоящая Польша — управляющие, старухи, белокурые дети, богатые, полувосточные деревни с солтысом, войтом, все католики, красивые женщины. В имении тащут овес. Кони в гостиной, вороные кони. Что же — спрятать от дождя. Драгоценнейшие книги в сундуке, не успели вывезти — конституция, утвержденная сеймом в начале 18-го века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты 16-го века, записки монахов, старинные французские романы.

Наверху не разрушение, а обыск, все стулья, стены, диваны распороты, пол вывернут, не разрушали, а искали. Тонкий хрусталь, спальня, дубовые кровати, пудреница, французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молоджены?

Отстоявшаяся жизнь, гимнастические принадлежности, хорошие книги, столы, банки с лекарствами — все исковеркано святотатственно. Невыносимое чувство, бежать от вандалов, а они ходят, ищут, передать их поступь, лица, ругань — гад, в Бога мать, Спаса мать, по непролазной грязи тащут снопы с овсом.

Подходим к Замостью. Страшный день. Дождь — победитель не затихает ни на минуту. Лошади едва вытягивают. Описать этот непереносимый дождь. Мотаемся до глубокой ночи. Промокли до нитки, устали, красный башлык Апанасенки. Обходим Замостье, части в 3–4 верстах от него. Не подпускают бронепоезда, кроют нас артогнем. Мы сидим на полях, ждем донесений, несутся мутные потоки. Комбриг Книга в хижине, донесение. Отец командир. Ничего не можем сделать с бронепоездами. Выяснилось, что мы не знали, что здесь есть железная дорога, на карте не отмечена, конфуз, вот наша разведка.

Мотаемся, все ждем, что возьмут Замостье. Черта с два. Поляки дерутся все лучше. Лошади и люди дрожат. Ночуем в Пневске. Польская ладная крестьянская семья. Разница между русскими и поляками разительна. Поляки живут чище, веселее, играют с детьми, красивые иконы, красивые женщины.

³⁴ Сельский староста (польск.)

30.8.20

Утром выезжаем из Пневска. Операция на Замостье продолжается. Погода по-прежнему ужасная, дождь, слякоть, дороги непроходимы, почти не спали, на полу, на соломе, в сапогах, будь готов.

Опять мотня. Едем с Шеко к 3-й бригаде. Он с револьвером в руках идет в наступление на станцию Завады. Сидим с Лепиным в лесу. Лепин корчится. Бой у станции. У Шеко обреченное лицо. Описать «частую перестрелку». Взяли станцию. Едем к полотну железной дороги. 10 пленных, одного не успеваем спасти. Револьверная рана? Офицер. Кровь идет изо рта. Густая красная кровь в комьях, заливает все лицо, оно ужасное, красное, покрыто густым слоем крови. Пленные все раздеты. У командира эскадрона через седло перекинуты штаны. Шеко заставляет отдать. Пленных одевают, ничего не одели. Офицерская фуражка. «Их было девять». Вокруг них грязные слова. Хотят убить. Лысый хромающий еврей в кальсонах, не поспевающий за лошадью, страшное лицо, наверное, офицер, надоедает всем, не может идти, все они в животном страхе, жалкие, несчастные люди, польские пролетарии, другой поляк — статный, спокойный, с бачками, в вязаной фуфайке, держит себя с достоинством, все допытываются — не офицер ли. Их хотят рубить. Над евреем собирается гроза. Неистовый путиловский рабочий, рубать их всех надо, гадов, еврей прыгает за нами, мы тащим с собой пленных все время, потом отдаем на ответственность конвоиров. Что с ними будет. Ярость путиловского рабочего, пена брызжет, шашка, порубаю гадов и отвечать не буду.

Едем к начдиву, он при 1 и 2-й бригадах. Все время находимся в виду Замостья, видны его трубы, дома, пытаемся взять его со всех сторон. Подготавливается ночная атака. Мы в 3-х верстах от Замостья, ждем взятия города, будем там ночевать. Поле, ночь, дождь, пронизывающий холод, лежим на мокрой земле, лошадям нечего дать, темно, едут с донесениями. Наступление будет вести 1 и 3-я бригады. Обычный приезд Книги и Левды, комбрига 3, малограмотного хохла. Усталость, апатия, неистребимая жажда сна, почти отчаяние. В темноте идет цепь, спешена целая бригада. Возле нас — пушка. Через час — пошла пехота. Наша пушка стреляет непрерывно, мягкий, лопающийся звук, огни в ночи, поляки пускают ракеты, ожесточенная стрельба, ружейная и пулеметная, ад, мы ждем, 3 часа ночи. Бой затихает. Ничего не вышло. Все чаще и чаще у нас ничего не выходит. Что это? Армия поддается?

Едем на ночлег верст за 10 в Ситанец. Дождь усиливается. Усталость непередаваемая. Одна мечта — квартира. Мечта осуществляется. Старый растерянный поляк со старухой. Солдаты, конечно, растаскивают его. Испуг чрезвычайный, все сидели в погребах. Масса молока, масла, лапша, блаженство. Я каждый раз вытаскиваю новую пищу. Замученная хорошая старушка. Восхитительное топленое масло. Вдруг обстрел, пули свистят у конюшен, у ног лошадей. Снимаемся. Отчаяние. Едем в другую окраину села. Три часа сна, прерываемого донесениями, распросами, тревогой.

31.8.20. Чесники

Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем до основания. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом, обматываются шинелями и идут в наступление на улей, вакханалия, тащут рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками. Черкашин. В пасеке — хаос и полное разрушение, дымятся развалины.

Я пишу в саду, лужайка, цветы, больно за все это.

Армприказ оставить Замостье, идти на выручку 14-й дивизии, теснимой со стороны Комарова. Местечко снова занято поляками. Несчастный Комаров. Езда по флангам и бригадам. Перед нами неприятельская кавалерия — раздолье, кого же рубить, как не их, казаки есаула Яковлева. Предстоит атака. Бригады накапливаются в лесу — версты 2 от Чесники.

Ворошилов и Буденный все время с нами. Ворошилов, коротенький, сидящий, в красных штанах с серебряными лампасами, все время торопит, нервнует, подгоняет Апанасенку, почему не подходит 2-я бригада. Ждем подхода 2-й бригады. Время тянется мучительно долго. Не торопить меня, товарищ Ворошилов. Ворошилов — все погибло к и. м.

Буденный молчит, иногда улыбается, показывая ослепительные белые зубы. Надо сначала пустить бригаду, потом полк. Ворошилову не терпится, он пускает в атаку всех, кто есть под рукой. Полк проходит перед Ворошиловым и Буденным. Ворошилов вытянул огромный револьвер, не давать панам пощады, возглас принимается с удовольствием. Полк вылетает нестройно, ура, даешь, один скачет, другой задерживает, третий рысью, кони не идут, котелки и ковры. Наш эскадрон идет в атаку. Скачем версты четыре. Они колоннами ждут нас на холме. Чудо — никто не пошевелился.

Выдержка, дисциплина. Офицер с черной бородой. Я под пулями. Мои ощущения. Бегство. Военкомы заворачивают. Ничего не помогает. К счастью, они не преследуют, иначе была бы катастрофа. Стараются собрать бригаду для второй атаки, ничего не получается. Мануйлову угрожают наганами. Героини сестры.

Едем обратно. Лошадь Шеко ранена, он контужен, страшное окаменевшее его лицо. Он ничего не разбирает, плачет, мы ведем лошадь. Она истекает кровью.

Рассказ сестры — есть сестры, которые только симпатию устраивают, мы помогаем бойцу, все тяготы с ним, стреляла бы в таких, да чем стрелять будешь, х-м, да и того нет.

Комсостав подавлен, грозные призраки разложения армии. Веселый дураковатый Воробьев, рассказывает о своих подвигах, подскочил, 4 выстрела в упор. Апанасенко неожиданно оборачивается, ты сорвал атаку, мерзавец.

Апанасенко мрачен, Шеко жалок.

Разговоры о том, что армия не та, пора на отдых. Что дальше. Ночуем в Чесники — смерзли, устали, молчим, непролазная, засасывающая грязь, осень, дороги разбиты, тоска. Впереди мрачные перспективы.

1.9.20. Терebin

Выступаем из Чесники ночью. Постояли часа два. Ночь, холод, на конях. Трясемся. Армприказ — отступить, мы окружены, потеряли связь с 12-й армией, связи ни с кем. Шеко плачет, голова трясется, лицо обиженного ребенка, жалкий, разбитый. Люди — хамы. Ему Винокуров не дал прочитать армприказа — он не у дел. Апанасенко с неохотой дает экипаж, я им не извозчик.

Бесконечные разговоры о вчерашней атаке, вранье, искреннее сожаление, бойцы молчат. Дурак Воробьев звонит. Его оборвал начдив.

Начало конца 1-й Конной. Толки об отступлении. Шеко — человек в несчастье.

У Мануйлова — 40, лихорадка, его все ненавидят, Шеко преследует, почему? Не умеет себя держать. Хитрый, вкрадчивый, себе на уме, ординарец Борисов, никто не жалеет — вот где ужас. Еврей?

Армию спасает 4-я дивизия. Вот и предатель — Тимошенко.

Приезжаем в Терebin, полуразрушенная деревня, холод. Осень, сплю днем в клуне, ночью вместе с Шеко.

Разговор с Арзамом Слягит. Рядом на лошадях. Говорили о Тифлисе, фруктах, солнце. Я думаю об Одессе, душа рвется.

Тащим кровоточащего коня Шеко за собой.

2.9.20. Терebin — Метелин

Жалкие деревни. Неотстроенные хижины. Полуголое население. Мы разоряем радикально. Начдив на позиции. Арм-приказ — сдерживать противника, стремящегося к Бугу, наступать на Вакиево — Гостиное. Толкаемся, но успехов не удерживаем. Толки об ослаблении боеспособности армии все увеличиваются. Бегство из армии. Массовые рапорты об отпусках, болезнях.

Главная болячка дивизии — отсутствие комсостава, все командиры из бойцов, Апанасенко ненавидит демократов, ничего не смыслят, некому вести полк в атаку. Эскадронные командуют полками.

Дни апатии, Шеко поправляется, он угнетен. Тяжело жить в атмосфере армии, давшей трещину.

3, 4, 5, 9.20. Малице

Передвинулись вперед к Малице.

Новый помнаштадив — Орлов. Гоголевская фигура. Патологический враль, язык без костей, еврейское лицо, главное — ужасная, если в нее вдуматься, легкость разговора, болтовни, вранья, боль (хромает), партизан, махновец, окончил реальное училище, командовал полком. От легкости этой страшно, что там внутри?

Мануйлов, наконец, хоть и со скандалом, сбежал, были угрозы арестом, какая бестолковость Шеко, направили его в 1-ю бригаду, идиотство, Штарм направил в авиацию. Аминь.

Живу с Шеко. Туп, добр, если уколоть в нужное место, бездарен, без постоянной воли. Пресмыкательствую, зато ем. Томный полуодессит Богуславский, мечтающий об одесских «девочках», нет, нет, а съездит ночью за армприказом. Богуславский на казачьем седле.

1-й взвод 1-го эскадрона. Кубанцы. Поют песни. Степные. Улыбаются. Не шумят.

Левда подал рапорт о болезни. Хитрый хохол. «У меня ревматизм, не в силах работать». Три рапорта из бригад, сговорились; если не отвести на отдых — дивизия погибнет, нет задора, лошади стали, люди апатичны, 3-я бригада два дня в поле, холод, дождь.

Грустная страна, непролазная грязь, отсутствующие мужики, прячут лошадей в лесах, тихо плачущие бабы.

Рапорт Книги — не имея сил управляться без комсостава...

Все лошади в лесах, красноармейцы меняют, наука, спорт.

Барсуков разлагается. Хочет в учебное заведение.

Идут бои. Наши пытаются наступать на Вакиев — Тонятыги. Ничего не выходит. Странное бессилие.

Поляк медленно, но верно нас отжимает. Начдив не годится, ни инициативы, ни нужного упорства. Его гнойное честолюбие, женолюбие, чревоугодие и, вероятно, лихорадочная деятельность, если это нужно будет.

Образ жизни.

Книга пишет — нет прежнего задора, бойцы ходят вялые.

Все время погода, нагоняющая тоску, дороги разбиты, страшная российская деревенская грязь, не вытащишь сапог, солнца нет, дождь, пасмурно, проклятая страна.

Я болен, ангина, жар, едва передвигаюсь, страшные ночи в задымленных чадных избах на соломе, все тело растерзано, искувано, чешется, в крови, ничего не могу делать. Операции протекают вяло, период равновесия с начинающимся преобладанием на стороне поляка.

Комсостав пассивен, да его и нет.

Я бегаю к сестре на перевязки, надо идти огородами, непролазная грязь. Сестра живет во взводе. Героиня, хотя и совокупляется. Изба, курят, ругаются, меняют портянки, солдатская жизнь, еще один человек — сестра. Кто брез-

гает из одной чашки — выбрасывается.

Противник наступает. Мы взяли Лотов, отдаем его, он нас отжимает, ни одно наше наступление не удается, отправляем обозы, я еду в Терebin на подводе Барсукова, дальше — дождь, слякоть, тоска, переезжаем Буг, Будятичи. И так, решено отдать линию Буга.

6.9.20. Будятичи

Будятичи занято 44-й дивизией. Столкновения. Они поражены дикой ордой, накинувшейся на них. Орлов — да-есть, катись.

Сестра гордая, туповатая, красивая сестра плачет, доктор возмущен тем, что кричат — бей жидов, спасай Россию. Они ошеломлены, начхоза избил нагайкой, лазарет выбрасывают, реквизируют и тянут свиней без всякого учета, а у них есть порядок, всякие уполномоченные с жалобами у Шеко. Вот и буденновцы.

Гордая сестра, каких мы никогда не видели, — в белых башмаках и чулках, стройная полная нога, у них организация, уважение человеческого достоинства, быстрая, тщательная работа.

Живем у евреев.

Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода.

7.9.20. Будятичи

Мы занимаем две комнаты. Кухня полна евреями. Есть беженцы из Крылова, жалкая кучка людей с лицами про-роков. Спят вповалку. Целый день варят и пекут, еврейка работает как каторжная, шьет, стирает. Тут же молятся. Дети, барышни. Хамы — холуи жрут беспрерывно, пьют водку, хохочут, жиреют, икают от желания женщины.

Едим через каждые два часа.

Часть отведена за Буг, новая фаза операции.

Вот уже две недели, как все упорнее и упорнее говорят о том, что армию надо отвести на отдых. На отдых — боевой клич!

Наклеивается командировка — в гостях у начдива — всегда едят, его рассказы о Ставрополе, Суслов толстеет, густо хам посажен.

Ужасная бестактность — представлены к ордену Красного Знамени Шеко, Суслов, Сухоруков.

Противник пытается перейти на нашу сторону Буга, 14-я дивизия, спешившись, отбила его.

Пишу удостоверения.

Оглух на одно ухо. Последствия простуды? Тело расчесано, все в ранах, недомогаю. Осень, дождь, уныло, грязь тяжелая.

8.9.20. Владимир — Волыньск

Утром на обывательской подводе в административный штаб. Аттестат, канитель с деньгами. Полутыловая гнусность — Гусев, Налетов, деньги в Ревтрибунале. Обед у Горбунова.

На тех же клячах в Владимир. Езда тяжелая, грязь непролазная, дороги непроходимы. Приезжаем ночью. Мотня с квартирой, холодная комната у вдовы. Евреи — лавочники. Папаша и мамаша — старики.

Горе ты, бабушка? Чернобородый, мягкий муж. Рыжая беременная еврейка моет ноги. У девочки понос. Теснота, но электричество, тепло.

Ужин — клецки с подсолнечным маслом — благодать. Вот она — густота еврейская. Думают, что я не понимаю по-еврейски, хитрые как мухи. Город — нищ.

Спим с Бородиным на перине.

9.9.20. Владимир-Волынский

Город нищ, грязен, голоден, за деньги ничего не купишь, конфеты по 20 рублей и папиросы. Тоска. Штарм. Уныло. Совет профессиональных союзов, еврейские молодые люди. Хождение по Совнархозам и профкомиссиям, тоска, военные требуют, озорничают. Дохлые молодые евреи.

Пышный обед — мясо, каша. Единственная утеха — пища.

Новый военком штаба — обезьянье лицо.

Хозяева хотят выменять мою шаль. Не дамся.

Мой возница — босой, с заплывшими глазами. Рассея.

Синагога. Молюсь, голые стены, какой-то солдат забирает электрические лампочки.

Баня. Будь проклята солдатчина, война, скопление молодых, замученных, одичавших, еще здоровых людей.

Внутренняя жизнь моих хозяев, какие-то дела делаются, завтра пятница, уже готовятся, хорошая старуха, старик с хитринкой, притворяются нищими. Говорят — лучше голодать при большевиках, чем есть булку при поляках.

10.9.20. Ковель

Полдня на разбитом, унылом, ужасном вокзале во Владимире-Волыньском. Тоска. Чернобородый еврей работает. В Ковель приезжаем ночью. Неожиданная радость — поезд Поарма. Ужин у Зданевича, масло. Ночую в радио-

станции. Ослепительный свет. Чудеса. Хелемская сожигает. Лимфатические железы. Володя. Она обнажилась. Мое пророчество исполнилось.

11.9.20. Ковель

Город хранит следы европейско-еврейской культуры. Советских (денег) не берут, стакан кофе без сахара — 50 рублей, дрянной обедешка на вокзале — 600 рублей.

Солнце, хожу по докторам, лечу ухо, чесотка.

В гости к Яковлеву, тихие домики, луга, еврейские улочки, тихая жизнь, ядреная, еврейские девушки, юноши, старики у синагоги, может быть парики, Соввласть, как будто, не возмутила поверхности, эти кварталы за мостом.

В поезде грязно и голодно. Все исхудали, обовшивели, пожелтели, все ненавидят друг друга, сидят, запершись в своих кабинках, даже повар исхудал. Разительная перемена. Живут в клетке. Хелемская грязная кухарит, контакт с кухней, она кормит Володю, еврейская жена «из хорошего дома».

Целый день ищу пищу.

Район расположения 12-й армии. Пышные учреждения — клубы, граммофоны, сознательные красноармейцы, весело, жизнь кипит ключом, газеты 12-й армии, Армупроста, командарм Кузьмин, пишущий статьи, с виду работа Политотдела поставлена хорошо.

Жизнь евреев, толпы на улице, главная улица Луцкая, хожу с разбитыми ногами, пью неисчислимое количество чаю и кофе. Мороженое — 500 р. Позволяют себе весьма. Суббота, все лавочки закрыты. Лекарство — 5 р.

Ночую в радиостанции. Ослепительный свет, умствующие радиотелеграфисты, один пытается играть на мандолине. Оба читают запоем.

12.9.20. Киверцы

Утром — паника на вокзале. Артстрельба. Поляки в городе. Невообразимое жалкое бегство, обозы в пять рядов, жалкая, грязная, задыхающаяся пехота, пещерные люди, бегут по лугам, бросают винтовки, ординарец Бородин видит уже рубящих поляков. Поезд отправляется быстро, солдаты и обозы бегут, раненые с искаженными лицами скачут к нам в вагон, политработник, задыхающийся, у которого упали штаны, еврей с тонким просвечивающим лицом, может быть, хитрый еврей, вскакивают дезертиры с сломанными руками, больные из санлечки.

Заведение, которое называется 12-й армией. На одного бойца — 4 тыловики, 2 дамы, 2 сундука с вещами, да и этот единственный боец не дерется. Двенадцатая армия губит фронт и Конармию, открывает наши фланги, заставляя затыкать собой все дыры. У них сдался в плен, открыли фронт, уральский полк или башкирская бригада. Паника позорная, армия небоеспособна. Типы солдат. Русский красноармеец пехотинец — босой, не только не модернизированный, совсем «убогая Русь», странники, распухшие, обовшивевшие, низкорослые, голодные мужики.

В Голобах выбрасывают всех больных и раненых и дезертиров. Слухи, а потом факты: захвачено, загнанное в Владимир-Волынский тупик, снабжение 1-й Конной, наш штаб перешел в Луцк, захвачено у 12-й армии масса пленных, имущества, армия бежит.

Вечером приезжаем в Киверцы.

Тяжкая жизнь в вагоне. Радиотелеграфисты все покушаются меня выжить, у одного по-прежнему расстроен желудок, он играет на мандолине, другой умничает, потому что он дурак.

Вагонная жизнь, грязная, злобная, голодная, враждебная друг к другу, нездоровая. Курящие и жрущие москвички, без обличья, много жалких людей, кашляющие москвичи, все хотят есть, все злы, у всех животы расстроены.

13.9.20. Киверцы

Ясное утро, лес. Еврейский Новый год. Голодно. Иду в местечко. Мальчики в белых воротничках. Ишас Хакл угощает меня хлебом с маслом. Она «сама» зарабатывает, бой-баба, шелковое платье, в доме прибрано. Я расстроган до слез, тут помог только язык, мы разговариваем долго, муж в Америке, рассудительная и неторопливая еврейка.

Длинная стоянка на станции. Тоска по-прежнему. Берем из клуба книжки, читаем запоем.

14.9.20. Клевань

Стоим в Клевани сутки, всё на станции. Голод, тоска. Не принимает Ровно. Железнодорожный рабочий. Печем у него коржи, карточки. Железнодорожный сторож. Они обедают, говорят ласковые слова, нам ничего не дают. Я с Бородиным, его легкая походка. Целый день добываем пищу, от одной сторожки к другой. Ночевка в радиостанции при ослепительном освещении.

15.9.20. Клевань

Начинаются третьи сутки нашего томительного стояния в Клевани, то же хождение за пищей, утром богато пили чай с коржами. Вечером поехал в Ровно на подводе авиации 1-й Конной. Разговор об нашей авиации, ее нет, все аппараты сломаны, летчики не умеют летать, машины старые, латанные, никуда не годные. Больной горлом красноармеец — вот он тип. Едва говорит, там, вероятно, все заложено, воспалено, лезет пальцем соскребывать в глотке пленку, сказали, что помогает соль, сыплет соль, четыре дня не ел, пьет холодную воду, потому что никто не дает

горячей. Говорит косноязычно о наступлении, о командире, о том, что они босые, одни идут, другие не идут, манит пальцем.

Ужин у Гасниковой.

Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь, — ответил Гершкович, — к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два, — сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша...

.....

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше. Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э, — поморщился Гершкович, — какое глупство.

— Ты сердитый, папаша. Она села к нему на колени.

— Нивроко, — сказал Гершкович, — пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в сидящую щеку.

.....

— Э, — снова поморщился Гершкович, — я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей? Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка, — медленно промолвила проститутка, — это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

— Пятерку, — сказала женщина. Гершкович вернулся.

— Постели мне, — устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. — Как тебя зовут?

— Маргарита.

— Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной. Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

— Как тебя зовут, папашка?

— Эли, Элья Исаакович.

— Торгуешь?

— Наша торговля... — неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла...

.....

— Нивроко, — сказал Гершкович. — Откормилась. Скоро они заснули.

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

— У нас море, у вас поле, — сказал он. — Хорошо.

— Ты откуда? — спросила Маргарита.

— Из Одессы, — ответил Гершкович. — Первый город, хороший город. — И он хитро улыбнулся.

— Тебе, я вижу, везде хорошо, — сказала Маргарита.

— И правда, — ответил Гершкович. — Везде хорошо, где люди есть.

— Какой ты дурак, — промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. — Люди злые.
— Нет, — сказал Гершкович, — люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.
Маргарита подумала, потом улыбнулась.

— Ты занятный, — медленно проговорила она и внимательно оглядела его.
— Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

— Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться. Уходя, Гершкович сказал:

— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

— Жила ты, жила. Давай три. Придешь вечером?

— Приду.

Вечером Гершкович принес ужин — селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

— Полсотней в месяц не обойдешься, — говорила Маргарита. — Занятия такая, что дешевкой оденешься — щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет...

— У нас в Одессе, — подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части, — за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

— Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не уберешься...

— Каждый человек имеет свои неприятности, — промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

— Вы, нивроко, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пани.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

— Привет в Одессу, — сказала она, — привет...

— Спасибо, — ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

— До свидания, Маргарита Прокофьевна.

— До свиданья, Элья Исаакович. Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

На поле чести

Германские батареи бомбардировали деревни из тяжелых орудий. Крестьяне бежали к Парижу. Они тащили за собой калек, уродцев, рожениц, овец, собак, утварь. Небо, блиставшее синевой и зноем, медлительно багровело, набухло и обволакивалось дымом.

Сектор у N занимал 37 пехотный полк. Потери были огромны. Полк готовился к контратаке. Капитан Ratin³⁵ обходил траншеи. Солнце было в зените. Из соседнего участка сообщили, что в 4 роте пали все офицеры. 4 рота продолжает сопротивление.

В 300 метрах от траншеи Ratin увидел человеческую фигуру. Это был солдат Виду, дурачок Виду. Он сидел скорчившись на дне сырой ямы. Здесь когда-то разорвался снаряд. Солдат занимался тем, чем утешаются дрянные старикашки в деревнях и порочные мальчишки в общественных уборных. Не будем говорить об этом.

— Застегнись, Виду, — с омерзением сказал капитан. — Почему ты здесь?

— Я... я не могу этого сказать вам... Я боюсь, капитан!..

— Ты нашел здесь жену, свинья! Ты осмелился сказать мне в лицо, что ты трус, Виду. Ты оставил товарищей в тот час, когда полк атакует. *Bien, mon cochon*³⁶.

³⁵ Ратэн (фр.)

³⁶ Хорошо, мой поросенок (фр.)

— Клянусь вам, капитан!.. Я все испробовал... Виду, сказал я себе, будь рассудителен... Я выпил бутылку чистого спирта для храбрости. Je ne reux pas, capitaine³⁷. Я боюсь, капитан!..

Дурачок положил голову на колени, обнял ее двумя руками и заплакал. Потом он взглянул на капитана, и в щелках его свиных глазок отразилась робкая и нежная надежда.

Ratin был вспльчив. Он потерял двух братьев на войне, и у него не зажила рана на шее. На солдата обрушилась кощунственная брань, в него полетел сухой град тех отвратительных, яростных и бессмысленных слов, от которых кровь стучит в висках, после которых один человек убивает другого.

Вместо ответа Виду тихонько покачивал своей круглой рыжей лохматой головой, твердой головой деревенского идиота.

Никакими силами нельзя было заставить его подняться. Тогда капитан подошел к самому краю ямы и прошипел совершенно тихо:

— Встань, Виду, или я оболью тебя с головы до ног.

Он сделал, как сказал. С капитаном Ratin шутки были плохи. Зловонная струя с силой брызнула в лицо солдата. Виду был дурак, деревенский дурак, но он не перенес обиды. Он закричал нечеловеческим и протяжным криком; этот тоскливый, одинокий, затерявшийся вопль прошел по взбороненным полям; солдат рванулся, заломил руки и бросился бежать полем к немецким траншеям. Неприятельская пуля пробила ему грудь. Ratin двумя выстрелами прикончил его из револьвера. Тело солдата даже не дернулось. Оно осталось на полдороге, между вражескими линиями.

Так умер Селестин Виду, нормандский крестьянин, родом из Ори, 21 года — на обагренных кровью полях Франции.

То, что я рассказал здесь, — правда. Об этом написано в книге капитана Гастона Видаля «Figures et anecdotes de la grand Guerre»³⁸. Он был этому свидетелем. Он тоже защищал Францию, капитан Видаль.

Из «Конармии»

Переход через Збруч

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волинск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волянь изгибается, Волянь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенные узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спине уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.

— Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяйева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза

³⁷ Я не могу, капитан (фр.)

³⁸ «Персонажи и анекдоты Великой Войны» (фр.)

его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть, — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пане, — говорит она мне, — вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежите его бороде, как кусок свинца.

— Пане, — говорит еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, — он кончался в этой комнате и думал обо мне... И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынке, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутиная тишина летнего утра. У подножия картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сверкая чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник разматал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонику на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдет жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидел на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых

полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.

— Санта Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон бляения стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхов была изрезана сверкающими лысынами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, — сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать золотых за богородицу, двадцать пять золотых за святое семейство и пятьдесят золотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять золотых, — так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, на помаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новокопстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святости, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемиростивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной ключковой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю... — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служба, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану, — шепчет Аполек и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен человек! — кричит в отчаянии пан Робацкий. — Тен человек не умрет на своей постели... Того человека за-

биют людове...

— После ужина, — упавшим голосом шелестит Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под лунной дорожка к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, — то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец...

— Где же он? — вскричал я.

— Его скрыли попы, — произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

— Пан художник, — вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, — цо вы мувите? То же есть немислимо...

— Так, так, — съезжился Аполек и схватил Готфрида, — так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск, — прошептал он, мигая глазами, — с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно...

И он исчез со слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво! — произнес тогда Робацкий, костельный служка. — Тен человек не умрет на своей постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

Гедали

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В

этой лавке есть и пуговицы и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — «Я люблю музыку, пани», — отвечаю я революции. — «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу... Пани товарищ, — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, — привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пани товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

Мой первый гусь

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...Каковое уничтожение, — стал писать начдив и измазал весь лист, — возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться...»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросься, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Са-вицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостей, потому этот человек пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висющим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издали родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистой дорогой и не могли пройти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой, и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами...

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь до-спеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обгаренное убийством, скрипело и текло.

Рабби

— ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, без-

мерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали и, помолвившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы, — ответил я.

— Благочестивый город, — сказал рабби, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки. — Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ, — сказал цадик и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. — Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын равви, Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь, — раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, — благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

Путь в Броды

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища

под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах, — начал взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицах, — скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить! И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!..» — «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу...» Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. — Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. — Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреодолимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынущей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

Учение о тачанке

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.

Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парием среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развевая над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслышанной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немислимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колониетскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось

по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колониетские тачанки пришли к нам из самарских и уральских, приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колониетской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядом и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона... «Во славу Иисуса и его божественной матери...»

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещей павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, jovиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и Волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

Комбриг два

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженьях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на расprostершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидели ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал

впереди своей бригады, один, на буланом жеребце и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пытели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

Кладбище в Козине

кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Отточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, разможенным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

Берестечко

мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, повластная тишина вошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попала у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.

Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчишки в капотиках все еще топтали вековую дорогую хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сарай эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне

к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владельцев Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девятилетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня была сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:

«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aime, on dit que l'empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont ete faciles, notre petit heros acheve sept semaines...»³⁹.

Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:
— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...

Замостье

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотья. Снопья пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего...

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалывшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладной резала небо. Повод тугий петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стога. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..

— Поляк, тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется.

³⁹ «Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель» (фр.)

Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навтыяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирмейстером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомяну, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая, — тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стал.

— Ты женат, Лютков? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

Сын рабби

...Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота краслась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушинные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и Старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало

на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятники еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод, — прошептал он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.

.....

Король

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груди разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Бенью Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Бенья рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже...

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Бенья знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Бенья Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Бенья написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, — написал он, — положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Бенья Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Бенья принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Бенья отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Бенья отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Бенья?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Бенья.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Бенья без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Циля. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Бенья Крик, потому что он был страстен, а страсть властвует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Бенья вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусями головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрывку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот

что выносит на берег пенный прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трюфные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдавское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури.

Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Бенья, — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, — Бенья, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закурил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Бенья, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мне нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочки онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Бенья, — холодно-кровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побегите смотреть, если хотите...

Но Бенья запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Бенья, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

.....

А когда Бенья вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышку во рту, легонько пробует ее зубами.

Гюи Де Мопассан

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливей нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черно-волосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки; атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдаленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашенные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробормом. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по коврам.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стоя-

ли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, униженные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, брэнча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груды их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le so-leil de France[21]...Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабудемся, ma belle?[22]» — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...» — «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабудемся, ma belle, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte...[23] За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. *Ce diable de Polyte...*

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшем козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо... Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— *Mon vieux*[24], за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, *ma belle...* Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Ларури де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюбимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрерывно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках и поедал свои испражнения. Последняя надпись в его скорбном листе гласит: «*Monsieur de Maupassant va s'animaliser*» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

Отец

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороньи лошади, но душа Фроима чернее, чем воронья масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки

кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, — но я выведу этот грязь! — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штiblеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскочиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штiblеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше просится на травку...

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груди холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнувшим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неумоимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу.

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская

малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китайнок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделаться. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик и мы должны держаться нашей бранжи...

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес Грач, — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укориной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестящую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошельком на боку, была пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она была сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на бога, потом на вас.

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Бенья Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Бенья Крик?

— Бенья Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается?

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, — выведи его в люди...

— Бенья Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Бенья Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Бенья, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел не двигаясь у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Бенья открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Бенья Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

Мой первый гонорар

Жить весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клочкотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена воровались как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли

наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути, — зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмирившему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту; ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбацкого баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.

— В какие Палестины?

Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась.

— Вы что там лепечете?..

Она нахмурилась, глаза ее смеялись.

— Куда бог несет?..

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка — вам не обидно будет?..

Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?..

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным.

— Десятку мне, — отдавая кошелек, сказала Вера, — пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от этакой жары...

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.

— Ну и дуй в Боржом...

Это я сказал — «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет, — ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножия горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашенных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого... На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять...

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочки в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масляную бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпёнке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботинками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом...

В коридоре шаркала и раздражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая улочка. В комнату вошла Вера.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала она. — Поверишь, она нам всем как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался небось... Ничего, сейчас сделаемся...

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в стороны.

— Пока вода доспеет, — сказала моя возлюбленная, — подь-ка сюда, попрыгунчик...

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель...

О, боги моей юности!.. Как не похожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг...

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда...

Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко... Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?

— Я не вор.

— Нинкуешь у воров?

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова, — пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик, — закричал я, — ты понимаешь, мальчик у армян...

О, боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчишке у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле, — я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице, — я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подростки, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года...

— Да лет-то тебе сколько было тогда?

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре

года изучить ремесло — я не ударил пальцем о палец... У меня другое было на уме — бильярд... Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию...

Бронзовые векселя... Сам не знаю, как взбредли они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.

...Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте...

Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

Церковный староста — сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами... Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа...

И я стал молотить про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то... Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи ледящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена.

Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.

— Чего делают, — прошептала Вера не оборачиваясь, — боже, чего делают...

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой... Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха... Наша сестра — стерва... Я понурился.

— Ваша сестра — стерва...

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают, — повторила женщина громче. — Боже, чего делают... Ну, а баб ты знаешь?

Я приложил обледеневшие губы к ее руке.

— Нет... Откуда мне их знать, кто меня допустит?

Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мной. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка, — прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной, — сестричка моя, бляха...

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города.

Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан доньшком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

Шабос-нахаму

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой. В шестой день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолившись — в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки, — ни бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две, — съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет.

Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску.

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера — он с семьей сидели во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами.

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету.

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой.

— Что ты заработал? — спросила у него жена.

— Я заработал загробную жизнь, — ответил он. — И богатый и бедный обещали мне ее.

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах.

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги.

— Аминь, — ответил Гершеле.

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонки, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса...

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе.

Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался.

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? — спросил он себя.

(Всем известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле.)

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл.

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно.

«Хорошо, Гершеле, — сказали ее глаза, — ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни».

Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к рабби Борухл».

Когда Гершеле отправился в путь — солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убежала вперед. Белые волю медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные.

Пройдя часть дороги — верст пять, — Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя.

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листья склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая.

Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе. Земля замолчала.

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался.

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка?

— Можно.

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом.

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось боль-

ше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен.

В комнате было тихо, кипела вода, и качалась на золотистых волнах курица.

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле.

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду. — Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: — Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам ша-бос-нахаму?

«Эге, — подумал Гершеле. — Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем огороде...»

— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне — когда придет шабос-нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабби Моталэми поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь, — все это тогда, когда придет шабос-нахаму. Я думаю — это человек с того света?

— Вы не ошиблись, хозяйка, — ответил Гершеле. — Сам бог положил эти слова на ваши губы... У вас будет и сын и дочь. Это я и есть шабос-нахаму, хозяйка.

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка.

— Это я и есть шабос-нахаму, — подтвердил Гершеле. — Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших.

— И от тети Песи, — закричала женщина, — и от папаша, и от тети Голды, вы знаете их?

— Кто их не знает? — ответил Гершеле. — Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами.

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе.

— Плохо живут, — уныло промолвил Гершеле. — Как может жить мертвому человеку? Балов там не задают...

Хозяйкины глаза наполнились слезами.

— Холодно там, — продолжал Гершеле, — холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу...

— Бедный папаша... — прошептала пораженная хозяйка.

— На пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки...

— Бедная тетя Песа, — задрожала хозяйка.

— Я сам голодный хожу, — склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатила по его носу и пропала в бороде. — Мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании...

Гершеле не докончил своих слов.

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света.

Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы пять панов с чубами и кунтушами.

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел?..

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет, — папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес, бутылку вишневой настойки, банку малинового варенья и кiset табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой.

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем, — напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. — Или погодите немного, скоро муж придет.

— Нет, — ответил Гершеле. — Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листья. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе.

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою.

— Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее, может быть, умный человек, с большими кулаками, толстыми щеками — и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место.

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание

длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, путившийся в погоню за господином шабос-нахаму.

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом.

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом.

— Я человек с того света, — ответил Гершеле уныло. — Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабби Борухл...

— Я знаю, кто вас ограбил, — завопил корчмарь. — И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?

— Я не могу сказать, какой дорогой, — горько прошептал Гершеле. — Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновение. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это — священное, много вещей в нашем мире держится на нем...

Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены.

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса.

Там Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухл.

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина.

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.

Справка

В ответ на ваш запрос сообщаю, что литературную работу я начал рано, лет двадцати. Меня влекла к ней природная склонность, поводом послужила любовь к женщине по имени Вера. Она была проституткой, жила в Тифлисе и слыла среди своих подруг деловой женщиной: брала в заклад вещи, покровительствовала начинающим и при случае торговала в компании с персами на восточном базаре. Каждый вечер выходила она на Головинский проспект и — рослая, белолицая — плыла впереди толпы, как плывет богородица на носу рыбацкого баркаса. Я крался за ней безмолвно, копил деньги и, наконец, решился. Вера запросила десять рублей, прижалась ко мне мягким, большим плечом и забыла обо мне. В харчевне, где мы ели люля-кебаб, она, разгоревшись от волнения, убеждала кабатчика расширить торговлю, переехать на Михайловский проспект. Из харчевни мы отправились к сапожнику за туфлями, потом, оставив меня одного, Вера пошла к подруге, у которой были крестины в тот день. В двенадцатом часу ночи пришли мы в гостиницу, но и там нашлись дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Вера тискала коленями ее чемоданы, заворачивала в масляную бумагу пирожки. Старуха с рыжей сумкой на боку и в газовой шляпенке ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботинками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами.

Я ждал Веру в ее номере, заставленном трехногими креслами, с глиняной печью и сырыми углами в разводах. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи, каждая умирала по-своему; чужая жизнь шаркала и раздражалась хохотом в коридоре. Прошла вечность, прежде чем явилась Вера.

— Сейчас сделаемся, — сказала она и прикрыла за собой дверь.

Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой, перелила согретую воду в кружку, от которой отходила белая кишка. Она бросила кристалл в кружку и стала стягивать с себя платье.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала Вера, — поверишь, она нам как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

В постели, слепо уставившись на меня расплывшимися сосками, лежала большая женщина с опавшими плечами.

— Что сидишь невесел? — спросила Вера и потянула меня к себе, — или денег жалко?..

— Моих денег не жалко...

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?

— Я не вор, а мальчик...

— Вижу, что не корова, — зевнув, сказала Вера, глаза ее слипались.

— Мальчик... — повторил я и похолодел от внезапности моей выдумки.

Отступить было некуда, и я рассказал случайной моей спутнице такую историю:

— Мы жили в Алешках Херсонской губернии, — придумано было для начала, — отец работал чертежником, пытался дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, картежницу и лакомку. Десяти лет стал я воровать у отца деньги, а подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня со стариком. Звали его Степаном Ивановичем, я сошелся с ним, и мы прожили всего четыре года...

— Да тебе лет-то сколько было?..

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от человека, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили с ним четыре года, Степан Иванович оказался доверчивым человеком, всем верил на слово... Мне бы ремесло изучить за эти годы, но у меня на уме одно было — миллиард... Приятели разорили Степан Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, векселя предъявили ко взысканию...

Как взбредли мне на ум бронзовые векселя — кто знает? — но я сделал правильно, упомянув о них. Женщина всему поверила, услышав о векселях. Она закуталась в шаль, красный платок заколебался на ее плечах.

— ...Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд, я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, к церковному старосте...

Церковный староста... Это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца... Чтобы поправиться — я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья... Старик вскакивал по ночам и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь... Он скоро умер... Родственники прогнали меня. И вот я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане. Номерной гостиницы, где я остановился, обещал богатых гостей, но пока он приводит одних духанщиков...

И я стал молотъ о духанщиках, о грубости их и корыстолюбии — вздор, слышанный мной когда-то... Жалость к себе разрывала мне сердце, гибель казалась неотвратимой. Я замолчал. История была кончена; керосинка потухла. Вода закипела и остыла. Женщина неслышно прошла по комнате. Передо мной двигалась ее спина, мясистая и печальная.

— Чего делают, — прошептала она и развела створки окна, — боже, чего делают...

В квадрате окна уходил каменистый подъем, кривая турецкая улочка. Остывающие камни посвистывали на улице. Запах воды и пыли шел от мостовой.

— Ну, а баб ты знаешь? — обернулась ко мне Вера.

— Откуда мне их знать... Кто меня допустит...

— Чего делают, — сказала Вера, — боже, чего делают...

Я прерву здесь рассказ, для того чтобы спросить вас, товарищи, видели ли вы, как рубит деревенский плотник избу для своего собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки от обтесываемого бревна?..

В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня немудрой своей науке. Я испытал в ту ночь любовь, полную терпения, и услышал слова женщины, обращенные к женщине.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки.

Когда испарина бисером обложила меня — я поставил стакан донышком вверх и придвинул к Вере две золотые пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Закат

(пьеса в 8 сценах)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.

Нехама — его жена, 60 лет.

Беня — щеголеватый молодой человек, 26 лет.

Левка — гусар в отпуску, 22 года.

Двойра — перезрелая девица, 30 лет. } их дети

Арье-Лейб — служка в синагоге извозпромышленников, 65 лет.

Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.

Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.

Бен Зхарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.

Фомин — подрядчик, 40 лет.

Евдокия Потаповна Холоденко — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком.

Пьяница, 50 лет.

Маруся — ее дочь, 20 лет.

Рябцов — хозяин трактира.
 Митя — официант в трактире.
 Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.
 Мадам Попятник — его жена. Сплетница с неистовыми глазами.
 Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.
 Семен — лысый мужик.
 Бобринец — шумный еврей. Шумит оттого, что богат.
 Вайнер — гундосый богач.
 Мадам Вайнер — богачиха.
 Клаша Зубарева — беременная бабенка.
 Мосье Боярский — владелец конфекциона готовых платьев под фирмой «Шедевр».
 [Сенька Топун.
 Кантор Цвибак.]

Действие происходит в Одессе, в 1913 г.

Первая сцена

Столовая в доме Криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы. В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги. Старуха Крик заваривает чай. Сбоку, на маленьком столике — кипящий самовар. В комнате старуха Нехама, Арье-Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом галстук.

Арье-Лейб. Ну, хорошо, Левка, отлично... Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы... Сначала рубят лозу, потом рубят человека... Матери в нашей жизни роли не играют... Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья?

Левка (*хохочет. В грубом его голосе движутся громы*). На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту... Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за турецкую войну.

Арье-Лейб. Это со всеми так делают или только с евреями?

Левка. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб!.. При чем тут евреи?

Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Двойры.

Двойра. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Нехама (ни на кого не глядя, бурчит себе под нос). Посмотри в комод.

Двойра. Я смотрела в комод — нету.

Нехама. В шкафу.

Двойра. В шкафу нету.

Левка. Какое платье?

Двойра. Зеленое с жесткой.

Левка. Кажется, папаша подхватил.

Полуодетая, нарумяненная, завитая Двойра входит в комнату. Она высока ростом, дебела.

Двойра (деревянным голосом). Ох, я умру!

Левка (матери). Вы небось признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру?..

Она призналась. Готово дело!.. Я его еще с утра заметил. Он запряг в биндюг Соломона Мудрого и Муську, поспедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора.

Двойра. Ох, я умру! (Она раздражается громким плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.) Нате вам!..

Нехама. Издохни! Сегодня издохни...

Рыча и рыдая, Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод.

Беня (вывязывает галстук). Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое.

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям! Арье-Лейб. Ты это про отца, Левка?

Левка. Пусть не будет босяком.

Арье-Лейб. Отец старше тебя на субботу.

Левка. Пусть не будет грубияном.

Беня (*закалывает в галстук жемчужную булавку*). В прошлом году Семка Мунш хотел Двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц.

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Арье-Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эз-ра: «Если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится...»

Левка (*матери*). Сто раз на дно старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить...

Арье-Лейб. Сказано про меня у Ибн-Эзра: «Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков, аминь!..»

Беня (*вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживавшую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки*). Здоровье присутствующих!

Левка (*грубым голосом*). Будем здоровы.

Арье-Лейб. Чтобы было хорошо.

Левка (*грубым голосом*). Пусть будет хорошо!

В комнату вкатывается мосье Боярский, бодрый круглый человек. Он сыплет без умолку.

Боярский. Привет! Привет! (*Представляется.*) Боярский... Приятно, чересчур приятно!.. Привет!

Арье-Лейб. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть.

Боярский (*усаживается и берет из рук старухи стакан чаю*). Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли, есть вагон неприятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровье, и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны — и прямо к вам.

Арье-Лейб. Вы принимаете морские ванны, Лазарь?

Боярский. Через день, как часы.

Арье-Лейб (*старухе*). Худо-бедно положите пятьдесят копеек на ванну.

Боярский. Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони...

Арье-Лейб. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?

Боярский. Я захаживаю к Фанкони.

Арье-Лейб (*победоносно*). Он захаживает к Фанкони!.. (*Старухе.*) Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкони, я не скажу — сорок.

Боярский. Простите меня, Арье-Лейб, если я, как более молодой, перебею вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в полтора рубля.

Арье-Лейб (*с упоением*). Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел!.. На тридцать рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку...

В комнату вливается Двойра. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стянуты высокими башмаками.

Это наша Вера.

Боярский (*вскакивает*). Привет! Боярский. Двойра (*хрипло*). Очень приятно.

Все садятся.

Левка. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Боярский. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может.

Арье-Лейб. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост... Лазарь, вы не имели права родиться!

Боярский. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом, — капитал — это ничтожество, — Боярский интересуется счастьем... Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто — полтораста костюмов плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

Арье-Лейб (*старухе*). Положите на костюм пять рублей чистых, я не скажу — десять...

Боярский. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

Арье-Лейб. И я вам отвечу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет... Это я говорю вам, как шамес, а не как сват.

Беня (*разливает вино*). Исполнение обоюдных желаний.

Левка (*грубым голосом*). Будем здоровы!

Арье-Лейб. Пусть будет хорошо.

Боярский. Я начал про Фанкони. Выслушайте, мосье Крик, историю про еврея-нахала... Забегаю сегодня к Фанкони, кофейная набита людьми, как синагога в Судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются... Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда... Поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз... Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный... поднимается мне навстречу и пригла-

шает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы...

Левка. Крыша?

Боярский. Сукно, верх для шубы... Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков...

Левка. Я люблю раков.

Арье-Лейб. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Боярский. ...и скушать десять раков...

Левка (*грубым голосом*). Я люблю раков!

Арье-Лейб. Рак — это же жаба.

Боярский (*Левке*). Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и бильярдисты. Это говорю вам замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала...

Беня. Боярский!

Боярский. Я.

Беня. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм прима?

Боярский. Двубортный, однобортный?

Беня. Однобортный.

Боярский. Фалды вы себе мыслите — круглые или отрезанные?

Беня. Фалды круглые.

Боярский. Сукно ваше или мое?

Беня. Сукно твое.

Боярский. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский или московский?

Беня. Какой лучше?

Боярский. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно, лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно — это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Беня. Возьмем английское. **Боярский.** Доклад ваш или мой? **Беня.** Доклад твой. **Боярский.** Сколько вам обойдется? **Беня.** Сколько мне обойдется?

Боярский (*осененный внезапной мыслью*). Мосье Крик, мы сойдемся!

Арье-Лейб. Вы сойдетесь!

Боярский. Мы сойдемся... Я начал про Фанкони.

Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит Мендель Крик с кнутом и Никифор, старший кучер.

Арье-Лейб (*оробел*). Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским...

Боярский (*вскакивает*). Привет! Боярский.

Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.

Арье-Лейб (*заикаясь*). Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтора костюмов в месяц...

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор (*прислонился к косяку двери и уставился в потолок*). Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются.

Мендель. Почему с нас люди смеются?

Никифор. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе... Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад: тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить, на квитанцию.

Мендель. Приказание дал?

Никифор. Приказание дал.

Нехама (*стянула сапог, размотала грязную портянку, Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы*). Чтоб ты света не дождался, мучитель!..

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор. Я то говорю, что от Левки сегодня грубость видели.

Беня (*отставив мизинец, пьет вино*). Обоюдное исполнение желаний.

Левка. Будем здоровы.

Никифор. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встречаю. Что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари, Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать? Хозяин не приказывал... А Левка стал красный, как буряк, и кричит: кто твой хозяин?..

Нехама стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пироги, варенье — все полетело на пол.

Мендель. Кто же твой хозяин, Никифор?

Никифор (*угрюмо*). Вы мой хозяин.

Мендель. А если я твой хозяин (*он подходит к Никифору и берет его за грудь*), а если я твой хозяин, так бей того, кто вступит ногой в мою конюшню, бей его в душу, в жилы, в глаза... (*Он трясет Никифора и отшвыривает от себя.*)

Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор. Старуха тащится на коленях к двери.

Нехама. Чтоб ты свету не дождался, мучитель...

Молчание.

Арье-Лейб. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил Высших женских курсов...

Боярский. ...так я поверю вам без честного слова.

Беня (*подает Боярскому руку*). Зайдешь другим разом, Боярский.

Боярский. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет! Привет! Зайду другим разом. (*Исчезает.*)

Беня встает, закуривает папироску, перекидывает через руку щегольской плащ.

Арье-Лейб. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эз-ра: «Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...» Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала.

Здрате! Двойра получила истерику (*он разжимает ножом крепко стиснутые зубы сестры. Она верещит все пронзительнее*).

В комнату входит Никифор. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.

Беня. Заложил мне гнедого в дрожки!

Никифор (*из носу у него вытекает нерешительная струйка крови*). Расчет мне дайте...

Беня (*подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом*). Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, дружок мой...

Вторая сцена

Ночь. Спальня Криков. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. Старик и Нехама на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклоченная грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит низким голосом, бубнит нескончаемо.

Нехама. У людей все как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?.. Бог, милый бог, как темно в моем доме!

Мендель. Дай жить, Нехама. Спи!

Нехама. ...Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав... Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом...

Мендель. Дай дышать, Нехама! Спи.

Нехама. ...Такой Левка. Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродец, отец не пускает детей в дело...

Мендель. Делай ночь, Нехама. Спи!

Молчание.

Нехама. Раввин сказал, раввин Бен Зхарья... Настанет новый месяц, сказал Бен Зхарья, и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне...

Мендель (*сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой*). Чего не дадут евреи?

Нехама. Придет новолуние, сказал Бен Зхарья...

Мендель. Что мне не дадут евреи и что мне дали твои евреи?

Нехама. Не пустят, не пустят в синагогу.

Мендель. Карбованец с откусанным углом мне дали твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами.

Нехама. А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?

Мендель (*укладывается*). О, кляча на мою голову!

Нехама. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки... Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий, как печка, он здоровый, как печка.

Мендель. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...

Нехама. Горячий как печка... Как мне стыдно, бог!.. (*Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотанье.*) В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками...

Мендель. Делай ночь, Нехама.

Нехама (*плачет*). Люди цацкаются с внуками...

Входит Беня. Он в нижнем белье. Беня. Может быть, хватит на сегодня, молодожены? Мендель приподымается. Он смотрит на сына во все глаза.

Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

Мендель (*встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье*). Ты... ты вошел?

Беня. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

Мендель. Ночью, ночью ты вошел?

Беня. Она мне мать. Ты слышишь, супник!

Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В лунном луче трясется всклокоченная грязно-серая голова Нехамы.

Мендель. Ночью, ночью ты вошел...

Третья сцена

Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Рябцов, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Безрадостные пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист Мирон (в просторечии Майор) Попятник. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые греки играют в кости с Сенькой Топуном, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два матроса спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Фомин. Его в чем-то горячо убеждает пьяная Потаповна. За передним столом стоит Мендель Крик, пьяный, воспаленный, громадный, и Урусов, ходатай по делам.

Мендель (*бьет кулаком по столу*). Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

Официант Митя, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем.

Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира лампы приказывал!

Митя. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают. Вот, видишь, какое дело...

Мендель. Темно!

Митя (*Рябцову*). Добавку освещения требует.

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Мендель. Урусов!

Урусов. Есть!

Мендель. Сквозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

Урусов. По науке считается, сквозь человеческое сердце льется в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели...

Мендель. Стой! Стой!.. А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

Урусов. Свободно вполне. Сел и поехал...

Переваливаясь, вилля кривым боком, к столу подходит Потаповна.

Потаповна. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать. Мендель. Сел, говоришь, и поехал?

Урусов. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический океан и Тихий.

Мендель. А ты сказывал — человек через моря лететь может?

Урусов. Может.

Мендель. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

Урусов (*с твердостью*). Может.

Мендель (*сжимает ладонями лохматую голову*). Конца нет, краю нет... (*Рябцову*.) Поеду. В Бессарабию поеду.

Рябцов. А делать чего будешь в Бессарабии?

Мендель. Чего захочу, то и буду.

Рябцов. А чего тебе хотеть?

Мендель. Слухай меня, Рябцов, я еще живой...

Рябцов. Не живой ты, если тебя бог убил.

Мендель. Когда это меня бог убил?

Рябцов. Годов-то тебе сколько?

Голос из трактира. Годов ему всех шестьдесят два.

Рябцов. Шестьдесят два года бог тебя и убивает.

Мендель. Рябцов, я бога хитрей.

Рябцов. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей.

Митя вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых девки с засаленными грудями. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Ослепительный свет разливается по трактиру.

Митя. Со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем! Девки, обставь его, бешеного, лампами.

Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое его лицо.

Голос из трактира. Из ночи день делаем, Мендель?

Мендель. Конца нет.

Потаповна (*дергает Урусова за рукав*). Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин... Вот я куря-ми на базаре торгую, мне мужики все летошних кур всучивают, да рази я к курям к этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник. Я, какая где яблон-ка задичится, я ее раздичу...

Голос из трактира. Из понеделника воскресенье делаем, Мендель?

Потаповна (*кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее*). Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги, мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послушайте, господин, на нас с липы цвет лететь будет... Мендель, золотко, я же садовница, я папочкина дочка!..

Мендель (*идет к стойке*). Рябцов, у меня глаза были... слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильней телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрее паровозов были, мои ноги по морю ходят, а чего я сделал с моими ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке... Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю.

Рябцов. Ставь. Кто тебя не пущает?

Голос из трактира. Найдутся — не пустят. Наступят на хвост — не выдерет...

Мендель. Я песни приказывал! Дай военную, музыкант... Не мотай жилы... Жизнь дай! Еще дай!..

Колесясь, срываясь, флейта выводит пронзительную мелодию. Мендель пляшет, топает чугунными ногами.

Митя (*Урусову шепотом*). Фомину приходит или рано? Урусов. Рано. (*Музыканту*.) Прибавь, Майор! Голос из трактира. И прибавлять нечего, хор пришел. Пятирубель хор приволок.

Входит хор — слепцы в красных рубахах. Они натыкаются на стулья, машут перед собой камышовыми тросточками. Их ведет кузнец Пятирубель, азартный человек, друг Менделя.

Пятирубель. Со сна чертей похватал. Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете, наигрались... Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

Мендель (*бросается к запевале, рябому рослому слепцу*). Федя, я в Бессарабию еду.

Слепой (*густым, глубоким басом*). Счастливо вам, хозяин!

Мендель. Песню, Федя, последнюю мою!..

Слепой. «Славное море» — споем?

Мендель. Последнюю мою...

Слепые (*настраивают гитары. Тягучие их басы запевают*).

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка,

Эй, баргузин, пошевеливай вал.

Плыть молодцу недалечко.

Мендель (*швыряет в окно пустую бутылку. Стекло разлетается с треском*). Бей!

Пятирубель. Ох, и герой же, сукин сын!

Митя (*Рябцову*). За стекло сколько посчитаем?

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Слепые (*поют*).

Долго я тяжкие цепи носил,

Долго скитался в горах Акатюя,

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя...

Мендель (*ударом кулака вышибает оконную раму*). Бей.

Пятирубель. Сатана, а не старик!

Голоса из трактира:

— Форсовито гуляет!..

— Ничего не форсовито... Обыкновенно гуляет.

— Обыкновенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь?

— Никто у него не помер... Обыкновенно гуляет.

— А причина какая, по какой причине гуляет?

Рябцов. Поди разбери причину. У одного денюги есть — он от денег гуляет, у другого денег нет — он от бедности гуляет. Человек ото всего гуляет...

Песня гремит все могущественнее. Звон гитар бьется о стены и зажигает сердца. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь.

Горная стража меня не поймала.

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала...

Потаповна (*пьяна и счастлива*). Мендель, мама моя, выпейте со мной! Выпьем за нашу ясочку!

Пятирубель. Швейцару на почте морду бил. Вот какой старик! Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил...

Шел я и ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

Мендель. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы!.. (*Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.*)

Голоса из трактира:

— Чисто слон!
— У нас и слоны слезами плакали...
— Это врешь, слоны не плачут...
— Говорю тебе, слезами плакал...
— В зверинце я слона одного задрожил...

Митя (*Урусову*). Фомину приходиться или рано? Урусов. Рано.

Певцы поют во всю мочь. Песня грохочет. Гитары захлебываются, дрожмя дрожат.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыриватый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.

Слышатся грома раскаты...

Страшными, радостными, рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.

Митя. И всё?

Запевала. Хватит.

Мендель (*вскочил с пола и затопал*). Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!

Митя (*Урусову*). Фомину взойти или рано? Урусов. Самое время.

Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя.

Фомин. С приятным заседанием!

Урусов (*Менделю*). Теперь, дорогой, оно у нас так будет — потехе время, делу час. (*Вытаскивает исписанный лист бумаги.*) Читать, что ли?

Фомин. Если вам нежелательно, скажем, плясать, то можно читать.

Урусов. Сумму, что ли, читать?

Фомин. Согласен на такое ваше предложение.

Мендель (*во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается*). Я песни приказывал...

Фомин. И петь будем и гулять будем, а придется помирать — помирать будем.

Урусов (*читает очень картаво*). «...Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано...»

Пятирубель. Фомин, ты понимаешь, паяц, каких коней забираешь! Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь...

Урусов. «...А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...»

Мендель (*указывает пальцем на турка, безмятежно курившего кальян в углу*). Вон человек сидит, обсуждает меня.

Пятирубель. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь! (*Фомину.*) Ей-богу, сейчас человека убьет.

Фомин. Авось не убьет.

Рябцов. Дуришь, дурак! Гость этот — турок, святой человек.

Потаповна (*потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется*). Папочкина дочка!

Фомин. Вот, дорогой, тут и распишись.

Потаповна (*хлопает Фомина по груди*). Здесь у него, у Васьки, деньги, здесь они!

Мендель. Расписаться, говоришь?.. (*Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним.*) И што я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и што я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, — цена этому, дорогой человек, двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай!

Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу. Мендель бережно целует его в губы.

Фомин (*Потаповне*). Значит, Янкеля со мной вертеть?

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст!

Мендель (*возвращается, мотает головой*). Скука какая!

Митя. Вот те и скука — платить надо.

Мендель. Уйди!

Митя. Врешь, уплатишь!

Мендель. Убью!

Митя. Ответишь.

Мендель (*кладет голову на стол и плюет. Длинная его слюна тянется, как резина*). Уйди, я спать буду...

Митя. Не платишь? Ох, старички, убивать буду!

Пятирубель. Погоди убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?

Митя (*распалится*). Я мальчик злой, я покусую!

Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив голову на стол.

Фомин (*Потаповне*). Суешься попередь батьки... Стучишь языком, как собака бегаёт... Всю музыку испортила!

Потаповна (*выжимает слезы из грязных мятых морщин*). Василий Елисеевич, я дочку жалею.

Фомин. Жалеть умеючи надо.

Потаповна. Жиды, как воши, обсели.

Фомин. Жид умному не помеха.

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст.

Фомин (*грозно, медленно*). А не продаст, так богом Иисусом Христом, богом нашим вседержителем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду!

Четвертая сцена

Мансарда Потаповны. Старуха, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик.

Голос соседки. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами.

Потаповна. Да приду к вам, проведу...

Голос соседки. А то в одном ряду на птичьей двенадцать лет торговали, и хватать — нет ее, Потаповны.

Потаповна. Да авось я не присужденная к курам к этим. Видно, не век мне маяться...

Голос соседки. Видно, что не век.

Потаповна. У людей-то небось на Потаповну глаза разбегаются?

Голос соседки. Каково разбегаются-то! Счастья-то каждому подай. Испеки да подай...

Потаповна (*смеется, тучное ее тело сотрясается*). Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Голос соседки. Девка-то, говорят, худая.

Потаповна. У кости, милая, мясо слаще.

Голос соседки. Сыны, слышь, против вас копают...

Потаповна. Девка сынов перетянет.

Голос соседки. И я говорю — перетянет.

Потаповна. Старик, небось, девку не бросает.

Голос соседки. Сады, слышь, он вам покупает...

Потаповна. А еще чего люди говорят?

Голос соседки. Да ничего не говорят, только гавкают. Кто их разберет?

Потаповна. Разберем. Я разберу... Про полотно-то чего толкуют?

Голос соседки. Толкуют, старик вам двадцать аршин справил.

Потаповна. Пятьдесят!

Голос соседки. Башмаков пару...

Потаповна. Три!

Голос соседки. Очень смертно любят старики.

Потаповна. Видно, к курам-то мы не присужденные...

Голос соседки. Видно, не присужденные. Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами.

Потаповна. Приду. Проведу вас... Прощай, милая!

Голос соседки. Прощай, милая!

Потаповна слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате, открывает шкаф. Встает на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом.

В комнату входит Мендель, одетый по-праздничному, и Маруся.

Маруся (*очень звонко*). Птичка-то наша куда взгромоздилась! Сбегайте к Мойсейке, мама.

Потаповна (*слезая со стула*). А чего купить?

Маруся. Кавуны купите, бутылку вина, копченой скумбрии полдесятка... (*Менделю*.) Дай ей рубль.

Потаповна. Не хватит рубля.

Маруся. Арапа не заправлийте! Хватит, еще сдачи будет.

Потаповна. Не хватит мне рубля.

Маруся. Хватит! Придете через час. (*Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ*.)

Голос Потаповны. Я за воротами посижу, надо будет — покличешь.

Маруся. Ладно. (*Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ*.)...Пришли на кладбище, глядим — первый час.

Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могилка хорошенькая — чудо!.. Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылки, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазами, ты его знать должен...

Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ, непонятно, что мычит.

Батюшка панихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему вторую... *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней моде, башмаки.)* Ксенька, та, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иванович, тот мне все бутерброды мажет... Я Ксеньке в пику и говорю... Что вы, говорю, Сергей Иванович, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимание не уделяете?.. Сказала, и проехало. Мадеру мы твою дочиста выпили... *(Маруся снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.)* Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая — чудо! Я тоже выпила — и Сергею Ивановичу *(Маруся раскрывает постель):* айда, Сергей Иванович, на Ланжерон купаться! Он: айда! *(Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно поддается туго.)* А у Ксеньки-то спина, небось, полна прыщей, и ноги три года не мыла... Она на меня тут язык свой спустила *(Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем):* ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты сё, на стариковы деньги позарилась, ну тебя отошьют от этих денег... *(Маруся сняла платье и прыгнула в постель.)* А я ей: знаешь что, Ксенька, — это я ей, — не дразни ты, Ксенька, моих собак... Сергей Иванович слушает нас, помирает со смеху!.. *(Голой девической прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол.)* Ну, иди сюда, скажи — Марусичка...

Мендель. Марусичка!

Маруся. Скажи — Марусичка, солнышко мое...

Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется.

(Ласково.) Ах ты, рыло!

Пятая сцена

Синагога общества извозпромышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона кантор Цвибак в талесе и сапогах. Прихожане, красномордые извозчики, оглушительно беседуют с богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми, привычными голосами, стихают, долго бормочут себе под нос и потом снова режут, как разбуженные волны. В глубине синагоги, над фолиантом Талмуда склонились два древних еврея, два костистых горбатых гиганта с желтыми бородами, свороченными набок. Арье-Лейб, шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье толстяк с оттопыренными пушистыми щеками зажал между коленями мальчика лет десяти. Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Бенья Крик. Позади него сидит Сенька Топун. Они не подают вида, что знакомы друг с другом.

Кантор *(возглашает).* Лху нранно ладонай норийо ицур ишейну!

Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы.

Арбоим шоно окут бдойр вооймар... *(Сдавленным голосом.)* Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Ширу ладонай шир ходош. Ой, пойте господу новую песню... *(Подходит к молящемуся еврею.)* Как стоит сено?

Еврей *(раскачивается).* Поднялось.

Арье-Лейб. На много?

Еврей. Пятьдесят две копейки.

Арье-Лейб. Доживем, будет шестьдесят.

Кантор. Лифней адонай ки во мишпойт гоорец...^[33] Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Довольно кричать, буян.

Кантор *(сдавленным голосом).* Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

Арье-Лейб *(безмятежно).* Лифней адонай ки во, ки во... Ой, стою, ой, стою перед господом... Как стоит овес?

Второй еврей *(не прерывая молитвы).* Рупь четыре, рупь четыре...

Арье-Лейб. С ума сойти!

Второй еврей *(раскачивается с жесточением).* Будет рупь десять, будет рупь десять...

Арье-Лейб. С ума сойти! Лифней адонай ки во, ки во...

Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Бенья Крик и Сенька Топун.

Бенья *(склонился над молитвенником).* Ну?

Сенька *(за спиной Бени).* Есть дело.

Бенья. Какое дело?

Сенька. Оптовое дело.

Бенья. Что можно взять?

Сенька. Сукно.

Беня. Много сукна?

Сенька. Много.

Беня. Какой городской?

Сенька. Городового не будет.

Беня. Ночной сторож?

Сенька. Ночной сторож в доле.

Беня. Соседи?

Сенька. Соседи согласны спать.

Беня. Что ты хочешь с этого дела?

Сенька. Половину.

Беня. Мы не сделали дела.

Сенька. Докладываешь батькино наследство?

Беня. Докладываю батькино наследство.

Сенька. Что ты даешь?

Беня. Мы не сделали дела.

Гранул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные большие лица.

Толстяк с пушистыми щеками. Цвибак, это босяцкая выходка!

Кантор. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами. *(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

Арье-Лейб. Ай, босяк, ай, хам!

Кантор *(указывает револьвером на убитую крысу).* Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей. Пусть люди скажут, что это не корова...

Арье-Лейб. Босяк, босяк, босяк!..

Кантор *(хладнокровно).* Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

Мальчик разжал наконец плен отцовских коленей, ринул к гильзе, схватил ее и убежал.

1-й еврей. Гоняешься целый день за копеейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — на тебе!

Арье-Лейб *(визжит).* Евреи, это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на десять рублей больше... Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!

Сенька *(хлопает кулаком по молитвеннику).* Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!

Кантор *(торжественно).* Мизмойр лдовид!^[34]

Все молятся.

Беня. Ну? Сенька. Есть люди. Беня. Какие люди? Сенька. Грузины. Беня. Имеют оружие? Сенька. Имеют оружие.

Беня. Откуда они взялись? Сенька. Живут рядом с вашим покупателем. Беня. С каким покупателем? Сенька. Который ваше дело покупает. Беня. Какое дело?

Сенька. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз. Беня *(оборачивается).* Сказился? Сенька. Сам говорил. Беня. Кто говорил?

Сенька. Мендель говорил, отец... Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать.

Гул молитвы. Евреи завывают очень замысловато.

Беня. Сказился.

Сенька. Все люди знают.

Беня. Божись!

Сенька. Пусть мне счастья не видеть!

Беня. Матерью божись!

Сенька. Пусть я мать живую не застаю!

Беня. Еще божись, стерва!

Сенька *(пренебрежительно).* Дурак ты!

Кантор. Борух ато адонай...^[35]

Шестая сцена

Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом, сидит Беня и чистит револьвер. Левка прислонился к двери конюшни. Арье-Лейб объясняет сокровенный смысл «Песни Песней» тому самому мальчику, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Никифор без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.

Беня. Время идет. Дай времени дорогу!

Левка. Зарезать ко всем свиньям!

Беня. Время идет. Посторонись, Левка! Дай времени дорогу!

Арье-Лейб. «Песня Песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ?

Никифор (*указывает Арье-Лейбу на братьев*). Вон выставились коло конюшни, как дубы.

Арье-Лейб. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем... Кто искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю... Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору, Тору любит Израиль.

Никифор. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Беня. Кричи больше.

Никифор (*мечется по двору*). Я свое знаю... У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду.

Арье-Лейб. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор...

Никифор. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

Беня (*разбирает револьвер, чистит*). Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился.

Никифор (*кричит, но в голосе его нет силы*). Я хомутам вашим не присягал! У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах! Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет...

Беня. Кричи, кричи перед смертью.

Никифор (*Арье-Лейбу*). Старик, скажи, зачем они так делают?

Арье-Лейб (*поднимает на кучера выцветшие глаза*). Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?

Никифор. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? (*Уходит.*)

Беня. Растревожился наш Никифор.

Арье-Лейб. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала? — учит нас Рашэ.

Мальчик. Рашэ учит нас — искала Тору.

Слышны громкие голоса.

Беня. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу!

Входят Мендель, Бобринец, Никифор, Пятирубель под хмельком.

Бобринец (*оглушительным голосом*). Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так к кому же мне идти?

Мендель. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза.

Бобринец. Нет в Одессе извоза, кроме твоего... Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?..

Мендель (*не глядя на сыновей*). Люди крутятся около моей конюшни.

Никифор. Выставились, как дубы паршивые.

Бобринец. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню... Ай, Мендель!

Пятирубель. Ай, Мендель!

Мендель. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Никифор. Хозяин, за ради бога!..

Мендель. Ну?

Никифор. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои...

Мендель. Что сыны мои?

Никифор. Сыны твои хочут лупцовать тебя.

Беня (*прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно*). Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота...

Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.

Мендель (*смотрит в землю*). Люди, хозяйева...

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Люди и хозяйева, вот смотрите на мою кровь (*он поднимает голову, и голос его крепнет*), на мою кровь, которая заносит на меня руку...

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Ой, не возьмете!.. (*Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу*.) Левка. Ой, возьмем!..

Небо залито кровью заката. Старик и Левка катаются по земле, раздирают друг другу лица, откатываются за сарай.

Никифор (*прислонился к стене*). Ох, грех...

Бобринец. Левка, отца?!

Беня (*отчаянным голосом*). Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил!

Никифор. Ох, грех...

Пятирубель. Убью, кто разнимет! Чур, не разнимать!

Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.

Не уродился еще человек на земле против Менделя.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Я ста рублями отвечу...

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.

Бобринец. Левка, отца?!

Мендель. Не возьмешь! *(Он топчет сына.)*

Пятирубель. Ста рублями любому отвечу...

Мендель побеждает. У Левки выбиты зубы, вырваны клочья волос.

Мендель. Не возьмешь!

Беня. Ой, возьмем! *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца.)*

Старик рухнул. Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката.

Никифор. Теперь убили.

Пятирубель *(склонился над неподвижным Менделем).* Миш?..

Левка *(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой).* Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель. Миш?..

Беня *(оборачивается к толпе зевак).* Что вы здесь забыли?

Пятирубель. А я говорю — еще не вечер. Еще тыща верст до вечера.

Арье-Лейб *(на коленях перед поверженным стариком).* Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Левка *(кривые ручки слез и крови текут по его лицу).* Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель *(отходит, пошатываясь).* Двое — на одного.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Двое — на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву! *(Уходит, спотыкаясь.)*

Арье-Лейб *вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Нехама — одичавшая, грязно-серая. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.*

Нехама. Не молчи, Мендель.

Бобринец *(густым голосом).* Довольно строить штуки, старый шутник!

Нехама. Кричи что-нибудь, Мендель!

Бобринец. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он не торопясь выплевывает изо рта длинные ленты крови.

Беня *(загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня лет двадцати и взял его за грудь).* Ну-ка, назад!

Молчание. Вечер. Синяя тьма, но над тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами.

Седьмая сцена

Каретник Криков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора. В дверях за небольшим столом пишет Беня. На него насккивает лысый нескладный мужик Семен, тут же шныряет мадам Попятник. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, Майор. К стенке приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков и скрещенными кнутами.

Семен. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Беня *(продолжает писать).* Грубо говоришь, Семен.

Семен. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву!

Беня. Добрый человек, я на тебя плевать хочу!

Семен. Ты куда старика дел?

Беня. Старик больной.

Семен. Вон тут на стенке он писал, сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто. И платил. Двадцать годов ему возил, худого не видел.

Беня *(встает).* Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что...

Мадам Попятник *(с величайшим неодобрением разглядывает мужика).* Человек, когда он дурак, — это очень пакудно.

Беня. ...потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек.

Семен *(струсил, но еще петушится).* Мне штоб деньги были!

Мадам Попятник. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете.

Беня. Никифор!

Входит Никифор, он смотрит исподлобья, говорит нехотя.

Никифор. Я Никифор.

Беня. Рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева.

Никифор. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет.

Беня. Я буду уговариваться.

Никифор. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Беня. У меня выкупать... Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сена пятьсот пудов...

Семен (*остолбенел*). Пятьсот?! Двадцать годов возил...

Мадам Попятник. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сена.

Беня. Овса — двести.

Семен. Я возить не отказываюсь.

Беня. Потеряй мой адрес, Семен.

Семен мнет шапку, вертит шей, уходит, оборачивается, опять уходит.

Мадам Попятник. Один паскудный мужик и так разволновал вас... Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен! Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Мендель Крик заслужил у нас эти несчастные два рубля...

Майор (*мелодическим глухим голосом*). Рубль девяносто пять.

Беня. Какие два рубля?

Мадам Попятник. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить!.. В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроение, он заказал военное... Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

Мадам Попятник. И потом танцы...

Майор. Двадцать один танец.

Мадам Попятник. Вышло рубль девяносто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане...

Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону.

Никифор. Потаповна пришла.

Беня. Зачем мне знать, что кто-то пришел?

Никифор. Грозится.

Беня. Зачем мне знать...

Припадая на ногу, ворочая чудовищным бедром, вламывается Потаповна. Старуха пьяна. Она валится на землю и устремляет на Беню мутные немигающие глаза.

Потаповна. Цари наши...

Беня. Что скажете, мадам Холоденко?

Потаповна. Цари наши...

Никифор. Пошла дурить!

Потаповна (*подмигивает*). Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат... Прыгают в голове шарики — д-ж-ж-ж.

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна (*бьет по земле кулаком*). Правильно, правильно! Нехай умный панует, а свинья в монопольку...

Мадам Попятник. Интеллигентная дама!

Потаповна (*разбрасывает по земле медяки*). Вот сорок копеек заработала... Встала, света не было, мужиков на Балтской дороге поджидала... (*Задирает голову к небу.*) Теперь сколько часов будет? Три будет?

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна. Д-ж-ж-ж, пустил шарики...

Беня. Никифор!

Никифор. Ну?

Потаповна (*подманивает Никифора толстым слабым пьяным пальцем*). А девочка-то наша занеслась, Никиша!

Мадам Попятник (*присела и зажглась*). Интрига, ай, какая интрига!

Беня. Что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?

Мадам Попятник (*приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры*). Я иду... я иду... Дай бог свидеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую минуту!.. (*Она дергает мужа за руки, пятится, вертится, глаза стали у нее косые и светят вбок черным огнем.*)

Майор тащится за женой и шевелит пальцами. Наконец они исчезают.

Потаповна (*размазывает слезы по мятому дряблему лицу*). Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, я ей кажую ночь грудь трогаю, а у ней уже налилось, в руке не помещается.

Беня (*лоск с него слетел. Он говорит быстро, оледывается*). Какой месяц?

Потаповна (*не мигая смотрит она на Беню с земли*). Четвертый.

Беня. Врешь!

Потаповна. Ну, третий.

Беня. Чего тебе от нас надо?

Потаповна. Д-ж-ж, пустил шарики...

Беня. Чего тебе надо?

Потаповна (*подвязывает платок*). Вычистка сто рублей стоит.

Беня. Двадцать пять!

Потаповна. Портовых наведу.

Беня. Портовых наведешь?.. Никифор!

Никифор. Я Никифор.

Беня. Взойди к папаше и спроси его, приказывает он давать двадцать пять...

Потаповна. Сто!

Беня. ...двадцать пять рублей на вычистку или не приказывает?

Никифор. Не взойду я.

Беня. Не взойдешь?! (*Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.*)

Никифор (*хватает Беню за руки*). Парень, я бога не боюсь... Я бога видел и не испугался... Я убью и не испугаюсь...

Занавеска трепещет и раздвигается. Выходит Мендель. За спину у него закинута сапоги. Лицо его сине и одутловато, как лицо мертвеца.

Мендель. Отоприте.

Потаповна. Ай, страшно!

Никифор. Хозяин!

К каретнику приближаются Арье-Лейб и Левка.

Мендель. Отоприте.

Потаповна (*лезет по полу*). Ай, страшно!

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша.

Мендель. Ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое...

Никифор (*падает на колени*). Великодушно прошу вас, хозяин, не страмитесь передо мной, простым человеком!

Мендель. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? (*Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.*) Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою, и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои... А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много...

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша! (*Он приближается к отцу.*)

Мендель. Не бей меня, Бенчик.

Левка. Не бей его.

Беня. Низкие люди!.. (*Пауза.*) Как могли вы... (*Пауза.*) Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

Арье-Лейб. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Беня. Звери, о, звери!.. (*Он быстро уходит. Левка за ним.*)

Арье-Лейб (*ведет Менделя к лежанке*). Мы отдохнем, Мендель, мы заснем...

Потаповна (*поднялась с земли и заплакала*). Убили сокола!..

Арье-Лейб (*укладывает Менделя на лежанке за занавеской*). Мы заснем, Мендель...

Потаповна (*валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика*). Сыночек мой, любочка моя!

Арье-Лейб (*перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издали*). В старые старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь, царь над Израилем, над войском Израиля и над мудрецами его...

Потаповна (*всхлипывает*). Сыночек мой!

Арье-Лейб. Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел Давид-царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву, и царь соединился с Вирсавией, женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико...

Восьмая сцена

Столовая в доме Криков. Вечер. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится мадам Попятник, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит Майор. На нем вздулась бумажная манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много гостей. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму.

Левка (*орет кавалерийские сигналы*). Всадники, други, вперед! Рысью вперед! По временам коням Освежайте рот.

Клаша (*хохочет*). Ой, живот! Ой, выкину!..

Левка. Левый шенкель приложи и направо поверни!

Клаша. Ой, уморил!..

Проходят. Навстречу им Боярский в сюртуке и Двойра.

Боярский. Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное.

С тремя тысячами мы ставим конфексион на Дерibasовской и венчаемся в добрый час.

Двойра. Но почему сразу все три тысячи?

Боярский. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это же не сентябрь. Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки... Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентябрь, октяб, нояб, де-каб... На ночь я не скажу, что это день, и на день не позволю себе сказать, что это ночь...

Проходят. Появляются Беня и Бобринец.

Беня. У вас готово, мадам Попятник?

Мадам Попятник. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол!

Бобринец. Вырази мне твою мысль, Беня.

Беня. Моя мысль такая: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь голый и босой и заманнанный, как ссыльнопоселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

Проходят Боярский и Двойра.

Боярский. Сентябрь, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом, я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский.

Боярский. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу!..

Проходят. У стены, под голубой лампой, сидит степенный прасол и парень в тройке, с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.

Парень с толстыми ногами. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек слетел.

Прасол. Татары — и те стариков почитают. Жизнь пройти — не поле перейти.

Парень с толстыми ногами. Кабы человек ловчился жить, а то... (*сплевывает шелуху*), а то живет, как по-живется. За что почитать-то?

Прасол. Что с дураком толковать...

Парень с толстыми ногами. Бенчик сена одного тыщу пудов купил.

Прасол. Старик по сто покупал — хватало.

Парень с толстыми ногами. Старика они все равно зарежут.

Прасол. Это жиды-то? Это отца-то?

Парень с толстыми ногами. Зарежут до смерти.

Прасол. Толкуй с дураком...

Проходят Беня и Бобринец.

Бобринец. Что же ты хочешь, Беня?

Беня. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой... Ты понял меня, Бобринец?

Бобринец. Я понял тебя, Бенчик.

У стены рядом с Пятирубелем сидят надувшиеся от величия богачи муж и жена Вайнер.

Пятирубель (*тщетно ищет у них сочувствия*). Городовикам ремни обрывал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу в руках держал... Вот какой старик был!

Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.

(*Робко.*) Они гундосые?

Мадам Вайнер (*злобно*). Ну да!

Проходят Двойра и Боярский.

Боярский. Сентябрь, октяб, нояб, декаб.

Двойра. И потом, я хочу ребенка, Боярский.

Боярский. Вот видите, ребенок при конфексионе — это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

В величайшем возбуждении влетает мадам Попятник.

Мадам Попятник. Бен Зхарья приехал! Раввин... Бен Зхарья...

Комната наполняется гостями. Среди них Двойра, Левка, Беня, Клаша Зубарева, Сенька Топун; напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.

Парень с толстыми ногами. На деньги и раввин прибежал. Тут как тут.

Арье-Лейб и Бобринец вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Зхарья.

Бен Зхарья (*визгливо*). Еще только рассвет чихает, еще бог на небе красной водой умывается...

Бобринец (*хохочет, предвкушая замысловатый ответ*). Почему красной, рабби?

Бен Зхарья. ...еще я на спине лежу, как таракан...

Бобринец. Почему на спине, рабби?

Бен Зхарья. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы...

Бобринец шумно хохочет.

Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть...

Беня. Они дадут вам пить, они дадут вам есть, все, что вы захотите, рабби.

Бен Зхарья. Все, что я захочу?.. И лошадей своих отдашь?

Беня. И лошадей моих отдам.

Бен Зхарья. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в их колесницу и отвезите меня... куда?

Бобринец. Куда, рабби?

Бен Зхарья. На второе еврейское кладбище, дуралей!

Бобринец (*шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезлую, розовую макушку*). Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Арье-Лейб (*представляет Беню*). Это он и есть, рабби, сын Менделя — Бенцион.

Бен Зхарья (*жуёт губами*). Бенцион... сын Сиона... (*Молчит.*) Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью...

Левка (*оглушительным голосом*). Кидайтесь на стулья, уркины, жмите скамейки!

Клаша (*качает головой, улыбается*). Ох, здоровый!

Беня (*мечет на брата негодующий взгляд*). Дорогие, присаживайтесь! Мосье Бобринец сядет рядом с рабби.

Бен Зхарья (*ерзает в кресле*). Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнание? Пусть государственный банк (*тычет пальцем в Клашу*) сядет рядом со мной...

Бобринец (*предвкушая новую остроту*). Почему государственный банк?

Бен Зхарья. Она лучше банка. В нее хорошо положишь — она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое в нее положишь — она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой... Она лучше банка, она лучше банка...

Бобринец (*поднял вверх палец*). Надо понимать, что он говорит.

Бен Зхарья. А где же звезда наша во Израиле, где хозяин дома сего, где рабби Мендель Крик?

Левка. Он сегодня больной.

Беня. Рабби, он здоров... Никифор!

В дверях показывается Никифор в затрапезном своем армяке.

Пусть взойдет папаша со своей супругой.

Молчание.

Никифор (*отчаянным голосом*). Уважающие гости!..

Беня (*очень медленно*). Пусть взойдет папаша.

Арье-Лейб. Бенчик, у нас, евреев, отца не срамят перед людьми.

Левка. Рабби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу.

Вайнер возмущенно лопочет, брызгается слюной.

Беня (*склоняется к мадам Вайнер*). Что он говорит?

МадамВайнер. Он говорит — стыд и срам!

Арье-Лейб. Евреи так не делают, Беня!

Клаша. Расти сынов...

Беня. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в синагоге биндюжников и кладбищенский кантор, не расскажешь ли ты мне, как делаются дела у людей?.. (*Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой, сопровождая каждое слово ударом кулака.*) Пусть взойдут папаша!

Никифор исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Беня посреди комнаты. Медленная кровь заливает его шею. Молчание. И только бессмысленное бормотанье Бен Зхарьи нарушает томительную тишину.

Бен Зхарья. Бог умывается на небе красной водой. (*Молчит, ерзает в кресле.*) Почему красной, почему не белой? Потому что красная веселее белой...

Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица обращаются в эту сторону. Показывается Мендель с иссеченным запудренным лицом. Он в новом костюме. С ним Нехама в наколке, в тяжелом бархатном платье.

Беня. Друзья, сидящие в моем доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах.

Вайнер восторженно лопочет.

Что он говорит?

Мадам Вайнер. Он говорит — ура!

Беня (*ни на кого не глядя*). Учи меня, Арье-Лейб!.. (*Подносит отцу и матери вино.*) Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово.

Мендель (*озирается и говорит очень тихо*). Желаю доброго здоровья...

Беня. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

Прасол. Толкуют мне про жидов...

Беня. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Бен Зхарья. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи... В пользу невест-бесприданниц надо пожертвовать!

Бобринец (*заливается хохотом*). Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Мадам Попятник. Я даю туш.

Беня. Давайте!

Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехаме.

Клаша Зубарева. Ваше здоровье, дедушка!

Сенька Топун. Вагон удовольствия, папаша, сто тысяч на мелкие расходы!

Беня (*ни на кого не глядя*). Учи меня, Арье-Лейб!

Бобринец. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын!

Левка (*через весь стол*). Папаша, не сердчайте! Папаша, вы свое отгуляли...

Прасол. Толкуют мне про жидов! Я жидов получше вашего знаю...

Пятирубель (*лезет к Бене и порывается целовать его*). Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!

Громкое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье-Лейба и опутывают его бороду. Он трясется и целует плечо Бени.

Арье-Лейб. Пятьдесят лет, Бенчик! Пятьдесят лет вместе с твоим отцом... (*Кричит истерически.*) У тебя был хороший отец, Беня!

Вайнер (*обрел дар речи*). Выведите его!

Мадам Вайнер. Боже, какие штуки!

Боярский. Арье-Лейб, вы ошиблись. Теперь надо смеяться.

Вайнер. Выведите его!

Арье-Лейб (*всхлипывает*). У тебя был хороший отец, Беня...

Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье-Лейбу новый платок. Тот вытирает слезы. Плачет и смеется.

Бобринец. Болван, вы не у себя на кладбище! Пятирубель. Свет наскрозь пройдет, такого Бенчика не сыщете. Я об заклад буду биться... Беня. Дорогие, присаживайтесь!

Левка. Жмите скамейки...

Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.

Бен Зхарья. Евреи!

Бобринец. Тихо чтоб было!

Бен Зхарья. Старый дуралей Бен Зхарья хочет сказать слово...

Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его, и он замолкает.

День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове вее-ра своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Вся жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городских на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Левка. Выпьем рюмку водки!..

Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.

Исаак Бабель

Он родился в конце 1894 года среди кривых катакомб Одессы, порта, ступенями сбегаящего к морю. Неправильный семит по рождению, Исаак появился на свет в семье старьевщика из Киева и еврейки с Молдаванки. Катастрофа была для него привычной средой. В ненадежных перерывах между погромами он научился не только читать и писать, но и преклоняться перед литературой, ценить Мопассана, Флобера и Рабле. В 1914 году он закончил юридический факультет Саратовского университета, в 1916-м рискнул отправиться в Петроград. Шла война, в городе разыскивали «дезертиров, недовольных, бунтовщиков и евреев», — классификация достаточно прихотливая, но, увы, неумолимо включавшая Бабеля. Все, на что он мог рассчитывать, было знакомство с официантом, прятавшим его у себя дома, литовский акцент, благоприобретенный в Севастополе, и поддельный паспорт. К этому времени относятся его первые литературные опыты: два-три сатирических очерка царской бюрократии, опубликованных в знаменитом ежемесячнике Горького «Летопись». (Как тут не подумать — и что сказать — о советской России с ее непостижимым лабиринтом государственных издательств?) Сатира привлекла к нему опасное внимание властей. Его обвинили в порнографии и разжигании классово-розовой розни. От одной катастрофы Бабеля спасла другая: русская революция.

В начале 1921 года он вступил в ряды Первой конной армии, в казачий полк. Шумные и бестолковые бойцы (мало кто в мировой истории терпел столько поражений, сколько казаки) были, понятно, как один антисемитами. При мысли о евреях в седле они разражались хохотом, а то, что Бабель оказался хорошим наездником, удешевляло их презрение и злобу. Только после нескольких геройских, блестящих и удачных вылазок Бабель добился своего, и его оставили в покое.

Для славы (не для каталогов) Бабель по сей день — автор одной книги.

Эта одинокая книга носит название «Конармия».

Музыка его слога сталкивается с невыносимой жестокостью некоторых сцен.

Одному из рассказов — «Соль» — выпала судьба, которая обычно отводится стихам и лишь в редких случаях достается прозе: многие знают его наизусть.

Смерть и буссоль

Мандие Молина ВедиИз многих задач, изошрявших дерзкую пронизательность Лённрота, не было ни одной столь необычной — даже вызывающе необычной, — как ряд однотипных кровавых происшествий, достигших кульминации на вилле «Трист-ле-Руа» среди неизбывного аромата эвкалиптов. Правда, последнее преступление Эрику Лённроту не удалось предотвратить, но несомненно, что он его предвидел. Также не сумел он идентифицировать личность злосчастного убийцы Ярмолинского, зато угадал таинственную систему преступного цикла и участие Реда Шарлаха, имевшего кличку Шарлах Денди. Этот преступник (как многие другие) поклялся честью, что убьет Лённрота, но тот никогда не давал себя запугать. Лённрот считал себя чистым мыслителем, неким Огюстом Дюпенем, но была в нем и жилка авантюриста, азартного игрока. Первое преступление произошло в «Отель дю Нор» — высоченной призме, господствующей над устьем реки, воды которой имеют цвет пустыни. В эту башню (так откровенно сочетающую отвратительную белизну санатория, нумерованное однообразие тюремных клеток и общий отталкивающий вид) третьего декабря прибыл делегат из Подольска на Третий конгресс талмудистов, доктор Марк Ярмолинский, человек с серой бородой и серыми глазами. Мы никогда не узнаем, понравился ли ему «Отель дю Нор»; он принял отель безропотно, с присущей ему покорностью, которая помогла ему перенести три года войны в Карпатах и три тысячи лет угнетения и погромов. Ему дали однокомнатный номер на этаже R, напротив suite[16], который не без шика занимал тетрарх Галилеи. Ярмолинский поужинал, отложил на следующий день осмотр незнакомого города, поместил в placard[17] большое количество своих книг и весьма мало одежды и еще до полуночи погасил свет. (Таково свидетельство шофера тетрарха, спавшего в соседнем номере.) Четвертого декабря в 11 часов 3 минуты утра ему позвонил по телефону редактор «Идише цайтунг»; доктор Ярмолинский не от-

ветил; его нашли в номере со слегка уже потемневшим лицом, почти голого под широким старомодным халатом. Он лежал недалеко от двери, выходящей в коридор, его грудь была глубоко рассечена ударом ножа. Несколько часов спустя в том же номере среди газетчиков, фотографов и жандармов комиссар Тревиранус и Лённрот невозмутимо обсуждали загадочное убийство. — Нечего тут мудрить и строить догадки, — говорил Тревиранус, величественно потрясая сигарой. — Всем нам известно, что у тетрарха Галилеи лучшие в мире сапфиры. Чтобы их украсть, кто-то наверно по ошибке забрался сюда. Ярмолинский проснулся, вор был вынужден его убить. Как вы считаете? — Это правдоподобно, но это не интересно, — ответил Лённрот. — Вы мне возразите, что действительность не обязана быть интересной. А я вам скажу, что действительность, возможно, и не обязана, но не гипотезы. В вашей импровизированной гипотезе слишком большую роль играет случайность. Перед нами мертвый раввин, и я предпочел бы чисто раввинское объяснение, а не воображаемые неудачи воображаемого грабителя. Тревиранус с досадой ответил: — Меня не интересуют раввинские объяснения, меня интересует поимка человека, который заколол другого, никому не известного. — Не такого уж неизвестного, — поправил Лённрот. — Вот полное собрание его сочинений. — Он указал на полку стенного шкафа, где стояли высокие тома: «Защита Каббалы», «Обзор философии Роберта Фладда», буквальный перевод «Сефер Йецира»[18], «Биография Баал-Шема», «История секты хасидов», монография (на немецком) о Тетраграмматоне[19] и другая монография — о наименованиях Бога в Пятикнижии. Комиссар взглянул на них со страхом, чуть не с отвращением. Потом рассмеялся. — Я всего лишь жалкий христианин, — сказал он. — Берите себе весь этот хлам, если хотите. У меня нет времени разбираться в еврейских суевериях. — Возможно, что это преступление относится как раз к истории еврейских суеверий, — пробормотал Лённрот. — Как и христианство, — осмелился дополнить редактор «Идише цайтунг». Он был близорук, очень робок и не верил в Бога. Один из полицейских обнаружил на маленькой пишущей машинке лист бумаги с бессмысленной фразой: «Произнесена первая буква Имени». Лённрот и не подумал улыбнуться. Внезапно став библиофилом, гебраистом, он приказал, чтобы книги убитого упаковали, и унес их в свой кабинет. Отстраняясь от ведения следствия, он углубился в их изучение. Одна из книг (большой ин-октаво) ознакомила его с учением Исраэля Баал-Шем-Това, основателя секты благочестивых; другая — с могуществом и грозным действием Тетраграмматона, каковым является непроизносимое Имя Бога; еще одна — с тезисом, что у Бога есть тайное имя, в котором заключен (как в стеклянном шарике, принадлежавшем, по сказаниям персов, Александру Македонскому) его девятый атрибут, вечность — то есть полное знание всего, что будет, что есть и что было в мире. Традиция насчитывает девяносто девять имен Бога, гебраисты приписывают несовершенство этого числа магическому страху перед четными числами, хасиды же делают отсюда вывод, что этот пробел указывает на существование сотого имени — Абсолютного Имени. От этих ученых штудий Лённрота через несколько дней отвлекло появление редактора «Идише цайтунг». Редактор хотел поговорить об убийстве, Лённрот предпочел порассуждать об именах Бога; затем редактор в трех колонках сообщил, что следователь Эрик Лённрот занялся изучением имен Бога, чтобы таким путем найти имя убийцы. Лённрот, привыкший к газетным упрощениям, не возмутился. Один из тех коммерсантов, которые открыли, что любого человека можно заставить купить любую книгу, опубликовал популярное издание «Истории секты хасидов». Второе преступление произошло ночью третьего января в самом заброшенном и голом из пустынных западных предместий столицы. Перед рассветом один из конных жандармов, объезжающих эти пустыри, увидел на пороге старой красильни человека в пончо. Затвердевшее лицо было, как маской, покрыто кровью; грудь глубоко рассечена ударом ножа. На стене, над желтыми и красными ромбами, было написано мелом несколько слов. Жандарм их разобрал... Под вечер Тревиранус и Лённрот направились на это отдаленное место преступления. Слева и справа от их машины город постепенно сходил на нет: все огромней становился небосвод, и дома все меньше привлекали внимание, зато взгляд задерживался на какой-нибудь сложенной из кирпича печке или стройном тополе. Наконец они прибыли по скорбному адресу: окраинная улочка посреди розоватых глиняных оград, которые словно отражали чудовищно яркий заход солнца. Труп уже был опознан. Это был Симон Асеведо, человек, пользовавшийся некоторой известностью в старых северных кварталах, — сначала возчик, потом наемный драчун в предвыборных кампаниях, он опустился до ремесла вора и даже доносчика. (Особый стиль убийства показался обоим следователям вполне адекватным. Асеведо был последним представителем того поколения бандитов, которое охотнее орудовало ножом, чем револьвером.) Мелом были написаны следующие слова: «Произнесена вторая буква Имени». Третье преступление произошло в ночь на третье февраля. Около часа ночи в кабинете комиссара Тревирануса зазвонил телефон. Гортанный мужской голос, в котором корысть прикрывалась таинственностью, сказал, что зовут его Гинзберг (или Гинзбург) и что он готов, за должное вознаграждение, сообщить факты, касающиеся обоих убийств — Асеведо и Ярмолинского. Беспорядочные свистки и звуки рожков заглушили голос доносчика. Потом связь прервалась. Не исключая возможности, что это шутка (как-никак была пора карнавала), Тревиранус установил, что с ним говорили из «Ливерпуль-хауз», таверны на Рю-де-Туллон, значной улице, где сосуществуют космо-рама и молочная, публичный дом и продавцы Библии. Тревиранус позвонил хозяину таверны. Хозяин (Блэк Финнеген, ирландец и бывший преступник), огорченный и удрученный тревогой за свою репутацию, сказал, что последний, кто пользовался телефоном таверны, был его постоялец, некий Грифиус, и что он только недавно вышел с приятелями. Тревиранус немедленно отправился в «Ливерпуль-хауз». Хозяин сообщил следующее: неделю тому назад Грифиус снял комнату над баром; у него тонкие черты, тусклая седая борода, одет бедно, в черное; Финнеген (предназначавший это помещение для других целей, о чем Тревиранус догадался), запросил явно чрезмерную плату; Грифиус немедленно уплатил требуемую сумму. Он почти не выходит, ужи-

нает и обедает у себя в комнате, в баре его вряд ли знают в лицо. Вечером он спустился вниз, чтобы позвонить из конторы Финнегена, в это время возле таверны остановился закрытый двухместный экипаж. Возчик не сошел с облучка, но кое-кто из посетителей заметил, что он был в маске медведя. Из экипажа вышли два арлекина — оба невысокого роста, и всякий бы сказал, что они здорово выпили. Под вой рожков они ввалились в контору Финнегена, кинулись обнимать Грифиуса, который как будто их узнал, но отвечал им холодно; они обменялись несколькими словами на идиш — он низким, гортанным голосом, они фальшивыми, высокими голосами — и все трое поднялись в его комнату. Через четверть часа спустились, очень веселые. Грифиус шатался и был с виду так же пьян, как те двое. Высокий, покачивающийся, он шел между двумя арлекинами в масках. (Женщина из бара вспомнила желтые, красные и зеленые ромбы на их одежде.) Грифиус дважды споткнулся. Оба раза арлекины его подхватили. Все трое сели в экипаж и поехали в направлении близлежащей гавани, имеющей прямоугольную форму. Уже стоя на подножке экипажа, поднявшийся последним арлекин нацарапал мелом на одном из столбов подъезда непристойный рисунок и какую-то фразу. Тревиранус прочел написанное. Как можно было предвидеть, надпись гласила: «Произнесена последняя буква Имени». Затем он осмотрел комнатку Грифиуса-Гинзберга. На полу звездой расплылось пятно крови, в углах валялись окурки сигарет венгерской марки, в шкафу стояла книга на латинском языке «*Philologus hebraeograecus*»[20] (1739) Лейсдена с несколькими от руки сделанными пометками. Тревиранус негодуя поглядел на нее и послал за Лённротом. Тот, даже не сняв шляпы, принялся листать книгу, пока комиссар допрашивал противоречивших друг другу свидетелей предполагаемого похищения. В четыре часа оба вышли. На извилистой Рю-де-Тулон, ступая по неубранному с утра серпантину, Тревиранус сказал: — А если происшествие нынешней ночи — просто симуляция? Эрик Лённрот усмехнулся и с полной серьезностью прочитал вслух пассаж (им подчеркнутый) из тридцать третьего рассуждения «*Philologus*»: — *Dies Iudaeorum incipit ad solis occasu usque ad solis occasum diei sequentis*. Это значит, — добавил он, — у евреев день начинается с заката солнца и длится до заката солнца следующего дня. Его спутник попытался съязвить. — И это самые ценные сведения, которые вы нынче вечером раздобыли? — Нет. Более ценно одно слово, сказанное Гинзбергом. Вечерние газеты не обошли молчанием эти периодически повторявшиеся убийства. «Крест на Мече» противопоставил им великолепную дисциплину и порядок на последнем Конгрессе отшельников; Эрнст Паласт в «Мученике» осудил «недопустимую медлительность подпольного, жалкого погрома, которому понадобилось три месяца для ликвидации трех евреев»; «Идише цайтунг» отвергла ужасающую гипотезу об антисемитском заговоре, «хотя многие пронзительные умы не видят другого объяснения этой тройной тайны»; самый знаменитый из наемных убийц Юга, Денди Ред Шарлах, поклялся, что убийства такого рода в его районе никогда не совершались, и обвинил комиссара Франца Тревирануса в преступной халатности. Вечером первого марта комиссар получил запечатанный конверт. Комиссар вскрыл его: в нем было письмо с подписью «Барух Спиноза» и подробный план города, явно выдраный из какого-то путеводителя. В письме предсказывалось, что третьего марта четвертое убийство не совершится, ибо красильня на востоке города, таверна на Рю-де-Тулон и «Отель дю Нор» были «идеальными вершинами мистического равностороннего треугольника»; красными чернилами на плане была показана правильность этого треугольника. Тревиранус безропотно прочитал это доказательство *de more geometrico*[21] и отослал письмо и план Лённроту домой — такую белиберду только ему и разбирать. Эрик Лённрот внимательно изучил присланное. Три указанные точки действительно находились на равных расстояниях. Симметрия во времени (3 декабря, 3 января, 3 февраля), симметрия в пространстве... Вдруг он почувствовал, что сейчас разгадает тайну. Это интуитивное озарение дополнили компас и буссоль. Он усмехнулся, произнес слово «Тетраграмматон» (недавно усвоенное) и позвонил комиссару. — Благодарю, — сказал он, — за равносторонний треугольник, который вы мне вчера прислали. Он помог мне решить задачу. Завтра же, в пятницу, преступники будут за решеткой. Мы с вами можем спокойно спать. — Стало быть, они четвертое убийство не замышляют? — Именно потому, что они замышляют четвертое убийство, мы можем быть вполне спокойны. — И Лённрот повесил трубку. Час спустя он ехал в поезде Южных железных дорог по направлению к заброшенной вилле «Трист-ле-Руа». На южной окраине города, о котором идет речь, протекает грязный ручей с мутной, глинистой водой, полной отбросов и мусора. За ручьем находится фабричное предместье, где под крылышком своего главаря-барселонца процветают наемные убийцы. Лённрот усмехнулся при мысли, что самый знаменитый из них — Ред Шарлах — все бы отдал, чтобы узнать о его тайной поездке. Асеведо был дружкой Шарлаха. Лённрот предположил возможность того, что четвертой жертвой будет Шарлах. Затем он ее отверг... В принципе он задачу решил; конкретные обстоятельства, факты (имена, аресты, физиономии, судебные и тюремные подробности) его теперь почти не интересовали. Ему хотелось погулять, хотелось отдохнуть после трех месяцев, проведенных за столом в изучении дела. Он рассудил, что объяснение убийств содержится в анонимно присланном треугольнике и в одном пылью древности покрытом греческом слове. Тайна была для него ясна, как кристалл, он даже покраснел, что ухлопал на нее сто дней. Поезд остановился на тихой товарной станции. Лённрот вышел из вагона. Стоял один из тех безлюдных мирных вечеров, которые напоминают утро. Воздух на затуманенной равнине был сырой и холодный. Лённрот зашагал по дороге. Он увидел собак, увидел стоявший в тупике товарный вагон, увидел горизонт, увидел серебристую лошадь, которая пила из лужи воющую воду. Уже темнело, когда вдали показался четырехугольный бельведер виллы «Трист-ле-Руа», почти такой же высокий, как окружавшие его эвкалипты. Лённрот подумал, что всего лишь один рассвет и один закат (извечная заря на востоке и другая заря на западе) отделяют его от часа, желанного для искателей Имени. Неровный периметр усадьбы очерчивала заржавевшая железная ограда. Главные ворота были заперты. Не слишком надеясь

на то, что удастся войти, Лённрот обогнул всю усадьбу. Очутившись опять перед неприступными воротами, он почти машинально просунул руку меж прутьями и наткнулся на засов. Скрип железа был для него неожиданностью. Медленно, натужно поддались его усилиям и ворота. Лённрот пошел по аллее между эвкалиптами, топчя многие поколения жестких красных листьев. Вблизи вилла «Трист-ле-Руа» поражала бессмысленной симметрией и маниакальной повторяемостью украшений: ледяной Диане в одной мрачной нише соответствовала в другой нише другая Диана; одному балкону как бы служил отражением другой балкон; два марша парадной лестницы поднимались с двух сторон к двум балюстрадам. Отбрасывал огромную тень Гермес с двумя лицами. Лённрот обошел кругом весь дом, как прежде — усадьбу. Он осмотрел все, и под высокой террасой заметил узкую штору. Лённрот отвел штору: за нею было несколько мраморных ступеней, ведущих в подвал. Уже догадываясь о вкусах архитектора, Лённрот предположил, что в противоположной стене подвала будут такие же ступени. Он и впрямь их нашел, поднялся и, упершись руками в потолок, открыл крышку люка и вышел. Слабое сияние привело его к окну. Он распахнул окно: желтая круглая луна четко освещала запущенный сад с двумя недействующими фонтанами. Лённрот обследовал дом. Через прихожие и галереи он выходил в одинаковые патио и несколько раз оказывался в одном и том же патио. По пыльным лестницам он поднимался в круглые передние, бесконечно отражался в противостоящих зеркалах, без конца открывал или приоткрывал окна, за которыми с разной высоты и под разным углом видел все тот же унылый сад; мебель в комнатах покрывали желтые чехлы, и их тарлатан обволкивала паутина. В одной из спален он задержался, в этой спальне в узкой фаянсовой вазе стоял единственный цветок; при первом прикосновении сухие лепестки рассыпались пылью. На третьем и последнем этаже дом показался Лённроту беспредельным и все разрастающимся. «Дом не так уж велик, — подумал он. — Это только кажется из-за темноты, симметричности, зеркал, запущенности, непривычной обстановки, пустынности». По винтовой лестнице он поднялся на бельведер. Вечерняя луна светила сквозь ромбы окон — они были желтые, красные и зеленые. Лённрот остановился, пораженный странным, ошеломляющим воспоминанием. Двое мужчин невысокого роста, но коренастых и свирепых набросились на него и обезоружили; третий, очень высокий, церемонно поклонился и сказал: — Вы весьма любезны. Вы спасли нам одну ночь и один день. Это был Ред Шарлах. Те двое связали Лённроту руки. Он наконец обрел дар речи. — Неужто, Шарлах, это вы ищете Тайное Имя? Шарлах стоял, не отвечая. Он не участвовал в короткой схватке, только протянул руку, чтобы взять револьвер Лённрота. Но вот он заговорил; Лённрот услышал в его голосе усталую удовлетворенность победой, ненависть, безмерную как мир, и печаль, не менее огромную, чем ненависть. — Нет, — сказал Шарлах. — Я ищу нечто более брэнное и хрупкое, я ищу Эрика Лённрота. Три года тому назад в притоне на Рю-де-Тулон вы лично арестовали и засадили в тюрьму моего брата. Мои парни увезли меня после перестрелки с полицейской пулей в животе. Девять дней и девять ночей я умирал в этой безлюдной симметрической вилле; меня сжигала лихорадка, ненавистный двулобый Янус, который глядит на закаты и восходы, нагонял на меня ужас во сне и наяву. Я возненавидел свое тело, мне чудилось, что два глаза, две руки, два легких — это так же чудовищно, как два лица. Один ирландец пытался обратить меня в веру Христову, он твердил мне изречение «гоим»[22]: «все дороги ведут в Рим». Ночью я бредил этой метафорой, я чувствовал, что мир — это лабиринт, из которого невозможно бежать, потому что все пути — пусть кажется, что они идут на север или на юг, — в самом деле ведут в Рим, а Рим был заодно и квадратной камерой, где умирал мой брат, и виллой «Трист-ле-Руа». В эти ночи я поклялся богом, который видит двумя лицами, и всеми богами лихорадки и зеркал, что сооружу лабиринт вокруг человека, засадившего в тюрьму моего брата. Вот я и устроил его, и слажен он крепко: материалом послужили убитый ересиолог, буссоль, секта XVIII века, одно греческое слово, один нож, ромбы на стене красильни. Первый элемент ряда был мне подброшен случайно. С несколькими товарищами (среди них был Даниэль Асеведо) я задумал украсть сапфиры тетрарха. Асеведо нас предал: на деньги, которые он получил вперед, он напился и на день раньше отправился грабить один. В огромном отеле он заблудился; около двух ночи забрел в номер Ярмолинского. Тот, мучимый бессонницей: сидел и писал. Вероятно, он готовил какую-то заметку или статью об Имени Бога; он как раз написал слова: «Произнесена первая буква Имени». Асеведо приказал ему молчать; Ярмолинский потянулся рукой к звонку, который разбудил бы всех в отеле; Асеведо нанес ему только один удар ножом — в грудь. Это было почти инстинктивным движением; пятьдесят лет насилия научили его, что самое легкое и надежное — это убить... Через десять дней «Идише цайтунг» сообщила, что в писаниях Ярмолинского вы ищете ключ к гибели Ярмолинского. Я прочитал «Историю секты хасидов» и узнал, что благоговейный страх, мешающий произнести Имя Бога, породил учение, что Имя это всесильно и облечено тайной. Я узнал также, что некоторые хасиды в поисках этого Тайного Имени доходили до убийств... Я понял, что, по вашему предположению, раввина убили хасиды, и занялся подкреплением этой догадки. Марк Ярмолинский был убит ночью третьего декабря; для второго «жертвоприношения» я выбрал ночь третьего января. Он погиб в северной части города; для второго «жертвоприношения» надо было найти место в восточной. Требовавшейся мне жертвой стал Даниэль Асеведо. Он заслуживал смерти: он был необуздан, он был предатель, его арест мог погубить весь мой план. Его заколол один из наших; чтобы создать связь между его трупом и предыдущим, я написал над ромбами красильни: «Произнесена вторая буква Имени». Третье «преступление» произошло третьего февраля. Как и угадал Тревиранус, это была чистая симуляция. Грифиус-Гинзберг-Гинзбург — это я; я провел бесконечную неделю (приклеив редкую фальшивую бородку) в этом развратном вертепе на Рю-де-Тулон, пока меня не похитили мои друзья. Стоя на подножке экипажа, один из них написал на столбе «Произнесена последняя буква Имени». Эта фраза указывала на то, что задуманных преступлений было

три. Так и поняли все в городе; но я несколько раз намекнул для вас, мыслитель Эрик Лённрот, что их должно быть четыре. Одно чудо на севере, два других на востоке и на западе требуют для полноты четвертого на юге; в Тетраграмматоне, Имени Бога, J H V H — это ведь четыре буквы; арлекины и вывеска красильщика внушали мысль о четырех элементах. Я подчеркнул в труде Лейсдена одно место: в этом абзаце говорится, что день у евреев считается от заката до заката; эта фраза подсказывает, что убийства происходили четвертого числа каждого из трех месяцев. Я послал Тревиранусу равносторонний треугольник. Я предчувствовал, что вы добавите недостающую точку. Точку, которая завершит правильный ромб, точку, которая установит место, где вас будет ждать верная смерть. Я все обдумал, Эрик Лённрот, чтобы заманить вас в безлюдную «Трист-ле-Руа». Лённрот отвел глаза от взгляда Шарлаха. Он посмотрел на деревья и на небо, расчерченные на мутно-желтые, зеленые и красные ромбы. Ему стало зябко и грустно, грусть была какая-то безличная, отчужденная. Уже стемнело, из пыльного сада донесся бессмысленный, ненужный крик птицы. Лённрот в последний раз подумал о загадке симметричных и периодических смертей. — В вашем лабиринте три лишних линии, — сказал он наконец. — Мне известен греческий лабиринт, состоящий из одной-единственной прямой линии. На этой линии заблудилось столько философов, что не мудрено было запутаться простому детективу. Шарлах, когда в следующей аватаре вы будете охотиться за мной, симулируйте (или совершите) одно убийство в пункте А, затем второе убийство в пункте В, в 8 километрах от А, затем третье убийство в пункте С, в четырех километрах от А и В, на середине расстояния между ними. Потом ждите меня в пункте D в двух километрах от пункта А и пункта С, опять же на середине пути. Убейте меня в пункте D, как сейчас убьете в «Трист-ле-Руа». — Когда я буду убивать вас в следующий раз, — ответил Шарлах, я вам обещаю такой лабиринт, который состоит из одной-единственной прямой линии, лабиринт невидимый и непрерывный. Он отступил на несколько шагов. Потом очень сосредоточенно выстрелил.

Эмма Цунц

Четырнадцатого января 1922 года Эмма Цунц, вернувшись с ткацкой фабрики Тарбуха и Левенталья, обнаружила на полу прихожей письмо с бразильской маркой, из которого узнала, что ее отец умер. При первом взгляде марка и почтовый штемпель ввели ее в заблуждение, но незнакомый почерк сразу же насторожил. На листке бумаги оказалось всего восемь или десять корявых строчек; Эмма прочитала, что сеньор Майер по ошибке принял слишком большую дозу веронала и скончался третьего января в больнице Баже. Сообщение было подписано соседом отца по палате, неким Фейном или Файлом из Риу-Гранди, который не подозревал, что обращается к дочери умершего. Эмма выронила письмо. Она чувствовала дурноту, ноги подкашивались, затем пришло ощущение безответной вины и нереальности происходящего, ее охватил холод и страх, затем ей захотелось, чтобы уже настало завтра. Но она тут же поняла, что это желание тщетно, потому что смерть отца была и останется впредь единственным событием в мире. Эмма подобрала листок и пошла к себе в комнату. Она спрятала письмо, словно предчувствуя, как повернутся события. Может быть, она начинала смутно догадываться о них, о том, что с ней станет. В сгущающихся сумерках Эмма до самой ночи оплакивала самоубийство Мануэля Майера, который в давние счастливые дни носил имя Эммануэль Цунц. Эмма вспоминала летнее время в загородном доме неподалеку от Гуалегуая, вспоминала (вернее, пыталась вспомнить) мать, вспоминала ломик в Ланусе, который пошел с молотка, желтые ромбы оконного стекла, вспоминала тюремный автомобиль, постигшее их бесчестье, наглые анонимки, разоблачавшие «растратчика-кассира», вспоминала (хотя и не забывала этого никогда), как отец в последний вечер поклялся ей, что вор — Левенталь. Левенталь — Аарон Левенталь, в прежние времена управляющий фабрики, а теперь ее совладелец. Эмма хранила тайну шесть лет. Она не поделилась ею ни с кем, даже со своей лучшей подругой Эльзой Урштейн. Может быть, она боялась оскорбительного недоверия; может быть, ей верилось, что тайна связывает ее с отцом. Левенталь не подозревал, что она знает; это ничтожное обстоятельство давало Эмме ощущение силы. Она не спала всю ночь, и к тому времени, как забрезжила заря, осветлив прямоугольник окна, у нее сложился план. Она сделала все, чтобы казавшийся бесконечным день ничем не отличался от обычного. На фабрике шли разговоры о забастовке; Эмма, как всегда, высказалась против любых насильственных действий. В шесть часов, закончив работу, она отправилась с Эльзой в женский клуб, чтобы записаться на занятия в гимнастическом зале и бассейне. Ей пришлось повторять и произносить по буквам свое имя и фамилию, пришлось выслушивать пошлые шутки, которыми сопровождалась эта процедура. Вместе с Эльзой и младшей из сестер Кронфусс они договорились, в какой кинотеатр пойдут в воскресенье вечером. Потом зашел разговор о кавалерах, Эмма не принимала в нем участия, но никто этого от нее и не ждал. В апреле ей исполнилось девятнадцать, но мужчины до сих пор вызывали у нее почти патологический страх... Вернувшись домой, она приготовила суп из тапиоки и немного овощей, рано поужинала, легла и заставила себя заснуть. Так, в работе, обыденно прошла пятница, пятнадцатое, день накануне. В субботу ее разбудило нетерпение. Нетерпение, а не тревога, и какое-то облегчение при мысли, что этот день наконец настал. Не нужно было ничего задумывать, ничего воображать; через несколько часов ей предстоит самое простое — действия. Она прочитала в газете «Пренса», что «Нордштьернан» из Мальме выходит в море сегодня ночью из дока номер три; позвонила Левенталю и намекнула, что хотела бы рассказать ему тайком от всех кое-что о забастовке, и пообещала прийти в контору, когда стемнеет. Голос Эммы дрожал, что выдавало доносчицу. Больше ничего знаменательного в то утро не произошло. Эмма проработала до двенадцати,

затем поговорила с Эльзой и Перлой Кронфусс о подробностях предстоящей воскресной прогулки. После обеда она прилегла и с закрытыми глазами повторила про себя составленный план. Подумала, что конец будет менее ужасен, чем начало, и даст ей почувствовать вкус победы и справедливости. Вдруг она в тревоге вскочила и подбежала к комоду. Открыла ящик; под фотографией Милтона Силлса, там, куда она сунула его позавчера, лежало письмо Файна. Никто не должен его увидеть; она принялась перечитывать его и разорвала. Пытаться хоть в какой-то мере соотнести все случившееся тем вечером с реальностью трудно и, может быть, напрасно. Событиям чудовищным присуща ирреальность; ирреальность, которая, кажется, смягчает их ужас, а иной раз — усиливает. Как сделать правдоподобным поступок, в который почти не верит та, что совершила его? Как восстановить ту сумятицу, которую сегодня память Эммы отторгает, которая приводит ее в замешательство? Эмма жила в квартале Альмагро, на улице Линьерса; нам известно, что ближе к вечеру она направилась к порту. Возможно, на печально известной Пасео де Хулио она увидела себя отраженной во множестве зеркал, освещенной огнями, раздеваемой жадными взглядами, но, скорее всего, сначала она блуждала незамеченной в равнодушной толпе... Она заглянула в два или три бара, понаблюдала уловки и хитрости других женщин. Наконец встретила людей с «Нордштёрна». Того, что был помоложе, она отвергла, боясь, что он может пробудить в ней какую-то нежность, и остановила свой выбор на другом, мужлане, чуть ли не ниже ее ростом, — чтобы ужас предстоящего не потерял остроты, не был смягчен ничем. Он повел ее в ворота, потом в темный подъезд, по крутой лестнице, потом в прихожую (где было окно с такими же ромбами, как в их домике в Ланусе) и по коридору в комнату; дверь за ними захлопнулась. Тяжкие события существуют вне времени, потому что словно отсекают недавнее прошлое от будущего и потому что кажутся разъятыми на части, не слагаются в целое. Подумала ли Эмма Цунц в какое-то мгновение этого безвременья, в сумятице отрывочных, невыносимых ощущений хоть один — единственный раз об умершем, ради которого была принесена эта жертва? Мне кажется, подумала, и в этот момент ее отчаянный замысел оказался под угрозой. Подумала (не могла не подумать), что отец совершал с ее матерью то страшное, что совершают с ней сейчас. Она подумала об этом с неким удивлением и тут же провалилась в спасительный полубоморок. Мужчина, швед или финн, не говорил по-испански; для Эммы он был орудием, как и она для него, но она служила ему для наслаждения, а он ей — для справедливости. Оказавшись одна, Эмма не сразу открыла глаза. На столике с лампой лежали оставленные мужчиной деньги. Эмма привстала и разорвала их, как прежде разорвала письмо. Рвать деньги грешно, все равно что бросать хлеб на землю; сделав это, Эмма тут же почувствовала раскаяние. Проявить гордыню в такой день... Страх растворился в физической боли, в отвращении. Отвращение и боль нарастали, но Эмма медленно встала и принялась одеваться. Все в комнате казалось померкшим; за окном темнело. Эмме удалось выйти незамеченной; на углу она села в трамвай, который шел в западный район. В соответствии со своим планом она выбрала переднее сиденье, чтобы никто не видел ее лица. Во время этой обычной поездки по городу она убедилась, что из-за случившегося мир не рухнул; возможно, это придало ей сил. Она ехала мимо запущенных печальных кварталов, замечая и тут же забывая их, и вышла из трамвая у одного из переулков, прилегавших к улице Уорнеса. Удивительным образом изнеможение Эммы обернулось ее силой, вынуждая сосредоточиться на деталях предстоящего и не думать о его сути и цели. Аарон Левенталь, по общему мнению, был человеком солидным, а по мнению немногих близких, скрягой. Он обитал один на верхнем этаже фабричного здания. Живя в захудалом пригороде, он опасался воров и держал во дворе фабрики огромного пса, а в ящике письменного стола хранил револьвер, о чем было известно всем и каждому. В прошлом году он благопристойно оплакал неожиданную кончину жены — урожденной Гаусс, принесшей ему порядочное приданое! — но истинной его страстью были деньги. Он сознавал, что способен скорее копить деньги, чем зарабатывать их, и в тайне стыдился этого. Он был очень религиозен; он верил, что заключил с Богом тайный договор, который позволяет Сходиться молитвами и благочестием, не требуя от него добропорядочности. Лысый, рыжебородый, тучный, с дымчатым пенсне на носу, одетый в траур, он стоял у окна в ожидании конфиденциального сообщения работницы Цунц. Он увидел, как она толкает ворота (которые он специально оставил незапертыми) и идет по темному двору. Увидел, как она обходит рвущегося на цепи пса. Губы Эммы шевелились, словно она потихоньку молилась; они упрямо повторяли фразу, которую сеньор Левенталь услышит перед смертью. Все получилось не так, как предполагала Эмма. Со вчерашнего утра она не раз представляла себе, как направит на него мощный револьвер, вынудив мерзавца признаться в своей мерзкой вине, и откроет ему свой смелый маневр, который позволит высшей справедливости восторжествовать над справедливостью людской. (Не от страха, а лишь оттого, что Эмма сознавала себя орудием справедливости, она не хотела понести наказание.) Затем — единственная пуля в грудь скрепит печатью судьбу Левенталья. Но все получилось не так. Увидев Аарона Левенталья, Эмма ощутила желание более сильное, чем стремление отомстить за отца, более безотлагательное — покарать этого человека за поругание, которому она подверглась из-за него. Она не могла не убить его после пережитого позора. Да и времени разыгрывать спектакль у нее не было. Она робко села, попросила извинения у Левенталья, сослалась (как и подобает доносчице) на свой долг и преданность, назвала какие-то имена, намекнула на несколько других и замолчала, словно испугавшись. Попросила Левенталья принести стакан воды. Когда Левенталь, не очень веря в эти капризы, но снисходя к ним, вернулся из столовой, Эмма уже извлекла из ящика увесистый револьвер. Она дважды нажала на спусковой крючок. Грузное тело рухнуло, словно звук выстрелов и дым разорвали его, стакан разбился, лицо глядело на нее гневно и удивленно, рот изрыгал испанские и еврейские ругательства. Брань не умолкала, и Эмме пришлось выстрелить еще раз. Во дворе цепной пес заходился лаем; вдруг кровь хлынула из сыпавших ругательствами губ, пятная бороду и одежду.

Эмма начала произносить заготовленное обвинение («Я отомстила за отца, и меня не за что карать...»), но не закончила, потому что сеньор Левенталь был мертв. Она так и не узнала, удалось ли ему понять хоть что-то. Злобный лай напомнил ей, что нельзя терять времени. Она разворошила диван, расстегнула одежду на трупе, подняла забрызганное пенсне и положила на картотеку. Затем взяла телефонную трубку и повторила то, что столько раз повторяла про себя, этими же или другими словами: «Произошло невероятное... Сеньор Левенталь попросил меня прийти под предлогом забастовки... Он изнасиловал меня, я его убила...» История, действительно, невероятная, но в нее поверили все, поскольку, по сути, она была правдивой. В тоне рассказа Эммы Цунц звучала правда, правдой было ее целомудрие, правдой — ненависть. Правдой было и поругание, которому она подверглась; не соответствовали истине лишь обстоятельства, время и одно-два имени.

Я еврей

Перевод Б. Дубина

Как друзья и луна, как смерть и прошлая неделя, далекое прошлое -- из тех вещей, глубина которых измеряется нашим незнанием. Его мягкость и предупредительность не знают границ; оно, в отличие от будущего, всегда готово к услугам, а хлопот сулит куда меньше. Понятно, что прошлое -- заповедник любых мифологий.

Кто хотя бы однажды не забавлялся поисками собственных предков, не воображал себе предысторию родных и близких? Я забавлялся этим неоднократно и всякий раз испытывал удовольствие, представляя себя евреем. Речь всего лишь о выдумке, о мысленном приключении тихони и домоседа, которое ведь не задевает никого и меньше других -- репутацию Израиля, поскольку мое иудейство, подобно песням Мендельсона, остается музыкой без слов. Тем не менее журнал "Тигель" решил увековечить мою обращенную в прошлое надежду, объявив миру о "коварно скрываемых" мною еврейских корнях (подобное причастие, да еще вкупе с наречием, не может оставить писателя равнодушным).

Мое полное имя -- Борхес Асеведо. В одном из примечаний к главе пятнадцатой своей книги "Росас и его эпоха" Рамос Мехия перечисляет буэнос-айресские семейства того времени, доказывая, что все или почти все они "ведут происхождение от португальских евреев". В списке есть и фамилия Асеведо: таков единственный документ в поддержку моих семитофильских притязаний (точнее, он был единственным до торжественного посвящения на страницах "Тигля"). Тем не менее капитан Онорио Асеведо предался соответствующим разысканиям, о результатах которых мне вряд ли дадут умолчать. Из них следует, что первым из Асеведо на латиноамериканский континент ступил каталонец дон Педро де Асеведо, землевладелец, около 1728 года пустивший корни в Паго де лос Аройос, отец и дед скотоводов этого края, почетный гражданин, фигурирующий в анналах одного из приходов Санта-Фе и в документах времен вице-королевства, -- то бишь предок, увы, из неисправимых испанцев.

Два столетия не смогли придать ему иудейское происхождение, два столетия ничья рука не тревожила его памяти.

Я благодарен журналу "Тигель", подвигнувшему меня на эти розыски, но теперь у меня еще меньше надежд включить в свою родословную Жертвенник всежожения, Медное море, Генриха Гейне, Глейзера и десять праведников, Екклесиаста и Чарли Чаплина.

Говоря языком статистики, евреи весьма немногочисленны. Что бы мы сказали о человеке, в четырехтысячном году открывшем, что отовсюду окружен выходцами из провинции Сан-Хуан? Наши изобличители упорно ищут чужие корни среди евреев, но никогда -- среди финикийцев, нумидийцев, скифов, вавилонян, персов, египтян, гуннов, вандалов, остроготов, эфиопов, иллирийцев, пафлагонцев, сарматов, мидийцев, оттоманцев, берберов, британцев, ливийцев, циклопов и лапифов. Ночи Александрии, Вавилона, Карфагена или Мемфиса никогда не подарят тебе предка: это способность оставлена лишь племенам смолистого Мертвого моря

Тайное чудо

И умертвил его Аллах на сто лет, потом воскресил сказал: «Сколько ты пробыл?» Тот ответил: «День или часть дня». Коран, II, 261

Проживающему в Праге на Цельнтергассе Яромиру Хладуку, автору неоконченной драмы «Враги», труда «Опровержение вечности» — исследования об иудейских рукописях, косвенно повлиявших на Якоба Беме, приснилась в ночь на четырнадцатое марта 1939 года долгая шахматная партия. Первенство оспаривали не два шахматиста, а два знатных рода; игра длилась века; сумму награды никто уже не помнил, однако ходили слухи, что она огромна, даже неисчислима; доска с фигурами была установлена в тайной башне. Яромир (во сне) оказался первенцем одного из враждующих родов. Звон часов отмечал время каждого хода; сновидец бежал под дождем по песку пустыни, тщетно припомнить правила игры и назначение фигур. Хладик проснулся. Шум дождя и звон ужасных часов исчезли. С улицы доносился ровный неумолкающий гул, перекрываемый словами команды. Светало. Бронированный авангард третьей империи входил в Прагу. Девятнадцатого поступил донос, девятнадцатого же вечером

Яромира арестовали. Водворили в хирургически чистую комнату на том берегу Влтавы. Предъявленные обвинения были неопровержимы: фамилия по матери — Ярославски, в жилах течет еврейская кровь, еврействующая работа о Беме, на последнем протесте против Аншлюса красуется его подпись. В 1928 году он перевел «Сефер Йецира» для издательства Германа Барнсдорфа. Рекламный каталог в коммерческих интересах раздул реноме переводчика. Этот-то каталог и попался на глаза Юлиусу Роте, гестаповцу, в чьих руках находилась судьба Хладика. Нет человека, который (вне рамок своей профессии) не был бы легковверным. Несколько восторженных эпитетов, напечатанных готическим шрифтом, оказалось достаточно, чтобы убедить Юлиуса Роте в незаурядности Хладика и приговорить обвиняемого к смерти *pour encourager les autres*[23]. Казнь назначили на девять утра двадцать девятого. Эта отсрочка (важность ее читатель еще поймет) вызывалась стремлением уподобиться в административной размеренности и беспристрастности планетам и растениям. Вначале Хладик ощутил только ужас. Он подумал, что виселица, удушение, обезглавливание не утешали бы его, но расстрел казался невыносимым. Напрасно он внушал себе, что страшна лишь сама смерть, а не ее конкретные обстоятельства. Он неустанно представлял себе эти обстоятельства в нелепой надежде исчерпать их. Бессчетное число раз мысленно проходил весь путь от предутренней бессоницы до мистического зала. И до срока, назначенного Юлиусом Роте, умирал сотнями смертей во дворах, чьи формы и углы утомили бы даже геометрию. Его расстреливали разные солдаты; иногда издали, иногда в упор; число солдат тоже было разным. Хладик встречал эти воображаемые казни с подлинным страхом (а, может, с подлинным мужеством). Каждое видение длилось несколько секунд. Круг замыкался, и Яромир, трепеща, вновь возвращался в преддверие своей смерти. Потом он подумал, что действительность обычно не оправдывает предчувствий, и, следуя извращенной логике, заключил, что если воображать подробности, они не сбудутся. Подчинившись этой убогой магии, стал измышлять ужасы, чтобы они не свершились; окончилось, естественно, тем, что увидел в них пророчество. По ночам несчастный пытался хоть как-то удержаться в ускользающей субстанции времени — знал, что оно стремится к рассвету двадцать девятого. «Сейчас ночь на двадцать второе, — рассуждал он вслух, — покуда длится эта ночь (и шесть последующих), я неуязвим и бессмертен». Открыл, что сны — это глубокие темные воды, в которые можно погрузиться. И порой уже с нетерпением ждал казни — по крайней мере она избавит его от бесплодного труда воображать. Двадцать восьмого, когда последний закат отсвечивал на высоких решетках, Хладик отвлекся от этих унижительных мыслей, вспомнив о своей пьесе «Враги». Хладик было за сорок. Если не считать нескольких друзей и множества привычек, его жизнь составляла весьма проблематичное занятие литературой. Подобно всякому писателю, он судил о других по их произведениям, но хотел, чтобы о нем судили по замыслам. Собственные книги вызывали в Хладике горькое чувство неудовлетворенности: в своих работах о Беме, Ибн-Эзре и Фладде он видел всего лишь прилежание. В переводе «Сефер Йецира» — небрежность, вялость, неточность. И лишь к «Опровержению вечности» был снисходительнее: в первом томе прослеживалась история различных теорий вечности, от вечного до неизменного бытия Парменида до модифицирующегося прошлого Хинтона. Во втором, вслед за Френсисом Бредли, отрицалась мысль о том, что все явления Вселенной можно измерить во времени, и доказывалось, что число возможных вариантов человеческого опыта не бесконечно, и достаточно одного «повторения», чтобы понять: время — обман... К сожалению, не менее ложны и доказательства этого обмана. С какой-то презрительной неловкостью вспоминал их Хладик. Он написал еще цикл экспрессионистских стихотворений, которые — увы! — вошли в одну из антологий 1924 года, и каждая последующая обязательно их воспроизводила. Из всего этого бесцветного и пустого прошлого хотелось оставить лишь «Врагов» — драму в стихах (Хладик предпочитал стихи, так как они не дают зрителю забыть о вымысле, без которого нет искусства). В драме соблюдались три единства: место действия — Градчаны, библиотека барона Ремерштадта, время — один из вечеров на исходе 19-го века. В первой сцене в замок являлся незнакомец (часы бьют семь, последние неистовые лучи воспаляют стекла, ветер доносит знакомые звуки браваурной венгерской мелодии). Следуют другие визиты; барон не знает, кто эти докучные гости, но у него тревожное чувство, будто он их уже видел — возможно, во сне. Все безудержно ему льстят, но постепенно становится ясно, сперва зрителям, потом самому барону, — что это тайные враги, сговорившиеся его уничтожить. Ремерштадту удается расстроить и высмеять их сложную интригу. Заходит речь о его невесте, Юлии де Вейденау, и некоем Ярославе Кубине, который когда-то докучал ей своей любовью — этот Кубин будто бы впал в безумие и воображает себя бароном Ремерштадтом... Опасности нарастают. В конце второго акта барон вынужден убить одного из заговорщиков. Начинается третий акт, последний. Несообразности множатся; вновь появляются персонажи, которые, казалось, уже вышли из игры, — например, человек, убитый Ремерштадтом, возвращается. Кое-кто замечает, что время остановилось: на часах по-прежнему семь, в стеклах — закатные лучи, доносится браваурная венгерская музыка. Появляется первый гость и повторяет свои слова из первой сцены первого акта. Барон отвечает ему, не удивляясь. Зритель понимает, что барон и есть несчастный Ярослав Кубин. Никакой драмы не было. Это круговорот бреда, в котором Кубин постоянно пребывает. Хладик никогда не спрашивал себя, была ли эта трагикомедия ошибок безделкой или шедевром, набором случайностей или цепью последовательно связанных явлений. «В контурах драмы, которые я набросал, чувствовалась не только изобретательность, способная скрыть недостатки и блеснуть достоинствами, здесь была попытка в символической манере выразить свое основное в жизни». Хладик закончил первый акт и часть третьего; стихотворная форма позволяла ему, воспроизводя в памяти гекзаметры, видеть текст, не имея перед глазами рукописи. Хладик подумал, что скоро умрет, а еще двух актов не хватает. Во тьме он обратился к Богу: «Если я не одна из Твоих ошибок и повторений, если я существую на самом деле, то существую лишь как автор

„Врагов“. Чтобы окончить драму, которая будет оправданием мне и Тебе, прошу еще год. Ты, что владеешь временем и вечностью, дай мне этот год!» Наступила последняя ночь, самая страшная, но через десять минут сон затопил его, как темная вода. Под утро ему приснилось, что он блуждает в коридорах библиотеки Клементинума. Библиотекарь в черных очках спросил его: «Что вы ищете?» «Бога», — ответил Хладик. Библиотекарь сказал: «Бог находится в одной из букв одной из страниц одной из четырехсот тысяч книг библиотеки. Мои отцы и отцы моих отцов искали эту букву; и я сам ослеп в поисках ее». Он снял очки, и Хладик увидел мертвые глаза. Какой-то читатель вошел, чтобы вернуть атлас. «Этот атлас бесполезен», — сказал он и отдал его Хладиду. Тот раскрыл наугад и увидел карту Индии. И с неожиданной уверенностью, чувствуя, что земля уходит из-под ног, коснулся одной из маленьких букв. Раздался голос: «Время для твоей работы дано». Здесь Хладик проснулся. Он вспомнил, что сны посылаются человеку небом. И, как утверждает Маймонид, если слова в сновидении ясны и отчетливы, а говорящего не видно, значит, произносит их Бог. Потом оделся, в камеру вошли два солдата и велели следовать за ними. Хладик предполагал, что за дверью лабиринт переходов, лестниц и комнат. Действительность оказалась более скромной — они спустились по железным ступеням во дворик. Группа солдат — некоторые в расстегнутых мундирах — переговаривались, осматривая мотоцикл. Сержант взглянул на часы — восемь сорок четыре. Предстояло ждать до девяти. Хладик, чувствуя себя скорее ненужным, чем несчастным, присел на поленницу. Заметил, что солдаты избегают смотреть на него. Чтоб скрасить ожидание, сержант протянул ему сигарету. Хладик не курил, но взял — то ли из вежливости, то ли из смирения. Прикуривая, он увидел, что пальцы дрожат. Стало пасмурно. Солдаты говорили тихо, словно при покойнике. Хладик тщетно пытался припомнить женщину, которую изобразил в Юлии Вейденау... Солдаты построились. Хладик, став у стены казармы, ожидал залпа. Кого-то обеспокоило, что кровь может замарать стену. Осужденному приказали сделать несколько шагов вперед. Нелепо, но это напоминало Хладиду приготовления фотографов перед съемкой. На висок ему упала тяжелая капля дождя и медленно поползла по щеке. Сержант выкрикнул слово команды. И тут окружающий мир замер. Винтовки были направлены на Хладика, но люди, которые должны были убить его, не шевелились. Рука сержанта окаменела в незавершенном жесте. На каменной плите застыла тень летящей пчелы. Ветер тоже замер, словно на картине. Хладик пытался крикнуть, шепнуть, двинуть рукой. И понял, что парализован. Ни единого звука не доходило из оцепеневшего мира. Он подумал: «Я мертв, я в аду». Потом: «Я сошел с ума». Потом: «Время остановилось». Затем сообразил, что в таком случае мысль его тоже должна остановиться. Решил проверить: повторил (не шевеля губами) загадочную эклогу Вергилия. Быть может, с отодвинувшимися куда-то солдатами происходит то же самое? Захотелось спросить у них. Странно, но усталость прошла, не кружилась голова после долгой неподвижности. Через какое-то время он заснул. Проснувшись, нашел мир таким же неподвижным и беззвучным. На щеке была та же капля, на плите — тень от пчелы, дымок брошенной им сигареты так и не растаял. Прошел еще «день», прежде чем Хладик понял: он просил у Бога целый год для окончания драмы — всемогущий отпустил ему этот год. Господь совершил для него тайное чудо: немецкая пуля убьет его в назначенный срок, но целый год протечет в его сознании между командой и ее исполнением. От растерянности Хладик перешел к изумлению, от изумления — к смирению, от смирения — к внезапной благодарности. Он мог рассчитывать только на свою память: запоминание каждого нового гекзаметра придавало ему счастливое ощущение строгости, о которой не подозревали те, что находят и тут же забывают случайные строки. Он трудился не для потомства, даже не для Бога, чьи литературные вкусы были ему неведомы. Неподвижный, затаившийся, он прилежно строил свой незримый совершенный лабиринт. Дважды переделал третий акт. Выбросил слишком очевидную символику — бой часов, музыку. Ничто ему не мешало. Он опускал, сокращал, расширял. Иногда останавливался на первоначальном варианте. Ему стали нравиться дворик, казарма; лицо одного из солдат изменило представление о характере Ремерштадта. Он обнаружил, что пресловутые какофонии, так тревожившие Флобера, — явления визуального порядка, недостатки и слабости слова написанного, а не звучащего... Он закончил свою драму. Не хватало лишь одного эпитета. Нашел его. Капля покапала по щеке. Хладик коротко вскрикнул, дернул головой, четыре пули опрокинули его на землю. Яромир Хладик умер двадцать девятого марта в девять часов две минуты утра.

Deutsches Requiem

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться.
Иов. 13: 15

Меня зовут Отто Дитрих цур Линде. Один из моих предков, Кристоф цур Линде, пал в кавалерийской атаке, решившей победный исход боя при Цорндорфе. Прадед с материнской стороны, Ульрих Форкель, погиб в Маршенуарском лесу от пули французского ополченца в последние дни 1870 года. Капитан Дитрих цур Линде, мой отец, в 1914-м отличился под Намюром, а двумя годами позже — при форсировании Дуная¹. Что до меня, я буду расстрелян как изверг и палач. Суд высказался по этому поводу с исчерпывающей прямоотой, я с самого начала признал себя виновным. Утром, лишь только тюремные часы пробьют девять, я вступлю во врата смерти; естественно, я думаю сейчас о своих предках, ведь я уже почти рядом с их тенями, в известном смысле я и есть они.

Пока — к счастью, недолго — шел суд, я не произнес ни слова; оправдываться тогда значило бы оттягивать приговор и могло показаться трусостью. Теперь — другое дело: ночью накануне казни можно говорить, ничего не опасаясь. Я не мечтаю о прощении, поскольку не чувствую за собой вины, — я всего лишь хочу быть понят. Тот, кто сумеет услышать меня, поймет историю Германии и будущее мира. Убежден: такие судьбы, как моя, непривычные и поразительные сегодня, завтра превратятся в общее место. Утром я умру, но останусь символом грядущих поколений.

Я родился в 1908 году в Мариенбурге. Две теперь уже почти угасшие страсти — музыка и метафизика — помогли мне с достоинством и даже торжеством перенести самые мрачные годы. Не сумею перечислить всех, кому признателен, но о двоих умолчать не вправе. Это Брамс и Шопенгауэр. Многим обязан я и поэзии: прибавлю к названным еще одно широко известное германское имя — Вильям Шекспир. Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической науки (и христианской веры как таковой) меня навсегда отвадили Шопенгауэр — с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс — неисчерпаемым разнообразием своих миров. Пусть же тот, кто, дрожа от любви и благодарности, замрет, потрясенный, над тем или иным пассажем в сочинениях этих счастливых, знает, что и я, мерзостный, тоже замирал над ними.

Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и Шпенглер. Один автор XVIII века² считает, что мало кому по нраву быть должником своих современников; чтобы освободиться от гнетущего влияния, я написал статью под названием «Abrechnung mit Spengler»³, в которой отметил, что самое последовательное воплощение гех черт, которые этот литератор именует фаустианскими, — не путаная драма Гёте⁴, а созданная за двадцать вею нее поэма «De rerum natura»⁵. Тем не менее я воздал должное откровенности историософа, его истинно немецкому (kerndeutsch) воинственному духу. В 1929 году я вступил в Партию.

Не стану задерживаться на годах моего учения. Они мне достались тяжелее, чем многим: не лишенный твердости характера, я не создан для насилия. Однако я понял, что мы стоим на пороге новых времен и эти времена, как некогда начальные эпохи ислама или христианства, требуют людей нового типа. Лично мне мои сотоварищи внушали только отвращение, и напрасно я уверял себя, будто ради высокой, объединившей нас цели мы обязаны жертвовать всем личным.

Богословы утверждают, что, стоит Господу на миг оставить попечение хотя бы вот об этой моей пищащей руке, и она тут же обратится в ничто, словно вспыхнув незримым огнем. Никто, добавлю я, не смог бы существовать, никто не сумел бы выпить воды или отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан⁶. Для каждого это оправдание свое: я жил, ожидая беспощадной войны, которая утвердит нашу веру. И мне было достаточно знать свое место — место простого солдата этих грядущих битв. Я только боялся порой, что из-за трусости Англии или России все рухнет. Случай — или судьба? — соткали мне иное будущее: вечером первого марта 1939 года в Тильзите разразились беспорядки, о которых не упоминали газеты; в улочке за синагогой мне двумя пулями раздробило бедро, которое пришлось ампутировать⁷. Через несколько дней наши войска вступили в Богемию; когда об этом объявили сирены,

¹ Примечательно, что рассказчик не упоминает самого известную из своих предков — теолога и гебраиста Иоханнеса Форкеля (1799–1846), применившего гегелевскую диалектику к исследованию христианства, чьи переводы нескольких апокрифов вызвали критику Хенгстенберга и одобрение Тило и Гезениуса. — *Прим. публикатора.*

² Речь идет о Сэмюэле Джонсоне.

³ «Расплата со Шпенглером» (нем.).

⁴ Иные нации живут в полной невинности, в себе и для себя, подобно минералам или метеорам; Германия — это всеобъемлющее зеркало вселенной, сознание мира (Weltbewusstsein). Гёте — прототип нашей вселенской отзывчивости. Я не критикую его, но при всем желании не узнаю в нем фаустианского человека модели Шпенглера.

⁵ «De rerum natura» — «О природе вещей», натурфилософское сочинение энциклопедического характера Тита Лукреция Кара.

⁶ возможная контаминация библейских цитат в духе протестантской доктрины изначального предопределения. Ср.: «От Господа направляется шаг наш» (Притч. 20:24); «Исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2:13).

⁷ Есть сведения, что последствия этого ранения были куда серьезней. — *Прим. публикатора*

я полусидел на госпитальной койке, пытаюсь потонуть и забыться в томике Шопенгауэра. Символ моей бесплодной судьбы, на подоконнике дремал огромный пушистый кот.

Я перечитывал то место в первом томе⁸ «Parerga und Paralipomena», где сказано: все, что может приключиться с человеком от рождения до смерти, предрешено им самим. Поэтому всякое неведение — сознательное, всякая случайная встреча — свидание, всякое унижение — раскаяние, всякий крах — тайное торжество, всякая смерть — самоубийство. Ничто так не утешает, как мысль, будто наши несчастья добровольны; эта индивидуальная телеология обнаруживает в мире подспудный порядок и чудесно сближает нас с богами. Какой неведомый предлог (ломал я голову) заставил меня искать в тот вечер пули и увечья? Не страх перед боем, нет; уверен, причина глубже. В конце концов я, кажется, понял. Погибнуть за веру легче, нежели жить ею одною; сражаться с хищниками в Эфесе не так тяжело (ведь столько безымянных мучеников прошли через это!), как стать Павлом, слугой Иисусу Христу; поступок короче человеческого века. Битва и победа — своего рода льготы; быть Наполеоном проще, чем Раскольниковым. Седьмого февраля 1941 года меня назначили заместителем начальника концентрационного лагеря в Тарновицах.

Служба не доставляла мне радости, но я исполнял свой долг. Трус проверяется под огнем; милосердие и жалость ищут темниц и чужой боли. По сути, нацизм — моральное учение, призывающее совлечь с себя прогнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую. В бою, под окрик командиров и общий рев, это превращение испытывает каждый; иное дело — отвратный застеноч, где предательская жалость искушает нас давно забытой любовью. Я не случайно пишу эти слова: жалость высшего — последний грех Заратустры⁹. И я, признаюсь, почти совершил его, когда к нам перевели из Бреслау известного поэта Давида Иерусалема.

Это был мужчина лет пятидесяти. Обойденный благами этого мира, гонимый, униженный и поруганный, он посвятил свой дар воспеванию счастья. Помнится, Альберт Зёргель в книге «Dichtung der Zeit»¹⁰ сравнил его с Уитменом. Сближение не слишком удачное: Уитмен славит мир наперед, оптом, почти безучастно; Иерусалем радуется каждой мелочи со страстью ювелира. Он никогда не впадает в перечисление, в каталогизацию. Я и сегодня могу строка за строкой повторить гексаметры его великолепного стихотворения «Живописец Цзы Ян, мастер тигров», чьи стихи напоминают разводы тигриной шкуры и полнятся неисчислимыми и безмолвными пересекающимися их тиграми. Не забыть мне и монолога «Розенкранц беседует с ангелом», где лондонский процент-шик XVI века пытается на смертном одре вымолить себе отпущение грехов и не знает, что втайне оправдан, внушив одному из клиентов (которого он и видел-то раз и, конечно, не помнит) образ Шейлока. Мужчина с незабываемыми глазами, пепельным лицом и почти черной бородой, Давид Иерусалем выглядел типичным сефардом¹¹, хоть и принадлежал к ничтожным и бесправным ашкенази. Я был с ним строг, не поддаваясь ни сочувствию, ни уважению к его славе. Я давно понял, что адом может стать все: лицо, слово, компас, марка сигарет в состоянии свести с ума, если нет сил вычеркнуть их из памяти. Разве не безумен тот, кто днем и ночью видит перед собой карту Венгрии? Я применил этот принцип к дисциплинарному режиму в нашем лагере и...¹² К концу 1942 года Иерусалем сошел с ума, первого марта 1943-го он покончил с собой¹³.

Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, чтобы убить в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым.

А над нами проносились великие дни и великие ночи военных удач. Мы вдыхали воздух, пьянивший, как любовь. Сердце замирало от ужаса и восторга, словно захлестнутое прибоем. Все в ту пору было иным, новым, даже сны. (Может быть, я просто никогда не знал настоящего счастья, а бедам, как известно, нужен потерянный рай.) Не было тогда человека, который не вбирал бы жизнь полной грудью, дорожа всем, что только способен вместить и перечувствовать; и не было тех, кто не страшился бы потерять это бесценное сокровище. Но моему поколению предстояло пережить все: сначала — победу, потом — гибель.

В октябре — ноябре 1942 года во втором бою у Эль Аламейна пал в египетских песках мой брат Фридрих; несколько месяцев спустя воздушный налет стер с лица земли наш родовой особняк, другой, в конце 1943-го, — мою лабораторию. Осажденный всем миром, погибал Третий Рейх: он был один против всех и все — против него. И тогда случилось то, что я, кажется, осознал только теперь. Я верил, будто способен испить чашу гнева, но обнаружил

⁸ Шопенгауэр. Parerga und Paralipomena (§ 177. С. 332 и далее).

⁹ Ницше. Так говорил Заратустра. Ч. IV. Гл. «Знамение» (Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 237).

¹⁰ Здесь: «Современная поэзия» (нем.)

¹¹ Так называли испанских евреев, изгнанных в 1492 г. из Испании по приказу католических королей; «Сефард» по-еврейски означает «Испания».

¹² Здесь мы вынуждены опустить несколько строк. — Прим. публикатора.

¹³ Ни в архивах, ни в печатных трудах Зёргеля имени Иерусалема не встречается. Нет его в историях немецкой литературы. Не думаю, однако, что этот герой вымышлен. По приказу Отто Дитриха цур Линде были казнены многие интеллектуалы еврейского происхождения, среди них — пианистка Эмма Розенцвейг. «Давид Иерусалем», вероятно, символ многочисленных судеб. Сказано, что он погиб первого марта 1943 года; как помним, первого марта 1939-го рассказчик был ранен в Тильзите. — Прим. публикатора.

на дне неожиданный вкус — странный, почти пугающий вкус счастья. «Я рад поражению, — думалось мне, — потому что конец близок и у меня уже нет больше сил». «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку оно настало, поскольку им проникнуто все, что есть, было и будет, поскольку исправлять или оплакивать случившееся — значит покушаться на ход вещей». Я перебирал эти объяснения, пока не пришел к единственно верному.

Давно сказано, что люди рождаются на свет последователями либо Аристотеля, либо Платона¹⁴. Иными словами, всякий спор на более или менее отвлеченную тему входит в давнюю и бесконечную полемику Аристотеля и Платона; через века и пространства сменяются имена, наречия, лица, но не извечные противники. Эта скрытая преемственность лежит и в истории народов. Громя в болотной грязи легионы Вара, Арминий не знал, что становится предшественником Германской империи; переводя Библию, Лютер не подозревал, что выковывает народ, который уничтожит Библию навсегда; достигнутый русской пулей в 1758 году, Кристоф цур Линде в каком-то смысле предвозвестил наши победы в 1914-м. Гитлер считал, что сражается ради одной страны, а сражался во имя всех, даже тех, кого преследовал и ненавидел. И неважно, что сам он об этом не догадывался: это знала его кровь, его воля. Мир погибал от засилья евреев и порожденного ими недуга — веры в Христа; мы привили ему беспощадность и веру в меч. Теперь этот меч обратился против нас, и мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака и обрекшему его на смерть, но вдруг в озарении слышащему: «Этот человек — ты». Многого нужно разрушить, чтобы воздвигнуть новый порядок; теперь мы знаем, что среди этого многого — наша Германия. Мы пожертвовали не просто жизнью: мы пожертвовали судьбой любимой отчизны. Пусть другие клянут и плачут; моя радость в том, что наша жертва не знает пределов и не имеет равных.

Сегодня на землю нисходит безжалостная эпоха. Ее выковали мы, мы, павшие первыми. Разве дело в том, что Днглия послужит молотом, а мы — наковальней? Главное, что на земле отныне будет царить сила, а не рабий христианский страх. Если победа, неподсудность и счастье не на стороне Германии, пусть они достаются другим. Да будет благословен рай, даже если нам отведен ад.

Я всматриваюсь в зеркало, чтобы понять, кто я такой и каким стану через несколько часов перед лицом смерти. Плоть моя может содрогнуться, я — нет.

¹⁴ Автоцитата Борхеса; в эссе «От аллегорий к романам» говорится, что, по мысли Колриджа, все люди рождаются «либо аристотеликами, либо платониками... Пересекая времена и пространства, бессмертные антагонисты меняют имя и язык: первый различим в Пармениде, Платоне, Спинозе, Канте, Фрэнсисе Бредли; второй — в Гераклите, Аристотеле, Локке, Юме, Уильяме Джеймсе» (ОС, 745).

/ МАТЕРИАЛЫ К ХАНОХУ ЛЕВИНУ И ХАРМСУ

ХАНОХ ЛЕВИН

Жертва	345
Дневник слепой старухи	346
Сотворение мира	347
Мертвые вмешиваются в нашу жизнь	347
Хефец	348
Жизнь, и непростая жизнь	353
В гостинице	353
В том-то и дело, что он — не я, а ты	354
На чемоданах	356
Субботние свечи	357
Из дневника цензора	358
Сцена из сатирического ревью «Патриот» (1982), главный герой которого, пламенный сионист Лахав Эшет, мечтает уехать в Америку, чтобы там заниматься бизнесом. В последний момент его останавливают на границе и отправляют воевать в Албанию	358
Тексты песен из музыкального спектакля «Хлеб с вареньем» на стихи Ханоха Левина	360
Смертная казнь	361
Турпоездка	362
Престарелый дядя	363
Чего хочет женщина	364
Умереть на Святой земле	365

ХАРМС

Грехопадение или познание добра и зла	367
Елизавета Бам	369
Когда я вижу человека	378
Происшествие на улице	378
Басня	379
Григорьев (ударяя...)	379
Комедия города Петербурга	379
Обращение учителей к своему ученику графу Дэкону	396
Письма	397
Рыцарь	399
Судьба жены профессора	400
Связь	401
Власть	401
Победа Мышина	402
Помеха	403
Реабилитация	405
Случаи	405
Старуха	418

Жертва

Авраам: Сын мой, Ицхак, ты знаешь, что я собираюсь сейчас с тобой сделать?

Ицхак: Да, отец. Ты собираешься меня зарезать.

Авраам: Господь повелел мне.

Ицхак: У меня нет к тебе претензий, папа. Если тебе надо меня зарезать — зарежь.

Авраам: Нужно зарезать. Боюсь, выбора нет.

Ицхак: Я понимаю. Не усложняй себе жизнь. Просто вонзи в меня нож.

Авраам: Я делаю это только как посланник Господа.

Ицхак: Разумеется, как посланник, папа. Встань, как посланник, и, как посланник, вонзи нож в своего единственного сына, которого ты любил.

Авраам: Прекрасно, Ицхак, умножь ношу своего несчастного отца, создай ему подходящее настроение, как будто ему и без того не достаточно.

Ицхак: Кто умножает ношу, отец? Давай, спокойно зарежь, уничтожь одним движением отцовской руки своего бедного сына.

Авраам: Я знаю, легче всего обвинять меня. Ничего-ничего, обвиняй своего одинокого отца.

Ицхак: С чего вдруг обвинять? Ты ведь только посланник Господа, разве не так? Если Господь говорит тебе зарезать своего сына как собаку, ты обязан побежать и зарезать.

Авраам: Отлично-отлично. Это именно то, чего я заслужил в мои лета. Возложи на меня всю вину, если тебе так удобно, — на меня, на своего разбитого старого отца, который на старости лет вынужден карабкаться с тобой на гору, укладывать тебя на жертвенник, резать тебя, а потом ещё рассказать обо всём маме. Ты думаешь, мне в моём возрасте делать больше нечего?

Ицхак: Я хорошо понимаю тебя, папа. Я действительно не жалею. Тебе сказано зарезать меня, прервать собственными руками свой род, омыть руки в родной крови — я готов, пожалуйста. Зарежь, отец мой, зарежь.

Авраам: Так, дорогой сын, играют чувствами отца, который вскоре потеряет сына? Разбивай, разбивай мне сердце, воспитанный сын, почитающий родителей, смотри на меня своими большими глазами, милый сын, и укороти своему престарелому, находящемуся в безвыходном положении отцу жизнь на те последние год-два, которые ему осталось прожить после тебя.

Ицхак: Я тебя не понимаю, папа. Ты видишь, что с моей стороны всё ОК. Если ты готов хладнокровно убить меня, своего позднего ребёнка, свою отраду, сына, которого ты обрёл чудом в девяносто лет, своё единственное утешение в жизни, если ты готов, то я ли тот человек, кто скажет тебе «нет»? Говорят тебе зарезать, так марш резать, и чтоб, не дай бог, не было у тебя никаких угрызений совести. Потому что, в конце концов, что такого тут происходит? Режут ребёнка. Подумаешь, большое дело, зарезать маленького слабого ребёнка. Что вообще такое зарезать ребёнка? Что такое ребёнок? Особенно, когда тот, кто зарежет — его отец, и он Высшей Инстанцией уполномочен зарезать, да к тому же только посланник?! Встань и вонзи лезвие ножа в мою юную плоть, папочка, вспори мне горло так, чтобы хлынула кровь и забрызгала землю, как кровь барана. Сделай из меня барана, папочка, и когда мои глаза широко откроются и почти вылезут из орбит, а язык посинеет и вывалится наружу с последним прерывающимся воплем — тогда, папочка, поверни нож в моей шее, в то время как я, плоть от плоти твоей и кровь от крови твоей, буду сучить ногами на алтаре и трепетать предсмертным трепетом в последней агонии. Ну, папочка, тебе сказали зарезать — режь.

Авраам: Да, конечно. Что тут поделаешь. Я рождён быть жертвой. Я — жертва. Какую награду ты получаешь после того, как вся твоя жизнь и душа отданы детям? Плевков в лицо. Почему бы не поиграть на моей совести, если это возможно? Почему бы, причиняя безысходную скорбь, не загнать меня в преисподнюю, когда я всего-навсего пытаюсь исполнить то, что мне предназначено небом? Почему бы и нет, в сущности? Старый человек. Слабый, одной ногой стоящий в могиле. Так может быть, Ицхак, верный сын, ты у меня вообще вскочишь с жертвенника и убежишь? Может быть, ты допустишь, чтобы я бегал за тобой на моих подгибающихся старческих ногах? Или,

может, ты выхватишь у меня нож, а?! Почему бы и нет?! Может быть, ты сам возьмёшь нож и зарежешь меня?!
Зарежь, зарежь своего слабого отца. Это именно то, чего я заслуживаю.

Ицхак: Зарежь ты, сострадательный милостивый папочка, зарежь меня, праведный папочка.

Авраам: Убей отца, разбойник! Убей его!

Ицхак: Зарежь, образцовый папочка, папочка с любящим еврейским сердцем, зарежь!

Авраам: Похорони живьём родного отца, подлец!

Ицхак: Режь, папочка, режь, а мясо принесёшь мамочке.

Авраам: Душегуб! (хватает Ицхака за горло) Лежать!

Ицхак: Голос! Голос! Я слышу голос!

Авраам: С чего вдруг Голос? Лежать!

Ицхак: Голос с небес.

Авраам: С чего вдруг Голос с небес? Лежать!

Ицхак: Я не знаю. Он сказал: «Авраам! не заноси руки на отрока».

Авраам: Я ничего не слышал.

Ицхак: Ты давно уже плохо слышишь. Вот, он повторил во второй раз: «Авраам! не заноси руки на отрока». Ты не слышал?

Авраам: Нет.

Ицхак: Клянусь тебе... «Авраам! не заноси руки на отрока».

(Пауза. Авраам отпускает его)

Ицхак: Папа, я тебе клянусь, я слышал Голос с небес.

Авраам (после небольшой паузы): Ну, раз ты слышал, видимо, ты слышал. Я, как ты сказал, глуховат.

Ицхак: На сто процентов, ты знаешь, я со своей стороны был готов, но Голос есть Голос. Ты сам видел, что со своей стороны я был ОК (пауза) Мы оба были ОК. (пауза) Со своей стороны мы были ОК, разве не так, отец? (пауза) Разве мы не были ОК? (пауза) Всё закончилось хорошо, отец, почему ты грустишь?

Авраам: Я думаю, что будет, если другие отцы окажутся перед необходимостью зарезать своих сыновей. Что их спасёт?

Ицхак: Всегда может прозвучать Голос с небес.

Авраам: (примирительно): Ну, если ты так говоришь.

Перевод Эллы Раскиной

Дневник слепой старухи

Утром я вышла из дома.

Полная темнота.

Споткнулась о камень и упала.

Поранила нос, кто-то смеялся.

Пошла в поликлинику.

Споткнулась о ступеньку у входа.

Упала и снова поранила нос.

Двое людей смеялись.

Мне перевязали нос, я вышла из поликлиники, упала со ступеньки перед входом, снова поранила нос.

Двое людей, которые раньше смеялись, засмеялись снова.

Вернулась чтобы перевязать нос.

Споткнулась о ступеньку у входа и упала.

Поранила локоть.

Двое людей, которые уже смеялись два раза, рассмеялись в третий раз.

Мне перевязали нос второй раз, и локоть первый раз.

Вышла из поликлиники, постаралась не упасть со ступеньки у входа.

Вернулась домой и пошла на кровать чтобы отдохнуть.

По пути к кровати наткнулась на стул и упала.

Поранила руку.

Пошла в поликлинику перевязать руку.

Споткнулась о ступеньку у входа в поликлинику и упала.

Снова поранила нос и локоть.

Двое людей, которые смеялись три раза, рассмеялись в четвертый раз.

Перевязали нос в третий раз, локоть — второй раз, и руку — первый раз.

Вышла из поликлиники и постаралась не упасть со ступеньки у входа.

Вернулась домой.
 Пошла в кровать отдохнуть и постаралась не наткнуться на стул.
 Встала с кровати добавить воды в кофе и наткнулась на стул.
 Упала и поранила бедро, руку, нос.
 Хромая, пошла в поликлинику.
 Постаралась не споткнуться о ступеньку у входа, не споткнулась.
 Очень радовалась и наткнулась на стену.
 Двое людей, которые смеялись четыре раза, рассмеялись пятым раз.
 перевязала нос в четвертый раз, локоть в третий раз, руку во второй раз, и бедро первый раз.
 Вышла из поликлиники.
 Постаралась не упасть со ступеньки у входа.
 Вернулась домой.
 Пошла на кровать отдохнуть.
 Постаралась не наткнуться на стул.
 Встала чтобы открыть дверь холодильника и нагнулась, но по ошибке открыла окно.
 Выпала из окна на проезжающий грузовик.
 Грузовик безостановочно ехал пять дней, в полной темноте.
 На шестой день грузовик остановился.
 Я встала, чтобы слезть.
 Споткнулась о борт грузовика и упала вниз.
 Двое людей смеялись.
 Один что-то тараторил по-французски.
 Поняла, что добралась до Парижа.
 Ах, Париж, Париж!

Перевод Михаила Почтаря

Сотворение мира

Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и дух Божий носился над водою.
 И сказал Бог: «Да будет свет!» И стала тьма. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И был вечер, и было утро: день один.
 И восстал Бог во второй день, и сказал: «Да будет свет!» И стала тьма. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И был вечер, и было утро: день второй.
 И восстал Бог в третий день и сказал: «В третий и последний раз: да будет свет!» И стала тьма. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И был вечер, и было утро: день третий. И молчал Бог в день четвертый и в день пятый. А в день шестой восстал Бог и возопил воплем великим: «Бог я или нет — да будет свет, черт побери!» И зажегся маленький свет в окне одного из домов, и человек в пижаме выглянул из него наружу и спросил: «Кто тут кричит, что он Бог, в двенадцать часов ночи?»

Перевод Аллы Кучеренко

Мертвые вмешиваются в нашу жизнь

Женщина: Я овдовела. Лицо моего мужа в миг его смерти навещает меня в моих снах.
 (Появляется лицо мужа в миг его смерти)
 Ой, Элиас, Элиас!
 (лицо мужа исчезает)

Годы идут, и лицо моего мужа тускнеет.
 (Появляется потускневшее лицо мужа)
 Ой, Элиас, Элиас!
 (лицо мужа исчезает)

Как-то я познакомилась с новым субъектом. Мы оба не молоды. Мы оба одиноки и хотим вместе разогреть оста-

ток супа нашей жизни.

(Появляется лицо нового субъекта, лицо приближается к ней, она приближается к нему. В этот момент с другой стороны появляется лицо мертвого мужа. Она пугается, отходит от нового субъекта).

Ой, Элиас, Элиас!

(Лицу нового субъекта)

Ой, я не могу, я не могу...

(Лицо нового субъекта исчезает)

Ой, Элиас, Элиас!

(Лицо мужа исчезает)

И как-то, спустя пять лет, снова появляется старый новый субъект.

(Появляется лицо субъекта, она пробует приблизиться к нему. В этот момент снова появляется лицо мертвого мужа).

Ой, Элиас, Элиас!

(Субъекту)

Время еще не созрело, я еще не смогла преодолеть...

(Лицо субъекта исчезает)

Ой, Элиас, Элиас!

(Лицо мужа исчезает)

И вот новый-старый субъект тоже умер. Иногда по ночам меня грызет сожаление, что я не поцеловала его и не вышла за него замуж.

(Появляется лицо субъекта в миг его смерти)

Ой, Боралэ, Боралэ!

(Лицо субъекта исчезает)

И что я имею с того? Тот умер, и тот умер, и я осталась одна.

(Появляется потускневшее лицо мужа)

Ой, Элиас, Элиас!

(Лицо мужа исчезает)

А покамест, жизнь моя разрушена, и сейчас они оба посещают меня в моих снах. Появление одного сопровождается угрызениями сожаления...

(Появляется потускневшее лицо субъекта)

Ой, Боралэ, Боралэ!

(Лицо субъекта исчезает)

А появление другого — чувством вины за угрызения сожаления.

(Появляется потускневшее лицо мужа)

Ой, Элиас, Элиас!

(Лицо мужа исчезает)

И как-нибудь я тоже умру.

(Она улыбается своей смерти)

В конце концов, я тоже человек.

Перевод Михаила Почтаря

Хефец

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Тэгальх

Кламансэа, его жена

Фогра, их дочь

Варшвиак, жених Фогры

Хефец, их родственник, проживающий в доме

Адаш Бардаш

Хана Чарлич, официантка

Шукра

Действие 1

картина 1

Комната в доме Тэгальха. Вечер. Хефец сидит и ест пирог. Входит Тэгальх в вечернем костюме со шляпой в руке.

Увидев Хефеца, начинает прохаживаться взад и вперед, будто чего-то ждет.

Хефец. (Причмокивает. Пауза. Снова причмокивает) Ты извини меня, что я издаю такие звуки. Это от удовольствия. Я наслаждаюсь пирогом. (Чмокает и постанывает. Тэгалх не реагирует) Я получаю очень большое удовольствие. (Пауза) Есть этот пирог огромное наслаждение.

Тэгалх. Нет.

Хефец. Что «нет»? (пауза) Что «нет»?

Тэгалх. Нет.

Хефец. Что «нет»?

Тэгалх. Ты не получаешь никакого удовольствия.

Хефец. Почему это?

Тэгалх. Потому что не получаешь.

Хефец. Я испытываю большое удовольствие.

Тэгалх. Ничего ты не испытываешь.

Хефец. Ты, конечно, извини, но я ем этот пирог и испытываю удовольствие.

Тэгалх. Нет.

Хефец. Как это «нет»? Когда ты ешь пирог, ты что, не получаешь удовольствия?

Тэгалх. Я – да.

Хефец. И я тоже.

Тэгалх. Нет.

Хефец. Почему ты так говоришь?! Разве я не могу получать удовольствие, как все остальные?... А? (пауза) А?! (пауза) А?!...

Тэгалх. Чего ты от меня хочешь?!

Хефец. Чтоб ты сказал, почему ты так говоришь.

Тэгалх. Потому что я хочу, чтобы ты понял. Раз и навсегда. Ты не можешь быть так же счастлив, как мы.

Хефец. Я и не претендую на то, чтобы быть таким же счастливым. Но, если говорить о пироге, то, согласишься, я могу получать удовольствие.

Тэгалх. Нет, не соглашусь. Не дожدهшься. Ты не получаешь удовольствия от пирога. И вообще ни от чего и никогда. Спор закончен.

Хефец. Вы все ведете себя так, как будто у вас монополия на удовольствия.

Тэгалх. Не желаю больше ничего слышать, (кричит) Кламансэа!

Кламансэа. (из-за кулис) Туфли – и всё!

Хефец. Вы куда-то уходите?

Тэгалх. Ну а если уходим? Если идем в кафе, а потом в ночной клуб, что тогда?

Хефец. А что вам делать в ночном клубе?!

Тэгалх. Наслаждаться! Получать удовольствие! Утка с орехами. Французское шампанское. Смех. Радость. Веселье... Хватит с тебя или продолжить?

Хефец. А я... Я, может быть, тоже куда-нибудь схожу! Развлечься!

Тэгалх. Не морочь мне голову. Ты будешь сидеть дома.

Хефец. Да, буду. Потому что люблю тихую жизнь.

Тэгалх. Не-а.

Хефец. Ты знаешь, что я люблю тихую жизнь.

Тэгалх. Ничего ты не любишь.

Хефец. Чего вы от меня хотите? Я никому не мешаю. У вас своя жизнь – у меня своя.

Тэгалх. (кричит) Кламансэа!

Кламансэа. (из-за кулис) Иду! Я уже в туфлях.

Тэгалх. Кламансэа по этому случаю даже туфли новые купила.

Хефец. Значит, у вас сегодня праздник?

Кламансэа. (появляясь в дверях) Еще какой!

Тэгалх. (сияя) Это моя жена Кламансэа. Вот. Моя жена. Кламансэа. Вот. Это моя дорогая жена Кламансэа!

Кламансэа. (глядя на свои туфли) А об этом ты ничего не хочешь сказать?

Тэгалх. Боже, какие туфли, какие туфли! И на каких ногах! Упасть на землю и лизать! (Хефецу) Кламансэа перевернула в городе все обувные магазины. Превратила сотню продавцов в деморализованных стариков. Она швыряла им в лица коробки, наступала им на руки... Но модель, которую искала, – нашла!

Кламансэа. Да! Я – покупатель. Я плачу деньги. И я ищу именно того, чего я хочу. Разве не так?

Тэгалх. Конечно, дорогая моя, конечно! Только благодаря твоему упорству мы и добились того, чего добились...

Кламансэа. А ты, Хефец? Ты что думаешь о моих туфельках?

Хефец. А что тут думать? Туфли.

Тэгалх. Не важничай. Ты не выше этих туфель, (жене) Хефец просто еще не успел о них подумать. Но у него впер-

ди – целая ночь. Мы вернемся – и он сообщит нам свое мнение.

Хефец. Кламансэа, твой муж меня сегодня мучает.

Тэгальх. Жалуйся, жалуйся! Ни на что другое ты не способен.

Кламансэа. Та-ак. Ну, и что же у вас тут произошло? Тэгальх!

Тэгальх. У меня – ничего. Я в полном порядке. Дай Бог нашей стране такого же благополучия.

Кламансэа. Хефец, я тебя предупреждаю...

Хефец. Ты же еще не выслушала моего мнения...

Кламансэа. Меня не интересуют никакие мнения! У Тэгальха сегодня должно быть хорошее настроение. Моя обязанность – об этом позаботиться.

Хефец. Ты защищаешь его, потому что он твой муж.

Кламансэа. А кто это отрицает? Хорошо это или плохо, но он – мой муж. Если бы меня поставили перед выбором, я бы предпочла, чтобы он жил, а ты – умер. Не то что бы я была так уж заинтересована в твоей смерти, но... Просто я хочу, – и это совершенно естественно, – чтобы мой муж был жив. Неужели непонятно?

Тэгальх. Вот в чем главное преимущество семейной жизни: ради мужа жена готова упразднить законы справедливости. Как хорошо быть женатым!

Кламансэа. Пойдем, дорогой. Фогра и Варшвиак уже, наверное, заждались.

Хефец. Вы идете на встречу с Фогрой?

Кламансэа. С Фогрой и ее женихом.

Хефец. Женихом?!

Тэгальх. Мы не обязаны давать ему отчет. Пошли!

Хефец. Вы сказали: «с Фогрой и ее женихом»?

Кламансэа. Конечно. Ведь через две недели Фогра выходит замуж.

Хефец. За кого?!

Тэгальх. За того, за кого хочет.

Хефец. Я его знаю?

Кламансэа. Нет.

Тэгальх. Хватит объяснений, мы не на допросе. Информации вполне достаточно.

Хефец. Постойте! Вы не говорили мне, что она собирается замуж.

Кламансэа. Теперь ты знаешь.

Хефец. Случайно. Вы не пришли и не рассказали мне. Это случайно обнаружилось.

Кламансэа. Разумеется, ты, как и все, будешь приглашен на свадьбу.

Хефец. Я не о приглашении говорю. Я говорю о том, что вы не потрудились мне сообщить.

Тэгальх. Слышал, что сказала моя жена? Или тебе надо повторять, пока горло не пересохнет?! Ты будешь приглашен на свадьбу. Как и все! Прощай. (направляется к выходу) Кламансэа, пошли!

Кламансэа. Да, пойдём.

Хефец. Но мне нужно было раньше сообщить.

Тэгальх. (останавливается и стремительно возвращается) Мы что – обязаны?!

Хефец. Я ваш родственник!

Тэгальх. Дальний. Седьмая вода на киселе.

Хефец. И это ты говоришь мне? Мне, который живет здесь с вами в одном доме 17 лет?! Фогра еще девочкой была, когда я тут поселился. Кто играл с ней, кто помогал ей делать уроки? Кто?!... А теперь вы приходите и походя сообщаете мне: «Фогра выходит замуж, ты будешь приглашен. Как все!» Я требую объяснений.

Тэгальх. Он требует. Слышите?!... Он требует!... На сегодня с нас довольно. Советую тебе не выводить меня из себя.

Кламансэа. Я, право, не понимаю, что мы такого сделали? Извещение за две недели до свадьбы – это вполне нормально.

Тэгальх. Перед кем ты извиняешься! Пойдем, Кламансэа, пойдём.

Хефец. Нет. Я хочу знать, почему меня, близкого родственника, лишают возможности радоваться вместе со всеми, как я того заслуживаю? Из одной только вежливости вы должны были прийти ко мне и сказать: «Знаешь, Хефец, Фогра сообщила нам, что хочет выйти замуж за того-то и того-то. Что ты об этом думаешь? Как твое мнение?»

Тэгальх. Мнение! Ни больше и ни меньше. Член парламента. Этот человек норовит влезть в каждую дырку.

Хефец. Что?! Мое мнение насчет новых туфель Кламансэа вас почему-то очень даже интересовало. Я должен был думать о них всю ночь! А, может, ночью я хочу подумать о чем-нибудь личном... книжку почитать... Нет – мне надо пару туфель в голову засунуть! А когда дочь замуж выходит, сразу сговор, тайны, все за моей спиной. И никого не волнует, что Хефецу тоже иногда хочется вылезти из своей скорлупы, получить хоть капельку удовольствия.

Тэгальх. А пирога тебе уже недостаточно?... Кламансэа, мы идем или нет?!

Кламансэа. Да. Иди, Хефец. Поспи. Сейчас мы торопимся.

Хефец. Нет, я хочу знать.

Кламансэа. Что знать?

Хефец. Я хочу знать... Так себя не ведут! Я хочу знать, что это значит: Фогра выходит замуж, а мне не сообщают! Я хочу знать, что это значит: Фогра выходит замуж, а мне не сообщают!...

Тэгальх. Слышали уже. Прощай.

Хефец. (повышая голос) Я хочу знать, что это значит: Фогра выходит замуж, а мне...

Кламансэа. Хватит, Хефец, довольно. Ты нас задерживаешь.

Хефец. Нет, не хватит. Нет, не хватит. Не хватит. Я хочу знать, что это значит: Фогра выходит замуж. Фогра выходит замуж. Фогра. Фогра. (кричит) Фогра выходит замуж!!!

Тэгальх. (перекрикивая) Выходит замуж – и не за тебя!!!

Хефец. (испуганно, тихо) С какой это стати – за меня? Кто сказал – за меня? Я – никогда... Никогда... Кто-нибудь думает, что я... Я никогда не... Вам не удастся обидеть меня, господин Тэгальх. Слышите?! Вам не обидеть меня!

Кламансэа. Хефец, иди отдохни. Выпей воды.

[....]

Картина 2

В тот же вечер, немного позже. Веранда Тэгальха, выходящая на улицу. На веранде стоит Хефец.

Хефец. (грустно усмехаясь) Тэгальх и Кламансэа развлекаются сейчас в ночном клубе с Фогрой и ее женихом, а я сижу дома один вместе с мебелью. Вместе со стульями и столами. Я стою на веранде. Темно... Когда-то здесь жила Фогра. Дом был полон движения и тепла... Мне плохо. Мне очень плохо. Сердце колотится, как сумасшедшее. Все время потею... Я бы хотел сейчас свернуться, превратиться в мячик и закатиться под шкаф. Что мне мешает, так это позвоночник. Он существует вроде бы мне на благо – поддерживает мое тело, но по сути он лишь выставляет мою голову на всеобщее обозрение, не дает мне свернуться, быть мячиком... Хм, мячиком... Я обращаюсь к своему позвоночнику: «Дай моей голове наклониться, дай мне упасть и покатиться... Отпусти меня вниз.» (пытается свернуться, но у него ничего не выходит) Не дает, враг... Воистину – враг... Я таскаю в своем теле врага. (По улице проходит Шукра. Замечает Хефеца)

Шукра. Здравствуй, несчастный.

Хефец. (выпрямляясь) Здравствуйте, господин Шукра. С каких это пор я несчастный?

Шукра. Да уж не с сегодняшнего дня.

Хефец. Я не несчастный.

Шукра. А мне известно, что ты очень несчастный.

Хефец. В каком смысле?

Шукра. Сам знаешь.

Хефец. Нет, я не знаю. Может быть, вы увидели, что я сегодня не очень весел и решили, что я несчастен. Но такие минуты бывают у каждого.

Шукра. Я, Хефец, не первый день живу. У меня есть глаза, и я ими смотрю. Согласись с тем, что я говорю. У твоего несчастья цветущий вид.

Хефец. Глупости какие. Слушать смешно.

Шукра. (строго) Несчастный, почему ты не склоняешь голову?

Хефец. Что?

Шукра. Да, да. Голову! Почему ты не склоняешь ее?

Хефец. Куда?

Шукра. Вниз. Вниз! Вниз, несчастный ты человек. Что ты тут стоишь, на веранде, как счастливый член счастливой семьи? Что вы все делаете вид, что у вас все в порядке?! Ведь это невозможно перенести. Это ужасное лицемерие разбивает мне сердце. Вы, банды морально сломленных и обиженных, вы не даете счастливым элементарного права счастливого человека – видеть в несчастном несчастного. Зачем счастливым быть счастливыми, когда каждый несчастный выглядит и ведет себя, как они?! Вы размыли границы, разрушили вековой порядок. И почему только правительство допускает такое?! Несчастное правительство! Клянусь, что не дам себе покоя, пока не поставлю вас на свое место. Чтобы вся ваша несчастьность была ясно видна на ваших лицах. И когда позор пригнет вас к земле, мы узнаем, наконец, кто несчастный, а кто счастливый. Наслаждения – в одну шеренгу, а боль – в другую! Улыбку – в одну, крик – в другую! Ибо есть предел анархии! И поэтому я обращаюсь к вам, несчастные вообще, и Хефец, в частности: Займите свои места! Голову вниз, плечи опустить! И ни звука! Ни слова счастливому человеку! (кричит) Суки несчастные!!! Прочь свои грязные руки от счастья!!! (неожиданно тихо) Чтоб я, наконец, мог спать спокойно, (снова кричит) Позор несчастным, позор! (обычным тоном) Спокойной ночи, (поспешно уходит)

Хефец. Спокойной ночи, господин Шукра. Я не несчастный!

Картина 3

Фогра. Потому что, если уж зашла об этом речь... Кто я такая, если не могу зайти в ночной клуб в теннисной фор-

ме? Вы об этом подумали? Кто я? Кто вообще эта Фогра, о которой здесь так много говорят? Согласитесь, что это молодая и красивая девушка. Обратите внимание, молодая и красивая, всего 24 годика. Прилежно трудится над диссертацией по физике. Да, по физике! Обручена с молодым и преуспевающим юношей. Жизнерадостная. Любит хорошо проводить время. Высасывает удовольствия из каждого мгновения жизни. Вот, господа, кто такая Фогра. А теперь я бы хотела увидеть человека, который посмеет сказать ей, чтобы она не заходила в ночной клуб в теннисной форме. Или в любом другом виде, в каком ей только заблагорассудится. А тот, кто считает, что эти крепкие загорелые бедра смеются ему прямо в физиономию, пусть треснетя головой об стену. Это меня только позабавит. Варшвиак – свидетель.

Варшвиак. Да, я свидетель!

Фогра. Могу вам признаться, что, помимо всех прочих причин, я выхожу замуж еще и потому, что мне нужен человек, который будет свидетелем моих развлечений. Утром, в полдень и вечером. А также в прекрасные часы ночи. Счастье Фогры не должно существовать без свидетелей.

Варшвиак. Я – свидетель.

Кламансэ. Фогрочка. Я согласна со всем, что ты сказала. Меня только одно раздражает. Ты противопоставляешь своим бедрам нас вместе со всеми остальными. Родителей! Как ты можешь?! Ты ведь знаешь, как мы радуемся твоим успехам. Ведь что твой папа думал? Что если такая прекрасная и преуспевающая дочь, как ты, – и физика, и 24 года, и высасывает удовольствия, и юноша богатый, – если такая дочь слушается советов своего отца, то, значит, он не зря прожил жизнь и может собою гордиться.

Фогра. Папа меня знает. Он знает, что я не поступлюсь своей свободой ради его спокойствия. Он не должен был просить.

Кламансэ. Как бы то ни было, но произошло то, что произошло. И теперь он унижен.

Тэгальх. Я не унижен. Я никогда не унижен.

Кламансэ. Ты унижен.

Тэгальх. Я не унижен... У нас был интеллигентный спор с моей дочерью, но она желает поступать так, как считает нужным. И я уважаю это ее желание. Главное сегодня вечером – хорошо провести время. Поэтому давай будем гибкими и перейдем на сторону Фогры. И Варшвиака. Спрячемся за их теннисной формой и будем смеяться над всем миром. Нам хорошо. Мы с Фогрой.

Фогра. Я тебя поздравляю, папа. Ты перешел на правильные позиции.

[.....]

Картина 21

Крыша дома Тэгальха. Свет заходящего солнца. Появляется Хефец, а следом за ним Фогра и все остальные.

Хефец. Правда, никто не вызвал полицию? (Пауза) А пожарных? (Начинает разминаться: приседает, нагибается, машет руками, подпрыгивает, бегаем на месте. Затем принимает позу, как перед прыжком в воду, с криком «Полиция!!!» бросается к краю крыши и исчезает из виду. Пауза).

Шукра. Он уже во дворе.

Фогра. Да. Давайте спустимся вниз. Постоим возле него. (Фогра выходит.

Остальные идут за ней, но выйти не успевают. Из другой двери появляется

Хефец.)

Хефец. Куда вы? (Все поворачиваются в его сторону)

Шукра. Во двор. Хотели постоять вокруг тебя. А ты что тут делаешь?

Хефец. Я...я не думал, что это так трудно. Я добежал до края крыши...а там... Мне, право, очень жаль. После такой подготовки... Не то чтобы я так хотел жить, но... Просто трудно... Вы ведь не сердитесь, правда? Вы не будете против, если я ещё немножко поживу? Вы не пожалеете, вот увидите... Я буду жить теперь, как тряпка... Вы сможете вытирать об меня ноги... Вам понравится, честное слово... А скоро я, может быть, вообще сойду с ума! Это ведь тоже неплохо, верно? Нет, я точно сойду с ума, я уверен! Вы со смеху лопнете! Я заболею какой-нибудь редкой смешной болезнью – и свихнусь. Интересно, до чего я смогу дойти? Никогда так интересно не было! А вам? Вам интересно?

Варшвиак. А Фогра во двор спустилась.

Шукра. (Подходит к двери и кричит) Госпожа Фогра! Госпо... (Входит Фогра)

Шукра. Он не прыгнул.

Фогра. Знаю.

Хефец. Вы не пожалеете! Я буду, как тряпка... А, может быть, даже...

Фогра. Почему – всегда – все самое неприятное – должна делать – именно я?!

Хефец. Может быть, я даже с ума сойду... Фогра! Госпожа Фогра!... Я правда сойду с ума! Вы будете так смеяться! Вы даже...

Фогра. Я вас спрашиваю: почему – я – всегда – должна быть – хуже всех?!

Хефец. Почему хуже? Ты... Вы – хорошая! Хорошая!!!

Фогра. «Позорище», смирно! (Все встают по стойке «смирно». Фогра хватается Хефеца за шиворот) Пошли! (Тащит его к краю крыши. Хефец начинает дрожать и вяло пытается высвободиться)
 Хефец. Вы хорошая! Фогра хорошая... Фогра добрая... Добрая... Хорошая... (Возле самого выхода вдруг кричит) Да здравствует Фогра!!! (Хефец и Фогра исчезают из виду) Желаю молодоженам счастья и долгих лет жизни-и-и-и-и-и!!! (Долгая пауза. Фогра возвращается одна, держа в руках халат парикмахера).
 Фогра. Ну вот вот и всё. (Швыряет халат на пол и наступает на него ногой.)
 Вольно! Все свободны!...

Перевод Бориса Борухова

Жизнь, и непростая жизнь

СЛЕПОЙ: Я слепой. Меня видят, но я не вижу.
 ЖЕНЩИНА: Я нормальная. Я вижу, и меня видят.
 МАГ: Я маг. Я вижу, а меня не видят.
 ГОЛОС: Я душа умершего. Я не вижу, и меня не видят.
 СЛЕПОЙ: Я писаю. Я не вижу свое и наслаждаюсь самим процессом мочеиспускания.
 ЖЕНЩИНА: Я писаю. Я вижу и свое, и его, и я наслаждаюсь как самим процессом мочеиспускания, так и мыслью, что он не видит мое, и не видит, что я вижу его.
 МАГ: Я писаю. Я вижу и мое, и ее, и его, и я наслаждаюсь как самим процессом мочеиспускания, так и мыслью, что они не видят мое и что они не видят, что я вижу их, и еще мыслью, что она наслаждается мыслью, что он не видит ее и что она видит его, а он не знает, что она видит его, и не видит, что я вижу, что она видит.
 ГОЛОС: Я не при делах.
 СЛЕПОЙ: Я испытал физическое наслаждение. Я надеюсь писать вечно, и жаль, что когда-то меня не будет.
 ЖЕНЩИНА: Я испытала как физическое, так и мысленное наслаждение. Я надеюсь писать и видеть писающих слепых вечно, и жаль, что когда-то меня не будет.
 МАГ: Я испытал: физическое наслаждение, мысленное наслаждение, и еще одно мысленное наслаждение. Я надеюсь писать и видеть писающих женщин, видящих писающих слепцов, вечно, и жаль, что когда-то меня не будет.
 ГОЛОС: А меня, как известно, уже нет.

Перевод Михаила Почтаря

В гостинице

(Постоялец возле приемной стойки в гостинице)

Постоялец: Здравствуйте, меня зовут Копач. Я первый раз в Лондоне. Заказал у вас комнату.
 Служащая: Пожалуйста, господин Копач, комната в Вашем распоряжении. Приятного отдыха.
 Постоялец: Когда у вас кормят?
 Служащая: Завтрак — с семи до девяти, обед — с двенадцати до двух, ужин — с семи до десяти.
 Постоялец: Отлично. А можно получить что-нибудь в пять?
 Служащая: Если закажете.
 Постоялец: Отлично. А в десять?
 Служащая: Тоже, если закажете.
 Постоялец: И шоколад?
 Служащая: Да.
 Постоялец: Отлично. А когда здесь отбой?
 Служащая: Когда хотите. Это гостиница.
 Постоялец: И я могу пойти спать даже в двенадцать ночи?
 Служащая: Да, сэр.
 Постоялец: Даже в час ночи?
 Служащая: Разумеется.
 Постоялец: А когда подъем?

Служащая: Тоже когда хотите.
Постоялец: И никто не будит?
Служащая: Никто, если вы не хотите.
Постоялец: Можно вставать даже в двенадцать дня?
Служащая: Да, сэр.
Постоялец: Но если я пойду спать в девять вечера, что мне делать до двенадцати дня в постели?
Служащая: Все, что захотите, сэр.
Постоялец: Тогда меня не будет на завтраке.
Служащая: Вы можете сделать особый заказ в двенадцать.
Постоялец: Так что, я могу не быть на завтраке?
Служащая: Разумеется.
Постоялец: А как здесь с чисткой зубов, кому я тут показываю, что почистил?
Служащая: Никому.
Постоялец: Как же проверяют?
Служащая: Не проверяют, сэр.
Постоялец: Отлично. Здесь, я вижу, много свободы. И никто не проверяет, подтерся ли я?
Служащая: Никто, сэр.
Постоялец: Отлично. Просто обалденная жизнь здесь в Лондоне. У меня тоже будет ключ, или меня запрут на ночь?
Служащая: У вас будет ключ, сэр.
Постоялец: С брелоком?
Служащая: Да, сэр.
Постоялец: А кто будет охранять меня ночью в комнате?
Служащая: От чего?
Постоялец: Мало ли. А вдруг я проснусь посреди ночи?
Служащая: Это ваше частное дело, сэр.
Постоялец: А если я буду плакать?
Служащая: С чего бы это вам плакать?
Постоялец: А вдруг мне станет страшно – мало ли, темнота, Лондон...
Служащая: Вы можете позвонить на ресепшн.
Постоялец: И мне ответят? Не будут кричать?
Служащая: Ответят, сэр.
Постоялец: И скажите мне, пожалуйста, кое-что еще. Я могу подняться в свою комнату на лифте?
Служащая: Разумеется, сэр.
Постоялец: Отлично. Хорошо, так я сейчас прямоком поднимаюсь и принимаю ванну, так?
Служащая: Вы меня спрашиваете? Делайте, как вам угодно.
Постоялец: Вы не принуждаете меня принять прямо сейчас ванну?
Служащая: Нет, сэр.
Постоялец: Отлично. А что вы мне дадите, если я сейчас пойду и приму ванну?
Служащая: Ничего.
Постоялец: Десять минут на ванну, чистку зубов, пописать и пижаму, а?
Служащая: Как вам будет угодно, сэр.
Постоялец: (с оттенком удивления и горечи) Никого не волнует, принимаю ли я ванну, чищу зубы, плачу, ем или встаю... Странноватое место. (Служащему) Хорошо, последний вопрос, кто меня будет укрывать?
Служащая: Никто, сэр. Укрываются сами.
Постоялец: Ну ладно... (секунду стоит, очень разочарованный) Тогда спокойной ночи. (подставляет щеку губам Служащей) Поцелуй.
Служащая: Вы с ума сошли?
Постоялец: (расстроено) Я очень разочарован жизнью в Лондоне.

Перевод Михаила Почтаря

В том-то и дело, что он – не я, а ты

(ДОВОЛЬНЫЙ сидит с БЛАГОУХАЮЩЕЙ, входит ГОРЯЧИЙ, вождельно на нее смотрит. Приближается к ней, взгляд устремлен на грудь, протягивает палец к ее груди)

ГОРЯЧИЙ: Вот что мне хочется.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Это уже его.

ДОВОЛЬНЫЙ: Это мое.

ГОРЯЧИЙ: Но хочется.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Исключено.

ГОРЯЧИЙ: Жаль, ужасно хочется.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Совершенно исключено.

(ДОВОЛЬНЫЙ хладнокровно улыбается, трогает пальцем грудь БЛАГОУХАЮЩЕЙ. Она объясняет ГОРЯЧЕМУ)

Потому что это уже его, Вы понимаете?

ГОРЯЧИЙ: Я очень хорошо понимаю, очень жаль. (ДОВОЛЬНОМУ) Хорошо Вам?

ДОВОЛЬНЫЙ: Прилично.

ГОРЯЧИЙ: А Вам?

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Тоже.

ГОРЯЧИЙ: Фантастика, а?

ДОВОЛЬНЫЙ: Вы меня спрашиваете?

ГОРЯЧИЙ: Да.

ДОВОЛЬНЫЙ: Да, фантастика.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Меня Вы тоже спрашиваете?

ГОРЯЧИЙ: Да.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Да, фантастика.

ГОРЯЧИЙ: (Приближает лицо к лицу ДОВОЛЬНОГО, почти касается его)

Очень жаль, что я — не Вы.

ДОВОЛЬНЫЙ: Хорошо быть мной, а?

ГОРЯЧИЙ: Пик Победы. И очень плохо быть мной, а?

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Вы меня спрашиваете?

ГОРЯЧИЙ: Да.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Да, очень плохо.

ДОВОЛЬНЫЙ: Вы меня спрашиваете?

ГОРЯЧИЙ: Почему нет.

ДОВОЛЬНЫЙ: Да, плохо.

ГОРЯЧИЙ: (Приближает лицо к груди БЛАГОУХАЮЩЕЙ)

Если бы я был им, Вы бы дали мне трогать Вас там?

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Да.

ГОРЯЧИЙ: Очень, очень жаль.

ДОВОЛЬНЫЙ: Но поскольку он — не я, ты не дашь ему, правильно?

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Очень правильно.

ДОВОЛЬНЫЙ: Любому, кто я — давай ему, и любому, кто не я — не давай.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Именно.

ДОВОЛЬНЫЙ: Фантастика, а?

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Ты меня или его спрашиваешь?

ДОВОЛЬНЫЙ: Тебя, а потом — его.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: Да, фантастика.

ГОРЯЧИЙ: Да, фантастика.

ДОВОЛЬНЫЙ: Так Вы поняли, что такое быть мной, а не Вами?

ГОРЯЧИЙ: Разница очень ощутима.

(Приближает лицо к лицу ДОВОЛЬНОГО, как бы пытается в него войти)

ДОВОЛЬНЫЙ: Пытаетесь войти в меня и стать мной?

ГОРЯЧИЙ: Да.

ДОВОЛЬНЫЙ: Не получится, потому что каждый — это он сам.

ГОРЯЧИЙ: Верно и жаль.

(Его лицо по-прежнему касается лица ДОВОЛЬНОГО. Восторженно)

Какой!.. Какой!..

(восторженно открывает рот, ДОВОЛЬНЫЙ трогает грудь БЛАГОУХАЮЩЕЙ. Пауза. ДОВОЛЬНЫЙ опять трогает.

Пауза.

ДОВОЛЬНЫЙ собирается трогать снова, но ГОРЯЧИЙ закрывает рот и отстраняется)

ДОВОЛЬНЫЙ — БЛАГОУХАЮЩЕЙ: Очень жаль, что он закончил восторгаться мной и что он не может вечно стоять передо мной с открытым ртом.

ГОРЯЧИЙ: (оправдывается) Потому что в любом случае, у меня есть я, и много разных дел, и я вынужден закрыть мой раскрытый в восторге рот и снова открыть его к ужину.

ДОВОЛЬНЫЙ: Очень жаль, что и всем остальным тоже нужно есть и всякое такое.

ГОРЯЧИЙ: Был бы я Вами, я бы остался, Вы ж понимаете.

ДОВОЛЬНЫЙ: Да, я понимаю, жаль.

БЛАГОУХАЮЩАЯ: В любом случае, у тебя есть я.

ДОВОЛЬНЫЙ (ГОРЯЧЕМУ): Это верно, у меня есть она, так что не так уж и жаль.

ГОРЯЧИЙ: Я понимаю. Ну, будьте здоровы. С моей стороны — очень жаль. И еще раз — жаль. (выходит)

Перевод Михаила Почтаря

На чемоданах

Отрывок из пьесы

[Входит старуха Бобе Глобчик, в пальто поверх ночной сорочки, с чемоданчиком в руке. За ней идут ее сын Муня, его жена Лола и их сын Зиги]

Лола: Бабушка едет в санаторий для легочных больных. Она подышит свежим воздухом, выздоровеет и вернется к нам.

[Бобе останавливается. Пауза. Разворачивается. Начинает идти обратно. Муня преграждает ей дорогу]

Муня: Нет, мама, в ту сторону.

[Бобе останавливается, затем снова пытается вернуться. Муня преграждает ей дорогу]

Муня: Нет, мама, в ту сторону, туда.

Лола: Бабушка выздоровеет и вернется.

Зиги: Б-б-б-бабушка...

Муня: Что ты сказал?

Лола: Он ничего не сказал. Чтобы тебе было ясно, мы отсылаем ее из-за тебя, Зиги. Тебе понадобится свободная комната, на случай если ты женишься.

Зиги: Б-б-...

Лола: Это мы уже слышали. Я иду домой готовить завтрак. Пойдем, Зиги.

[Лола и Зиги выходят]

Муня [к Бобе]: Самое главное — это что ты не сердисься.

[Щекочет ее под подбородком]

— Правда?

[Щекочет ее подмышкой]

— А, мама? Смеемся? Новый день? А? Солнышко? Утро? Едем лечиться? Отдыхать? Я буду работать как лошадь, а ты отдыхать? На мои деньги? Отдыхать? А, мамочка? Смешно? Весело? Жизнь это шутка, да, мамочка? Но эта шутка стоит денег, много денег, а?! Много денег! Автобус идет.

[Провожает ее до автобуса]

— Мы приедем навестить тебя в субботу.

[Целует ее в лоб. Бобе выходит. Муня секунду смотрит ей вслед, потом тоже выходит. Пауза. Снова входит Бобе с чемоданчиком, медленно бредет в сторону дома. Муня вбегает, бросается ей наперерез]

— Убегаем, мама?! Плюем мне в лицо?!

[Дворник проходит по улице с тележкой мусора]

— На свалку! Эй, дворник, забирай этот мусор на свалку!

[Дворник подходит к Бобе с тележкой, поднимает ее и сажает в тележку]

— Оп, на свалку!

Дворник: Ваша мама?

[Поднимает ее и вынимает из тележки]

— Посмеялись и хватит. Мне работать надо. Мусор, мусор.

[Выходит с тележкой]

Муня: Следующий автобус идет.

[Провожает ее до автобуса, обнимает]

— Мама!

[Плачет. Отстраняется от нее]

— Ну вот, автобус отправляется. Пока.

[Бобе идет на автобус. Муня машет рукой ей вслед. Перестает. Вновь раздражается рыданиями]

— Мама, ты была последней, кто стоял между мной и смертью. Мама, мама.

[Входят Лола и Зиги]

Лола: Яичница остывает.

Зиги: Я не г-г-г-голодный.

Лола: Это мы уже слышали. Пошли, Муня.

Муня: Вы свидетели, что надо кушать.

Лола: Ну, пошли уже жрать, засранцы. К Лоле на откорм.

Муня: Вечная моя Лола.
 Лола: Вечная, не сомневайся.
 Зиги: Яс-с-ное д-д-дело.
 [Выходят]

Перевод Аллы Кучеренко

Субботние свечи

Лахав (*прозрачный елей¹; постепенно его воодушевление нарастает*):

В последнее время, бес его знает, меня разбирает какая-то тоска. Тоска по отцовскому дому, который был, и вот теперь его нет. Когда я прохожу мимо синагоги, у меня вдруг внутри разливается тепло. И нежность. Как капля жира в пищеводе. И сладко-горькая слезинка в уголке глаза. Я начинаю задавать себе разные вопросы... например — кто сотворил мир. И — как сотворил. И что происходит с душой после смерти. И в чем преимущество человека перед скотиной. И еврейская судьба. Все эти вопросы, на которые у науки никогда нет ответов — одни вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Спрашивать они умеют, эти маленькие любопытные. Дотошные. Копатели. Копают, блядь. Склочники. Скептики. Сомневаются они. Нерешительные. Левые. Художники, блядь. Говнюки. С-суки. Гомики. Пидоры. Сиськи. Персы. Арабы. Свиньи. Мудаки. Засранцы. Дерьмо. Рвань. Арсы. Персы. Сиськи. Сволочь. Фашисты. Коммунисты. Сифилитики. Мазохисты. Нигилисты. На хуй, блядь. Дерьмо. Ссань. Срань. (*как бы срезая всех автоматной очередью*) Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

(Пауза. Глубоко дыша, он приходит в себя. Постепенно к нему возвращается воодушевление)

Лахав: А я, ну что я? Я простой добросердечный еврей. Хочу раз и навсегда разрешить гложущие меня сомнения. Я хочу немного порядка в мире. И чистоты. Простой, красивой, стройной картины мира: сверху — Бог, внизу — евреи, посредине, между ними — кипа. Как на теннисном корте: здесь ты, там он, посредине — сетка. Все упорядочено, ясно, чисто, чисто, чисто. И целомудрие, самое главное — целомудрие. Целомудрие семьи. Целомудренная еврейская жена, целомудренное еврейское совокупление. Ты смотришь не нее стыдливо, исподлобья. Она опускает глаза и краснеет. И ты краснеешь. Еврейский румянец стыда. Ты стыдливо расстегиваешь ремень на брюках. Она с еврейской скромностью снимает лифчик. Нежно поглаживает свои целомудренные груди. Все еще с покрытой головой она разметалась по чистой постели. Она стыдливо раздвигает ноги, погружает палец в свои кошерные гениталии и слегка щекочет. Ты бросаешь на нее взгляд исподлобья и краснеешь. И твой член тоже краснеет и начинает раскачиваться, как правоверный еврей на молитве Восемнадцати Благословений. Это атмосфера отцовского дома. Это так по-еврейски. С твоего члена, полного и горделивого, с еврейской кипой на головке, начинает капать прозрачная и целомудренная еврейская жидкость. И жена уже истекает чудесным соком, горячим, как соус к той фаршированной рыбе, которую мама всегда подавала в канун субботы. Ты произносишь благословение, и она скромно отвечает тебе «аминь». И тогда ты прыгаешь на нее, ставишь ее раком, вставляешь ей палку и рвешь ей пизду к ебаной матери... (*как бы срезая всех автоматной очередью*) тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

(Пауза. Глубоко дыша, он приходит в себя. Постепенно к нему возвращается воодушевление)

Лахав: Да, чистые дети. Скромность. Кошерность. Любовь к земле Израиля. Сияние Божественного присутствия. Суббота. Субботние свечи. Ах, субботние свечи. Эта трогающая сердце картина: вся семья вокруг стола. Лица сияют. На столе — белая скатерть, накрытые халы, зажженные субботние свечи. Во дворе — Ахмад. Мы зовем его. Он входит. «Шаббат шалом, Ахмад!», «Гут шабес, господин!» «Поди сюда, поди поближе, Ахмад. Смотри, это субботние свечи. Ты когда-нибудь видел субботние свечи?» Двое хватают Ахмада сзади. Один тянет вперед его руку и прикладывает палец к пламени свечи. Запах паленого мяса. Палец обугливается. Ахмад затягивает субботние песнопения. Мы все, вся семья, все дети, все сыны Израиля, запеваем вместе с ним. Выйди, брат, навстречу невесте, встретим же Субботу, гряди, Царица Суббота... (*как бы срезая автоматной очередью*) тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

(Пауза. Глубоко дыша, он успокаивается)

Да, вот она, тоска по чистоте, которая на меня нападает в последнее время.
 (достает из кармана кипу и покрывает голову)

Перевод Эллы Раскиной

¹ Состояние духовной чистоты (*устар., ирон.*)

Из дневника цензора

(по следам запрещения спектакля «Патриот» цензурой)

И как обычно, дорогой дневничок, – пару теплых слов перед сном. Сегодня, мой дневничок, как и каждый день, я спас душу во Израиле. То был один трагический герой старой пьески, негр, военачальник, храбрый, однако болезненно ревнивый. Он женился на белой женщине, аристократке, которая любила его, но тяжело страдала от припадков его ревности вплоть до горького конца, когда он ее задушил. Мой дорогой дневничок, не знаю, как блеснула во мне внезапно эта идея, но с самого начала пьесы мне стало ясно как день, что корень зла – в выходящей из берегов похоти несчастного негра. Видя его страдания, я не мог более удержать в себе порыв милосердия, взял ножницы, и уже в конце первой сцены вошли два турецких солдата и отрезали ему все мужское достоинство подчистую. Через полминуты бедняга негр успокоился, и его припадки ревности сошли на нет. С другой стороны, дневничок, я не мог оставить женщину в таком положении, когда ее муж лишен половых органов, побаиваясь, как бы в ней не проснулась похоть и она не изменила бы ему. Посему я ввел в следующей сцене еще двух турецких солдат, которые отрезали ей груди, вырезали матку и спилили клитор пилочкой для ногтей. Мой дневничок, их любовная сцена стала такой спокойной и тихой! Но работа на этом не закончилась. Там был еще один интриган, злоумышленник, желавший помешать счастью этой милой пары. В тот его монолог, где он признается в своем злом умысле, я ввел еще двух солдат, турецких, разумеется, они поймали его и отрезали ему яйца. У него немедленно исчезла мотивация совершать преступления и замышлять дурное. На фоне сцены, заполненной турецкими солдатами, он стоял теперь слабый, равнодушный и пассивный, через силу закончил свой монолог и сошел со сцены.

Сразу началось второе действие. На сцену вышел наш негр, чистый, без всякой пакости, без глупостей в голове, без органов выделения и размножения, с нижней частью тела, целиком перебинтованной стерильными белыми бинтами, и уселся пить чай со своей женой, у которой нижняя часть тела была перебинтована точно так же. И так они сидели тихо и пили чай, а турки тем временем стояли сзади и ждали — до тех пор, пока в конце второго действия мне не осталось ничего, кроме как сделать наиболее естественную и логичную вещь в этой ситуации – обратиться к иудаизму. Прежде всего, я ввел раввина и выбелил негра, но когда раввин собрался обрезать его в крепости на Кипре, я осознал, что это невозможно, потому что я ведь еще раньше отрезал у негра член. Я сразу добавил в третьем действии сцену в операционной. Десять врачей пришли выбеленному негру новый член, затем появился раввин и обрезал его, и сразу по окончании обряда обрезания вышли еще двое турок и снова отрезали ему член, на сей раз обрезанный. Признаю, что в этом действии мы слегка запутались с членами, но зато в итоге на сцене у нас остался белый кошерный еврей, прошедший гиюр по всем правилам, и без всяких дурных помыслов.

Четвертое действие катится по проложенным рельсам. Я добавил нашему еврею пышную бороду, ермолку... И как я мог теперь оставить его, благолепного еврея с тонким напевным голосом, военачальником на Кипре? Что общего между евреем из наших и войнами с турками? Я сразу сделал его кантором и изменил его имя с Отелло на Отл. Реб Отл-кантор. И что осталось порядочному кантору вроде реб Отла делать на Кипре? Ведь там вообще нет еврейской общины! И от толпы турок, заполонившей сцену, надо было как-то избавиться. Вмиг, под конец четвертого действия, я возвел его в Землю Израиля, вместе с его добродетельной супругой, которую когда-то звали Дездемона, а теперь – госпожа Дина бат Мина, да продлятся ее дни.

Пятое действие, мой дневничок, обнаруживает наших супругов на гребне холма в новом поселении в Самарии. И кто же неожиданно присоединяется к ним под вечер, к концу пьесы? Гуго, прежний Яго, Гуго Коэн, бывший левый журналист из Аргентины, который из-за антисемитских преследований стал убежденным сионистом, обратился к вере отцов и приехал в новое поселение вместе с супругой – бывшей Эмилией, ныне Малкой. И так они стоят в конце пьесы вчетвером: реб Отл, Дина бат Мина, Гуго и Малка, с белыми стерильными повязками на нижней части тела и с песней на устах. Сцена очищена от турок.

Мой дорогой дневничок, это все на сегодня. Завтра у меня пьеса с каким-то датским принцем, с отцеубийством, жадной мести и еще черт знает чем. Думаю, дневничок, что и в этом случае стоит, прежде всего, поотрезать яйца и остудить пыл. А там поглядим. Самария жаждет поселенцев. Спокойной ночи, мой дорогой дневничок.

Октябрь 1982 г.

Перевод Аллы Кучеренко

Сцена из сатирического ревью «Патриот» (1982), главный герой которого, пламенный сионист Лахав Эшет, мечтает уехать в Америку, чтобы там заниматься бизнесом. В последний момент его останавливают на границе и отправляют воевать в Албанию

(Лахав Эшет и американский консул)

Лахав (про себя): После того как я провел осень на тротуаре на стороне, противоположной входу в американское консульство, после того как в ноябре я наконец пересек мостовую и провел суровую зиму на тротуаре со сторо-

ны самого американского консульства – весна, моя очередь войти. *(Консулу)* Я израильтянин. Я хочу эмигрировать в Америку.

Консул: Мы не принимаем в Америку паразитов.

Лахав: Я не паразит. Я хочу и умею работать.

Консул: Нам не нужны торговцы и спекулянты. Нам нужны люди, готовые выполнять грязную работу.

Лахав: Я умею и люблю делать грязную работу. Я буду мыть туалеты в Лос-Анджелесе.

Консул: Мы знаем из опыта, что один полезный человек привозит с собой целую толпу паразитов. У Вас есть семья?

Лахав: Жена и сын. Жена умеет и любит мыть полы. Сын пойдет учиться гостиничному делу.

Консул: Портье у нас хватает.

Лахав: Мальчика интересует профессия горничной... либо лифтера.

Консул: Родители?

Лахав: Нет.

Консул: У нас записано: мама.

Лахав: Верно, я забыл: мама.

Консул: Возраст?

Лахав: Семьдесят пять лет.

Консул: Из опыта мы знаем, что через некоторое время вытаскивают в Америку и маму.

Лахав: Мама остается здесь.

Консул: Мы должны быть уверены заранее.

Лахав: У меня плохие отношения с матерью.

Консул: Докажите.

Лахав: Готов доказать любым путем, который удовлетворит Америку.

Консул: Америка хочет видеть, как Вы плюнете в лицо своей матери.

Лахав: Это общепринятая процедура?

Консул: Разумеется. Америка не занимается издевательствами.

(Входит старуха-мать)

Лахав: Мама, я еду в Америку с женой и сыном.

Мать: А я?

Лахав: Ты остаешься здесь.

Мать: Мне будет тяжело расстаться с внуком на месяц.

Лахав: Больше месяца.

Мать: До Песаха?

Лахав: Больше.

Мать: Сынок, я уже немолода. Когда вы возвращаетесь?

Лахав: Мы не возвращаемся.

Мать: Как я увижу своего внука?

Лахав: Фотографии.

(Пауза. Мать начинает плакать)

Мать: Я одинока. Кто позаботится обо мне? Возьмите меня с собой. Только в гости. Я еще не видела Америку.

Лахав: Не возьмем. Ты остаешься здесь.

Консул: Пора плевать.

(Лахав готовится плюнуть. Мать поднимает голову, смотрит на него, думает, что он сейчас заплачет)

Мать: Я смотрю на тебя, сынок, и вижу, что это неправда. Ты не оставишь маму одну. Ты любишь маму. Мама старая, у мамы нет сил...

(Лахав снова готовится плюнуть, и вновь маме кажется, что он вот-вот заплачет)

А-а-а, я вижу, что и ты уже вот-вот заплачешь. Я знала, что ты не оставишь меня одну. Я знала, сынок, знала.

(Она гладит его по лицу. Он отворачивает лицо)

Лахав (консулу): Господин консул, я не могу плюнуть в лицо своей матери.

Консул: Мы не можем выдать вам визу в Америку.

Лахав: Ты была права, мама. Мы не оставим тебя. Мы остаемся здесь, с тобой. Угорим все вместе в духоте и согреем твои старые косточки. *(Распалается все больше и больше)* Довольна, мамочка? Твои дети и внуки останутся здесь, с тобой. Если гнить, то здесь, вместе, до конца времен. Не плачь, старая! Побереги слезы для более тяжелых дней, поплачь обо мне, когда я погибну тут на очередной войне! Поплачь о внуке на той войне, что придет за ней! Вот тогда плачь сколько угодно! Няньчить внуков на руках ты хотела, а получишь внуков под ногами! Хорошо, мамочка? Довольна, мамочка? Тогда поплачь о нас, мамочка? А когда ты присоединишься к нам в могиле? Вместе, с нами, в могиле, все вместе!

Мать: Да, вместе! Мы все вместе! Я, мой сын и внук – вместе!

(Лахав плюет ей в лицо. Она застывает на миг, пораженная)

Консул: Вы можете получить визу в Америку.

(Мать стоит еще секунду, затем поворачивается и идет к выходу нетвердыми шагами)

Мать: Холодно. Упала капля дождя. Надо пойти домой закрыть окна.

(Выходит. Лахав получает визу)

Лахав: Спасибо, господин консул. *(Публике)* Я плюнул в лицо матери и остался в живых. Ну и что? Она в маразме, она скоро забудет, а если даже не забудет, скоро помрет, а я уже буду далеко-далеко, открывать новые бизнесы в Лос-Анджелесе, может быть, даже назову магазин ее именем, чего уж там, все-таки мама... ох мама, какая мама... глубоко-глубоко в сердце, навеки...

Перевод Аллы Кучеренко

Тексты песен из музыкального спектакля «Хлеб с вареньем» на стихи Ханоха Левина

КТО НАРУШИЛ ШАБАТ

Тот, кто посмел нарушить шаббат,
Тот сгинет в шаббат.
Тот сгинет в шаббат, от боли и страха крича.
И ничто его не спасет,
ни главврач, ни два главврача,
Ни сестричка, чьи груди
Пропахли от разных микстур.
Ни (даже) молитва, что он произнес в Йом-Кипур.
Тот, кто посмел нарушить шаббат,
Тот сгинет в шаббат.
Тот сгинет в шаббат от боли и страха крича.
И солнце, взойдя, не подарит ему ни луча.

ХЛЕБ С ВАРЕНЬЕМ

Старой мелодии грустный мотив –
Кто живет, тот глуп и некрасив,
Кто усоп, тот труп и несчастлив.
Кто любви не заслужил,
Тот как будто и не жил.
А кто ни разу не любил,
Сохранит остаток сил.
Старой мелодии грустный мотив –
Кто живет, тот глуп и некрасив,
Кто усоп, тот труп и несчастлив.
Кто любви не повстречал,
Тот улыбку получал,
А кто улыбку не найдет,
Хлеб с вареньем пусть жует.

ТЫ ПРАВ, ДОРОГОЙ

Скажи же мне, что я лучше всех!
— Ты прав, дорогой. Я горжусь тобой.
Что мужчине, как я, всюду ждет успех?
— Ты прав, дорогой. Я горжусь тобой.
Скажи мне, что сделал я правильный шаг,
Вступив с тобою в законный брак?
— Ты прав, дорогой. Я горжусь тобой.
— Что мне еще сказать?
Что тебе сказать? Откуда мне знать!
Нет покоя душе. О, вечная боль!
— Я уже устала ждать.
Ты меня превратил в полный ноль, в полный ноль.
Солнце встает из мрака.
Тихая радость придет к тебе.
Мы из хижин вонючих наших

Рассмеемся в лицо судьбе.

Скажи мне, что я могу быть уверен в твоих словах?

— Ты, прав дорогой. Я горжусь тобой.

Скажи, я зануда?

— Нет.

Что нет?

— Ты не зануда.

Скажи мне, что я не зануда, а мужчина, проявляющий естественный интерес.

Ты прав, ты не зануда, а мужчина, проявляющий естественный интерес.

Скажи мне, что я счастлив вполне?

— Ты прав, дорогой. Я горжусь тобой.

Что я сделал, что мог, и даже втройне?

— Ты прав, дорогой. Я горжусь тобой.

Скажи мне, что в жизни достиг я всего!

И что лучше не может быть ничего?

— Ты прав, дорогой. Я горжусь тобой.

Что мне еще сказать?

Перевод Исаака Розовского

Смертная казнь

Палач подводит приговоренного к смерти арабского террориста к виселице. Там его ожидает журналистка, которая заговаривает с приговоренным, едва палач надевает ему петлю на шею.

Журналистка: Господин Саид, я журналистка, и я сейчас провожу симпозиум на тему «Смертная казнь для террористов – за и против». Я хотела бы задать Вам два-три вопроса как террористу, осужденному на смерть.

Приговоренный (*очень вежливо*): С превеликим удовольствием, госпожа.

Журналистка: Господин Саид, я так понимаю, что сам факт, что Вы находитесь здесь, доказывает, что Вы за смертную казнь для террористов.

Приговоренный: Разумеется, я за смертную казнь для террористов, госпожа. Как опытный террорист с большим стажем я позволю себе сказать, что это наиболее подходящее наказание для террористов вообще и для таких террористов, как я, в особенности.

Журналистка: Я рада слышать, что Вы так считаете, господин Саид.

Приговоренный: Не стоит, госпожа, я попал туда, куда попал, только благодаря вам.

Журналистка: Благодаря *Вам*, господин Саид.

Приговоренный: Благодаря *вам*, госпожа.

Журналистка: Спасибо.

Приговоренный: Спасибо *вам*.

Журналистка: Пожалуйста. Господин Саид, не считаете ли Вы, что у нас есть все оправдания — с точки зрения нравственного аспекта морали — применять к вам смертную казнь?

Приговоренный: Как террорист-варвар, примитивный и бессовестный, я позволю себе сказать, что вы не только имеете полное право повесить меня, но на вас, можно сказать, лежит моральный долг поступить так. Есть ли более подходящий и справедливый приговор для банд террористов и подстрекателей, трусливых и безыдейных, вроде нас, кто нападает на спокойных и стремящихся к миру граждан?! Не за вами ли моральная правота — подобно тому, как за мной — эта виселица, — после того, как я подложил начиненные взрывчаткой игрушки в десять автобусов?! (*Плачет.*) Десять автобусов! Не говоря уже о самих водителях — чем провинились несчастные водители? Чем провинились водители, я Вас спрашиваю!

Журналистка: Я спрашиваю *Вас*.

Приговоренный: Нет, я спрашиваю *Вас*!

Палач протягивает ему носовой платок. Приговоренный сморкается и возвращает платок палачу.

(*Драматическим голосом*) «Если есть Высший Суд — да свершится тотчас!»

Палач сразу тянет за веревку, приговоренный поворачивается к палачу.

Минутку, товарищ палач.

Журналистка: Отраднo слышать в ваших устах цитату из Бялика, господин Саид.

Приговоренный: Я не уникален и не заслужил особого почтения, госпожа, я цитирую то, что на моем месте процитировал бы каждый.

Журналистка: И все же...

Приговоренный: Никакого «и все же», госпожа, я лишь выполняю то, что возложено на меня как на человека.

Журналистка: Я это уважаю.

Приговоренный: Я недостоин уважения, госпожа. *Вы* достойны уважения.

Журналистка: Спасибо.

Приговоренный: Спасибо *вам*.

Журналистка: Пожалуйста. Господин Саид, что Вы думаете о других аргументах в пользу смертной казни?

Приговоренный: Я за, разумеется. Какие, например, аргументы?

Журналистка: Например, фактор сдерживания.

Приговоренный: Как террорист со стажем, трусливый и жестокий, я позволю себе сказать, что фактор сдерживания является одним из важнейших аргументов в пользу смертной казни, и я сам после исполнения приговора буду удержан от свершения новых терактов.

Журналистка: Я счастлива это слышать.

Приговоренный: Это *я* счастлив.

Журналистка: Есть ли, по-Вашему, вероятность, что смертная казнь удержит террористов еще *до* того, как они будут пойманы?

Приговоренный: Как опытный, себялюбивый и умственно отсталый террорист я могу сказать, что присоединился к террористической организации только потому, что верил: когда меня поймают, я удостоюсь милостивого и уважительного обращения в ваших чудесных тюрьмах. В глубине души я просто жаждал, чтобы меня поймали ваши вежливые солдаты, жаждал приятно провести остаток жизни за чудной решеткой и сладким замком. Посмотрите, какой неусыпной заботы удостоиваемся мы, террористы, в ваших казематах. Посмотрите на мои руки и ноги – они целые! Ногти и зубы – целые! Мне стыдно смотреть! Спина – гладкая! Ни ожогов, ни шрамов! Я спрашиваю себя: что здесь происходит? За что мне такое? Это ведь может свести мыслящего террориста с ума!

Журналистка: Это действительно проблема, которая нас беспокоит.

Приговоренный: Беспокоит *нас*.

Журналистка: Спасибо.

Приговоренный: Спасибо *вам*.

Журналистка: На здоровье. И в завершение, господин Саид, какое послание вы как первый террорист, казнимый в нашем государстве, хотели бы передать нашему народу?

Палач приводит в действие рычаг, земля уходит из-под ног приговоренного, тот оседает и высовывает язык в сторону журналистки со всей возможной деликатностью.

Перевод Аллы Кучеренко

Турпоездка

Женщина:

Тур был потрясающий, просто потрясающий, сначала мы поехали в Италию, погода была чудесная, мы столько всего успели увидеть, потому что у нас были отличные гиды, они действительно сделали все возможное и даже сверх того, возили нас смотреть церкви, мы видели в Риме церкви, и во Флоренции церкви, и в Венеции и где только не, церковь и еще церковь и еще церковь, церковь со шпилем и церковь с башенкой, и с двумя башенками, с ума сойти можно – столько церквей, хватит, мы уже уловили идею, но что сказать, было хорошо, везде были отличные гиды, основательные и обстоятельные, объясняли нам каждую мелочь, каждый камушек, каждую пылинку, можно просто с ума сойти, и всюду мы ездили в самых новейших автобусах, с кондиционерами, отоплением и мягкими сиденьями, ездили и ездили, видели кучу всего, все время виды и виды и еще виды, тут круглый дом, там дом со шпилем, тут поле, там лес, и еще деревушка и еще деревушка, хватит, надоело, но мы столько всего успели, и то же самое в Швейцарии, снова дом, и снова речка, и снова гора, и снова долина, успели действительно кучу всего, в Лондоне было потрясающе, мы видели кабаре, это было еще во Франции, и в Швейцарии видели, нет, в Швейцарии это была тоже церковь, в Лондоне была чудесная погода, мы бесконечно покупали рубашки и плащи и сапоги, было здорово, мы останавливались в отличных гостиницах с завтраком, но на завтрак ничего не дают, ни яйца, ни салата, только тост с повидлом и еще тост с повидлом, то черничное повидло, то сливовое, хватит, сколько можно съесть повидла, принесите что-то нормальное, можно мозгами двинуться, но было потрясающе, с ума сойти, какой кошмар, но нам впахнули все, что можно, в этом смысле было потрясающе, потому что мы пошли к самым дорогим турагентам, нам ужасно понравился их турпакет, они действительно вложились по полной, сверх всех ожиданий, мы бегали как сумасшедшие, из автобуса – в автобус, из автобуса – в автобус, и все время смотрели, можно тронуться мозгами, сколько можно смотреть и смотреть, и в этом кабаре в Лондоне, нет, это было еще во Франции, нас повезли в музей, а потом в еще один музей и в еще один музей, молодцы какие, не жалели сил, гоняли нас как стадо баранов, с ума сойти можно, и мы были в этом кабаре во Франции, а может это было еще в Швейцарии, нет, в Швейцарии были виды, мы действительно видели много панорам и много музеев и много церквей, меня тошнит от церквей, а в Швейцарии было озеро а в нем церковь а внутри музей, или наоборот, внутри церкви было озеро

а в середине его музей а в музее дом с видом а в нем кабаре, а в нем корова, я не помню, помню только что что-то плавало, и было озеро с катерами и озеро без катеров, и музей египетского искусства, это было в Лондоне — я должна ехать в Лондон, чтобы посмотреть на египтян? — а кабаре было во Франции, я не понимала ни слова, да и в Англии я не понимала ни слова, я вообще ни слова не понимала, что говорили наши гиды, но они не переставали говорить и обстоятельно объяснять, болтали и болтали, такой кошмар, я думала что больна, нам не давали ни минуты покоя, просто потрясающе, как они трудились и выкладывались, в любом случае в Швейцарии было озеро, а в озере церковь со шпилем, в любом случае кабаре было снаружи озера, кабаре было в Лондоне, а в церкви был музей египетского искусства, в Лондоне не было озера, в Лондоне был тост с повидлом, или повидло было во Франции, но автобус был и в Лондоне, автобус сопровождал нас буквально повсюду, это было потрясающе, а из кабаре нас повезли в сирийский музей, или сирийский, или арабийский, хватит, можно свихнуться, куда нас еще повезут, вы нас добились, выгружали из автобуса и загружали в автобус, из автобуса и в автобус, мы успели и успели, и в Швейцарии мы ездили по земле и под землей, и в Лондоне тоже, над и под, и во Франции всё это тоже было, такого тура у меня в жизни не было и никогда больше не будет.

Перевод Аллы Кучеренко

Престарелый дядя

Как-то вечером мне позвонил мой престарелый дядя:

— Что слышно, Перцль?

— Как обычно.

Тогда он говорит мне:

— Что происходит?

Тогда я говорю ему:

— Так себе.

Тогда он мне говорит:

— Почему тебя не слышно?

Тогда я говорю ему:

— Я как раз собирался позвонить.

Тогда он меня спрашивает:

— А как дела у Шреера?

Я ему говорю:

— В порядке.

Тогда он говорит мне:

— А у Крехцля?

Я ему говорю:

— Крехцль в порядке.

Он говорит мне:

— Здоров?

Я говорю ему:

— Здоров.

Тогда он говорит мне:

— А как вообще?

Тогда я ему говорю:

— В порядке. Живем.

Тогда он меня спрашивает:

— А Файгенбойм?

Я ему отвечаю:

— Файгенбойм в порядке.

Тогда он мне говорит:

— А Драдрух?

Тогда я ему говорю:

— Драдрух тоже.

Тогда он мне говорит:

— Что нового?

Я ему отвечаю:

— Ничего нового.

Тогда он мне говорит:

— А что ты слышал из Америки?

Я ему говорю:

— Все в порядке.

Тогда он мне говорит:

— А кроме этого?

Я ему говорю:

— Кроме этого – все как обычно.

Тогда он мне говорит:

— А как сырость в стене?

Я ему отвечаю:

— Так же как и было.

Тогда он меня спрашивает:

— А как жизнь?

Тогда я ему отвечаю:

— Живы пока.

Тогда он мне говорит:

— Почему тебя не видно?

Тогда я говорю ему:

— Я как раз собирался заскочить.

Тогда он мне говорит:

— А как на улице?

Тогда я ему говорю:

— Немного прохладно.

Тогда он мне говорит:

— А что ты слышал от Юденхерца?

Я ему говорю:

— Все в порядке.

Тогда он мне говорит:

— А Бэла?

Тогда я ему говорю:

— Бэла как обычно.

Тогда он мне говорит:

— Прошло у нее уже?

Тогда я ему говорю:

— Врачи говорят, что да.

Тогда он говорит мне:

— А у Буксенбаума?

Тогда я говорю ему:

— У Буксенбаума тоже прошло.

Тогда он мне говорит:

— А сардины, ты все еще любишь сардины?

И вдруг я слышу «ТРАХ!», трубка упала на пол. Я секунду жду, слышу, что трубку поднимают и говорю:

— Да, я по-прежнему люблю сардины.

И тогда я слышу в трубке тетин голос:

— Дядя вдруг упал в середине беседы и умер.

Я чувствую себя отвратительно – прежде всего, ясное дело, из-за самой смерти, но также из-за того, что вдруг ляпнул тете, что я люблю сардины, хотя она меня не спрашивала, и вместе с тем чувствую смущение оттого, что у меня вышло сказать ей, что я люблю сардины, в аккурат когда ее муж падает замертво на пол. Но ужаснее всего я чувствую себя в отношении дяди, потому что его последними словами был вопрос, и он умер, не получив ответ. Даже если бы он услышал, что я по-прежнему люблю сардины, даже тогда он бы умер не Бог-весть-как, будучи безмерно счастливым, но хотя бы был бы ответ; а так – и «сардины», и нет ответа.

Перевод Михаила Почтаря

Чего хочет женщина

Слабея, она позволила доктору Барзилаю приподнять пальцем ее подбородок, пока его большой палец бродил вокруг ее губ... Когда он медленно поцеловал ее – промолчала, но скрестила руки на груди, будто пытаюсь отгородиться от него... Но когда его губы требовательно прижались к ее губам, она прикрыла глаза, немного воздуха вы-

рвалось из ее горла, и руки бессильно упали... И вдруг он крепко прижал ее к себе, лихорадочно шаря руками под блузкой... По коже у нее вдруг побежали мурашки, тело застыло... Но когда он стал лизать ей ухо, склонив голову и щекоча затылок кончиком уса, вновь размягчилась... Мелкие, но непрерывные волны колебаний поднялись в ней, когда она попыталась отстраниться от него...

Действительно, что она, в сущности, хочет? Хочет она его, этого доктора Барзилая, или не хочет? Приятен ли ей вкус его поцелуев? Напомнил ли он ей холодный огурец? Согласится ли она, если он сделает ей предложение? Отклонит? Ах, если бы только она сама знала! И что уж она такого хочет? Хочет, чтоб ей было хорошо, просто хорошо, чтоб ее не обманули, чтобы ей дали, чтобы для нее сделали, чтобы ей было приятно, сладко во рту, после мяса и вина и шоколада, нет, во время мяса, вина и шоколада, не слишком наелась, сыта, но весела, не засыпает, наоборот, танцует, наоборот, засыпает, готовая заснуть так крепко, как не спала с девяти лет, просыпается с ясной головой утром, и вот уже вечер, и бал, и доктор Барзилай это Боб Ричмонд, а она на диване, слушает музыку, а диван – бассейн с подогревой водой, на солнышке, при свете звезд, но и на солнышке, в Швейцарии и в Испании одновременно, и так приятно и мило, и сладко и пленительно, и у нее есть сын и дочь, и они уже взрослые, врач и виолончелистка, и в то же время им все еще три года, они не здесь, не мешают, они на прогулке с гувернанткой-француженкой, обняла и отправила гулять, ведь Боб в ванной уже готовится к страстной любви, и все это в бунгало на Французской Ривьере, оно же избушка на склоне Альп, оно же пентхаус в сердце Манхэттена, и ей все предстоит и все уже позади, вот так, так она хочет, чтобы вся жизнь сжалась в одну сладчайшую точку, эссенцию и экстракт, крохотную капсулу блага, которую кладут под язык, содержащую в себе всю возможную сладость, концентрат концентрата, сжатый и сфокусированный с мощностью лазерного луча, чтобы рассек язык и внутренности и весь земной шар, и Вселенная взорвется, и она упадет в обморок, и сразу вскочит, и пустится в пляс, принцесса Монако, гигантский аппетит бегемота, и смеется-смеется пока не упирается, и писать тоже приятно, и кстати о бегемотах – приятнее всего зевать, и все одновременно, и еще болтать, такой огромный нераздельный салат, и селедка туда же, тоже хорошо, и все это навечно, ни на йоту меньше, она хочет всего...

И какая-то кислая горечь исказила ее лицо, оттого что нет у нее того, что она хочет, что у нее есть потребности, а она не удовлетворена, весь мир обманул ее, а теперь пришел и доктор Барзилай со своими усами... А тем временем доктор Барзилай издал короткий стон, и сразу перестал шевелиться и открыл глаза, удивленные и печальные, и кончик уса щекочет ее подбородок, и все было так глупо, и у нее вырвался непроизвольный смешок, сопровождаемый несвежим выдохом изо рта.

Перевод Аллы Кучеренко

Умереть на Святой земле

Идет война. Блокада. Появляется группа дряхлых евреев, больных и склеротиков, только что сошедших с самолета, который привез их из Америки. Часть из них на инвалидных колясках, присоединены к капельницам и прочим аппаратам. Они бессильно машут флажками и пытаются слабым голосом петь «Хевену шалом алейхем...»

Старик: Наконец-то Святая Земля. После всего этого шума и насилия в Нью-Йорке — немного тишины и покоя...

(Рядом разрывается снаряд)

Что это?

Служащий Сохнута: Наверное, труба лопнула. Успокойся, дедуля.

Старик: Мы не в Майами? Я садился на самолет в Майами Оф Зе Мидл Ист.

Служащий Сохнута: Майами, дедуля, Майами.

Старик: Где же пальмы?

Служащий Сохнута: На ремонте.

Старик: Ну, труба, это бывает. По крайней мере, спокойное место, в котором можно провести остаток...

(Еще один снаряд разрывается, его жена падает замертво незаметно для него)

Что это? Еще одна труба?

Служащий Сохнута: Салют в вашу честь, дедуля. Вам тут устраивают царский прием.

Старик: В самом деле? В нашу честь? Зельда, слышишь?

(Видит свою жену лежащей на земле. Испуганно:)

Зельда!

Служащий Сохнута: Ш-ш-ш! Не будите ее! Здесь отдыхают с двух до четырех!

(Торопливо входят двое могильщиков, поднимают тело и выносят)

Тут, дедуля, пансион. Отдыхают и отдыхают.

(Двое могильщиков возвращаются с саваном, начинают заворачивать в него старика).

Старик: Что это?

Служащий Сохнута: Вас переодевают. Костюмированный бал, дедуля. Я уже говорил, что вечером вам устраивают костюмированный бал?

Старик: Ой, Эрец Исроэл, Эрец Исроэл! В кого я переодеваюсь?

Служащий Сохнута: В фараона.

Старик: А где же корона?

Служащий Сохнута: В мумию фараона.

(Звук нового взрыва. Входят еще двое могильщиков с гробом. Старика кладут в гроб).

Старик: А зачем гроб?

Служащий Сохнута: Повесить костюм до начала бала.

Старик: Вместе со мной?

Служащий Сохнута: Чтобы не пришлось раздеваться и снова одеваться, дедуля.

Старик: Ах, я вижу, это будет тот еще бал...

(Могильщики наматывают ему саван на лицо, отключают капельницу)

Служащий Сохнута: А сейчас, дедуля, отдыхать.

Старик: Да, отдыхать. Ой, я приехал в такое чудное место, я уже вижу, что здесь я буду очень много отдыхать.

Служащий Сохнута: Да, дедуля, будешь отдыхать и отдыхать без конца. Только отдыхать и отдыхать...

Могильщики *(поднимают гроб)* В раю будет отдохновение твое... *(Выходят)*

Старик: *(кричит из гроба)* И не забудьте разбудить меня в четыре!

(1982)

Перевод Аллы Кучеренко

Грехопадение или познание добра и зла

Аллея красивоподстриженных деревьев изображает райский сад. Посередине Древо жизни и Древо Познания Добра и Зла. Сзади направо церковь.

FIGVRA (указывая рукой на дерево, говорит). Вот это дерево познания добра и зла. От других деревьев ешьте плоды, а от этого дерева плодов не ешьте. (Уходит в церковь.)

АДАМ (указывая рукой на дерево). Вот это дерево познания добра и зла. От других деревьев мы будем есть плоды, а от этого дерева мы плодов есть не будем. Ты, Ева, обожди меня, а я пойду соберу малину. (Уходит.)

ЕВА. Вот это дерево познания добра и зла. Адам запретил мне есть плоды с этого дерева. А интересно, какого они вкуса? Мастер Леонардо. (Из-за дерева появляется М а с т е р Л е о н а р д о.)

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Ева! Вот я пришел к тебе.

ЕВА. А скажи мне, Мастер Леонардо, зачем?

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Ты такая красивая, белотелая и полногрудая. Я хлопочу о пользе.

ЕВА. Дай-то Бог.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Ты знаешь, Ева, я люблю тебя.

ЕВА. А я знаю, что это такое?

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Неужто не знаешь?

ЕВА. Откуда мне знать?

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Ты меня удивляешь.

ЕВА. Ой, посмотри, как смешно фазан на фазаниху сел!

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Вот это и есть то самое.

ЕВА. Что то самое?

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Любовь.

ЕВА. Тогда это очень смешно. Ты что? Хочешь тоже на меня верхом сесть?

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Да, хочу. Но только ты ничего не говори Адаму.

ЕВА. Нет, не скажу.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Ты, я вижу, молодец.

ЕВА. Да, я бойкая баба!

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. А ты меня любишь?

ЕВА. Да, я не прочь, чтобы ты меня поката-
тал по саду на себе верхом.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Садись ко мне на плечи.

Ева садится верхом на Мастера Леонардо, и он скачет с ней по саду.

Входит Адам с картузом, полным малины, в руках.

АДАМ. Ева! Где ты? Хочешь малины? Ева! Куда же она ушла? Пойду ее искать. (Уходит.)

Появляется Ева верхом на Мастере Леонардо.

ЕВА (спрыгивая на землю). Ну, спасибо. Очень хорошо.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. А теперь попробуй вот это яблоко.

ЕВА. Ой, что ты! С этого дерева нельзя есть плодов.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Послушай, Ева! Я давно уже узнал все тайны рая. Кое-что я расскажу тебе.

ЕВА. Ну говори, а я послушаю.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Будешь меня слушать?

ЕВА. Да, я тебя ни в чем не огорчу.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. А не выдашь меня?

ЕВА. Нет, поверь мне.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. А вдруг все откроется?

ЕВА. Не через меня.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Ну хорошо. Я верю тебе. Ты была в хорошей школе. Я видел Адама, он очень глуп.

ЕВА. Он грубоват немного.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Он ничего не знает. Он мало путешествовал и ничего не видел. Его одурачили. А он одурачивает тебя.

ЕВА. Каким образом?

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Он запрещает тебе есть плоды с этого дерева. А ведь это самые вкусные плоды. И когда ты съешь этот плод, ты сразу поймешь, что хорошо и что плохо. Ты сразу узнаешь очень много и будешь умнее самого Бога.

ЕВА. Возможно ли это?

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Да уж я говорю тебе, что возможно.

ЕВА. Ну, право, я не знаю, что мне делать.

МАСТЕР ЛЕОНАРДО. Ешь это яблоко! Ешь, ешь!

Появляется Адам с картузом в руках.

АДАМ. Ах вот ты где, Ева! А это кто?

Мастер Леонардо скрывается за кусты.

АДАМ. Это кто был?

ЕВА. Это был мой друг, Мастер Леонардо.

АДАМ. А что ему нужно?

ЕВА. Он посадил меня верхом к себе на шею и бегал со мной по саду. Я страшно смеялась.

АДАМ. Больше вы ничего не делали?

ЕВА. Нет.

АДАМ. А что это у тебя в руках?

ЕВА. Это яблоко.

АДАМ. С какого дерева?

ЕВА. Вон с того.

АДАМ. Нет, врешь, с этого.

ЕВА. Нет, с того.

АДАМ. Врешь поди.

ЕВА. Честное слово, не вру.

АДАМ. Ну хорошо, я тебе верю.

ЗМЕЙ (сидящий на дереве познания добра и зла). Она врет. Ты не верь. Это яблоко с этого дерева!

АДАМ. Брось яблоко. Обманщица.

ЕВА. Нет, ты очень глуп. Надо попробовать, каково оно на вкус.

АДАМ. Ева! Смотри!

ЕВА. И смотреть тут нечего!

АДАМ. Ну как знаешь.

Ева откусывает от яблока кусок.

Змей от радости хлопает в ладоши.

ЕВА. Ах, как вкусно! Только что же это такое? Ты все время исчезаешь и появляешься вновь. Ой! Все исчезает и откуда-то появляется все опять. Ох, как это интересно! Ай! Я голая! Адам, подойди ко мне ближе, я хочу сесть на тебя верхом!

АДАМ. Что такое?

ЕВА. На, ешь ты тоже это яблоко!

АДАМ. Я боюсь.

ЕВА. Ешь! Ешь!

Адам съедает кусок яблока и сразу же прикрывается картузом.

АДАМ. Мне стыдно.

Из церкви выходит Figvra.

FIGVRA. Ты, человек, и ты, человечка, вы съели запрещенный плод. А потому вон из моего сада!

Figvra уходит обратно в церковь.

АДАМ. Куда же нам идти?

Появляется ангел с огненным челом и гонит их из рая.

АНГЕЛ. Пошли вон! Пошли вон! Пошли вон!

МАСТЕР ЛЕОНАРДО (появляясь из-за кустов). Пошли, пошли! Пошли, пошли! (Машет руками.) Давайте занавес!

З а н а в е с

Елизавета Бам

ЕЛИЗАВЕТА БАМ. Сейчас, того и гляди, откроется дверь и они войдут... Они обязательно войдут, чтобы поймать меня и стереть с лица земли. Что я наделала? Если бы я только знала... Бежать? Но куда бежать? Эта дверь ведет на лестницу, а на лестнице я встречу их. В окно? (Смотрит в окно.) Ууу, высоко! мне не прыгнуть! Ну что же мне делать?.. Э! чьи-то шаги! Это они. Запру дверь и не открою. Пусть стучат, сколько хотят.

СТУК В ДВЕРЬ, ПОТОМ ГОЛОС. Елизавета Бам, откройте! Елизавета Бам, откройте!

ГОЛОС ИЗДАЛЕКА. Ну что она там, двери не открывает?

ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ. Откройте, Елизавета Бам, откройте.

ГОЛОСА ЗА ДВЕРЬЮ.

ПЕРВЫЙ: Елизавета Бам, я Вам приказываю немедленно же открыть!

ВТОРОЙ: Вы скажите ей, что иначе мы сломаем дверь. Дайте-ка я попробую.

ПЕРВЫЙ: Мы сами сломаем дверь, если Вы сейчас не откроете.

ВТОРОЙ: Может, ее здесь нету?

ПЕРВЫЙ (тихо): Здесь. Где же ей быть? Она взбежала по лестнице наверх. Здесь только одна дверь. (Громко): Елизавета Бам, говорю Вам в последний раз, откройте дверь. (Пауза.) Ломай.

ВТОРОЙ: У Вас ножа нету?

ПЕРВЫЙ: Нет, Вы плечом.

ВТОРОЙ: Не поддается. Постой-ка, я еще так попробую.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Я Вам дверь не открою, пока Вы не скажите, что Вы хотите со мной сделать.

ПЕРВЫЙ: Вы сами знаете, что Вам предстоит.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Нет, не знаю. Вы меня хотите убить?

ПЕРВЫЙ: Вы подлежите крупному наказанию!

ВТОРОЙ: Вы все равно от нас не уйдете!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Вы, может быть, скажете мне, в чем я провинилась?

ПЕРВЫЙ: Вы сами знаете.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Нет, не знаю.

ПЕРВЫЙ: Разрешите Вам не поверить.

ВТОРОЙ: Вы преступница.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ха-ха-ха-ха! А если Вы убьете меня, Вы думаете, Ваша совесть будет чиста?

ПЕРВЫЙ: Мы сделаем это, сообразуясь с нашей совестью.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: В таком случае, увы, но у Вас нет совести.

ВТОРОЙ: Как нет совести? Петр Николаевич, она говорит, что у нас нет совести.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: У Вас-то, Иван Иванович, нет никакой совести. Вы просто мошенник.

ВТОРОЙ: Кто мошенник? Это я? Это я? Это я мошенник?!

ПЕРВЫЙ: Ну подожди, Иван Иванович! Елизавета Бам, прика...

ВТОРОЙ: Нет, постойте, Петр Николаевич, Вы мне скажите, это я мошенник?

ПЕРВЫЙ: Да отстаньте же Вы!

ВТОРОЙ: Это что же, я, по-Вашему, мошенник?

ПЕРВЫЙ: Да, мошенник!!!

ВТОРОЙ: Ах так, значит по-Вашему я мошенник! Так Вы сказали?

ПЕРВЫЙ: Убирайтесь вон! Балда какая! Я еще пошел на ответственное дело. Вам слово сказали, а Вы уж и на стену лезете. Кто же Вы после этого? Просто идиот!

ВТОРОЙ: А Вы шарлатан!

ПЕРВЫЙ: Убирайтесь вон!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Иван Иванович мошенник!

ВТОРОЙ: Я Вам этого не прощу!

ПЕРВЫЙ: Я Вас сейчас спущу с лестницы!

Елизавета Бам открывает двери.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Попробуйте скиньте!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Скину, скину, скину, скину!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Руки коротки!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Это у меня-то руки коротки?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ну да!

ИВАН ИВАНОВИЧ: У Вас! У Вас! Скажите, ведь у него?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: У него!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Елизавета Бам, Вы не смеете так говорить.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Почему?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Потому что Вы лишены всякого голоса. Вы совершили гнусное преступление. Не Вам говорить мне дерзости. Вы — преступница!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Почему?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Что почему?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Почему я преступница?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Потому что Вы лишены всякого голоса.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Лишены всякого голоса.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: А я не лишена. Вы можете проверить по часам.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: До этого дело не дойдет. Я у дверей расставил стражу, и при малейшем толчке Иван Ивановичикнет в сторону.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Покажите. Пожалуйста, покажите.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Ну, смотрите. Предлагаю отвернуться. Раз, два, три. (Толкает тумбу.)

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Еще раз, пожалуйста! Как это вы делаете?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Очень просто. Иван Иванович, покажите.

ИВАН ИВАНОВИЧ: С удовольствием.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Да ведь это же прелесть как хорошо (Кричит.) Мама! Пойди сюда! фокусники приехали. Сейчас придет моя мама... Познакомьтесь, Петр Николаевич, Иван Иванович. — Вы что-нибудь нам покажете?

ИВАН ИВАНОВИЧ: С удовольствием.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Халэ оп! Сразу, сразу.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Тут негде упереться.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Хотите, может быть, полотенце?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Зачем?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Просто так. Хи-хи-хи-хи.

ИВАН ИВАНОВИЧ: У вас чрезвычайно приятная внешность.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ну да? Почему?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Ы-ы-ы-ы-ы потому что вы незабудка. (Громко икает.)

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Я незабудка? Правда? А вы тюльпан.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Как?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Тюльпан.

ИВАН ИВАНОВИЧ (в недоумении): Очень приятно-с.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: (в нос): Разрешите вас сорвать.

ОТЕЦ (басом): Елизавета, не дури.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (отцу): Я, папочка, сейчас перестану. (Иван Ивановичу, в нос): Встаньте на четверинки.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Если позволите, Елизавета Таракановна, я пойду лучше домой. Меня ждет жена дома. У ней много ребят, Елизавета Таракановна. Простите, что я так надоел Вам. Не забывайте меня. Такой уж я человек, что все меня гоняют. За что, спрашивается? Украл я, что ли? Ведь нет! Елизавета Эдуардовна, я честный человек. У меня дома жена. У жены ребят много. Ребята хорошие. Каждый в зубах по спичечной коробке держит. Вы уж простите меня. Я, Елизавета Михайловна, домой пойду.

МАМАША ПОЕТ ПОД МУЗЫКУ: Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит и т.д.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Ну вот и приехали!

ПАПАША: Слава Тебе, Господи!

Уходят.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: А ты, мама, не пойдешь разве гулять?

МАМАША: А тебе хочется?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Страшно.

МАМАША: Нет, не пойду.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Пойдем, ну-у-у-у.

МАМАША: Ну пойдем, пойдем. (Уходят.)

(Сцена пуста)

ИВАН ИВАНОВИЧ И ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, ВБЕГАЯ:

Где, где, где

Елизавета Бам,

Елизавета Бам,

Елизавета Бам.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Тут, тут, тут.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Там, там, там.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Где мы оказались, Иван Иванович?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Петр Николаевич, мы с вами взаперти.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Что за безобразие! Прошу меня не тычь!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Вот Вам фунт, баста пять без пяти.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Где Елизавета Бам?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Зачем ее надо Вам?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Чтобы убить!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Хм, Елизавета Бам сидит на скамейке там.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Бежим тогда во всю прыть.

ОБА БЕГУТ НА ОДНОМ МЕСТЕ. НА АВАНСЦЕНУ ВЫНОСЯТ ПОЛЕНО, И ПОКА П.Н. И И.И. БЕГУТ, РАСПИЛИВАЮТ ЭТО ПОЛЕНО.

Хоп, хоп,

ногами

закат за

горами

облаками розовыми

пух, пух

паровозами

хук, хук

филина бревно! —

— распилено.

Отодвигается кулиса и за кулисами сидит Е.Б.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Вы меня ищете?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Вас! Ванька, она тут!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Где, где, где?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Здесь под фарлушкой.

На сцену выходит нищий.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Тащи ее наружу!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Не вытаскивается!

НИЩИЙ (Елизавете Бам): Товарищ, помогите.

ИВАН ИВАНОВИЧ (заикаясь): Вот следующий раз у меня больше опыта будет. Я как все подметил.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (нищему): У меня ничего нет.

НИЩИЙ: Копеечку бы.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Спроси того вон дяденьку. (Указывает на Петра Николаевича.)

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (Ивану Ивановичу, заикаясь): Ты гляди, что ты делаешь!

ИВАН ИВАНОВИЧ (заикаясь): Я корни выкапываю.

НИЩИЙ: Помогите, товарищи.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (нищему): Давай. Залезай туда.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Руками обопришь о камушки.

Нищий улезает под кулису.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Ничего, он это умеет.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Садитесь и вы. Чего смотреть?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Благодарю.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Сядем.

(Садятся.)

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Что-то муж мой не идет. Куда он пропал?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Придет. (Вскакивает и бежит по сцене.) Чур-чур!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Ха-ха-ха. (Бежит за Петром Николаевичем.) Где же дом?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Тут вот, за этой черточкой.

На сцену выходит Папаша с пером в руке.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (хлопает Ивана Ивановича): Ты пятнашка!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Иван Иванович, бегите сюда!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Ха-ха-ха, у меня ног нет!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: А ты так, на четверенках!

ПАПАША: Про которую написано было.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Кто пятнашка?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Я, ха-ха-ха, в штанах!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ И ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ха-ха-ха-ха!..

ПАПАША: Коперник был величайшим ученым.

ИВАН ИВАНОВИЧ (валится на пол): У меня на голове волосы.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ И ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Я весь лежу на полу!

На сцену выходит Мамаша.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ И ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ха-ха-ха-ха-ха!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ой, ой, не могу!

ПАПАША: Покупая птицу, смотри, нет ли у нее зубов. Если есть зубы, то это не птица. (Выходит.)

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (поднимая руку): Прошу как следует вслушаться в мои слова. Я хочу доказать Вам, что всякое несчастье наступает неожиданно. Когда я был еще совсем молодым человеком, я жил в небольшом домике со скрипучей дверью. Я жил один в этом домике. Кроме меня были лишь одни мыши и тараканы. Тараканы всюду бывают; когда наступала ночь, я запирал дверь и тушил лампу. Я спал, не боясь ничего.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ: Н и ч е г о!

МАМАША: Ничего!

ДУДОЧКА ЗА СЦЕНОЙ: ! — !

ИВАН ИВАНОВИЧ: Ничего!

РОЯЛЬ: ! — !

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Ничего. (Пауза.) Мне нечего было бояться. И действительно. Грабители могли бы прийти и обыскать весь домик. Что бы они нашли? Ничего.

ДУДОЧКА ЗА СЦЕНОЙ: ! — ! (пауза.)

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: А кто бы еще мог забраться ко мне ночью? Больше никому ведь? Правда?

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ: Ведь никому же больше?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Правда? Но однажды я просыпаюсь..

ИВАН ИВАНОВИЧ: ... и вижу, дверь открыта, а в дверях стоит какая-то женщина. Я смотрю на нее прямо в упор.

Она стоит. Было достаточно светло. Должно быть, дело близилось к утру. Во всяком случае, я видел хорошо ее лицо. Это была вот кто. (Показывает на Елизавету Бам.) Тогда она была похожа...

ВСЕ: На меня!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Говорю, чтобы быть.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Что Вы говорите?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Говорю, чтобы быть. Потом, думаю, уже поздно. Она слушает меня. (Все, кроме Елизаветы Бам и Ивана Ивановича уходят.) Я спросил ее, чем она это сделала. Она говорит, что подралась с ним на эспадронах. Дрались честно, но она не виновата, что убила его. Слушай, зачем ты убила Петра Николаевича?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ура, я никого не убивала!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Взять и зарезать человека! Сколь много в этом коварства! Ура! ты это сделала, а зачем!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (уходит в сторону и оттуда): Ууууууууу-у-у-у-у.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Волчица.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ууууу-у-у-у-у-у-у-у.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Во-о-о-о-о-лчица.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (дрожит): У-у-у-у-у — черносливы.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Пр-р-р-рабабушка.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ликование!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Погублена навеки!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Вороной конь, а на коне солдат!

ИВАН ИВАНОВИЧ (зажигает спичку): Голубушка Елизавета!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Мои плечи, как восходящее солнце!

(Влезает на стул.)

ИВАН ИВАНОВИЧ (сидя на корточках): Мои ноги, как огурцы!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (влезая выше): Ура! Я ничего не говорила!

ИВАН ИВАНОВИЧ (ложась на пол): Нет, нет, ничего, ничего. Г.г. пш. пш.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (поднимая руки): Ку-ни-ма-га-ни-ли-ва-ни-баууу!

ИВАН ИВАНОВИЧ (лежа на полу, поет):

Мурка кошечка

молочко приговаривала

на подушку прыгала

и на печку прыгала

прыг, прыг.

Скок, скок.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ [КРИЧИТ]: Дзы калитка! Рубашка! веревка!

ИВАН ИВАНОВИЧ (приподнимаясь): Прибежали два плотника и спрашивают: в чем дело?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Котлеты! Варвара Семенна!

ИВАН ИВАНОВИЧ (кричит, стиснув зубы): Плясунья на проволо-о-о!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (спрыгивая со стула): Я вся блестящая!

ИВАН ИВАНОВИЧ (бежит вглубь комнаты): Кубатура этой комнаты нами не изведена.

Кулисы подают Папашу и Мамашу.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (бежит на другой конец сцены): Свои люди, сочтемся!

ИВАН ИВАНОВИЧ (прыгая на стул): Благополучие Пенсильванского пастуха и пасту-у-у-у!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (прыгая на другой стул): Иван Ива-а-а-а!

ПАПАША (показывая коробочку): Коробочка из дере-е-е-е!

ИВАН ИВАНОВИЧ (со стула): Пока-а-а!

ПАПАША: Возьми посмо-о-о!

МАМАША: Ау-у-у-у-у!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Нашла подберезови-и-и-и!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Пойдемте на озеро!

ПАПАША: Ау-у-у-у-у!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ау-у-у-у-у!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Я вчера Кольку встретил!

МАМАША: Да что Вы-ы-ы?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Да, да. Встретил, встретил. Смотрю, Колька идет и яблоко несет. Что, говорю, купил? Да, говорит, купил. Потом взял и дальше пошел.

ПАПАША: Скажите пожалуйста-а-а-а-а!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Нда. Я его спросил: ты что, яблоки покупал или крал? А он говорит: зачем крал? Покупал. И пошел себе дальше.

МАМАША: Куда же это он пошел?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Не знаю. Не крал, не покупал. Пошел себе.

ПАПАША: С этим не совсем любезным приветствием сестра привела его к более открытому месту, где были поставлены в кучу золотые столы и кресла, и штук пятнадцать молодых девиц весело болтали между собой, сидя на чем Бог послал. Все эти девицы сильно нуждались в горячем утюге и все отличались странной манерой вертеть глазами, ни на минуту не переставая болтать.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Друзья, мы все тут собрались. Ура!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ура!

МАМАША И ПАПАША: Ура!

ИВАН ИВАНОВИЧ (дрожа и зажигая спичку): Я хочу сказать вам, что с тех пор, как я родился, прошло 38 лет.

ПАПАША И МАМАША: Ура!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Товарищи. У меня дом есть. Дома жена сидит. У ней много ребят. Я их сосчитал — 10 штук.

МАМАША (топчаь на месте): Дарья, Марья, Федор, Пелагея, Нина, Александр и четверо других.

ПАПАША: Это все мальчишки?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (бежит вокруг сцены):

Оторвалась отовсюду!

Оторвалась и побежала!

Оторвалась и ну бегать!

МАМАША (бежит за Елизаветой Бам): Хлеб ешь?

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Суп ешь?

ПАПАША: Мясо ешь? (Бежит.)

МАМАША: Муку ешь?

ИВАН ИВАНОВИЧ: Брюкву ешь? (Бежит.)

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Баранину ешь?

ПАПАША: Котлеты ешь?

МАМАША: Ой, ноги устали!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Ой, руки устали!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ой, ножницы устали!

ПАПАША: Ой, пружины устали!

МАМАША: На балкон дверь открыта!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Хотел бы я подпрыгнуть до четвертого этажа.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Оторвалась и побежала! Оторвалась и ну бежать!

ПАПАША: Караул, моя правая рука и нос такие же штуки, как левая рука и ухо!

ХОР (под музыку на мотив увертюры):

До свидания, до свидания.

!! — !

Наверху говорит сосна,

а кругом говорит темно.

На сосне говорит кровать,

а в кровати лежит супруг.

До свидания, до свидания.

!! — !

!! — !

Как-то раз прибежали мы

! — ! в бесконечный дом.

А в окно наверху глядит

сквозь очки молодой старик.

До свидания, до свидания.

!! — !

!! — !

Растворились ворота,

показались ! — !

(Увертюра)

ИВАН ИВАНОВИЧ:

Сам ты сломан

стул твой сломан.

СКРИПКА: па па пи па

па па пи па

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ:

Встань Берлином

надень пелерину.

СКРИПКА: па па пи па

па па пи па

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Восемь минут

пробегут незаметно.

СКРИПКА: па па пи па па

па па пи

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Вам счет отдан

будите трудыны

взвод или роту

вести пулемет.

БАРАБАН: ! — - ! —

! — - ! —

! — - ! — - ! — !

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Ключья летели неделю за неделей.

СИРЕНА И БАРАБАН: виа-а бум, бум виа-а-а бум.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Капитанного шума первого не заметила сикурая невеста.

СИРЕНА: виа, виа, виа, виа.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Помогите сейчас, помогите, надо мною салат и водица.

СКРИПКА: па па пи па

па па пи па

ИВАН ИВАНОВИЧ: Скажите, Петр Николаевич, Вы были там на той горе.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Я только что оттуда, там прекрасно.

Цветы растут. Деревья шелестят.

Стоит избушка — деревянный домик,

в избушке светит огонек,

на огонек слетаются черницы,

стучат в окно ночные комары.

Порой шмыгнет и выпорхнет под

крышей разбойник старый козодой,

собака цепью колыхает воздух

и лает в пустоту перед собой,

а ей в ответ невидные стрекозы
бормочут заговор на все лады.

ИВАН ИВАНОВИЧ: А в этом домике, который деревянный,
который называется избушка,
в котором огонек блестит и шевелится,
кто в этом домике живет?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Никто в нем не живет
и дверь не растворяет,
в нем только мыши трут ладонями муку,
в нем только лампа светит розмарином
да целый день пустынною сидит
на печке таракан.

ИВАН ИВАНОВИЧ: А кто же лампу зажигает?

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Никто, она горит сама.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Но этого же не бывает!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Пустые, глупые слова!

Есть бесконечное движенье,
дыханье легких элементов,
планетный бег, земли вращенье,
шальная смена дня и ночи,
глухой природы сочетанье,
зверей дремучих гнев и сила
и покоренье человеком
законов света и волны.

ИВАН ИВАНОВИЧ (зажигая спичку): Теперь я понял,
понял, понял,

благодарю и приседаю,
и как всегда, интересуюсь —
который час? скажите мне.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Четыре. Ой, пора обедать!

Иван Иванович, пойдете,
но помните, что завтра ночью
Елизавета Бам умрет.

ПАПАША (входя): Которая Елизавета Бам,
которая мне дочь,
которую хотите вы на следующую ночь
убить и вздернуть на сосне,
которая стройна,
чтобы знали звери все вокруг
и целая страна.

А я приказываю вам
могуществом руки забыть Елизавету Бам
законам вопреки.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Попробуй только запрети,
я растопчу тебя в минуту,
потом червонными плетями
я перебью твои суставы.

Изрежу, вздую и верхом
пущу по ветру петухом.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Ему известно все вокруг,
он повелитель мне и друг,
одним движением крыла
он двигает морями,
одним размахом топора
он рубит лес и горы —
одним дыханием своим
он всюду есть неуловим.

ПАПАША: Давай, сразимся, чародей,
ты словом, я рукой,
пройдет минута, час пройдет,

потом еще другой.

Погибнешь ты, погибну я,
все тихо будет там,
но пусть ликует дочь моя
Елизавета Бам.

СРАЖЕНЬЕ ДВУХ БОГАТЫРЕЙ

ИВАН ИВАНОВИЧ: Сражение двух богатырей!

Текст — Иммануила Красдайтейрик.

Музыка — Велиопага, нидерландского пастуха.

Движение — неизвестного путешественника.

Начало объявит колокол!

ГОЛОСА С РАЗНЫХ КОНЦОВ ЗАЛА:

Сражение двух богатырей!

Текст — Иммануила Красдайтейрик.

Музыка — Велиопага, нидерландского пастуха!

Движение — неизвестного путешественника!

Начало объявит колокол!

Сражение двух богатырей!

и т.д.

КОЛОКОЛ: Бум, бум, бум, бум, бум.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Курыбыр дарамур

дыньдири

слакатырь пакарадагу

ды кы чире кири кири

занудила хабакула

хе-е-ель

ханчу ана куды

стум чи на лакуды

пара вы на лыйтена

хе-е-ель

чапу ачапали

чапатали мар

набалочина

хе-е-ель (поднимает руку).

ПАПАША: Пускай на солнце залетит

крылатый попугай,

пускай померкнет золотой,

широкий день, пускай.

Пускай прорвется сквозь леса

копыта звон и стук,

и с визгом сходит с колеса

фундамента сундук.

И рыцарь, сидя за столом

и трогая мечи, поднимет чашу, а потом

над чашей закричит:

Я эту чашу подношу

к восторженным губам,

я пью за лучшую из всех,

Елизавету Бам.

Чьи руки белы и свежи,

ласкали мой жилет...

Елизавета Бам, живи,

живи сто тысяч лет.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Ну-с, начинаем.

Прошу внимательно следить

за колебаньем наших сабель, —

куда которая бросает острие

и где которая приемлет направление.

ИВАН ИВАНОВИЧ: Итак, считаю нападение слева!

ПАПАША: Я режу вбок, я режу вправо,

Спасайся кто куда!
 Уже шумит кругом дубрава,
 растут кругом сады.
 ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Смотри поменьше по сторонам,
 а больше наблюдай движенье
 железных центров и сгущенье смертельных сил.
 ПАПАША: Хвала железу — карборунду!
 Оно скрепляет мостовые
 и, электричеством сияя,
 терзает до смерти врага!
 Хвала железу! Песнь битве!
 Она разбойника волнует,
 младенца в юноши выносит
 терзает до смерти врага!
 О песнь битве! Слава перьям!
 Они по воздуху летают,
 глаза неверным заполняют,
 терзают до смерти врага!
 О слава перьям! Мудрость камню.
 Он под сосной лежит серьезной,
 из-под него бежит водица
 навстречу мертвому врагу.
 Петр Николаевич падает.
 ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Я пал на землю поражен,
 прощай, Елизавета Бам,
 сходи в мой домик на горе
 и запрокинься там.
 И будут бегать по тебе
 и по твоим рукам глухие мыши, а затем
 пустынный таракан.
 Звонит колокол.
 Ты слышишь, колокол звенит
 на крыше бим и бам.
 Прости меня и извини, Елизавета Бам.
 ИВАН ИВАНОВИЧ: Сраженье двух богатырей окончено.
 Петра Николаевича выносят.
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ (входя): Ах, папочка, ты тут.
 Я очень рада,
 я только что была в кооперативе,
 я только что конфеты покупала,
 хотела, чтобы к чаю был бы торт.
 ПАПАША (растегивая ворот): Фу, утомился как.
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ: А что ты делал?
 ПАПАША: Да... я дрова колот и страшно утомлен.
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Иван Иванович, сходите в полпивную и принесите нам бутылку пива и горох.
 ИВАН ИВАНОВИЧ: Ага, горох и полбутылки пива, сходить в пивную, а оттуда сюда.
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Не полбутылки, а бутылку пива, и не в пивную, а в горох идти!
 ИВАН ИВАНОВИЧ: Сейчас, я шубу в полпивную спрячу, а сам на голову одену полгорох.
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Ах, нет, не надо, торопитесь только, а мой папочка устал колоть дрова.
 ПАПАША: О что за женщины, понятия в них мало,
 они в понятиях имеют пустоту.
 МАМАША (входя): Товарищи. Маво сына эта мержавка укукосыла.
 Из-за кулис высовываются две головы.
 ГОЛОВЫ: Какая? Какая?
 МАМАША: Эта вот, с такими вот губами!
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Мама, мама, что ты говоришь?
 МАМАША: Все из-за тебя евонная жизнь окончилась вничью.
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Да ты мне скажи, про кого ты говоришь?
 МАМАША (с каменным лицом): Иих! иих! иих!
 ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Она с ума сошла!

МАМАША: Я каракатица.

Кулисы поглощают Папашу и Мамашу.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Они сейчас придут, что я наделала!

МАМАША: $3 \times 27 = 81$.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Они обязательно придут, чтобы поймать и стереть с лица земли. Бежать. Надо бежать. Но куда бежать? Эта дверь ведет на лестницу, а на лестнице я встречу их. В окно?

(Смотрит в окно.) О-о-о-х. Мне не прыгнуть. Высоко очень! Но что же мне делать? Э! Чьи-то шаги. Это они. Запру дверь и не открою. Пусть стучат, сколько хотят.

Запирает дверь.

СТУК В ДВЕРЬ, ПОТОМ ГОЛОС: Елизавета Бам, именем закона, приказываю Вам открыть дверь.

Молчание.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Приказываю Вам открыть дверь!

Молчание.

ВТОРОЙ ГОЛОС (тихо): Давайте ломать дверь.

ПЕРВЫЙ ГОЛОС: Елизавета Бам, откройте, иначе мы сами взломаем!

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Что вы хотите со мной сделать?

ПЕРВЫЙ: Вы подлежите наказанию.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: За что? Почему вы не хотите сказать мне, что я сделала?

ПЕРВЫЙ: Вы обвиняетесь в убийстве Петра Николаевича Крупернак.

ВТОРОЙ: И за это Вы ответите.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Да я не убивала никого!

ПЕРВЫЙ: Это решит суд.

Елизавета Бам открывает дверь. Входят

Петр Николаевич и Иван Иванович, переодетые в пожарных.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: Я в вашей власти.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Именем закона Вы арестованы.

ИВАН ИВАНОВИЧ (зажигая спичку): Следуйте за нами.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (кричит): Вяжите меня! Тащите за косу! Продевайте сквозь корыто! Я никого не убивала. Я не могу убивать никого!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Елизавета Бам, спокойно!

ИВАН ИВАНОВИЧ: Смотрите в даль перед собой.

ЕЛИЗАВЕТА БАМ: А в домике, который на горе, уже горит огонек. Мыши усиками шевелят, шевелят. А на печке таракан тараканович, в рубахе с рыжим воротом и с топором в руках сидит.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ: Елизавета Бам! Вытянув руки и потушив свой пристальный взор, двигайтесь следом за мной, хроня суставов равновесие и сухожилий торжество. За мной.

Медленно уходят.

Занавес

Писано с 12 по 24 декабря 1927 года. М.

Когда я вижу человека

Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека!

Я сижу у себя в комнате и ничего не делаю.

Вот кто-то пришел ко мне в гости, он стучится в мою дверь.

Я говорю: «Войдите!» Он входит и говорит: «Здравствуйте! Как хорошо, что я застал вас дома!» А я его стук по морде, а потом ещё сапогом в промежность. Мой гость падает навзничь от страшной боли. А я ему каблуком по глазам! Дескать, нечего шляться, когда не звали!

А то ещё так. Я предлагаю гостю выпить чашку чая. Гость соглашается, садится к столу, пьет чай и что-то рассказывает. Я делаю вид, что слушаю его с большим интересом, киваю головой, ахаю, делаю удивленные глаза и смеюсь. Гость, польщенный моим вниманием, расходится все больше и больше.

Я спокойно наливаю полную чашку кипятка и плещу кипятком гостю в морду. Гость вскакивает и хватается за лицо. А я ему говорю: «Больше нет в душе моей добродетели. Убирайтесь вон!» И я выталкиваю гостя.

Происшествие на улице

Однажды один человек соскочил с трамвая, да так неудачно, что попал под автомобиль. Движение уличное остановилось, и милиционер принялся выяснять, как произошло несчастье. Шофер долго что-то объяснял, показывая

пальцами на передние колеса автомобиля. Милиционер ощупал эти колеса и записал в книжечку название улицы. Вокруг собралась довольно многочисленная толпа. Какой-то человек с тусклыми глазами все время сваливался с тумбы. Какая-то дама все оглядывалась на другую даму, а та, в свою очередь, все оглядывалась на первую даму. Потом толпа разошлась и уличное движение восстановилось.

Гражданин с тусклыми глазами еще долго сваливался с тумбы, но наконец и он, отчаявшись, видно, утвердился на тумбе, лег просто на тротуар. В это время какой-то человек, несший стул, со всего размаха угодил под трамвай. Опять пришел милиционер, опять собралась толпа и остановилось уличное движение. И гражданин с тусклыми глазами опять начал сваливаться с тумбы.

Ну, а потом опять все стало хорошо, и даже Иван Семенович Карпов завернул в столовую.

Басня

Один человек небольшого роста сказал: «Я согласен на все, только бы быть капельку повыше». Только он это сказал, как смотрит — перед ним волшебница. А человек небольшого роста стоит и от страха ничего сказать не может. «Ну?» — говорит волшебница. А человек небольшого роста стоит и молчит. Волшебница исчезла. Тут человек небольшого роста начал плакать и кусать себе ногти. Сначала на руках ногти сгрыз, а потом на ногах.

* * *

Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе.

Григорьев (ударяя...)

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова по морде): Вот вам и зима настала. Пора печи топить. Как по-вашему?
СЕМЕНОВ: По-моему, если отнестись серьезно к вашему замечанию, то, пожалуй, действительно, пора затопить печку.

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова по морде): А как по-вашему, зима в этом году будет холодная или теплая?

СЕМЕНОВ: Пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, то зима всегда холодная.

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова по морде): А вот мне никогда не бывает холодно.

СЕМЕНОВ: Это совершенно правильно, что вы говорите, что вам не бывает холодно. У вас такая натура.

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова по морде): Я не зябну.

СЕМЕНОВ: Ох!

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова по морде): Что ох?

СЕМЕНОВ (держась за щеку): Ох! Лицо болит!

ГРИГОРЬЕВ: Почему болит? (И с этими словами хватя Семенова по морде).

СЕМЕНОВ (падая со стула): Ох! Сам не знаю!

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова ногой по морде): У меня ничего не болит.

СЕМЕНОВ: Я тебя, сукин сын, отучу драться (пробует встать).

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова по морде): Тоже, учитель нашелся!

СЕМЕНОВ (валится на спину): Сволочь, паршивая!

ГРИГОРЬЕВ: Ну ты, выбирай выражения полегче!

СЕМЕНОВ (силясь подняться): Я, брат, долго терпел. Но хватит.

ГРИГОРЬЕВ (ударяя Семенова каблуком по морде): Говори, говори! Послушаем.

СЕМЕНОВ (валится на спину): Ох! <...>

Комедия города Петербурга

часть II

Пётр

Я помню день. Нева шумела в море
пустая, легкая, небрежная Нева
когда пришел и взглядом опрокинув тучу
великий царь, подумал в полдень тусклый

и мысль нежная стянув на лбу морщину
порхая над Невой над берегом порхая
летела в небо реяла над скучным лесом
тревожила далекий парус в чудном море.
Тогда я город выстроил на Финском побережье
сказал столица будет тут. И вмиг
дремучий лес был до корня острижен
и шумные кареты часто били в окна хижин.

Николай II

Ты Петр был царем.
О слава дней минувших!
взлети как пламя трепанное ввысь. А я
уйду. Уйду с болот жестоких,
прощай Россия! навсегда прощай!
Но нет я тут я тут как чорт иль печка
руби! стреляй и тыща пик коли!
Очисти путь. И я наследник Божий
взойду держась за сердце на престол
и годы длинные железного монарха
пройдут под жизнями кочующих племен
благословенна ты Российская держава
а я твой царь и Бог и властелин.
Да Петр. Я живу. Ты мне смешон и жалок
ты памятник бездушный и скакун
гляди мне покорятся все народы. И царица
родит мне сына крепкого как бук
но только силы у меня нет Петр силы
брожу ли я у храма ль у дворца ль
мне все мерещится скакун на камне диком
! ты! Петр памятник бесчувственный ты царь!

Комсомолец Вертунов (указывая на Николая II)

Связать его.

Щепкин
Закройте двери. Сквозняк невозможный. Царь просту-
дится. (Смеется).

Свита

Ха ха ха ха ха ха ха ...
Балалаечник

В лес ли девка бегала
юбку ль девка дергала
пила меду катوشку
за царицу матушку.

Комсомолец Вертунов

Э-э мундирчик-то бумазейный. Царь тебе холодно?

Николай Второй

Отстаньте комсомолец Вертунов отстаньте!

Комсомолец Вертунов

Что? разговаривать? тебе же дурак добра желают. По-
жалели тебя. Видно
человек избалованный. Ты мне скажи, чай и плевал не
иначе как в подушки
бархатные? а?

Щепкин

Да закройте же вы двери. Простудится же.

Комсомолец Вертунов

Нет ты мне скажи в подушки плевал бархатные? а?

Николай II (безразлично)

Плевал.

Комсомолец Вертунов

Вишь ты! Ну а еще чего делал? Ты парень не пужайся
прямо говори делал
чего еще?

Николай II (безразлично)

Делал.

повысив голос

Не хочу я говорить с вами, я плясать хочу. Ей музыка!

Балалаечник

Царь танцует
ветер дует
люди плачут
слезы льют
все танцую
ветер дует
царь не скачет
ходит лют.

Николай II

О Петр где твоя Россия?
где город твой, где бледный Петербург?
куда попал я в Кострому на Небо, иль в Парламент?
скажи мне Петр внуку своему.
Меня спросили: не плевал ли я в подушку
но я не знаю, я не помню, я забыл.
Забыл, мне память изменяет, Петр, Петр
скажи куда плюются все цари?

Пётр

В плевательницу или под стол.

Николай II

Позвать Комсомольца Вертунова.

Дворецкий

Слушаюсь ваше величество!

Комсомолец Вертунов

Что прикажете Ваше Величество?

Николай II

Здрасте. Как на улице тепло или холодно?

Ком. Верт.

Тепло Ваше Величество.

Николай II

А я под стол плеваться умею!

Ком. Верт.

Очень интересно В. В.

Николай II

Хочешь покажу?

Ком. Верт.

Ну покажи!

Ник. II

тпфу!

Ком. Верт.

Вот это здорово!

Ник. II

тпфу!

Ком. Верт.

Замечательно!

Щепкин (вбегая)

Господа закройте дверь. Оттепель это самое опасное время! Моя тетя подарила мне перчатки, а папа сказал, что у меня и усы и борода и брови и все все рыжее как у учительницы.

Комсомолец Вертунов

Беги в Москву, окаанный.

Щепкин (поет)

Я бегу верчу ногою
в небо прыгаю как лев
мне кричали: не сдавайся
не смотри по сторонам

ну-ка саблю вынь из ножен
и взмахни над голым пнем
твой удар и тих и нежен
рубят немца под сосну.
Комсомолец Вертунов
Беги беги скорей!

Щепкин (поет)

Дремлет сокол в небе белом
я как птица в ночь бегу
звери под гору ложатся
рыбы спят на берегу
только ты моя царица
в поле круглое глядишь
только ты головку ниже
опускаешь и грустишь.

Комсомолец Вертунов

Ваня Ваня торопись! Еще немного. Перепрыгни канавку. Вон Москва блестит пуще озера, домики плывут. Церковки послушные виднеются. Торопись Ваня!

Ваня Щепкин (поет)

Я пришел к заветной цели
вот и пышная Москва
надо мной хлопчут люди
а кругом тоска тоска.

Николай II

Господи какая проклятая жизнь!

Комсомолец Вертунов

Царь опомнись!

Тебе ли падать духом!
Тебе ли выть! прислушайся мучим ухом
и жизнь прошлую забудь навек.
Тебе не много жить осталось. А ты
Зачем зачем тревожил Ваню Щепкина
зачем позвал меня и с хохотом
промчался мимо стана в поле крысой?
расплату Бог послал. Прими в гробу недавнем
ее. И щеки впавшие как букли осуши.

Николай II

Молчи. Не стоит говорить.
Я знаю все. На этой стенке
повесился великий полководец
когда прекрасная Мария горевала
и клавиши держала под рукою
тут вечный Бисмарк об землю томился
но дочь его казалась нам другой.
Смотри как лань визжат телеги
бегут погонщики. Смотри

под звоны шустрые калеки
несутся пламенем с утра
и всюду меч летит крылатый.
над опрокинутой палатой
смотри тоскующие латы
висят как медные ветра'
я знаю все...

Комсомолец Вертунов

А помнишь день?
погода зимняя была и вьюга
шаталась около Москвы
трещала хижина и дом не шевелился
и птицы падали в безжалостный сугроб
и чьих-то ног следы мелькали
французская шумела речь
откуда вы? издали ли
страну идете пересечь?
Ты помнишь царь Наполеона?
тебе гранитный вызов был
Москва врагом была спалена
ты помнишь это?

Николай II

Нет забыл.
Комсомолец Вертунов
Забыл? Еще бы!
Хотя постой. Ты помнишь Фамусова?

Николай II

Помню.

Ком. Верт.

А Катеньку?
Она тебя встречала поцелуем на Морской
и зонтиком помахивая шла под ручку.
Вы заходили в ювелирный магазин
ты шел как подобает Императору
а Катенька как виселица шла.

Николай II

Да да <мне Катенька знакома
но где она?

Ком. Верт.

Неважно >
тише к нам идут
вон Фамусов а с ним Кирилл Давыдыч
и даже... даже Катенька. Пойдемте царь.

Фамусов

Друзья! мы снова в этом доме!
Я вам сейчас представлю Комсомольца Вертунова

такой почтенный... Катенька вы покраснели?
и ты Кирилл Давыдыч? Вот некстати!
Чего ты загрустил смутившись как дитя?

Катенька

Нет Павел Афанасьевич я рада
а покраснела просто так.

Комсом. Вертунов

Скажите Фамусов,
как поживает князь Мещерский?

Фамусов

Спасибо. В здравствии.
Разводит канареек.

Ком. Верт.

А дочь его прекрасная Мария?

Фамусов

Мария? Мария Богу душу отдала.

Комс. Верт.

Зачем же Богу? Вот чудак
не можете оставить предрассудки.

Обернибесов

Бог — это я!
Моя Мария!
Четырнадцати лот мы познакомились.
Она впорхнула в мой тихий домик.
Я лежал.
Смотрю как будто дверь пошевелилась
как будто дунул ветер в комнату
и вдруг вошла Мария.
На стене кинжал. Ты видишь это?
Мария видишь это? Она сказала:
"Нет мне это все равно!
люблю тебя Кирилл Давыдыч
бежим мне здесь противно! Кира!
ты весь распух и злостью переполнен
бежим на лошади на шарике воздушном!
Нырнем под океан и снова в даль промчимся
и легкой амазонкой через горы
задрезаем в туманное окошко
мелькнет отец мы крикнем: до свиданья!
!бежим! Кирилл Давыдыч — мы свободны!"
А я сказал: ты видишь Бога?
Бог — это я, а ты, Мария
не двинешься от брэнного испуга.
Очей не вскинешь. И как птица
умрешь от ласковой руки!

Щепкин (поет)

Жил разбойник под горою
в тихом домике с окном
люди разные боялись
к той горе детей водить
но лишь только звезды кинут
взоры нежные к ручью
над горой печальный житель
теплит белую свечу.

Николай II

Свяжите его! это не человек а береза какая-то!

Фамусов

Успокойтесь Ваше Величество. Ну мы свяжем
его, убьем. Какая польза?
Он послезавтра оживет и снова
будет петь как нищий у перил
не в жизни цель, а в песне
как говорил мой друг Мещерский, князь,
пройди всю землю, но хоть тресни
ты не найдешь такую грязь.

Николай II

А как по-вашему
Кирилл Давыдыч злой Обернибесов
он лучше что ли или как?

Фамусов

Свежей. Спросите князя
он знаток души и тела.

Николай II

Но где достать такого мудреца?

Фамусов

Мой князь живет в Швейцарии прилежной
пускай Кирилл Давыдыч нам гонцом послужит
ему в дорогу дайте спирт и порученье.

Николай II

Садись голубчик в аэроплан
лети голубчик через Мон Блан
на поворотах стягивай живот
ты прилетишь где князь живет
Скажи ему чтоб он был здесь
Скажи ему что я его тесть
и как-то будучи повешен
за мой язык среди орешен
я в руки брал перо стальное
макал, но мимо пузырька
писал приветствие шальное

в кусты чихая изредка.
Лети к нему Обернибесов
аэроплан я тебе подарю
бутылку на, там спирт древесный
его положи в летучий трюм.
Ты им в пути себя согреешь
Мон Блан увидишь на заре лишь
тогда нажми вот эту кнопку
и выбрось прочь бутылку с пробкой.

Катенька

Прощай Кирилл Давыдыч!

Фамусов

Смотри как следует за элеронами!
Ниже трехсот метров не спускайся.
Когда прилетишь спроси куда попал.
убегает со сцены за аэропланом

Комсомолец Вертунов

Чудак.
Вообразил себя чорт знает кем! Зритель какого мнения
ты об этом
человеке?

Зритель

А уж будьте покойны, вильнет хвостом и ищите где
хотите.

Комсомолец Вертунов

Ну да! Не хватит решимости. Ваня что скажешь?

Щепкин

Николай II кровью харкает. Доктора бы позвать. Кстати
было бы.

Комсомолец Вертунов

Постой не до этого.

Зритель

То-то и оно-то! Как не все дома ничего и не попишешь.

Комс. Вертунов

Ну ты там, тебе волю дали так ты и нахальничать. Мне
лучше знать что я
делаю.

Зритель

А я маме пожалуюсь.

Комс. Верт.

Иди и жалуйся. Жалко что ли.

Зритель

Вот и пойду!

Комс. Верт.

Вот и иди!

зритель уходит

Комс. Верт.

Фу! будто камень с плеч сняли.

Фамусов (входя)

А где же царь?

Комс. Верт.

Чорт их знает. Когда нужно ни одного чорта под рукой не найдешь. Что улетел?

Фамусов

Да уж скоро и назад будет. Катюша тоже ушла?

Комс. Вертунов

А ну их всех.

уходит

Фамусов (один, задумчиво)

раз два

раз два

раз два три

раз два три

раз два

Порр-тугалец

по сцене пробегает человек

Эй куда бежишь!

раз два

раз два

занавес

действие II

Князь Мещерский

Эй отворите!

Я князь Мещерский

приехал в Питер

хочу проведать кто тут мерзавцем

меня светлейшего назвал.

Всех разобью одной рукою

и к чертовой матери пошлю

попробуй только выйди! Дважды

убью такого смельчака

сожгу и пеплом разбросаю

по всей земле!

Ты кто такой?

Сторож

Вы здесь потише! Не скандальте!

Князь Мещерский

Скажите? Он меня...

Нет послушайте...

да ты-то знаешь

вот эти руки гнут пятак!

Сторож

А если вы сейчас не замолчите

я вас могу арестовать.

Князь Мещерский

Арестовать? валяй попробуй!

Я это так и ожидал!

Сторож

Вы арестованы! Пойдемте.

Кн. Мещ.

Не толкайся!

Веди хоть к чорту на рога.

Ком. Вертунов (входя)

Ах это вы!

Кн. Мещ.

Да. Приехал. Тут проживает Николай II?

Ком. Верт.

Тут, но сейчас он болен

лежит в кровати как бревно.

Князь Мещерский

Эй служивый! Чего глядишь?

Веди к нему!

Сторож

К кому тоись.

Князь Мещерский

К царю что как бревно лежит.

Четыре шага до ворот осталось

а лужа тут валяется как чорт!

Сторож

А вы ее с размаху перепрыньте!

Князь Мещерский (прыгнув)

Куда идти
направо или вбок?

Сторож

Сюда пожалуйста.
открываются ворота

Николай II (в кровати)

Куда смотреть?
Везде злодеи. Вон один
открыл безумную рубашку
и слушает зажмурясь граммофон.
Вон рыцарь ходит с алебардой
хранит покой чиновника.
Вон сторож, комсомолец Вертунов,
а с ними кто-то мне доселе не известный.
должно какой-нибудь проситель.

Князь Мещерский

Здравствуй царь!
Я прилетел на крыльях быстрых
Кирилл Давыдыч мчался тут же.
Казань мелькнула, вышел Питер
раздулся в голову и треснул
Фонтанкой бился, клокотал
и шлепнулся к Неве у самого болота.
Мы вылезли и прочитали:
"Город Ленинград".

Николай II

Да. Это правда.
Боже Боже!
Еще совсем недавно
я бегал мальчиком
и кушал апельсин,
таскал невинные конфетки из кармашка
и падал в ужасе при виде мужика.

Комсомолец Вертунов

Но мало ли что было!
Я однажды купался в речке.
Вдруг смотрю плывет как будто рыба.
Но взглядевшись
я крикнул как сарыч
и выскочил на берег.

Князь Мещерский

Что же это было?

Николай II

Ну?

Ком. Верт.

Это был простой комочек
нежных прутиков и мха
я кричал что было мочи
испугавшись как блоха.
А потом четыре ночи
жизнь казалась мне плоха.

Николай II

Вот это здорово! Ты трус. И все вы такие, испугался
прутика? А если бы
увидал палку?

Ком. Верт. (в сторону)

Каждый день вижу дубину тупоголовую. И ничего! Не
страшно.

Князь Мещерский

Ну к делу. Господа! Зачем вы меня вызвали?

Николай

Твой ум понадобился.

Ком. Верт.

Решите нам. Кто лучше.
Ваня Щепкин или этот
Кирилл Давыдович Обернибесов
один печальный и ненужный
другой с корзинкой на плече.

Князь Мещерский

По-мойму лучше тот
который из пеленок
уже кричал "брависсимо"
и дергал за усы
папашу или дядю
когда ему покашливая
в сторону и в тряпочку
пели ирмосы.

Николай II

Восхитительно!
Какая мощь бесстрастного суждения.
Мы позовем Кирилл Давыдыча и спросим
каков он был в младенчестве своем.

Щепкин (вбегая)

Сейчас только что из Москвы. Прибежал туда а там все так же как и у нас. Такие же дома и люди. Говорят только наоборот. "Здравствуйте" это значит у них "прощайте". Я и побежал обратно. Только где-то по-моему окно открыто — дует. Я бежал — так вспотел.

Николай II

А! нам-то тебя и нужно. Скажи пожалуйста, когда ты был еще в пеленках, дергал ты папашу или, ну скажем, дядюшку своего за усы?

Щепкин

Что?

Николай II

Ты дергал за усы папу или маму?

Щепкин

Зачем?

Николай II

Значит не дергал?

Щепкин

Ваше величество не погубите.

Николай II

Ну ладно, ступай себе.

А что, Кирилл Давыдович пришел?

Комсомолец Вертунов

Нет его все еще нету. Вон идет Фамусов, но кажется один. Павел Афанасьевич где же ваш друг?

Фамусов (входя)

Он отказался идти сюда!

Я говорил ему: Послушай! Пойдем!

а он в накидку завернувшись стоял у входа.

Я тотчас же все понял.

Он тоскует.

В его руках виднелась книга

он пальцем заложил страницу.

Молчал. И только грудь качалась

да плащ казался мне крылом.

Щепкин

Смотрите он идет сюда.

Комс. Верт.

Что Фамусов?

Не вышло дело?

Хотел прикинуться ягненком?

Вон щеки выкрасил шафраном но выстричь когти позабыл.

Николай II

Ну, где же он?

Щепкин

Вон там шагает по мосту.

Князь Мещерский

По-мойму это лошадь.

Щепкин

Нет вон там.

Николай II

Ах да теперь я вижу

в руках он держит колокол.

Князь Мещерский

Не колокол, а выстрелы!

Щепкин

Бежимте господа!

Комсомолец Вертунов

Постой, куда бежать?

Царь не волнуйся.

Я приказал стоять у входа Крюгеру

он смел и безобразен

мальчишка не пройдет

и ветер не промчится

он всякого поймает за рукав

толкнет в кибитку

свистнет пальцем,

не бойтесь!

Крюгер -это воин.

Он хранит.

Щепкин (поет)

У дверей железный Крюгер

саблей немцу погрозил
но всплеснув руками падал
выстрел Крюгера сразил.

Комсомолец Вертунов

Как его убили?!

Сторож (вбегая)

Ваше Величество! Стоящий на посту Эммануил Крюгер
только что убит
неизвестной женщиной.

Николай II

Что же это такое?

Сторож

Не смею знать Ваше Величество!

Николай II

Измена! или ты мерзавец лжешь!
Подать мне Крюгера!
Хочу чтоб все ушли!
Я с ним наедине желаю разговаривать.
Поставьте самовар
и заварите чай.

Князь Мещерский

Но ведь его кажись прихлопнули?

Николай II

Молчи и не пытайся...
Я буду ждать пока он не придет.
Пускай шагает по мосту Обернибесов
не в этом дело. Он элодей.
А ты лети к себе в Швейцарию
там лучше.
Уйди от солнца, скройся от людей.
Мне нужен Крюгер.
Кто сказал: "он умер?"
Где Крюгер? Петр! Крюгер где?
Вон Щепкин говорит его убили!
где Крюгер? Петр, где?!
Я жду!

Комсомолец Вертунов

Напрасно ждешь.
Не слышит Петр
и Крюгер в комнате лежит
его рука бездумно машет
свисая тучей со стола
не подходи к нему он тих
он сочинил последний стих.

Фамусов

Что же мы будем ждать Обернибесова или пойдем?

Князь Мещерский

Вот город!
Вот страна!
Я прилетел на родину
и что же
не родина
а ящик из-под шляп.
На улице танцуют мандарины
в окошко залетает борода
я вижу лес, квадратные долины
а сбоку приютились города,
и там сидят еще цари
играют в карты до зари
потом ложатся. Боже мой!
Улечу-ка я домой.

Факельщики (вносят Крюгера, поют)

Умер Крюгер как полено
ты не плачь и не стони
вон торчит его колено
между дырок простыни.
Он лежит не вздыхает
он и фыркает и рад.
В небе лампа потухает
освещая Ленинград.

--

Обернибесов и Сторож на мосту

Сторож

Кто идет!
Откликнись кто идет!
Эй слушай кто ты такой!
Стой, не пущу!
Ответь куда идешь и как зовут.

Обернибесов

Меня зовут Обернибесов
иду в пространство. Я один.
На пароходе плыл сегодня в пустую гавань
Был обед.
Я сел на палубе за столик одинокий.
Смотрю идет Мария.
Я кадет.
Но я сказал: «Мария ты прекрасна
иди ко мне за мой печальный стол.
Иди сюда». Но было все напрасно.
Она прошла. И суп остыл.
Сторож
Ай ай караул!

Обернибесов

Молчи.
Я создал мир.
Меня боятся.
Но ты мой друг не бойся. Я поэт
схвачу тебя за ножки
и как птицу
ударю с возгласом о тумбу головой.
Сторож (вырывается и бежит)
Караул! Грабитель!

Обернибесов (бежит за ним)

Ах — ыр рар, рар — ррр

Второй план.

Пётр

С тех пор как умер Крюгер
я опечален. Хожу по городу
в рубахе. Все коряво!
и ты двубортный замок тем не блещешь
что пыль хранишь и чувствуешь царя
и ты на мостике голодная избушка
не чудо кутаешь в солому среди коней
пройдет ли мимо князь
ну ладно! ты хромаешь
взлетит ли туча быстрая к немому потолку.
Опять зима! на улице смятенье.
Вон баба щелкает орехи на суку.
Тогда у Зимнего дворца печален
стоит как прежде Крюгер на часах
глядит в безоблачное небо Крюгер...
тпфу-ты!
не Крюгер в небо посмотрел
а ты.

Часовой

Который час?
Пётр

Четыре.
Да! нечего сказать, кругом
лохань безбожная! Вон Катенька спешит
должно быть на свиданье с комсомольцем Вертуно-
вым.
Россия где же ты!

Обернибесов

Тут. В кулаке.
Красиво? Схватил и все тут.
Я пришел сюда на трубочках.
Я Бог.
Вон хочешь эта девка обернется?
я брошу камень в мыльницу и он
распухнет от тоски нечеловеческой. А девка
свернет в кусты и ляжет на траву.

Мне это все знакомо. Я копыто.
Не веришь? Посмотри сюда.
В моих глазах шумит водичка далеко.
Мария как-то увидела птицу
и говорит: Кирилл Давыдович
убей на память!
и тут же посмотрела мне в глаза.
С тех пор я все тоскую. Мне не скучно
но некого ударить по зубам.

Пётр

Я тоже все искал
кого бы изнеможить
кому бы хрустнуться.
Но тоже без следа.

Обернибесов

А я нашел.
Смотри как пудель обрежу подбородок
и вздохнув
среди бела дня тебя перекалечу.
Беги!

Пётр бежит

Обернибесов (бежит за Петром)

Ага! я Бог но с топором!!

Первый план.

Князь Мещерский (садясь в аэроплан)

Ну ладно! прочь из этих мест.
Какой позор!
Я больше тут не буду повторяться.
Мерзавцы! Вызвали меня!
Светлейшего и мудрого как чорт.
Судить какого-то Обернибесова и Ваню Щепкина.
Эх тети! Куда уж вам!

входит Катенька

bonjour!

Катенька

Я так ужасно торопилась
что даже юбку порвала.

Князь Мещерский

Катенька! скажите мне на милость
откуда здесь у вас на кофточке трава.

Катенька

Соринка выпала из глаза.

Князь Мещерский

Я не видал еще ни разу
таких зеленых попереч.

Катенька

Вон пастушок идет по реч.

Князь Мещерский

Но вы прелестная кокотка
передо мной чуть-чуть коротка.

Катенька

Не говорите глупости. Я млею
и целоваться не умею.

Князь Мещерский

Ого стоп стоп, не уходите.

входит комсомолец Вертунов

и не жардар пр пр.

Комс. Вертунов

Чего это вы тут друг друга обнимаете?

Катенька

Я вся в слезах.
Он так нахален
и так безумен как свинья.

Князь Мещерский

Позвольте я пробовал на искренних струнах...

Комс. Вертунов

Довольно!
Мне ложь противна!
Лети откуда прилетел!
Мы с Катей по-другому обойдемся.

Обернибесов (входя)

На крыше ходит кот.
Он мясо нюхает в амбаре
идет в катушку. Я смотрю
килями жерла. Дороден мир!
Ликуй черкешенка! Сверкает.
Базиль повойники несет
то кучер сани запрягая
шумит в убогие уста.
А я владыка над Москвою
Марию в кухне целовал

ложился в ямочки с тоскою
и руки в мельницу совал.
Она умрет. Я сверху вижу
вонзаю ножик под бока.
Я в колыбель бросаю лыжу,
еще холодную пока.
Она поет: Кирилл Давыдыч
ну обернись еще разок.
А я подумал: это чудо
и повернулся как зрачок
Князь Мещерский
Улетаю под небесья
Катя сумочкой наши
и поклон ему отвесья
мне любовную пиши.

Катя

Мой жених меня бросает
он другую полюбил
я приду к тебе босая
только б ты его убил.
Князь Мещерский
Я как птица над горою
говорю тебе: блесни.
видишь холодно, закрой
двери настезь и усни.
улетает

Комс. Вертунов

Закатилась гора.
Катя поздно. Спать пора.

Комс. Вертунов и Катя уходят

Обернибесов (один)

Да. Лучше не смотреть.
Ну что это за люди?
Я создал их в поспешности.
Теперь я понял.
Когда я проходил с улыбкой по Пассажу
мне вдруг мелькнула мысль:
«верно ты меня Мария позабыла».
Но тут же спохватился
и вынув папиросу закурил.
«Не может быть, — сказала казначейша,
не в наше время забывать его».
Тогда пробило десять вечера.
Я посмотрел в чуланчик.
А там Мария волосы плетет
и называет Бога: «мой хороший»
и на меня глядит как зверь.
Я понял — это хитрость небольшая
потом сказал: «Бог это я,
а ты Мария дитя бесславное». Казалось,
она молчит. Но это ложь.
Она тихонько попадала
в бездонный город Петербург.

И взоры нежные кидала
и улыбалась наверху
а я стоял как на помостах
трубил в подкову горячо
потом совсем по-детски просто
я целовал ее плечо:
она визжала и косилась
мне ночью кораблем приснилась
и я схватив железный меч
рубил сырую мачту с плеч.

занавес

третий акт

I офицер

Ох и время. Все клопы
баня грязна. Я брезглив
лучше в море окунусь
ноги потные заголив.
Не спасет меня мундир
буйной молодости сувенир
женских ласок покоритель
царской милости свидетель.

II офицер

Ты смешон и старомоден
рассуждаешь невпопад
ручеек из самовара
принимая за водопад.
Ты возьми с меня пример
я среди житейских волн
стал хороший землемер
и работаю как вол.
Жизнь полная труда
мне приятна и мила
так и ты иди туда
куда всех революция привела.

I офицер

Оставь я создан для другого
я таю свечкой на дожде
ты помнишь Петю Пирогова?
он мой товарищ по нужде.

II офицер

Как хочешь, поступай как знаешь,
Хотя по правде говоря
все это ложь, а жизнь иная ж
придет в начале января.

I офицер

О если бы! О Невский! о кареты!
О княжеский покой, народа тихий ропот.
Россия! ты владычеством согрета

орлом двухглавым вознесешься над Европой
твои сыны запрыгают как дети
как юноши в подтяжках на снегу
и буду я вдыхать минуты эти
с блаженством божеским на невском берегу.

Оба (поют)

Коммунистам и татарам
скоро крах, скоро крах.
Англичане ведь недаром
на парах на парах.
пляшут раскидывая ноги

I офицер

Что это?

II офицер

По-мойму это стол.

I офицер

Но он несется как покойник!

II офицер

Да это призрак современный
летит в пивную. Вот и стул.
А вот и Пьяница и дама
и мы с тобой и вся земля!
Бежим на улицу, посмотрим
бутылку выпьем и назад.

Стол

Мне хлаблости недостаточно. Одной.

Пьяница

Вре-ешь врешь врешь.
Это ты врешь.

Стол

Потому что ни для циво не употлеблен.

Дама

Фу какие глупости говорите!

Пьяница

Это ему наше поведение не ндравится.

Дама

Сашка, мерзавец! не хватай меня...!

Пьяница
Первого Апреля это так и полагается.

Подожди ж подожди ж...
молчание
Мы с вами пошутили.
молчание

Дама
I офицер
Потому что когда хорошая погода... Первое Апреля...
он вам крикнул...
комсомолец Вертунов молча уходит с велосипедом
Видел?

Нельзя, не хочу.
II офицер
Видел. Дело дрянь. Он понял кто мы такие.

отбивается | пьяница целует ее
I офицер
I офицер
Да, мы опасные люди
шепотом
мы опасные люди
с возвышения
мы опасные люди!

I офицер
II офицер
Я уверен что мы опасные люди.
идет Николай II с портфелем

Поцелуемся и мы!
II офицер
II офицер
Здравствуйте Николай Александрович.

II офицер
I офицер
Николай II
Добрый день. Что нового?

A! валяй!
I офицер
I офицер
Плохи дела! Здравствуйте.

целуются
II офицер
II офицер
Николай II
Добрый день. Что же случилось?

I офицер
II офицер
II офицер
Вы знаете какие мы с вами опасные люди. Большевики
это прекрасно знают.
Сейчас мы видели комсомольца Вертунова, он явно
следит за нами.

Какая чудная погода!
I офицер
I офицер
I офицер
Еще бы. Народ на нашей стороне.

II офицер
II офицер
II офицер
Николай II
Армия тоже. Я видел на днях как солдаты заметили
меня шли опустив голову
и кидая изподлобья такие взгляды на своих команди-
ров что я все понял.
Скажи я слово и они как один умрут за освобождение
отечества.

Немножечко пресна.
I офицер
I офицер
I офицер
I офицер
Ну мы просто пошутили!

I офицер
II офицер
II офицер
II офицер

Но это лучшее время года:
петербуржская весна
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер

Давай поцелуемся.
I офицер
I офицер
I офицер
I офицер
II офицер

Давай поцелуемся.
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер

целуются | комсомолец Вертунов едет на велосипеде
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер

Гражданин!
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер

Вы что-то уронили.
Комс. Вертунов останавливается и слезает
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер

Комсомолец Вертунов
Как?
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер
II офицер

Николай II

Ничего. В больнице вместе со мной служит некий бывший человек Иван Аполлонович Щепкин. Он всюду имеет доступ. И уж в случае чего сказал бы мне что у них там неладное.

I офицер

Дай-то Бог. Недолго и осталось. Я слышал Николай Николаевич готовит 100тысячное войско, вооруженное такими газами от которых помрут только коммунисты.

Николай II

Да это правда. Мне Щепкин рассказывал уже. закуривают и уходят
Голос за сценой I офицер
Николай Александрович, — а скоро это все-таки случится?

.....
входят: комсомолец Вертунов и Катя
Катя

Что же это ты как долго?
Комсомолец Вертунов

Да вот по дороге задержали меня два дурака. Еще издали еду смотрю
пляшут двое ногами дрыгают. Когда я подъехал один кричит: «Гражданин!
Потеряли что-то». Я слез, а они в восторге что надули с 1 апрелям.

к III-й части «Комедии города Петербурга»

Интермедия

взмахнули плечи круглые
девица ты недобрая
уйди Мария в просеку
кричи оттуда тетерем
маши оттуда зонтиком
скачи оттуда кренделем
танцуй оттуда в комнату
в чуланчик или в комнату
малый Хор
в том чулане
в том чулане
залетала
птица рыжая
на скамейке
дева желтая
расплетала
косу черную
большой Хор
проходили

звери дутые
закрывались
окна с трепетом
малый Хор
проходили
звери дутые
разбивалась
птица рыжая
а по морю-ту по согнутому
плыли дружные разбойнички
подплывали ночью к домику-то те
бессердечные разбойнички
все-то ручками они да перещупывают
за волосья деву сонную захватывают
просыпалась голубка потревоженная
матка плакала и в горницу заглядывала
Разбойники хором
Ну-ка девка пошевеливайся ты
Левка по' полу притопнет каблуком,
зашатается по городу кабак
опрокинутся дороги в пустоту.

Мария

Я... прошу... отпустить... меня...

Разбойники

Ты по воздуху от нас не убежишь
опрокинулись дороги в пустоту.

малый Хор

Стены кубарем попадали в моря
и уплыли звери дутые домой.

I-ый разбойник

Хочешь нам варить мясо?

Мария

Нет не хочу.

II-й разбойник

Хочешь нам завязывать галстуки?

Мария

Нет не хочу.

4-й разбойник

Хочешь нам рассказывать о тучах?

Мария

Нет. Я с воздухами не знакома
и в тучах птицей не была

я косы черные плела
 меня искал Обернибесов
 стучал в кривую дверь порой
 и тихо плакал на колесах
 над горой
 он точил о камни ножик
 теплил белую свечу
 человек летать не может
 он же крикнул; полечу!
 Он умчался из окна
 я осталась одна.
 Не была я птицей в тучах
 был мой друг
 был мой друг
 вейтесь бу'бы и лучи'!
 он придет и постучит
 вдруг!..
 (значит, улетает).

Разбойники

Стой! Стой! Стой! Стой!
 Возврати твою цидулину душа
 Левка по' полу притопнет каблуком
 зашатается по городу кабак
 опрокинутся дороги в пустоту.
 мальй Хор
 Улетела девка соколом от них
 и разбойники танцуют без нее
 матка плачет и приплясывает эх!
 все откидывает голову назад
 проплывает мимо горницы топор
 а за ним Иван Иваныч Самовар
 Левка падает в кривое решето
 Тухнет солнышко как свечка на ветру
 свет тухнет и музыка затихает

III часть

Щепкин (вбегая)

Закройте двери! Сквозняки-то какие! Вон и то окно
 надо закрыть. Тут и
 простудиться немудрено.

Фамусов

Бумажка по ветру летит
 колышутся портьеры, шторы
 взвевается пыль из-под ковра
 гусары шепчутся: пора.
 Сейчас гофмейстер сняв покров
 чуть слышно скажет: будь готов
 и машет вдруг на колокольню.
 Уже в дверях собачий лай
 скрипенье санок, звон, пальба
 отбросив двери Николай
 ступает в комнату. Тогда
 бегут в погоню канделябры
 лучи согнутые трясутся

мелькнет карета, обожжется
 глядишь! под голову ныряет
 и криком воздух оглашая
 ворвется в дом струя большая.
 Дудит в придворные глаза
 в портьеры, в шторы, в образа
 колышет перья, фижмы, пудру
 вертится, трогает струну
 дворцы ломает в пух и к утру
 потоком льется на страну.
 Летит волна, за ней другая
 царицу куклой кувырка
 козлиный комкая платок
 царя бросая в потолок.

Щепкин (поет)

Вьются шторы, вьются перья
 дует ветер вдоль плетня:
 я пойду закрою двери
 только ты подожди меня.

Фамусов

Да брось ты мы окна закроем
 ты видишь я: иду иду
 толкаю раму, танцуют запоры
 и винтики глянь заскользят по льду.

Щепкин (поет)

Закройте раму, закройте двери
 ветер не злися и к нам не лети
 темною ночью выйдут звери
 выйдут крылатые нас найти.

Фамусов

Не бойся Ваня
 пройдет ликованье
 звериные тысячи
 круглая барыня
 чудо кошачее
 горе лежачее.
 Щепкин (кричит)
 Не боюсь я Павел
 не страшусь я Афанасьевич
 я ружье направил
 на врага летучего
 на врага презренного
 без копыт и паруса.
 Зверь
 Пропади мерзляк
 я за мерелю каля
 вы'лю плю на кулю коку
 дулю в каку кикю пулю.

Щепкин

Да это что же такое?!

Человек похожий на колбасу
Он без зубов потому что.

Щепкин

А ты-то кто?
Караул!
роняет ружье | из ящика выскакивает пуга'лка с голо-
вой на длинной пружине
Пугалка
Молчать-чать-чать-чать-чать
Чудовища хором
Мы любимцы сквозняка
сквозняка сквозняка
мы летим издалека'
далека' ка'.

Фамусов

Убирайтесь вон!
Здесь я хозяин.
А вы ничто, пустое, миф
вы плод фантазии досужной
живете солнце осрашив.
Чудовища хором (с музыкой)
О любезный Фамусо'в
!-! !-!
ты киргиз но без усов
!-! !-!
влетает Мария

Мария

Ах, куда я попала?
Щепкин

Батюшки.

Фамусов

Гм.
Мария

Я тихо по морю каталась
но потеряла вдруг весло
тут паруса мои надулись
и лодку ветром понесло
ко мне пришла теперь идея
она проста: скажите где я?

Щепкин

Вы в городе Петербурге.
Мария

Где?
Фамусов

В Ленинграде.
Мария

В столицу значит я попала
прекрасно! очень хорошо
здесь на Неве живет хороший мой знакомый
Трехэтажный, он служит в банке
старший счетовод.
Его зовут Кирилл Давыдыч Трехэтажный
он ходит, милый мой, с корзинкой на плече.

Фамусов

Скажите Трехэтажный вам не дядя?
Мария

О нет. Он мне жених и друг.

Щепкин

Странно он мне кого-то напоминает.
Вот так в глазах и вьется
так и вьется.

Фамусов

Он верно пуп земли?
Человек похожий на колбасу
Растительность природы?
Зверь
Кву'лячья кума'нда?
Мария
Нет, просто человек.
Щепкин
Но все же вьется в ухо
в глаза проклятый вьется
и память растревожив
не сходит с языка
какой-то Трехэтажный
Кирилл Давыдыч как-то
он вьется так и вьется
на вью'гу на вьюгу'.

Николай II (входя)

Ба! вся честная компания!

Щепкин

Здраво желаю Ваше Величество.

Николай II

Поклон.

А это кто?

Мария

Меня зовут Мария
я с бабушкой жила в чулане
гуляла в парке ездила в Казань

потом вскочила в лодку и веслом кружа
умчалась в поцелуй ножа
летела к вам на шарике воздушном
держала канат в простуженной руке
и вдруг увидя золотые башни
шипенье труб и щелканье ракет
подумала: вот это город. Уплывает море.
Наступает утро. В небе синева.
А сквозь колышется Нева.

Пётр

Да это я построил город здесь на Финском побережье
сказал столица будет тут. И вмиг
дремучий лес был до корня острижен
и шумные кареты часто били в окна хижин.

Николай II

Ты Петр был царем
а я брожу как дева
шатаюсь вдоль реки. О бражная Нева!
Пройдут года, недели пронесутся
но ты красавица в моря не уплывешь.
Варяга ли набег иль немца крик досчатый
иль ярость косая Урал перелетит
тебя красавица и гром не потревожит
и город не падет на берегу твоём.
А я прощай, прощай моя подруга
уйду с болот в бесславии своём.
Прощай Россия. Потухает жизнь...
Ну что ж Мария, что же скажешь ты?

Мария

Здесь мой жених. Кирилл Давыдыч
он служит в банке. Я люблю.
Его фамилия как будто Трёхэтажный
а ходит он с корзинкой на плече.

Николай II

Ах как же знаю знаю
вот так штука! Кирилл Давыдыча назвать!
Мы даже спорили и Щепкин в том свидетель
...А, мое почтение!

Комсомолец Вертунов

Здравствуй царь.
Моя жена — позвольте вам представить
зовут ее Катюша.

Николай II

Очень рад.

Ком. Верт.

А это Павел Афанасьевич Фамусов.

Катюша

Но мы уже знакомы!

Комс. Верт.

А это Ваня Щепкин.

Щепкин

Ваш слуга.

Комс. Верт.

А это кто?

Ник. II

Мария Павловна
приехала в столицу к жениху.

Комс. Верт.

В какую столицу?

Ник. II

В Петербург.

Щепкин

В Ленинград Ваше величество.

Комс. Верт.

В какой такой Петербург?!

Ник. II

В город Пе-тер-бург.

<февраль-сентябрь 1927 года>

Окно

Школьница:
Смотрю в окно
и вижу птиц полки.

Учитель:
Смотри в ступку на дно
и пестиком зерна толки.

Школьница:
Я не могу толочь эти камушки:
они, учитель, так тверды,
моя же ручка так нежна...

Учитель:
Подумаешь, какая княжна!
Скрытая теплота парообразования
должна быть тобою изучена.

Школьница:
Учитель, я измучена
непрерывной цепью опытов.
Пять суток я толку. И что же:
окоченели мои руки,
засохла грудь,
о Боже, Боже!

Учитель:
Скоро кончатся твои муки.
Твое сознание прояснится.

Школьница:
Ах, как скрипит моя поясница!

Учитель:
Смотри, чтоб ступка все звенела
и зерна щелкали под пестиком.
Я вижу: ты позеленела
и ноги сложила крестиком.
Вот уже одиннадцатый случай
припоминаю. Ну что за притча!
Едва натужится бедняжка —
уже лежит холодный трупик.
Как это мне невыразимо тяжело!
Пока я влез на стул
и поправлял часы,
чтоб гиря не качалась,
она, несчастная, скончалась,
недокончив образования.

Школьница:
Ах, дорогой учитель,
я постигла скрытую теплоту парообразования!

Учитель:
Прости, но теперь я тебя расслышать не могу,
хотя послушал бы охотно!
Ты стала, девочка, бесплотна
и больше ни гугу!

Окно:
Я внезапно растворилось.
Я — дыра в стене домов.
Сквозь меня душа пролилась.
Я — форточка возвышенных умов.

Обращение учителей к своему ученику графу Дзкону

Мы добьёмся от тебя полезных знаний,
Сломаем твой упрямый нрав.
Расчёт и смысл научных зданий
В тебя из книг напустим, граф.
Тогда ты сразу всё поймёшь
И по-иному поведёшь
Свои нелепые порядки.
Довольно мы с тобой, болван, играли в прятки —
Всё по-другому повернём:
Что было ночью, станет днём.
Твоё бессмысленное чтение
Направим сразу в колею,
И мыслей бурное кипенье
Мы превратим в наук струю.
От женских ласковых улыбок
Мы средство верное найдём,
От грамматических ошибок
Рукой умелой отведём.
Твой сон, беспутный и бессвязный,
Порою чистый, порою грязный,
Мы подчиним законам века,
Мы создадим большого человека.
И в тайну материалистической полемики
Тебя введём с открытыми глазами,
Туда, где только академики
Сидят, сверкая орденами.
Мы приведем тебя туда,
Скажи скорей нам только: да.
Ты среди первых будешь первым.
Ликует мир. Не в силах нервам
Такой музыки слышать стон,
И рёв толпы, и звон литавров,
Со всех сторон венки из лавров,
И шапки вверх со всех сторон.
Крылами воздух рассекая,
Аэроплан парит над миром.
Цветок, из крыльев упавая,
Летит, влекомый прочь эфиром.
Цветок тебе предназначался.
Он долго в воздухе качался,
И, описав дуги кривую,
Цветок упал на мостовую.
Что будет с ним? Никто не знает.
Быть может, женская рука
Цветок, поднявши, приласкает.
Быть может, страшная нога
Его стопой к земле придавит.
А может, мир его оставит
В покое сладостном лежать.
Куда идти? Куда бежать,

Когда толпа кругом грохочет
И пушки дымом вверх палят?
Уж дым в глазах слезой щекочет
И лбы от грохота болят.
Часы небесные сломались,
И день и ночь в одно смешались.
То солнце, звёзды иль кометы?
Иль бомбы, свечи и ракеты?
Иль искры сыплются из глаз?
Иль это кончен мир как раз?
Ответа нет. Лишь вопль, и крики,
И стон, и руки вверх, как пики.

Так знай! Когда приходит слава,
Прощай спокойствие твоё.
Она вползает в мысль, и, право,
Уж лучше не было б её.
Но путь избран. Сомнения нет.
Доверься нам. Забудь мечты.
Пройдёт ещё немного лет,
И вечно славен будешь ты.
И, звонкой славой упоённый,
Ты будешь мир собой венчать,
И бог тобою путь пройденный
В скрижалях будет отмечать.

Постоянство веселья и грязи
Вода в реке журчит, прохладна,
И тень от гор ложится в поле,
и гаснет в небе свет. И птицы

уже летают в сновиденьях.
А дворник с черными усами
стоит всю ночь под воротами,
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.

Проходит день, потом неделя,
потом года проходят мимо,
и люди стройными рядами
в своих могилах исчезают.
А дворник с черными усами
стоит года под воротами,
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.

Луна и солнце побледнели,
созвездья форму изменили.
Движенье сделалось тягучим,
и время стало, как песок.
А дворник с черными усами
стоит опять под воротами
и чешет грязными руками
под грязной шапкой свой затылок.
И в окнах слышен крик веселый,
и топот ног, и звон бутылок.

Письма

Дорогой Никандр Андреевич,

получил твоё письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял, что от тебя, а то было подумал, что оно не от тебя. Я рад, что ты давно женился, потому что когда человек женится на том, на ком он хотел жениться, то значит, что он добился того, чего хотел. И я вот очень рад, что ты женился, потому что, когда человек женится на том, на ком хотел, то значит, он добился того, чего хотел. Вчера я получил твоё письмо и сразу подумал, что это письмо от тебя, но потом подумал, что кажется, что не от тебя, но распечатал и вижу — точно от тебя. Очень хорошо сделал, что написал мне. Сначала не писал, а потом вдруг написал, хотя ещё раньше, до того, как некоторое время не писал — тоже писал. Я сразу, как получил твоё письмо, сразу решил, что оно от тебя, и, потому, я очень рад, что ты уже женился. А то, если человек захотел жениться, то ему надо во что бы то ни стало жениться. Поэтому я очень рад, что ты наконец женился именно на том, на ком и хотел жениться. И очень хорошо сделал, что написал мне. Я очень обрадовался, как увидел твоё письмо, и сразу даже подумал, что оно от тебя. Правда, когда распечатывал, то мелькнула такая мысль, что оно не от тебя, но потом, всё-таки, я решил, что оно от тебя. Спасибо, что написал. Благодарю тебя за это и очень рад за тебя. Ты, может быть, не догадываешься, почему я так рад за тебя, но я тебе сразу скажу, что рад я за тебя потому, потому что ты женился, и именно на том, на ком и хотел жениться. А это, знаешь, очень хорошо жениться именно на том, на ком хочешь жениться, потому что тогда именно и добиваешься того, чего хотел. А также рад и тому, что ты написал мне письмо. Я ещё издали решил, что письмо от тебя, а как взял в руки, так подумал: а вдруг не от тебя? А потом думаю думаю: от тебя или не от те-бя? Ну, а как распечатал, то и вижу, что от тебя. Я очень обрадовался и решил тоже напи-сать тебе письмо. О многом надо сказать, но буквально нет времени. Что успел, написал тебе в этом письме, а остальное потом напишу, а то сейчас совсем нет времени. Хорошо, по крайней мере, что ты написал мне письмо. Теперь я знаю, что ты уже давно женился. Я и из прежних писем знал, что ты женился, а теперь опять вижу — совершенно верно, ты женился. И я очень рад, что ты женился и написал мне письмо. Я сразу, как увидел твоё письмо, так и решил, что ты опять женился. Ну, думаю, это хорошо, что ты опять женился и написал мне об этом письмо. Напиши мне теперь, кто твоя новая жена и как это всё вы-шло. Передай привет твоей новой жене.

25 сентября и октября 1933

Дорогая Тамара Александровна и Леонид Савельевич,

спасибо Вам за Ваше чудесное письмо. Я перечитал его много раз и выучил наизусть. Меня можно разбудить ночью, и я сразу без запинки начну:

«Здравствуйте, Даниил Иванович, мы очень без Вас соскучились. Леня купил себе новые...» и т. д. и т. д.

Я читал это письмо всем своим царскосельским знакомым. Всем оно очень нравится. Вчера ко мне пришел мой приятель Бальнис. Он хотел остаться у меня ночевать. Я прочел ему Ваше письмо шесть раз. Он очень сильно улыбался, видно, что письмо ему понравилось, но подробного мнения он высказать не успел, ибо ушел, не оставшись ночевать. Сегодня я ходил к нему сам и прочел ему письмо еще раз, чтобы он освежил его в своей памяти. Потом я спросил Бальниса, каково его мнение. Но он выломал у стула ножку и при помощи этой ножки выгнал меня на улицу, да еще сказал, что если я еще раз явлюсь с этой паскудью, то свяжет мне руки и набьет рот грязью из помойной ямы. Это были, конечно, с его стороны грубые и неостроумные слова. Я, конечно, ушел и понял, что у него был, возможно, сильный насморк, и ему было не по себе. От Бальниса я пошел в Екатерининский парк и катался на лодке. На всем озере, кроме меня, плавало еще две-три лодки. Между прочим, в одной лодке каталась очень красивая девушка. И совершенно одна. Я повернул лодку (кстати, при повороте надо грести осторожно, потому что весла могут выскочить из уключин) и поехал следом за красавицей. Мне казалось, что я похож на норвежца и от моей фигуры в сером жилете и развевающимся галстуке должны излучаться свежесть и здоровье и, как говорится, пахнуть морем. Но около Орловской колонны купались какие-то хулиганы, и, когда я проезжал мимо, один из них хотел проплыть как раз поперек моего пути. Тогда другой крикнул: "Подожди, когда проплывет эта кривая и потная личность!" — и показал на меня ногой. Мне было очень неприятно, потому что всё это слышала красавица. А так как она плыла впереди меня, а в лодке, как известно, сидят за-тылом к направлению движения, то красавица не только слышала, но и видела, как хулиган показал на меня ногой. Я попробовал сделать вид, что это относится не ко мне, и стал, улыбаясь смотреть по сторонам, но вокруг не было ни одной лодки. Да тут еще хулиган крикнул опять: «Ну чего засмотрелся! Не тебе, что ли, говорят! Эй ты, насос в шляпе!»

Я принялся грести что есть мочи, но весла выскакивали из уключин, и лодка подвигалась медленно. Наконец, после больших усилий я догнал красавицу, и мы познакомились. Ее звали Екатериной Павловной. Мы сдали ее лодку, и Екатерина Павловна пересела в мою. Она оказалась очень остроумной собеседницей. Я решил блеснуть остроумием моих знакомых, достал Ваше письмо и принялся читать: «Здравствуйте, Даниил Иванович, мы очень без Вас соскучились. Леня купил...» и т. д. Екатерина Павловна сказала, что если мы подедем к берегу, то я что-то увижу. И я увидел, как Екатерина Павловна ушла, а из кустов вылез грязный мальчишка и сказал: «Дяденька, покатай на лодке».

Сегодня вечером письмо пропало. Случилось это так: я стоял на балконе, читал Ваше письмо и ел манную кашу. В это время тетушка позвала меня в комнаты помочь ей завести часы. Я закрыл письмом манную кашу и пошел в комнаты. Когда я вернулся обратно, то письмо впитало в себя всю манную кашу, и я съел его.

Погоды в Царском стоят хорошие: переменная облачность, ветры юго-западной четверти, возможен дождь.

Сегодня утром в наш сад приходил шарманщик и играл собачий вальс, а потом спер гамак и убежал.

Я прочел очень интересную книгу о том, как один молодой человек полюбил одну молодую особу, а эта молодая особа любила другого молодого человека, а этот молодой человек любил другую молодую особу, а эта молодая особа любила опять-таки другого молодого человека, который любил не ее, а другую молодую особу.

И вдруг эта молодая особа оступается в открытый люк и надламывает себе позвоночник. Но когда она уже совсем поправляется, она вдруг простужается и умирает. Тогда молодой человек, любящий ее, кончает с собой выстрелом из револьвера. Тогда молодая особа, любящая этого молодого человека, бросается под поезд. Тогда молодой человек, любящий эту молодую особу, залезает с горя на трамвайный столб, и касается проводника, и умирает от электрического тока. Тогда молодая особа, любящая этого молодого человека, наедается толченого стекла и умирает от раны в кишках. Тогда молодой человек, любящий эту молодую особу, бежит в Америку и спивается до такой степени, что продает свой последний костюм, и за неимением костюма он принужден лежать в постели, и получает пролежни, и от пролежней умирает.

На днях буду в городе. Обязательно хочу увидеть Вас. Привет Валентине Ефимовне и Якову Семеновичу.

Даниил Хармс.

28 июня 1932 года, Царское Село

Дорогой Александр Иванович,

я слышал, что ты копишь деньги и скопил уже тридцать пять тысяч. К чему? Зачем копить деньги? Почему не поделиться тем, что ты имеешь, с теми, которые не имеют даже совершенно лишней пары брюк? Ведь, что такое деньги? Я изучал этот вопрос. У меня есть фотографии самых ходовых денежных знаков: в рубль, в три, в четыре и даже в пять рублей достоинством. Я слышал о денежных знаках, которые содержат в себе разом до 30-ти рублей! Но копить их, зачем? Ведь я не коллекционер. Я всегда презирал коллекционеров, которые собирают марки, пё-

рышки, пуговики, луковки и т. д. Это глупые, тупые и суеверные люди. Я знаю, например, что так называемые «нумизматы», это те, которые копят деньги, имеют суеверный обычай класть их, как бы ты думал куда? Не в стол, не в шка-тулку а... на книжки! Как тебе это нравится? А ведь можно взять деньги, пойти с ними в магазин и обменять, ну скажем, на суп (это такая пища), или на соус кефаль (это тоже вроде хлеба).

Нет, Александр Иванович, ты почти такой же нетупой человек, как и я, а копишь деньги и не меняешь их на разные другие вещи. Прости, дорогой Александр Иванович, но это не умно! Ты просто поглупел, живя в этой провинции. Ведь должны быть не с кем да-же поговорить. Посылаю тебе свой портрет, чтобы ты мог хотя бы видеть перед собой ум-ное, развитое, интеллигентное и прекрасное лицо.

Твой друг Даниил Хармс

.....

Рыцарь

Алексей Алексеевич Алексеев был настоящим рыцарем. Так, например, однажды, увидя из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошелки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился, Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу. В другой раз, видя, как одна дама, перелезая через забор, зацепилась юбкой за гвоздь и застряла так, что, сидя верхом на заборе, не могла двинуться ни взад ни вперед, Алексей Алексеевич начал так волноваться, что от волнения выдал себе языком два передних зуба. Одним словом, Алексей Алексеевич был самым настоящим рыцарем, да и не только по отношению к дамам. С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за Веру, Царя и Отечество, что и доказал в 14-м году, в начале германской войны, с криком «За Родину!» выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив, отделавшись только несерьезными ушибами, и вскоре, как столь редкостно-ревностный патриот, был отослан на фронт.

На фронте Алексей Алексеевич отличался небывало возвышенными чувствами и всякий раз, когда произносил слова «стыг», «фанфара» или даже просто «эполеты», по лицу его бежала слеза умиления.

В 16-м году Алексей Алексеевич был ранен в чресла и удален с фронта.

Как инвалид I категории Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические чувства.

Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу: «Я пострадал за Родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания».

— И дурак! — сказал ему Константин Лебедев. — Наивысшую услугу родине окажет только ЛИБЕРАЛ.

Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича, и вот в 17-м году он уже называет себя «либералом, чреслами своими пострадавшим за отчизну».

Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консервированным салом и пшенной крупой. Но, когда Константин Лебедев вдруг неизвестно куда пропал, Алексею Алексеевичу пришлось выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте, Христа ради, чреслами своими пострадавшему за родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «родину» словом «революцию». Но и это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и, завидя на улице человека, способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, сделал шаг вперед и, гордо, с достоинством, откинув назад голову, начинал петь:

На баррикады
мы все пойдём!
За свободу
мы все покалечимся и умрём!

И лихо, по-польски притопнув каблуком Алексей Алексеевич протягивал шляпу и говорил: «Подайте милостыню, Христа ради». Это помогало, и Алексей Алексеевич редко оставался без пищи.

Все шло хорошо, но вот в 22-м году Алексей Алексеевич познакомился с неким Иваном Ивановичем Пузыревым, торговавшим на Сенном рынке подсолнечным маслом. Пузырев пригласил Алексея Алексеевича в кафе, угостил его настоящим кофеем и сам, чавкая пирожными, изложил какое-то сложное предприятие, из которого Алексей Алексеевич понял только, что и ему надо что-то делать, за что и будет получать от Пузырева ценнейшие продукты питания. Алексей Алексеевич согласился, и Пузырев тут же, в виде поощрения, передал ему под столом два цибика чая и пачку папирос «Раджа».

С этого дня Алексей Алексеевич каждое утро приходил на рынок к Пузыреву и, получив от него какие-то бумаги с кривыми подписями и бесчисленными печатями, брал саночки, если это происходило зимой, или, если это происходило летом, — тачку и отправлялся, по указанию Пузырева, по разным учреждениям, где, предъявив бумаги,

получал какие-то ящики, которые грузил на свои саночки или тележку и вечером отвозил их Пузыреву на квартиру. Но однажды, когда Алексей Алексеевич подкатил свои саночки к пузыревской квартире, к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия — Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму.

Но допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к десяти годам ссылки в северные части своего отечества. Вернувшись в 28-м году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу пр. Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел:

На баррикады
мы все пойдем!
За свободу
мы все покалечимся и умрем

Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели.

Вот краткая повесть жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексеева.

Судьба жены профессора

Однажды один профессор съел чего-то, да не то, и его начало рвать.

Пришла его жена и говорит:

— Ты чего?

А профессор говорит:

— Ничего.

Жена обратно ушла.

Профессор лег на оттоманку, полежал, отдохнул и на службу пошел.

А на службе ему сюрприз, жалованье скостили: вместо 650 руб. всего только 500 оставили.

Профессор туда-сюда — ничего не помогает. Профессор и к директору, а директор его в шею. Профессор к бухгалтеру, а бухгалтер говорит:

— Обратитесь к директору.

Профессор сел на поезд и поехал в Москву.

По дороге профессор схватил грипп. Приехал в Москву, а на платформу вылезти не может.

Положили профессора на носилки и отнесли в больницу.

Пролежал профессор в больнице не больше четырех дней и умер.

Тело профессора сожгли в крематории, пепел положили в баночку и послали его жене.

Вот жена профессора сидит и кофе пьет. Вдруг звонок. Что такое?

— Вам посылка.

Жена обрадовалась, улыбается во весь рот, почтальону полтинник в руку сует и скорее посылку распечатывает.

Смотрит, а в посылке баночка с пеплом и записка: «Вот все, что осталось от Вашего супруга».

Жена профессора очень расстроилась, поплакала часа три и пошла баночку с пеплом хоронить. Завернула она баночку в газету и отнесла в сад имени 1-ой пятилетки, б. Таврический.

Выбрала жена профессора аллею погуще и только хотела баночку в землю зарыть, вдруг идет сторож.

— Эй, — кричит сторож, — ты чего тут делаешь?

Жена профессора испугалась и говорит:

— Да вот хотела лягушек в баночку изловить.

— Ну, — говорит сторож, — это ничего, только смотри: по траве ходить воспрещается.

Когда сторож ушел, жена профессора зарыла баночку в землю, ногой вокруг притоптала и пошла по саду погулять.

А в саду к ней какой-то матрос пристал.

— Пойдем да пойдем, — говорит, — спать.

Она говорит:

— Зачем же днем спать?

А он опять свое: спать да спать. И действительно, захотелось профессорше спать.

Идет она по улицам, а ей спать хочется. Вокруг люди бегают, какие-то синие, да зеленые, а ей все спать хочется. Идет она и спит. И видит сон, будто идет к ней навстречу Лев Толстой и в руках ночной горшок держит. Она его спрашивает: «Что же это такое?»

А он показывает ей пальцем на горшок и говорит:

— Вот, — говорит, — тут я кое-что наделал и теперь несю всему свету показывать. Пусть, — говорит, — все смотрят.

Стала профессорша тоже смотреть и видит, будто это уже не Толстой, а сарай, а в сарае сидит курица.

Стала профессорша курицу ловить, а курица забилась под диван и оттуда уже кроликом выглядывает.

Ползла профессорша за кроликом под диван и проснулась. Проснулась. Смотрит: действительно лежит она под диваном.

Вылезла профессорша из—под дивана, видит — комната ее собственная. А вот и стол стоит с недопитым кофе. На столе записка лежит: «Вот все, что осталось от Вашего супруга».

Всплакнула профессорш а еще раз и села холодный кофе допивать.

Вдруг звонок. Что такое?

— Поедемте.

— Куда? — спрашивает профессорша.

— В сумасшедший дом, — отвечают люди.

Профессорша стала кричать и упираться, но люди схватили ее и отвезли в сумасшедший дом.

И вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме, держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок.

Эта профессорша только жалкий пример того, как много в жизни несчастных, которые занимают в жизни не то место, которое им занимать следует.

21 августа 1936 года.

Связь

Философ!

1. Пишу Вам в ответ на Ваше письмо, которое Вы собираетесь написать мне в ответ на мое письмо, которое я написал Вам. 2. Один скрипач купил себе магнит и понес его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понес ее по улице. 3. Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела. 4. А хулиганы тем временем схватили магнит и скрылись. 5. Скрипач вернулся домой без пальто и шапки, потому что шапка истлела в азотной кислоте, и скрипач, расстроенный потерей своей шапки, забыл пальто в трамвае. 6. Кондуктор того трамвая отнес пальто на барахолку и там обменял на сметану, крупу и помидоры. 7. Тесть кондуктора объелся помидорами и умер. Труп тестя кондуктора положили в покойницкую, но потом его перепутали и вместо тестя кондуктора похоронили какую-то старушку. 8. На могиле старушки поставили белый столб с надписью: «Антон Сергеевич Кондратьев». 9. Через одиннадцать лет этот столб источили черви, и он упал. А кладбищенский сторож распилил этот столб на четыре части и сжег его в своей плите. А жена кладбищенского сторожа на этом огне сварила суп из цветной капусты. 10. Но когда суп был уже готов, со стены упала муха прямо в кастрюлю с этим супом. Суп отдали нищему Тимофею. 11. Нищий Тимофей поел супа и рассказал нищему Николаю про доброту кладбищенского сторожа. 12. На другой день нищий Николай пришел к кладбищенскому сторожу и стал просить милостыню. Но кладбищенский сторож ничего не дал Николаю и прогнал прочь. 13. Нищий Николай очень обозлился и поджег дом кладбищенского сторожа. 14. Огонь перекинулся с дома на церковь, и церковь сгорела. 15. Повелось длительное следствие, но причину пожара установить не удалось. 16. На том месте, где была церковь, построили клуб и в день открытия клуба устроили концерт, на котором выступал скрипач, который четырнадцать лет назад потерял свое пальто. 17. А среди слушателей сидел сын одного из тех хулиганов, которые четырнадцать лет тому назад сбили шапку с этого скрипача. 18. После концерта они поехали домой в одном трамвае. Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке. 19. И вот они едут поздно вечером по городу: впереди — скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый, бывший кондуктор. 20. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают до самой смерти.

14 сентября 1937

Власть

Фаол сказал: «Мы грешим и творим добро вслепую. Один стряпчий ехал на велосипеде и вдруг, доехав до Казанского Собора, исчез. Знает ли он, что дано было сотворить ему: добро или зло? Или такой случай: один артист купил себе шубу и якобы сотворил добро той старушке, которая, нуждаясь, продавала эту шубу, но зато другой старушке, а именно своей матери, которая жила у артиста и обыкновенно спала в прихожей, где артист вешал свою новую шубу, он сотворил по всей видимости зло, ибо от новой шубы столь невыносимо пахло каким-то формалином и нафталином, что старушка, мать того артиста, однажды не смогла проснуться и умерла. Или еще так: один графолог

надрызгался водкой и натворил такое, что тут, пожалуй, и сам полковник Дибич не разобрал бы, что хорошо, а что плохо. Грех от добра отличить очень трудно».

Мышин, задумавшись над словами Фаола, упал со стула.

— Хо-хо, — сказал он, лежа на полу, — че-че.

Фаол продолжал: «Возьмем любовь. Будто хорошо, а будто и плохо. С одной стороны, сказано: возлюби, а с другой стороны, сказано: не балуй. Может, лучше вовсе не возлюбить? А сказано: возлюби. А возлюбишь — набалуешь. Что делать? Может возлюбить, да не так? Тогда зачем же у всех народов одним и тем же словом изображается возлюбить и так и не так? Вот один артист любил свою мать и одну молоденькую полненькую девицу. И любил он их разными способами. И отдавал девице большую часть своего заработка. Мать частенько голодала, а девица пила и ела за троих. Мать артиста жила в прихожей на полу, а девица имела в своем распоряжении две хорошие комнаты. У девицы было четыре пальто, а у матери одно. И вот артист взял у своей матери это одно пальто и перешел из него девице юбку. Наконец, с девицей артист баловался, а со своей матерью — не баловался и любил ее чистой любовью. Но смерти матери артист побаивался, а смерти девицы — артист не побаивался. И когда умерла мать, артист плакал, а когда девица вывалилась из окна и тоже умерла, артист не плакал и завел себе другую девицу. Выходит, что мать ценится, как уники, вроде редкой марки, которую нельзя заменить другой».

— Шо-шо, — сказал Мышин, лежа на полу. — Хо-хо.

Фаол продолжал:

«И это называется чистая любовь! Добро ли такая любовь? А если нет, то как же возлюбить? Одна мать любила своего ребенка. Этому ребенку было два с половиной года. Мать носила его в сад и сажала на песочек. Туда же приносили детей и другие матери. Иногда на песочке накапливалось до сорока маленьких детей. И вот однажды в этот сад ворвалась бешеная собака, кинулась прямо к детям и начала их кусать. Матери с воплями кинулись к своим детям, в том числе и наша мать. Она, жертвуя собой, подскочила к собаке и вырвала у нее из пасти, как ей казалось, своего ребенка. Но, вырвав ребенка, она увидела, что это не ее ребенок, и мать кинула его обратно собаке, чтобы схватить и спасти от смерти лежащего тут же рядом своего ребенка. Кто ответит мне: согрешила ли она или сотворила добро?»

— Сю-сю, — сказал Мышин, ворочаясь на полу.

Фаол продолжал: «Грешит ли камень? Грешит ли дерево? Грешит ли зверь? Или грешит только один человек?»

— Млям-млям, — сказал Мышин, прислушиваясь к словам Фаола, — шуп-шуп.

Фаол продолжал: «Если грешит только один человек, то значит, все грехи мира находятся в самом человеке. Грех не входит в человека, а только выходит из него. Подобно пище: человек съедает хорошее, а выбрасывает из себя нехорошее. В мире нет ничего нехорошего, только то, что прошло сквозь человека, может стать нехорошим».

— Умняф, — сказал Мышин, стараясь приподняться с пола.

Фаол продолжал: «Вот я говорил о любви, я говорил о тех состояниях наших, которые называются одним словом «любовь». Ошибка ли это языка, или все эти состояния едины? Любовь матери к ребенку, любовь сына к матери и любовь мужчины к женщине — быть может, это все одна любовь?»

— Определенно, — сказал Мышин, кивая головой.

Фаол сказал: «Да, я думаю, что сущность любви не меняется от того, кто кого любит. Каждому человеку отпущена известная величина любви. И каждый человек ищет, куда бы ее приложить, не скидывая своих фюзеляжек. Раскрытие тайн перестановок и мелких свойств нашей души, подобной мешку опилок...»

— Хвать! — крикнул Мышин, вскакивая с пола. — Сгинь!

И Фаол рассыпался, как плохой сахар.

1940

Победа Мышина

Мышину сказали: «Эй, Мышин, вставай!»

Мышин сказал: «Не встану», — и продолжал лежать на полу.

Тогда к Мышину подошел Кулыгин и сказал:

«Если ты, Мышин, не встанешь, я тебя заставлю встать». «Нет», — сказал Мышин, продолжая лежать на полу. К Мышину подошла Селезнева и сказала: «Вы, Мышин, вечно валаетесь на полу в коридоре и мешаете нам ходить взад и вперед».

— Мешал и буду мешать, — сказал Мышин.

— Ну знаете, — сказал Коршунов, но его перебил Кулыгин и сказал:

— Да чего тут долго разговаривать! Звоните в милицию.

Позвонили в милицию и вызвали милиционера.

Через полчаса пришел милиционер с дворником.

— Чего у вас тут? — спросил милиционер.

— Полюбуйтесь, — сказал Коршунов, но его

перебил Кулыгин и сказал:

— Вот. Этот гражданин все время лежит тут на полу и мешает нам ходить по коридору. Мы его и так и эдак...

Но тут Кулыгина перебила Селезнева и сказала:

— Мы его просили уйти, а он не уходит.

— Да, — сказал Коршунов.

Милиционер подошел к Мышину.

— Вы, гражданин, зачем тут лежите? — сказал милиционер.

— Отдыхаю, — сказал Мышин.

— Здесь, гражданин, отдыхать не годится, — сказал милиционер. — Вы где, гражданин, живете?

— Тут, — сказал Мышин.

— Где ваша комната? — спросил милиционер.

— Он прописан в нашей квартире, а комнаты не имеет, — сказал Кулыгин.

— Обождите, гражданин, — сказал милиционер, — я сейчас с ним говорю. Гражданин, где вы спите?

— Тут, — сказал Мышин.

— Позвольте, — сказал Коршунов, но его перебил Кулыгин и сказал:

— Он даже кровати не имеет и валяется на голом полу.

— Они давно на него жалуются, — сказал дворник.

— Совершенно невозможно ходить по коридору, — сказала Селезнева. — Я не могу вечно шагать через мужичину. А он нарочно ноги вытянет, да еще руки вытянет, да еще на спину ляжет и глядит. Я с работы усталая прихожу, мне отдых нужен.

— Присовокупляю, — сказал Коршунов, но его перебил Кулыгин и сказал:

— Он и ночью здесь лежит. Об него в темноте все спотыкаются. Я через него одеяло свое разорвал.

Селезнева сказала:

— У него вечно из кармана какие-то гвозди вываливаются. Невозможно по коридору босой ходить, того и гляди ногу напорешь.

— Они давеча хотели его керосином пожечь, — сказал дворник.

— Мы его керосином облили, — сказал Коршунов, но его перебил Кулыгин и сказал:

— Мы его только для страха облили, а поджечь и не собирались.

— Да я бы не позволила в своем присутствии живого человека жечь, — сказала Селезнева.

— А почему этот гражданин в коридоре лежит? — спросил вдруг милиционер.

— Здрасьте-пожалуйста! — сказал Коршунов, но Кулыгин его перебил и сказал:

— А потому что у него нет другой жилплощади: вот в этой комнате я живу, в той — вот они, в этой — вот он, а уж

Мышин в коридоре живет.

— Это не годится, — сказал милиционер. — Надо, чтобы все на своей жилплощади лежали.

— А у него нет другой жилплощади, как в коридоре, — сказал Кулыгин.

— Вот именно, — сказал Коршунов.

— Вот он вечно тут и лежит, — сказала Селезнева.

— Это не годится, — сказал милиционер и ушел вместе с дворником.

Коршунов подскочил к Мышину.

— Что? — закричал он. — Как вам это по вкусу пришлось?

— Подождите, — сказал Кулыгин и, подойдя

к Мышину, сказал. — Слышал, чего говорил милиционер? Вставай с полу.

— Не встану, — сказал Мышин, продолжая лежать на полу.

— Он теперь нарочно и дальше будет вечно тут лежать, — сказала Селезнева.

— Определенно, — сказал с раздражением Кулыгин.

И Коршунов сказал:

— Я в этом не сомневаюсь. Parfaitement!

Помеха

Пронин сказал:

— У вас очень красивые чулки.

Ирина Мазер сказала:

— Вам нравятся мои чулки?

Пронин сказал:

— О, да. Очень. — И схватился за них рукой.

Ирина сказала:

— А почему вам нравятся мои чулки?

Пронин сказал:

— Они очень гладкие.

Ирина подняла свою юбку и сказала:

— А видите, какие они высокие?

Пронин сказал:

— Ой, да, да.

Ирина сказала:

— Но вот тут они уже кончаются. Тут уже идет голая нога.

— Ой, какая нога! — сказал Пронин.

— У меня очень толстые ноги, — сказала Ирина. — А в бедрах я очень широкая.

— Покажите, — сказал Пронин.

— Нельзя, — сказала Ирина, — я без панталон.

Пронин опустился перед ней на колени.

Ирина сказала:

— Зачем вы встали на колени?

Пронин поцеловал ее ногу чуть повыше чулка и сказал:

— Вот зачем.

Ирина сказала:

— Зачем вы поднимаете мою юбку еще выше? Я же вам сказала, что я без панталон.

Но Пронин все-таки поднял ее юбку и сказал:

— Ничего, ничего.

— То есть как это так, ничего? — сказала Ирина.

Но тут в дверь кто-то постучал. Ирина быстро одернула свою юбку, а Пронин встал с пола и подошел к окну.

— Кто там? — спросила Ирина через двери.

— Откройте дверь, — сказал резкий голос.

Ирина открыла дверь, и в комнату вошел человек в черном пальто и в высоких сапогах. За ним вошли двое военных, низших чинов, с винтовками в руках, а за ними вошел дворник. Низшие чины встали около двери, а человек в черном пальто подошел к Ирине Мазер и сказал:

— Ваша фамилия?

— Мазер, — сказала Ирина.

— Ваша фамилия? — спросил человек в черном пальто, обращаясь к Пронину.

Пронин сказал:

— Моя фамилия Пронин.

— У вас оружие есть? — спросил человек в черном пальто.

— Нет, — сказал Пронин.

— Сядьте сюда, — сказал человек в черном пальто, указывая Пронину на стул.

Пронин сел.

— А вы, — сказал человек в черном пальто, обращаясь к Ирине, — наденьте ваше пальто. Вам придется с нами поехать.

— Зачем? — сказала Ирина.

Человек в черном пальто не ответил.

— Мне нужно переодеться, — сказала Ирина.

— Нет, — сказал человек в черном пальто.

— Но мне нужно еще кое-что на себя надеть, — сказала Ирина.

— Нет, — сказал человек в черном пальто.

Ирина молча надела свою шубку.

— Прощайте, — сказала она Пронину.

— Разговоры запрещены, — сказал человек в черном пальто.

— А мне тоже ехать с вами? — спросил Пронин.

— Да, — сказал человек в черном пальто. — Одевайтесь.

Пронин встал, снял с вешалки свое пальто и шляпу, оделся и сказал:

— Ну, я готов.

— Идемте, — сказал человек в черном пальто.

Низшие чины и дворник застучали подметками.

Все вышли в коридор.

Человек в черном пальто запер дверь Ирининой комнаты и запечатал ее двумя бурыми печатями.

— Дашь на улицу, — сказал он.

И все вышли из квартиры, громко хлопнув наружной дверью.

Реабилитация

Не хвастаясь, могу сказать, что, когда Володя ударил меня по уху и плюнул мне в лоб, я так его схватил, что он этого не забудет. Уже потом я бил его примусом, а утюгом я бил его вечером. Так что умер он совсем не сразу. Это не доказательство, что ногу я оторвал ему еще днем. Тогда он был еще жив. А Андрюшу я убил просто по инерции, и в этом я себя не могу обвинить. Зачем Андрюша с Елизаветой Антоновной попались мне под руку? Им было ни к чему выскакать из—за двери. Меня обвиняют в кровожадности, говорят, что я пил кровь, но это неверно: я подлизывал кровавые лужи и пятна — это естественная потребность человека уничтожить следы своего, хотя бы и пустяшного, преступления. А также я не насиловал Елизавету Антоновну. Во—первых, она уже не была девушкой, а во—вторых, я имел дело с трупом, и ей жаловаться не приходится. Что из того, что она вот—вот должна была родить? Я и вытащил ребенка. А то, что он вообще не жилец был на этом свете, в этом уж не моя вина. Не я оторвал ему голову, причиной тому была его тонкая шея. Он был создан не для жизни сей. Это верно, что я сапогом размазал по полу их собачку. Но это уж цинизм — обвинять меня в убийстве собаки, когда тут рядом, можно сказать, уничтожены три человеческие жизни. Ребенка я не считаю. Ну хорошо: во всем этом (я могу согласиться) можно усмотреть некоторую жестокость с моей стороны. Но считать преступлением то, что я сел и испражнился на свои жертвы, — это уже, извините, абсурд. Испражняться — потребность естественная, а, следовательно, и отнюдь не преступная. Таким образом, я понимаю опасения моего защитника, но все же надеюсь на полное оправдание.

Случаи

Посвящаю Марине Владимировне Малич

1. Голубая тетрадь N 10

Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было!

Так что непонятно, о ком идёт речь. Уж лучше мы о нём не будем больше говорить.

<7.1.1937>

2. Случаи

Однажды Орлов объелся толчёным горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер.

А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла.

А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам.

А Михайлов перестал причёсываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом и сошёл с ума. А Перехрёстов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу.

<22 августа 1936>

3. Вываливающиеся старухи

Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась.

Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.

<1937>

4. Сонет

Удивительный случай случился со мной: я вдруг забыл, что идёт раньше — 7 или 8.

Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Каково же было их и моё удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счёта. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала:

— По-моему, семь идёт после восьми в том случае, когда восемь идёт после семи.

Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как её слова показались нам лишёнными всякого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в Летний сад и стали там считать деревья. Но дойдя в счёте до 6-ти, мы остановились и начали спорить: по мнению одних дальше следовало 7, по мнению других — 8. Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребёнок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора.

А потом мы разошлись по домам.

<12 ноября 1935>

5. Петров и Камаров

Петров:

Эй, Камаров!

Давай ловить комаров!

Камаров:

Нет, я к этому ещё не готов.

Давай лучше ловить котов!

6. Оптический обман

Семен Семёнович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семёнович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит.

Семен Семёнович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.

Семен Семёнович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.

Семен Семёнович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семёнович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом.

<1934>

7. Пушкин и Гоголь

Гоголь ([падает из-за кулис на сцену и смирно лежит]).

Пушкин ([выходит, спотыкается об Гоголя и падает]):

Вот чёрт! Никак об Гоголя!

Гоголь ([поднимаясь]):

Мерзопакость какая! Отдохнуть не дадут!

([Идёт, спотыкается об Пушкина и падает]).

Никак об Пушкина спотыкнулся!

Пушкин ([поднимаясь]):

Ни минуты покоя! ([Идёт, спотыкается об Гоголя и падает]).

Вот чёрт! Никак опять об Гоголя!

Гоголь ([поднимаясь]):

Вечно во всем помеха! ([Идёт, спотыкается об Пушкина и падает]).

Вот мерзопакость! Опять об Пушкина!

Пушкин ([поднимаясь]):

Хулиганство! Сплошное хулиганство! ([Идёт, спотыкается об Гоголя и падает]). Вот чёрт! Опять об Гоголя!

Гоголь ([поднимаясь]):

Это издевательство сплошное! ([Идёт, спотыкается об Пушкина и падает]). Опять об Пушкина!

Пушкин ([поднимаясь]):

Вот чёрт! Истинно что чёрт! ([Идёт, спотыкается об Гоголя и падает]).

Об Гоголя!

Гоголь ([поднимаясь]):

Мерзопакость! ([Идёт, спотыкается об Пушкина и падает]). Об Пушкина!

Пушкин ([поднимаясь]):

Вот чёрт! ([Идёт, спотыкается об Гоголя и падает за кулисы]). Об Гоголя!

Гоголь ([поднимаясь]):

Мерзопакость! ([Уходит за кулисы]).

За сценой слышен голос Гоголя: «Об Пушкина!»

Занавес.

<20.2.1934>

8. Столяр Кушаков

Жил-был столяр. Звали его Кушаков.

Однажды вышел он из дому и пошёл в лавочку, купить столярного клея.

Была оттепель, и на улице было очень скользко. Столяр прошёл несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб.

— Эх! — сказал столяр, встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб.

Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять поскользнулся, упал и расшиб себе нос.

— Фу! — сказал столяр, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос.

Потом он опять вышел на улицу, опять поскользнулся, упал и расшиб себе щеку.

Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щеку.

— Вот что, — сказал столяру аптекарь. — Вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластырей несколько штук.

— Нет, — сказал столяр, — больше не упаду!

Но когда он вышел на улицу, то опять поскользнулся, упал и расшиб себе подбородок.

— Паршивая гололедица! — закричал столяр и опять побежал в аптеку.

— Ну вот видите, — сказал аптекарь. — Вот вы опять упали.

— Нет! — закричал столяр. — Ничего слышать не хочу! Давайте скорее пластырь!

Аптекарь дал пластырь; столяр заклеил себе подбородок и побежал домой.

А дома его не узнали и не пустили в квартиру.

— Я столяр Кушаков! — закричал столяр.

— Рассказывай! — отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и на цепочку.

Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошёл на улицу.

<1935>

9. Сундук

Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться.

— Вот, — говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей, — я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея.

Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах, потому что естественно побеждает смерть, а жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом, до последней минуты не теряя напрасной надежды. В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы: для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. Посмотрим: кто кого? Только вот ужасно пахнет нафталином. Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой... Вот началось: я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно! Мне уже нет спасения! И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь!..

Ой! Что же это такое? Сейчас что-то произошло, но я не могу понять, что именно. Я что-то видел или что-то слышал...

Ой! Опять что-то произошло? Боже мой! Мне нечем дышать. Я, кажется, умираю...

А это еще что такое? Почему я пою? Кажется, у меня болит шея... Но где же сундук? Почему я вижу всё, что находится у меня в комнате? Да никак я лежу на полу! А где же сундук?

Человек с тонкой шеей поднялся с пола и посмотрел кругом. Сундука нигде не было. На стульях и кровати лежали вещи, вынутые из сундука, а сундука нигде не было.

Человек с тонкой шеей сказал:

— Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом.

(В черновике приписка: жизнь победила смерть, где именительный падеж, а где винительный).

<30 января 1937>

10. Случай с Петраковым

Вот однажды Петраков хотел спать лечь, да лёг мимо кровати. Так он об пол ударился, что лежит на полу и встать не может. Вот Петраков собрал последние силы и встал на четвереньки. А силы его покинули, и он опять упал на живот и лежит. Лежал Петраков на полу часов пять. Сначала просто так лежал, а потом заснул. Сон подкрепил силы Петракова.

Он проснулся совершенно здоровым, встал, прошёлся по комнате и лёг осторожно на кровать. «Ну, — думает, — теперь посплю». А спать-то уже и не хочется. Ворочается Петраков с боку на бок и никак заснуть не может.

Вот, собственно, и всё.

<21.8.36>

11. История дерущихся

Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его.

Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам. Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого нападения, повалился на пол, а Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и рваной ноздрей. Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал. А Андрей Карлович протер свою вставную челюсть, вставил её себе в рот и, убедившись, что челюсть пришлась на место, осмотрелся вокруг и, не видя Алексея Алексеевича, пошёл его разыскивать.

<15.3.1936>

12. Сон

Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон, будто он идёт мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер. Калугин проснулся, подложил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку, и опять заснул, и опять увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер.

Калугин проснулся, переменял газету, лёг и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, будто он идёт мимо кустов, а в кустах сидит милиционер. Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты.

Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог. Калугин спал четыре дня и четыре ночи подряд и на пятый день проснулся таким тощим, что сапоги пришлось подвязывать к ногам верёвочкой, чтобы они не сваливались. В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной.

А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным и приказала жакту выкинуть Калугина вместе с сором.

Калугина сложили пополам и выкинули его как сор.

<22.8.1936>

13. Математик и Андрей Семёнович

Математик ([вынимая из головы шар]):

Я вынул из головы шар.

Я вынул из головы шар.

Я вынул из головы шар.

Я вынул из головы шар.

Андрей Семёнович:

Положь его обратно.

Положь его обратно.

Положь его обратно.

Положь его обратно.

Математик:

Нет, не положу!

Нет, не положу!

Нет, не положу!

Нет, не положу!

Андрей Семёнович:

Ну и не клади.

Ну и не клади.

Ну и не клади.

Математик:

Вот и не положу!

Вот и не положу!

Вот и не положу!

Андрей Семёнович:

Ну и ладно.

Ну и ладно.

Ну и ладно.

Математик:

Вот я и победил!

Вот я и победил!

Вот я и победил!

Андрей Семёнович:

Ну победил и успокойся!

Математик:

Нет, не успокоюсь!

Нет, не успокоюсь!

Нет, не успокоюсь!

Андрей Семёнович:

Хоть ты математик, а честное слово, ты не умён.

Математик:

Нет, умён и знаю очень много!

Нет, умён и знаю очень много!

Нет, умён и знаю очень много!

Андрей Семёнович:

Много, да только всё ерунду.

Математик:

Нет, не ерунду!

Нет, не ерунду!

Нет, не ерунду!

Андрей Семёнович:

Надоело мне с тобой препираться.

Математик:

Нет, не надоело!

Нет, не надоело!

Нет, не надоело!

([Андрей Семёнович досадливо машет рукой и уходит.

Математик, постояв минуту, уходит вслед за Андреем Семёновичем.]

Занавес

<11.4.1933>

14. Молодой человек, удививший сторожа

— Ишь ты, — сказал сторож, рассматривая муху.

— Ведь если её помазать столярным клеем, то ей, пожалуй, и конец придет. Вот ведь история! От простого клея!

— Эй ты, леший! — окликнул сторожа молодой человек в жёлтых перчатках.

Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху.

— Не тебе, что ли, говорят? — крикнул опять молодой человек. — Скотина!

Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал:

— А ты чего, срамник, орёшь-то? Я и так слышу. Нечего орать-то!

Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил:

— Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?

Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, ещё раз посмотрел на молодого человека и сказал:

— Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо.

— Извините, — сказал молодой человек, — ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена.

— Ладно, — сказал сторож, — покажи билет.

— Билет не у меня; они говорили, что меня и так пропустят, — сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу.

— Ишь ты! — сказал сторож.

— Так как же? — спросил молодой человек. — Пропустите?

— Ладно, ладно, — сказал сторож. — Идите.

— А как пройти-то? Куда? — спросил молодой человек. — Ведь я и дороги-то не знаю.

— Вам куда нужно? — спросил сторож, делая строгое лицо.

Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал:

— На небо!

Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже, пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил:

— Ты чего? Ваньку валяешь?

Молодой человек улыбнулся, поднял руку в жёлтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез.

Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло жжёными перьями.

— Ишь ты! — сказал сторож, распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку.

<1936>

15. Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного

I
Писатель:
Я писатель!
Читатель:
А по-моему, ты говно!
([Писатель стоит несколько минут, потрясённый этой новой идеей, и падает замертво. Его выносят.])

II
Художник:
Я художник!
Рабочий:
А по-моему, ты говно!
([Художник тут же побледнел, как полотно, И как тростинка закачался И неожиданно скончался. Его выносят.])

III
Композитор:
Я композитор!
Ваня Рублев:
А по-моему, ты говно!
([Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят.])

IV
Химик:
Я химик!
Физик:
А по-моему, ты говно!
([Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол.])
<13.4.1933>

16. Потери

Андрей Андреевич Мясов купил на рынке фитиль и понёс его домой. По дороге Андрей Андреевич потерял фитиль и зашёл в магазин купить полтораста грамм полтавской колбасы. Потом Андрей Андреевич зашёл в молокосоюз и купил бутылку кефира, потом выпил в ларьке маленькую кружечку хлебного кваса и встал в очередь за газетой. Очередь была довольно длинная, и Андрей Андреевич простоял в очереди не менее двадцати минут, но, когда он подходил к газетчику, то газеты перед самым его носом кончились. Андрей Андреевич потоптался на месте и пошёл домой, но по дороге потерял кефир и завернул в булочную, купил французскую булку, но потерял полтавскую колбасу. Тогда Андрей Андреевич пошёл прямо домой, но по дороге упал, потерял французскую булку и сломал своё пенсне. Домой Андрей Андреевич пришёл очень злой и сразу лёг спать, но долго не мог заснуть, а когда заснул, то увидел сон: будто он потерял зубную щетку и чистит зубы каким-то подсвечником.

17. Макаров и Петерсен (N 3)

Макаров:
Тут, в этой книге, написано о наших желаниях и об исполнении их.
Прочти эту книгу, и ты поймёшь, как суетны наши желания.
Ты также поймёшь, как легко исполнить желание другого и как трудно исполнить желание своё.

Петерсен:
Ты что-то заговорил больно торжественно. Так говорят вожди индейцев.

Макаров:
Эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю шапку.

Петерсен:
А руки моешь, прежде чем коснуться этой книги?

Макаров:
Да, и руки надо мыть.

Петерсен:
Ты и ноги, на всякий случай, вымыл бы!

Макаров:
Это неостроумно и грубо.

Петерсен:
Да что же это за книга?

Макаров:
 Название этой книги таинственно...
 Петерсен:
 Хи-хи-хи!
 Макаров:
 Называется эта книга МАЛГИЛ.
 ([Петерсен исчезает.]
 Макаров:
 Господи! Что же это такое? Петерсен!
 Голос Петерсена:
 Что случилось? Макаров! Где я?
 Макаров:
 Где ты? Я тебя не вижу!
 Голос Петерсена:
 А ты где? Я тоже тебя не вижу!.. Что это за шары?
 Макаров:
 Что же делать? Петерсен, ты слышишь меня?
 Голос Петерсена:
 Слышу! Но что такое случилось? И что это за шары?
 Макаров:
 Ты можешь двигаться?
 Голос Петерсена:
 Макаров! Ты видишь эти шары?
 Макаров:
 Какие шары?
 Голос Петерсена:
 Пустите!.. Пустите меня!.. Макаров!..
 ([Тихо. Макаров стоит в ужасе, потом хватается за книгу и раскрывает её.]
 Макаров ([читает]):
 «...Постепенно человек утрачивает свою форму и становится шаром.
 И став шаром, человек утрачивает все свои желания».
 [Занавес]
 <1934>

18. Суд Линча

Петров садится на коня и говорит, обращаясь к толпе, речь о том, что будет, если на месте, где находится общественный сад, будет построен американский небоскреб. Толпа слушает и, видимо, соглашается. Петров записывает что-то у себя в записной книжечке. Из толпы выделяется человек среднего роста и спрашивает Петрова, что он записал у себя в записной книжечке.

Петров отвечает, что это касается только его самого. Человек среднего роста наседает. Слово за слово, и начинается распря. Толпа принимает сторону человека среднего роста, и Петров, спасая свою жизнь, погоняет коня и скрывается за поворотом.

Толпа волнуется и, за неимением другой жертвы, хватается за человека среднего роста и отрывает ему голову. Оторванная голова катится по мостовой и застревает в люке для водостока.

Толпа, удовлетворив свои страсти,— расходится.

19. Встреча

Вот однажды один человек пошёл на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе восвояси.

Вот, собственно, и всё.

20. Неудачный спектакль

[На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но икает.

Его начинает рвать. Он уходит.]

[Выходит Притыкин.]

Притыкин:

Уважаемый Петраков-Горбунов должен сооб... ([Его рвёт, и он убегает]).

[Выходит Макаров.]

Макаров:

Егор... ([Макарова рвёт. Он убегает.]

[Выходит Серпухов.]

Серпухов:

Чтобы не быть... ([Его рвёт, он убегает]).

[Выходит Курова.]

Курова:

Я была бы... ([Её рвёт, она убегает]).

[Выходит маленькая девочка.]

Маленькая девочка:

Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит.

[Занавес]

<1934>

21. Тюк!

Лето, письменный стол. Направо дверь. На столе картина.

На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган.

Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенсне. Евдоким Осипович сидит в креслах и курит.

Ольга Петровна ([ударяет колуном по полену, которое, однако, нисколько не раскалывается]).

Евдоким Осипович:

Тюк!

Ольга Петровна ([надевая пенсне, бьёт по полену]).

Евдоким Осипович:

Тюк!

Ольга Петровна ([надевая пенсне]):

Евдоким Осипович! Я вас прошу, не говорите этого слова «тюк».

Евдоким Осипович:

Хорошо, хорошо.

Ольга Петровна ([ударяет колуном по полену]).

Евдоким Осипович:

Тюк!

Ольга Петровна ([надевая пенсне]):

Евдоким Осипович! Вы обещали не говорить этого слова «тюк».

Евдоким Осипович:

Хорошо, хорошо, Ольга Петровна! Больше не буду.

Ольга Петровна ([ударяет колуном по полену]).

Евдоким Осипович:

Тюк!

Ольга Петровна ([надевая пенсне]):

Это безобразие! Взрослый пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы!

Евдоким Осипович:

Ольга Петровна! Вы можете спокойно продолжать вашу работу.

Я больше мешать не буду.

Ольга Петровна:

Ну я прошу вас, я очень прошу вас: дайте мне расколоть хотя бы это полено.

Евдоким Осипович:

Колите, конечно, колите!

Ольга Петровна ([ударяет колуном по полену]).

Евдоким Осипович:

Тюк!

Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встаёт с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича.

Занавес медленно опускается.

<11.4.1933>

22. Что теперь продают в магазинах

Коратыгин пришёл к Тикакееву и не застал его дома.

А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы.

Коратыгин потолкался возле дверей Тикакеева и собрался уже писать записку, вдруг смотрит, идёт сам Тикакеев и несёт в руках клеёнчатую кошёлку.

Коратыгин увидел Тикакеева и кричит ему:

- А я вас уже целый час жду!
- Неправда, — говорит Тикакеев, — я всего двадцать пять минут, как из дома.
- Ну, уж этого я не знаю, — сказал Коратыгин, — а только я тут уже целый час.
- Не врите! — сказал Тикакеев. — Стыдно врать.
- Милостивейший государь! — сказал Коратыгин.
- Потрудитесь выбирать выражения.
- Я считаю... — начал было Тикакеев, но его перебил Коратыгин.
- Если вы считаете.. — сказал он, но тут Коратыгина перебил Тикакеев и сказал:
- Сам-то ты хорош!

Эти слова так взбесили Коратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошёлки самый большой огурец и ударил им Коратыгина по голове. Коратыгин схватился руками за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах!

<19.8.1936>

23. Машкин убил Кошкина

Товарищ Кошкин танцевал вокруг товарища Машкина.

Товарищ Машкин следил за товарищем Кошкиным.

Товарищ Кошкин оскорбительно махал руками и противно выворачивал ноги.

Товарищ Машкин нахмурился.

Товарищ Кошкин пошевелил животом и притопнул правой ногой.

Товарищ Машкин вскрикнул и кинулся на товарища Кошкина.

Товарищ Кошкин попробовал убежать, но спотыкнулся и был настигнут товарищем Машкиным.

Товарищ Машкин ударил кулаком по голове товарища Кошкина.

Товарищ Кошкин вскрикнул и упал на четвереньки.

Товарищ Машкин двинул товарища Кошкина ногой под живот и еще раз ударил его кулаком по затылку.

Товарищ Кошкин растянулся на полу и умер.

Машкин убил Кошкина.

24. Сон дразнит человека

Марков снял сапоги и, вздохнув, лёг на диван.

Ему хотелось спать, но как только он закрывал глаза, желание спать моментально проходило. Марков открывал глаза и тянулся рукой за книгой, но сон опять налетал на него, и, не дотянувшись до книги, Марков ложился и снова закрывал глаза. Но лишь только глаза закрывались, сон улетал опять, и сознание становилось таким ясным, что Марков мог в уме решать алгебраические задачи на уравнения с двумя неизвестными.

Долго мучился Марков, не зная, что ему делать: спать или бодрствовать? Наконец, измучившись и возненавидев самого себя и свою комнату, Марков надел пальто и шляпу, взял в руки трость и вышел на улицу.

Свежий ветерок успокоил Маркова, ему стало радостнее на душе и захотелось вернуться обратно к себе в комнату. Войдя в свою комнату, он почувствовал в теле приятную усталость и захотел спать. Но только он лёг на диван и закрыл глаза, — сон моментально испарился. С бешенством вскочил Марков с дивана и, без шапки и без пальто, помчался по направлению к Таврическому саду.

25. Охотники

На охоту поехали шесть человек, а вернулось-то только четыре.

Двое-то не вернулось.

Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте. Окнов целый день ходил потом расстроенный и даже не хотел ни с кем разговаривать. Козлов неотступно ходил следом за Окновым и приставал к нему с различными вопросами, чем и довёл Окнова до высшей точки раздражения.

Козлов:

Хочешь закурить?

Окнов:

Нет.

Козлов:

Хочешь, я тебе принесу вон ту вон штуку?

Окнов:

Нет.

Козлов:

Может быть, хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное?

Окнов:

Нет.

Козлов:

Ну, хочешь пить? У меня вот тут есть чай с коньяком.

Окнов:

Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе ещё оторву ногу.

Стрючков и Мотыльков:

Что вы делаете? Что вы делаете?

Козлов:

Приподнимите меня с земли.

Мотыльков:

Ты не волнуйся, рана заживет.

Козлов:

А где Окнов?

Окнов ([отрывая Козлову ногу]):

Я тут, недалеко!

Козлов:

Ох, матушки! Спа-па-си!

Стрючков и Мотыльков:

Никак он ему и ногу оторвал!

Окнов:

Оторвал и бросил вон туда!

Стрючков:

Это злодейство!

Окнов:

Что-о?

Стрючков:

... ейство...

Окнов:

Ка-а-ак?

Стрючков:

Нь...нь...нь...никак.

Козлов:

Как же я дойду до дому?

Мотыльков:

Не беспокойся, мы тебе приделаем деревяшку.

Стрючков:

Ты на одной ноге стоять можешь?

Козлов:

Могу, но не очень-то.

Стрючков:

Ну, мы тебя поддержим.

Окнов:

Пустите меня к нему!

Стрючков:

Ой нет, лучше уходи!

Окнов:

Нет, пустите!.. Пустите!.. Пусти... Вот, что я хотел сделать.

Стрючков и Мотыльков:

Какой ужас!

Окнов:

Ха-ха-ха!

Мотыльков:

А где же Козлов?

Стрючков:

Он уполз в кусты.

Мотыльков:

Козлов, ты тут?

Козлов:

Шаша!..

Мотыльков:

Вот ведь до чего дошёл!

Стрючков:

Что же с ним делать?

Мотыльков:

А тут уж ничего с ним не поделаешь. По-моему, его надо просто удавить. Козлов! А, Козлов? Ты меня слышишь?

Козлов:

Ох, слышу, да плохо.

Мотыльков:

Ты, брат, не горюй. Мы сейчас тебя удавим. Пстой!.. Вот... Вот... Вот...

Стрючков:

Вот сюда, вот ещё! Так! Так! Так! Ну-ка ещё... Ну, теперь готово!

Мотыльков:

Теперь готово!

Окнов:

Господи, благослови!

26. Исторический эпизод

В. Н. Петрову

Иван Иванович Сусанин (то самое историческое лицо, которое положило свою жизнь за царя и впоследствии было воспето оперой Глинки) зашел однажды в русскую харчевню и, сев за стол, потребовал себе антрекот.

Пока хозяин харчевни жарил антрекот, Иван Иванович закусил свою бороду зубами и задумался: такая у него была привычка. Прошло 35 колов времени, и хозяин принес Ивану Ивановичу антрекот на круглой деревянной дощечке. Иван Иванович был голоден и по обычаю того времени схватил антрекот руками и начал его есть. Но, торопясь утолить свой голод, Иван Иванович так жадно набросился на антрекот, что забыл вынуть изо рта свою бороду и съел антрекот с куском своей бороды. Вот тут-то и произошла неприятность, так как не прошло и пятнадцати колов времени, как в животе у Ивана Ивановича начались сильные рези. Иван Иванович вскочил из-за стола и кинулся на двор.

Хозяин крикнул было Ивану Ивановичу: «Зри, како твоя борода клочна», — но Иван Иванович, не обращая ни на что внимания, выбежал во двор.

Тогда боярин Ковшегуб, сидящий в углу харчевни и пьющий сусло, ударил кулаком по столу и вскричал: «Кто есть сей?» А хозяин, низко кланяясь, ответил боярину: «Сие есть наш патриот Иван Иванович Сусанин». — «Во как!» — сказал боярин, допивая свое сусло. «Не угодно ли рыбки?» — спросил хозяин. «Пошел ты к бую!» — крикнул боярин и пустил в хозяина ковшом.

Ковш просвистел возле хозяйской головы, вылетел через окно на двор и хватил по зубам сидящего орлом Ивану Ивановича. Иван Иванович схватился рукой за щеку и повалился на бок. Тут справа из сарая выбежал Карп и, перепрыгнув через корыто, на котором среди помоев лежала свинья, с криком побежал к воротам. Из харчевни выглянул хозяин. «Чего ты орёшь?» — спросил он Карпа. Но Карп, ничего не отвечая, убежал. Хозяин вышел на двор и увидел Сусанина, лежащего неподвижно на земле. Хозяин подошёл поближе и заглянул ему в лицо. Сусанин пристально глядел на хозяина. «Так ты жив?» — спросил хозяин. «Жив, да тилько страшусь, что меня ещё чем-нибудь ударят», — сказал Сусанин. «Нет, — сказал хозяин, — не страшись. Это тебя боярин Ковшегуб чуть не убил, а теперь он ушедши». «Ну и слава тебе, Боже, — сказал Иван Сусанин, поднимаясь с земли. — Я человек храбрый, да тилько зря живот покладать не люблю. Вот и приник к земле и ждал, что дальше будет. Чуть чего, я бы на животе до самой Елдыриной слободы бы уполз. Евона как щеку разнесло. Батюшки! Полбороды отхватило!..» «Это у тебя ещё раньше было», — сказал хозяин. «Как это так раньше? — вскричал патриот Сусанин. — Что же, по-твоему, я так с клочной бородой ходил?» «Ходил», — сказал хозяин. «Ах ты, мяфа», — проговорил Иван Сусанин. Хозяин зажмурил глаза и, размахнувшись со всего маху, звезданул Сусанина по уху. Патриот Сусанин рухнул на землю и замер. «Вот тебе! Сам ты мяфа!» — сказал хозяин и удалился в харчевню. Несколько колов времени Сусанин лежал на земле и прислушивался, но, не слыша ничего подозрительного, осторожно приподнял голову и осмотрелся. На дворе никого не было, если не считать свиньи, которая, вывалившись из корыта, валялась теперь в грязной луже. Иван Сусанин, озираясь, подобрался к воротам. Ворота, по счастью, были открыты, и патриот Иван Сусанин, извиваясь по земле, как червь, пополз по направлению к Елдыриной слободе. Вот эпизод из жизни знаменитого исторического лица, которое положило свою жизнь за царя и было впоследствии воспето в опере Глинки.

<1939>

27. Федя Давидович

Федя долго подкрадывался к маслёнке и, наконец, улучив момент, когда жена нагнулась, чтобы состричь на ноге ноготь, быстро, одним движением вынул из маслénки все масло и сунул его к себе в рот. Закрывая маслénку, Федя нечаянно звякнул крышкой. Жена сейчас же выпрямилась и, увидя пустую маслénку, указала на нее ножницами и строго сказала:

— Масла в маслénке нет. Где оно?

Федя сделал удивлённые глаза и, вытянув шею, заглянул в маслénку.

— Это масло у тебя во рту, — сказала жена, показывая ножницами на Федю. Федя отрицательно покачал головой.

— Ага, — сказала жена. — Ты молчишь и мотаешь головой, потому что у тебя рот набит маслом. Федя вытаращил глаза и замахал на жену руками, как бы говоря: «Что ты, что ты, ничего подобного!». Но жена сказала:

— Ты врешь. Открой рот.

— Мм, — сказал Федя.

— Открой рот, — повторила жена. Федя растопырил пальцы и замычал, как бы говоря: «Ах да, совсем было забыл; сейчас приду», — и встал, собираясь выйти из комнаты.

— Стой! — крикнула жена. Но Федя прибавил шагу и скрылся за дверью.

Жена кинулась за ним, но около двери остановилась, так как была голой и в таком виде не могла выйти в коридор, где ходили другие жильцы этой квартиры.

— Ушёл, — сказала жена, садясь на диван. — Вот чёрт! А Федя, дойдя по коридору до двери, на которой висела надпись: «Вход категорически воспрещён», открыл эту дверь и вошёл в комнату. Комната, в которую вошёл Федя, была узкой и длинной, с окном, завешенным грязной бумагой. В комнате справа у стены стояла грязная ломаная кушетка, а у окна стол, который был сделан из доски, положенной одним концом на ночной столик, а другим на спинку стула. На стене висела двойная полка, на которой лежало неопределённо что. Больше в комнате ничего не было, если не считать лежащего на кушетке человека с бледно-зелёным лицом, одетого в длинный и рваный коричневый сюртук и в черные нанковые штаны, из которых торчали чисто вымытые босые ноги. Человек этот не спал и пристально смотрел на вошедшего.

Федя поклонился, шаркнул ножкой и, вынув пальцем изо рта масло, показал его лежащему человеку.

— Полтора, — сказал хозяин комнаты, не меняя позы.

— Маловато, — сказал Федя.

— Хватит, — сказал хозяин комнаты.

— Ну ладно, — сказал Федя и, сняв масло с пальца, положил его на полку.

— За деньгами придешь завтра утром, — сказал хозяин.

— Ой, что вы! — вскричал Федя. — Мне ведь их сейчас нужно. И ведь полтора рубля всего... — Пошёл вон, — сухо сказал хозяин, и Федя на цыпочках выбежал из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь.

<10.2.1939>

28. Анекдоты из жизни Пушкина

1. Пушкин был поэтом и всё что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: — Да никак ты писака!

С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым.

2. Как известно, у Пушкина никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и всегда завидовал Захарьину, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. «У него растёт, а у меня не растёт», — частенько говаривал Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав.

3. Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришёл, осмотрел часы Петрушевского и положил их обратно на стол. «Что скажешь, брат Пушкин?» — спросил Петрушевский. «Стоп машина», — сказал Пушкин.

4. Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колёсах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колёса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл «эрпигармами».

5. Лето 1829 года Пушкин провёл в деревне. Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке. При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал пальцами свой нос. А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили: «Это ничаво».

6. Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас!

7. У Пушкина было четыре сына, и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и всё время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывало, сплошная умора: сидят они за столом; на одном конце Пушкин всё время падает со стула, а на другом конце — его сын. Просто хоть святых вон выноси!

<1937>

29. Начало очень хорошего летнего дня (симфония)

Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на улицу и напугал всех, кто проходил в это время по улице.

Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот ловкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стенку.

«Эх!» — вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба с воем убежала в подворотню. Мимо шёл Фетелюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй ты, сало!» — и ударил Фе-

телюшина по животу. Фетелюшин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фетелюшина.

Тут же недалеко носатая баба била корытом своего ребёнка. А молодая толстенная мать тёрла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У бакалейного магазина стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошёлками. Крестьянин Харитон, напившись денатурата, стоял перед бабами с расстёгнутыми штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день.

30. Пакин и Ракукин

— Ну ты, не очень-то фрякай! — сказал Пакин Ракукину.

Ракукин сморщил нос и недоброжелательно посмотрел на Пакина.

— Что глядишь? Не узнал? — спросил Пакин.

Ракукин пожевал губами и, с возмущением повернувшись на своем вертящемся кресле, стал смотреть в другую сторону.

Пакин побарабанил пальцами по своему колену и сказал:

— Вот дурак! Хорошо бы его по затылку палкой хлопнуть.

Ракукин встал и пошёл из комнаты, но Пакин быстро вскочил, догнал Ракукина и сказал:

— Постой! Куда помчался? Лучше сядь, и я тебе покажу кое-что.

Ракукин остановился и недоверчиво посмотрел на Пакина.

— Что, не веришь? — спросил Пакин.

— Верю, — сказал Ракукин.

— Тогда садись вот сюда, в это кресло, — сказал Пакин.

И Ракукин сел обратно в своё вертящееся кресло.

— Ну вот, — сказал Пакин, — чего сидишь в кресле, как дурак?

Ракукин подвигал ногами и быстро замигал глазами.

— Не мигай, — сказал Пакин.

Ракукин перестал мигать глазами и, сгорбившись, втянул голову в плечи.

— Сиди прямо, — сказал Пакин.

Ракукин, продолжая сидеть сгорбившись, выпятил живот и вытянул шею.

— Эх, — сказал Пакин, — так бы и шлёпнул тебя по подрывнику!

Ракукин икнул, надул щёки и потом осторожно выпустил воздух через ноздри.

— Ну ты, не фрякай! — сказал Пакин Ракукину.

Ракукин ещё больше вытянул шею и опять быстро-быстро замигал глазами.

Пакин сказал:

— Если ты, Ракукин, сейчас не перестанешь мигать, я тебя ударю ногой по грудям.

Ракукин, чтобы не мигать, скривил челюсти и ещё больше вытянул шею и закинул назад голову.

— Фу, какой мерзостный у тебя вид, — сказал Пакин. — Морда как у курицы, шея синяя, просто гадость.

В это время голова Ракукина закидывалась назад всё дальше и дальше и, наконец, потеряв напряжение, свалилась на спину.

— Что за чёрт! — воскликнул Пакин. — Это что ещё за фокусы?

Если посмотреть от Пакина на Ракукина, то можно было подумать, что Ракукин сидит вовсе без головы. Кадык Ракукина торчал вверх. Невольно хотелось думать, что это нос.

— Эй, Ракукин! — сказал Пакин.

Ракукин молчал.

— Ракукин! — повторил Пакин.

Ракукин не отвечал и продолжал сидеть без движения.

— Так, — сказал Пакин, — подход Ракукин.

Пакин перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты.

Минут четырнадцать спустя из тела Ракукина вылезла маленькая душа и злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Пакин. Но тут из-за шкапа вышла высокая фигура ангела смерти и, взяв за руку ракукинскую душу, повела её куда-то, прямо сквозь дома и стены. Ракукинская душа бежала за ангелом смерти, поминутно злобно оглядываясь. Но вот ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали за поворотом.

Старуха

...И между ними происходит
следующий разговор.
Гамсун.

На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю её: «Который час?»

— Посмотрите, — говорит мне старуха.

Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок.

— Тут нет стрелок, — говорю я.

Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:

— Сейчас без четверти три.

— Ах так. Большое спасибо, — говорю я и ухожу.

Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадается навстречу Сакердон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакердона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше один.

Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хорошо начался день, и вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу.

Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик; потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть.

С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казнь. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что ещё целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают.

Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе, и мне делается приятно, что на её часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки.

Боже мой! Ведь я ещё не выключил электрической печки! Я вскакиваю и выключаю её, потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза. Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце, прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна.

Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я всё обдумал ещё вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живёт в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть платком, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда.

Я сижу и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович лопнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. Скорее, скорее за работу! Долой всякий сон и лень! Я буду писать восемнадцать часов подряд!

От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать: нужно было взять перо и бумагу, а я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате: от окна к столу, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к окну. Я задыхался от пламени, которое пылало в моей груди. Сейчас только пять часов. Впереди весь день, и вечер, и вся ночь...

Я стою посередине комнаты. О чём же я думаю? Ведь уже двадцать минут шестого. Надо писать. Я придвигаю к окну столик и сажусь за него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо.

Мое сердце ещё слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться. Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я жмурюсь и трубку закуриваю.

Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идёт человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой.

— Так, — говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно.

Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу:

«Чудотворец был высокого роста».

Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия, я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего.

В дверь кто-то стучит.

— Кто там?

Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлён и ничего не могу сказать.

— Вот я и пришла, — говорит старуха и входит в мою комнату.

Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идёт к моему креслу возле окна и садится в него.

— Закрой дверь и запири её на ключ, — говорит мне старуха.

Я закрываю и запираю дверь.

— Встань на колени, — говорит старуха.

И я становлюсь на колени.

Но тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моём любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху?

— Послушайте-ка, — говорю я, — какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да ещё командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях.

— И не надо, — говорит старуха. — Теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол.

Я тотчас исполнил приказание.

Я вижу перед собой правильно начерченные квадраты. Боль в плече и в правом бедре заставляет меня изменить положение. Я лежу ничком, теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я ещё оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас, должно быть, белая ночь. Я пристально вглядываюсь. Господи! Неужели это старуха всё ещё сидит в моём кресле? Я вытягиваю шею и смотрю. Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула.

Я поднимаюсь и, прихрамывая, подхожу к ней. Голова старухи опущена на грудь, руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать её за дверь.

— Послушайте, — говорю я, — вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти.

Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у неё приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается всё ясно: старуха умерла.

Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью, иди разговаривать с дворником, управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я щупаю её лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?

Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне.

— Вот сволочь! — говорю я вслух.

Мёртвая старуха как мешок сидит в моём кресле. Зубы торчат у неё изо рта. Она похожа на мёртвую лошадь.

— Противная картина, — говорю я, но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли что может случиться под газетой.

За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный машинист. Ещё того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мёртвая старуха! Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего он медлит? Уже половина шестого! Ему давно пора уходить. Боже мой! Он собирается пить чай! Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах, поскорее ушёл бы этот проклятый машинист!

Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит восемь минут, но чай у соседа ещё не готов и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю.

Мне снится, что сосед ушёл и я, вместе с ним, выхожу на лестницу и захопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов, а это уж совсем плохо. Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать, и вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны — вилка.

— Вот, — говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. — Вот видите, — говорю я ему, — какие у меня руки?

А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакердон Михайлович, а глиняный.

Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке, а у окна, в кресле, сидит мёртвая старуха.

Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это всё был сон. Но только где же он начался? Входила ли старуха вчера в мою комнату? Может быть, это тоже был сон? Я вернулся вчера домой, потому что забыл выключить электрическую печку. Но, может быть, и это был сон? Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мёртвой старухи и, значит, не надо идти к

управдому и возиться с покойником!

Однако сколько же времени я спал? Я посмотрел на часы: половина десятого, должно быть, утра.

Господи! Чего только не приснится во сне!

Я спустил ноги с кушетки, собираясь встать, и вдруг увидел мёртвую старуху, лежащую на полу за столом, возле кресла. Она лежала лицом вверх, и вставная челюсть, выскочив изо рта, впиалась одним зубом старухе в ноздрю. Руки подвернулись под туловище и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках.

— Сволочь! — крикнул я и, подбежав к старухе, ударил её сапогом по подбородку.

Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху ещё раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знаки, а то ещё потом решат, что это я убил её.

Я отошёл от старухи, сел на кушетку и закурил трубку. Так прошло минут двадцать. Теперь мне стало ясно, что всё равно дело передадут в уголовный розыск и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение выходит серьёзное, а тут ещё этот удар сапогом.

Я подошёл опять к старухе, наклонился и стал рассматривать её лицо. На подбородке было маленькое тёмное пятнышко. Нет, придраться нельзя. Мало ли что? Может быть, старуха ещё при жизни стукнулась обо что-нибудь? Я немного успокаиваюсь и начинаю ходить по комнате, куря трубку и обдумывая своё положение.

Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод, всё сильнее и сильнее. От голода я начинаю даже дрожать. Я ещё раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.

Я вынимаю свой бумажник и считаю деньги. Одиннадцать рублей. Значит, я могу купить себе ветчины и хлеб и ещё останется на табак.

Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, тщательно запираю дверь своей комнаты, кладу ключ к себе в карман и выхожу на улицу. Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее и тогда я приму что-нибудь с этой падалью.

По дороге в магазин ещё приходит в голову: не зайти ли мне к Сакердону Михайловичу и не рассказать ли ему всё, может быть, вместе мы скорее придумаем, что делать. Но я тут же отклоняю эту мысль, потому что некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей.

В магазине не было ветчинной колбасы, и я купил себе полкило сарделек. Табака тоже не было. Из магазина я пошёл в булочную.

В булочной было много народу, и к кассе стояла длинная очередь. Я сразу нахмурился, но всё-таки в очередь встал. Очередь продвигалась очень медленно, а потом и вовсе остановилась, потому что у кассы произошёл какой-то скандал.

Я делал вид, что ничего не замечаю, и смотрел в спину молоденькой дамочки, которая стояла в очереди передо мной. Дамочка была, видно, очень любопытной: она вытягивала шейку то вправо, то влево и поминутно становилась на цыпочки, чтобы разглядеть, что происходит у кассы. Наконец она повернулась ко мне и спросила:

— Вы не знаете, что там происходит?

— Простите, не знаю, — сказал я как можно суше.

Дамочка повертелась в разные стороны и наконец опять обратилась ко мне:

— Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит?

— Простите, меня это нисколько не интересует, — сказал я ещё суше.

— Как не интересует? — воскликнула дамочка. — Ведь вы же сами задерживаетесь из-за этого в очереди!

Я ничего не ответил и только слегка поклонился. Дамочка внимательно посмотрела на меня.

— Это, конечно, не мужское дело стоять в очередях за хлебом, — сказала она. — Мне жалко вас, вам приходится тут стоять. Вы, должно быть, холостой?

— Да, холостой, — ответил я, несколько сбитый с толку, но по инерции продолжая отвечать довольно сухо и при этом слегка кланаясь.

Дамочка ещё раз осмотрела меня с головы до ног и вдруг, притронувшись пальцами к моему рукаву, сказала:

— Давайте я куплю что вам нужно, а вы подождите меня на улице.

Я совершенно растерялся.

— Благодарю вас, — сказал я. — Это очень мило с вашей стороны, но, право, я мог бы и сам.

— Нет, нет, — сказала дамочка, — ступайте на улицу. Что вы собирались купить?

— Видите ли, — сказал я, — я собирался купить полкило чёрного хлеба, но только формового, того, который дешевле. Я его больше люблю.

— Ну вот и хорошо, — сказала дамочка. — А теперь идите. Я куплю, а потом рассчитаемся.

И она даже слегка подтолкнула меня под локоть.

Я вышел из булочной и встал у самой двери. Весеннее солнце светит мне прямо в лицо. Я закуриваю трубку. Какая милая дамочка! Это теперь так редко. Я стою, жмурюсь от солнца, курю трубку и думаю о милой дамочке. Ведь у неё светлые карие глазки. Просто прелесть, какая она хорошенькая!

— Вы курите трубку? — слышу я голос рядом с собой. Милая дамочка протягивает мне хлеб.

— О, бесконечно вам благодарен, — говорю я, беря хлеб.

— А вы курите трубку! Это мне страшно нравится, — говорит милая дамочка.

И между нами происходит следующий разговор.

ОНА: Вы, значит, сами ходите за хлебом?

Я: Не только за хлебом; я себе всё сам покупаю.

ОНА: А где же вы обедаете?

Я: Обыкновенно я сам варю себе обед. А иногда ем в пивной.

ОНА: Вы любите пиво?

Я: Нет, я больше люблю водку.

ОНА: Я тоже люблю водку.

Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.

ОНА: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.

Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?

ОНА (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте.

Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?

ОНА (удивленно): В Бога? Да, конечно.

Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водки и пойти ко мне. Я живу тут рядом.

ОНА (задорно): Ну что ж, я согласна!

Я: Тогда идёмте.

Мы заходим в магазин, и я покупаю пол-литра водки. Больше у меня нет денег, какая-то только мелочь. Мы всё время говорим о разных вещах, и вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате, на полу, лежит мёртвая старуха.

Я оглядываюсь на мою новую знакомую: она стоит у прилавка и рассматривает банки с вареньем. Я осторожно пробираюсь к двери и выхожу из магазина. Как раз, против магазина, останавливается трамвай. Я вскакиваю в трамвай, даже не посмотрев на его номер. На Михайловской улице я вылезая и иду к Сакердону Михайловичу. У меня в руках бутылка с водкой, сардельки и хлеб.

Сакердон Михайлович сам открыл мне двери. Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голенищами и в меховой с наушниками шапке, но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом.

— Очень рад, — сказал Сакердон Михайлович, увидя меня.

— Я не оторвал вас от работы? — спросил я.

— Нет, нет, — сказал Сакердон Михайлович. — Я ничего не делал, а просто сидел на полу.

— Видите ли, — сказал я Сакердону Михайловичу. — Я к вам пришёл с водкой и закуской. Если вы ничего не имеете против, давайте выпьем.

— Очень хорошо, — сказал Сакердон Михайлович. — Вы входите.

Мы прошли в его комнату. Я откупорил бутылку с водкой, а Сакердон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом.

— Тут у меня сардельки, — сказал я. — Так как мы их будем есть: сырыми, или будем варить?

— Мы их поставим варить, — сказал Сакердон Михайлович, — а сами будем пить водку под варёное мясо. Оно из супа, превосходное варёное мясо!

Сакердон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку.

— Водку пить полезно, — говорил Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. — Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб — это только солома, которая гниёт в наших желудках.

— Ваше здоровье! — сказал я, чокаясь с Сакердоном Михайловичем.

Мы выпили и закусили холодным мясом.

— Вкусно, — сказал Сакердон Михайлович.

Но в это мгновение в комнате что-то щёлкнуло.

— Что это? — спросил я.

Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг щёлкнуло ещё раз. Сакердон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску.

— Что вы делаете? — крикнул я.

Но Сакердон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил её на пол.

— Чёрт побери! — сказал Сакердон Михайлович. — Я забыл в кастрюльку налить воды, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила.

— Всё понятно, — сказал я, кивая головой.

Мы сели опять за стол.

— Чёрт с ними, — сказал Сакердон Михайлович, — мы будем есть сардельки сырыми.

— Я страшно есть хочу, — сказал я.

— Кушайте, — сказал Сакердон Михайлович, пододвигая мне сардельки.

— Ведь я последний раз ел вчера, с вами в подвальчике, и с тех пор ничего ещё не ел, — сказал я.

— Да, да, да, — сказал Сакердон Михайлович.

— Я всё время писал, — сказал я.

— Чёрт побери! — утрированно вскричал Сакердон Михайлович. — Приятно видеть перед собой гения.

— Ещё бы! — сказал я.

— Много поди навалили? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я. — Исписал пропасть бумаги.

— За гения наших дней, — сказал Сакердон Михайлович, поднимая рюмки.

Мы выпили. Сакердон Михайлович ел варёное мясо, а я — сардельки. Съев четыре сардельки, я закурил трубку и сказал:

— Вы знаете, я ведь к вам пришёл, спасаясь от преследования.

— Кто же вас преследовал? — спросил Сакердон Михайлович.

— Дама, — сказал я.

Но так как Сакердон Михайлович ничего меня не спросил, а только молча налил в рюмки водку, то я продолжал:

— Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился.

— Хороша? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — в моём вкусе.

Мы выпили, и я продолжал:

— Она согласилась идти ко мне и пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихоньку удрать.

— Не хватило денег? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, денег хватило в обрез, — сказал я, — но я вспомнил, что не могу пустить её в свою комнату.

— Что же, у вас в комнате была другая дама? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама, — сказал я, улыбаясь. — Теперь я никого в свою комнату не могу пустить.

— Женитесь. Будете приглашать меня к обеду, — сказал Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, фыркая от смеха. — На этой даме я не женюсь.

— Ну тогда женитесь на той, которая из булочной, — сказал Сакердон Михайлович.

— Да что вы всё хотите меня женить? — сказал я.

— А что же? — сказал Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. — За ваши успехи!

Мы выпили. Видно, водка начала оказывать на нас своё действие. Сакердон Михайлович снял свою меховую с наушниками шапку и швырнул её на кровать. Я встал и прошёлся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение.

— Как вы относитесь к покойникам? — спросил я Сакердона Михайловича.

— Совершенно отрицательно, — сказал Сакердон Михайлович. — Я их боюсь.

— Да, я тоже терпеть не могу покойников, — сказал я. — Подвернись мне покойник, и не будь он мне родственником, я бы, должно быть, пнул бы его ногой.

— Не надо лгать мертвецов, — сказал Сакердон Михайлович.

— А я бы пнул его сапогом прямо в морду, — сказал я. — Терпеть не могу покойников и детей.

— Да, дети — гадость, — согласился Сакердон Михайлович.

— А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? — спросил я.

— Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники всё-таки не врываются в нашу жизнь, — сказал Сакердон Михайлович.

— Врываются! — крикнул я и сейчас же замолчал.

Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.

— Хотите ещё водки? — спросил он.

— Нет, — сказал я, но, спохватившись, прибавил: — Нет, спасибо, я больше не хочу.

Я подошёл и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.

— Я хочу спросить вас, — говорю я наконец. — Вы веруете в Бога?

У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:

— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать; и самый удобный и приятный способ отказа — это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека: «Веруете ли в Бога?» — тоже поступок бестактный и неприличный.

— Ну, — сказал я, — тут уж нет ничего общего.

— А я и не сравниваю, — сказал Сакердон Михайлович.

— Ну, хорошо, — сказал я, — оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.

— Пожалуйста, — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь я просто отказался отвечать вам.

— Я бы тоже не ответил, — сказал я, — да только по другой причине.

— По какой же? — вяло спросил Сакердон Михайлович.

— Видите ли, — сказал я, — по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.

— Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? — сказал Сакердон Михайлович. — А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?

— Может быть, и так, — сказал я. — Не знаю.

— А верят или не верят во что? В Бога? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, — в бессмертие.

— Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?

— Да просто потому, что спросить: «Верите ли вы в бессмертие?» — звучит как-то глупо, — сказал я Сакердону Михайловичу и встал.

— Вы что, уходите? — спросил меня Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — мне пора.

— А что же водка? — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь и осталось-то всего по рюмке.

— Ну, давайте допьём, — сказал я.

Мы допили водку и закусили остатками варёного мяса.

— А теперь я должен идти, — сказал я.

— До свидания, — сказал Сакердон Михайлович, провожая меня через кухню на лестницу. — Спасибо за угощение.

— Спасибо вам, — сказал я. — До свидания.

И я ушёл.

Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на шкаф пустую водочную бутылку, опять надел на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами.

Я шёл по Невскому, погружённый в свои мысли. Мне надо сейчас же пройти к управдому и рассказать ему всё. А разделившись со старухой, я буду целые дни стоять около булочной, пока не встречу ту милую дамочку. Ведь я остался ей должен за хлеб 48 копеек. У меня есть прекрасный предлог её разыскивать. Выпитая водка продолжала ещё действовать, и казалось, что всё складывается очень хорошо и просто.

На Фонтанке я подошёл к ларьку и, на оставшуюся мелочь, выпил большую кружку хлебного кваса. Квас был плохой и кислый, и я пошёл дальше с мерзким вкусом во рту.

На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я бы убил его тут же на месте.

До самого дома я шёл, должно быть, с искажённым от злости лицом. Во всяком случае почти все встречные обирались на меня.

Я вошёл в домовую контору. На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая девка и, глядя в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы.

— А где же управдом? — спросил я.

Девка молчала, продолжая мазать губы.

— Где управдом? — повторил я резким голосом.

— Завтра будет, не сегодня, — отвечала грязная, курносая, кривая и белобрысая девка.

Я вышел на улицу. По противоположной стороне шёл инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку.

Я завернул в свою парадную и стал подниматься по лестнице. На втором этаже я остановился; противная мысль пришла мне в голову: ведь старуха должна начать разлагаться. Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне покойники разлагаются быстрее. Вот ведь глупость какая! И этот чёртов управдом будет только завтра! Я постоял в нерешительности несколько минут и стал подниматься дальше.

Около двери в свою квартиру я опять остановился. Может быть, пойти к булочной и ждать там ту милую дамочку? Я бы стал умолять её пустить меня к себе на две или три ночи. Но тут я вспоминаю, что сегодня она уже купила хлеб и, значит, в булочную не придёт. Да и вообще из этого ничего бы не вышло.

Я отпер дверь и вошёл в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руках какую-то тряпку, тёрла по ней другой тряпкой. Увидя меня, Марья Васильевна крикнула:

— Ваш шпрашивал какой-то старик!

— Какой старик? — сказал я.

— Не жнаю, — отвечала Марья Васильевна.

— Когда это было? — спросил я.

— Тоже не жнаю, — сказала Марья Васильевна.

— Вы разговаривали со стариком? — спросил я Марью Васильевну.

— Я, — отвечала Марья Васильевна.

— Так как же вы не знаете, когда это было? — сказал я.

— Чиша два тому нажад, — сказала Марья Васильевна.

— А как этот старик выглядел? — спросил я.

— Тоже не жнаю, — сказала Марья Васильевна и ушла на кухню.

Я подошёл к своей комнате.

«Вдруг, — подумал я, — старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!»

Я отпер дверь и начал её медленно открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворённую дверь и, на мгновение, застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу.

Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскочил к противоположной стенке.

В коридоре появилась Марья Васильевна.

— Вы меня жвали? — спросила она.

Меня так трясло, что я ничего не мог ответить и только отрицательно замотал головой. Марья Васильевна подошла поближе.

— Вы ш кем-то ражговаривали, — сказала она.

Я опять отрицательно замотал головой.

— Шумашедший, — сказала Марья Васильевна и опять ушла на кухню, несколько раз по дороге оглянувшись на меня.

«Так стоять нельзя. Так стоять нельзя», — повторял я мысленно. Эта фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил её до тех пор, пока она не дошла до моего сознания.

— Да, так стоять нельзя, — сказал я себе, но продолжал стоять как парализованный. Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать что-то, может быть, ещё более ужасное, чем то, что уже произошло. Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мёртвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках.

Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего уже в продолжение многих лет стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!..

Озноб ещё не прошёл. Я стоял с поднятыми плечами от внутреннего холода. Мои мысли скакали, путались, возвращались к исходному пункту и вновь скакали, захватывая новые области, а я стоял и прислушивался к своим мыслям и был как бы в стороне от них и был как бы не их командир.

— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют покойники, они скорее беспокойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное бельё им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.

— Стоп! — сказал я своим собственным мыслям. — Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.

— Хорошо, — сказали мне мои собственные мысли, — войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник.

Неожиданное упрямство заговорило во мне.

— И войду! — сказал я решительно своим собственным мыслям.

— Попробуй! — сказали мне мои собственные мысли.

Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.

— Подожди! — закричали мне мои собственные мысли. Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.

Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.

С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась.

Озноб прошёл, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их.

— Раньше всего закрыть дверь! — скомандовал я сам себе.

Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а в правой я держал крокетный молоток и всё время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты.

— Теперь мы с тобой рассчитаемся, — сказал я. У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий; я просто хотел запрянуть старуху в чемодан, отвезти её за город и спустить в болото. Я знал одно такое место.

Чемодан стоял у меня под кушеткой. Я вытащил его и открыл. В нём находились кое-какие вещи: несколько книг,

старая фетровая шляпа и рваное бельё. Я выложил всё это на кушетку.

В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула.

Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток.

Старуха лежит спокойно. Я стою и прислушиваюсь. Это вернулся машинист, я слышу, как он ходит у себя по комнате. Вот он идёт по коридору на кухню. Если Марья Васильевна расскажет ему о моём сумасшествии, это будет нехорошо. Чертовщина какая! Надо и мне пройти на кухню и своим видом успокоить их.

Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя ещё в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. Из кухни неслись голоса, но слов не было слышно. Я прикрыл за собой дверь в свою комнату и осторожно пошёл на кухню: мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с машинистом. Коридор я прошёл быстро, а около кухни замедлил шаги. Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал что-то случившееся с ним на работе.

Я вошёл. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул мне рукой.

— Здравствуй, здравствуй, Матвей Филлипович, — сказал я ему и прошёл в ванную комнату. Пока всё было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот последний случай могла уже и забыть.

Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что, если старуха выползет из комнаты?

Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошёл через кухню спокойными шагами.

Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту:

— Ждорово! Вот это здорово! Я бы тоже швиштела!

С замирающим сердцем я вышел в коридор и тут уже чуть не бегом пустился к своей комнате.

Снаружи всё было спокойно. Я подошёл к двери и, приотворив её, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошёл в комнату и запер за собою дверь на ключ. Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошёл к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого пока ещё хоть и слабого, но всё-таки нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.

Ну что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан её надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. А потом умирать от трупного заражения — благодарю покорно!

— Эге! — воскликнул я вдруг. — А интересуюсь я: чем вы меня укусите? Зубки-то ваши вон где!

Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находиться вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было.

Я задумался: может быть, мёртвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть, даже, нашла их и вставила себе обратно в рот?

Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошёл к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню.

Брезгливый страх к себе вызывала эта мёртвая старуха. Я приподнял молотком её голову: рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ударил её сапогом, расплзлось большое тёмное пятно. Я заглянул старухе в рот. Нет, она не нашла свою челюсть. Я опустил голову. Голова упала и стукнулась об пол.

Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул её к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на неё орла. Скорее, прочь эту падаль!

Я закатал старуху в толстую простыню и поднял её на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил её в чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился.

Чемодан стоит перед мной, с виду вполне благопристойный, как будто в нем лежит белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал поднять. Да, он был, конечно, тяжёл, но не чрезмерно, я мог вполне донести его до трамвая.

Я посмотрел на часы: двадцать минут шестого. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку.

Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел всё сильнее. А может быть, это потому, что я ел их сырыми? А может быть, боль в животе была и чисто нервной.

Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами.

Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот она: клетчатая бумага и на ней надпись, сделанная мелким почерком: — «Чудотворец был высокого роста».

Я посмотрел в окно. По улице шёл инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида.

Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвозить старуху на болото! Мне нужно ещё занять деньги у машиниста.

Я вышел в коридор и подошёл к его двери.

— Матвей Филлипович, вы дома? — спросил я.

— Дома, — ответил машинист.

— Тогда, извините, Матвей Филлипович, вы не богаты деньгами? Я послезавтра получу. Не могли ли бы вы мне одолжить тридцать рублей?

— Мог бы, — сказал машинист. И я слышал, как он звякал ключами, отпирая какой-то ящик. Потом он открыл дверь и протянул мне новую красную тридцатирублевку.

— Большое спасибо, Матвей Филлипович, — сказал я.

— Не стоит, не стоит, — сказал машинист.

Я сунул деньги в карман и вернулся в свою комнату. Чемодан спокойно стоял на прежнем месте.

— Ну теперь в путь, без промедления, — сказал я сам себе.

Я взял чемодан и вышел из комнаты.

Марья Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула:

— Куда вы?

— К тётке, — сказал я.

— Шкоро приедете? — спросила Марья Васильевна.

— Да, — сказал я. — Мне нужно только отвезти к тётке кое-какое бельё. А приеду, может быть, и сегодня.

Я вышел на улицу. До трамвая я дошёл благополучно, неся чемодан то в правой, то в левой руке.

В трамвай я влез с передней площадки прицепного вагона и стал махать кондукторше, чтобы она пришла получить за багаж и билет. Я не хотел передавать единственную тридцатирублевку через весь вагон, и не решался оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. Кондукторша пришла ко мне на площадку и заявила, что у неё нет сдачи. На первой же остановке мне пришлось слезть.

Я стоял злой и ждал следующего трамвая. У меня болел живот и слегка дрожали ноги.

И вдруг я увидел мою милую дамочку: она переходила улицу и не смотрела в мою сторону.

Я схватил чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как её зовут, и не мог её окликнуть. Чемодан страшно мешал мне: я держал его перед собой двумя руками и подталкивал его коленями и животом. Милая дамочка шла довольно быстро, и я чувствовал, что мне её не догнать. Я был весь мокрый от пота и выбивался из сил. Милая дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла — её нигде не было.

— Проклятая старуха! — прошипел я, бросая чемодан на землю.

Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк!

И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивлённое лицо, достаю часы и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я ещё раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню.

— Странно, — говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке.

На вокзал я приехал без пяти минут семь. Я беру обратный билет до Лисьего Носа и сажусь в поезд.

В вагоне, кроме меня, ещё двое: один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув кепку на глаза, спит. Другой, ещё молодой парень, одет деревенским франтом: под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. Он курит папироску, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы.

Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли.

По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идёт, заложив руки за спину и опустив голову.

Поезд трогается. Я смотрю на часы: десять минут восьмого.

О, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! Жаль только, что я не захватил с собой палку, должно быть, старуху придётся подталкивать.

Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно.

В моём животе происходят ужасные схватки; тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напрягаю ноги.

Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показались море.

Но тут я вскакиваю и, забыв всё вокруг, мелкими шажками бегу в уборную. Безумная волна качает и вертит моё сознание...

Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, боясь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной.

— Скорее бы он трогался! Скорее бы он трогался!

Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладки, как мгновения любви!

Все силы мои напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок.

Поезд опять останавливается. Это Ольгино. Значит, опять эта пытка!

Но теперь это ложные позывы. Холодный пот выступает у меня на лбу, и лёгкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою, прижавшись головой к стене. Поезд идёт, и покачивание вагона мне очень приятно.

Я собираю все свои силы и пошатываясь выхожу из уборной.

В вагоне нет никого. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно, слезли на Лахте или в Ольгино. Я медленно иду к своему окошку.

И вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана, там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окошку. Чемодана нет. Я прыгаю назад, вперед, я пробегаю вагон в обе стороны, заглядываю под скамейки, но чемодана нигде нет.

Да, разве можно тут сомневаться? Конечно, пока я был в уборной, чемодан украли. Это можно было предвидеть!

Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскалённой кастрюльки.

— Что же получилось? — спрашиваю я сам себя. — Ну кто теперь поверит, что я не убивал старуху? Меня сегодня же схватят, тут же или в городе на вокзале, как того гражданина, который шёл, опустив голову.

Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к Лисьему Носу. Мелькают белые столбики, окружающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, ещё полчаса.

Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

По земле ползёт большая зелёная гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю её пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.

Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине.

Я низко склоняю голову и негромко говорю:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

.....

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.

<Конец мая и первая половина июня 1939 года.>

/ ИСТОЧНИКИ К КИНО-МИДРАШУ «ПИТЕР ГРИНУЭЙ И “ЖЕНЫ-УБИЙЦЫ”»

1.

Берешит. Глава 38

1 И было [так]: в ту пору сошел Йеѓуда от своих братьев и отклонился к человеку из Адулама по имени Хира.
2 И увидел там Йеѓуда дочь некоего кнаанея по имени Шуа, и взял ее [в жены], и вошел к ней.
3 И она забеременела, и родила сына, и он дал ему имя Эр.
4 И она снова забеременела, и родила сына, и дала ему имя Онан.
5 И она еще родила сына, и назвала его Шела; и это было в Кзиве, когда она его родила.
6 И взял Йеѓуда жену своему первенцу Эру, а ее имя Тamar.
7 Но был Эр, первенец Йеѓуды, негоден Господу, и Господь умертвил его.
8 И сказал Йеѓуда Онану: «Войди к жене твоего брата, и женись на ней по праву деверя, и восстанови потомство твоему брату!»
9 Но так как знал Онан, что не ему [зачтется] это потомство, то всякий раз, когда он входил к жене своего брата, то изводил [семя] на землю, чтобы не дать потомство своему брату.
10 И негодно было Господу то, что он делал, и Он умертвил и его тоже.
11 И Йеѓуда сказал своей невестке Тamar: «Оставайся вдовой в доме твоего отца, пока не подрастет мой сын Шела». Потому что он сказал [сам себе]: «Как бы и тот не умер, подобно своим братьям». И ушла Тamar, и жила в доме своего отца.
12 Спустя долгое время умерла дочь Шуи, жена Йеѓуды; а когда Йеѓуда утешился, то поднялся к стригалам его стада в Тимну, он и его друг Хира из Адулама.
13 И сказали Тamar так: «Вот твой свекор поднимается в Тимну стричь своих овец».
14 И она сняла одежду вдовы, покрыла себя покрывалом и села, закутавшись, у Петах-Эйнаим, что на дороге в Тимну, поскольку она видела, что Шела вырос, а она не отдана ему в жены.
15 И увидел ее Йеѓуда, и счел ее продажной женщиной, так как ее лицо было скрыто.
16 И он свернул к ней на дорогу и сказал: «Давай я войду к тебе»; ведь он не знал, что она его невестка. А она сказала: «Что ты мне дашь, если войдешь ко мне?»

ספר בראשית פרק לח

א ויהי בעת ההוא ויֵרֵד יהודה מאת אחיו ויֵט
עד איש עדלמי ושמו חירה:
ב וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע
ויקחה ויבא אליה:
ג ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער:
ד ותהר עוד ותלד בן ותיקרא את שמו אונן:
ה ותיסף עוד ותלד בן ותיקרא את שמו שלה והיה
בכזיב בלדתה אתו:
ו ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר:
ז ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו
יהוה:
ח ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם
אתה והקם זרע לאחיק:
ט וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא
אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע
לאחיו:
י וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו:
יא ויאמר יהודה לתמר פלתו שבי אלמנה בית
אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא
כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה:
יב וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה
וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא וחירה רעהו
העדלמי תמנתה:
יג ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עליה תמנתה
לגז צאנו:
יד ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעפי
ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך
תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה
לו לאשה:
טו ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה:

17 И он сказал: «Я пришлю козленка из стада». Она же сказала: «Если ты дашь заклад [до той поры], пока не пришлешь [козленка]».

18 И он сказал: «Какой же заклад тебе дать?» А она сказала: «Твою печать, твою перевязь и посох, что в твоей руке». И он ей дал, и вошел к ней, и она забеременела ему.

19 И она встала и ушла; она сняла с себя покрывало и надела свою вдовью одежду.

20 И послал Йеѓуда козленка через своего друга из Адулама, чтобы забрать залог у той женщины, но тот ее не нашел.

21 И он спросил у людей из той местности: «Где та посвященная, что на дороге в Эйнаим?» Но они сказали: «Не было здесь посвященной».

22 И он вернулся к Йеѓуде, и сказал: «Я ее не нашел, да и люди из тех мест сказали: “Не было здесь посвященной”».

23 И сказал Йеѓуда: «Пусть забирает себе, чтобы нам не позориться; я послал этого козленка, а ты ее не нашел».

24 И было так: месяца через три сообщили Йеѓуде, сказав: «Развернулась твоя невестка Тamar, и вот она даже беременна от разврата». И сказал Йеѓуда: «Выведите ее и сожгите!»

25 Но когда ее повели, она послала сказать своему свекру: «Я беременна от человека, которому это принадлежит». И сказала: «Признай, пожалуйста, чьи эти печать, перевязь и посох?»

26 И признал Йеѓуда, и сказал: «Она права, от меня, поскольку я не отдал ее моему сыну Шеле». И не продолжал познавать ее.

27 И вот во время ее родов в ее утробе – близнецы.

28 И было так: во время родов один [из них] высунул руку, а повитуха взяла и повязала ему на руку алую нить, сказав: «Этот вышел первым».

29 И было так: едва тот втянул, как вышел его брат. И сказала она: «Как же ты прорвался напролом!» И он дал ему имя Перец.

30 А после вышел его брат, на руке у которого алая нить. И он дал ему имя Зэрах.

טז וַיֵּט אֶלֶיהָ אֶל הַדֶּרֶךְ וַיֹּאמֶר הֲבֵה נָא אֲבוֹא אֵלַיךְ כִּי לֹא יָדַע כִּי כָּלְתּוּ הוּא וְתֹאמֶר מֶה תִּתֶּן לִי כִּי תָבוֹא אֵלַי:

יז וַיֹּאמֶר אֲנֹכִי אֲשַׁלַּח גְּדִי עֲזִים מִן הַצֹּאן וְתֹאמֶר אִם תִּתֶּן עֲרֻבוֹן עַד שְׁלַחְךָ:

יח וַיֹּאמֶר מֶה הָעֲרֻבוֹן אֲשֶׁר אֶתֶן לָךְ וְתֹאמֶר חֲתָמְךָ וּפְתִילְךָ וּמַטְּךָ אֲשֶׁר בְּיָדְךָ וַיִּתֶּן לָהּ וַיָּבֵא אֶלֶיהָ וַתַּהַר לוֹ:

יט וַתִּקֶּם וַתִּלְךְ וַתְּסַר צְעִיפָהּ מֵעֲלֶיהָ וַתִּלְבַּשׁ בְּגָדֵי אֶלְמְנוּתָהּ:

כ וַיִּשְׁלַח יְהוּדָה אֶת גְּדֵי הָעֲזִים בְּיַד רַעְהוּ הָעֵדְלָמִי לְקַחַת הָעֲרֻבוֹן מִיַּד הָאִשָּׁה וְלֹא מָצְאָהּ:

כא וַיִּשְׁאֵל אֶת אֲנָשֵׁי מְקוֹמָהּ לֵאמֹר אֵיךְ הִקְדַּשְׁתָּ הוּא בְּעֵינַיִם עַל הַדֶּרֶךְ וַיֹּאמְרוּ לֹא הִיְתָה בָּזָה קִדְשָׁהּ:

כב וַיָּשֶׁב אֶל יְהוּדָה וַיֹּאמֶר לֹא מְצֵאתִיהָ וְגַם אֲנָשֵׁי הַמְּקוֹם אָמְרוּ לֹא הִיְתָה בָּזָה קִדְשָׁהּ:

כג וַיֹּאמֶר יְהוּדָה תִּקַּח לָהּ פֶּן נִהְיֶה לְבוֹז הַנֶּחֱשׁ שְׁלַחְתִּי הַגְּדִי הַזֶּה וְאַתָּה לֹא מְצֵאתָהּ:

כד וַיְהִי כַּמִּשְׁלַשׁ חֳדָשִׁים וַיִּגַּד לִיהוּדָה לֵאמֹר זָנַתָּ תָמַר כְּלַתְּךָ וְגַם הַנֶּחֱשׁ הָרָה לְזַנוּנִים וַיֹּאמֶר יְהוּדָה הוֹצִיאֶיהָ וַתִּשְׂרֹף:

כה הוּא מוֹצֵאתָ וְהִיא שְׁלַחָה אֶל חֲמִיָּהּ לֵאמֹר לְאִישׁ אֲשֶׁר אֵלֶּה לוֹ אֲנֹכִי הָרָה וְתֹאמֶר הֲכֹר נָא לְמִי הַחֲתָמָת וְהַפְּתִילִים וְהַמַּטָּה הָאֵלֶּה:

כו וַיַּכֵּר יְהוּדָה וַיֹּאמֶר צְדָקָה מִמֶּנִּי כִּי עַל כֵּן לֹא נִתְּתִיהָ לְשָׁלָה בְּנִי וְלֹא יִסֹּף עוֹד לְדַעְתָּהּ:

כז וַיְהִי בַעַת לְדַתָּהּ וְהַנֶּחֱשׁ תֹּאוֹמִים בְּבִטְנָהּ:

כח וַיְהִי בְלִדְתָּהּ וַיִּתֶּן יָד וַתִּקַּח הַמַּיְלֶדֶת וַתִּקְשֹׁר עַל יָדוֹ שְׁנֵי לֵאמֹר זֶה יֵצֵא רֵאשֹׁנָה:

כט וַיְהִי כַּמִּשְׁיֵב יָדוֹ וְהַנֶּחֱשׁ יֵצֵא אַחֲרָיו וְתֹאמֶר מֶה פָּרַצְתָּ עָלַיךְ פָּרֶץ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פָּרֶץ:

ל וְאַחֲרָיו יֵצֵא אַחֲרָיו אֲשֶׁר עַל יָדוֹ הַשְּׁנֵי וַיִּקְרָא שְׁמוֹ זָרַח:

2.

Раши

38:11

כי אמר

...Потому что он сказал...

Это означает, что [Йегуда] нашел предлог [не выдавать Тamar за Шелу], поскольку [после смерти двух старших сыновей] он [вообще] не собирался выдавать ее за [младшего] сына.

Раши объясняет, что в стихе нет противоречия, хотя в первой его части Йегуда просит Тamar подождать до тех пор, пока не подрастет его младший сын, Шела, а потом высказывает опасение, что и тот умрет, как его братья, если возьмет ее в жены.

כי אמר פן ימות

...Потому что он сказал [сам себе]: «Как бы и тот не умер...»

У нее сложилась репутация [женщины, все] мужа которой будут умирать¹.

Согласно этому толкованию Раши, есть ситуации, при которых двукратного повторения события уже достаточно для возникновения презумпции.

3.

Рамбан

«Потому что сказал [сам себе]...»

Это означает, что [Йегуда] нашел предлог [не выдавать Тamar за Шелу], поскольку [после смерти двух старших сыновей] он [вообще] не собирался выдавать ее за [младшего] сына. Так говорит Раши.

Но я не понимаю, почему, в таком случае, почему стеснялся Йегуда, глава своего поколения, сказать прямо этой женщине: «Ступай из моего дома». Зачем ему было вводить ее в заблуждение, ведь она запрещена Шелле, как говорили мудрецы: «Если речь о замужестве, то после двух случаев [смерти мужа] есть презумпция [убивающей женщины]» (Йевамот 64б). И еще, поскольку он со строгостью отнесся к ее блуду и собирался наказать ее сожжением, ясно, что он хотел, чтобы она оставалась в его доме. И странно было бы полагать, что Йегуда не знал, что его сыновья согрешили и потерял он их из-за их грехов, и Тamar не виновата в их смерти.

И правильным кажется мне [следующее понимание]. Шела должен был вступить с Тamar в левиратный брак, но его отец не хотел, чтобы он это делал, будучи отроком, ибо, может быть, согрешит он подобно своим братьям, которые умерли юнцами, ведь каждому из них не было двенадцати лет. Но [думал Йегуда, что] когда вырастит и выслушает наставления отца, тогда отдаст он ее в жены ему. И поскольку прождала Тamar много лет и увидела, что вырос Шелла, как ей казалось, (хотя с точки зрения отца он был все еще юнцом, ибо не исполнилось ему двенадцати лет и хотел отец еще повременить), то поспешила Тamar из-за ее сильного желания родить от святого семени и совершила то, что совершила.

רמב"ן על בראשית פרק לח פסוק יא

כי אמר — כלומר היה דוחה אותה בקש, שלא היה בדעתו להשיאה לו כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, כי מוחזקת היא זו שימותו אנשיה, לשון רש"י ולא ידעתי למה יתבייש יהודה המושל בדורו מן האשה הזאת ולא יאמר אליה לכי לשלום מביתי, ולמה יטעה אותה, והיא אסורה לשלה, כמו שאמרו (יבמות סד:) בנשואים בתרי זמני היא חזקה ועוד, כי בהיותו מקפיד על זנוניה לחייב אותה שריפה נראה שהיה חפץ בה להיותה בביתו ורחוק הוא שלא שמע יהודה כי בניו חטאו וישלחם ביד פשעם ואין לתמר בהם חטא:

והנכון בעיני שהיה שלה ראוי ליבם, אבל לא רצה אביו שייבם אותה ועודנו נער פן יחטא בה כאחיו אשר מתו בנעוריהם, כי נערים היו, אין לאחד מהם שתים עשרה שנה, וכאשר יגדל וישמע למוסר אביו אז יתננה לו לאשה וכאשר המתינה ימים רבים וראתה כי גדל שלה בעיניה, והוא עודנו נער לאביו כי אין לו עשר שנים והיה ממתין לו עוד, אז מהרה תמר ברב תאותה להוליד מזרע הקדש ועשתה המעשה הזה:

¹ Брейшит раба, 85:5; Йевамот, 64б.

4.

Книга Рут

(перевод А. Шмаиной-Великановой),

Глава 1

1 И было в те дни, когда судили судьи. И был голод в Стране. Пошел человек из Вифлеема-Дома Хлеба Иудейского поселиться на полях Моавитских, сам и жена его, и двое его сыновей.

2 А имя человеку тому Бог-Царь, имя жены его Услава, имена двух его сыновей Больной и Нежилец, евфратяне из Дома Хлеба Иудейского. Пришли они на поля Моавитские и там и были.

3 Бог-Царь, муж Услады, умер, и осталась она с двумя сыновьями.

4 Они взяли в жены моавитянок, имя первой было Донышко, а имя второй — Полная Чаша. Там они прожили лет десять.

5 Больной и Нежилец тоже оба умерли, а жена осталась и без деток, и без мужа.

<...>

15 И сказала [Услава]: — Смотри, твоя невестка (йевама) возвращается к своему народу и к своим богам. Возвратись следом за твоей невесткой (йевамой).

Глава 4

6 Тот спаситель сказал: — Я не смогу спасти, иначе погублю мое наследие, ты спаси для себя то, что положено спасти мне, ибо я спасти не могу.

7 А у Израиля это было прежде в обычае при всяком спасении наследия и обмене: человек снимал свою обувь и отдавал другому. Это было у Израиля подтверждением [сделки].

8 И тот спаситель сказал Богатырю: — Купи себе. И снял свою обувь.

9 Богатырь сказал старейшинам и всему народу: — В день сей вы свидетели, что я купил у Услады все, что было у Бога-Царя, у Больного и у Нежилца.

10 А также Полную Чашу, моавитянку, жену Больного я купил в жены, чтобы восстановить имя умершего в его наследии, и чтобы не было истреблено имя умершего среди его братьев и у ворот его города. В день сей вы свидетели?

11 Весь народ, что был там, и старейшины отвечали: — Свидетели! Да делает Господь жену, входящую в дом твой, подобной Рахили-Овце и Лие-Буйволице, которые вдвоем воздвигли дом Израилю. Будь доблестным в Ефрате и славным в Доме Хлеба.

12 Да будет чадами, которых Господь даст тебе от этой девицы, дом твой подобен дому Фареса-Прорыва, рожденного Фамарью-Пальмой Иуде-Хвале.

ספר רות פרק א

א ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו:

ב ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מואב ויהיו שם:

ג וימת אלימלך איש נעמי ותשארא היא ושני בניה:

ד וישאו להם נשים מאביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים:

ה וימותו גם שניהם מחלון וכליון ותשארא האשה משני ילדיה ומאשה:
<...>

טו ותאמר הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלהיה שובי אחרי יבמתך:

פרק ד

ו ויאמר הגאל לא אוכל לגאול {לגאל} לי פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאלתי כי לא אוכל לגאל:

ז וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל:

ח ויאמר הגאל לבעז קנה לך וישלף נעלו:

ט ויאמר בעז לזקנים וכל העם עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לכליון ומחלון מיד נעמי:

י וגם את רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקם שם המת על נחלתו ולא יפרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום:

יא ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן יהוה את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם:

יב ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן יהוה לך מן הנערה הזאת:

5.

Трактат Йевамот 64б

Учили в барайте: «Вышла замуж за первого, и умер он, за второго — и умер он, за третьего да не выйдет она» — слова мудрецов. Раббан Шимон бен Гамлиэль говорит: «За третьего пусть выходит, а за четвертого — да не выйдет она»... Сказал рав Мордехай раву Аши: — Так сказал Авими из Гагроньи со слов рава Ѓуны: «Лоно¹ ее — причина»

А рав Аши говорит:
— Судьба² — причина

В чем проявляется различие их мнений? В случае, когда совершил с ней помолвку и умер. Или — упал с пальмы и умер.

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף טו/ב

והתניא ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי
לא תנשא דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר
לשלישי תנשא לרביעי לא תנשא בשלמא גבי
מילה איכא משפחה דרפי דמא ואיכא משפחה
דקמיט דמא אלא נישואין מאי טעמא אמר ליה
רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא
משמיה דרב הונא מעין גורם ורב אשי אמר מזל
גורם מאי בינייהו איכא בינייהו דאירסה ומית
אי נמי דנפל מדיקלא ומית

6.

Респонсы р. Йосефа ибн Мигаша, п. 103

То, что сказали мудрецы: «Вышла замуж за первого, и умер он, за второго — и умер он, за третьего да не выйдет она», — является законом (ѓалахой). И если кто-то захочет преступить его, не дают ему. И если он говорит: «Хочу я подвергнуть себя риску», — не слушают его, ибо нет у него права жертвовать собой...

7.

Зоѓар, Шмот, разд. Мишпатим (изд. Марѓалиота, с. 203)

И об этом учили, что путь не женится человек на такой женщине, ибо ангел смерти удерживается в ней. И люди не знают, что это дух [первого мужа], и поскольку он превозмог и одолел дух другого, второго, то после этого, пусть не связывается с ней еще один человек...

¹ Букв.: источник

² Букв.: созвездие

8.

**Томас Манн. Иосиф и его братья
Фамарь
Исполненная решимости**

С этой поры отвесные складки между бровями Фамари приобрели еще один, третий смысл. Они говорили теперь не только о ее злости на собственную красоту, не только о напряженной пытливости, но также и о решимости. Подтверждаем еще раз — Фамарь твердо решила, чего бы это ни стоило, вставить себя с помощью женского своего естества в историю мира. Вот как честолюбива она была. В эту непоколебимую и, поскольку все непоколебимое мрачно, довольно мрачную решимость вылилось все ее религиозное рвение. У иных натур знание немедленно превращается в волю, более того, они затем, наверно, и стремятся к знанию, чтобы питать им свою волю, дать ей какую-то цель. Фамари достаточно было только узнать о мире и целеустремленности мира, чтобы принять категорическое решение связать с этой целеустремленностью женское свое естество и войти в мировую историю.

Само собой разумеется, в историю мира входит каждый. Стоит лишь тебе появиться на свет — и так или иначе, плохо ли, хорошо ли, ты уже вносишь крохотной своей жизнью какой-то вклад в целостный мировой процесс. Но большинство скромно остается на периферии, где-то далеко в стороне от главного события, не участвуя в нем, и, по сути, радуясь своей непричастности к его достославным действующим лицам. Фамарь презирала таких людей. Как только ее научили, она захотела или, вернее, она вняла учению, чтобы узнать, чего она хочет и чего не хочет. Она не хотела быть в стороне. Эта девушка хотела выйти на столбовую дорогу, дорогу обетованья. Она хотела войти в эту семью, включиться своим лоном в цепь поколений, которая вела к благу, уходя в даль времен. Она была женщиной обетованья, и пророчество относилось к ее семени. Она хотела быть одной из праматерей Шилоха.

Ни больше, ни меньше. Глубоко и прочно врезались между бархатными ее бровями отвесные складки. У них было уже три смысла, но не заставил себя ждать я четвертый, состоявший в завистливо-зловонном пренебрежении к дочери Шуи, жене Иегуды. Этой бабище, оказавшейся на столбовой дороге и занявшей достославное место совершенно незаслуженно, без знания и воли (ибо знание и волю Фамарь считала заслугой), этому ничтожеству, сподобившемуся войти в историю, она не только не желала добра, но, не пытаясь даже скрыть это от самой себя, ненавидела ее самой женской ненавистью и желала бы ей, опять-таки вполне сознательно, смерти, если бы это еще имело смысл. Но это не имело смысла, ибо та родила Иуде уже трех сыновей, так что Фамари следовало бы желать смерти всем троим, чтобы поправить дело и освободить себе место рядом с наследником. Как наследника она и любила Иуду, и желала его — это была любовь честолюбия. Никогда, наверно, ни позже, ни тем более раньше, ни одна женщина не любила и не желала мужчину в такой мере не ради него самого, а ради определенной идеи, как Фамарь Иуду. То была новая основа любви, такого еще не бывало на свете, — любви, идущей не от плоти, а от мысли, любви, можно поэтому сказать, демонической, употребляя эпитет, приложимый и к тому волненью, которое, без всякого участия плоти, внушала мужчинам сама Фамарь.

Свое астартическое обаяние, вообще-то ее злившее, она, пожалуй, умышленно направила бы на Иуду, достаточно хорошо зная о его рабстве у этой владычицы, чтобы не сомневаться в победе. Но было уже поздно, — а «поздно» всегда означает: «не вовремя». Она опоздала, ее честолюбивая любовь пришлась не ко времени. В этом месте цепи она уже не могла включиться, не могла выйти на столбовую дорогу. Поэтому Фамарь должна была сделать во времени, в поколениях шаг вперед или вниз, она должна была сама переменить поколение, направив свое целеустремленное желание туда, где ей хотелось бы стать матерью, — а мысленно ею легко было стать, поскольку в высокой сфере мать и возлюбленная всегда составляли единое целое. Короче говоря, с Иуды, наследника-сына, она должна была перевести взгляд на его сыновей, наследников-внуков, — которым она почти желала смерти, чтобы родить их, и притом лучших, самой, — сначала, разумеется, только на старшего, на мальчика Ира, ибо он был наследник.

Лично ее положенье во времени облегло ей этот шаг вниз. Для Иуды она была бы не слишком молода, а для Ира она была не так уж стара. И все же она сделала этот шаг неохотно. Ее удерживала от него непорядочность этого поколенья, его болезненная, хотя и милая испорченность. Но ее честолюбие справилось с этой трудностью, оно должно было справиться с ней, иначе она была бы очень им недовольна. Оно сказала ей, что обетование не всегда выбирает многообещающие или хотя бы просто чистые пути; что порой, без всякого для себя ущерба, оно не гнушается неполноценно-сомнительным, даже скверным, что большое не обязательно порождает большое, что от него может взять начало проверенное, облагороженное, направленное ко благу бытие, особенно если на помощь придет та облагораживающая сила решимости, которая была у Фамари. К тому же отпрыски Иуды были ведь только выродившимися мужчинами. А все зависело от женщины, все дело было в том, чтобы здоровое начало укрепило именно самое ненадежное место цепи. К лону женщины относилось первое обетованье. Что толку было в мужчинах!

Но чтобы достичь цели, ей пришлось снова подняться во времени к третьему колону; иначе ничего не получалось. Да, она направила на упомянутого юнца астартическое свое обаяние, но его реакция оказалась ребяческой и порочной. Ир хотел только шутить с ней, а когда она в ответ нахмурила брови, он отступил и серьезного шага

не сделала. Обратиться к Иуде, на ступеньку выше, не позволила ей деликатность; ведь желала или желала бы она, собственно, именно его, и если он этого не знал, то она это знала, и ей стыдно было желать его сына, которого она хотела бы ему родить. Поэтому она обратилась к Иакову, главе рода и своему учителю, к его исполненной достоинства и, разумеется, хорошо ей известной слабости к ней, Фамари, к слабости, которую она скорее ублажала, чем уязвляла, добиваясь приема в его семью и желая стать женой его внука. Она сделала это на том же месте, в шатре, где когда-то Иосиф уламывал старика подарить ему разноцветное платье, и ей оказалось легче добиться своего, чем ему.

— Наставник и господин, — говорила она, — дорогой и великий отец мой, выслушай рабыню свою, будь так добр, снизойди к ее просьбе, к ее непритворно страстной мольбе! Ты избрал меня и возвысил над дочерьми этой земли, ты дал мне знания о мире и о единственном и всевышнем боге, ты открыл мне слепые дотолле глаза, ты образовал меня, и я считаю себя твоим твореньем. За то, что это выпало мне на долю, за то, что я нашла милость перед твоими очами, за то, что ты утешил меня и ласково заговорил со своей рабыней, да вознаградит тебя за все это господь, да вознаградит тебя сполна бог Израилев, к которому я пришла благодаря тебе и под чьими крылами обрела надежду и бодрость! Ибо, всячески оберегая душу свою от забвения историй, которые ты дал мне увидеть, я буду хранить их в сердце всю свою жизнь. Своим детям и детям детей, если бог мне пошлет их, я поведаю эти истории, чтобы дети мои не погубили себя и никогда не творили себе кумиров, похожих на мужчину, на женщину, на скот земной, на птицу небесную, на гада или на рыбу; чтобы, подняв глаза и увидев солнце, луну и звезды, они не отступились от бога и не стали служить сонму светил. Твой народ — это мой народ, и твой бог — это мой бог. А потому, если он даст мне детей, их отцом никогда не будет мужчина из какого-нибудь чужого народа божьего. Иные из твоего дома, господин мой, берут себе в жены дочерей этой земли, одной из которых была и я, и приводят их к богу. Что же касается меня, родившейся теперь заново, меня, твоего творенья, то я не могу быть рабыней во браке человеку невежественному, поклоняющемуся кумирам из дерева и камня, которые изваяны руками умельца и лишены зренья, слуха и обонянья. Вот что натворил ты, отец мой, просветив меня и образовав: ты сделал душу мою разборчиво-тонкой, и я уже не могу жить жизнью невежественной толпы и не могу, выйдя замуж за первого встречного, отдать женское свое естество какому-то пентюху перед богом, как, наверно, по простоте сердечной и поступила бы при других обстоятельствах, — таковы невыгоды утонченности, таковы трудности, которые приносит с собой благо родство. А потому не сочти это наглостью, если твоя дочь и рабыня говорит тебе об ответственности, которую ты взял на себя, просветив и образовав ее; ты перед нею теперь почти в таком же долгу, как она перед тобой, потому что ты в ответе за ее благородство.

— Твои слова, дочь моя, — отвечал он, — исполнены силы и вполне разумны; не согласиться с ними нельзя. Но скажи мне, куда ты клонишь, ибо я этого еще не вижу, и поведай мне, что ты имеешь в виду, ибо это мне невдомек!

— Твоему народу, — сказала она, — принадлежу я душой и только ему могу я принадлежать плотью, женскою своей статью. Ты открыл мне глаза — позволь мне открыть глаза тебе! Есть у вашего ствола побег — Ир, первенец четвертого твоего сына, он как пальма у ручья, как стройная тростинка в низине. Поговори же с Иудой, со своим львом, чтобы он дал меня ему в жены!

Для Иакова это было полной неожиданностью.

— Вот куда ты клонишь, — отвечал он, — вот что ты имеешь в виду? Право, право же, мне это и в голову не пришло бы. Ты говорила мне об ответственности, которую я взял на себя, просветив тебя и образовав, и сама же загоняешь меня в тупик моей ответственностью. Конечно, я могу поговорить со своим львом и замолвить перед ним слово, но могу ли я быть за это в ответе? Мой дом примет тебя с распростертыми объятьями и скажет тебе: «Добро пожаловать!» Но разве я для того просветил и образовал тебя, чтобы обречь тебя на несчастье? Я не люблю злословить о ком-либо в Израиле, но ведь сыновья дочери Шуи — неудачное племя, это шалопаи перед господом, и я предпочитаю на них не глядеть. Право, мне трудно решиться и выполнить твою просьбу, ибо если эти юнцы и пригодны для брака, в чем я сомневаюсь, то, во всяком случае, не с тобой.

— Со мной, — сказала она твердо, — со мной, если даже больше ни с кем, — одумайся, отец мой и господин! Иуде на роду было написано иметь сыновей. Каковы бы они ни были, они от доброго семени, ибо в них семя Израиля, через них нельзя перепрыгнуть и нельзя заставить их выпасть, если только они не выпадут сами, не выдержав испытания жизнью. И им тоже суждено иметь сыновей, по меньшей мере одного сына, и суждено это, по меньшей мере, одному из них, первенцу Иру, тростинке и пальме. Я люблю его и хочу возвысить его своей любовью, сделать его героем в Израиле.

— Героиня, — возразил он, — ты сама, дочь моя, и я на тебя полагаюсь.

Так он пообещал ей замолвить за нее слово у своего льва Иуды, хотя сердце его было полно противоречивых чувств. Он любил эту женщину всеми оставшимися у него силами души и был рад одарить ее мужественностью, которая восходит к нему. Но ему было и жаль, и совестно, что мужественность эта не лучшего свойства. А в-третьих, он сам не знал почему, вся эта история внушала ему глухой ужас.

«Не благодаря нам!»

Иуда не оставался со своими братьями при отце, в роще Мамре, а, подружившись с человеком по имени Хира, пас скот ближе к равнине, на выгонах Одоллама, и там же жили в браке первенец его Ир с Фамарью, в браке, заключенном благодаря Иакову, который призвал к себе четвертого своего сына и замолвил перед ним слово за решительную просительницу. Почему Иуда должен был встать на дыбы? Он согласился на этот брак несколько, правда, хмуро, но согласился без долгих слов, и Фамарь, таким образом, была выдана замуж за Ира.

Нам не к лицу заглядывать за занавес этого брака; уже и тогда ни у кого не было охоты это делать, и всегда человечество излагало эти факты резко и лаконично, воздерживаясь от каких бы то ни было обвинений и соболезнований, справедливое распределение которых всегда представлялось ему делом слишком уж затруднительным. Несчастье породили, с одной стороны, честолюбивое отношение к истории, соединенное со свойствами астартического характера, а с другой — юношеское бессилие, не выдержавшее серьезного испытания жизнью. Самое лучшее — последовать примеру предания, резко и лаконично сообщив, что вскоре после свадьбы первенец Иуды Ир умер, или — как это сказано там — что его умертвил господь: ну, конечно, от господ все, и все, что происходит на свете, можно определить как дело его рук. Этот юноша умер в объятиях Фамари от горлового кровотечения, которое вызвало бы смерть, даже если бы он и не захлебнулся кровью; иные даже поражаются, что умер он, по крайней мере, не как собака, не в одиночестве, а в объятиях жены, хотя и это достаточно тягостная картина, — женщина, обрызганная кровью, в которой были жизнь и смерть ее молодого супруга. Нахмутив брови, она встала, омылась и потребовала в мужа второго сына Иуды — Онана.

В решимости этой женщины всегда было что-то ошеломляющее. Она поднялась к Иакову и пожаловалась ему на свою беду, она пожаловалась ему в известной мере на бога, так что старик смутился за Иа.

— Мой муж умер, — сказала она. — Ир, твой внук, скоропостижно, в мгновение ока! Можно ли это понять? Как может бог сделать такое?

— Он все может, — ответил Иаков. — Смирись! Порою он делает самое невероятное, ибо всемогущество — это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это как на пережиток хаоса! Иногда он вдруг нападет на кого-нибудь и умертвит его ни за что ни про что, без всякого объяснения.

— Я мирюсь, — возразила она, — с произволом бога, но не со своей участью, ибо вдовства своего не признаю, не могу, не имею права признать. Если выпал один, его должен сразу заменить следующий, чтобы не погасла искра, которая еще жива во мне, и чтобы от мужа моего остались на земле имя и след. Я забочусь не о себе и не об умерщвленном, а об общем и вечном. Ты должен, отец-господин, замолвить перед Израилем слово и установить правило, что если один из братьев умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен заменить умершего и жить с нею. А первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле!

— А если он не захочет, — возразил Иаков, — жениться на невестке?

— В этом случае, — твердо сказала Фамарь, — она должна выйти и во всеуслышание заявить: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда нужно призвать его и поговорить с ним. И если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», — пусть она при всех подойдет к нему, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его и скажет: «Так надо поступать с каждым, кто не созидает дома брату своему». И пусть ему будет имя «Разутый»!

— Тогда он, пожалуй, одумается, — сказал Иаков. — И ты права, дочь моя, мне легче будет замолвить слово перед Иудой, чтобы он дал тебе в мужа Онана, если я возведу это в правило и сошлюсь на закон, который провозглашу под деревом наставленья.

Брак с деверем, введенный по ходатайству Фамари, был делом историческим. Да, историческое манило эту деревенскую девушку. Без вдовства получала она в мужа юнца Онана, хотя Иуду этот примирительный брак по боковой линии не очень-то радовал, а деверя, о котором шла речь, и того меньше. Вызванный отцом с одолламского пастбища, Иегуда долго упорствовал, считая, что не следует повторять со вторым того, что так злосчастно кончилось с первым. К тому же, — говорил он, — Онану всего двадцать лет, и если он вообще создан для брака, то уж, во всяком случае, не созрел для него и не склонен к нему.

— Но она снимет с него сапог и сделает все прочее, если он откажется восстановить дом своего брата, и его будут всю жизнь звать «Разутый».

— Ты делаешь вид, Израиль, — сказал Иуда, — будто так водится, хотя сам только что ввел это, и я знаю, по чьему совету.

— Устами этой девушки говорит бог, — ответил Иаков. — Он привел ее ко мне, чтобы я познакомил ее с ним и чтобы он мог говорить ее устами.

Тогда Иуда перестал спорить и женил сына.

Заглядывать в альковы — ниже достоинства этого рассказчика. Итак, не вдаваясь в подробности — второй сын Иуды, юноша в своем роде, то есть в каком-то сомнительном роде, красивый и миловидный, человек волевой, волевой в смысле органичной строптивости, равнозначной приговору самому себе и отрицанию жизни в нем самом. Не собственной его жизни, ибо себя он очень любил и наряжался и подкрашивался самым щегольским образом; но всякому продолжению жизни после него и благодаря ему он внутренне говорил «нет». Известно, что он был не-

доволен ролью супруга-заменщика, восстанавливающего семья не себе, а своему брату. Это верно: на словах и даже в мыслях он мог изображать дело именно так. Но в действительности, которую слова и мысли только перефразируют, все это потомство Иуды всегда знало, что оно представляет собой тупик и что по каким бы дорогам ни пошла жизнь, она должна будет, она захочет, она сумеет, она посмеет пойти дальше, во всяком случае, не благодаря им. Не благодаря нам! — говорили они в один голос и были по-своему правы. Жизнь и созревание могли идти своими дорогами; братья на это плевали. Особенно плевал на это Онан, и смазливая его миловидность выражала лишь себялюбие того, на котором все кончится.

Вынужденный вступить в брак, он решил посмеяться над лоном. Но он не учел честолюбья, астартически вооруженного честолюбья Фамари, которое противостояло его строптивости, как одна грозовая туча другой, и породило с нею разряжающую молнию смерти. Он умер в ее объятиях от внезапного удара, в один миг. Мозг его сковало, и он скончался.

Фамарь поднялась и сразу потребовала, чтобы теперь ей дали в мужа младшего сына Иуды, Шелу, которому было только шестнадцать лет. Если кто-либо назовет ее самой поразительной фигурой всей этой истории, мы не осмелимся ему возразить.

На этот раз она не добилась своего. Заколебался уже и сам Иаков — хотя лишь в ожидании выразительного протеста Иуды, протеста, который не заставил себя долго ждать. Иуду называли львом, но за последнего своего мальчика, чего бы тот ни стоил, он вступился, как львица, и не дал согласия.

— Ни за что! — сказал он. — Чтобы он тоже погиб у меня, — да? — кровавой смертью, как первый, или бескровной, как второй? Нет, не приведи бог, ни в коем случае! Я повиновался твоему приказу, Израиль, и поспешил подняться к тебе с равнины, от свойственников, среди которых дочь Шуи родила мне этого сына и где она теперь лежит больная. Ибо она больна и должна умереть, и если Шела тоже умрет у меня, я буду гол. Тут нет никакого неповиновения, ибо ты, конечно, не отдашь мне такого приказа, ты просто высказываешь соображение, в котором сам сомневаешься. Но у меня нет сомнений, и я скажу сразу, скажу от своего и от твоего имени: «Нет и нет». Что думает эта женщина, неужели я отдам ей и своего барашка, чтобы она проглотила его? Это Иштар, убивающая своих возлюбленных! Это ненасытная пожирательница юнцов! К тому же он еще дитя малолетнее, и не место этому ягненку в загоне ее объятий.

И действительно, Шелу никак нельзя было представить себе женатым — по крайней мере теперь. Безусый, высокоголосый, самодовольно-никчемный, он походил больше на ангела, чем на дитя человеческое.

— А сапог и все прочее, — помедлив, напомнил Иаков, — если этот мальчик откажется воздвигнуть дом брату своему?

— На это у меня найдется ответ, господин мой, — сказал Иуда. — Если эта хищница не наденет сейчас одежду скорби, не угомонится и не захочет, как то подобает вдове, потерявшей двух мужей, скромно скорбеть в доме отца своего, я сам — не будь я твоим четвертым сыном — сниму с нее при всем народе сапог и, сделав все остальное, открыто назову ее вампиром, чтобы ее побили камнями или сожгли.

— Ты слишком далеко заходишь в своем недовольстве, — сказал уязвленный Иаков.

— Слишком далеко? А как далеко зашел бы ты, если бы у тебя захотели отнять твоего Вениамина, отправив его, например, в опаснейший путь? А ведь он не последний твой сын, а только младший. Ты охраняешь его с посохом в руках, ты не спускаешь с него глаз, чтобы он не потерялся, ему и отлучиться почти нельзя. Ну, так Шела — это мой Вениамин, и я противлюсь, все во мне противится его выдаче!

— Давай, — сказал Иаков, на которого этот довод сильно подействовал, — решим дело полюбовно, чтобы выиграть время, не оскорбляя твоей снохи. Не будем отказывать ей, а дадим ее желанию остыть. Ступай и скажи ей: мой сын Шела слишком еще мал и даже отстал от своих лет. Поживи вдовой в доме отца своего, пока мальчик не вырастет, и тогда я отдам его тебе, чтобы он восстановил семья своему брату. Так мы утихомирим ее желание на несколько лет, ибо напомнить о нем она сможет лишь по их истечении. А вдруг она привыкнет к вдовству и вообще не станет напоминать? Ну, а если все-таки напомнит, мы уговорим ее подождать, более или менее справедливо заявив ей, что сын твой все еще недостаточно вырос.

— Пусть будет так, — сказал Иуда. — Мне совершенно безразлично, что мы ей скажем, только бы уберечь нежную надменность от жарких объятий Молоха.

